



Л. Н. ТОЛСТОЙ

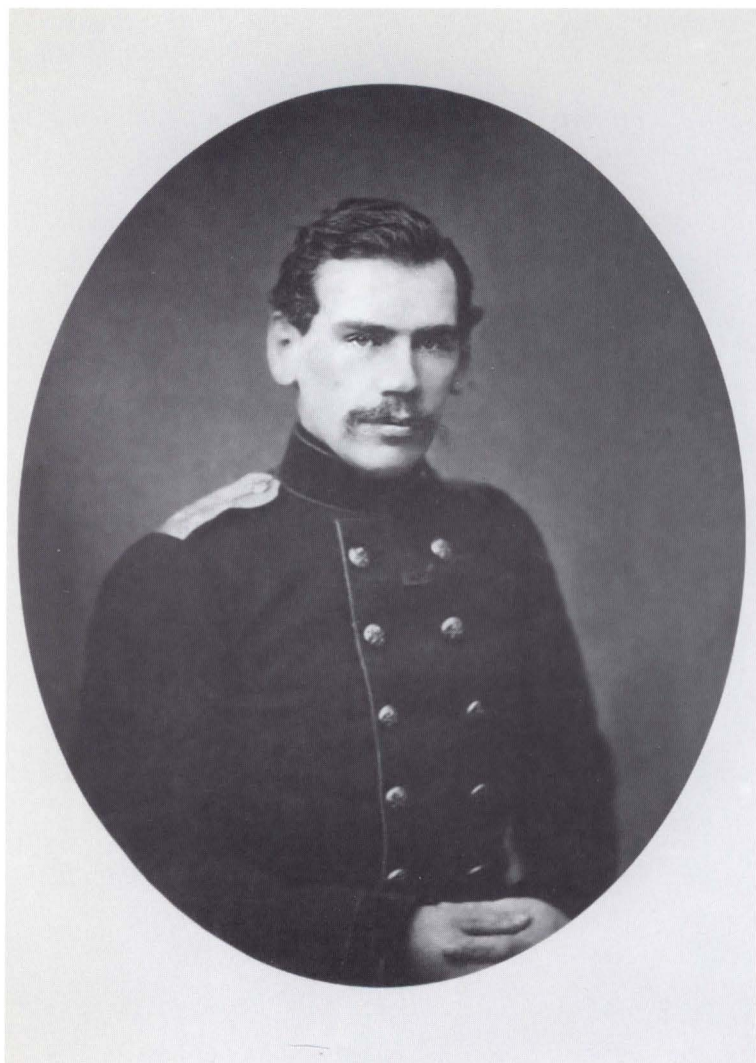
Лев Толстой



3



3



Л.Н. ТОЛСТОЙ

Петербург. Фотография С.Л. Левицкого.
1856 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

им. А. М. ГОРЬКОГО



Л. Н. ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СТА ТОМАХ

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

В ВОСЕМНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА
НАУКА
2007

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

Том третий

1856 – 1859

МОСКВА
НАУКА
2007

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1
Т53

Редакционная коллегия:

Г.Я. ГАЛАГАН, Л.В. ГЛАДКОВА (ответственный секретарь)
Л.Д. ГРОМОВА-ОПУЛЬСКАЯ (главный редактор),
А.В. ГУЛИН, А.А. ДОНСКОВ, Ф.Ф. КУЗНЕЦОВ,
К.Н. ЛОМУНОВ, П.В. ПАЛИЕВСКИЙ, А.М. ПАНЧЕНКО,
С.М. ТОЛСТАЯ, В.И. ТОЛСТОЙ,
М.И. ЩЕРБАКОВА (зам. главного редактора)

Тексты и комментарии подготовили:

И.П. ВИДУЭЦКАЯ, Л.В. ГЛАДКОВА,
Л.Д. ГРОМОВА-ОПУЛЬСКАЯ, А.В. ГУЛИН,
Л.Н. КУЗИНА, М.А. МОЖАРОВА, М.А. СОКОЛОВА
М.И. ЩЕРБАКОВА

Редактор тома

М.И. ЩЕРБАКОВА

Издание выходит с 2000 г.

Подписное

ISBN 5-02-011823-0
ISBN 978-5-02-035690-0 (т. 3)

© Институт мировой литературы
им. А.М. Горького РАН, составление,
подготовка текстов, комментарии,
2007

© Российская академия наук и издательство
«Наука», Полное (академическое)
собрание сочинений Л.Н.Толстого
в 100 томах, оформление, 2000 (год
начала выпуска), 2007

© Редакционно-издательское оформле-
ние. Издательство «Наука», 2007

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1856–1859

ДВА ГУСАРА

Повесть

(Посвящается графине М.Н. Толстой)

...Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова...

Д. Давыдов

В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, – в те наивные времена, когда, из Москвы выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, – когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и с другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, – в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, – в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы.

– Ну, все равно, хоть в залу, – говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.

– Съезд такой, батюшка ваше сиятельство, огромный, – говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его «ваше сиятельство». – Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать: так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый номер, – говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.

В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего, во весь рост, портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек *здесьних* дворян, должно быть, и в сторонке какие-то купцы проезжающие, в синих шубах.

Войдя в комнату и зазвав туда *Блюхера*, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку.

– Сашка! – крикнул граф, – дай ему.

Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.

– Что ж, батюшка васясо, как, кажется, старался твоей милости! полтинник обещал, а они четвертак пожаловали.

– Сашка! дай ему целковый!

30 Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика.

– Будет с него, – сказал он басом, – да у меня и денег нет больше.

Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел.

– Вот пригнал! – сказал граф, – последние пять рублей.

– По-гусарски, граф, – улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. – Вы здесь долго намерены про-
40 быть, граф?

– Денег достать нужно; а то бы я не остался. Да и номеров нет. Черт их дери, в этом кабаке проклятом...

– Позвольте, граф, – возразил кавалерист, – да не угодно ли ко мне? я вот здесь, в седьмом номере. Коли не побрезгаете покамест проночевать. А вы пробудьте у нас денька три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!

– Право, граф, погостите, – подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек, – куда вам торопиться! А ведь это в три года раз бывает – выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф!

– Сашка! давай белье: поеду в баню, – сказал граф, вставая. – А оттуда, посмотрим, может, и в самом деле к предводителю дернуть. 10

Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись, ответил, что «все дело рук человеческих», и вышел.

– Так я, батюшка, к вам в номер велю перенести чемодан, – крикнул граф из-за двери.

– Сделайте одолжение, осчастливите, – отвечал кавалерист, подбегая к двери. – Седьмой номер! не забудьте.

Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему 20 прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:

– А ведь это тот самый.

– Ну?

– Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар, – ну, Турбин, известный. Он меня узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедяни с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была – мы вместе сотворили, – от этого он как будто ничего. А молодчина, а?

– Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего так не заметно, – отвечал красивый молодой человек, – как мы скоро 30 сошлись... Что, ему лет двадцать пять, не больше?

– Нет, оно так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто увез? – он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать. Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар-душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!

И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и 40 не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому, что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых, потому, что

кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами семьсот рублей и сшил себе уже было уланский мундир с ранжевými отворотами, с тем чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяни, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни, так что желание это
10 сначала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть, по мягкосердечию и честности, истинно достойнейшим человеком.

– Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата. – Он сел верхом на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом. – Едешь, бывало, перед эскадроном; под тобой черт, а не лошадь, в ланцадах вся; сидишь, бывало, этак чертом. Подъедет эскадронный командир на смотру. «Поручик, говорит, пожалуйста – без вас ничего не будет – проведите эскадрон церемониалом». Хорошо, мол, а уж тут есть, оглянешься,
20 крикнешь, бывало, на усачей своих. Ах, черт возьми, времечко было!

Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами, из бани и вошел прямо в седьмой номер, в котором уже сидел кавалерист, в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастья, которое ему выпало на долю, – жить в одной комнате с известным Турбиным. «Ну, что, – приходило ему в голову, – как вдруг возьмет да разденет меня, голого вывезет за заставу да посадит в снег, или... дегтем вымажет, или про-
30 сто... нет, по-товарищески не сделает...» – утешал он себя.

– Блюхера накормить, Сашка! – крикнул граф.

Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно.

– Ты уж не утерпел: напился, каналья!.. Накормить Блюхера.

– И так не издохнет: вишь, какой гладкий! – отвечал Сашка, поглаживая собаку.

– Ну, не разговаривать! пошел накорми.

– Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.

40 – Эй, прибью! – крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах и кавалеристу даже стало немного страшно.

– Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека, – проговорил

Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.

– Он мне зубы разбил, – ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой почесывая спину облизовавшегося Блюхера, – он мне зубы разбил, Блюшка, а все он мой граф, и я за него могу пойти в огонь – вот что! Потому, он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?

Полежав немного, он встал, накормил собаку и, почти трезвый, пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.

10

– Вы меня просто обидите, – говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели, – я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать: чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостью готов служить рублей двести. У меня теперь нет их, а только сто; но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф!

– Спасибо, батюшка, – сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста, – спасибо. Ну, так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в го-

20

роде есть: хорошенькие кто? кутит кто? в карты кто играет? Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет, что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только малый добрый; что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, Стешка запеваает, и что нынче к ним *все* от предводителя собираются.

– И игра есть порядочная, – рассказывал он. – Лухнов, приезжий, играет с деньгами, и Ильин, что в восьмом номере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось.

30

Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот: вот уж не скупой – последнюю рубашку отдаст.

– Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой, – сказал граф.

– Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут.

II

Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в восемь часов вечера и проиграл пятнадцать часов сряду, до одиннадцати утра. Он проиграл что-то много, но сколько именно, он не знал, потому что у него было тысячи три своих де-

40

сте со своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, что уже и казенных недоставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в шесть часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту – валета, которую ему убили на пятьсот рублей, но, не веря еще хорошенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Он узнал некоторые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки, вспомнил весь ход игры. Своих трех тысяч уже не было, и из казенных недоставало уже двух с половиною тысяч.

Улан играл четыре ночи сряду.

Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. В К. его задержал смотритель под предлогом неимения лошадей, но, в сущности, по уговору, который он сделал давно с содержателем гостиницы, – задерживать на день всех проезжающих. Улан, молодой, веселый мальчик, только что получивший в Москве от родителей три тысячи на обзаведение в полку, был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К. и надеялся тут на славу повеселиться. Один помещик семейный был ему знаком, и он собирался поехать к нему, поволочиться за его дочерью, когда кавалерист явился знакомиться к улану и в тот же вечер, без всякой дурной мысли, свел его с своими знакомыми, Лухновым и другими игроками, в общей зале. С того же вечера улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику, но не спрашивал больше про лошадей и не выходил четыре дня из комнаты.

Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы прогнать неотвязчивые игорные воспоминания. Он надел шинель и вышел на улицу. Солнце уже спряталось за белые дома с красными крышами; наступали сумерки. Было тепло. На грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался.

«Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь», – подумал он.

«Погубил я свою молодость», – сказал он вдруг сам себе, не потому, чтобы он действительно думал, что он погубил свою молодость, – он даже вовсе и не думал об этом, – но так ему пришла в голову эта фраза.

«Что теперь я буду делать? – рассуждал он. – Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-то барыня прошла по тротуару. «Вот так глупая барыня, – подумал он отчего-то. – Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. «Коли бы восьмерку я не снял, я бы отыгрался». Нищая старуха хныкала, следуя за ним. «Занять-то не у кого». Какой-то господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно! Погубил я свою молодость. Ах, хомуты славные с набором висят. Вот бы на тройку сесть. Эх вы, голубчики! Пойду домой. Лухнов скоро придет, играть станем». Он вернулся домой, еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз: опять из казенных недоставало две с половиной тысячи рублей. «Поставлю первую двадцать пять, вторую – угол... на семь кушей, на пятнадцать, на тридцать, на шестьдесят... – три тысячи. Куплю хомуты и уеду. Не даст, злодей! Погубил я свою молодость». Вот что происходило в голове улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.

– Что, давно встали, Михайло Васильич? – спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.

– Нет, сейчас только. Отлично спал.

– Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского... не слышали?

– Нет, не слышал. А что же, еще никого нет?

– Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут.

Действительно, скоро вошли в номер: гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову; купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами; толстый, пухлый помещик, винокуренный заводчик, игравший по целым ночам, всегда семпелями по полтиннику. Всем хотелось начать игру поскорее; но главные игроки ничего не говорили об этом предмете, особенно Лухнов чрезвычайно спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве.

– Надо вообразить, – говорил он, – Москва – первопрестольный град, столица – и по ночам ходят с крюками мошенники, в чертей наряжены, глупую чернь пугают, грабят проезжих – и конец. Что полиция смотрит? Вот что мудрено.

Улан слушал внимательно рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел потихоньку подать карты. Толстый помещик первый высказался.

– Что ж, господа, золотое-то времечко терять! За дело, так за дело!

– Да вы по полтинничкам натаскали вчера, так вам и нравит-
ся, – сказал грек.

– Точно, пора бы, – сказал гарнизонный офицер.

Ильин посмотрел на Лухнова. Лухнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю о мошенниках, наряженных в чертей с когтями.

– Будете метать? – спросил улан.

– Не рано ли?

10 – Белов! – крикнул улан, покраснев отчего-то, – принеси мне
обедать... я еще не ел ничего, господа... шампанского принеси и
карты подай.

В это время в номер вошли граф и Завальшевский. Оказа-
лось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же
сошлись, чокнувшись, выпили шампанского и через пять минут
уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу.
Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью.

– Экой молодчина улан! – говорил он. – Усищи-то, усищи-то!
У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.

20 – Что, вы играть собираетесь, кажется? – сказал граф. – Ну,
желаю тебе выиграть, Ильин! Ты, я думаю, мастер! – прибавил
он, улыбаясь.

– Да вот собираются, – отвечал Лухнов, раздирая дюжину
карт, – а вы, граф, не изволите?

– Нет, нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Я как пойду
гнуть, так у меня всякий банк затрещит! Не на что. Проигрался
под Волочком на станции. Попался мне там пехоташка какой-то,
с перстнями, должно быть, шулер, – и облапошил дочиста.

– Разве ты долго сидел там на станции? – спросил Ильин.

30 – Двадцать два часа просидел. Памятна эта станция, прокля-
тая! ну, да и смотритель не забудет.

– А что?

Приезжаю, знаешь: выскочил смотритель, мошенническая
рожа, плутовская, – лошадей нет, говорит, – а у меня, надо тебе
сказать, закон: как лошадей нет, я не снимаю шубы и отправля-
юсь к смотрителю в комнату, знаешь, не в казенную, а к смотри-
телю, и приказываю отворить настежь все двери и форточки:
угарно будто бы. Ну, и тут тоже. А морозы, помнишь, какие
были в прошлом месяце – градусов двадцать было. Смотритель
40 разговаривать было стал, я его в зубы. Тут старуха какая-то, дев-
чонки, бабы писк подняли, похватали горшки и бежать было на
деревню... Я к двери; говорю, давай лошадей, так уеду, – а то не
выпущу, всех заморожу!

– Вот так отличная манера! – сказал пухлый помещик, заливаясь хохотом, – это как тараканов вымораживают!

– Только не укараулил я как-то, вышел, – и удрал от меня смотритель со всеми бабами. Одна старуха осталась у меня под залог, на печке она все чихала и Богу молилась. Потом уж мы переговоры вели: смотритель приходил и издалека все уговаривал, чтоб отпустить старуху, а я его Блюхером притравливал: отлично берет смотрителей Блюхер. Так и не дал мерзавец лошадей до другого утра. Да тут подъехал этот пехоташка. Я ушел в другую комнату, и стали играть. Вы видели Блюхера?.. Блюхер!.. Фю! 10

Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом.

– Однако что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал. Ведь я болтун, – сказал Турбин, – *любишь не любишь* – дело хорошее.

III

Лухнов придвинул к себе две свечи, достал огромный, наполненный деньгами коричневый бумажник, медлительно, как бы совершая какое-то таинство, открыл его на столе, вынул оттуда 20 две сторублевые бумажки и положил их под карты.

– Так же, как вчера, – банку двести, – сказал он, поправляя очки и распечатывая колоду.

– Хорошо, – сказал, не глядя на него, Ильин между разговором, который он вел с Турбиным.

Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря: «пришлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая 30 карты. Гарнизонный офицер, молча, красиво подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел сбоку банкмета и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Завальшевский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставал из кармана штанов красненькую или синенькую, клал сверх нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговаривал: «вывези, семерочка!», закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил весь в движение, продолжавшееся до тех пор, пока не выходила карта. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле 40 него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук,

ставил одну карту за другою. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел вовсе на улана и ничего не говорил ему; только изредка его очки на мгновение направлялись на руки улана, но большая часть его карты проигрывала.

– Вот бы мне эту карточку убить, – приговаривал Лухнов про карту толстого помещика, игравшего по полтине.

– Вы бейте у Ильина, а мне-то что, – замечал помещик.

И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нер-
10 вически раздирал под столом проигравшую карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин встал с дивана и попросил грека пустить его сесть подле банкмета. Грек пересел на другое место, а граф, сев на его стул, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова.

– Ильин! – сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который, совершенно невольно для него, заглушал все другие, – зачем рутерок держишься? Ты не умеешь играть!

– Уж как ни играй, все равно.

– Так ты наверно проиграешь. Дай, я за тебя попонтирую.

20 – Нет, извини, пожалуйста: уж я всегда сам. Играй за себя, ежели хочешь.

– За себя, я сказал, что не буду играть; я за тебя хочу. Мне досадно, что ты проигрываешься.

– Уж, видно, судьба!

Граф замолчал и, облокотясь, опять так же пристально стал смотреть на руки банкмета.

– Скверно! – вдруг проговорил он громко и протяжно.

Лухнов оглянулся на него.

– Скверно, скверно! – проговорил он еще громче, глядя пря-
30 мо в глаза Лухнову.

Игра продолжалась.

– Не-хо-ро-шо! – опять сказал Турбин, только что Лухнов убил ббольшую карту Ильина.

– Что это вам не нравится, граф? – учтиво и равнодушно спросил банкмет.

– А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете. Вот что скверно.

Лухнов сделал плечами и бровями легкое движение, выражавшее совет во всем предаваться судьбе, и продолжал играть.

40 – Блюхер, фю! – крикнул граф, вставая, – узи его! – прибавил он быстро.

Блюхер, стукнувшись спиной об диван и чуть не сбив с ног гарнизонного офицера, выскочил оттуда, подбежал к своему хо-

зьяину и зарычал, оглядываясь на всех и махая хвостом, как будто спрашивая: «кто тут грубит? а?»

Лухнов положил карты и со стулом отодвинулся в сторону.

– Этак нельзя играть, – сказал он, – я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда целую псарню приведут!

– Особенно эти собаки: они пиявки называются, кажется, – поддакнул гарнизонный офицер.

– Что ж, будем играть, Михайло Васильич, или нет? – сказал Лухнов хозяину.

– Не мешай нам, пожалуйста, граф! – обратился Ильин 10 к Турбину.

– Поди сюда на минутку, – сказал Турбин, взяв Ильина за руку, и вышел с ним за перегородку.

Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновенным голосом. А голос у него был такой, что его всегда было слышно за три комнаты.

– Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках – шулер первой руки.

– Э, полно! что ты говоришь!

– Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне бы все равно. В дру- 20
гой раз я бы сам тебя обыграл; да так, мне что-то жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег?..

– Нет; да и с чего ты выдумал?

– Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю; я тебе говорю, что в очках – это шулер. Брось, пожалуйста. Я тебя прошу, как товарища.

– Ну, вот я только одну талию, и кончу.

– Знаю, как одну; ну, да посмотрим.

Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт и столько их ему убили, что он проиграл много. 30

Турбин положил руки на середину стола.

– Ну, баста! Поедем.

– Нет, уж я не могу; оставь меня, пожалуйста, – сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые карты и не глядя на Турбина.

– Ну, черт с тобой! проигрывай наверняка, коли тебе нравится, а мне пора! Завальшевский! поедем к предводителю.

И они вышли. Все молчали, и Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору.

– Эка башка! – сказал помещик, смеясь. 40

– Ну, теперь не будет мешать, – прибавил торопливо и еще шепотом гарнизонный офицер.

Игра продолжалась.

Музыканты, дворовые люди предводителя, стоя в буфете, очищенном на случай бала, уже заворотив рукава сюртуков, по данному знаку заиграли старинный польский «Александр, Елисавета», и при ярком и мягком освещении восковых свеч по большой паркетной зале начинали плавно проходить: екатерининский генерал-губернатор, со звездой, под руку с худощавой предводительшей, предводитель под руку с губернаторшей и т. д. – губернские власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда

10 Завальшевский, в синем фраке с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг себя запах жасминных духов, которыми были обильно спрыснуты его усы, лацкана и платок, вместе с красавцем гусаром в голубых обтянутых рейтузах и шитом золотом красном ментике, на котором висели владимирский крест и медаль двенадцатого года, вошли в залу. Граф был невысок ростом, но отлично, красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами, темно-русые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал

20 был ожидаем: красивый молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. «Еще на смех подымет этот мальчишка», – было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похитит?» – было более или менее мнение молодых женщин и барышень.

Как только польский кончился и пары взаимно раскланивались, снова отделяясь женщины к женщинам, мужчины к мужчинам, Завальшевский, счастливый и гордый, подвел графа к хозяйке. Предводительша, испытывая некоторый внутренний трепет, чтобы гусар этот не сделал с ней при всех какого-нибудь

30 скандала, гордо и презрительно отворотясь, сказала: «Очень рада-с! надеюсь, будете танцевать?» – и недоверчиво взглянула на него с выражением, говорившим: «Уж ежели ты женщину обидишь, то ты совершенный подлец после этого». Граф, однако, скоро победил это предубеждение своей любезностью, внимательностью и прекрасной веселой наружностью, так что чрез пять минут выражение лица предводительши уже говорило всем окружающим: «Я знаю, как вести этих господ: он сейчас понял, с кем говорит. Вот и будет со мной весь вечер любезничать». Однако тут же подошел к графу губернатор, знавший его отца, и

40 весьма благосклонно отвел его в сторону и поговорил с ним, что еще больше успокоило губернскую публику и возвысило в ее

мнении графа. Потом Завальшевский подвел его знакомить к своей сестре – молодой полненькой вдовушке, с самого приезда графа впившейся в него своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцевать вальс, который заиграли в это время музыканты, и уже окончательно своим искусством танцевать победил общее предубеждение.

– А мастер танцевать! – сказала толстая помещица, следя за ногами в синих рейтузах, мелькавшими по зале, и мысленно считая: раз, два, три; раз, два, три... – мастер.

– Так и строчит, так и строчит, – сказала другая приезжая, считавшаяся дурного тона в губернском обществе, – как он шпорами не заденет! Удивительно, очень ловок!

Граф затмил своим искусством танцевать трех лучших танцоров в губернии: и высокого белобрысого адъютанта губернаторского, отличавшегося своей быстротой в танцах и тем, что он держал даму очень близко, и кавалериста, отличавшегося грациозным раскачиванием во время вальса и частым, но легким притопыванием каблучка, и еще другого, штатского, про которого все говорили, что хотя он и недалек по уму, но танцор превосходный и душа всех балов. Действительно, этот штатский с начала бала и до конца приглашал всех дам по порядку, как они сидели, не переставал танцевать ни на минуту и только изредка останавливался, чтоб обтереть сделавшимся совершенно мокрым батистовым платочком изнуренное, но веселое лицо. Граф затмил всех их и танцевал с тремя главными дамами: с большой – богатой, красивой и глупой, с средней – худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся, и с маленькой – некрасивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много. Но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилась графу: с ней он танцевал и кадрили, и экосес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадрили, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой, и с Дианой, и с розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платье или из одной руки в другую перекладывая опухало. Когда же она говорила: «Полноте, граф, вы шутите», – и т. п., голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смешною глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле.

Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствия всего условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутки разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову с такой силой желание вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он серьезно должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, которое она производила; но что-то ее начинало тревожить и пугать в обращении графа, несмотря на то, что молодой гусар был вместе с заискивающей любезностью почтителен, по теперешним понятиям, до приторности. Он бегал ей за оршатом, подымал платок, вырвал стул из рук какого-то золотушного молодого помещика, который хотел тоже прислужить ей, чтобы подать его скорее, и т. д.

Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая ей забавные анекдоты: уверял, что он, если она прикажет, готов сейчас стать на голову, закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось: вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки, и была совершенно довольна своим кавалером. Графу же она с каждой минутой все более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренно влюблен в нее.

Когда после кадрили к вдовушке подошел ее давнишний семнадцатилетний обожатель, неслужащий сын самого богатого помещика, золотушный молодой человек, тот самый, у которого вырвал стул Турбин, она приняла его чрезвычайно холодно, и в ней не было заметно и десятой доли того смущения, которое она испытывала с графом.

– Хороши вы, – сказала она ему, глядя в это время на спину Турбина и бессознательно соображая, сколько аршин золотого шнура пошло на всю куртку, – хороши вы: обещали за мной заехать кататься и конфект мне привезти.

– Да я ведь приезжал, Анна Федоровна, а вас уже не было, и конфекты самые лучшие оставил, – сказал молодой человек, несмотря на высокий рост, очень тоненьким голоском.

– Вы найдете всегда отговорки! не нужно мне ваших конфект. Пожалуйста, не думайте...

– Я уж вижу, Анна Федоровна, как вы ко мне переменились, и знаю отчего. Только это нехорошо, – прибавил он, но, видимо, не dokonчив своей речи от какого-то внутреннего сильного волнения, заставившего весьма быстро и странно дрожать его губы.

Анна Федоровна не слушала его и продолжала следить глазами за Турбиным.

Предводитель, хозяин дома, величаво-толстый беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. Как только Турбин вышел, Анна Федоровна почувствовала, что в зале совершенно нечего делать, и, взяв под руку старую, сухую барышню, свою приятельницу, вышла с ней в уборную.

– Ну, что? мил? – спросила барышня.

– Только ужасно как пристаёт, – отвечала Анна Федоровна, подходя к зеркалу и глядясь в него.

Лицо ее просияло, глаза засмеялись, она покраснела даже и 10
вдруг, подражая балетным танцовщицам, которых видела на этих выборах, перевернулась на одной ножке, потом засмеялась своим горловым, но милым смехом и припрыгнула даже, поджав колени.

– Каков? он у меня сувенир просил, – сказала она приятельнице, – только ничего ему не бу-у-дет, – пропела она последнее слово и подняла один палец в лайковой, до локтя высокой перчатке...

В кабинете, куда привел предводитель Турбина, стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское. В табачном дыму сидели и ходили дворяне, разговаривая о выборах.

– Когда все благородное дворянство нашего уезда почтило 20
его выбором, – говорил вновь выбранный исправник, уже значительно выпивший, – то он не должен был манкировать перед всем обществом, никогда не должен был...

Приход графа прервал разговор. Все стали с ним знакомиться, и особенно исправник обеими руками долго жал его руку и несколько раз просил, чтобы он не отказался ехать с ними в компании после бала в новый трактир, где он угаживает дворян и где цыгане петь будут. Граф обещал непременно быть и выпил с ним несколько бокалов шампанского.

– Что ж вы не танцуете, господа? – спросил он перед тем, как 30
выходить из комнаты.

– Мы не танцоры, – отвечал исправник, смеясь, – мы больше насчет вина, граф... А впрочем, ведь это при мне повзросло, все эти барышни, граф! Я этак иногда тоже в экосесе пройдуся, граф... могу, граф...

– А пойдем теперь пройдемся, – сказал Турбин, – разгуляемся перед цыганами.

– Что ж, пойдёте, господа! потешим хозяина.

И человека три дворян, с самого начала бала пившие в кабинете, с красными лицами, надели кто черные, кто шелковые 40
вязаные перчатки и вместе с графом уже собрались идти в залу, когда их задержал золотушный молодой человек, весь бледный и едва удерживая слезы, подошедший к Турбину.

– Вы думаете, что вы граф, так можете толкаться, как на базаре, – говорил он, с трудом переводя дыхание, – оттого, что это неучтиво...

Снова против его воли запрыгавшие губы остановили поток его речи.

– Что? – крикнул Турбин, вдруг нахмурившись. – Что? Мальчишка! – крикнул он, схватив его за руки и сжав так, что у молодого человека кровь в голову бросилась, не столько от досады, сколько от страха, – что, вы стреляться хотите, так я к вашим ус-
10 лугам.

Едва Турбин выпустил руки, которые он сжал так крепко, как уже двое дворян подхватили под руки молодого человека и потащили к задней двери.

– Что, вы с ума сошли? Вы напились, верно. Вот папеньке сказать. Что с вами? – говорили они ему.

– Нет, не напился, а он толкается и не извиняется. Он свинья! вот что! – пищал молодой человек, уже совершенно расплакавшийся.

Однако его не послушали и увезли домой.

– Полноте, граф! – увещевали с своей стороны Турбина исправник и Завальшевский, – ведь ребенок, его секут еще, ему ведь шестнадцать лет. И что с ним случилось, нельзя понять. Какая его муха укусила? И отец его почтенный такой человек, кан-
20 дидат наш.

– Ну, черт с ним, коли не хочет...

И граф вернулся в залу и, так же как и прежде, весело танцевал экосес с хорошенькой вдовушкой и от всей души хохотал, глядя на па, которые выделывали господа, вышедшие с ним из кабинета, и залился звонким хохотом на всю залу, когда исправник по-
30 скользнулся и во весь рост шлепнулся посередине танцующих.

V

Анна Федоровна, в то время как граф ходил в кабинет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующеюся графом, стала расспрашивать: «Что это за гусар такой, что со мной танцевал? скажите, братец». Кавалерист объяснил, сколько мог, сестрице, какой был великий человек этот гусар, и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли и что он сам дал ему сто рублей взаймы, но этого мало, так не может ли сестрица
40 ссудить ему еще рублей двести; но Завальшевский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь ничего не говорить. Анна

Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете, но почему-то во время экосеса ей ужасно захотелось предложить самой графу сколько он хочет денег. Она долго сбиралась, краснела и наконец, сделав над собою усилие, таким образом приступила к делу.

– Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастье было и денег теперь нет. А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была.

Но выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела. Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа. 10

– Ваш братец дурак! – сказал он резко. – Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются; а когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы?

У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала.

– Женщину целуют при всех, – тихо сказал граф, нагнувшись, ей на ухо. – Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать, – потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы.

– Ах, только не сейчас, – проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая. 20

– Так когда же? Я завтра рано еду... А уж вы мне это должны.

– Ну, так, стало быть, нельзя, – сказала Анна Федоровна, улыбаясь.

– Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтоб поцеловать вашу руку. Я уж найду его.

– Да как же вы найдете?

– Это не ваше дело. Чтоб видеть вас, для меня все возможно... Так хорошо? 30

– Хорошо.

Экосес кончился; протанцевали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, лоя платки, становясь на одно колено и прихлопывая шпорами как-то особенно, по-варшавски, так что все старики вышли из-за бостона смотреть в залу, и кавалерист, лучший танцор, сознал себя превзойденным. Поужинали, протанцевали еще гротфатер и стали разъезжаться. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании – видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в лакейскую, а оттуда, без шубы, на двор, к тому месту, где стояли экипажи. 40

– Анны Федоровны Зайцовой экипаж! – закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. – Стой! – закричал он кучеру, по колено в снегу подбегая к карете.

– Чего надо? – отозвался кучер.

– В карету надо сесть, – отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. – Стой же, черт! Дурень!

– Васька! стой! – крикнул кучер на форейтора и остановил лошадей. – Что ж в чужую карету лезете? это барыни Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета.

– Ну, молчи ж, болван! На тебе целковый да слезь закрой дверцы, – говорил граф. Но так как кучер не шевелился, то он сам подобрал ступеньки и, открыв окно, кое-как захлопнул дверцы. В карете, как и во всех старых каретах, в особенности обитых желтым басоном, пахло какой-то гнилью и горелой щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли в тонких сапогах и рейтузах, да и все тело прохватывал зимний холод. Кучер ворчал на козлах и, кажется, собирался лезть. Но граф ничего не слышал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало. Он напряженно схватился за желтый ремень, высунулся в боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали: «Зайцовой карету!», кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали одно за другим мимо окна кареты.

– Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь, – сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру, – я тебя вздую, а не скажешь – еще десять рублей.

Едва он успел опустить окно, как кузов уж снова сильнее закачался и карета остановилась. Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился: так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились, одна за другой с шумом попадали ступеньки, зашумело женское платье, в затхлую карету ворвался запах жасминных духов, быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося салопы по ноге графа, молча, но тяжело дыша, опустилась на сиденье подле него.

Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить, даже сама Анна Федоровна; но когда он взял ее за руку и сказал: «Ну, уж теперь поцелую-таки вашу ручку», – она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыв поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась.

– Скажи ж что-нибудь. Ты не сердишься? – говорил он ей.
Она молча прижалась в свой угол, но вдруг отчего-то заплакала и сама упала головой к его груди.

VI

Вновь выбранный исправник с своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании. 10

– Батюшка ваше сиятельство! ждали не дождались! – говорил косою черный цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в сенях и бросаясь снимать шубу. – С Лебедяни не видали... Стеша зачала совсем по вас...

Стеша, стройная молоденькая цыганочка с кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими, глубокими черными глазами, осененными длинными ресницами, выбежала тоже навстречу.

– А! графчик! голубчик! золотой! вот радость-то! – заговорила она сквозь зубы с веселой улыбкой.

Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с мест и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто крестовым братством. 20

Молодых цыганок Турбин всех расцеловал в губы; старухи и мужчины целовали его в плечико и в ручку. Дворяне тоже были очень обрадованы приездом гостя, тем более что гульба, дойдя до своего апогея, теперь уже остывала, каждый начинал испытывать пресыщение, вино, потеряв возбуждительное действие на нервы, только тяготило желудок. Каждый уже выпустил весь свой заряд ухарства и пригляделся один к другому; все песни были пропеты и перемешались в голове каждого, оставляя какое-то шумное, распущенное впечатление. Что бы кто ни сделал странного и лихого, всем начинало приходить в голову, что ничего тут нет любезного и смешного. Исправник, лежа в безобразном виде на полу у ног какой-то старухи, заболтал ногами и закричал: 30

– Шампанского!.. граф приехал!.. шампанского!.. приехал!.. ну, шампанского!.. ванну сделаю из шампанского и буду купаться... Господа дворяне! люблю благородное дворянское общество... Стешка! пой «Дорожку».

Кавалерист был тоже навеселе, но в другом виде. Он сидел на диване в уголке, очень близко рядом с высокой красивой цыганкой Любашей и, чувствуя, как хмель туманил его глаза, хлопал 40

ими, помахивал головою и, повторяя одни и те же слова, шепотом уговаривал цыганку бежать с ним куда-то. Любаша, улыбаясь, слушала его так, как будто то, что он ей говорил, было очень весело и вместе с тем несколько печально, бросала изредка взгляды на своего мужа, косого Сашку, стоявшего за стулом против нее, и в ответ на признание в любви кавалериста нагибалась ему на ухо и просила купить ей потихоньку, чтоб другие не видали, душков и ленту.

– Ура! – закричал кавалерист, когда вошел граф.

10 Красивый молодой человек, с озабоченным видом, старательно, твердыми шагами ходил взад и вперед по комнате и напевал мотивы из «Восстания в Серале».

Старый отец семейства, увлеченный к цыганкам неотвязными просьбами господ дворян, которые говорили, что без него все расстроится и лучше не ехать, лежал на диване, куда он повалился тотчас, как приехал, и никто на него не обращал внимания. Какой-то чиновник, бывший тут же, сняв фрак, с ногами сидел на столе, ерошил свои волосы и тем сам доказывал, что он очень кутит. Как только вошел граф, он расстегнул ворот рубашки
20 и подсел еще выше на стол. Вообще с приездом графа кутеж оживился.

Цыганки, разбредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил Стешку, запевалу, себе на колени и велел еще подать шампанского.

Илюшка с гитарой стал перед запевалой, и началась *пляска*, то есть цыганские песни: «Хожу ль я по улице», «Эй вы, гусары...», «Слышишь, разумеешь...» и т. д., в известном порядке. Стешка славно пела. Ее гибкий, звучный, из самой груди выливавшийся контральто, ее улыбки во время пенья, смеющиеся
30 страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянное вскрикиванье при начале хора – все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка, улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображая сочувствие песне, аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно, в такт песни наклонял и поднимал голову. Потом он вдруг выпрямлялся при последней певучей ноте и, как будто чувствуя себя выше всех в мире, гордо, решительно скидывал ногой гитару,
40 перевертывал ее, притопывал, встряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Все его тело от шеи и до пяток начинало плясать каждой жилкой... И двадцать энергических, сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страннее и необычно-

веннее вторить один другому, переливались в воздухе. Старухи подпрыгивали на стульях, помахивая платочками и оскаливая зубы, вскрикивали, в лад и в такт, одна громче другой. Басы, склонив головы набок и напряжив шеи, гудели, стоя за стульями.

Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто желая помочь ей, а красивый молодой человек в восторге вскрикивал, что теперь бемоли пошли.

Когда заиграли плясовую и, дрожа плечами и грудью, прошлась Дуняша и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, Турбин вскочил с места, скинул мундир и, оставшись в одной 10
красной рубашке, лихо прошелся с нею в самый раз и такт, выделявая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, переглядывались друг с другом.

Исправник сел по-турецки, хлопнул себя кулаком по груди и закричал: «виват!», а потом, ухватив графа за ногу, стал рассказывать, что у него было две тысячи рублей, а теперь всего пять-сот осталось, и что он может сделать все, что захочет, ежели только граф позволит. Старый отец семейства проснулся и хотел уехать; но его не пустили. Красивый молодой человек упрашивал 20
цыганку протанцевать с ним вальс. Кавалерист, желая похвастаться своей дружбой с графом, встал из своего угла и обнял Турбина.

– Ах ты, мой голубчик! – сказал он, – зачем ты только от нас уехал? А? – Граф молчал, видимо, думая о другом. – Куда ездил? Ах ты, плут, граф, уж я знаю, куда ездил.

Турбину отчего-то не понравилось это панибратство. Он, не улыбаясь, молча посмотрел в лицо кавалериста и вдруг пустил в упор на него такое страшное, грубое ругательство, что кавалерист огорчился и долго не знал, как ему принять такую обиду – в шутку или не в шутку. Наконец он решил, что в шутку, улыбнулся 30
и пошел опять к своей цыганке, уверял ее, что он на ней непременно женится после Святой. Запели другую песню, третью, еще раз поплясали, провеличали, и всем продолжало казаться весело. Шампанское не кончалось. Граф пил много. Глаза его как бы покрылись влагою; но он не шатался, плясал еще лучше, говорил твердо и даже сам славно подпевал в хоре и вторил Стеше, когда она пела «Дружбы нежное волнение». В середине пляски купец, содержатель трактира, пришел просить гостей ехать по домам, потому что уже был третий час утра.

Граф схватил купца за шиворот и велел ему плясать вприсяд- 40
ку. Купец отказывался. Граф схватил бутылку шампанского и, перевернув купца ногами кверху, велел его держать так и, к общему хохоту, медлительно вылил на него всю бутылку.

Уже рассветало. Все были бледны и изнурены, исключая графа. – Однако мне пора в Москву, – сказал он вдруг, вставая. – Пойдем все ко мне, ребята. Проводите меня... и чаю напьемся.

Все согласились, исключая заснувшего помещика, который тут и остался, набились битком в трое саней, стоявших у подъезда, и поехали в гостиницу.

VII

– Закладывать! – крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. – Сашка! не цыган Сашка, а мой, скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам! Завальшевский! распорядись чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он, – прибавил Турбин и, выйдя в коридор, направился в номер улана.

Ильин только что кончил игру и, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосяной материи, один за одним выдергивая волосы, кладя их в рот, перекусывая и выплевывая. Две сальные свечи, из которых одна уже догорела до бумажки, стоя на ломберном, заваленном картами столе, слабо боролись с светом утра, проникавшим в окна. Мыслей в голове улана никаких не было: какой-то густой туман игровой страсти застилал все его душевные способности, даже раскаяния не было. Он попробовал раз подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки денег, как заплатить пятнадцать тысяч проигранных казенных денег, что скажет полковой командир, что скажет его мать, что скажут товарищи, – и на него нашел такой страх и такое отвращение к самому себе, что он, желая забыться чем-нибудь, встал, стал ходить по комнате, стараясь ступать только на щели половиц, и снова начал припоминать себе все мельчайшие обстоятельства происходившей игры; он живо воображал, что уже отыгрывается и снимает девятку, кладет короля пик на две тысячи рублей, направо ложится дама, налево туз, направо король бубен, – и все пропало; а ежели бы направо шестерка, а налево король бубен, тогда совсем бы отыгрался, поставил бы еще все на пе и выиграл бы тысяч пятнадцать чистых, купил бы себе тогда иноходца у полкового командира, еще пару лошадей, фэтон купил бы. Ну, что же еще потом? да ну и славная, славная бы штука была.

Он опять лег на диван и стал грызть волосы.

«Зачем это поют песни в седьмом номере? – подумал он. – Это, верно, у Турбина веселятся. Пойти нешто туда да выпить хорошенько».

В это время вошел граф.

– Ну что? продулся, брат, а? – крикнул он.

«Притворюсь, что сплю, – подумал Ильин, – а то надо с ним говорить, а мне уж спать хочется».

Однако Турбин подошел к нему и погладил его по голове.

– Ну что, дружок любезный, продулся? проигрался? говори.

Ильин не отвечал.

Граф дернул его за руку.

– Проиграл. Ну что тебе? – пробормотал Ильин сонным и равнодушно недовольным голосом, не переменяя положения. 10

– Все?

– Ну да. Что ж за беда. Все. Тебе что?

– Послушай, говори правду, как товарищу, – сказал граф, под влиянием выпитого вина расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам. – Право, я тебя полюбил. Говори правду: ежели проиграл казенные, я тебя выручу; а то поздно будет... Казенные деньги были?

Ильин вскочил с дивана.

– Уж ежели ты хочешь, чтоб я говорил, так не говори со мной, оттого что... и, пожалуйста, не говори со мной... пулю в лоб – вот что мне осталось одно! – проговорил он, с истинным отчаянием упав головой на руки и заливаясь слезами, несмотря на то, что за минуту перед этим преспокойно думал об иноходцах. 20

– Эх ты, красная девушка! Ну, с кем этого не бывало! Не беда: еще авось поправим. Подожди-ка меня тут.

Граф вышел из комнаты.

– Где стоит Лухнов, помещик? – спросил он у коридорного.

Коридорный вызвался проводить графа. Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка рейнвейна, который он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа. 30

– Вы, кажется, меня не узнаете? – сказал граф, решительными шагами подходя к столу.

Лухнов узнал графа и спросил:

– Что вам угодно?

– Мне хочется поиграть с вами, – сказал Турбин, сядя на диван.

– Теперь? 40

– Да.

– В другой раз с моим удовольствием, граф! а теперь я устал и соснуть собираюсь. Не угодно ли винца? доброе винцо.

– А я теперь хочу поиграть немножко.

– Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет; а я не буду, граф! Вы уж, пожалуйста, меня извините.

– Так не будете?

Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.

– Ни за что не будете?

Опять тот же жест.

– А я вас очень прошу... Что ж, будете играть?..

10 Молчание.

– Будете играть? – второй раз спросил граф. – Смотрите!

То же молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа.

– Будете играть? – громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка рейнвейна упала и разлилась. – Ведь вы нечисто выиграли? Будете играть? третий раз спрашиваю.

– Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф! и вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку, – заметил Лухнов, не поднимая глаз.

20 Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги, – и закричал таким пронзительно-отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда представительной фигуры. Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал было на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты.

30 – Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам, в своем номере еще пробуду полчаса, – прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.

– Мошенник! грабитель!.. – послышалось оттуда. – Под уголовный подведу!

40 Ильин все так же, не обратив никакого внимания на обещания графа выручить его, лежал у себя в номере на диване, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших его душу, вызвала ласка участия графа, не покидало его. Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы – все было навеки потеряно. Источник слез начинал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще остава-

вливала его внимание. В это время послышались твердые шаги графа.

На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство.

– На! отыграл! – сказал он, бросая на стол несколько кип асигнаций. – Сочти, все ли? Да приходи скорей в общую залу, я сейчас еду, – прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице улана; и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты. 10

VIII

Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтоб сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы триста рублей с воротником стоит, и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменил на шинель у предводителя; но Турбин сказал, что искать шинели не нужно, и пошел в свой номер переодеваться.

Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник, потребовав водки, приглашал всех господ ехать сейчас к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек 20
глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепьянах души больше, а на гитаре бемолей нельзя брать. Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтоб повеличать еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что *барорай* (по-цыгански: граф или князь, или, точнее, большой барин) прогневается. Вообще, уже догорала во всех последняя искра разгула.

– Ну, на прощанье еще песню и марш по домам, – сказал 30
граф, свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье.

Цыгане снова расположились кружком и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа.

– У меня всего было пятнадцать тысяч казенных, а ты мне дал шестнадцать тысяч триста, – сказал он, – эти твои, стало быть.

– Хорошее дело! давай!

Ильин отдал деньги, робко глядя на графа, открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы 40
выступили на глаза, потом схватил руку графа и начал жать ее.

– Убирайся, Илюшка!.. слушай меня... на вот тебе деньги; только провожать меня с песнями до заставы. – И он бросил ему на гитару тысячу триста рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать сто рублей, которые занял у него вчера.

Уже было десять часов утра. Солнышко поднялось выше крыш, народ сновал по улицам, купцы давно отворили лавки, дворяне и чиновники ездили по улицам, барыни ходили по гостиному двору, когда ватага цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек, Ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и оттепель. Три ямские тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Граф, Ильин, Стешка, Илюшка и Сашка-денщик сели в первые сани. Блюхер выходил из себя и, махая хвостом, лаял на коренную. В другие сани уселись другие господа, тоже с цыганками и цыганами. От самой гостиницы сани выровнялись, и цыгане затянули хоровую песню.

Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы.

Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и особенно знакомые, видя благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганами.

Когда выехали за заставу, тройки остановились, и все стали прощаться с графом.

Ильин, выпивший довольно много на прощанье и все время правивший сам лошадьми, вдруг сделался печален, стал угоривать графа остаться еще на денек, но когда убедился, что это было невозможно, совершенно неожиданно, со слезами, бросился целовать своего нового друга и обещал, что, как придет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, в котором служил Турбин. Граф был особенно весел, кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в сугроб, исправника травил Блюхером, Стешку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву и наконец вскочил в сани, посадил рядом с собой Блюхера, который все хотел стоять на середине. Сашка, попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у *них* графскую шинель и прислать ее, тоже вскочил на козлы. Граф крикнул: «пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались.

Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело на талом, прозрачной корой обледеневшем снегу и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валил пар. Колокольчик побрякивал. Какой-то мужичок с возом на раскатывающихся санишках, подергивая веревочными вожжами, торопливо сторонился, бегом шлепая промокнувшими лаптишками по оттаявшей дороге; толстая, красная крестьянская баба с ребенком за овчинной пазухой сидела на другом возу, погоняя концами вожжей белую шелохвостую клячонку. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна. 10

— Назад! — крикнул он.

Ямщик не понял вдруг.

— Поворачивай назад! пошел в город! живо!

Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцовой. Граф быстро взбежал на лестницу, прошел переднюю, гостиную и, застав вдовушку еще спящую, взял ее на руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна спросонков только облизывалась и спрашивала: «Что случилось?» Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о Стешке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К. 20

IX

Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарелось, еще больше родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дурного старого погибло, много прекрасного молодого выросло и еще больше недоросшего, уродливого молодого появилось на свет Божий. 30

Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арапником на улице; сын, две капли воды похожий на него, был уже двадцатитрехлетний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью природы любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, 40

благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно: двадцати трех лет уже был поручиком... При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон.

В мае месяце 1848 года С. гусарский полк проходил походом К. губернию, и тот самый эскадрон, которым командовал граф молодой Турбин, должен был ночевать в Морозовке, деревне Анны Федоровны. Анна Федоровна была жива, но уже так немолода, что сама не считала себя больше молодою, что много значит для женщины. Она очень растолстела, что, говорят, молодит женщину; но и на этой белой толщине были заметны крупные, мягкие морщины. Она уж не ездила никогда в город, с трудом даже влезала в экипаж, но так же была добродушна и все так же глупенька, – можно теперь сказать правду, когда она уже не подкупает своей красотой. С ней вместе жили ее дочь Лиза, двадцатитрехлетняя русская деревенская красавица, и братец, нам знакомый кавалерист, промотавший по добродушию все свое имение и стариком приютившийся у Анны Федоровны. Волоса на голове его были седые совершенно; верхняя губа упала, но над нею усы тщательно были вычернены. Морщины покрывали не только его лоб и щеки, но даже нос и шею, спина согнулась; а все-таки в слабых кривых ногах видны были приемы старого кавалериста.

В небольшой гостиной старого домика, с открытыми балконной дверью и окнами на старинный звездобразный липовый сад, сидело все семейство и домашние Анны Федоровны. Анна Федоровна, с седой головой, в лиловой кацавейке, на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна, в чистеньких белых панталончиках и синем сюртучке, вязал на рогульке снурочек из белой бумаги – занятие, которому его научила племянница и которое он очень полюбил, так как делать он уж ничего не мог и для чтения газеты, любимого его занятия, глаза уже были слабы. Пимочка, воспитанница Анны Федоровны, подле него твердила урок под руководством Лизы, вязавшей вместе с тем на деревянных спицах чулки из козьего пуха для дяди. Последние лучи заходящего солнца, как и всегда в эту пору, бросали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее окно и этажерку, стоявшую около него. В саду и в комнате было так тихо, что слышалось, как за окном быстро прошумит крыльями ласточка, или в комнате тихо вздохнет Анна Федоровна, или покряхтит старичок, перекладывая ногу на ногу.

– Как это кладется? Лизанька, покажи-ка! Я все забываю, – сказала Анна Федоровна, остановясь в раскладывании пасьянса.

Лиза, не переставая работать, подошла к матери и взглянула на карты.

– Ах, вы перепутали, голубушка мамаша! – сказала она, перекладывая карты, – вот так надо было. Все-таки сбудется, что вы загадали, – прибавила она, незаметно снимая одну карту.

– Ну, уж ты всегда меня обманываешь: говоришь, что вышло.

– Нет, право, значит удастся. Вышло.

– Ну, хорошо, хорошо, баловница! Да не пора ли чаю? 10

– Я уж велела разогреть самовар. Сейчас пойду. Вам сюда принести?.. Ну, кончай, Пимочка, скорей урок и пойдем бегать.

И Лиза вышла из двери.

– Лизочка! Лизанька! – заговорил дядя, пристально вглядываясь в свою рогульку, – опять, кажется, спустил петлю. Подними, голубчик!

– Сейчас, сейчас! только сахар отдам наколоть.

И действительно, она через три минуты вбежала в комнату, подошла к дяде и взяла его за ухо.

– Вот вам, чтобы не спускали петлей, – сказала она, смеясь, – 20 урок и не довязали.

– Ну, полно, полно; поправь же, какой-то узелочек был, видно.

Лиза взяла рогульку, вынула булавку у себя из косыночки, которую при этом распахнуло немного ветром из окна, и как-то булавочкой добыла петлю, протянула раза два и передала рогульку дяде.

– Ну, поцелуйте же меня за это, – сказала она, подставив ему румяную щечку и закалывая косынку, – вам с ромом нынче чаю. Нынче ведь пятница.

И она опять ушла в чайную. 30

– Дяденька, идите смотреть; гусары идут к нам! – послышался оттуда звучный голосок.

Анна Федоровна вместе с братцем вошли в чайную комнату, из которой окна были на деревню, посмотреть гусаров. Из окна очень мало было видно, заметно было только сквозь пыль, что какая-то толпа двигается.

– А жаль, сстрица, – заметил дядя Анне Федоровне, – жаль, что так тесно и флигель не отстроен еще, попросить бы к нам офицеров. Гусарские офицеры – ведь это все такая молодежь славная, веселая; посмотрел бы хоть на них. 40

– Что ж, я бы душой рада; да ведь вы сами знаете, братец, что негде: моя спальня, Лизина горница, гостиная да вот эта ваша комната – вот и все. Где же их тут поместить, сами посудите. Им

старостину избу очистил Михайло Матвеев, говорит – чисто тоже.

– А мы бы тебе, Лизочка, из них жениха приискали, славного гусара! – сказал дядя.

– Нет, я не хочу гусара; я хочу улана: ведь вы в уланах служили, дядя?.. А я этих знать не хочу. Они все отчаянные, говорят.

И Лиза покраснела немного; но снова засмеялась своим звучным смехом.

10 – Вот и Устюшка бежит; надо спросить ее, что видела, – ска- зала она.

Анна Федоровна велела позвать Устюшку.

– Нет того, чтоб посидеть за работой; какая надобность бе- гать на солдат смотреть, – сказала Анна Федоровна. – Ну, что, где поместились офицеры?

– У Еремкиных, сударыня. Два их, красавцы такие: один граф, сказывают.

– А фамилия как?

– Казаров ли, Турбинов ли; не запомнила, виновата-с.

20 – Вот дура, ничего и рассказать не умеет. Хоть бы узнала, как фамилия.

– Что ж, я сбегаю.

– Да уж я знаю, что ты на это мастерица, – нет, пускай Дани- ло ходит; скажите ему, братец, чтоб он ходил да спросил: не нужно ли чего-нибудь офицерам-то; все учтивость надо сделать, что барыня, *мол*, спросить велела.

Старики снова уселись в чайную, а Лиза пошла в девичью по- ложить в ящик наколотый сахар. Устюша рассказывала там про гусаров.

30 – Барышня, голубушка, вот красавчик этот граф-то, – гово- рила она, – просто херувимчик чернобровый. Вот бы вам такого женишка, так уж точно бы парочка была.

Другие горничные одобрительно улыбнулись; старая няня, сидевшая у окна с чулком, вздохнула и прочитала даже, втягивая в себя дух, какую-то молитву.

– Так вот как тебе понравились гусары, – сказала Лиза, – да ведь ты мастерица рассказывать. Принеси, пожалуйста, морсу, Устюша, – кисленьким гусаров поить.

И Лиза, смеясь, с сахарницей вышла из комнаты.

40 «А хотелось бы посмотреть, что это за гусар такой, – думала она, – брюнет или блондин? И он ведь рад бы был, я думаю, по- знакомиться с нами. А пройдет, так и не узнает, что я тут была и об нем думала. И сколько уж этаких прошло мимо меня. Никто меня не видит, кроме дяденьки да Устюши. Как бы я ни зачеса-

лась, какие бы рукава ни надела – никто и не полюбуется, подумала она, вздохнув, глядя на свою белую, полную руку. Он должен быть высок ростом, большие глаза, верно, маленькие черные усики. Нет, вот уж двадцать два года минуло, а никто в меня не влюбился, кроме Иван Ипатыча рябого; а четыре года тому назад я еще лучше была; и так, никому не на радость, прошла моя девичья молодость. Ах, я несчастная, несчастная деревенская барышня».

Голос матери, звавшей ее разливать чай, вызвал деревенскую барышню из этой минутной задумчивости. Она встряхнула головой и вошла в чайную. 10

Лучшие вещи всегда выходят нечаянно; а чем больше стараешься, тем выходит хуже. В деревнях редко стараются давать воспитание и потому нечаянно большую часть дают прекрасное. Так и случилось, в особенности с Лизой. Анна Федоровна, по ограниченности ума и беззаботности нрава, не давала никакого воспитания Лизе: не учила ее ни музыке, ни столь полезному французскому языку, а нечаянно родила от покойного мужа здоровенькое, хорошенькое дитя – дочку, отдала ее кормилице и няньке, кормила ее, одевала в ситцевые платица и козловые башмачки, посылала гулять и собирать грибы и ягоды, учила ее грамоте и арифметике посредством нанятого семинариста, и нечаянно чрез шестнадцать лет увидела в Лизе подругу и всегда веселую, добродушную и деятельную хозяйку в доме. У Анны Федоровны, по добродушию ее, всегда бывали воспитанницы или из крепостных, или из подкидышей. Лиза с десяти лет уже стала заниматься ими: учить, одевать, водить в церковь и останавливать, когда они уже слишком шалили. Потом явился дряхлый, добродушный дядя, за которым надо было ходить, как за ребенком. Потом дворовые и мужики, обращавшиеся к молодой барышне с просьбами и с недугами, которые она лечила бузиной, мятой и камфарным спиртом. Потом домашнее хозяйство, перешедшее нечаянно все в ее руки. Потом неудовлетворенная потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина. Правда, были маленькие тщеславные страдания при виде соседок в модных шляпках, привезенных из К., стоящих рядом с ней в церкви; были досады до слез на старую, ворчливую мать за ее капризы; были и любовные мечты в самых нелепых и иногда грубых формах, – но полезная и сделавшаяся необходимостью деятельность разгоняла их, и в двадцать два года ни одного пятна, ни одного угрызения не запало в светлую, спокойную душу полной физической и моральной красоты развившейся девушки. Лиза была среднего 40

роста, скорее полная, чем худая; глаза у ней были карие, небольшие, с легким темным оттенком на нижнем веке; длинная и русая коса. Походка у ней была широкая, с развальцем – уточкой, как говорится. Выражение лица ее, когда она была занята делом и ничто особенно не волновало ее, так и говорило всем, кто вглядывался в него: хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста. Даже в минуты досады, смущения, тревоги или печали сквозь слезу, нахмуренную левую бровку, сжатые губки так и светилось, как назло ее желанию, на ямках щек, на краях губ и в
10 блестящих глазках, привыкших улыбаться и радоваться жизнью, – так и светилось не испорченное умом, доброе, прямое сердце.

Х

Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступал в Морозовку. Впереди, по пыльной улице деревни, рысцой, оглядываясь и с мычаньем изредка останавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону. Крестьянские старики, бабы, дети и дворовые жадно смотрели на гусар, толпясь по обеим сторонам улицы. В густом облаке пыли, на
20 вороных, замуштученных, изредка пофыркивающих конях, топая, двигались гусары. С правой стороны эскадрона, распушенно сидя на красивых вороних лошадях, ехали два офицера. Один был командир, граф Турбин, другой – очень молодой человек, недавно произведенный из юнкеров, Полозов.

Из лучшей избы вышел гусар в белом кителе и, сняв фуражку, подошел к офицерам.

– Где квартира для нас отведена? – спросил его граф.

– Для вашего сиятельства? – отвечал квартирьер, вздрогнув всем телом, – здесь, у старосты, избу очистил. Требовал на барском дворе, так говорят, нетути. Помещица такая злющая.

30 – Ну, хорошо, – сказал граф, слезая и расправляя ноги у старостиной избы, – а что, коляска моя приехала?

– Изволила прибыть, ваше сиятельство! – отвечал квартирьер, указывая фуражкой на кожаный кузов коляски, видневшийся в воротах, и бросаясь вперед в сени избы, набитой крестьянским семейством, собравшимся посмотреть на офицера. Одну старушку он даже столкнул с ног, бойко отворяя дверь в очищенную избу и сторонясь перед графом.

Изба была довольно большая и просторная, но не совсем чистая. Немец-камердинер, одетый как барин, стоял в избе и, уставив железную кровать и постлав ее, разбирал белье из чемодана.
40

– Фу, мерзость какая квартира! – сказал граф с досадой. – Дяденко! разве нельзя было лучше отвести, у помещика где-нибудь?

– Коли ваше сиятельство прикажете, я пойду выгоню кого на барский двор, – отвечал Дяденко, – да домишко-то некорыстный, не лучше избы показывает.

– Теперь уж не надо. Ступай.

И граф лег на постель, закинув за голову руки.

– Иоган! – крикнул он на камердинера, – опять бугор посередине сделал! Как ты не умеешь постелить хорошенько.

Иоган хотел поправить.

– Нет, уж не надо теперь... А халат где? – продолжал он недовольным голосом.

Слуга подал халат.

Граф, прежде чем надевать его, посмотрел полу.

– Так и есть, не вывел пятна. То есть можно ли хуже тебя служить! – прибавил он, вырывая у него из рук халат и надевая его, – ты, скажи, это нарочно делаешь?.. Чай готов?..

– Я не мог успевать, – отвечал Иоган.

– Дурак!

После этого граф взял приготовленный французский роман и довольно долго молча читал его; а Иоган вышел в сени раздуть самовар. Видно было, что граф был в дурном расположении духа, – должно быть, под влиянием усталости, пыльного лица, узкого платья и голодного желудка.

– Иоган! – крикнул он снова, – подай счет десяти рублей. Что ты купил в городе?

Граф посмотрел поданный счет и сделал недовольные замечания насчет дороговизны покупок.

– К чаю рому подай.

– Рому не покупал, – сказал Иоган.

– Отлично! сколько раз я тебе говорил, чтоб был ром!

– Денег не доставало.

– Отчего же Полозов не купил? Ты бы у его человека взял.

– Корнет Полозов? не знаю. Они купили чаю и сахару.

– Скотина!.. Ступай!.. Только ты один умеешь меня выводить из терпения... Знаешь, что я всегда пью чай в походе с ромом.

– Вот два письма из штаба к вам, – сказал камердинер.

Граф лежа распечатал письма и начал читать. Вошел с веселым лицом корнет, отводивший эскадрон.

– Ну что, Турбин? Тут, кажется, хорошо. А устал-таки я, признаюсь. Жарко было.

– Очень хорошо! Поганая вонючая изба и рому нет по твоей милости: твой болван не купил, и этот тоже. Ты бы хоть сказал.

10

20

30

40

И он продолжал читать. Дочитав до конца письмо, он смял его и бросил на пол.

– Отчего же ты не купил рому? – спрашивал в это время в сенях корнет шепотом у своего денщика, – ведь у тебя деньги были?

– Да что ж мы одни все покупать будем! И так все я расход держу; а ихний немец только трубку курит, да и все.

Второе письмо было, видно, не неприятно, потому что граф, улыбаясь, читал его.

10 – От кого это? – спросил Полозов, возвратясь в комнату и устроивая себе ночлег на досках подле печки.

– От Мины, – весело отвечал граф, подавая ему письмо. – Хочешь прочесть? Что это за прелесть женщина!.. Ну, право, лучше наших барышень... Посмотри, сколько тут чувства и ума, в этом письме!.. Одно нехорошо – денег просит.

– Да, это нехорошо, – заметил корнет.

– Я ей, правда, обещал; да тут поход, да и... впрочем, ежели прокомандую еще месяца три эскадронам, я ей пошлю. Не жалко, право: что за прелесть!.. а? – говорил он, улыбаясь, следя глазами за выражением лица Полозова, который читал письмо.

20 – Безграмотно ужасно, но мило, и кажется, что она точно тебя любит, – отвечал корнет.

– Гм! еще бы! Только эти женщины и любят истинно, когда уж любят.

– А то письмо от кого? – спросил корнет, передавая то, которое он читал.

– Так... это там есть господин один, дрянной очень, которому я должен по картам, и он уже третий раз напоминает... не могу я 30 отдать теперь... глупое письмо! – отвечал граф, видимо огорченный этим воспоминанием.

Довольно долго после этого разговора оба офицера молчали. Корнет, видимо находившийся под влиянием графа, молча пил чай, изредка поглядывая на красивую отуманившуюся наружность Турбина, пристально глядевшего в окно, и не решался начать разговора.

– А что, ведь может отлично выйти, – вдруг, обернувшись к Полозову и весело потрянув головой, сказал граф, – ежели у нас по линии будет в нынешнем году производство, да еще в дело по- 40 падем, я могу своих ротмистров гвардии перегнуть.

Разговор и за вторым стаканом чаю продолжался на эту тему, когда вошел старый Данило и передал приказание Анны Федоровны.

– Да еще приказали спросить, не сынок ли изволите быть графа Федора Иваныча Турбина? – добавил от себя Данило, узнавший фамилию офицера и помнивший еще приезд покойного графа в город К. – Наша барыня, Анна Федоровна, очень с ними знакомы были.

– Это мой отец был, да доложи барыне, что очень благодарен, ничего не нужно, только, мол, приказали просить, ежели бы можно, комнатку почище где-нибудь, в доме или где-нибудь.

– Ну зачем ты это? – сказал Полозов, когда Данило вышел, – разве не все равно? одна ночь здесь разве не все равно; а они будут стесняться. 10

– Вот еще! Кажется, довольно мы пошлялись по курным избам!.. Сейчас видно, что ты непрактический человек... Отчего же не воспользоваться, когда можно хоть на одну ночь поместиться как людям? А они, напротив, ужасно довольны будут. Одно только противно: ежели эта барыня точно знала отца, – продолжал граф, открывая улыбкой свои белые, блестящие зубы, – как-то всегда совестно за *папашу* покойного: всегда какая-нибудь история скандальная или долг какой-нибудь. От этого я терпеть не могу встречать этих отцовских знакомых. Впрочем, тогда век такой был, – добавил он уже серьезно. 20

– А я тебе не рассказывал, – сказал Полозов, – я как-то встретил уланской бригады командира Ильина. Он тебя очень хотел видеть и без памяти любит твоего отца.

– Он, кажется, ужасная дрянь, этот Ильин. А главное, что все эти господа, которые уверяют, что знали моего отца, чтоб поддаться ко мне, и как будто очень милые вещи рассказывают про отца такие штуки, что слушать совестно. Оно правда, я не увлекаюсь и беспристрастно смотрю на вещи, – он был слишком пылкий человек, иногда и не совсем хорошие штуки делал. Впрочем, все дело времени. В наш век он, может быть, вышел бы и очень дельный человек, потому что способности-то у него были огромные, надо отдать справедливость. 30

Через четверть часа вернулся слуга и передал просьбу помещицы пожаловать ночевать в доме.

XI

Узнав, что гусарский офицер был сын графа Федора Турбина, Анна Федоровна захлопоталась.

– А, батюшки мои! голубчик он мой!.. Данило! скорей беги, скажи: барыня к себе просит, – заговорила она, вскакивая и скорыми шагами направляясь в девичью. – Лизанька! Устюшка! 40

приготовить надо твою комнату, Лиза. Ты перейди к дяде; а вы, братец... братец! вы в гостиной уж ночуйте. Одну ночь ничего.

– Ничего, сестрица! я на полу лягу.

– Красавчик, я чай, коли на отца похож. Хоть погляжу на него, на голубчика... Вот ты посмотри, Лиза! А отец красавец был... Куда несешь стол? оставь тут, – суегилась Анна Федоровна, – да две кровати принеси – одну у приказчика возьми; да на этажерке подсвечник хрустальный возьми, что мне братец в именины подарил, и калетовскую свечу поставь.

10 Наконец все было готово. Лиза, несмотря на вмешательство матери, устроила по-своему свою комнатку для двух офицеров. Она достала чистое, надушенное резедой постельное белье и приготовила постели, велела поставить графин воды и свечи подле на столике; накурила бумажкой в девичьей и сама перебралась с своею постелькой в комнату дяди. Анна Федоровна успокоилась немного, уселась опять на свое место, взяла было даже в руки карты, но, не раскладывая их, оперлась на пухлый локоть и задумалась. «Времечко-то, времечко как летит! – шепотом про себя твердила она. – Давно ли, кажется? как теперь гляжу на него. Ах, шалун был! – и у нее
20 слезы выступили на глаза. – Теперь Лизанька... но все она не то, что я была в ее года-то... хороша девочка, но нет, не то...»

– Лизанька, ты бы платице муслин-де-леневое надела к вечеру.

– Да разве вы их будете звать, мамаша? Лучше не надо, – отвечала Лиза, испытывая непреодолимое волнение при мысли видеть офицеров, – лучше не надо, мамаша!

Действительно, она не столько желала их видеть, сколько боялась какого-то волнующего счастья, которое, как ей казалось, ожидало ее.

– Может быть, сами захотят познакомиться, Лизочка! – сказала Анна Федоровна, глядя ее по волосам и вместе с тем думая:
30 «Нет, не те волоса, какие у меня были в ее годы... Нет, Лизочка, как бы я желала тебе...» И она точно чего-то очень желала для своей дочери; но женитьбы с графом она не могла предполагать, тех отношений, которые были с отцом его, она не могла желать, – но чего-то такого она очень, очень желала для своей дочери. Ей хотелось, может быть, пожить еще раз в душе дочери той же жизнью, которою она жила с покойником.

Старичок кавалерист тоже был несколько взволнован приездом графа. Он вышел в свою комнату и заперся в ней. Через четверть часа он явился оттуда в венгерке и голубых панталонах и с смущенно-довольным выражением лица, с которым девушка в первый раз надевает бальное платье, пошел в назначенную для гостей комнату.

– Посмотрю на нынешних гусаров, сестрица! Покойник граф точно истинный гусар был. Посмотрю, посмотрю.

Офицеры пришли уже с заднего крыльца в назначенную для них комнату.

– Ну, вот видишь ли, – сказал граф, как был, в пыльных сапогах, ложась на приготовленную постель, – разве тут не лучше, чем в избе с тараканами!

– Лучше-то лучше, да как-то обязываться хозяевам...

– Вот вздор! Надо во всем быть практическим человеком. Они ужасно довольны, наверно... Человек! – крикнул он, – спроси чего-нибудь завесить это окошко; а то ночью дуть будет. 10

В это время вошел старичок знакомиться с офицерами. Он, хотя и краснея несколько, разумеется не преминул рассказать о том, что был товарищем покойного графа, что пользовался его расположением, и даже сказал, что он не раз был благодетельствован покойником. Разумел ли он под благодеяниями покойного то, что тот так и не отдал ему занятых ста рублей, или то, что бросил его в сугроб, или что ругал его, – старичок не объяснил нисколько. Граф был весьма учтив с старичком кавалеристом и благодарил за помещение. 20

– Уж извините, что не роскошно, граф (он чуть было не сказал: ваше сиятельство, – так уж отвык от обращения с важными людьми): домик сестрицы маленький. А вот это сейчас завесим чем-нибудь, и будет хорошо, – прибавил старичок и, под предлогом занавески, но главное, чтоб рассказать поскорее про офицеров, шаркая, вышел из комнаты.

Хорошенькая Устюша с барыниной шалью пришла завесить окно. Кроме того, барыня приказала ей спросить, не угодно ли господам чаю.

Хорошее помещение, по-видимому, благоприятно подействовало на расположение духа графа: он, весело улыбаясь, пошутил с Устюшей, так что Устюша назвала его даже шалуном, расспросил ее, хороша ли их барышня, и на вопрос ее, не угодно ли чаю, отвечал, что чаю, пожалуй, пусть принесут, а главное, что свой ужин еще не готов, так нельзя ли теперь водки, закусить чего-нибудь и хересу, ежели есть. 30

Дядюшка был в восторге от учтивости молодого графа и превозносил до небес молодое поколение офицеров, говоря, что нынешние люди не в пример авантажнее прежних.

Анна Федоровна не соглашалась – лучше графа Федора Ивановича никто не был, – и наконец уже серьезно рассердилась, сухо замечала только, что «для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучше. Известно, теперь, конечно, люди умнее стали, 40

а что все-таки граф Федор Иванович так танцевал экосес и так любезен был, что тогда все, можно сказать, без ума от него были; только он ни с кем, кроме меня, не занимался. Стало быть, и в старину были хорошие люди».

В это время пришло известие о требовании водки, закуски и хереса.

– Ну вот, как же вы, братец! Вы всегда не то сделаете. Надо было заказать ужинать, – заговорила Анна Федоровна. – Лиза! распорядись, дружок!

10 Лиза побежала в кладовую за грибками и свежим сливочным маслом, повару заказали битки.

– Только хересу у вас осталось, братец?

– Нету, сестрица! у меня и не было.

– Как же нету! а вы что-то пьете такое с чаем.

– Это ром, Анна Федоровна.

– Разве не все равно? Вы дайте этого, все равно – ром. Да уж не попросить ли их лучше сюда, братец? Вы все знаете. Они, кажется, не обидятся?

Кавалерист объявил, что он ручается за то, что граф по доброте своей не откажется и что он приведет их непременно. Анна Федоровна пошла надеть для чего-то платье гро-гро и новый чепец; а Лиза так была занята, что и не успела снять розового холстинкового платья с широкими рукавами, которое было на ней. Притом она была ужасно взволнована: ей казалось, что ждет ее что-то поразительное, точно низкая черная туча нависла над ее душой. Этот граф-гусар, красавец, казался ей каким-то совершенно новым для нее, непонятым, но прекрасным существом. Его нрав, его привычки, его речи – все должно было быть такое необыкновенное, какого она никогда не встречала. Все, что он
30 думает и говорит, должно быть умно и правда; все, что он делает, должно быть честно; вся его наружность должна быть прекрасна. Она не сомневалась в этом. Ежели бы он не только потребовал закуски и хересу, но ванну из шалфея с духами, она бы не удивилась, не обвиняла бы его и была бы твердо уверена, что это так нужно и должно.

Граф тотчас же согласился, когда кавалерист выразил ему желание сестрицы, причесал волосы, надел шинель и взял сигарочницу.

40 – Пойдем же, – сказал он Полозову.

– Право, лучше не ходить, – отвечал корнет, – ils feront des frais pour nous recevoir¹.

¹ они израсходуются для того, чтобы принять нас (фр.).

– Вздор! это их осчастливит. Да я уж и навел справки: там дочка хорошенькая есть... Пойдем, – сказал граф по-французски.

– Je vous en prie, messieurs!² – сказал кавалерист только для того, чтобы дать почувствовать, что и он знает по-французски и понял то, что сказали офицеры.

XII

Лиза покраснела и, потупясь, будто бы занялась доливанием чайника, боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату. Анна Федоровна, напротив, торопливо вскочила, поклонилась и, не отрывая глаз от лица графа, начала говорить ему, то находя 10 необыкновенное сходство с отцом, то рекомендуя свою дочь, то предлагая чаю, варенья или пастилы деревенской. На корнета, по его скромному виду, никто не обращал внимания, чему он был очень рад, потому что, сколько возможно было прилично, всматривался и до подробностей разбирал красоту Лизы, которая, как видно, неожиданно поразила его. Дядя, слушая разговор сестры с графом, с готовой речью на устах выжидал случая порассказать свои кавалерийские воспоминания. Граф за чаем, закулив свою крепкую сигару, от которой с трудом сдерживала кашель Лиза, был очень разговорчив, любезен, сначала, в промежутки непрерывных речей Анны Федоровны, вставляя свои рассказы, а под 20 конец один овладев разговором. Одно немного странно поражало его слушателей: в рассказах своих он часто говорил слова, которые, не считаясь предосудительными в его обществе, здесь были несколько смелы. Причем Анна Федоровна пугалась немного, а Лиза до ушей краснела; но граф не замечал этого и был все так же спокойно прост и любезен. Лиза молча наливала стаканы, не подавая в руки гостям, ставила их поближе к ним и, еще не оправясь от волнения, жадно вслушивалась в речи графа. Его незамысловатые рассказы, запинки в разговоре понемногу успокоивали ее. Она не 30 слышала от него предполагаемых ею очень умных вещей, не видела той изящности во всем, которую она смутно ожидала найти в нем. Даже при третьем стакане чаю, после того как робкие глаза ее встретились раз с его глазами и он не опустил их, а как-то слишком спокойно продолжал, чуть-чуть улыбаясь, глядеть на нее, она почувствовала себя даже несколько враждебно расположенной к нему и скоро нашла, что не только ничего не было в нем особенного, но он несколько не отличался от всех тех, кого она видела, что не стоило бояться его, – только ногти чистые, длинные, а да-

² Прошу вас, господа! (фр.)

же и красоты особенной нет в нем. Лиза вдруг, не без некоторой внутренней тоски расставшись с своей мечтой, успокоилась, и только взгляд молчаливого корнета, который она чувствовала устремленным на себя, беспокоил ее. «Может быть, это не он, а он!» – думала она.

ХІІІ

После чаю старушка пригласила гостей в другую комнату и снова уселась на свое место.

– Да вы отдохнуть не хотите ли, граф? – спрашивала она. –
10 Так чем бы вас занять, дорогих гостей? – продолжала она после отрицательного ответа. – Вы играете в карты, граф? Вот бы вы, братец, заняли, партию бы составили во что-нибудь...

– Да ведь вы сами играете в преферанс, – отвечал кавалерист, – так уж вместе давайте. Будете, граф? и вы будете?

Офицеры изъявили согласие делать все то, что угодно будет любезным хозяевам.

Лиза принесла из своей комнаты свои старые карты, в которые она гадала о том, скоро ли пройдет флюс у Анны Федоровны, вернется ли нынче дядя из города, когда он уезжал, придет
20 ли сегодня соседка и т. д. Карты эти, хотя служили уже месяца два, были почище тех, в которые гадала Анна Федоровна.

– Только вы не станете по маленькой играть, может быть? – спросил дядя. – Мы играем с Анной Федоровной по полкопейки... И то она нас всех обыгрывает.

– Ах, почем прикажете, я очень рад, – отвечал граф.

– Ну, так по копейке ассигнациями! уж для дорогих гостей идет: пускай они меня обыграют, старуху, – сказала Анна Федоровна, широко усаживаясь в своем кресле и расправляя свою мантилию.

30 «А может, и выиграю у них целковый», – подумала Анна Федоровна, получившая под старость маленькую страсть к картам.

– Хотите, я вас выучу с табелькой играть, – сказал граф, – и с мизерами! Это очень весело.

Всем очень понравилась новая петербургская манера. Дядя уверял даже, что он ее знал, и это то же, что в бостон было, но забыл только немного. Анна же Федоровна ничего не поняла и так долго не понимала, что нашлась вынужденной, улыбаясь и одобрительно кивая головой, утверждать, что теперь она поймет и все для нее ясно. Немало было смеху в середине игры, когда
40 Анна Федоровна с тузом и королем бланк говорила мизер и оставалась с шестью. Она даже начинала теряться, робко улыбаться

и торопливо уверять, что не совсем еще привыкла по-новому. Однако на нее записывали, и много, тем более, что граф, по привычке играть большую коммерческую игру, играл сдержанно, подводил очень хорошо и никак не понимал толчков под столом ногой корнета и грубых его ошибок в вистованье.

Лиза принесла еще пастилы, трех сортов варенья и сохранившиеся особенного моченья опортовые яблоки и остановилась за спиной матери, вглядываясь в игру и изредка поглядывая на офицеров и в особенности на белые с тонкими розовыми отделанными ногтями руки графа, которые так опытно, уверенно и красиво бросали карты и брали взятки. 10

Опять Анна Федоровна, с некоторым азартом перебивая у других, докупившись до семи, обремизилась без трех и, по требованию братца уродливо изобразив какую-то цифру, совершенно растерялась и заторопилась.

– Ничего, мамаша, еще отыграетесь!.. – улыбаясь, сказала Лиза, желая вывести мать из смешного положения. – Вы дяденьку обремизите раз: тогда он попадетсЯ.

– Хоть бы ты мне помогла, Лизочка! – сказала Анна Федоровна, испуганно глядя на дочь. – Я не знаю, как это... 20

– Да и я не знаю по этому играть, – отвечала Лиза, мысленно считая ремизы матери. – А вы этак много проиграете, мамаша! и Пимочке на платье не останется, – прибавила она шутя.

– Да этак легко можно рублей десять серебром проиграть, – сказал корнет, глядя на Лизу и желая вступить с ней в разговор.

– Разве мы не ассигнациями играем? – оглядываясь на всех, спросила Анна Федоровна.

– Я не знаю как, только я не умею считать ассигнациями, – сказал граф. – Как это? то есть что это ассигнации?

– Да теперь уж никто ассигнациями не считает, – подхватил 30 дядюшка, который играл кремешком и был в выигрыше.

Старушка велела подать шипучки, выпила сама два бокала, покраснелась и, казалось, на все махнула рукой. Даже одна прядь седых волос выбилась у ней из-под чепца, и она не поправляла ее. Ей, верно, казалось, что она проиграла миллионы и что она совсем пропала. Корнет все чаще и чаще толкал ногой графа. Граф списывал ремизы старушки. Наконец партия кончилась. Как ни старалась Анна Федоровна, кривя душою, прибавлять свои записи и притворяться, что она ошибается в счете и не может счесть, как ни приходила в ужас от величины 40 своего проигрыша, в конце расчета оказалось, что она проиграла девятьсот двадцать призов. «Это ассигнациями выходит девять рублей?» – несколько раз спрашивала Анна Федоровна

и до тех пор не поняла всей громадности своего проигрыша, пока братец, к ужасу ее, не объяснил, что она проиграла тридцать два рубля с полтиной ассигнациями и что их нужно заплатить непременно. Граф даже не считал своего выигрыша, а тотчас по окончании игры встал и подошел к окну, у которого Лиза устанавливала закуску и выкладывала на тарелку грибки из банки к ужину, и совершенно спокойно и просто сделал то, чего весь вечер так желал и не мог сделать корнет, – вступил с ней в разговор о погоде.

10 Корнет же в это время находился в весьма неприятном положении. Анна Федоровна с уходом графа и особенно Лизы, поддерживавшей ее в веселом расположении духа, откровенно рассердилась.

– Однако как досадно, что мы вас так обыграли, – сказал Полозов, чтоб сказать что-нибудь. – Это просто бессовестно.

– Да еще бы, выдумали какие-то табели да мизеры! Я в них не умею: как же ассигнациями-то, сколько же выходит всего? – спрашивала она.

– Тридцать два рубля, тридцать два с полтинкой, – твердил кавалерист, находясь под влиянием выигрыша в игривом расположении духа, – давайте-ка денежки, сестрица... давайте-ка.

– И дам вам все; только уж больше не поймаете, нет! Это я и в жизнь не отыграюсь.

И Анна Федоровна ушла к себе, быстро раскачиваясь, вернулась назад и принесла девять рублей ассигнациями. Только по настоятельному требованию старичка она заплатила все.

На Полозова нашел некоторый страх, чтобы Анна Федоровна не выбрала его, ежели он заговорит с ней. Он молча потихоньку отошел от нее и присоединился к графу и Лизе, которые
30 разговаривали у открытого окна.

В комнате на накрытом для ужина столе стояли две сальные свечи. Свет их изредка колыхался от свежего, теплого дуновения майской ночи. В окне, открытом в сад, было тоже светло, но совершенно иначе, чем в комнате. Почти полный месяц, уже теряя золотистый оттенок, всплывал над верхушками высоких лип и больше и больше освещал белые тонкие тучки, изредка застилавшие его. На пруде, которого поверхность, в одном месте посеребренная месяцем, виднелась сквозь аллеи, заливались лягушки. В сиреновом душистом кусте под самым окном, изредка медленно качавшем влажными цветами, чуть-чуть перепрыгивали и
40 встряхивались какие-то птички.

– Какая чудная погода! – сказал граф, подходя к Лизе и садясь на низкое окно, – вы, я думаю, много гуляете?

– Да, – отвечала Лиза, не чувствуя почему-то уже ни малейшего смущения в беседе с графом, – я по утрам, часов в семь, по хозяйству хожу, так и гуляю немножко с Пимочкой – маменькиной воспитанницей.

– Приятно в деревне жить! – сказал граф, вставив в глаз стеклышко, глядя то на сад, то на Лизу, – а по ночам, при лунном свете, вы не ходите гулять?

– Нет. А вот в третьем годе мы с дяденькой каждую ночь гуляли, когда луна была. На него странная какая-то болезнь – бессонница – находила. Как полная луна, так он заснуть не мог. Комнатка же его, вот эта, прямо на сад, и окошко низенькое: луна прямо к нему ударяла. 10

– Странно, – заметил граф, – да ведь это ваша комнатка, кажется?

– Нет, я только нынче тут ночую. Мою комнату вы занимаете.

– Неужели?.. Ах, Боже мой!.. Век себе не прощу этого беспокойства, – сказал граф, в знак искренности чувства выбрасывая стеклышко из глаза, – ежели бы я знал, что я вас потревожу...

– Что за беспокойство! Напротив, я очень рада: дяденькина комнатка такая чудесная, веселенькая, окошечко низенькое; я буду там себе сидеть, пока не засну, или в сад перелезу, погуляю еще на ночь. 20

«Экая славная девочка! – подумал граф, снова вставив стеклышко, глядя на нее и, как будто усаживаясь на окне, стараясь ногой тронуть ее ножку. – И как она хитро дала мне почувствовать, что я могу увидеть ее в саду у окна, коли захочу». Лиза даже потеряла в его глазах ббольшую часть прелести: так легка ему показалась победа над нею.

– А какое, должно быть, наслаждение, – сказал он, задумчиво взглядываясь в темные аллеи, – провести такую ночь в саду с существом, которое любишь. 30

Лиза смутилась несколько этими словами и повторенным, как будто нечаянным, прикосновением ноги. Она, прежде чем подумала, сказала что-то для того только, чтобы смущение ее не было заметно. Она сказала: «Да, славно в лунные ночи гулять». Ей становилось что-то неприятно. Она увязала банку, из которой выкладывала грибки, и собиралась уйти от окна, когда к ним подошел корнет, и ей захотелось узнать, что это за человек такой.

– Какая прелестная ночь! – сказал он.

«Однако только про погоду и разговаривают», – подумала Лиза. 40

– Какой вид чудесный! – продолжал корнет, – только вам, я думаю, уж надоело, – прибавил он, по странной, свойственной

ему склонности говорить вещи немного неприятные людям, которые ему очень нравились.

– Отчего ж вы так думаете? кушанье одно и то же, платье – надоест, а сад хороший не надоест, когда любишь гулять, особенно когда месяц еще повыше поднимется. Из дяденькиной комнаты весь пруд виден. Вот я нынче буду смотреть.

– А соловьев у вас нет, кажется? – спросил граф, весьма недовольный тем, что пришел Полозов и помешал ему узнать положительнее условия свиданья.

10 – Нет, у нас всегда были; только в прошлом году охотники одного поймали, и нынче, на прошлой неделе, славно запел было, да становой приехал с колокольчиком и спугнул. Мы, бывало, в третьем году, сядем с дяденькой в крытой аллее и часа два слушаем.

– Что эта болтушка вам рассказывает? – сказал дядя, подходя к разговаривающим, – закусить не угодно ли?

После ужина, во время которого граф похваливанием кушаний и аппетитом успел как-то рассеять несколько дурное расположение духа хозяйки, офицеры распрощались и пошли в свою комнату. Граф пожал руку дяде, к удивлению Анны Федоровны, и ее руку, не целуя, пожал только, пожал даже и руку Лизы, причем 20 взглянул ей прямо в глаза и слегка улыбнулся своею приятной улыбкой. Этот взгляд снова смутил девушку.

«А очень хорош, – подумала она, – только уж слишком занимается собой».

XIV

– Ну, как тебе не стыдно? – сказал Полозов, когда офицеры вернулись в свою комнату, – я старался нарочно проиграть, толкал тебя под столом. Ну, как тебе не совестно? Ведь старушка совсем огорчилась.

30 Граф ужасно расхохотался.

– Уморительная госпожа! как она обиделась!

И он опять принялся хохотать так весело, что даже Иоган, стоявший перед ним, потупился и слегка улыбнулся в сторону.

– Вот те и сын друга семейства!.. ха, ха, ха! – продолжал смеяться граф.

– Нет, право, это нехорошо. Мне ее жалко даже стало, – сказал корнет.

– Вот вздор! Как ты еще молод! Что ж, ты хотел, чтоб я проиграл? Зачем же я бы проиграл? И я проигрывал, когда не умел. 40 Десять рублей, братец, пригодятся. Надо смотреть практически на жизнь; а то всегда в дураках будешь.

Полозов замолчал; притом ему хотелось одному думать о Лизе, которая казалась ему необыкновенно чистым, прекрасным созданием. Он разделся и лег в мягкую и чистую постель, приготовленную для него.

«Что за вздор эти почести и слава военная! – думал он, глядя на завешенное шалью окно, сквозь которое прокрадывались бледные лучи месяца. – Вот счастье – жить в тихом уголке, с милой, умной, простой женою! Вот это прочное, истинное счастье!»

Но почему-то он не сообщал этих мечтаний своему другу и даже не упоминал о деревенской девушке, несмотря на то, что был уверен, что и граф о ней думал. 10

– Что ж ты не раздеваешься? – спросил он графа, который ходил по комнате.

– Не хочется еще спать что-то. Туши свечу, коли хочешь; я так лягу.

И он продолжал ходить взад и вперед.

– Не хочется еще спать что-то, – повторил Полозов, чувствуя себя после нынешнего вечера больше чем когда-нибудь недовольным влиянием графа и расположенным взбунтоваться против него. «Я воображаю, – рассуждал он, мысленно обращаясь к Турбину, – какие в твоей причесанной голове теперь мысли ходят! я видел, как тебе она понравилась. Но ты не в состоянии понять это простое, честное существо; тебе Мину надобно, полковничьи эполеты. Право, спрошу его, как она ему понравилась». 20

И Полозов было обернулся к нему, но раздумал: он чувствовал, что не только не в состоянии будет спорить с ним, если взгляд графа на Лизу тот, который он предполагал, но что даже не в силах будет не согласиться с ним; так уж он привык подчиняться влиянию, которое становилось для него с каждым днем тяжелее и несправедливее. 30

– Куда ты? – спросил он, когда граф надел фуражку и подошел к двери.

– Пойду на конюшню, посмотрю: все ли в порядке.

«Странно!» – подумал корнет, но потушил свечу и, стараясь разогнать нелепо-ревнивые и враждебные к прежнему своему другу мысли, лезшие ему в голову, перевернулся на другой бок.

Анна Федоровна этим временем, перекрестив и расцеловав, по обыкновению, нежно брата, дочь и воспитанницу, тоже удалась в свою комнату. Давно уж в один день не испытывала старушка столько сильных впечатлений, так что и молиться она не могла спокойно: все грустно-живое воспоминание о покойном графе и о молодом франтике, который так безбожно обыграл ее, не выходило у нее из головы. Однако же, по обыкновению, раз- 40

девшись, выпив полстакана квасу, приготовленного у постели на столике, она легла в постель. Любимая ее кошка тихо вползла в комнату. Анна Федоровна подозвала ее и стала гладить, вслушиваясь в ее мурлыканье, и все не засыпала.

«Это кошка мешает», – подумала она и прогнала ее. Кошка мягко упала на пол, медленно поворачивая пушистым хвостом, вскочила на лежанку; но тут девка, спавшая на полу в комнате, принесла стлать свой войлок, тушить свечку и зажигать лампадку. Наконец и девка захрапела; но сон все еще не приходил
10 к Анне Федоровне и не успокоивал ее расстроенного воображения. Лицо гусара так и представлялось ей, когда она закрывала глаза, и, казалось, являлось в различных странных видах в комнате, когда она с открытыми глазами при слабом свете лампадки смотрела на комод, на столик, на висевшее белое платье. То ей казалось жарко в перине, то несносно били часы на столике и невыносимо носом храпела девка. Она разбудила ее и велела перестать храпеть. Опять мысли о дочери, о старом и молодом графе, преферансе странно перемешивались в ее голове. То она видела себя в вальсе с старым графом, видела свои полные белые плечи,
20 чувствовала на них чьи-то поцелуи и потом видела свою дочь в объятиях молодого графа. Опять храпеть начала Устюшка...

«Нет, что-то не то теперь, люди не те. Тот в огонь за меня готов был. Да и было за что. А этот небось спит себе дурак дураком, рад, что выиграл, нет того, чтоб поволочиться. Как тот, бывало, говорит на коленях: “Что ты хочешь, чтоб я сделал: убил бы себя сейчас, и что хочешь?” – и убил бы, коли б я сказала».

Вдруг чьи-то босые шаги раздались по коридору, и Лиза в одном накинутом платке, вся бледная и дрожащая, вбежала в комнату и почти упала к матери на постель...

30 Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уж весь блестящий серебряным сияньем.

Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед ней совершенно в новом свете: старая капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые, мужики, обожающие барышню, дойные коровы и телки, – вся эта все та же столько раз умиравшая и
40 обновлявшаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что давало ей такой легкий, приятный душевный отдых, – все это вдруг показалось не *то*, все это показалось *скудно, ненужно*. Как будто кто-нибудь сказал ей:

«Дурочка, дурочка! двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье!» Она это думала теперь, глядя в глубину светлого, неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее; но он дурен, бедный, и молчалив как-то. Она невольно забывала его и с злобой и досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то», – говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен! Это был идеал, кото- 10
рый среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог бы быть любимым, – идеал, ни разу не обрезанный для того, что- бы слить его с какой-нибудь грубой действительностью.

Сначала уединение и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душу каждого из нас одинаково вложило Провидение, была еще цела и невозмутима в ее сердце; теперь же уже слишком долго она жила грустным счастьем чувствовать в себе присутствие этого чего-то и, изредка открывая таинственный сердечный сосуд, на- 20
слаждаться созерцанием его богатств, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь все то, что там было. Дай Бог, чтобы она до гроба наслаждалась этим скупым счастьем. Кто знает, не лучше ли и не сильнее ли оно? и не одно ли оно истинно и возможно?

«Господи Боже мой! – думала она, – неужели я даром потеря- ла счастье и молодость, и уж не будет... никогда не будет? неуже- ли это правда?» – и она вглядывалась в высокое, светлое около месяца небо, покрытое белыми волнистыми тучами, которые, за- стилая звездочки, подвигались к месяцу. «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит правда», – подумала она. 30
Туманная дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде: черные тени деревьев стали менее заметны. И, как будто вторя мрачной тени, осенившей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна росистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени.

«Нет, это неправда, – утешала она себя, – а вот если соловей запоет нынче ночью, то, значит, вздор все, что я думаю, и не надо отчаиваться», – подумала она. И долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осветилось и ожило и снова несколько раз набегали на месяц тучки и все померкало. 40
Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздававшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся

душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешительные слезы налили в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами.

Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась.
10 Но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты...

XV

Действительно, это был граф. Услышав крик девушки и кряхтенье сторожа за забором, отозвавшегося на этот крик, он опрометью, с чувством пойманного вора, бросился бежать по мокрой, росистой траве в глубину сада. «Ах я дурак! – твердил он
20 бессознательно. – Я ее испугал. Надо было тише, словами разбудить. Ах я скотина неловкая!» Он остановился и прислушался: сторож через калитку прошел в сад, волоча палку по песчаной дорожке. Надо было спрятаться. Он спустился к пруду. Лягушки торопливо, заставляя его вздрагивать, побултыкали из-под ног его в воду. Здесь, несмотря на промоченные ноги, он сел на корточки и стал припоминать все, что он делал: как он перелез через забор, искал ее окно и наконец увидал белую тень, как несколько раз, прислушиваясь к малейшему шороху, он подходил и отходил от окна, как то ему казалось несомненно, что она с досадой
30 на его медлительность ожидает его, то казалось, что это невозможно, чтобы она так легко решилась на свидание, как, наконец, предполагая, что она только от конфузливости уездной барышни притворяется, что спит, он решительно подошел и увидал ясно ее положение, но тут вдруг почему-то убежал опрометью назад и, только сильно устыдив трусостью самого себя, подошел к ней смело и тронул ее за руку. Сторож снова крикнул и, скрипнув калиткой, вышел из сада. Окно барышниной комнаты захлопнулось и заставилось ставешком изнутри. Графу это было ужасно досадно видеть. Он бы дорого дал, чтобы только можно было начать
40 опять все сначала: уж теперь бы он не поступил так глупо... «А чудесная барышня! свеженькая какая! просто прелесть! и так

прозевал. Глупая скотина я!» Притом спать уже ему не хотелось, и он решительными шагами раздосадованного человека пошел наудачу вперед по дорожке крытой липовой аллее.

И тут и для него эта ночь приносила свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви. Глинистая, кой-где с пробивающейся травкой или сухой веткой дорожка освещалась кружками, сквозь густую листву лип, прямыми бледными лучами месяца. Какой-нибудь загнутый сук, как обросший белым мхом, освещался сбоку. Листья, серебрясь, шептались изредка. В доме потухли огни, замолкли все звуки; только соловей наполнял собой, казалось, все необъятное молчаливое и светлое пространство. «Боже, какая ночь! какая чудная ночь! – думал граф, вдыхая в себя пахучую свежесть сада. – Чего-то жалко. Как будто недоволен и собой, и другими, и всей жизнью недоволен. А славная, милая девочка. Может быть, она точно огорчилась...» Тут мечты его перемешались, он воображал себя в этом саду вместе с уездной барышней в различных, самых странных положениях; потом роль барышни заняла его любезная Мина. «Экой я дурак! Надо было просто ее схватить за талию и поцеловать». И с этим раскаянием граф вернулся в комнату. 10 20

Корнет не спал еще. Он тотчас повернулся на постели лицом к графу.

– Ты не спишь? – спросил граф.

– Нет.

– Рассказать тебе, что было?

– Ну?

– Нет, лучше не рассказывать... или расскажу. Подожди ноги.

И граф, махнув уже мысленно рукой на прозеванную им интрижку, с оживленной улыбкой подсел на постель товарища. 30

– Можешь себе представить, что ведь барышня эта мне назначила rendez-vous!¹

– Что ты говоришь? – вскрикнул Полозов, вскакивая с постели.

– Ну, слушай.

– Да как же? когда же? Не может быть!

– А вот, пока вы считали преферанс, она мне сказала, что будет ночью сидеть у окна и что в окно можно влезть. Вот что значит практический человек! Покуда вы там с старухой считали, я это дельце обделал. Да ведь ты слышал, она при тебе даже сказала, что она будет сидеть нынче у окна, на пруд смотреть. 40

– Да это она так сказала.

¹ свиданье! (фр.)

– Вот то-то я и не знаю, нечаянно или нет она это сказала. Может быть, и точно она еще не хотела сразу, только было похоже на то. Вышла-то странная штука. Я дураком совсем поступил! – прибавил он, презрительно улыбаясь на себя.

– Да что же? Где ты был?

Граф, исключая своих нерешительных неоднократных подступов, рассказал все, как было.

– Я сам испортил: надо было смелее. Закричала и убежала от окошка.

10 – Так она закричала и убежала, – сказал корнет с неловкой улыбкой, отвечая на улыбку графа, имевшую на него такое долгое и сильное влияние.

– Да. Ну, теперь спать пора.

Корнет повернулся опять спиной к двери и молча полежал минут десять. Бог знает, что делалось у него в душе; но когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность.

– Граф Турбин! – сказал он прерывистым голосом.

– Что ты, бредишь или нет? – спокойно отозвался граф. –

20 Что, корнет Полозов?

– Граф Турбин! вы подлец! – крикнул Полозов и вскочил с постели.

XVI

На другой день эскадрон выступил. Офицеры не видали хозяев и не простились с ними. Между собой они тоже не говорили. По приходе на первую дневку предположено было драться. Но ротмистр Шульц, добрый товарищ, отличнейший ездок, любимый всеми в полку и выбранный графом в секунданты, так успел уладить это дело, что не только не дрались, но никто в полку не
30 знал об этом обстоятельстве, и даже Турбин и Полозов, хотя не в прежних дружеских отношениях, но остались на «ты» и встречались за обедами и за партиями.

11 апреля 1856 г.

УТРО ПОМЕЩИКА

I

Князю Нехлюдову было девятнадцать лет, когда он из 3-го курса университета приехал на летние вакансии в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он неустановившейся ребяческой рукой написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее переведенное здесь французское письмо:

«Милая тетушка.

10

Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтоб посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради Бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод; может быть, точно я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его.

Как я вам писал уже, я нашел дела в неопisanном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если б вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут с своими семьями, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтоб объяснить мое намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть

30

хорошим хозяином; а для того чтоб быть им, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которые вы так желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов, привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведет меня к счастью. Я много и много передумал о своей будущей обязанности, написал себе правила действий, и, если только Бог даст мне жизни и сил, я успею в своем предприятии.

10 Не показывайте письма этого брату Васе: я боюсь его насмешек; он привык первенствовать надо мной, а я привык подчиняться ему. Ваня если и не одобрит мое намерение, то поймет его».

Графиня отвечала ему следующим письмом, тоже переведенным здесь с французского:

«Твое письмо, милый Дмитрий, ничего мне не доказало, кроме того, что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда не сомневалась. Но, милый друг, наши добрые качества больше вредят нам в жизни, чем дурные. Не стану говорить тебе, что ты делаешь глупость, что поведение твое огорчает меня, но постараюсь подействовать на тебя одним убеждением. Будем рассуждать, 20 мой друг. Ты говоришь, что чувствуешь призвание к деревенской жизни, что хочешь сделать счастье своих крестьян и что надеешься быть хорошим хозяином. 1) Я должна сказать тебе, что мы чувствуем свое призвание только тогда, когда уж раз ошибемся в нем; 2) что легче сделать собственное счастье, чем счастье других, и 3) что для того, чтоб быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком, чем ты едва ли когда-нибудь будешь, хотя и стараешься притворяться таким.

30 Ты считаешь свои рассуждения непреложными и даже принимаешь их за правила в жизни; но в мои лета, мой друг, не верят в рассуждения и в правила, а верят только в опыт; а опыт говорит мне, что твои планы – ребячество. Мне уже под пятьдесят лет, и я много знавала достойных людей, но никогда не слыхивала, чтоб молодой человек с именем и способностями, под предлогом делать добро, зарылся в деревне. Ты всегда хотел казаться оригиналом, а твоя оригинальность не что иное, как излишнее самолюбие. И, мой друг! выбирай лучше торные дорожки: они ближе ведут к успеху, а успех, если уж не нужен для тебя как успех, то необходим для того, чтоб иметь возможность делать добро, которое ты любишь.

40 Нищета нескольких крестьян – зло необходимое, или такое зло, которому можно помочь, не забывая всех своих обязанностей к обществу, к своим родным и к самому себе. С твоим умом, с твоим сердцем и любовью к добродетели нет карьеры, в кото-

рой бы ты не имел успеха; но выбирай по крайней мере такую, которая бы тебя стоила и сделала бы тебе честь.

Я верю в твою искренность, когда ты говоришь, что у тебя нет честолюбия; но ты сам обманываешь себя. Честолюбие – добродетель в твои лета и с твоими средствами; но она делается недостатком и пошлостью, когда человек уже не в состоянии удовлетворить этой страсти. И ты испытываешь это, если не изменишь своему намерению. Прощай, милый Митя. Мне кажется, что я тебя люблю еще больше за твой нелепый, но благородный и великодушный план. Делай, как знаешь, но, признаюсь, не могу согласиться с тобой».

Молодой человек, получив это письмо, долго думал над ним и, наконец решив, что и гениальная женщина может ошибаться, подал прошение об увольнении из университета и навсегда остался в деревне.

II

У молодого помещика, как он писал своей тетке, были составлены правила действий по своему хозяйству, и вся жизнь и занятия его были распределены по часам, дням и месяцам. Воскресенье было назначено для приема просителей, дворовых и мужиков, для обхода хозяйства бедных крестьян и для подания им помощи с согласия мира, который собирался вечером каждое воскресенье и должен был решать, кому и какую помощь нужно было оказывать. В таких занятиях прошло более года, и молодой человек был уже не совсем новичок ни в практическом, ни в теоретическом знании хозяйства.

Было ясное июньское воскресенье, когда Нехлюдов, напившись кофею и пробежав главу «Maison rustique»¹, с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто, вышел из большого с колоннадами и террасами деревенского дома, в котором занимал внизу одну маленькую комнатку, и по нечищенным, заросшим дорожкам старого английского сада направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Нехлюдов был высокий, стройный молодой человек с большими, густыми, вьющимися темно-русыми волосами, с светлым блеском в черных глазах, свежими щеками и румяными губами, над которыми только показывался первый пушок юности. Во всех движениях его и походке заметны были сила, энергия и добродушное самодовольство молодости. Крестьянский народ

¹ «Ферма» (фр.)

пестрыми толпами возвращался из церкви; старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами, в праздничных одеждах, расходились по своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу, Нехлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней, исписанной детским почерком странице прочел несколько крестьянских имен с отметками. «Иван Чури-сенек – просил сошек», – прочел он и, войдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа.

10 Жилище Чурисенка составляли: полустгнивший, подопрелый с углов сруб, погнувшийся набок и вросший в землю так, что над самой навозной завалиной виднелись одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем и другое, волчье, заткнутое хлопком. Рубленые сени, с грязным порогом и низкой дверью, другой маленький срубец, еще древнее и еще ниже сеней, ворота и плетеная клеть лепились около главной избы. Все это было когда-то покрыто под одну неровную крышу; теперь же только на застрехе густо нависла черная, гниющая солома; на-верху же местами видны были решетник и стропила. Перед дво-ром был колодезь с развалившимся срубиком, остатком столба и
20 колеса и с грязной, истоптанной скотиною лужей, в которой полоскались утки. Около колодца стояли две старые, треснувшие и надломленные ракиты с редкими бледно-зелеными ветвями. Под одной из этих ракит, свидетельствовавших о том, что кто-то и когда-то заботился об украшении этого места, сидела восьмилетняя белокурая девочка и заставляла ползать вокруг себя другую, двухлетнюю девчонку. Дворной щенок, вилявший около них, увидав барина, опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным, дребезжащим лаем.

– Дома ли Иван? – спросил Нехлюдов.

30 Старшая девочка как будто остолбенела при этом вопросе и начала все более и более открывать глаза, ничего не отвечая; меньшая же открыла рот и собиралась плакать. Небольшая старушонка, в изорванной клетчатой паневе, низко подпоясанной стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за двери и тоже ничего не отвечала. Нехлюдов подошел к сеням и повторил вопрос.

– Дома, кормилец, – проговорила дребезжащим голосом старушонка, низко кланяясь и вся приходя в какое-то испуганное волнение.

40 Когда Нехлюдов, поздоровавшись с ней, прошел через сени на тесный двор, старуха подперлась ладонью, подошла к двери и, не спуская глаз с барина, тихо стала покачивать головой. На дворе бедно; кое-где лежал старый, невоженный, почерневший навоз; на

Губернатор Иван Гурьев

№ V

Губернатор Иван Гурьев

Указом... (Faint handwritten text on the left margin)

Правитель... (Main handwritten text, including names like Иван Гурьев and various administrative details)

«УТРО ПОМЕЩИКА» Страница наборной рукописи

навозе беспорядочно валялись прелая колода, вилы и две бороны. Навесы вокруг двора, под которыми с одной стороны стояли соха, телега без колеса и лежала куча сваленных друг на друга пустых, негодных пчелиных колодок, были почти все раскрыты, и одна сторона их обрушилась, так что спереди переметы лежали уже не на сохах, а на навозе. Чурисенок топором и обухом выламывал плетень, который придавила крыша. Иван Чурис был мужик лет пятидесяти, ниже обыкновенного роста. Черты его загорелого продолговатого лица, окруженного темно-русой с проседью боро-
10 дою и такими же густыми волосами, были красивы и выразительны. Его темно-голубые полузакрытые глаза глядели умно и добродушно-беззаботно. Небольшой правильный рот, резко обозначившийся из-под русских редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилам на шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому, дугообразному положению ног видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Одежда его состояла из белых посконных порток, с
20 синими заплатками на коленях, и такой же грязной, расползавшейся на спине и руках рубахи. Рубаха низко подпоясывалась тесемкой с висевшим на ней медным ключиком.

– Бог помощь! – сказал барин, входя во двор.

Чурисенок оглянулся и снова принялся за свое дело. Сделав энергическое усилие, он выпростал плетень из-под навеса и тогда только воткнул топор в колоду и, оправляя пояс, вышел на
середину двора.

– С праздником, ваше сиятельство! – сказал он, низко кланяясь и встряхивая волосами.

30 – Спасибо, любезный. Вот пришел твое хозяйство проведать, – с детским дружелюбием и застенчивостью сказал Нехлюдов, оглядывая одежду мужика. – Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке.

– Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка ваше сиятельство. Хоть мало-мальски подпереть хотелось, сами изволите видеть; вот анадьсь угол завалился; еще помиловал Бог, что скотины в ту пору не было. Все-то еле-еле висит, – говорил Чурисенок, презрительно осматривая свои раскрытые, кривые и
40 обрушенные сараи. – Теперь и стропила, и откосы, и переметы только тронь, глядишь, дерева дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? сами изволите знать.

– Так на что ж тебе пять сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропи-

ла, переметы, столбы – все новое нужно, – сказал барин, видимо щеголяя своим знанием дела.

Чурисенок молчал.

– Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек; так и говорить надо было.

– Вестимо нужно, да взять-то негде: не все же на барский двор ходить! Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет, насчет дубовых макушек, что на господском гумне так, без дела лежат, – сказал он, 10 кланяясь и переминаясь с ноги на ногу, – так, може, я которые подменю, которые поурежу и из старого как-нибудь соорудю.

– Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старо и гнило; нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий; так уж ежели делать, так делать все заново, чтоб не даром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет?

– А кто е знает!

– Нет, ты как думаешь? завалится он или нет?

Чурис на минуту задумался. 20

– Должон весь завалиться, – сказал он вдруг.

– Ну, вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе...

– Много довольны вашей милостью, – недоверчиво и не глядя на барина отвечал Чурисенок. – Мне хоть бы бревна четыре да сошек пожаловали, так я, может, сам управлюсь; а который негодный лес выберется, так в избу на подпорки пойдет.

– А разве у тебя и изба плоха?

– Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь, – 30 равнодушно сказал Чурис. – Намедни и то накатила с потолка мою бабу убила!

– Как убила?

– Да так, убила, ваше сиятельство: по спине как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала.

– Что ж, прошло?

– Прошло-то прошло, да все хворает. Она точно и отроду хворая.

– Что ты, больна? – спросил Нехлюдов у бабы, продолжавшей стоять в дверях и тотчас же начавшей охать, как только муж 40 стал говорить про нее.

– Все вот тут не пуцает меня, да и шабаш, – отвечала она, указывая на свою грязную тощую грудь.

– Опять! – с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами, – отчего же ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повещали?

– Повещали, кормилец, да недосуг все: и на барщину, и дома, и ребятишки – все одна! Дело наше одинокое...

III

Нехлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки. В середине этой черной, смрадной шестидесятиаршинной избенки, в потолке, была большая щель, и, несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением.

– Да, изба очень плоха, – сказал барин, всматриваясь в лицо Чурисенка, который, казалось, не хотел начинать говорить об этом предмете.

– Задавит нас, и ребятишек задавит, – начала слезливым голосом приговаривать баба, прислонившись к печи под полатями.

– Ты не говори! – строго сказал Чурис и с тонкой, чуть заметной улыбкой, обозначившейся под его пошевелившимися усами, обратился к барину: – И ума не приложу, что с ней делать, ваше сиятельство, с избой-то; и подпорки, и подкладки клал – ничего нельзя исделать!

– Как тут зиму зимовать? Ох-ох-о! – сказала баба.

– Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатник настлать, – перебил ее муж с спокойным, деловым выраженьем, – да кой-где переметы переменить, так, может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно, только избу всю подпорками загородишь – вот что; а тронь ее, так щепки живой не будет; только поколи стоит, держится, – заключил он, видимо весьма довольный тем, что он сообразил это обстоятельство.

Нехлюдову было досадно и больно, что Чурис довел себя до такого положения и не обратился прежде к нему, тогда как он, с самого своего приезда, ни разу не отказывал мужикам и только того добивался, чтоб все прямо приходили к нему за своими нуждами. Он почувствовал даже некоторую злобу на мужика, сердито пожал плечами и нахмурился; но вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса превратили его досаду в какое-то грустное, безнадежное чувство.

– Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне? – с упреком заметил он, садясь на грязную, кривую лавку.

– Не посмел, ваше сиятельство, – отвечал Чурис с той же чуть заметной улыбкой, переминаясь своими черными босыми ногами по неровному земляному полу; но он сказал это так смело и спокойно, что трудно было верить, чтоб он не посмел прийти к барину.

– Наше дело мужицкое: как мы смеем!.. – начала было, всхлипывая, баба.

– Не гуторь, – снова обратился к ней Чурис.

– В этой избе тебе жить нельзя; это вздор! – сказал Нехлюдов, помолчав несколько времени. – А вот что мы сделаем, братец...

– Слушаю-с, – отозвался Чурис.

– Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе, что с пустыми стенами?

– Как не видать-с, – отвечал Чурис, открывая улыбкой свои еще целые, белые зубы, – еще немало дивились, как клали-то их, – мудреные избы! Ребята смеялись, что не магази ли будут, от крыс в стены засыпать. Избы важные! – заключил он с выраженьем насмешливого недоумения, покачав головой, – остроги словно.

– Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны, – возразил барин, нахмутив свое молодое лицо, видимо недовольный насмешкой мужика.

– Неспорно, ваше сиятельство, избы важные.

– Ну, так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная, с сенями, с клетью и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь, – сказал барин с самодовольной улыбкой, которую он не мог удержать при мысли о том, что делает благодеяние. – Ты свою старую сломаешь, – продолжал он, – она на амбар пойдет; двор тоже перенесем. Вода там славная, огороды вырежу из новины, земли твои во всех трех клинах тоже там, под боком, вырежу. Отлично заживешь! Что ж, разве это тебе не нравится? – спросил Нехлюдов, заметив, что, как только он заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю.

– Воля вашего сиятельства, – отвечал он, не поднимая глаз.

Старушка выдвинулась вперед, как будто задетая живо, и готовилась сказать что-то, но муж предупредил ее.

– Воля вашего сиятельства, – повторил он решительно и вместе с тем покорно, взглядывая на барина и встряхивая волосами, – а на новом хуторе нам жить не приходится.

– Отчего?

– Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там навек мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля ваша!

– Да отчего ж?

– Из последнего разоримся, ваше сиятельство.

– Отчего ж там жить нельзя?

– Какая же там жизнь? Ты посуди: место нежилое, вода неизвестная, выгона нетути. Конопляники у нас здесь искони навозные, а там что? Да и что там? голь! Ни плетней, ни овинов, ни сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас
10 туда погонишь, вконец разоримся! Место новое, неизвестное... – повторил он задумчиво, но решительно покачивая головой.

Нехлюдов стал было доказывать мужику, что переселение, напротив, очень выгодно для него, что плетни и сараи там построят, что вода там хорошая, и т. д., но тупое молчание Чуриса смущало его, и он почему-то чувствовал, что говорит не так, как бы следовало. Чурисенек не возражал ему; но когда барин замолчал, он, слегка улыбнувшись, заметил, что лучше бы всего было поселить на этом хуторе стариков дворовых и Алешу-дурачка,
20 чтоб они там хлеб караулили.

– Вот бы важно-то было! – заметил он и снова усмехнулся. – Пустое это дело, ваше сиятельство!

– Да что ж, что место нежилое? – терпеливо настаивал Нехлюдов, – ведь и здесь когда-то место было нежилое, а вот живут же люди; и там вот ты только первый поселись с легкой руки... Ты непременно поселись...

– И, батюшка ваше сиятельство, как можно сличить! – с живостью отвечал Чурис, как будто испугавшись, чтоб барин не принял окончательного решения, – здесь на миру место, место
30 веселое, обычное: и дорога, и пруд тебе, белье что ли бабе стирать, скотину ли поить – и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы – вот, что мои родители садили; и дед, и батюшка наши здесь Богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправить – много довольны вашей милостью останемся; а нет, так и в старенькой свой век как-нибудь доживем. Заставь век Бога молить, – продолжал он, низко кланяясь, – не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка!..

40 В то время как Чурис говорил, под полатами, в том месте, где стояла его жена, слышны были все усиливавшиеся и усиливавшиеся всхлипывания, и, когда муж сказал «батюшка», жена его неожиданно выскочила вперед и, в слезах, ударилась в ноги барину.

– Не погуби, кормилец! Ты наш отец, ты наша мать! Куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие. Как Бог, так и ты... – завопила она.

Нехлюдов вскочил с лавки и хотел поднять старуху, но она с каким-то сладострастьем отчаяния билась головой о земляной пол и отталкивала руку барина.

– Что ты! встань, пожалуйста! Коли не хотите, так не надо; я принуждать не стану, – говорил он, махая руками и отступая к двери.

Когда Нехлюдов сел опять на лавку и в избе водворилось 10 молчание, прерываемое только хныканьем бабы, снова удалившейся под полати и утиравшей там слезы рукавом рубахи, молодой помещик понял, что значила для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка, обвалившийся колодезь с грязной лужей, гниющие хлевушки, сарайчики и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым оконцем, – и ему стало что-то тяжело, грустно и чего-то совестно.

– Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвя- 20 тил свою жизнь для вас; что я готов сам лишиться себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы, – и я перед Богом клянусь, что сдержу свое слово, – говорил юный помещик, не зная того, что такого рода излияния не способны возбуждать доверия ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотнике до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных.

Но простодушный молодой человек был так счастлив тем чувством, которое испытывал, что не мог не излить его.

Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, кото- 30 рого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся.

– Но ведь я не могу всем давать все, что у меня просят. Если б я никому не отказывал, кто у меня просит леса, у меня самого скоро бы ничего не осталось, и я не мог бы дать тому, кто истинно нуждается. Затем-то я и отделил заказ, определил его для исправления крестьянского строения и совсем отдал миру. Лес этот теперь уж не мой, а ваш, крестьянский, и уже я им не могу распоряжаться, а распоряжается мир, как знает. Ты приходи нынче на сходку; я миру поговорю о твоей просьбе; коли он присудит тебе 40 избу дать, так и хорошо, а у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе помочь; но коли ты не хочешь переселиться, то дело уже не мое, а мирское. Ты понимаешь меня?

– Много довольны вашей милостью, – отвечал смущенный Чурис. – Коли на двор леску убогаторите, так мы и так попра-
вимся. – Что мир? Дело известное...

– Нет, ты приходи.

– Слушаю. Я приду. Отчего не прийти? Только уж я у мира просить не стану.

IV

Молодому помещику, видно, хотелось еще спросить что-то у
хозяев; он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на
10 Чуриса, то в пустую, нетопленную печь.

– Что, вы уж обедали? – наконец спросил он.

Под усами Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как
будто ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы;
он ничего не ответил.

– Какой обед, кормилец? – тяжело вздыхая, проговорила ба-
ба. – Хлебушка поснедали – вот и обед наш. За сныткой нынче
ходить неколи было, так и щец сварить не из чего, а что квасу
было, так ребятам дала.

– Нынче пост голодный, ваше сиятельство, – вмешался
20 Чурис, поясняя слова бабы, – хлеб да лук – вот и пища наша му-
жицкая. Еще слава ти Господи, хлебушка-то у меня, по милости
вашей, по сию пору хватило, а то сплошь у наших мужиков и
хлеба-то нет. Луку ныне везде незарод. У Михайла-огородника,
анадысь посылали, за пучок по грошу берут, а покупать нашему
брату неоткуда. С Пасхи почитай что и в церкву Божью не ходим,
и свечку Миколу купить не на что.

Нехлюдов уж давно знал, не по слухам, не на веру к словам дру-
гих, а на деле всю ту крайнюю степень бедности, в которой находи-
лись его крестьяне; но вся действительность эта была так несооб-
30 разна со всем воспитанием его, складом ума и образом жизни, что
он против воли забывал истину, и всякий раз, когда ему, как теперь,
живо, осязательно напоминали ее, у него на сердце становилось не-
выносимо тяжело и грустно, как будто воспоминание о каком-то
свершенном, неискупленном преступлении мучило его.

– Отчего вы так бедны? – сказал он, невольно высказывая
свою мысль.

– Да каким же нам и быть, батюшка ваше сиятельство, как не
бедным? Земля наша какая – вы сами изволите знать: глина, буг-
ры, да и то, видно, прогневили мы Бога, вот уж с холеры, почи-
40 тай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало: кото-
рые позаказали в экономию, которые тоже в барские поля по-

придрали. Дело мое одинокое, старое... где и рад бы похлопотал – сил моих нету. Старуха моя больная, что ни год, то девчонок рождает: ведь всех кормить надо. Вот один маюсь, а семь душ дома. Грешен Господу Богу, часто думаю себе: хоть бы прибрал которых Бог поскорее: и мне бы легче было, да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать...

– О-ох! – громко вздохнула баба, как бы в подтверждение слов мужа.

– Вот моя подмога вся тут, – продолжал Чурис, указывая на белоголового шаршавого мальчика лет семи, с огромным животом, который в это время робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу и, оставив исподлобья удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаху Чуриса. – Вот и подсобка моя вся тут, – продолжал звучным голосом Чурис, проводя своей шаршавой рукой по белым волосам ребенка, – когда его дождешься? а мне уж работа невмочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. В ненастье хоть криком кричи, а ведь уж мне давно с тягла в старики пора. Вон Ермилов, Демкин, Зябрев – все моложе меня, а уж давно земли посложили. Ну, мне сложить не на кого – вот беда моя. Кормиться надо: вот и бьюсь, ваше сиятельство. 10

– Как же быть? Я бы рад тебя облегчить, точно, – сказал молодой барин, с участием глядя на крестьянина.

– Да как облегчить? Известное дело, коли землей владать, то и барщину править надо – уж порядки известные. Как-нибудь малого дождусь. Только будет милость ваша насчет училища его увольте: а то наемни земский приходил, тоже говорит, и его ваше сиятельство требует в училищу. Уж его-то увольте: ведь какой у него разум, ваше сиятельство? Он еще млад, ничего не смыслит.

– Нет, уж это, брат, как хочешь, – сказал барин, – мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет, да будет грамоте знать и читать будет уметь, и в церкви читать – ведь все у тебя дома с Божьей помощью лучше пойдет, – говорил Нехлюдов, стараясь выразиться как можно понятнее и вместе с тем почему-то краснея и заминаясь. 30

– Неспорно, ваше сиятельство, – вы нам худа не желаете, да дома-то побыть некому: мы с бабой на барщине – ну, а он, хоть и маленек, а все подсобляет, и скотину загнать и лошадей напоить. Какой ни есть, а все мужик, – и Чурисенок с улыбкой взял своими толстыми пальцами за нос мальчика и высморкал его. 40

– Все-таки ты присылай его, когда сам дома и когда ему время, – слышишь? непременно.

Чурисенок тяжело вздохнул и ничего не ответил.

– Да я еще хотел сказать тебе, – сказал Нехлюдов, – отчего у тебя навоз не вывезен?

– Какой у меня навоз, батюшка ваше сиятельство! И возить-то нечего. Скотина моя какая? кобыленка одна да жеребенок, а телушку осенью из телят дворнику отдал – вот и скотина моя вся.

– Так как же у тебя скотины мало, а ты еще телку из телят отдал? – с удивлением спросил барин.

10 – А чем кормить станешь?

– Разве у тебя соломы-то неостанет, чтоб корову прокормить? У других достает же.

– У других земли навозные, а моя земля глина одна – ничего не сделаешь.

– Так вот и навозь ее, чтоб не было глины; а земля хлеб родит, и будет чем скотину кормить.

– Да и скотины-то нету, так какой навоз будет?

«Это странный cercle vicieux»¹, – подумал Нехлюдов, но решительно не мог придумать, что посоветовать мужику.

– Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит, а все Бог, – продолжал Чурис. – Вот у меня летось на пресном осьминнике шесть копен стало, а с навозкой и крестца не собрали. Никто как Бог! – прибавил он со вздохом. – Да и скотина ко двору нейдет к нашему. Вот шестой год не живет. Летось одна телка издохла, другую продал: кормиться нечем было; а в запрошлый год важная корова пала: пригнали из стада, ничего не было, вдруг зашаталась, зашаталась, и пар вон. Все мое несчастье!

– Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет оттого, что корму нет, а корму нет оттого, что скотины нет, вот тебе на корову, – сказал Нехлюдов, краснея и доставая из кармана шаровар скомканную пачку ассигнаций и разбирая ее, – купи себе на мое счастье корову, а корм бери с гумна – я прикажу. Смотри же, чтоб к будущему воскресенью у тебя была корова: я найду.

Чурис так долго, с улыбкой переминаясь, не подвигал руку за деньгами, что Нехлюдов положил их на конец стола и покраснел еще больше.

– Много довольны вашей милостью, – сказал Чурис с своей обыкновенной, немного насмешливой улыбкой.

Старуха несколько раз тяжело вздохнула под полатями и как
40 будто читала молитву.

¹ порочный круг (фр.)

Молодому барину стало неловко; он торопливо встал с лавки, вышел в сени и позвал за собой Чуриса. Вид человека, которому он сделал добро, был так приятен, что ему не хотелось скоро расстаться с ним.

– Я рад тебе помогать, – сказал он, останавливаясь у колодца, – тебе помогать можно, потому что, я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться – и я буду помогать; с Божиею помощью и поправишься.

– Уж не то, что поправиться, а только бы не совсем разориться, ваше сиятельство, – сказал Чурис, принимая вдруг серьезное, даже строгое выражение лица, как будто весьма недовольный предположением барина, что он может поправиться. – Жили при 10
бачке с братьями, ни в чем нужды не видали; а вот как помёр он да как разошлись, так все хуже да хуже пошло. Все одиночество!

– Зачем же вы разошлись?

– Все из-за баб вышло, ваше сиятельство. Тогда уже дедушки 20
вашего не было, а то при нем бы не посмели: тогда настоящие порядки были. Он так же, как и вы, до всего сам доходил – и думать бы не смели расходиться. Не любил покойник мужикам повадку давать; а нами после вашего дедушки заведовал Андрей Ильич – не тем будь помянут – человек был пьяный, необстоятельный. 20
Пришли к нему проситься раз, другой – нет, мол, житья от баб, позволь разойтись; ну, подрал, подрал, а наконец тому делу вышло, все-таки поставили бабы на своем, врозь стали жить; а уж одинокий мужик известно какой! Ну да и порядков-то никаких не было: орудовал нами Андрей Ильич как хотел. «Чтоб было у тебя все», – а из чего мужику взять, того не спрашивал. Тут подушные прибавили, столовый запас тоже собирать больше стали, а земля меньше стало, и хлеб рожать перестал. Ну, а как межевка пришла, да как он у нас наши навозные земли в господский клин 30
отрезал, злодей, и порешил нас совсем, хоть помирай! Батюшка ваш – царство небесное – барин добрый был, да мы его и не видали, почитай: все в Москве жил; ну, известно, и подводы туда чаще гонять стали. Другой раз распутица, кормов нет, а вези. Нельзя ж и барину без того. Мы этим обижаться не смеем; да порядков не было. Как теперь ваша милость до своего лица всякого мужичка допускаете, так и мы другие стали, и приказчик-то 40
другой человек стал. Мы теперь знаем хоша, что у нас барин есть. И уж и сказать нельзя, как мужички твоей милости благодарны. А то в опеку настоящего барина не было; всякий барин был: и опекун барин, и Ильич барин, и жена его барыня, и писарь из стану тот же барин. Тут-то много – ух! много горя приняли мужички!

Опять Нехлюдов испытал чувство, похожее на стыд или угрызение совести. Он приподнял шляпу и пошел дальше.

- «Юхванка Мудреный хочет лошадь продать», – прочел Нехлюдов в записной книжечке и перешел чрез улицу, ко двору Юхванки Мудреного. Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой с барского гумна и срублена из свежего светло-серого осинового леса (тоже из барского заказа), с двумя выкрашенными красными ставнями у окон и крыльечком с навесом и с затейливыми, вырезанными из тесин перильцами. Сенцы и холодная изба были тоже исправные; но общий вид довольства и достатка, который имела эта
- 10 связь, нарушался несколько пригороженной к воротницам клетью с недоплетенным забором и раскрытым навесом, видневшимся из-за нее. В то самое время, как Нехлюдов подходил с одной стороны к крыльцу, с другой подходили две крестьянские женщины с полным ушатом. Одна из них была жена, другая мать Юхванки Мудреного. Первая была плотная, румяная баба, с необыкновенно развитой грудью и широкими, мясистыми скулами. На ней была чистая, шитая на рукавах и воротнике рубаха, такая же занавеска, новая панева, коты, бусы и вышитая красной бумагой и блестками четверугольная щегольская кичка.
- 20 Конец водоноса не покачивался, а плотно лежал на ее широком и твердом плече. Легкое напряжение, заметное в красном лице ее, в изгибе спины и мерном движении рук и ног, выказывали в ней необыкновенное здоровье и мужскую силу. Юхванкина мать, несшая другой конец водоноса, была, напротив, одна из тех старух, которые кажутся дошедшими до последнего предела старости и разрушения в живом человеке. Костлявый остов ее, на котором надета была черная изорванная рубаха и бесцветная панева, был согнут, так что водонос лежал больше на спине, чем на плече ее. Обе руки ее, с искривленными пальцами, которыми она, как будто ухватившись,
- 30 держалась за водонос, были какого-то темно-бурого цвета и, казалось, не могли уж разгибаться; понурая голова, обвязанная каким-то тряпьем, носила на себе самые уродливые следы нищеты и глубокой старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красные глаза, лишённые ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней впалой губы и, беспрестанно шевелясь, сходился иногда с острым подбородком. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на какие-то мешки,
- 40 качавшиеся при каждом движении. Она тяжело и хрипло дышала; но босые искривленные ноги, хотя, казалось, через силу волочась по земле, мерно двигались одна за другою.

Почти столкнувшись с барином, молодая баба бойко составила ушат, потупилась, поклонилась, потом блестящими глазами исподлобья взглянула на барина и, стараясь рукавом вышитой рубашки скрыть легкую улыбку, постукивая котами, взбежала на сходцы.

– Ты, матушка, водонос-то тетке Настасье отнеси, – сказала она, останавливаясь в двери и обращаясь к старухе.

Скромный молодой помещик строго, но внимательно посмотрел на румяную бабу, нахмурился и обратился к старухе, которая, выпростав корявыми пальцами водонос, взвалила его на плечи и покорно направилась было к соседней избе. 10

– Дома сын твой? – спросил барин.

Старуха, согнув еще более свой согнутый стан, поклонилась и хотела сказать что-то, но, приложив руки ко рту, так закашлялась, что Нехлюдов, не дождавшись, вошел в избу. Юхванка, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него, поспешно сунул на полати какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами, прижался около стены, как будто давая дорогу барину. Юхванка был 20
русый парень лет тридцати, худощавый, стройный, с молодой остренькой бородкой, довольно красивый, если б не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под сморщенных бровей, и не недостаток двух передних зубов, который тотчас бросался в глаза, потому что губы его были коротки и беспрестанно шевелились. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами. Внутренность избы Юхванки не была так тесна и мрачна, как внутренность избы Чуриса, хотя в ней так же было душно, пахло дымом и тулупом 30
и так же беспорядочно было раскинуто мужицкое платье и утварь. Две вещи здесь как-то странно останавливали внимание: небольшой погнутый самовар, стоявший на полке, и черная рамка с остатком грязного стекла и портретом какого-то генерала в красном мундире, висевшая около икон. Нехлюдов, недружелюбно посмотрев на самовар, на портрет генерала и на полати, на которых торчал из-под какой-то ветошки конец трубки в медной оправе, обратился к мужику.

– Здравствуй, Епифан, – сказал он, глядя ему в глаза.

Епифан поклонился, пробормотал: «Здравия желаем, вся- 40
со», – особенно нежно выговаривая последнее слово, и глаза его мгновенно обежали всю фигуру барина, избу, пол и потолок, не

останавливаясь ни на чем; потом он торопливо подошел к полатам, стащил оттуда зипун и стал надевать его.

– Зачем ты одеваешься? – сказал Нехлюдов, садясь на лавку и видимо стараясь как можно строже смотреть на Епифана.

– Как же, помилуйте, васясо, разве можно? Мы, кажется, можем понимать...

– Я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь, и много ли у тебя лошадей, и какую ты лошадь продать хочешь? – сухо сказал барин, видимо повторяя приготовленные вопросы.

10 – Мы много довольны вашему сясу, что не побрезгали зайти ко мне, к мужику, – отвечал Юхванка, бросая быстрые взгляды на портрет генерала, на печку, на сапоги барина и на все предметы, включая лица Нехлюдова, – мы всегда за вашего сяса Богу молим...

– Зачем тебе лошадь продать? – повторил Нехлюдов, возвышая голос и прокашливаясь.

Юхванка вздохнул, встряхнул волосами (взгляд его опять обещал избу) и, заметив кошку, которая спокойно мурлыкала, лежа на лавке, крикнул на нее «брысь, подлая» и торопливо оборотился к барину.

20 – Лошадь, которая, васясо, негодная... Коли бы животное добрая была, я бы продавать не стал, васясо.

– А сколько у тебя всех лошадей?

– Три лошади, васясо.

– А жеребят нет?

– Как можно-с, васясо! И жеребенок есть.

VIII

– Пойдем, покажи мне своих лошадей; они у тебя на дворе?

– Так точно-с, васясо; как мне приказано, так и сделано, васясо.

Разве мы можем послушаться вашего сяса? Мне приказал Яков
30 Ильич, чтоб, мол, лошадей завтра в поле не пушать: князь смотреть будут, мы и не пушали. Уж мы не смеем послушаться вашего сяса.

Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку с полатах и закинул ее за печку; губы его все так же беспокойно передергивались и в то время, как барин не смотрел на него.

Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую солону; двухмесячный длинноногий жеребенок какого-то неопределенного цвета, с голубоватыми ногами и мордой, не отходил от ее тощего, засоренного репьями хвоста. Посередине двора, за-
жмурившись и задумчиво опустив голову, стоял утробистый гне-
40 дой меренок, с виду хорошая мужицкая лошадка.

– Так тут все твои лошади?

– Никак нет-с, васясо; вот еще кобылка, да вот жеребене-чек, – отвечал Юхванка, указывая на лошадей, которых барин не мог не видеть.

– Я вижу. Так какую же ты хочешь продать?

– А вот ешту-с, васясо, – отвечал он, махая полой зипуна на дремавшего меренка и беспрестанно мигая и передергивая губами. Меренок открыл глаза и лениво повернулся к нему хвостом.

– Он не старый на вид и собой лошадка плотная, – сказал Нехлюдов. – Поймай-ка его да покажи мне зубы. Я узнаю, стара ли она.

10

– Никак не можно поймать-с одному, васясо. Вся скотина гроша не стоит, а норовистая – и зубом и передом, васясо, – отвечал Юхванка, улыбаясь очень весело и пуская глаза в разные стороны.

– Что за вздор! Поймай, тебе говорят.

Юхванка долго улыбался, переминался и только тогда, когда Нехлюдов сердито крикнул: «Ну! что ж ты?» – бросился под навес, принес оброть и стал гоняться за лошадью, пугая ее и подхозя сзади, а не спереди.

Молодому барину видимо надоело смотреть на это, да и хотелось, может быть, показать свою ловкость.

20

– Дай сюда оброть! – сказал он.

– Помилуйте! как можно васясу? не извольте...

Но Нехлюдов прямо с головы подошел к лошади и, вдруг ухватив ее за уши, пригнул к земле с такой силой, что меренок, который, как оказывалось, была очень смиренная мужицкая лошадка, зашатался и захрипел, стараясь вырваться. Когда Нехлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на Юхванку, который не переставал улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши лошади и, без помощи оброты открыв ей рот, посмотрел в зубы. Клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин, стало быть, лошадь молодая.

30

Юхванка в это время отошел к навесу и, заметив, что борона лежала не на месте, поднял ее и, прислонив к плетню, поставил стоймя.

– Поди сюда! – крикнул барин с детски раздосадованным выражением в лице и чуть не с слезами досады и злобы в голосе. – Что, эта лошадь старая?

– Помилуйте, васясо, очень стара, годов двадцать будет... которая лошадь...

40

– Молчать! Ты лгун и негодяй, потому что честный мужик не станет лгать: ему незачем! – сказал Нехлюдов, задыхаясь от

гневных слез, которые подступали ему к горлу. Он замолчал, чтоб не осрамиться, расплакавшись при мужике. Юхванка тоже молчал и с видом человека, который сейчас заплачет, посапывал носом и слегка подергивал головой. – Ну, на чем же ты выедешь пахать, когда продашь эту лошадь? – продолжал Нехлюдов, успокоившись достаточно, чтоб говорить обыкновенным голосом. – Тебя нарочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к пахоте, а ты последнюю хочешь продать? а главное, зачем ты лжешь?

10 Как только барин успокоился, и Юхванка успокоился. Он стоял прямо и, все так же передергивая губами, перебежал глазами от одного предмета к другому.

– Мы вашему сясу, – отвечал он, – не хуже других на работу выедем.

– Да на чем же ты выедешь?

– Уж будьте покойны, вашего сяса работу справим, – отвечал он, нукая на мерина и отгоняя его. – Коли бы не нужны деньги, то стал бы разве продавать?

– Зачем же тебе нужны деньги?

20 – Хлеба нетути ничего, васясо, да и долги отдать мужичкам надо-ти, васясо.

– Как хлеба нету? Отчего же у других, у семейных, еще есть, а у тебя, бессемейного, нету? Куда ж он девался?

– Ели вашего сияса, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени куплю, васясо.

– Лошади продавать и думать не смей!

– Что ж, васясо, коли так, то какая же наша жизнь будет? и хлеба нету, и продать ничего не смей, – отвечал он совсем на сторону, передергивая губы и кидая вдруг дерзкий взгляд прямо на
30 лицо барина. – Значит, с голоду помирать надо.

– Смотри, брат! – закричал Нехлюдов, бледнея и испытывая злобное чувство личности против мужика, – таких мужиков, как ты, я держать не стану. Тебе дурно будет.

– На то воля вашего сяса, – отвечал он, закрывая глаза с притворно-покорным выраженьем, – коли я вам не заслужил. А, кажется, за мной никакого пороку не замечено. Известно, уж коли я вашему сиясу не полюбился, то все в воле вашей состоит; только не знаю, за что я страдать должен.

– А вот за что: за то, что у тебя двор раскрыт, навоз не запа-
40 хан, плетни полomanы, а ты сидишь дома да трубку куришь, а не работаешь; за то, что ты своей матери, которая тебе все хозяйство отдала, куска хлеба не даешь, позволяешь ее своей жене бить и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила.

– Помилуйте, ваше сиясо, я и не знаю, какие эти трубки бывают, – смущенно отвечал Юхванка, которого, видно, преимущественно оскорбило обвинение в курении трубки. – Про человека все сказать можно.

– Вот ты опять лжешь! Я сам видел...

– Как я смею лгать вашему сиясу!

Нехлюдов замолчал и, кусая губу, стал ходить взад и вперед по двору. Юхванка, стоя на одном месте, не поднимая глаз, следил за ногами барина.

– Послушай, Епифан, – сказал Нехлюдов детски кротким голосом, останавливаясь перед мужиком и стараясь скрыть свое волнение, – этак жить нельзя, и ты себя погубишь. Подумай хорошенько. Если ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени, оставь свои привычки дурные, не лги, не пьянствуй, уважай свою мать. Ведь я про тебя все знаю. Занимайся хозяйством, а не тем, чтоб казенный лес воровать да в кабак ходить. Подумай, что тут хорошего! Коли тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно и зачем, и не лги, а всю правду скажи, и тогда я тебе не откажу ни в чем, что только могу сделать.

– Помилуйте, васясо, мы, кажется, можем понимать вашего сяса! – отвечал Юхванка, улыбаясь, как будто вполне понимая всю прелесть шутки барина.

Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали Нехлюдова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истинный. Притом ему все казалось, что неприлично ему, имеющему власть, усовецивать своего мужика и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сени. На пороге сидела старуха и громко стонала, как казалось, в знак сочувствия словам барина, которые она слышала.

– Вот вам на хлеб, – сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку ассигнацию, – только сама покупай, а не давай Юхванке, а то он пропьет.

Старуха костлявой рукой ухватилась за притолку, чтоб встать, и собралась благодарить барина; голова ее закачалась, но Нехлюдов уже был на другом конце улицы, когда она встала.

IX

«Давыдка Белый просил хлеба и кольев», – значилось в записной книжке после Юхвана.

Пройдя несколько дворов, Нехлюдов при повороте в переулок встретился с своим приказчиком, Яковом Алпатычем, который, издав издали увидев барина, снял клеенчатую фуражку и, достав фуляровый платок, стал обтирать толстое, красное лицо.

– Надень, Яков! Яков, надень же, я тебе говорю...

– Где изволили быть, ваше сиятельство? – спросил Яков, защищаясь фуражкой от солнца, но не надевая ее.

– Был у Мудреного. Скажи, пожалуйста, отчего он такой сделался? – сказал барин, продолжая идти вперед по улице.

– А что, ваше сиятельство? – отозвался управляющий, который в почтительном расстоянии следовал за барином и, надев фуражку, расправлял усы.

– Как что? он совершенный негодяй, лентяй, вор, лгун, мать
10 свою мучит и, как видно, такой закоренелый негодяй, что никогда не исправится.

– Не знаю, ваше сиятельство, что он вам так не показался...

– И жена его, – перебил барин управляющего, – кажется, преградная женщина. Старуха хуже всякой нищей одета, есть нечего, а она разряженная, и он тоже. Что с ним делать – я решительно не знаю.

Яков заметно смутился, когда Нехлюдов заговорил про жену Юхванки.

– Что ж, коли он так себя попустил, ваше сиятельство, – начал он, – то надо меры изыскать. Он точно в бедности, как и все
20 одинокие мужики, но он все-таки себя сколько-нибудь наблюдает, не так, как другие. Он мужик умный, грамотный и ничего, честный, кажется, мужик. При сборе подушных он всегда ходит. И старостой при моем уж управлении три года ходил, тоже ничем не замечен. В третьем годе опекуну угодно было его ссадить, так он и на тягле исправен был. Нешто как в городе на почте живал, то хмелем немного позашибется, так надо меры изыскать. Бывало, зашалит, постращаешь – он опять в свой разум приходит: и
ему хорошо, и в семействе лад; а как вам не угодно, значит, эти
30 меры употреблять, то уж я и не знаю, что с ним будем делать. Он точно себя очень попустил. В солдаты опять не годится, потому, как изволили заметить, двух зубов нет. Да и не он один, осмелюсь вам доложить, что совершенно страху не имеют...

– Уж это оставь, Яков, – отвечал Нехлюдов, слегка улыбаясь, – про это мы с тобой говорили и переговорили. Ты знаешь, как я об этом думаю, и что ты мне ни говори, я все так же буду думать.

– Конечно, ваше сиятельство, вам это все известно, – сказал Яков, пожимая плечами и глядя сзади на барина так, как будто
40 то, что он видел, не обещало ничего хорошего. – А что насчет старухи вы изволите беспокоиться, то это напрасно, – продолжал он, – оно, конечно, что она сирот воспитала, вскормила и женила Юхвана, и все такое; но ведь это вообще в крестьянстве, когда

мать или отец сыну хозяйство передали, то уж хозяин сын и сноха, а старуха уж должна свой хлеб зарабатывать по силе, по мочи. Они, конечно, тех чувств нежных не имеют, но уж в крестьянстве вообще так ведется. То и осмелюсь вам доложить, что напрасно старуха вас трудила. Она старуха умная и хозяйка; да что ж господина из-за всего беспокоить? Ну, поссорилась с снохой, та, может быть, ее и толкнула – бабье дело! и помирились бы опять, чем вас беспокоить. Уж вы и так слишком все изволите к сердцу принимать, – говорил управляющий, с некоторой нежностью и снисходительностью глядя на барина, который молча 10 большими шагами шел перед ним вверх по улице.

– Домой изволите? – спросил он.

– Нет, к Давыдке Белому, или Козлу... как он прозывается?

– Вот тоже ляд-то, доложу вам. Уж эта вся порода Козлов такая. Чего-чего с ним ни делал – ничто не берет. Вчера по полю крестьянскому проехал, а у него и гречиха не посеяна; что прикажете делать с таким народцем? Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же ляд: ни на себя, ни на барщину, все как через пень колоду валит. Уж что-что с ним ни делали и опекун и я: и в стан посылали, и дома наказывали – вот что вы не изволите любить... 20

– Кого? не-уже-ли старика?

– Старика-с. Опекун сколько раз, и при всей сходке, наказывал, так верите ли, ваше сиятельство? хоть бы те что: встряхнется, пойдет, и все то же. И ведь Давыдка, доложу вам, мужик смирный, и неглупый мужик, и не курит – не пьет то есть, – объяснил Яков, – а вот хуже пьяного другого. Одно, что в солдаты коли выйдет или на поселенье, больше делать нечего. Эта вся уж порода Козлов такая: и Матрющка, что в черной живет, тоже ихней семьи, такая же ляд проклятый. Так я вам не нужен, ваше сиятельство? – прибавил управляющий, замечая, что барин не слушает его. 30

– Нет, ступай, – рассеянно отвечал Нехлюдов и направился к Давыдке Белому.

Давыдкина изба криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее не было ни двора, ни овина, ни амбара; только какие-то грязные хлевушки для скотины лепились с одной стороны; с другой стороны кучею навалены были приготовленные для двора хворост и бревна. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога, не было около избы. 40

Нехлюдов постучал в разбитое окно; но так как никто не отозвался ему, он подошел к сеням и крикнул: «Хозяева!» И на это никто не откликнулся. Он прошел сени, заглянул в пустые хле-

вушки и вошел в отворенную избу. Старый красный петух и две курицы, подергивая ожерельями и постукивая ногтями, расхаживали по полу и лавкам. Увидев человека, они с отчаянным кудахтаньем, распутив крылья, забились по стенам, и одна из них вскочила на печку. Шестиаршинную избенку всю занимали печь с разломанной трубой, ткацкий стан, который, несмотря на летнее время, не был вынесен, и почерневший стол с выгнутою, треснувшею доскою.

10 Хотя на дворе было сухо, однако у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и крыше. Полатей не было. Трудно было подумать, чтоб место это было жилое, – такой решительный вид запустения и беспорядка носила на себе как наружность, так и внутренность избы; однако в этой избе жил Давыдка Белый со всем своим семейством. В настоящую минуту, несмотря на жар июньского дня, Давыдка, свернувшись с головой в полушубок, крепко спал, забившись в угол печи. Испуганная курица, вскочившая на печь и еще не успокоившаяся от волнения, расхаживая по спине Давыдки, не разбудила его.

20 Не видя никого в избе, Нехлюдов хотел уже выйти, как протяжный, влажный вздох изобличил хозяина.

– Эй! кто тут? – крикнул барин.

С печки послышался другой протяжный вздох.

– Кто там? Поди сюда!

Еще вздох, мычанье и громкий зевок отозвались на крик барина.

– Ну, что ж ты?

На печи медленно зашевелилось; показалась пола истертого тулупа; спустилась одна большая нога в изорванном лапте, потом
30 другая, и наконец показалась вся фигура Давыдки Белого, сидевшего на печи и лениво и недовольно большим кулаком протиравшего глаза. Медленно нагнув голову, он, зевая, взглянул в избу и, увидев барина, стал поворачиваться немного скорее, чем прежде, но все еще так тихо, что Нехлюдов успел раза три пройти от лужи к ткацкому стану и обратно, а Давыдка все еще слезал с печи. Давыдка Белый был действительно белый: и волосы, и тело, и лицо его – все было чрезвычайно бело. Он был высок ростом и очень толст, но толст, как бывают мужики, то есть не животом, а телом. Толщина его, однако, была какая-то мягкая, нездоровая.
40 Довольно красивое лицо его, с светло-голубыми спокойными глазами и с широкой окладистой бородой, носило на себе отпечаток болезненности. На нем не было заметно ни загара, ни румянца; оно все было какого-то бледного, желтоватого цвета, с лег-

ким лиловым оттенком около глаз, и как будто все заплыло жиром или распухло. Руки его были пухлы, желтоваты, как руки людей, больных водяною, и покрыты тонкими белыми волосами. Он так распался, что никак не мог совсем открыть глаз и стоять не пошатываясь и не зевая.

– Ну, как же тебе не совестно, – начал Нехлюдов, – середь белого дня спать, когда тебе двор строить надо, когда у тебя хлеба нет?..

Как только Давыдка опомнился от сна и стал понимать, что перед ним стоит барин, он сложил руки под живот, опустил голову, склонив ее немного набок, и не двигался ни одним членом. Он молчал; но выражение лица его и положение всего тела говорило: «Знаю, знаю; уж мне не первый раз это слышать. Ну бейте же; коли так надо – я снесу». Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, даже больно прибил по пухлым щекам, но оставил поскорее в покое. Замечая, что Давыдка не понимает его, Нехлюдов разными вопросами старался вывести мужика из его покорно-терпеливого молчания. 10

– Для чего же ты просил у меня лесу, когда он у тебя вот уж целый месяц лежит, и самое свободное время так лежит – а? 20

Давыдка упорно молчал и не двигался.

– Ну, отвечай же!

Давыдка промычал что-то и моргнул своими белыми ресницами.

– Ведь надо работать, братец: без работы что же будет? Вот теперь у тебя хлеба уж нет, а все это отчего? Оттого, что у тебя земля дурно вспахана, да не передвоена, да не вовремя засеяна, – все от лени. Ты просишь у меня хлеба: ну, положим, я тебе дам, потому что нельзя тебе с голоду умирать, да ведь этак делать не годится. Чей хлеб я тебе дам? как ты думаешь, чей? Ты отвечай: 30 чей хлеб я тебе дам? – упорно допрашивал Нехлюдов.

– Господский, – пробормотал Давыдка, робко и вопросительно поднимая глаза.

– А господский-то откуда? рассуди-ка сам, кто под него вспахал? заскородил? кто его посеял, убрал? – мужички? так? Так вот видишь ли: уж если раздавать хлеб господский мужикам, так надо раздавать тем больше, которые больше за ним работали, а ты меньше всех – на тебя и на барщине жалуются – меньше всех работал, а больше всех господского хлеба просишь. За что же тебе давать, а другим нет? Ведь коли бы все, как ты, на боку лежали, 40 так мы давно все бы на свете с голоду умерли. Надо, братец, трудиться, а это дурно – слышишь, Давыд?

– Слушаю-с, – медленно пропустил он сквозь зубы.

В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотно на коромысле, и чрез минуту в избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет пятидесяти, весьма свежая и живая. Изрытое рябинами и морщинами лицо ее было некрасиво, но прямой твердый нос, сжатые тонкие губы и быстрые серые глаза выражали ум и энергию. Угловатость плеч, плоскость груди, сухость рук и развитие мышц на черных босых ногах ее свидетельствовали о том, что она уже давно перестала
10 быть женщиной и была только работником. Она бойко вошла в избу, притворила дверь, обдернула паневу и сердито взглянула на сына. Нехлюдов что-то хотел сказать ей, но она отвернулась от него и начала креститься на выглядывавшую из-за ткацкого стана черную деревянную икону. Окончив это дело, она оправила грязный клетчатый платок, которым была повязана голова ее, и низко поклонилась барину.

– С праздником Христовым, ваше сиятельство, – сказала она, – спаси тебя Бог, отец ты наш...

Увидав мать, Давыдка заметно смутился, согнул несколько
20 спину и еще ниже опустил шею.

– Спасибо, Арина, – отвечал Нехлюдов. – Вот я сейчас с твоим сыном говорил о вашем хозяйстве.

Арина, или, как ее прозвали мужики еще в девках, Аришка Бурлак, подперла подбородок кулаком правой руки, которая опиралась на ладонь левой, и, не дослушав барина, начала говорить так резко и звонко, что вся изба наполнилась звуком ее голоса и со двора могло показаться, что вдруг говорят несколько бабьих голосов.

– Чего, отец ты мой, чего с ним говорить! Ведь он и говорить-то не может как человек. Вот он стоит, олух, – продолжала она,
30 презрительно указывая головой на жалкую, массивную фигуру Давыдки. – Какое *мое* хозяйство, батюшка ваше сиятельство? Мы голь; хуже нас во всей слободе у тебя нет: ни на себя, ни на барщину – срам! А все он довел. Родили, кормили, поили, не чаяли дожидаться парня. Вот и дождались: хлеб лопают, а работы от него, как от прелой вон той колоды. Только знает на печи лежать, либо вот стоит, башку свою дурацкую скребет, – сказала она, передразнивая его. – Хоть бы ты его, отец, пострашал бы, что ли. Уж я сама прошу: накажи ты его ради Господа Бога, в солдаты ли – один конец. Мочи моей с ним не стало – вот что.

40 – Ну, как тебе не грешно, Давыдка, доводить до этого свою мать? – сказал Нехлюдов, с укоризной обращаясь к мужику.

Давыдка не двигался.

– Ведь добро бы мужик хворый был, – с тою же живостью и теми же жестами продолжала Арина, – а то ведь только смотреть на него, ведь словно боров с мельницы раздулся. Есть, кажись, чему бы работать, гладух какой! Нет, вот пропадет на печи лодырем. Возьмется за что, так не глядели бы мои глаза: колі поднимется, колі передвинется, колі что, – говорила она, растягивая слова и неуклюже поворачивая с боку на бок своими угловатыми плечами. – Ведь вот нынче старик сам за хворостом в лес уехал, а ему наказал ямы копать: так нет вот, и лопаты в руки не брал... (На минуту она замолчала...) Загубил он меня, сироту! – взвизгнула она вдруг, размахнув руками и с угрожающим жестом подходя к сыну. – Гладкая твоя морда лядащая, прости Господи! (Она презрительно и вместе отчаянно отвернулась от него, плюнула и снова обратилась к барину с тем же одушевлением и с слезами на глазах, продолжая размахивать руками.) Ведь все одна, кормилец. Старик-от мой хворый, старый, да и тоже проку в нем нет, а я все одна да одна. Камень, и тот треснет. Хоть бы помереть, так легче было б: один конец. Заморил он меня, подлец! Отец ты наш! мочи моей уж нет! Невестка с работы извелась – и мне то же будет. 20

XI

– Как извелась? – недоверчиво спросил Нехлюдов.

– С натуги, кормилец, как Бог свят, извелась. Взяли мы ее запрошлый год из Бабурина, – продолжала она, вдруг переменив свое озлобленное выражение на слезливое и печальное, – ну, баба была молодая, свежая, смиренная, родной. Дома-то у отца, за золовками, в холе жила, нужды не видала, и как к нам поступила, как нашу работу узнала – и на барщину, и дома, и везде. Она да я – только и было. Мне что? я баба привычная, она же в тяжести была, отец ты мой, да горе стала терпеть; а все через силу работала – ну, и надорвалась, сердечная. Летось, Петровками, еще на беду мальчишку родила, а хлебушка не было, кой-что, кой-что ели, отец ты мой, работа же спешная подошла – у ней груди и пересохни. Детенок первенький был, коровенки нетути, да и дело наше мужицкое: где уж рожком выкормишь; ну известно, бабья глупость, она этим пуще умирать стала. А как детенок помер, уж она с той кручины выла-выла, голосила-голосила, да нужда, да работа, все хуже да хуже: так извелась в лето, сердечная, что к Покрову и сама кончилась. Он ее порешил, бестия! – снова с отчаянной злобой обратилась она к сыну... – Что я тебя просить хотела, ваше 40

сиятельство, – продолжала она после небольшого молчания, понижая голос и кланяясь.

– Что? – рассеянно спросил Нехлюдов, еще взволнованный ее рассказом.

– Ведь он мужик еще молодой. От меня уж какой работы ждать: нынче жива, а завтра помру. Как ему без жены быть? Ведь он тебе не мужик будет. Обдумай ты нас как-нибудь, отец ты наш.

– То есть ты женить его хочешь? Что ж? это дело!

10 – Сделай божескую милость; вы наши отцы-матери.

И, сделав знак своему сыну, она с ним вместе грохнулась в ноги барину.

– Зачем ты в землю кланяешься? – говорил Нехлюдов, с досадой поднимая ее за плечи. – Разве нельзя так сказать? Ты знаешь, что я этого не люблю. Жени сына, пожалуйста; я очень рад, коли у тебя есть невеста на примете.

Старуха поднялась и стала рукавом утирать сухие глаза. Давыдка последовал ее примеру и, потеряв глаза пухлым кулаком, в том же терпеливо-покорном положении продолжал стоять и
20 слушать, что говорила Арина.

– Невесты-то есть, как не быть! Вот Васютка Михейкина, девка ничего, да ведь без твоей воли не пойдет.

– Разве она не согласна?

– Нет, кормилец, коли по согласию пойдет!

– Ну так что ж делать? Я принуждать не могу; поищите другую: не у себя, так у чужих; я выкуплю, только бы шла по своей охоте, а насильно выдать замуж нельзя. И закона такого нет, да и грех это большой.

– Э-э-эх, кормилец! да статочное ли дело, глядя на нашу
30 жизнь да на нашу нищету, чтоб охотой пошла? Солдатка самая и та такой нужды на себя принять не захочет. Какой мужик девку к нам во двор отдаст? Отчаянный не отдаст. Ведь мы голь, нищета. Одну, скажут, почитай что с голоду заморили, так и моей то же будет. Кто отдаст, – прибавила она, недоверчиво качая головой, – рассуди, ваше сиятельство.

– Так что ж я могу сделать?

– Обдумай ты нас как-нибудь, родимый! – повторила убедительно Арина. – Что ж нам делать?

– Да что ж я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сделать
40 для вас в этом случае.

– Кто ж нас обдумает, коли не ты? – сказала Арина, опустив голову и с выражением печального недоумения разводя руками.

– Вот хлеба вы просили, так я прикажу вам отпустить, – сказал барин после небольшого молчания, во время которого Арина вздыхала и Давыдка вторил ей. – А больше я ничего не могу сделать.

Нехлюдов вышел в сени. Мать и сын, кланяясь, вышли за барином.

XII

– О-ох, сиротство мое! – сказала Арина, тяжело вздыхая.

Она остановилась и сердито взглянула на сына. Давыдка тотчас повернулся и, тяжело перевалив через порог свою толстую ногу в огромном грязном лапте, скрылся в противоположной двери. 10

– Что я с ним буду делать, отец? – продолжала Арина, обращаясь к барину. – Ведь сам видишь, какой он! Он ведь мужик не плохой, не пьяный и смирный мужик, ребенка малого не обидит – грех напрасно сказать; худого за ним ничего нету, а уж и Бог знает, что такое с ним попричилось, что он сам себе злодей стал. Ведь он и сам тому не рад. Веришь ли, батюшка, сердце кровью обливается на него глядя, какую он муку принимает. Ведь какой ни есть, а моя утроба носила; жалею его, уж как жалею!.. Ведь он не то, чтоб супротив меня, али отца, али начальства что б делал, он мужик 20 боязливый, сказать, что дитя малое. Как ему вдовцом быть? Обдумай ты нас, кормилец, – повторила она, видимо желая изгладить дурное впечатление, которое ее брань могла произвести на барина... – Я, батюшка ваше сиятельство, – продолжала она доверчивым шепотом, – и так клала, и этак прикидывала: ума не приложу, отчего он такой. Не иначе, как испортили его злые люди. (Она помолчала немного.) Коли найти человека, его излечить можно.

– Какой вздор ты говоришь, Арина! как можно испортить?

– И, отец ты мой, так испортят, что и навек нечеловеком делают! Мало ли дурных людей на свете! По злобе вынет горсть 30 земли из-под следу... или что там... и навек нечеловеком сделает; долго ли до греха? Я так себе думаю, не сходить ли мне к Дундуку, старику, что в Воробьевке живет: он знает всякие слова, и травы знает, и порчу снимает, и с креста воду спускает; так не пособит ли он? – говорила баба, – може, он его излечит.

«Вот она, нищета-то и невежество! – думал молодой барин, грустно наклонив голову и шагая большими шагами вниз по деревне. – Что мне делать с ним? Оставить его в этом положении невозможно и для себя, и для примера других, и для него самого, невозможно, – говорил он себе, вычитывая на пальцах эти причины. – 40 Я не могу видеть его в этом положении, а чем вывести его?»

Он уничтожает все мои лучшие планы в хозяйстве. Если останутся такие мужики, мечты мои никогда не сбудутся, – подумал он, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушение его планов. – Слать на поселенье, как говорит Яков, коли он сам не хочет, чтоб ему было хорошо, или в солдаты? точно: по крайней мере, и от него избавлюсь, и еще замену хорошего мужика», – рассуждал он.

Он думал об этом с удовольствием; но вместе с тем какое-то неясное сознание говорило ему, что он думает только одной стороной ума и что-то нехорошо. Он остановился. «Постой, о чем я думаю, – сказал он сам себе, – да, в солдаты, на поселенье. За что? Он хороший человек, лучше многих, да и почему я знаю... Отпустить на волю? – подумал он, рассматривая вопрос не одной стороной ума, как прежде, – несправедливо, да и невозможно». Но вдруг ему пришла мысль, которая очень обрадовала его; он улыбнулся с выражением человека, разрешившего себе трудную задачу. «Взять во двор, – сказал он сам себе, – самому наблюдать за ним и кротостью, и увещаниями, выбором занятий приучать к работе и исправлять его».

XIII

20 «Так и сделаю», – с радостным самодовольством сказал сам себе Нехлюдов, и, вспомнив, что ему надо было еще зайти к богатому мужику Дутлову, он направился к высокой и просторной связи с двумя трубами, стоявшей посредине деревни. Подходя к ней, он столкнулся у соседней избы с высокой, ненарядной бабой лет сорока, шедшей ему навстречу.

– С праздником, батюшка, – сказала ему, нисколько не робея, баба, останавливаясь подле него и радушно улыбаясь и кланяясь.

– Здравствуй, кормилица, – отвечал он, – как поживаешь? Вот иду к твоему соседу.

30 – Так-с, батюшка ваше сиятельство, хорошее дело. А что, к нам не пожалуете? Уж как бы мой старик рад был!

– Что ж, зайду, потолкуем с тобой, кормилица. Эта твоя изба?

– Эта самая, батюшка.

И кормилица побежала вперед. Войдя вслед за нею в сени, Нехлюдов сел на кадушку, достал и закурил папиросу.

– Там жарко; лучше здесь посидим, потолкуем, – отвечал он на приглашение кормилицы войти в избу. Кормилица была еще свежая и красивая женщина. В чертах лица ее и особенно в больших черных глазах было большое сходство с лицом барина. Она сложила руки под занавеской и, смело глядя на барина и беспрестанно виляя головой, начала говорить с ним:

– Что ж это, батюшка, зачем изволите к Дутлову жаловать?

– Да хочу, чтобы он у меня землю нанял, десятин тридцать, и свое бы хозяйство завел, да еще чтоб лес он купил со мной вместе. Ведь деньги у него есть, так что ж им так, даром лежать? Как ты об этом думаешь, кормилица?

– Да что ж? Известно, батюшка, Дутловы люди сильные; во всей вотчине, почитай, первый мужик, – отвечала кормилица, поматывая головой. – Летось другую связь из своего леса поставил, господ не трудили. Лошадей у них, окромя жеребят да подростков, троек шесть соберется, а скотины, коров да овец, как с поля гонят да бабы выйдут на улицу загонять, так в воротах их то сопрется, что беда; да и пчел-то колодок сотни две, не то больше живет. Мужик оченно сильный, и деньги должны быть.

– А как ты думаешь, много у него денег? – спросил барин.

– Люди говорят, известно по злобе, может, что у старика деньги немалые; ну да про то он сказывать не станет и сыновьям не открывает, а должны быть. Отчего ему рощей не заняться? Нешто побоится славу про деньги пустить. Он тоже, годов пять тому, лугами был с Шкалик-дворником в доле, по малости стал заниматься, да обманул, что ли, его Шкалик-то, так рублей триста пропало у старика; с тех пор и бросил. Да как им и справным не быть, батюшка ваше сиятельство! – продолжала кормилица, – при трех землях живут, семья большая, все работники, да и старик-от – что же худо говорить – сказать, что хозяин настоящий. Во всем-то ему задача, что дивится народ даже; и на хлеб, и на лошадей, и на скотину, и на пчел, и на ребят-то счастье. Теперь всех поженил. То у своих девок брал, а теперь Илюшку на вольной женил, сам откупил. И тоже баба хорошая вышла.

– Что ж они, ладно живут? – спросил барин.

– Как в дому настоящая голова есть, то и лад будет. Хоть бы Дутловы – известно, бабье дело: невестки за печкой полаются, полаются, а все под стариком-то и сыновья ладно живут.

Кормилица помолчала немного.

– Теперь старик большего сына, Карпа, слышать, хочет хозяином в дому поставить. Стар, мол, уж стал; мое дело около пчел. Ну Карп-то и хороший мужик, мужик аккуратный, а все далеко против старика хозяином не выйдет. Уж того разума нету!

– Так вот Карп захочет, может быть, заняться и землей и рощами, – как ты думаешь? – сказал барин, желавший от кормилицы выпытать все, что она знала про своих соседей.

– Вряд ли, батюшка, – продолжала кормилица, – старик сыну денег не открывал. Пока сам жив да деньги у него, в

доме, значит, все стариков разум орудует; да и они больше извозом занимаются.

– А старик не согласится?

– Побойтся.

– Чего ж он побоится?

– Да как же можно, батюшка, мужику господскому свои деньги объявить? Неравён случай, и всех денег решится! Вот с дворником в дела вошел, да и ошибся. Где ж ему с ним судиться! Так и пропали деньги; а с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет.

10 – Да, от этого... – сказал Нехлюдов, краснея. – Прощай, кормилица.

– Прощайте, батюшка ваше сиятельство. Покорно благодарим.

XIV

«Нейти ли домой?» – подумал Нехлюдов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость.

Но в это время новые тесовые ворота со скрипом отворились перед ним, и красивый, румяный белокурый парень лет восемнадцати, в ямской одежде, показался в воротах, ведя за собой тройку крепконогих, еще потных, косматых лошадей, и, бойко встряхнув белыми волосами, поклонился барину.

– Что, отец дома, Илья? – спросил Нехлюдов.

– На осике, за двором, – отвечал парень, проводя одну за другую лошадей в полуотворенные ворота.

«Нет, выдержу характер, предложу ему, сделаю, что от меня зависит», – подумал Нехлюдов и, пропустив лошадей, вошел на просторный двор Дутлова. Видно было, что со двора недавно был вывезен навоз: земля была еще черная, потная, и местами, особенно в воротищах, валялись красные волокнистые клочья.

30 На дворе и под высокими навесами в порядке стояло много телег, сох, саней, колодок, кадок и всякого крестьянского добра; голуби перепархивали и ворковали в тени под широкими, прочными стропилами; пахло навозом и дегтем. В одном углу Карп и Игнат прилаживали новую подушку под большую троечную окованную телегу. Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой, Илья, встретившийся Нехлюдову в воротах, был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших; второй, Игнат, был повыше ростом, почернее, имел бородку клином и, хотя был тоже в сапогах, ямской рубахе и поярковой шляпе, не

40 имел того праздничного, беззаботного вида, как меньшей брат. Старший, Карп, был еще выше ростом, носил лапти, серый каф-

тан и рубаху без ластовиков, имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный.

– Прикажете батюшку послать, ваше сиятельство? – сказал он, подходя к барину и слегка и неловко кланаясь.

– Нет, я сам пройду к нему на осик, посмотрю его устройство там; а мне с тобой поговорить нужно, – сказал Нехлюдов, отходя в другую сторону двора, с тем чтоб Игнат не мог слышать того, что он намерен был говорить с Карпом.

Самоуверенность и некоторая гордость, заметная во всех приемах этих двух мужиков, и то, что сказала ему кормилица, так смущали молодого барина, что ему трудно было решиться говорить с ними о предполагаемом деле. Он чувствовал себя как будто виноватым, и ему казалось легче говорить с одним братом, так чтоб другой не слышал. Карп как будто удивился, зачем барин отводит его в сторону, но последовал за ним. 10

– Вот что, – начал Нехлюдов, заминаясь, – я хотел тебя спросить: много у вас лошадей?

– Троек пять наберется, жеребятки есть тоже, – развязно отвечал Карп, почесывая спину.

– Что, братья твои на почте ездят? 20

– Гоняем почту на трех тройках, а то Илюшка в извоз ходил; вот только вернулся.

– Что ж, это вам выгодно? Сколько вы этим зарабатываете?

– Да какая выгода, ваше сиятельство? По крайности кормимся с лошадьми – и то слава Богу.

– Так зачем же вы другим чем-нибудь не займетесь? Ведь можно бы вам леса покупать или землю нанимать.

– Оно, конечно, ваше сиятельство, землю нанять можно, когда б где сподручная была.

– Я вот что хочу вам предложить: чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться, наймите вы лучше землю десятин тридцать у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам, да заведите свое хозяйство большое. 30

И Нехлюдов, увлеченный своим планом о крестьянской ферме, который он не раз сам с собою повторял и передумывал, уже не запинаясь стал объяснять мужику свое предположение о мужицкой ферме.

Карп слушал очень внимательно слова барина.

– Мы много довольны вашей милостью, – сказал он, когда Нехлюдов, замолчав, посмотрел на него, ожидая ответа. – Известно, тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит, балуется наш брат. Самое хорошее дело, что землей мужику заниматься. 40

– Так как ты думаешь?

– Поколи батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше сиятельство? На то воля его.

– Проведи-ка меня на осик; я поговорю с ним.

– Сюда пожалуйста, – сказал Карп, медленно направляясь к заднему сараю. Он отворил низенькую калитку, ведущую на осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату и молча принялся за прерванную работу.

XV

10 Нехлюдов, нагнувшись, прошел через низенькую калитку, из-под тенистого навеса, на находившийся за двором осик. Небольшое пространство, окруженное покрытыми соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли покрытые обрезками досок улья с шумно вьющеюся около них золотистой пчелою, было все залито горячими, блестящими лучами июньского солнца. От калитки протоптанная тропинка вела на середину к деревянному голубцу с стоявшим на нем фольговым образком, ярко блестящим на солнце. Несколько молодых лип, стройно подымавших выше соломенной крыши
20 соседнего двора свои кудрявые макушки, вместе с звуком жужжания пчел, чуть слышно колыхались своей темно-зеленой свежей листвой. Все тени, от крытого забора, от лип и от ульев, покрытых досками, черно и коротко падали на мелкую курчавую траву, пробивавшуюся между ульями. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце, открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленого, крытого свежей соломой мшеника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, отирая полую рубахи свое потное, загорелое лицо и кротко, радостно улыбаясь, пошел
30 навстречу барину.

В пчельнике было так уютно, радостно, тихо, прозрачно; фигура седого старичка с лучеобразными, частыми морщинками около глаз, в каких-то широких башмаках, надетых на босую ногу, который, переваливаясь и добродушно, самодовольно улыбаясь, приветствовал барина в своих исключительных владениях, была так простодушно-ласкова, что Нехлюдов мгновенно забыл тяжелые впечатления нынешнего утра, и его любимая мечта живо представилась ему. Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково
40 и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своим богатством и счастьем.

– Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая, кусает, – сказал старик, снимая с забора пахнувший медом грязный холстинный мешок, пришитый к лубку, и предлагая его барину. – Меня пчела знает, не кусает, – прибавил он с кроткой улыбкой, которая почти не сходила с его красивого загорелого лица.

– Так и мне не нужно. Что, роится уж? – спросил Нехлюдов, сам не зная чему, тоже улыбаясь.

– Коли роиться, батюшка Митрий Миколаич, – отвечал старик, выражая какую-то особенную ласку в этом названии барина по имени и отчеству, – вот только, только что брать зачала как след. Нынче весна холодная была, извольте знать. 10

– А вот я читал в книжке, – начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему в волоса, жужжала под самым ухом, – что коли вощина прямо стоит, по жердочкам, то пчела раньше роится. Для этого делают такие улья из досок... с пере-кладин...

– Вы не извольте махать: она хуже, – сказал старичок; – а то сетку не прикажете ли подать?

Нехлюдову было больно; но по какому-то детскому самолюбию ему не хотелось признаться в этом, и он, еще раз отказавшись от сетки, продолжал рассказывать старичку о том устройстве ульев, про которое он читал в «Maison rustique» и при котором, по его мнению, должно было в два раза больше роиться; но пчела ужалила его в шею, и он сбился и замялся в середине рассуждения. 20

– Оно точно, батюшка Митрий Миколаич, – сказал старик с отеческим покровительством, глядя на барина, – точно в книжке пишут. Да, может, это так дурно писано, что вот, мол, он сделает, как мы пишем, а мы посмеемся потом. И это бывает! Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама по колодке норовит, другой раз поперек, а то прямо. Вот извольте посмотреть, – прибавил он, оттыкая одну из ближайших колодок и заглядывая в отверстие, покрытое шумящей и ползающей пчелой по кривым вощинам, – вот эта молодая; она, видать, в голове у ней матка сидит, а вощину она и прямо и вбок ведет, как ей по колодке лучше, – говорил старик, видимо увлекаясь своим любимым предметом и не замечая положения барина. – Вот нынче она с калошкой идет, нынче день теплый, все видать, – прибавил он, затыкая опять улей и прижимая тряпкой ползающую пчелу, и потом огребая грубой ладонью несколько пчел с морщинистого затылка. Пчелы не кусали его; но зато Нехлюдов уж едва мог удержаться от желания выбежать из пчельника: пчелы местах в трех ужалили его и жужжали со всех сторон около его головы и шеи. 30 40

– А много у тебя колодок? – спросил он, отступая к калитке.

– Что Бог дал, – отвечал Дутлов, посмеиваясь, – считать не надо, батюшка: пчела не любит. Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел, – продолжал он, указывая на тоненькие колодки, стоящие у забора, – об Осипе, кормилицыном муже; хоть бы вы ему заказали: в своей деревне так дурно делать по соседству, нехорошо.

– Как дурно делать?.. Ах, однако, они кусают! – отвечал барин, уже взявшись на ручку калитки.

10 – Да вот, что ни год, свою пчелу на моих молодых напускает. Им бы поправляться, а чужая пчела у них вощину повытаскает да и подсекает, – говорил старик, не замечая ужимок барина.

– Хорошо, после, сейчас... – проговорил Нехлюдов и, не в силах уже более терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку.

– Землей потереть: оно ничего, – сказал старик, выходя на двор вслед за барином. Барин потер землю то место, где был ужален, краснея, быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые
20 не смотрели на него, и сердито нахмурился.

XVI

– Что я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство, – сказал старик, как будто или действительно не замечая грозного вида барина.

– Что?

– Да вот лошадами, слава те Господи, мы исправны, и батрак есть, так барщина за нами не постоит.

– Так что ж?

– Коли бы милость ваша была, ребят на оброк отпустить, так
30 Илюшка с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето: може, что бы и заработали.

– Куда ж они пойдут?

– Да как придется, – вмешался Илюшка, который в это время, привязав лошадей под навес, подошел к отцу. – Кадминские ребята на восьми тройках в Ромен ездили, так, говорят, прокормились да десятки по три на тройку домой привезли; а то и в Одест, говорят, кормы дешевые.

– Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой, – сказал барин, обращаясь к старику и желая половчее навести его на
40 разговор о ферме. – Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься?

– Когда не выгоднее, ваше сиятельство! – опять вмешался Илья, бойко встряхивая волосами, – дома-то лошадей кормить нечем.

– Ну, а сколько ты в лето выработашь?

– Да вот с весны, на что корма дорогие были, мы в Киев с товаром ездили, в Курском опять до Москвы крупу наложили, так и сами прокормились, и лошади сыты были, да и пятнадцать рублей денег привез.

– Оно не беда заниматься честным промыслом, каким бы то ни было, – сказал барин, снова обращаясь к старику, – но мне кажется, что можно бы другое занятие найти; да и работа эта такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит, избаловаться может, – прибавил он, повторяя слова Карпа. 10

– Чем же нашему брату, мужику, заниматься, как не извозом? – возразил старик с своей кроткой улыбкой. – Съездишь хорошо – и сам сыт, и лошади сыты; а что насчет баловства, так они у меня, слава ти Господи, не первый год ездят, да и сам я езжал, и дурного ни от кого не видал, кроме доброго. 20

– Мало ли чем другим вы бы могли заняться дома: и землей, и лугами...

– Как можно, ваше сиятельство! – подхватил Илюшка с одушевлением, – уж мы с этим родились, все эти порядки нам известные, способное для нас дело, самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить!

– А что, ваше сиятельство, просим чести, в избу не пожалуете ли? На новоселье еще не изволили быть, – сказал старик, низко кланяясь и мигая сыну. Илюшка рысью побежал в избу, а вслед за ним, вместе с стариком, вошел и Нехлюдов.

XVII

Войдя в избу, старик еще раз поклонился, смахнул полой зипуна с лавки переднего угла и, улыбаясь, спросил: 30

– Чем вас просить, ваше сиятельство?

Изба была белая (с трубой), просторная, с полатями и нарами. Свежие осинового бревна, между которыми виднелся недавно завядший мох, еще не почернели; новые лавки и полати не сгладились, и пол еще не убился. Одна молодая, худощавая, с продолговатым задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку, на длинном шесте привешенную к потолку. В зыбке, чуть заметно дыша и закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок; другая, 40 плотная, краснощекая баба, хозяйка Карпа, засучив выше лок-

тя сильные, загорелые выше кисти руки, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Рябая беременная баба, закрываясь рукавом, стояла около печи. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и сильно пахло только что испеченным хлебом. С полатей с любопытством поглядывали вниз, на барина, белокурые головки двух парнишек и девочки, забравшихся туда в ожидании обеда.

Нехлюдову было радостно видеть это довольство и вместе с тем было почему-то совестно перед бабами и детьми, которые
10 все смотрели на него. Он, краснея, сел на лавку.

– Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю, – сказал он и покраснел еще больше.

Карпова хозяйка отрезала большой кусок хлеба и на тарелке подала его барину. Нехлюдов молчал, не зная, что сказать; бабы тоже молчали; старик кротко улыбался.

«Однако чего ж я стыжусь? точно я виноват в чем-нибудь, – подумал Нехлюдов, – отчего ж мне не сделать предложение о ферме? Какая глупость!» Однако он все молчал.

– Что ж, батюшка Митрий Миколаич, как насчет ребят-то
20 прикажете? – сказал старик.

– Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу, – вдруг, собравшись с духом, выговорил Нехлюдов. – Я, знаешь, что тебе придумал: купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу да еще землю...

Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика.

– Как же, ваше сиятельство, на какие же деньги покупать будем? – перебил он барина.

– Да ведь небольшую рощу, рублей в двести, – заметил Нехлюдов.

30 Старик сердито усмехнулся.

– Хорошо, кабы были, отчего бы не купить, – сказал он.

– Разве у тебя уж этих денег нет? – с упреком сказал барин.

– Ох, батюшка ваше сиятельство! – отвечал с грустью в голосе старик, оглядываясь к двери, – только бы семью прокормить, а уж нам не рощи покупать.

– Да ведь есть у тебя деньги, что ж им так лежать? – настаивал Нехлюдов.

Старик вдруг пришел в сильное волнение; глаза его засверкали, плечи стало подергивать.

40 – Может, злые люди про меня сказали, – заговорил он дрожащим голосом, – так, верите Богу, – говорил он, одушевляясь все более и более и обращая глаза к иконе, – что вот лопни мои глаза, провались я на сем месте, коли у меня что есть, кроме пятна-

дцати целковых, что Илюшка привез, и то подушные платить надо – вы сами изволите знать: избу поставили...

– Ну, хорошо, хорошо! – сказал барин, вставая с лавки. – Прощайте, хозяева.

XVIII

«Боже мой! Боже мой! – думал Нехлюдов, большими шагами направляясь к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывая листья и ветви, попадавшие ему на дороге, – неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой, тогда как я воображал, что, раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно-удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли?» И он с необыкновенной живостью и ясностью перенесся воображением за год тому назад, к этой счастливой минуте. 10

Рано-рано утром он встал прежде всех в доме и, мучительно волнуемый какими-то затаенными, невыраженными порывами юности, без цели вышел в сад, оттуда в лес, и среди майской, сильной, сочной, но спокойной природы долго бродил один, без всяких мыслей, страдая избытком какого-то чувства и не находя выражения ему. То со всею прелестью неизвестного юное изображение его представляло ему сладострастный образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое, высшее чувство говорило *не то* и заставляло его искать чего-то другого. То неопытный, пылкий ум его, возносясь все выше и выше, в сферу отвлечения, открывал, как казалось ему, законы бытия, и он с гордым наслаждением останавливался на этих мыслях. Но снова высшее чувство говорило *не то* и снова заставляло его искать и волноваться. Без мыслей и желаний, как это всегда бывает после усиленной деятельности, он лег на спину под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, пробегавшие над ним по глубокому, бесконечному небу. Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и, Бог знает каким путем, ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением, – мысль, что любовь и добро есть истина и счастье, и одна истина и одно возможное счастье в мире. Высшее чувство не говорило *не то*; он приподнялся и стал поверять эту мысль. «Оно, оно, так! – говорил он себе с восторгом, меряя все прежние убеждения, все явления жизни на вновь открытую, ему казалось, совершенно новую истину. – Какая глупость все то, что я знал, чему верил и что 30 40

любил, – говорил он сам себе. – Любовь, самоотвержение – вот одно истинное, независимое от случая счастье!» – твердил он, улыбаясь и размахивая руками. Со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ей подтверждение и в жизни и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это *то*, он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторга. «Итак, я должен делать добро, чтоб быть счастливым», – думал он, и вся будущность его уже не отвлеченно, а в образах, в форме помещицкой жизни живо рисовалась пред ним.

Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятит на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности: она готова; у него есть прямая обязанность – у него есть крестьяне... И какой отрад-
ный и благодарный труд представляется ему – «действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которыми, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, за-
ставить полюбить добро... Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастья, я буду наслаждаться благодарностью их, буду видеть, как с каждым днем я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность! Как мог я прежде не видеть этого?»

«И кроме этого, – в то же время думал он, – кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастье семейной жизни?» И юное воображение рисовало ему еще более обворожительную будущность. «Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть, с старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение – добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает... Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на Провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы».

«Где эти мечты? – думал теперь юноша, после своих посещениях подходя к дому. – Вот уж больше года, что я ищу счастья на этой дороге, и что ж я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собой! Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастья, я желаю, страстно желаю счастья. Я не испытал наслаждений, а уже отрезал от себя все, что дает их. Зачем? за что? Кому от этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чем дать его другим. 10
 Разве богаче стали мои мужики? образовались или развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжелее и тяжелее. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность... но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни», – подумал он, и ему почему-то вспоминалось, что соседи, как он слышал от няни, называли его недорослем; что денег у него в конторе ничего уже не оставалось; что выдуманная им новая молотильная машина, к общему смеху мужиков, только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый 20
 раз, при многочисленной публике, пустили в ход в молотильном сарае; что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями. И вдруг так же живо, как прежде, представлялась ему деревенская прогулка по лесу и мечта о помещичьей жизни, так же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, в которой он поздно ночью сидит, при одной свечке, с своим товарищем и обожаемым шестнадцатилетним другом. Они часов пять сряду читали и по- 30
 вторяли какие-то скучные записки гражданского права и, окончив их, послали за ужином, сложились на бутылку шампанского и разговорились о будущем, которая ожидает их. Как совсем иначе представлялась будущность молодому студенту! Тогда будущность была полна наслаждений, разнообразной деятельности, блеска, успехов и несомненно вела их обоих к лучшему, как тогда казалось, благу в мире – к славе.

«Он уж идет и быстро идет по этой дороге, – подумал Нехлюдов про своего друга, – а я...»

Но в это время он уже подходил к крыльцу дома, около которого стояло человек десять мужиков и дворовых, с различными 40
 просьбами дожидавшихся барина, и от мечтаний он должен был обратиться к действительности.

Тут была и оборванная, растрепанная и окровавленная крестьянская женщина, которая с плачем жаловалась на свекора, будто бы хотевшего убить ее; тут были два брата, уж второй год делившие между собой свое крестьянское хозяйство и с отчаянной злобой смотревшие друг на друга; тут был и небритый седой дворовый с дрожащими от пьянства руками, которого сын его, садовник, привел к барину, жалуясь на его беспутное поведение; тут был мужик, выгнавший свою бабу из дома за то, что она целую весну не работала; тут была и эта
10 больная баба, его жена, которая, всхлипывая и ничего не говоря, сидела на траве у крыльца и выказывала свою воспаленную, небрежно обвязанную каким-то грязным тряпьем, распухшую ногу...

Нехлюдов выслушал все просьбы и жалобы и, посоветовав одним, разобрав других и обещав третьим, испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния, прошел в свою комнату.

XX

В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял
20 старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками; несколько таких же кресел; раскинутый старинный бостонный стол с инкрустациями, углублениями и медной оправой, на котором лежали бумаги, и старинный желтенький, открытый английский рояль с истертыми, погнувшимися узенькими клавишами. Между окнами висело большое зеркало в старой позолоченной резной раме. На полу, около стола, лежали кипы бумаг, книг и счетов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид; и этот живой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат
30 большого дома. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший пред роялем, положив ногу на ногу и опустив голову.

– Что, завтракать будете, ваше сиятельство? – сказала вошедшая в это время высокая, худая, сморщенная старуха, в чепце, большом платке и ситцевом платье.

Нехлюдов оглянулся на нее и помолчал немного, как будто опоминаясь.

– Нет, не хочется, няня, – сказал он и снова задумался.

Няня сердито покачала на него головой и вздохнула:

40 – Эх, батюшка Дмитрий Николаич, что скучаете? И не такое горе бывает, все пройдет – ей-Богу...

– Да я и не скучаю. С чего ты взяла, матушка Маланья Финогеновна? – отвечал Нехлюдов, стараясь улыбнуться.

– Да как не скучать, разве я не вижу? – с жаром начала говорить няня, – день-деньской один-одинешенек. И все-то вы к сердцу принимаете, до всего сами доходите; уж и кушать почти ничего не стали. Разве это резон? Хоть бы в город поехали или к соседям, а то виданное ли дело? Ваши года молодые, так обо всем сокрушаться! Ты меня извини, батюшка, я сяду, – продолжала няня, садясь около двери, – ведь такую повадку дали, что уж никто не боится. Разве так господа делают? Ничего тут хорошего нет; только себя губишь, да и народ-то балуется. Ведь наш народ какой: он этого не чувствует, право. Хоть бы к тетеньке поехал: она правду писала... – усовещивала его няня. 10

Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правая рука его, опиравшаяся на колено, вяло дотронулась до клавишей. Вышел какой-то аккорд, другой, третий... Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовленны, даже не совсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта, но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное, грустное наслаждение. 20 При всяком изменении гармонии он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и, когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий: и хор, и оркестр, сообразный с его гармонией. Главное же наслаждение доставляла ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительной ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. То представляется ему пухлая фигура Давыдки 30 Белого, испуганно мигающего белыми ресницами при виде черного жилистого кулака своей матери, его круглая спина и огромные руки, покрытые белыми волосами, одним терпением и преданностью судьбе отвечающие на истязания и лишения. То он видит бойкую, осмелившуюся на дворе кормилицу и почему-то воображает, как она ходит по деревням и проповедует мужикам, что от помещиков деньги прятать нужно, и он бессознательно повторяет сам себе: «Да, от помещиков деньги прятать нужно». То вдруг ему представляется русая головка его будущей жены, почему-то в слезах и в глубоком горе склоняющаяся к нему на плечо; то он видит добрые голубые глаза Чурисы, с нежностью глядящие на единственного пузатого сынишку. Да, он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. «Вот это любовь!» – шепчет 40

он. Потом вспоминает он о матери Юхванки, вспоминает о выражении терпения и всепрощения, которое, несмотря на торчащий зуб и уродливые черты, он заметил на старческом лице ее. «Должно быть, в семьдесят лет ее жизни я первый заметил это», – думает он и шепчет: «странно!», продолжая бессознательно перебирать клавиши и вслушиваться в звуки. Потом он живо вспоминает свое бегство с пчельника и выражение лиц Игната и Карпа, которым видимо хочется смеяться, но которые как будто не смотрят на него. Он краснеет и невольно оглядывается на няню, которая продолжает сидеть около двери и молча, пристально глядеть на него, изредка покачивая седой головой. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей и красивая, сильная фигура Илюшки с светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, чтоб его не пустили в извоз, и как горько заступался за это любезное для него дело; и он видит серое, раннее туманное утро, подсклизлую шоссеиную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных возов с большими черными буквами. Толстоногие сытые кони, погрохивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая постромки, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными шипами за склизкую дорогу. Навстречу обоза, под гору, шибко бежит почта, звеня колоколами, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущемуся с обеих сторон дороги.

– А-а-ай! – громко ребяческим голосом кричит передовой ящик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой.

У переднего колеса первого воза тяжело шагает в огромных сапогах Карп с своей рыжей бородой и угрюмым взглядом. На втором возу высовывается красивая голова Илюшки, который, под рогожей передка, славно пригрелся на зорьке. Три тройки, нагруженные чемоданами, с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком пронесли мимо; Илюшка снова прячет свою красивую голову под рогожу и засыпает. Вот и ясный теплый вечер. Перед усталыми, столпившимися у постоянного двора тройками скрипят тесовые ворота, и один за другим, подпрыгивая по доске, лежащей в воротах, скрываются высокие рогожные возы под просторными навесами. Илюшка весело здоровается с белолицей, широкогрудой хозяйкой, которая спрашивает: «Издали ли? и много ли ужинать будут?», с удовольствием поглядывая на красивого парня своими блестящими сладкими глазами. Вот он, убрав коней, идет в жаркую, набитую народом избу, крестится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяй-

кой и товарищами. А вот и ночлег его под открытым звездным небом, виднеющимся из-под навеса, на пахучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток и, раз тридцать сряду перекрестив свою широкую, сильную грудь и встряхнув светлыми кудрями, прочел «Отче» и раз двадцать «Господи помилуй» и, увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот видит он во сне города Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами – и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше...

«Славно!» – шепчет себе Нехлюдов, и мысль: зачем он не Илюшка – тоже приходит ему.

ИЗ КАВКАЗСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ. РАЗЖАЛОВАННЫЙ

Мы стояли в отряде. Дела уже кончались, дорубали просеку и с каждым днем ожидали из штаба приказа об отступлении в крепость. Наш дивизион батарейных орудий стоял на скате крутого горного хребта, оканчивающегося быстрой горной речкой Мечиком, и должен был обстреливать расстилавшуюся впереди равнину. На живописной равнине этой, вне выстрела, изредка, особенно перед вечером, там и сям показывались невраждебные

10 группы конных горцев, выезжавших из любопытства посмотреть на русский лагерь. Вечер был ясный, тихий и свежий, как обыкновенно декабрьские вечера на Кавказе, солнце спускалось за крутым отрогом гор налево и бросало розовые лучи на палатки, рассыпанные по горе, на движущиеся группы солдат и на наши два орудия, тяжело, как будто вытянув шеи, неподвижно стоявшие в двух шагах от нас на земляной батарее. Пехотный пикет, расположенный на бугре налево, отчетливо обозначался на прозрачном свете заката, с своими козлами ружей, фигурой часового, группой солдат и дымом разложенного костра. Направо и налево

20 по полугоре на черной притоптанной земле белели палатки, а за палатками чернели голые стволы чинарного леса, в котором беспрестанно стучали топорами, трещали костры и с грохотом падали подрубленные деревья. Голубоватый дым трубой подымался со всех сторон в светло-синее морозное небо. Мимо палаток и низами около ручья тянулись с топотом и фырканьем казаки, драгуны и артиллеристы, возвращавшиеся с водопоя. Начинало подмораживать, все звуки были слышны особенно явственно, — и далеко вперед по равнине было видно в чистом, редком воздухе. Неприятельские кучки, уже не возбуждая любопытства

30 солдат, тихо разъезжали по светло-желтому жнивью кукурузных

полей, кой-где из-за деревьев виднелись высокие столбы кладбищ и дымящиеся аулы.

Наша палатка стояла недалеко от орудий, на сухом и высоком месте, с которого вид был особенно обширен. Подле палатки, около самой батареи, на расчищенной площадке была устроена нами игра в городки, или чушки. Услужливые солдатики тут же приделали для нас плетеные лавочки и столик. По причине всех этих удобств артиллерийские офицеры, наши товарищи, и несколько пехотных любили по вечерам собираться к нашей батарее и называли это место клубом.

Вечер был славный, лучшие игроки собрались, и мы играли в городки. Я, прапорщик Д. и поручик О. проиграли сряду две партии и к общему удовольствию и смеху зрителей – офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток, – провезли два раза на своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого. Особенно забавно было положение огромного, толстого штабс-капитана Ш., который, задыхаясь и добродушно улыбаясь, с волочащимися по земле ногами проехал на маленьком и тщедушном поручике О. Но становилось уже поздно, денщики вынесли нам, на всех шесть человек, три стакана чая, без блюдец, и мы, окончив игру, подошли к плетеным лавочкам. Около них стоял незнакомый нам небольшой человечек с кривыми ногами, в нагольном тулупе и в папаче с длинною висящей белой шерстью. Как только мы подошли близко к нему, он нерешительно несколько раз снял и надел шапку и несколько раз как будто собирался подойти к нам и снова останавливался. Но решив, должно быть, что уже больше нельзя оставаться незамеченным, незнакомый человек этот снял шапку и, обходя нас кругом, подошел к штабс-капитану Ш.

– А, Гуськантини! Ну что, батенька? – сказал ему Ш., добродушно улыбаясь еще под влиянием своей поездки.

Гуськантини, как его назвал Ш., тотчас же надел шапку и сделал вид, что он засовывает руки в карманы полушубка, но с той стороны, с которой он стоял ко мне, кармана на полушубке не было, и маленькая красная рука его осталась в неловком положении. Мне хотелось решить, кто такой был этот человек (юнкер или разжалованный?), и я, не замечая того, что мой взгляд (то есть взгляд незнакомого офицера) смущал его, вглядывался пристально в его одежду и наружность. Ему казалось лет тридцать. Маленькие, серые, круглые глаза его как-то заспанно и вместе с тем беспокойно выглядывали из-за грязного белого курпья папачи, висевшего ему на лицо. Толстый, неправильный нос среди ввалившихся щек изобличал болезненную, неестественную худо-

бу. Губы, весьма мало закрытые редкими, мягкими, белесоватыми усами, беспрестанно находились в беспокойном состоянии, как будто пытались принять то то, то другое выражение. Но все эти выражения были как-то недоконченны; на лице его оставалось постоянно одно преобладающее выражение испуга и торопливости. Худую жилистую шею его обвязывал шерстяной зеленый шарф, скрывающийся под полущубком. Полущубок был затертый, короткий, с нашитой собакой на воротнике и на фальшивых карманах. Панталоны были клетчатые, пепельного цвета, и сапоги с короткими нечерненными солдатскими голенищами. 10

– Пожалуйста, не беспокойтесь, – сказал я ему, когда он снова, робко взглянув на меня, снял было шапку.

Он поклонился мне с благодарным выражением, надел шапку и, достав из кармана грязный ситцевый кисет на шнурочках, стал делать папироску.

Я сам недавно был юнкером, старым юнкером, неспособным уже быть добродушно-услужливым младшим товарищем, и юнкером без состояния, поэтому, хорошо зная всю моральную тяжесть этого положения для немолодого и самолюбивого человека, я сочувствовал всем людям, находящимся в таком положении, 20 и старался объяснить себе их характер и степень и направление умственных способностей, для того чтобы по этому судить о степени их моральных страданий. Этот юнкер или разжалованный, по своему беспокойному взгляду и тому умышленному беспрестанному изменению выражения лица, которое я заметил в нем, казался мне человеком очень неглупым и крайне самолюбивым, и поэтому очень жалким.

Штабс-капитан Ш. предложил нам сыграть еще партию в городки, с тем чтобы проигравшая партия, кроме перевозу, заплатила за несколько бутылок красного вина, рому, сахару, корицы и 30 гвоздики для глинтвейна, который в эту зиму, по случаю холода, был в большой моде в нашем отряде. Гуськантини, как его опять назвал Ш., тоже пригласили в партию, но, перед тем как начинать игру, он, видимо борясь между удовольствием, которое ему доставило это приглашение, и каким-то страхом, отвел в сторону штабс-капитана Ш. и стал что-то нашептывать ему. Добродушный штабс-капитан ударил его своей пухлой, большой ладонью по животу и громко отвечал: «Ничего, батенька, я вам поверю».

Когда игра кончилась, и та партия, в которой был незнакомый нижний чин, выиграла, и ему пришлось ехать верхом на одном из наших офицеров, прапорщике Д., – прапорщик покраснел, отошел к диванчикам и предложил нижнему чину папирос в виде выкупа. Пока заказали глинтвейн и в денщицкой палатке слыша-

лось хлопотливое хозяйничанье Никиты, посылавшего вестового за корицей и гвоздикой, и спина его натягивала то там, то сям грязные полы палатки, мы все семь человек уселись около лавочек и, попеременно попивая чай из трех стаканов и посматривая вперед на начинавшую одеваться сумерками равнину, разговаривали и смеялись о разных обстоятельствах игры. Незнакомый человек в полушубке не принимал участия в разговоре, упорно отказывался от чая, который я несколько раз предлагал ему, и, сидя на земле по-татарски, одну за другою делал из мелкого табаку папироски и выкуривал их, как видно было, не столько для своего удовольствия, сколько для того, чтобы дать себе вид чем-нибудь занятого человека. Когда заговорили о том, что назавтра ожидают отступления и, может быть, дела, он приподнялся на колени и, обращаясь к одному штабс-капитану Ш., сказал, что он был теперь дома у адъютанта и сам писал приказ о выступлении назавтра. Мы все молчали в то время, как он говорил, и, несмотря на то, что он видимо робел, заставили его повторить это крайне для нас интересное известие. Он повторил сказанное, прибавив, однако, что он *был и сидел* у адъютанта, с которым *он живет вместе*, в то время как принесли приказание.

– Смотрите, коли вы не лжете, батенька, так мне надо в своей роте идти приказать кой-что к завтраму, – сказал штабс-капитан Ш.

– Нет... отчего же?... как же можно, я наверно... – заговорил нижний чин, но вдруг замолчал и, видимо решившись обидеться, ненатурально нахмурил брови и, шепча что-то себе под нос, снова начал делать папироску. Но высыпаемого мельчайшего табаку уже было недостаточно в его ситцевом кисете, и он попросил Ш. *одолжить* ему *папиросочку*. Мы довольно долго продолжали между собою ту однообразную военную болтовню, которую знает каждый, кто бывал в походах, жаловались все одними и теми же выражениями на скуку и продолжительность похода, одним и тем же манером рассуждали о начальстве, все так же, как много раз прежде, хвалили одного товарища, жалели другого, удивлялись, как много выиграл тот, как много проиграл этот, и т. д., и т. д.

– Вот, батенька, адъютант-то наш прорвался так прорвался, – сказал штабс-капитан Ш., – в штабе вечно в выигрыше был, с кем ни сядет, бывало, загребет, а теперь уж второй месяц все проигрывает. Не задался ему нынешний отряд. Я думаю, монетов тысячу спустил, да и вещей монетов на пятьсот: ковер, что у Мухина выиграл, пистолеты никитинские, часы золотые, от Сады, что ему Воронцов подарил, все ухнуло.

– Поделом ему, – сказал поручик О., – а то уж он очень всех обдудал: с ним играть нельзя было.

– Всех обдудал, а теперь весь в трубу вылетел, – и штабс-капитан Ш. добродушно рассмеялся, – вот Гуськов у него живет – он и его чуть не проиграл, право. Так, батенька? – обратился он к Гуськову.

Гуськов засмеялся. У него был жалкий, болезненный смех, совершенно изменявший выражение его лица. При этом изменении мне показалось, что я прежде знал и видал этого человека, притом и настоящая фамилия его, Гуськов, была мне знакома, но как и когда я его знал и видел – я решительно не мог припомнить. 10

– Да, – сказал Гуськов, беспрестанно поднимая руки к усам и, не дотронувшись до них, опуская их снова, – Павлу Дмитриевичу очень в этот отряд не повезло, такая *veine de malheur*¹, – добавил он старательным, но чистым французским выговором, причем мне снова показалось, что я уже видал, и даже часто видал его где-то. – Я хорошо знаю Павла Дмитриевича, он мне все доверяет, – продолжал он, – мы с ним еще старые знакомые, то есть он меня любит, – прибавил он, видимо испугавшись слишком смелого утверждения, что он старый знакомый адъютанта. – Павел Дмитриевич отлично играет, но теперь удивительно, что с ним сделалось, он совсем как потерянный – *la chance a tourné*², – добавил он, обращаясь преимущественно ко мне. 20

Мы сначала с снисходительным вниманием слушали Гуськова, но как только он сказал еще эту французскую фразу, мы все невольно отвернулись от него.

– Я с ним тысячу раз играл, и ведь согласитесь, что это *странно*, – сказал поручик О. с особенным ударением на этом слове, – удивительно *странно*: я ни разу у него не выиграл ни абаза. Отчего же я у других выигрываю? 30

– Павел Дмитриевич отлично играет, я его давно знаю, – сказал я. Действительно, я знал адъютанта уже несколько лет, не раз видал его в игре, большой по средствам офицеров, и восхищался его красивой, немного мрачной и всегда невозмутимо спокойной физиономией, его медлительным малороссийским выговором, его красивыми вещами и лошадьми, его неторопливой хохлацкой молодцеватостью и особенно его умением сдержанно, отчетливо и приятно вести игру. Не раз, каюсь в том, глядя на его полные и белые руки с бриллиантовым перстнем на указательном пальце, которые мне били одну карту за другую, я злился на 40

¹ полоса неудачи (фр.)

² счастье отвернулось (фр.)

этот перстень, на белые руки, на всю особу адъютанта, и мне приходили на его счет дурные мысли; но, обсуживая потом хладнокровно, я убеждался, что он просто игрок умнее всех тех, с которыми ему приходится играть. Тем более что, слушая его общие рассуждения об игре, о том, как следует не отгибаться, поднявшись с маленького куша, как следует бастовать в известных случаях, как первое правило играть на *чистые* и т. д., и т. д., было ясно, что он всегда в выигрыше только оттого, что умнее и характернее всех нас. Теперь же оказалось, что этот воздержный, характерный игрок проигрался в пух в отряде не только деньгами, но и вещами, что означает последнюю степень проигрыша для офицера.

– Ему чертовски всегда везет со мной, – продолжал поручик О. – Я уж дал себе слово больше не играть с ним.

– Экой вы чудак, батенька, – сказал Ш., подмигивая на меня всей головой и обращаясь к О., – проиграли ему монетов триста, ведь проиграли!

– Больше, – сердито сказал поручик.

– А теперь хватились за ум, да поздно, батенька, всем давно известно, что он наш полковой шулер, – сказал Ш., едва удерживаясь от смеха и очень довольный своей выдумкой. – Вот Гуськов налицо, он ему и карты подготавливает. От этого-то у них и дружба, батенька мой... – И штабс-капитан Ш. так добродушно, колебаясь всем телом, расхохотался, что расплескал стакан глинтвейна, который держал в руке в это время.

На желтом, исхудалом лице Гуськова показалась как будто краска, он несколько раз открывал рот, поднимал руки к усам и снова опускал их к месту, где должны были быть карманы; приподнимался и опускался и наконец не своим голосом сказал Ш.:

– Это не шутка, Николай Иванович, вы говорите такие вещи и при людях, которые меня не знают и видят в нагольном полушубке... потому что... – Голос у него оборвался, и снова маленькие красные ручки с грязными ногтями заходили от полушубка к лицу, то поправляя усы, волосы, нос, то прочищая глаз или почесывая без всякой надобности щеку.

– Да что и говорить, всем известно, батенька, – продолжал Ш., искренно довольный своей шуткой и вовсе не замечая волнения Гуськова. Гуськов еще прошептал что-то и, уперев локоть правой руки на коленку левой ноги, в самом неестественном положении, глядя на Ш., стал делать вид, как будто он презрительно улыбается.

«Нет, – решительно подумал я, глядя на эту улыбку, – я не только видел его, но говорил с ним где-то».

– Мы с вами где-то встречались, – сказал я ему, когда под влиянием общего молчания начал утихать смех Ш. Переменчивое лицо Гуськова вдруг просветлело, и его глаза в первый раз с искренно веселым выражением устремились на меня.

– Как же, я вас сейчас узнал, – заговорил он по-французски. – В сорок восьмом году я вас довольно часто имел удовольствие видеть в Москве у моей сестры Ивашиной.

Я извинился, что не узнал его сразу в этом костюме и в этой новой одежде. Он встал, подошел ко мне и своей влажной рукой нерешительно, слабо пожал мою руку и сел подле меня. Вместо того чтобы смотреть на меня, которого он будто бы был так рад видеть, он с выражением какого-то неприятного хвастовства оглянулся на офицеров. Оттого ли, что я узнал в нем человека, которого несколько лет тому назад видал во фраке в гостиной, или оттого, что при этом воспоминании он вдруг поднялся в своем собственном мнении, мне показалось, что его лицо и даже движения совершенно изменились: они выражали теперь бойкий ум, детское самодовольство от сознания этого ума и какую-то презрительную небрежность; так что, признаюсь, несмотря на жалкое положение, в котором он находился, мой старый знакомый уже внушал мне не сострадание, а какое-то несколько неприязненное чувство.

Я живо вспомнил нашу первую встречу. В сорок восьмом году я часто в бытность мою в Москве ездил к Ивашину, с которым мы росли вместе и были старые приятели. Его жена была приятная хозяйка дома, любезная женщина, что называется, но она мне никогда не нравилась... В ту зиму, когда я ее знал, она часто говорила с худо скрываемой гордостью про своего брата, который недавно кончил курс и будто бы был одним из самых образованных и любимых молодых людей в лучшем петербургском свете. Зная по слухам отца Гуськовых, который был очень богат и занимал значительное место, и зная направление сестры, я встретился с молодым Гуськовым с предубеждением. Раз вечером, приехав к Ивашину, я застал у него невысокого, весьма приятного на вид молодого человека в черном фраке, в белом жилете и галстухе, с которым хозяин забыл познакомить меня. Молодой человек, по-видимому собиравшийся ехать на бал, с шляпой в руке стоял перед Ивашиным и горячо, но учтиво спорил с ним про общего нашего знакомого, отличившегося в то время в Венгерской кампании. Он говорил, что этот знакомый был вовсе не герой и человек, рожденный для войны, как его называли, а только умный и образованный человек. Помню, я принял участие в споре против Гуськова и увлекся в крайность, доказывая

даже, что ум и образование всегда в обратном отношении к храбрости, и помню, как Гуськов приятно и умно доказывал мне, что храбрость есть необходимое следствие ума и известной степени развития, с чем я, считая себя умным и образованным человеком, не мог втайне не согласиться! Помню, что в конце нашего разговора Ивашина познакомила меня с своим братом, и он, снисходительно улыбаясь, подал мне свою маленькую руку, на которую еще не совсем успел натянуть лайковую перчатку, и так же слабо и нерешительно, как и теперь, пожал мою руку. Хотя я и был

10 предубежден против него, я не мог тогда не отдать справедливости Гуськову и не согласиться с его сестрою, что он был действительно умный и приятный молодой человек, который должен был иметь успех в свете. Он был необыкновенно опрятен, изящно одет, свеж, имел самоуверенно-скромные приемы и вид чрезвычайно моложавый, почти детский, за который вы невольно извиняли ему выражение самодовольства и желание умерить степень своего превосходства перед вами, которое постоянно носили на себе его умное лицо и в особенности улыбка. Говорили, что он в эту зиму имел большой успех у московских барынь. Выдав

20 его у сестры, я только по выражению счастья и довольства, которое постоянно носила на себе его молодая наружность, и по его иногда нескромным рассказам мог заключить, в какой степени это было справедливо. Мы встречались с ним раз шесть и говорили довольно много, или, скорее, много говорил он, а я слушал. Он говорил большею частию по-французски, весьма хорошим языком, очень складно, фигурно и умел мягко, учтиво перебивать других в разговоре. Вообще он обращался со всеми и со мною довольно свысока, а я, как это всегда со мной бывает в отношении людей, которые твердо уверены, что со мной следует

30 обращаться свысока, и которых я мало знаю, – чувствовал, что он совершенно прав в этом отношении.

Теперь, когда он подсел ко мне и сам подал мне руку, я живо узнал в нем прежнее высокомерное выражение, и мне показалось, что он не совсем честно пользуется выгодой своего положения нижнего чина перед офицером, так небрежно расспрашивая меня о том, что я делал все это время и как попал сюда. Несмотря на то, что я всякий раз отвечал по-русски, он заговаривал на французском языке, на котором уже заметно выражался не так свободно, как прежде. Про себя он мне мельком сказал, что после своей несчастной глупой истории (в чем состояла эта история, я не знал, и он не сказал мне) он три месяца сидел под арестом, потом был послан на Кавказ в N. полк, – теперь уже три года служит солдатом в этом полку.

– Вы не поверите, – сказал он мне по-французски, – сколько я должен был выстрадать в этих полках от общества офицеров; еще счастье мое, что я прежде знал адъютанта, про которого мы сейчас говорили: он хороший человек, право, – заметил он снисходительно, – я у него живу, и для меня это все-таки маленькое облегчение. *Oui, mon cher, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas*¹, – добавил он и вдруг замялся, покраснел и встал с места, заметив, что к нам подходил тот самый адъютант, про которого мы говорили.

– Такая отрада встретить такого человека, как вы, – сказал мне шепотом Гуськов, отходя от меня, – мне бы много, много 10 хотелось переговорить с вами.

Я сказал, что я очень рад этому, но, в сущности, признаюсь, Гуськов внушал мне несимпатическое, тяжелое сострадание.

Я предчувствовал, что с глазу на глаз мне будет неловко с ним, но мне хотелось узнать от него многое и в особенности, почему, когда отец его был так богат, он был в бедности, как это было заметно по его одежде и приемам.

Адъютант поздоровался со всеми нами, исключая Гуськова, и подсел со мной рядом на место, которое занимал разжалованный. Всегда спокойный и медлительный, характерный игрок и денеж- 20 ный человек, Павел Дмитриевич был теперь совершенно другим, как я его знал в цветущие времена его игры, он как будто торопился куда-то, беспрестанно оглядывал всех, и не прошло пяти минут, как он, всегда отказывавшийся от игры, предложил поручику О. составить банчик. Поручик О. отказался под предлогом занятий по службе, собственно же потому, что, зная, как мало вещей и денег оставалось у Павла Дмитриевича, он считал неблагоприятным рисковать свои триста рублей против ста рублей, а может, и меньше, которые он мог выиграть.

– А что, Павел Дмитриевич, – сказал поручик, видимо желая 30 избавиться от повторения просьбы, – правда говорят – завтра выступление?

– Не знаю, – заметил Павел Дмитриевич, – только велено приготовиться, а право, лучше бы сыграли, я бы вам заложил моего кабардинца.

– Нет, уж нынче...

– Серого, уж куда ни шло, а то, ежели хотите, деньгами. Что ж?..

– Да я что ж... Я бы готов, вы не думайте, – заговорил поручик О., отвечая на свое собственное сомнение, – а то завтра, 40 может, набег или движение, выспаться надо.

¹ Да, дорогой мой, дни следуют один за другим, но не повторяются (*фр.*).

Адъютант встал и, заложив руки в карманы, стал ходить по площадке. Лицо его приняло обычное выражение холодности и некоторой гордости, которые я любил в нем.

– Не хотите ли стаканчик глинтвейну? – сказал я ему.

– Можно-с, – и он направился ко мне, но Гуськов торопливо взял стакан у меня из рук и понес его адъютанту, стараясь при этом не глядеть на него. Но, не обратив вниманья на веревку, натягивающую палатку, Гуськов спотыкнулся на нее и, выпустив из рук стакан, упал на руки.

10 – Эка филя! – сказал адъютант, протянувший уже руку к стакану. Все расхохотались, не исключая Гуськова, потиравшего рукой свою худую коленку, которую он никак не мог зашибить при падении.

– Вот как медведь пустынноку услужил, – продолжал адъютант. – Так-то он мне каждый день услуживает, все колушки на палатках пооборвал – все спотыкается.

Гуськов, не слушая его, извинялся перед нами и взглядывал на меня с чуть заметной грустной улыбкой, которою он как будто говорил, что я один могу понимать его. Он был жалок, но
20 адъютант, его покровитель, казался почему-то озлобленным на своего сожителя и никак не хотел оставить его в покое.

– Как же, ловкий мальчик! куда ни поверните.

– Да кто ж не спотыкается на эти колушки, Павел Дмитриевич, – сказал Гуськов, – вы сами третьего дня спотыкнулись.

– Я, батюшка, не нижний чин, с меня ловкости не спрашивается.

– Он может ноги волочить, – подхватил штабс-капитан Ш., – а нижний чин должен подпрыгивать...

– Странные шутки, – сказал Гуськов почти шепотом и опустив глаза. Адъютант был, видимо, равнодушен к своему сожителю, он с алчностью вслушивался в его каждое слово.

– Придется опять в секрет послать, – сказал он, обращаясь к Ш. и подмигивая на разжалованного.

– Что ж, опять слезы будут, – сказал Ш., смеясь. Гуськов не глядел уже на меня, а делал вид, что достает табак из кисета, в котором давно уже ничего не было.

– Сбирайтесь в секрет, батенька, – сквозь смех проговорил Ш., – нынче лазутчики донесли, нападение на лагерь ночью будет, так надо надежных ребят назначать. – Гуськов нерешительно улыбался, как будто собираясь сказать что-то, и несколько раз поднимал умоляющий взгляд на Ш.

40 – Что ж, ведь я ходил, и пойду еще, коли пошлют, – пролепетал он.

– Да и пошлют.

– Ну и пойду. Что ж такое?

– Да, как на Аргуне, убежали из секрета и ружье бросили, – сказал адъютант и, отвернувшись от него, начал нам рассказывать приказания на завтрашний день.

Действительно, в ночь ожидали со стороны неприятеля стрельбу по лагерю, а назавтра какое-то движение. Потолковав еще о разных общих предметах, адъютант, как будто нечаянно, вдруг вспомнив, предложил поручику О. прометать ему маленькую. Поручик О. совершенно неожиданно согласился, и они вместе с Ш. и прапорщиком пошли в палатку адъютанта, у которого был складной зеленый стол и карты. Капитан, командир нашего дивизиона, пошел спать в палатку, другие господа разошлись тоже, и мы остались одни с Гуськовым. Я не ошибался, мне действительно было с ним неловко с глазу на глаз. Я невольно встал и стал ходить взад и вперед по батарее. Гуськов молча пошел со мной рядом, торопливо и беспокойно поворачиваясь, чтобы не отставать и не опережать меня.

– Я вам не мешаю? – сказал он кротким, печальным голосом. Сколько я мог рассмотреть в темноте его лицо, оно мне показалось глубоко задумчивым и грустным.

– Нисколько, – отвечал я; но так как он не начинал говорить и я не знал, что сказать ему, мы довольно долго ходили молча.

Сумерки уже совершенно заменились темнотою ночи, над черным профилем гор зажглась яркая вечерняя зарница, над головами на светло-синем морозном небе мерцали мелкие звезды, со всех сторон краснело во мраке пламя дымящихся костров, вблизи серели палатки и мрачно чернела насыпь нашей батареи. От ближайшего костра, около которого, греясь, тихо разговаривали наши денщики, изредка блестела на батарее медь наших тяжелых орудий и показывалась фигура часового в шинели внакидку, мерно двигавшегося вдоль насыпи.

– Вы не можете себе представить, какая отрада для меня говорить с таким человеком, как вы, – сказал мне Гуськов, хотя он еще ни о чем не говорил со мной, – это может понять только тот, кто побывал в моем положении.

Я не знал, что отвечать ему, и мы снова молчали, несмотря на то, что ему, видимо, хотелось высказаться, а мне выслушать его.

– За что вы были... за что вы пострадали? – спросил я его наконец, не придумав ничего лучше, чтоб начать разговор.

– Разве вы не слышали про эту несчастную историю с Метениным?

– Да, дуэль, кажется – слышал мельком, – отвечал я, – ведь я уже давно на Кавказе.

– Нет, не дуэль, но эта глупая и ужасная история! Я вам все расскажу, коли вы не знаете. Это было в тот самый год, когда мы с вами встречались у сестры, я жил тогда в Петербурге. Надо вам сказать, я имел тогда то, что называется *une position dans le monde*¹, и довольно выгодную, ежели не блестящую. *Mon père me donnait dix milles par an*². В сорок девятом году мне обещали место при посольстве в Турине, дядя мой по матери мог и всегда был готов очень много для меня сделать. Дело прошлое теперь, *j'étais reçu dans la meilleure société de Pétersbourg, je pouvais prétendre*³ на лучшую партию. Учился
10 я, как все мы учились в школе, так что особенного образования у меня не было; правда, я читал много после, *mais j'avais surtout*, знаете, *ce jargon du monde*⁴, и, как бы то ни было, меня находили почему-то одним из первых молодых людей Петербурга. Что меня еще больше возвысило в общем мнении – *c'est cette liaison, avec madame D.*⁵, про которую много говорили в Петербурге, но я был ужасно молод в то время и мало ценил все эти выгоды. Просто я был молод и глуп, чего мне еще нужно было? В то время в Петербурге этот Метенин имел репутацию... – И Гуськов продолжал в этом роде рассказывать мне историю своего несчастья, которую, как вовсе не интересную, я
20 пропущу здесь. – Два месяца я сидел под арестом, – продолжал он, – совершенно один, и чего не передумал я в это время. Но знаете, когда все это кончилось, как будто уж окончательно была разорвана связь с прошедшим, мне стало легче. *Mon père, vous en avez entendu parler*⁶, наверно, он человек с характером железным и с твердыми убеждениями, *il m'a déshérité*⁷ и прекратил все сношения со мною. По его убеждениям так надо было сделать, и я нисколько не обвиняю его: *il a été conséquent*⁸. Зато и я не сделал шагу для того, чтобы он изменил своему намерению. Сестра была за границей, *madame D.* одна писала ко мне, когда позволили, и предлагала помощь, но вы пони-
30 маете, что я отказался. Так что у меня не было тех мелочей, которые облегчают немного в этом положении, знаете, ни книг, ни белья, ни пищи, ничего. Я много, много передумал в это время, на все стал смотреть другими глазами, например, этот шум, толки света обо мне в Петербурге не занимали меня, не лестили нисколько, все это мне казалось смешно. Я чувствовал, что сам был виноват, неосторожен, молод, я испортил свою карьеру и только думал о том,

¹ положение в свете (фр.)

² Отец давал мне десять тысяч ежегодно (фр.)

³ я был принят в лучшем обществе Петербурга, я мог рассчитывать (фр.)

⁴ но особенно я владел... этим светским жаргоном (фр.)

⁵ так это связь, с госпожой Д. (фр.)

⁶ Мой отец, вы слышали о нем (фр.)

⁷ он лишил меня права на наследство (фр.)

⁸ он был последователен (фр.).

как снова поправить ее. И я чувствовал в себе на это силы и энергию. Из-под ареста, как я вам говорил, меня отослали сюда, на Кавказ, в N. полк. Я думал, – продолжал он, воодушевляясь более и более, – что здесь, на Кавказе, *la vie de camp*¹, люди простые, честные, с которыми я буду в сношениях, война, опасности, все это придется к моему настроению духа как нельзя лучше, что я начну новую жизнь. *On me verra au feu*², полюбят меня, будут уважать меня не за одно имя, – крест, унтер-офицер, снимут штраф, и я опять вернусь *et, vous savez, avec ce prestige du malheur!* Но *quel désenchantement*³. Вы не можете себе представить, как я ошибся!.. Вы знаете общество офицеров нашего полка? – Он помолчал довольно долго, ожидая, как мне показалось, что я скажу ему, что знаю, как нехорошо общество здешних офицеров; но я ничего не отвечал ему. Мне было противно, что он, потому верно, что я знал по-французски, предполагал, что я должен был быть возмущен против общества офицеров, которое я, напротив, пробыв долго на Кавказе, успел оценить вполне и уважал в тысячу раз больше, чем то общество, из которого вышел господин Гуськов. Я хотел ему сказать это, но его положение связывало меня.

– В N. полку общество офицеров в тысячу раз хуже здешнего, – продолжал он. – *J'espère que c'est beaucoup dire*⁴, то есть вы не можете себе представить, что это такое! Уже не говорю о юнкерах и солдатах. Это ужас что такое! Меня приняли сначала хорошо, это совершенная правда, но потом, когда увидели, что я не могу не презирать их, знаете, в этих незаметных мелких отношениях, увидели, что я человек совершенно другой, стоящий гораздо выше их, они озлобились на меня и стали оплачивать мне разными мелкими унижениями. *Ce que j'ai eu à souffrir, vous ne vous faites pas une idée*⁵. Потом эти невольные отношения с юнкерами, а главное *avec les petits moyens, que j'avais, je manquais de tout*⁶, у меня было только то, что сестра мне присылала. Вот вам доказательство, сколько я выстрадал, что я с моим характером, *avec ma fierté, j'ai écrit à mon père*⁷, умолял его прислать мне хоть что-нибудь. Я понимаю, что прожить пять лет такой жизнью, можно сделаться таким же, как наш разжалованный Дромов, который пьет с солдатами и ко всем офицерам пишет записочки, прося *ссудить* его тремя рублями, и подписывает *tout à vous*⁸ Дромов. Надобно было иметь такой характер, кото-

¹ лагерная жизнь (фр.)

² Меня увидят под огнем (фр.)

³ и, знаете с этим обаянием несчастья! Но какое разочарование (фр.)

⁴ Надеюсь, что этим достаточно сказано (фр.)

⁵ Вы не можете себе представить, сколько я перестрадал (фр.)

⁶ при тех маленьких средствах, которые у меня были, я нуждался во всем (фр.)

⁷ с моей гордостью, я написал отцу (фр.)

⁸ весь ваш (фр.)

рый я имел, чтобы совершенно не погрязнуть в этом ужасном положении. – Он долго молча ходил подле меня. – *Avez-vous un parapigot*?¹ – сказал он мне. – Да, так на чем я остановился? Да. Я не мог этого выдержать, не физически, потому что хотя и плохо, холодно и голодно было, я жил как солдат, но все-таки и офицеры имели какое-то уважение ко мне. Какой-то *prestige*² оставался на мне и для них. Они не посылали меня в караулы, на ученье. Я бы этого не вынес. Но морально страдал я ужасно. И главное, не видел выхода из этого положения. Я писал дяде, умолял его перевести меня в здешний полк, который, по крайней мере, бывает в делах, и думал, что здесь Павел Дмитриевич, *qui est le fils de l'intendant de mon père*³, все-таки он мог быть мне полезен. Дядя сделал это для меня, меня перевели. После того полка этот оказался для меня собранием камергеров. Потом Павел Дмитриевич тут, он знал, кто я такой, и меня приняли прекрасно. По просьбе дяди... Гуськов... *vous savez*...⁴ но я заметил, что с этими людьми, без образования и развития, – они не могут уважать человека и оказывать ему признаки уважения, ежели на нем нет этого ореола богатства, знатности; я замечал, как понемногу, когда увидели, что я беден, их отношения со мной становились небрежнее, небрежнее и наконец сделались почти презрительные. Это ужасно! но это совершенная правда.

– Здесь я был в делах, дрался, *on m'a vu au feu*⁵, – продолжал он, – но когда это кончится? Я думаю, никогда! а силы мои и энергия уже начинают истощаться. Потом я воображал *la guegге, la vie de camp*⁶, но все это не так, как я вижу, – в полушубке, невымытый, в солдатских сапогах вы идете в секрет и целую ночь лежите в овраге с каким-нибудь Антоновым, за пьянство отданным в солдаты, и всякую минуту вас из-за куста могут застрелить, вас или Антонова, все равно. Тут уж не храбрость – это ужасно. *C'est affreux, ça tue*⁷.

– Что ж, вы можете теперь за поход получить унтер-офицера, а на будущий год и прапорщика, – сказал я.

– Да, могу, мне обещали, но еще два года, и то едва ли. А что такое эти два года, ежели бы знал кто-нибудь. Вы представьте себе эту жизнь с этим Павлом Дмитриевичем: карты, грубые шутки, кутеж, вы хотите сказать что-нибудь, что у вас накопело

¹ Есть у вас папирота? (фр.)

² авторитет (фр.)

³ сын управляющего моего отца (фр.)

⁴ вы знаете... (фр.)

⁵ меня видели под огнем (фр.)

⁶ войну, лагерную жизнь (фр.)

⁷ Это ужасно, это убийственно (фр.)

на душе, вас не понимают или над вами еще смеются, с вами говорят не для того, чтобы сообщить вам мысль, а так, чтоб, ежели можно, еще из вас сделать шута. Да и все это так пошло, грубо, гадко, и всегда вы чувствуете, что вы нижний чин, это вам всегда дают чувствовать. От этого вы не поймете, какое наслаждение поговорить à соeur ouvert¹ с таким человеком, как вы.

Я никак не понимал, какой это я был человек, и поэтому не знал, что отвечать ему...

– Закусывать будете? – сказал мне в это время Никита, незаметно подобранный ко мне в темноте и, как я заметил, недовольный присутствием гостя. – Только вареники да битой говядины немного осталось.

– А капитан уж закусывал?

– Они спят давно, – угрюмо отвечал Никита. На мое приказание принести нам сюда закусить и водочки он недовольно проворчал что-то и потащился к своей палатке. Поворчав еще там, он, однако, принес нам погребец; на погребце поставил свечку, обвязав ее наперед бумагой от ветру, кастрюльку, горчицу в банке, жестяную рюмку с ручкой и бутылку с полынной настойкой.

20 Устроив все это, Никита постоял еще несколько времени около нас и посмотрел, как я и Гуськов выпили водки, что ему, видимо, было очень неприятно. При матовом освещении свечи сквозь бумагу и среди окружающей темноты виднелись только тюленевая кожа погребца, ужин, стоявший на ней, лицо, полущубок Гуськова и его маленькие красные ручки, которыми он принялся выкладывать вареники из кастрюльки. Кругом все было черно, и, только взглядевшись, можно было различить черную батарею, такую же черную фигуру часового, видневшуюся через бруствер, по

30 сторонам огни костров и наверху красноватые звезды. Гуськов печально и стыдливо чуть заметно улыбался, как будто ему неловко было глядеть мне в глаза после своего признания. Он выпил еще рюмку водки и ел жадно, выскребая кастрюльку.

– Да, для вас все-таки облегчение, – сказал я ему, чтобы сказать что-нибудь, – ваше знакомство с адъютантом, он, я слышал, очень хороший человек.

– Да, – отвечал разжалованный, – он добрый человек, но он не может быть другим, не может быть человеком, с его образованием и нельзя требовать. – Он вдруг как будто покраснел. – Вы заметили его грубые шутки нынче о секрете, – и Гуськов,

40 несмотря на то, что я несколько раз старался замять разговор, стал оправдываться передо мной и доказывать, что он не

¹ по душе (фр.)

убежал из секрета и что он не трус, как это хотели дать заметить адъютант и Ш.

– Как я говорил вам, – продолжал он, обтирая руки о полушубок, – такие люди не могут быть деликатны с человеком – солдатом и у которого мало денег; это свыше их сил. И вот последнее время, как я пять месяцев уж почему-то ничего не получаю от сестры, я заметил, как он переменялся ко мне. Этот полушубок, который я купил у солдата и который не греет, потому что весь вытерт (при этом он показал мне голую полу), не внушает ему сострадания или уважения к несчастью, а презрение, которое он не в состоянии скрывать. Какая бы ни была моя нужда, как теперь, что мне есть нечего, кроме солдатской каши, и носить нечего, – продолжал он, потупившись, наливая себе еще рюмку водки, – он не догадается предложить мне денег взаймы, зная наверно, что я отдам ему, а ждет, чтобы я в моем положении обратился к нему. А вы понимаете, каково это мне и с ним. Вам бы, например, я прямо сказал – *vous êtes au-dessus de cela; mon cher, je n'ai pas le sou*¹. И знаете, – сказал он, вдруг отчаянно взглядывая мне в глаза, – вам я прямо говорю, я теперь в ужасном положении: *pouvez-vous me prêter dix roubles argent?*² Сестра должна мне прислать по следующей почте *et mon père*...³ 10

– Ах, я очень рад, – сказал я, тогда как, напротив, мне было больно и досадно, особенно потому, что накануне, проигравшись в карты, у меня у самого оставалось только рублей пять с чем-то у Никиты. – Сейчас, – сказал я, вставая, – я пойду возьму в палатке.

– Нет, после, *ne vous dérangez pas*⁴.

Однако, не слушая его, я пролез в застегнутую палатку, где стояла моя постель и спал капитан.

– Алексей Иваныч, дайте мне, пожалуйста, десять рублей до рационов, – сказал я капитану, расталкивая его. 30

– Что, опять продулись? а еще вчера хотели не играть больше, – спросонков проговорил капитан.

– Нет, я не играл, а нужно, дайте, пожалуйста.

– Макаютюк! – закричал капитан своему денщику, – достань шкатулку с деньгами и подай сюда.

– Тише, тише, – заговорил я, слушая за палаткой мерные шаги Гуськова.

– Что? отчего тише?

¹ вы выше этого, дорогой мой, у меня нет ни гроша (*фр.*)

² можете вы одолжить мне десять рублей серебром? (*фр.*)

³ и мой отец... (*фр.*)

⁴ не беспокойтесь (*фр.*)

– Это этот разжалованный просил у меня взаймы. Он тут.

– Вот знал бы, так не дал, – заметил капитан, – я про него слышал – первый пакостник мальчишка! – Однако капитан дал-таки мне деньги, велел спрятать шкатулку, хорошенько запахнуть палатку и, снова повторив: – Вот коли бы знал на что, так не дал бы, – завернулся с головой под одеяло. – Теперь за вами тридцать два, помните, – прокричал он мне.

Когда я вышел из палатки, Гуськов ходил около диванчиков, и маленькая фигура его с кривыми ногами и в уродливой папахе с длинными белыми волосами выказывалась и скрывалась во мраке, когда он проходил мимо свечки. Он сделал вид, как будто не замечает меня. Я передал ему деньги. Он сказал merci и, скомкав, положил бумажку в карман панталон.

– Теперь у Павел Дмитриевича, я думаю, игра во всем разгारे, – вслед за этим начал он.

– Да, я думаю.

– Он странно играет, всегда аребур и не отгибается; когда везет, это хорошо, но зато, когда уже не пойдет, можно ужасно проиграться. Он и доказал это. В этот отряд, ежели считать с вещами, он больше полуторы тысячи проиграл. А как играл воздержно прежде, так что этот ваш офицер как будто сомневался в его честности.

– Да это он так... Никита, не осталось ли у нас чихиря? – сказал я, очень облегченный разговорчивостью Гуськова. Никита поворчал еще, но принес нам чихиря и снова с злобой посмотрел, как Гуськов выпил свой стакан. В обращении Гуськова заметна стала прежняя развязность. Мне хотелось, чтобы он ушел поскорее, и казалось, что он этого не делает только потому, что ему совестно было уйти тотчас после того, как он получил деньги.

30 Я молчал.

– Как это вы с средствами, без всякой надобности, решились de gaieté de coeur¹ идти служить на Кавказ? вот чего я не понимаю, – сказал он мне.

Я постарался оправдаться в таком странном для него поступке.

– Я воображаю, и для вас как тяжело общество этих офицеров, людей без понятия об образовании. Вы не можете с ними понимать друг друга. Ведь, кроме карт, вина и разговоров о наградах и походах, вы десять лет проживете, ничего не увидите и не услышите.

40 Мне было неприятно, что он хотел, чтобы я непременно разделял его положение, и совершенно искренно уверял его, что я

¹ с легким сердцем (фр.)

очень любил и карты, и вино, и разговоры о походах и что лучше тех товарищей, которые у меня были, я не желал иметь. Но он не хотел верить мне.

– Ну, вы это так говорите, – продолжал он, – а отсутствие женщин, то есть я разумею *femmes comme il faut*¹, разве это не ужасное лишение? Я не знаю, что бы я дал теперь, чтоб только на минутку перенестись в гостиную и хоть сквозь щелочку посмотреть на милую женщину.

Он помолчал немного и выпил еще стакан чихиря.

– Ах, Боже мой, Боже мой! Может, случится еще нам когда-нибудь встретиться в Петербурге, у людей, быть и жить с людьми, с женщинами. – Он вылил последнее вино, оставшееся в бутылке, и, выпив его, сказал: – Ах, *pardon*, может быть, вы хотели еще, я ужасно рассеян. Однако я, кажется, слишком много выпил, *et je n'ai pas la tête forte*². Было время, когда я жил на Морской *au rez-de-chaussée*³, у меня была чудная квартирка, мебель, знаете, я умел это устроить изящно, хотя не слишком дорого, правда: *mon père* дал мне фарфору, цветы, серебра чудесного. *Le matin je sortais*⁴, визиты, *à cinq heures régulièrement*⁵ я ехал обедать к ней, часто она была одна. *Il faut avouer que c'était une femme ravissante!*⁶ Вы ее не знали? нисколько? 10

– Нет.

– Знаете, эта женственность была у нее в высшей степени, нежность, и потом что за любовь! Господи! я не умел ценить тогда этого счастья. Или после театра мы возвращались вдвоем и ужинали. Никогда с ней скучно не было, *toujours gaie, toujours aimante*⁷. Да, я и не предчувствовал, какое это было редкое счастье. *Et j'ai beaucoup à me reprocher* перед нею. *Je l'ai fait souffrir et souvent*⁸. Я был жесток. Ах, какое чудное было время! Вам скучно?

– Нет, нисколько.

– Так я вам расскажу наши вечера. Бывало, я вхожу – эта лестница, каждый горшок цветов я знал – ручка двери, все это так мило, знакомо, потом передняя, ее комната... Нет, уже это никогда, никогда не возвратится! Она и теперь пишет мне, я вам, пожалуй, покажу ее письма. Но я уж не тот, я погиб, я уже не стою ее... Да, я окончательно погиб! *Je suis cassé*⁹. Нет во мне ни энергии, ни гордо- 30

¹ порядочных женщин (*фр.*)

² и у меня слабая голова (*фр.*)

³ в нижнем этаже (*фр.*)

⁴ Утром я выезжал (*фр.*)

⁵ ровно в пять часов (*фр.*)

⁶ Надо признаться, что это была очаровательная женщина! (*фр.*)

⁷ всегда веселая, всегда любящая (*фр.*)

⁸ Я за многое упрекаю себя... Я ее заставлял страдать, и часто (*фр.*)

⁹ Я разбит (*фр.*)

сти, ничего. Даже благородства нет... Да, я погиб! И никто никогда не поймет моих страданий. Всем все равно. Я пропащий человек! никогда уж мне не подняться, потому что я морально упал... в грязь... упал... – В эту минуту в его словах слышно было искреннее, глубокое отчаяние: он не смотрел на меня и сидел неподвижно.

– Зачем так отчаиваться? – сказал я.

– Оттого, что я мерзок, эта жизнь уничтожила меня, все, что во мне было, все убито. Я терплю уж не с гордостью, а с подлостью, *dignité dans le malheur*¹ уже нет. Меня унижают ежеминутно, я все терплю, сам лезу на униженья. Эта грязь а *déteint sur moi*², я сам стал груб, я забыл, что знал, я по-французски уж не могу говорить, я чувствую, что я подл и низок. Драться я не могу в этой обстановке, решительно не могу, я бы, может быть, был герой: дайте мне полк, золотые эполеты, трубачей, а идти рядом с каким-то диким Антоновым, Бондаренко и так далее и думать, что между мной и им нет никакой разницы, что меня убьют или его убьют – все равно, эта мысль убивает меня. Вы понимаете ли, как ужасно думать, что какой-нибудь оборванец убьет меня, человека, который думает, чувствует, и что все равно бы было рядом со мной убить Антонова, существо, ничем не отличающееся от животного, и что легко может случиться, что убьют именно меня, а не Антонова, как всегда бывает *une fatalité*³ для всего высокого и хорошего. Я знаю, что они зовут меня трусом, пускай я трус, я точно трус и не могу быть другим. Мало того, что я трус, я по-ихнему нищий и презренный человек. Вот я у вас сейчас выпросил денег, и вы имеете право презирать меня. Нет, возьмите назад ваши деньги, – и он протянул мне скомканную бумажку. – Я хочу, чтоб вы меня уважали. – Он закрыл лицо руками и заплакал, я решительно не знал, что говорить и делать.

30 – Успокойтесь, – говорил я ему, – вы слишком чувствительны, не принимайте все к сердцу, не анализируйте, смотрите на вещи проще. Вы сами говорите, что у вас есть характер. Возьмите на себя, вам недолго уже осталось терпеть, – говорил я ему, но очень нескладно, потому что был взволнован и чувством сострадания и чувством раскаяния в том, что я позволил себе мысленно осуждать человека, истинно и глубоко несчастливого.

– Да, – начал он, – ежели бы я слышал хоть раз с тех пор, как я в этом аду, хоть одно слово участия, совета, дружбы – человеческое слово, такое, какое я от вас слышу. Может быть, я бы мог

¹ достоинства в несчастье (фр.)

² отпечаталась на мне (фр.)

³ рок (фр.)

спокойно переносить все, может, я даже взял бы на себя и мог быть даже солдатом, но теперь это ужасно... Когда я рассуждаю здраво, я желаю смерти, да и зачем мне любить опозоренную жизнь и себя, который погиб для всего хорошего в мире? А при малейшей опасности я вдруг невольно начинаю обожать эту подлую жизнь и беречь ее, как что-то драгоценное, и не могу, je ne puis pas¹, преодолеть себя. То есть я могу, – продолжал он опять после минутного молчания, – но мне это стоит слишком большого труда, громадного труда, коли я один. С другими, в обыкновенных условиях, как вы идете в дело, я храбр, j'ai fait mes preuves², 10 потому что я самолюбив и горд: это мой порок, и при других... Знаете, позвольте мне ночевать у вас, а то у нас целую ночь игра будет, мне где-нибудь, на земле.

Пока Никита строил постель, мы встали и стали снова ходить в темноте по батарее. Действительно, у Гуськова голова была, должно быть, очень слаба, потому что с двух рюмок водки и двух стаканов вина он покачивался. Когда мы встали и отошли от свечки, я заметил, что он, стараясь, чтобы я не видал этого, сунул снова в карман десятирублевую бумажку, которую во все время предшествовавшего разговора держал в ладони. 20 Он продолжал говорить, что он чувствует, что может еще подняться, ежели бы был у него человек, как я, который бы принимал в нем участие.

Мы уже хотели идти в палатку ложиться спать, как вдруг над нами просвистело ядро и недалеко ударилось в землю. Так странно было – этот тихий спящий лагерь, наш разговор, и вдруг ядро неприятельское, которое, Бог знает откуда, влетело в середину наших палаток, так странно, что я долго не мог дать себе отчета, что это такое. Наш солдатик Андреев, ходивший на часах по батарее, подвинулся ко мне. 30

– Вишь, подкрался! Вот тут огонь видать было, – сказал он.

– Надо капитана разбудить, – сказал я и взглянул на Гуськова.

Он стоял, пригнувшись совсем к земле, и заикался, желая говорить что-то. «Это... а то... неприя... это пре...смешно». Больше он не сказал ничего, и я не видал, как и куда он исчез мгновенно.

В капитанской палатке зажглась свеча, послышался его всегдашний пробудный кашель, и он сам скоро вышел оттуда, требуя пальник, чтобы закурить свою маленькую трубочку.

– Что это, батюшка, – сказал он, улыбаясь, – не хотят мне нынче спать давать: то вы с своим разжалованным, то Шамиль; 40

¹ я не могу (фр.)

² я доказал (фр.)

что же мы будем делать, отвечать или нет. Ничего не было об этом в приказании?

– Ничего. Вот он еще, – сказал я, – и из двух.

Действительно, во мраке, справа впереди, загорелось два огня, как два глаза, и скоро над нами пролетело одно ядро и одна, должно быть наша, пустая граната, производившая громкий и пронзительный свист. Из соседних палаток повылезали солдатики, слышно было их побрякивание, и потягивание, и говор.

– Вишь, в очко свистит, как соловей, – заметил артиллерист.

10 – Позовите Никиту, – сказал капитан с своей всегдашней доброй усмешкой. – Никита! ты не прячься, а горных соловьев послушай.

– Что ж, ваше высокоблагородие, – говорил Никита, стоя подле капитана, – я их видал соловьев-то, я не боюсь, а вот гостьто, что тут был, наш чихирь пил, как услышал, так живо стрелка дал мимо нашей палатки, шаром прокатился, как зверь какой изогнулся!

– Однако надо съездить к начальнику артиллерии, – сказал мне капитан серьезным начальническим тоном, – спросить, стрелять ли на огонь, или нет, оно толку не будет, но все-таки можно. Потрудитесь, съездите и спросите. Велите лошадь оседлать, скорей будет, хоть моего Полкана возьмите.

Через пять минут мне подали лошадь, и я отправился к начальнику артиллерии.

– Смотрите, отзыв «дышло», – шепнул мне пунктуальный капитан, – а то в цепи не пропустят.

До начальника артиллерии было с полверсты, вся дорога шла между палаток. Как только я отъехал от нашего костра, сделалось так темно, что я не видал даже ушей лошади, а только огни
30 костров, казавшиеся мне то очень близко, то очень далеко, мерещились у меня в глазах. Отъехав немного по милости лошади, которой я пустил поводья, я стал различать белые четверугольные палатки, потом и черные колеи дороги, через полчаса, спросив раза три дорогу, раза два зацепив за колышки палаток, за что получал всякий раз ругательства из палаток, и раза два остановленный часовыми, я приехал к начальнику артиллерии. Покуда я ехал, я слышал еще два выстрела по нашему лагерю, но снаряды не долетали до того места, где стоял штаб. Начальник артиллерии не приказал отвечать на выстрелы, тем более что неприятель приостановился, и я отправился домой, взяв лошадь в повод
40 и пробираясь пешком между пехотными палатками. Не раз я уменьшал шаг, проходя мимо солдатской палатки, в которой светился огонь, и прислушивался или к сказке, которую рассказывал

балагур, или к книжке, которую читал грамотей и слушало целое отделение, битком набившись в палатке и около нее, прерывая чтеца изредка разными замечаниями, или просто к толкам о походе, о родине, о начальниках.

Проходя около одной из палаток третьего батальона, я услышал громкий голос Гуськова, который говорил очень весело и бойко. Ему отвечали молодые, тоже веселые, господские, не солдатские голоса. Это, очевидно, была юнкерская или фельдфебельская палатка. Я остановился.

– Я его давно знаю, – говорил Гуськов, – когда я жил в Петербурге, он ко мне ходил часто, и я бывал у него, он очень в хорошем свете жил. 10

– Про кого ты говоришь? – спросил пьяный голос.

– Про князя, – сказал Гуськов. – Мы ведь родня с ним, а главное – старые приятели. Оно, знаете, господа, хорошо этакое знакомого иметь. Он ведь богат страшно. Ему сто целковых пустяки. Вот я взял у него немного денег, пока мне сестра пришлет.

– Ну, посылай же.

– Сейчас. Савельич, голубчик! – заговорил голос Гуськова, подвигаясь к дверям палатки, – вот тебе десять монетов, поди к маркитанту, возьми две бутылки кахетинского и еще чего? Господа? Говорите! – И Гуськов, шатаясь, с спутанными волосами, без шапки, вышел из палатки. Отворотив полы полушубка и засунув руки в карманы своих сереньких панталон, он остановился у двери. Хотя он был в свету, а я в темноте, я дрожал от страха, чтобы он не увидел меня, и, стараясь не делать шума, пошел дальше. 20

– Кто тут? – закричал на меня Гуськов совершенно пьяным голосом. Видно, на холоде разобрало его. – Какой тут черт с лошадю шляется? 30

Я не отвечал и молча выбрался на дорогу.

15 ноября 1856 г.

ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА. ЛЮЦЕРН

8 июля

Вчера вечером я приехал в Люцерн и остановился в лучшей здешней гостинице, Швейцергофе.

«Люцерн, старинный кантональный город, лежащий на берегу озера четырех кантонов, – говорит Мугау, – одно из самых романтических местоположений Швейцарии; в нем скрещиваются три главные дороги; и только на час езды на пароходе находится
10 гора Риги, с которой открывается один из самых великолепных видов в мире».

Справедливо или нет, другие *гиды* говорят то же, и потому путешественников всех наций, и в особенности англичан, в Люцерне – бездна.

Великолепный пятиэтажный дом Швейцергофа построен недавно на набережной, над самым озером, на том самом месте, где встарину был деревянный, крытый, извилистый мост, с часовнями на углах и образами на стропилах. Теперь, благодаря огромному наезду англичан, их потребностям, их вкусу и их деньгам, старый
20 мост сломали и на его месте сделали цокольную, прямую, как палка, набережную; на набережной построили прямые четверугольные пятиэтажные дома; а перед домами в два ряда посадили липки, поставили подпорки, а между липками, как водится, зеленые лавочки. Это – гулянье; и тут взад и вперед ходят англичанки в швейцарских соломенных шляпах и англичане в прочных и удобных одеждах и радуются своему произведению. Может быть, что эти набережные, и дома, и липки, и англичане – очень хорошо где-нибудь, но только не здесь, среди этой странно величавой и вместе с тем невыразимо гармонической и мягкой природы.

30 Когда я вошел наверх в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение

буквально ослепила и потрясла меня. Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг переполнившего мою душу. Мне захотелось в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное.

10 Был седьмой час вечера. Целый день шел дождь, и теперь разгуливалось. Голубое, как горящая сера, озеро, с точками лодок и их пропадающими следами, неподвижно, гладко, как будто выпукло расстилалось перед окнами между разнообразными
зелеными берегами, уходило вперед, сжимаясь между двумя громадными уступами, и, темнея, упиралось и исчезало в нагромо-
20 женных друг на друге долинах, горах, облаках и льдинах. На первом плане мокрые светло-зеленые разбегающиеся берега с тростником, лугами, садами и дачами; далее темно-зеленые поросшие уступы с развалинами замков; на дне скомканная бело-лиловая горная даль с причудливыми скалистыми и бело-матовыми снеговыми вершинами; и все залитое нежной, прозрачной лазурью воздуха и освещенное прорвавшимися с разорванного неба жаркими лучами заката. Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной
30 цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. И тут, среди неопределенной, запутанной свободной красоты, перед самым моим окном, глупо, фокусно торчала белая палка на-
бережной, липки с подпорками и зеленые лавочки – бедные пошлые людские произведения, не утонувшие так, как дальние дачи и развалины, в общей гармонии красоты, а, напротив, грубо
30 противоречащие ей. Беспреданно, невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом; но набережная с гуляющими англичанами оставалась на месте, и я невольно старался найти точку зрения, с которой бы мне ее было не видно. Я выучился смотреть так, и до обеда один сам с собою наслаждался тем неполным, но тем слаще томительным чувством, которое испытываешь при одиноком созерцании красоты природы.

В половине восьмого меня позвали обедать. В большой великолепно убранной комнате, в нижнем этаже, были накрыты два
40 длинные стола, по крайней мере, человек на сто. Минуты три продолжалось молчаливое движение сбора гостей: шуршанье женских платьев, легкие шаги, тихие переговоры с учтивейшими и изящнейшими кельнерами; и все приборы были заняты мужчи-

нами и дамами, весьма красиво, даже богато и вообще необыкновенно чистоплотно одетыми. Как вообще в Швейцарии, большая часть гостей англичане, и потому главные черты общего стола – строгое, законом признанное приличие, несообщительность, основанные не на гордости, но на отсутствии потребности сближения, и одинокое довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей. Со всех сторон блещут белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки. Но лица, из которых многие очень красивы, выражают только сознание собственного благосостояния и совершенное отсутствие внимания ко всему окружающему, что не прямо относится к собственной особе, и белейшие руки с перстнями и в митенях движутся только для поправления воротничков, разрезывания говядины и наливания вина в стаканы: никакое душевное волнение не отражается в их движениях. Семейства изредка тихим голосом перекидываются словами о приятном вкусе такого-то кушанья или вина и красивом виде с горы Риги. Одинокие путешественники и путешественницы одиноко, молча сидят рядом, даже не глядя друг на друга. Если изредка из этих ста человек два разговаривают между собою, то наверно о погоде и восхождении на гору Риги. Ножи и вилки чуть слышно двигаются по тарелкам, кушаньев берется понемногу, горошек и овощи едятся непременно вилкой; кельнеры, невольно подчиняясь общей молчаливости, шепотом спрашивают о том, какого вина прикажете? На таких обедах мне всегда становится тяжело, неприятно и под конец грустно. Мне все кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «Отдохни, мой любезный!» – в то время как в жилах бьется молодая кровь и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства подавленности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно; все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, не думаю, даже не наблюдаю. Сначала я пробовал заговаривать с соседями; но, кроме фраз, которые очевидно повторялись в стотысячный раз на том же месте и в стотысячный раз тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди не глупые же и не бесчувственные, а, наверное, у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни, наслаждения друг с другом, наслаждения человеком?

То ли дело бывало в нашем парижском пансионе, где мы, двадцать человек самых разнообразных наций, профессий и характеров, под влиянием французской общительности, сходились к общему столу, как на забаву. Там сейчас, с одного конца стола на другой, разговор, пересыпанный шуточками и каламбурами, хотя часто и на ломаном языке, становился общим. Там всякий, не заботясь о том, как выйдет, болтал, что приходило в голову; там у нас были свой философ, свой спорщик, свой *bel esprit*¹, свой пластрон², все было общее. Там, тотчас после обеда, мы отодвигали стол и, в такт ли, не в такт ли, принимались по пыльному ковру танцевать *la polka* до самого вечера. Там мы были хоть и кокетливые, не очень умные и почтенные люди, но мы были люди. И испанская графиня с романическими приключениями, и итальянский аббат, декламировавший «Божественную комедию» после обеда, и американский доктор, имевший вход в Тюльери, и юный драматург с длинными волосами, и пьянистка, сочинившая, по собственным словам, лучшую польку в мире, и несчастная красавица вдова с тремя перстнями на каждом пальце, мы все по-человечески, хотя поверхностно, но приязненно относились друг к другу и унесли друг от друга кто легкие, а кто искренние сердечные воспоминания. За английскими же *table d'hôte*'ами³ я часто думаю, глядя на все эти кружева, ленты, перстни, помаженные волосы и шелковые платья, сколько бы живых женщин были счастливы и сделали бы других счастливыми этими нарядами. Странно подумать, сколько тут друзей и любовников, самых счастливых друзей и любовников, сидят рядом, может быть, не зная этого. И Бог знает, отчего никогда не узнают этого и никогда не дадут друг другу того счастья, которое так легко могут дать и которого им так хочется.

30 Мне сделалось грустно, как всегда после таких обедов, и, не доев десерта, в самом невеселом расположении духа, я пошел шляться по городу. Узенькие грязные улицы без освещения, запираемые лавки, встречи с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой, или в шляпках, по стенам, оглядываясь, шмыгающими по переулкам, не только не разогнали, но еще усилили мое грустное расположение духа. В улицах уж было совсем темно, когда я, не оглядываясь кругом себя, без всякой мысли в голове, пошел к дому, надеясь сном избавиться от мрачного настроения духа. Мне становилось ужасно душевно холодно, одиноко и

¹ остроумец (*фр.*)

² предмет насмешек (от *фр.* *plastron*)

³ общими обедами (*фр.*)

тяжко, как это случается иногда без видимой причины при переездах на новое место.

Я, глядя только себе под ноги, шел по набережной к Швейцергофу, как вдруг меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живительно подействовали на меня. Как будто яркий, веселый свет проник в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все окружающие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, вдруг, как новость, отрадно поразили меня. Я невольно в одно мгновение успел заметить и пасмурное, серыми кусками на темной синеве, небо, освещенное поднимающимся месяцем, и темно-зеленое гладкое озеро с отражающимися в нем огоньками, и вдали мглистые горы, и крики лягушек из Фрёшенбурга, и росистый свежий свист перепелов с того берега. Прямо же передо мной, с того места, с которого слышались звуки и на которое преимущественно было устремлено мое внимание, я увидел в полумраке на середине улицы полукругом стеснившуюся толпу народа, а перед толпой, в некотором расстоянии, крошечного человечка в черной одежде. Сзади толпы и человечка, на темном сером и синем разорванном небе, стройно отделялось несколько черных раин сада и величаво возвышались по обеим сторонам старинного собора два строгие шпица башен. 10 20

Я подходил ближе, звуки становились яснее. Я разбирал ясно дальние, сладко колеблющиеся в вечернем воздухе полные аккорды гитары и несколько голосов, которые, перебивая друг друга, не пели тему, а, кое-где выпевая самые выступающие места, давали ее чувствовать. Тема была что-то вроде милой и грациозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки, то слышался тенор, то бас, то горловая фистула с воркующими тирольскими переливами. Это была не песня, а легкий мастерской эскиз песни. Я не мог понять, что это такое; но это было прекрасно. Эти сладострастные слабые аккорды гитары, эта милая, легкая мелодия и эта одинокая фигурка черного человечка среди фантастической обстановки темного озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышающихся двух громадных шпицев башен, и черных раин сада, все было странно, но невыразимо прекрасно, или показалось мне таким. 30

Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянья, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту 40

надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? – сказалось мне невольно, – вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо...

Я подошел ближе. Маленький человечек был, как казалось, странствующий тиролоец. Он стоял перед окнами гостиницы, выставив ножку, закинув кверху голову, и, брэнча на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню. Я тотчас же почувствовал нежность к этому человеку и благодарность за тот перевод, который он произвел во мне. Певец, сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький черный сюртук, волоса у него были черные, короткие, и на голове была самая мещанская, простая старенькая фуражка. В одежде его ничего не было артистического, но лихая, детски веселая поза и движения с его крошечным ростом составляли трогательное и вместе забавное зрелище. В подъезде, окнах и балконах великолепно освещенной гостиницы стояли блестящие нарядами, широкоюбные барыни, господа с белейшими воротниками, швейцар и лакей в золотошитых ливреях, на улице, в полукруге толпы и дальше по бульвару, между липками, собрались и остановились изящно одетые кельнеры, повара в белейших колпаках и куртках, обнявшиеся девицы и гуляющие. Все, казалось, испытывали то же самое чувство, которое испытывал и я. Все молча стояли вокруг певца и внимательно слушали. Все было тихо, только в промежутках песни, где-то вдалеке, равномерно по воде, долетал звук молота и из Фрёшенбурга рассыпчатой трелью неслись голоса лягушек, перебываемые влажным однозвучным свистом перепелов.

Маленький человечек в темноте среди улицы заливался как соловей, куплет за куплетом и песня за песней. Несмотря на то, что я подошел вплоть к нему, его пенье продолжало доставлять мне большое удовольствие. Небольшой голос его был чрезвычайно приятен, нежность же, вкус и чувство меры, с которыми он владел этим голосом, были необыкновенны и показывали в нем огромное природное дарованье. Припев каждого куплета он всякий раз пел различно, и видно было, что все эти грациозные изменения свободно, мгновенно приходили ему.

В толпе, и наверху в Швейцергофе, и внизу на бульваре слышался часто одобрителный шепот и царствовало почтительное молчание. На балконах и в окнах все более и более прибавлялось нарядных, живописно в свете огней дома облокотившихся мужчин и женщин. Гуляющие останавливались, и в тени на набережной повсюду кучками около липок стояли мужчины и женщины.

Около меня, куря сигары, стояли, несколько отделившись от всей толпы, аристократические лакей и повар. Повар сильно чувствовал прелесть музыки и при каждой высокой фистульной ноте восторженно-недоумевающе подмигивал всей головой лакею и толкал его локтем с выражением, говорившим: каково поет, а? Лакей, по распутившейся улыбке которого я замечал все им испытываемое удовольствие, на толчки повара отвечал пожиманием плеч, показывавшим, что его удивить довольно трудно и что он слышал многое получше этого.

В промежутке песни, когда певец прокашливался, я спросил 10 у лакея, кто он такой и часто ли сюда приходит.

– Да в лето раза два приходит, – отвечал лакей, – он из Арговии. Так, нищенствует.

– А что, много их таких ходит? – спросил я.

– Да, да, – отвечал лакей, не поняв сразу того, о чем я спрашивал, но, разобрав уж потом мой вопрос, прибавил: – О нет! Здесь я только одного его видаю. Больше нету.

В это время маленький человечек кончил первую песню, бойко перевернул гитару и сказал что-то про себя на своем немецком *patois*¹, чего я не мог понять, но что произвело хохот 20 в окружающей толпе.

– Что это он говорит? – спросил я.

– Говорит, что горло пересохло, выпил бы вина, – перевел мне лакей, стоявший подле меня.

– А что, он, верно, любит пить?

– Да эти все люди такие, – отвечал лакей, улыбнувшись и махнув на него рукою.

Певец снял фуражку и, размахнув гитарой, приблизился к дому. Закинув голову, он обратился к господам, стоявшим у окон и на балконах: «*Messieurs et mesdames*, – сказал он полуитальянским, полунемецким акцентом и с теми интонациями, с которыми фокусники обращаются к публике. – *Si vous croyez que je gagne quelque chose, vous vous trompez; je ne suis qu'un bouvre tiaple*»². Он остановился, помолчал немного; но так как никто ему ничего не дал, он снова вскинул гитару и сказал: «*A présent, messieurs et mesdames, je vous chanterai l'air du Righi*»³. Наверху публика молчала, но продолжала стоять в ожидании следующей песни, внизу в толпе засмеялись, должно быть, тому, что он так странно выражался, и тому, что ему ничего не дали. Я дал ему несколько

¹ местном, провинциальном наречии (*фр.*)

² Милостивые государи и государыни, ежели вы думаете, что я что-нибудь зарабатываю, то вы ошибаетесь; я бедный малый (*искаж. фр.*)

³ Теперь, милостивые государи и государыни, я спою вам песенку Риги (*фр.*)

сантимов, он ловко перекинул их из руки в руку, засунул в карман жилета и, надев фуражку, снова начал петь грациозную милую тирольскую песенку, которую он называл *l'air du Righi*. Эта песня, которую он оставлял для заключения, была еще лучше всех прежних, и со всех сторон в увеличившейся толпе слышались звуки одобрения. Он кончил. Снова он размахнул гитарой, снял фуражку, выставил ее вперед себя, на два шага приблизился к окнам и снова сказал свою непонятную фразу: «*Messieurs et mesdames, si vous sçoyez que je gagne quelque chosse*», – которую он, видно, считал

10 очень ловкой и остроумной, но в голосе и движениях его я заметил теперь некоторую нерешительность и детскую робость, которые были особенно поразительны с его маленьким ростом. Элегантная публика все так же живописно в свете огней стояла на балконах и в окнах, блестя богатыми одеждами; некоторые умеренно-приличным голосом разговаривали между собой, очевидно, про певца, который с вытянутой рукой стоял перед ними, другие внимательно, с любопытством смотрели вниз на эту маленькую черную фигурку, на одном балконе слышался звонкий и веселый смех молодой девушки. В толпе внизу громче и

20 громче слышался говор и посмеиванье. Певец в третий раз повторил свою фразу, но еще слабейшим голосом, и даже не закончил ее и снова вытянул руку с фуражкой, но тотчас же и опустил ее. И во второй раз из этих сотни блестяще одетых людей, столпившихся слушать его, ни один не бросил ему *копейки*. Толпа безжалостно захохотала. Маленький певец, как мне показалось, сделался еще меньше, взял в другую руку гитару, поднял над головой фуражку и сказал: «*Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit*»¹, – и надел фуражку. Толпа заготовала от радостного смеха. С балконов стали понемногу скрывать

30 красивые мужчины и дамы, спокойно разговаривая между собою. На бульваре снова возобновилось гулянье. Молчаливая во время пения, улица снова оживилась, несколько человек только, не подходя к нему, смотрели издалека на певца и смеялись. Я слышал, как маленький человек что-то проговорил себе под нос, повернулся и, как будто сделавшись еще меньше, скорыми шагами пошел к городу. Веселые гуляки, смотревшие на него, все так же в некотором расстоянии следовали за ним и смеялись...

40 Я совсем растерялся, не понимал, что это все значит, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в темноту на удалявшегося крошечного человека, который, растягивая большие шаги,

¹ Милостивые государи и государыни, благодарю вас и желаю вам спокойной ночи (*фр.*).

быстро шел к городу, и на смеющихся гуляк, которые следовали за ним. Мне сделалось больно, горько и, главное, стыдно за маленького человека, за толпу, за себя, как будто бы я просил денег, мне ничего не дали и надо мною смеялись. Я, тоже не оглядываясь, с защемленным сердцем, скорыми шагами пошел к себе домой на крыльцо Швейцергофа. Я не отдавал еще себе отчета в том, что испытывал, только что-то тяжелое, неразрешившееся наполняло мне душу и давило меня.

На великолепном, освещенном подъезде мне встретился учтиво сторонившийся швейцар и английское семейство. Плотный, красивый и высокий мужчина с черными английскими бакенбардами, в черной шляпе и с пледом на руке, в которой он держал богатую трость, лениво, самоуверенно шел под руку с дамой в диком шелковом платье, в чепце с блестящими лентами и прелестнейших кружевах. Рядом с ними шла хорошенькая, свеженькая барышня в грациозной швейцарской шляпе с пером, à la mousquetaire¹, из-под которой вокруг ее беленького личика падали мягкие длинные светло-русые букли. Впереди подпрыгивала десятилетняя румяная девочка, с полными белыми коленками, видневшимися из-под тончайших кружев.

– Прелестная ночь, – сказала дама сладким, счастливым голосом в то время, как я проходил.

– Оhe! – промычал лениво англичанин, которому, видимо, было так хорошо жить на свете, что и говорить не хотелось. И всем им, казалось, так было спокойно, удобно, чисто и легко жить на свете, такое в их движениях и лицах выражалось равнодушие ко всякой чужой жизни и такая уверенность в том, что швейцар им посторонится и поклонится, и что, воротясь, они найдут чистую, покойную постель и комнаты, и что все это должно быть, и что на все это имеют полное право, – что я вдруг невольно противопоставил им странствующего певца, который усталый, может быть, голодный, с стыдом убежал теперь от смеющейся толпы, – понял, что таким тяжелым камнем давило мне сердце, и почувствовал невыразимую злобу на этих людей. Я два раза прошел туда и назад мимо англичанина, с невыразимым наслаждением оба раза, не сторонясь ему, толкнув его локтем, и, спустившись с подъезда, побежал в темноте по направлению к городу, куда скрылся маленький человек.

Догнав трех человек, шедших вместе, я спросил у них, где певец; они, смеясь, указали мне его впереди. Он шел один, скорыми шагами, никто не приближался к нему, он все что-то, как мне по-

¹ на манер мушкетерской (фр.)

казалось, сердито бормотал себе под нос. Я поравнялся с ним и предложил ему пойти куда-нибудь вместе выпить бутылку вина. Он шел все так же скоро и недовольно оглянулся на меня; но, разобрав, в чем дело, остановился.

– Что ж, я не откажусь, ежели вы так добры, – сказал он. – Вот тут есть маленький кафе, туда зайти можно, простенькое, – прибавил он, указывая на распивную лавочку, которая была еще отворена.

Его слово «простенькое» невольно навело меня на мысль не
10 идти в простенькое кафе, а идти в Швейцергоф, туда, где были те, которые его слушали. Несмотря на то, что он с робким волнением несколько раз отказывался от Швейцергофа, говоря, что там слишком парадно, я настоял на своем, и он, притворяясь уже, что нисколько не смущен, весело размахивая гитарой, пошел со мной назад по набережной. Несколько праздных гуляк, как только я подошел к певцу, подоновились, прислушались к тому, что я говорил, и теперь, рассуждая между собой, пошли за нами до самого подъезда, ожидая, верно, от тирольца еще какого-нибудь представления.

Я спросил бутылку вина у кельнера, который встретился мне
20 в сенях. Кельнер, улыбаясь, посмотрел на нас и, ничего не ответив, пробежал мимо. Старший кельнер, к которому я обратился с той же просьбой, серьезно выслушал меня и, оглядев с ног до головы робкую, маленькую фигуру певца, строго сказал швейцару, чтоб нас провели в залу налево. Зала налево была распивная комната для простого народа. В углу этой комнаты горбатая служанка мыла посуду, и вся мебель состояла в деревянных голых
30 столах и лавках. Кельнер, который пришел служить нам, поглядывая на нас с кроткой насмешливой улыбкой и засунув руки в карманы, переговаривался о чем-то с горбатой судомойкой. Он, видимо, старался дать нам заметить, что, чувствуя себя по общественному положению и достоинствам неизмеримо выше певца, ему не только не обидно, но истинно забавно служить нам.

– Простого вина прикажете? – сказал он с знающим видом, подмигивая мне на моего собеседника и из руки в руку перекидывая салфетку.

– Шампанского, и самого лучшего, – сказал я, стараясь принять самый гордый и величественный вид. Но ни шампанское, ни мой будто бы гордый и величественный вид не подействовали на
40 лакея; он усмехнулся, постоял немножко, глядя на нас, не торопясь посмотрел на золотые часы и тихими шагами, как бы прогуливаясь, вышел из комнаты. Скоро он возвратился с вином и еще двумя лакеями. Два из них сели около судомойки и с веселой вни-

матерностью и кроткой улыбкой на лицах любовались на нас, как любят родители на милых детей, когда они мило играют. Одна только горбатая судомойка, казалось, не насмешливо, а с участием смотрела на нас. Хотя мне было и очень тяжело и неловко под огнем этих лакейских глаз беседовать с певцом и угощать его, я старался делать свое дело сколь возможно независимо. При огне я его рассмотрел лучше. Это был крошечный, пропорционально сложенный, жилистый человек, почти карлик, с щетинистыми черными волосами, всегда плачущими большими черными глазами, лишенными ресниц, и чрезвычайно приятным, умильно сложенным ротиком. У него были маленькие бакенбарды, волоса были недлинные, одежда была самая простая и бедная. Он был нечист, оборван, загорел и вообще имел вид трудового человека. Он скорее был похож на бедного торговца, чем на артиста. Только в постоянно влажных, блестящих глазах и собранном ротике было что-то оригинальное и трогательное. На вид ему можно было дать от двадцати пяти до сорока лет; действительно же ему было тридцать восемь. 10

Вот что он с добродушной готовностью и очевидной искренностью рассказал про свою жизнь. Он из Арговии. В детстве еще он потерял отца и мать, других родных у него нет. Состояния он никогда не имел никакого. Он обучался столярному мастерству, но двадцать два года тому назад у него сделался костоед в руке, лишивший его возможности работать. Он с детства имел охоту к пенью и стал петь. Иностранцы давали ему изредка деньги. Он сделал из этого профессию, купил гитару и вот восемнадцатый год странствует по Швейцарии и Италии, распевая перед гостиницами. Весь его багаж – гитара и кошелек, в котором у него теперь было только полтора франка, которые он должен проспать и проесть нынче же вечером. Он каждый год, уж восемнадцать раз, проходит все лучшие, наиболее посещаемые места Швейцарии: Цюрих, Люцерн, Интерлакен, Шамуни и т. д.; через St-Bernard проходит в Италию и возвращается через St-Gotard или через Савойю. Теперь ему тяжело становится ходить, потому что от простуды он чувствует, что боль в ногах, которую он называет глидерзухт, с каждым годом усиливается и что глаза и голос его становятся слабее. Несмотря на это, он теперь отправляется в Интерлакен, Aix-les-Bains и, через малый St-Bernard, в Италию, которую он особенно любит; вообще, как кажется, он очень доволен своей жизнью. Когда я спросил у него, зачем он возвращается домой, есть ли у него там родные, или дом и земля, ротик его, как будто на сборках, собрался в веселую улыбочку, и он отвечал мне. 30 40

– Oui, le sucre est bon, il est doux pour les enfants!¹ – и подмигнул на лакеев.

Я ничего не понял, но в лакейской группе засмеялись.

– Ничего нет, а то разве я бы стал ходить так, – объяснил он мне, – а прихожу домой, потому что все-таки как-то тянет к себе на родину.

И он еще раз с хитро-самодовольной улыбкой повторил фразу: «Oui, le sucre est bon», – и добродушно рассмеялся. Лакеи очень были довольны и хохотали, одна горбатая судомойка большими добрыми глазами серьезно смотрела на маленького человечка и подняла ему шапку, которую он во время разговора уронил с лавки. Я замечал, что странствующие певцы, акробаты, даже фокусники любят называть себя артистами, и потому несколько раз намекал своему собеседнику на то, что он артист, но он вовсе не признавал за собой этого качества, а весьма просто, как на средство к жизни, смотрел на свое дело. Когда я спросил его, не сам ли он сочиняет песни, которые поет, он удивился такому странному вопросу и отвечал, что куда ему, это все старинные тирольские песни.

20 – А как же песня Риги, я думаю, не старинная, – сказал я.

– Да, это лет пятнадцать тому назад сочинена. Был один немец в Базеле, умнейший был человек, это он сочинил ее. Отличная песня! Это, видите, он для путешественников сочинил.

И он начал мне, переводя по-французски, рассказывать слова песни Риги, которая, видно, ему очень нравилась:

30 Коли хочешь идти на Риги,
 До Вегиса не нужно башмаков
 (Потому что на пароходе едут),
 А от Вегиса возьми большую палку,
 Да еще под руку возьми девицу,
 Да зайди выпить стаканчик вина.
 Только пей не слишком много,
 Потому что тот, кто хочет пить,
 Должен заслужить прежде...

– О, отличная песня! – заключил он.

Лакеи находили, вероятно, эту песню весьма хорошей, потому что приблизились к нам.

– Ну, а музыку кто же сочинял? – спросил я.

40 – Да никто, это так, знаете, чтобы петь для иностранцев, на до что-нибудь новенькое.

¹ Да, сахар хорош, он приятен для детей! (фр.)

Когда нам принесли льду и я налил моему собеседнику стакан шампанского, ему, видимо, стало неловко, и он, оглядываясь на лакеев, поворачивался на своей лавке. Мы чокнулись за здоровье артистов; он отпил полстакана и нашел нужным задуматься и глубокомысленно повести бровями.

– Давно я не пил такого вина, *je ne vous dis que ça*¹. В Италии вино *d’Asti* хорошо, но это еще лучше. Ах, Италия! славно там быть! – прибавил он.

– Да, там умеют ценить музыку и артистов, – сказал я, желая навести его на вечернюю неудачу перед Швейцергофом. 10

– Нет, – отвечал он, – там насчет музыки я никому не могу удовольствия доставить. Итальянцы сами музыканты, каких нет на всем свете; но я только насчет тирольских песен. Это им все-таки новость.

– Что ж, там щедрее господа? – продолжал я, желая его заставить разделить мою злобу на обитателей Швейцергофа. – Там не случится так, как здесь, чтобы из огромного отеля, где богачи живут, сто человек бы слушали артиста и ничего бы ему не дали...

Мой вопрос подействовал совсем не так, как я ожидал. Он и 20 не думал негодовать на них; напротив, в моем замечании он видел упрек своему таланту, который не вызвал награды, и старался оправдаться передо мной.

– Не всякий раз много получишь, – отвечал он. – Иногда и голос пропадет, устанешь, ведь я нынче девять часов прошел и пел целый день почти. Оно трудно. А важные господа аристократы, им иногда и не хочется слушать тирольские песни.

– Все-таки, как же ничего не дать, – повторил я.

Он не понял моего замечания.

– Не то, – сказал он, – а здесь главное *on est très serré pour la* 30 *police*², вот что. Здесь по этим республиканским законам вам не позволяют петь, а в Италии вы можете ходить сколько хотите, никто вам слова не скажет. Здесь ежели захотят вам позволить, то позволят, а не захотят, то вас в тюрьму посадить могут.

– Как, неужели?

– Да. Ежели вам раз заметят, а вы будете еще петь, вас могут в тюрьму посадить. Я уж просидел три месяца, – сказал он, улыбаясь, как будто это было одно из самых приятных его воспоминаний.

– Ах, это ужасно! – сказал я. – За что же?

¹ я только это скажу вам (*фр.*)

² много притеснений со стороны полиции (*фр.*)

– Это так у них по новым законам республики, – продолжал он, одушевляясь. – Они этого не хотят рассудить, что надо, чтобы и бедняк жил как-нибудь. Ежели бы я был не калека, я бы работал. А что я пою, так разве я кому-нибудь вред этим делаю. Что ж это такое! богатым жить можно, как хотят, а un pauvre tiapte¹, как я, уж и жить не может. Что ж это за законы республики? Коли так, то мы не хотим республики, не так ли, милостивый государь? мы не хотим республики, а мы хотим... мы хотим просто... мы хотим... – он замялся немного, – мы хотим натуральные законы.

10 Я подлил ему еще в стакан.

– Вы не пьете, – сказал я ему.

Он взял в руку стакан и поклонился мне.

– Я знаю, что вы хотите, – сказал он, прищуривая глаз и грозя мне пальцем, – вы хотите подпоить меня, посмотреть, что из меня будет; но нет, это вам не удастся.

– Зачем же мне вас напоить, – сказал я, – я только желал бы вам сделать удовольствие.

Ему, верно, жалко стало, что он обидел меня, дурно объяснив мое намерение, он смутился, привстал и пожал меня за локоть.

20 – Нет, нет, – сказал он, с умоляющим выражением глядя на меня своими влажными глазами, – я так только, шучу.

И вслед за этим он произнес какую-то ужасно запутанную, хитрую фразу, долженствовавшую означать, что я все-таки добрый малый.

– Je ne vous dis que ça!² – заключил он.

Таким образом, мы продолжали пить и беседовать с певцом, а лакеи продолжали, не стесняясь, любоваться нами и, кажется, подтрунивать. Несмотря на интерес моего разговора, я не мог не замечать их и, признаюсь, сердился все больше и больше. Один
30 из них привстал, подошел к маленькому человечку и, глядя ему в маковку, стал улыбаться. У меня уж был готовый запас злобы на обитателей Швейцергофа, который я не успел еще сорвать ни на ком, и теперь, признаюсь, эта лакейская публика так и подмывала меня. Швейцар, не снимая фуражки, вошел в комнату и, облокотившись на стол, сел подле меня. Это последнее обстоятельство, задев мое самолюбие или тщеславие, окончательно взорвало меня и дало исход той давившей злобе, которая весь вечер собиралась во мне. Зачем у подъезда, когда я один, он мне униженно кланяется, а теперь, потому что я сижу с странствующим певцом,
40 он грубо рассаживается рядом со мной? Я совсем озлился той ки-

¹ бедный малый (искаж. фр.)

² Я только это скажу вам! (фр.)

пящей злобой негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей.

Я вскочил с места.

– Чему вы смеетесь? – закричал я на лакея, чувствуя, как лицо мое бледнеет и губы невольно подергиваются.

– Я не смеюсь, я так, – отвечал лакей, отступая от меня.

– Нет, вы смеетесь над этим господином. И какое право вы 10
имеете тут быть и сидеть здесь, когда тут гости. Не смей сидеть! – закричал я.

Швейцар, ворча что-то, встал и отодвинулся к двери.

– Какое вы имеете право смеяться над этим господином и сидеть с ним рядом, когда он гость, а вы лакей? Отчего вы не смеялись надо мной нынче за обедом и не садились со мной рядом? Оттого, что он бедно одет и поет на улице? от этого; а на мне хорошее платье. Он беден, но в тысячу раз лучше вас, в этом я уверен. Потому что он никого не оскорбил, а вы оскорбляете его. 20

– Да я ничего, что вы, – робко отвечал мой враг лакей. – Разве я мешаю ему сидеть.

Лакей не понимал меня, и моя немецкая речь пропадала даром. Грубый швейцар вступился было за лакея, но я напал на него так стремительно, что швейцар притворился, что тоже не понимает меня, и махнул рукой. Горбатая судомойка, заметив ли мое разгоряченное состояние и боясь скандалу, или разделяя мое мнение, приняла мою сторону и, стараясь стать между мной и швейцаром, уговаривала его молчать, говоря, что я прав, а меня просила успокоиться. «Der Herr hat Recht; Sie haben Recht»¹, – твердила она. Певец представлял самое жалкое, испуганное лицо и, видимо, не понимая, из чего я горячусь и чего я хочу, просил меня уйти поскорее отсюда. Но во мне все больше и больше разгоралась злобная словоохотливость. Я все припомнил: и толпу, которая смеялась над ним, и слушателей, ничего не давших ему, и ни за что на свете не хотел успокоиться. Я думаю, что если бы кельнеры и швейцар не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить 40
в английскую траншею.

¹ Господин прав; вы правы (нем.)

– И отчего вы провели меня с этим господином в эту, а не в ту залу? А? – допрашивал я швейцара, ухватив его за руку, с тем чтобы он не ушел от меня. – Какое вы имели право по виду решать, что этот господин должен быть в этой, а не в той зале? Разве, кто платит, не все равны в гостиницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика!.. Вот оно равенство. Англичан вы бы не смели провести в эту комнату, тех самых англичан, которые даром слушали этого господина, то есть украли у него каждый по несколько сантимов, которые должны
10 были дать ему. Как вы смели указать эту залу?

– Та зала заперта, – отвечал швейцар.

– Нет, – закричал я, – неправда, не заперта зала.

– Так вы лучше знаете.

– Знаю, знаю, что вы лжете.

Швейцар повернулся плечом прочь от меня.

– Э! что говорить! – проворчал он.

– Нет, не «что говорить», – закричал я, – а ведите меня сию минуту в залу.

Несмотря на увещанья горбуны и просьбы певца идти лучше
20 по домам, я потребовал обер-кельнера и пошел в залу вместе с моим собеседником. Обер-кельнер, услышав мой озлобленный голос и увидав мое взволнованное лицо, не стал спорить и с презрительной учтивостью сказал, что я могу идти, куда мне угодно. Я не мог доказать швейцару его лжи, потому что он скрылся еще прежде, чем я вошел в залу.

Зала была действительно отперта, освещена, и на одном из столов сидели, ужиная, англичанин с дамой. Несмотря на то, что нам указывали особый стол, я с грязным певцом подсел к самому англичанину и велел сюда подать нам неоконченную
30 бутылку.

Англичане сначала удивленно, потом озлобленно посмотрели на маленького человечка, который ни жив ни мертв сидел подле меня; они что-то сказали между собой, она оттолкнула тарелку, зашумела шелковым платьем, и оба скрылись. За стеклянными дверьми я видел, как англичанин что-то озлобленно говорил кельнеру, беспрестанно указывая рукой по нашему направлению. Кельнер высунулся в дверь и взглянул в нее. Я с радостью ожидал, что придут выводить нас и можно будет наконец вылить на них все свое негодование. Но, к счастью, хотя это тогда мне
40 было неприятно, нас оставили в покое.

Певец, прежде отказывавшийся от вина, теперь торопливо допил все, что оставалось в бутылке, с тем чтобы только поскорей выбраться отсюда. Однако он с чувством, как мне по-

казалось, отблагодарил меня за угощение. Плачущие глаза его
сделались еще более плачущими и блестящими, и он сказал
мне самую странную, запутанную фразу благодарности.
Но все-таки эта фраза, в которой он говорил, что ежели бы все
так уважали артистов, как я, то ему было бы хорошо, и что
он желает мне всякого счастья, была мне очень приятна.
Мы вместе с ним вышли в сени. Тут стояли лакеи и мой враг
швейцар, кажется жаловавшийся им на меня. Все они, кажется,
смотрели на меня, как на умалишенного. Я дал маленькому
человечку поравняться со всей этой публикой и тут со всей
почтительностью, которую только в состоянии выразить в
своей особе, я снял шляпу и пожал ему руку с заостренным
отсохшим пальцем. Лакеи сделали, как будто не обращают на
меня ни малейшего внимания. Только один из них засмеялся
сардоническим смехом. 10

Когда певец, раскланиваясь, скрылся в темноте, я пошел к
себе наверх, желая заспать все эти впечатления и глупую дет-
скую злобу, которая так неожиданно нашла на меня. Но, чув-
ствуя себя слишком взволнованным для сна, я опять пошел на
улицу, с тем чтобы ходить до тех пор, пока успокоюсь, и, при-
знаюсь, кроме того, в смутной надежде, что найдется случай
сцепиться с швейцаром, лакеем или англичанином и доказать
им всю их жестокость и, главное, несправедливость. Но, кроме
швейцара, который, увидав меня, повернулся ко мне спиной, я
никого не встретил и один-одинешенек стал взад и вперед хо-
дить по набережной. 20

«Вот она, странная судьба поэзии, – рассуждал я, успокоив-
шись немного. – Все любят, ищут ее, одну ее желают и ищут в
жизни, и никто не признает ее силы, никто не ценит этого луч-
шего блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые дают
его людям. Спросите у кого хотите, у всех этих обитателей
Швейцергофа: что лучшее благо в мире? и все, или девяносто
девять на сто, приняв сардоническое выражение, скажут вам,
что лучшее благо мира – деньги. “Может быть, мысль эта вам
не нравится и не сходится с вашими возвышенными идеями, –
скажет он, – но что ж делать, ежели жизнь человеческая так
устроена, что одни деньги составляют счастье человека. Я не
мог не позволить моему уму видеть свет, как он есть, – приба-
вит он, – то есть видеть правду”. Жалкий твой ум, жалкое то
счастье, которого ты желаешь, и несчастное ты создание, само
не знающее, чего тебе надобно... Зачем вы все покинули свое
отечество, родных, занятия и денежные дела и столпились в
маленьком швейцарском городке Люцерне? Зачем вы все 40

нынче вечером высыпали на балконы и в почтительном молчании слушали песню маленького нищего? И ежели бы он захотел петь еще, еще бы молчали и слушали. Что, за деньги, хоть за миллионы, вас можно бы было всех выгнать из отечества и собрать в маленьком уголке Люцерне? За деньги вас можно бы было всех собрать на балконах и в продолжение получа заставить стоять молчаливо и неподвижно? Нет! А заставляет вас действовать одно, и вечно будет двигать сильнее всех других двигателей жизни, потребность поэзии, которую не сознаете, но чувствуете и век будете чувствовать, пока в вас останется что-нибудь человеческое. Слово “поэзия” вам смешно, вы употребляете его в виде насмешливого упрека, вы допускаете любовь к поэтическому нечто в детях и глупых барышнях, и то вы над ними смеетесь; для вас же нужно положительное. Да дети-то здраво смотрят на жизнь, они любят и знают то, что должен любить человек, и то, что даст счастье, а вас жизнь до того запутала и развратила, что вы смеетесь над тем, что одно любите, и ищете одного того, что ненавидите и что делает ваше несчастье. Вы так запутались, что не понимаете того обязательства, которое вы имеете перед бедным тирольцем, доставившим вам чистое наслаждение, а вместе с тем считаете себя обязанными даром, без пользы и удовольствия, унижаться перед лордом и зачем-то жертвовать ему своим спокойствием и удобством. Что за вздор, что за неразрешимая бессмыслица! Но не это сильней всего поразило меня нынче вечером. Это неведение того, что дает счастье, эту бессознательность поэтических наслаждений я почти понимаю или привык к ней, встречав ее часто в жизни; грубая, бессознательная жестокость толпы тоже была для меня не новость; что бы ни говорили защитники народного смысла, толпа есть соединение хотя бы и хороших людей, но соприкасающихся только животными, гнусными сторонами, и выражающая только слабость и жестокость человеческой природы. Но как вы, дети свободного, человеческого народа, вы, христиане, вы, просто люди, на чистое наслаждение, которое вам доставил несчастный просящий человек, ответили холодностью и насмешкой. Но нет, в вашем отечестве есть приюты для нищих. — Нищих нет, их не должно быть, и не должно быть чувства сострадания, на котором основано нищенство. — Но он трудился, он радовал вас, он умолял вас дать ему что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы воспользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его как редкость из своих высоких блестящих палат, и из сотни вас, счастливых, богатых, не нашлось ни

одного, ни одной, которая бы бросила ему что-нибудь! Пристыженный, он пошел прочь от вас, и бессмысленная толпа, смеясь, преследовала и оскорбляла не вас, а его, за то, что вы холодны, жестоки и бесчестны; за то, что вы украли у него наслаждение, которое он вам доставил, за это его оскорбляли».

10 *«Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».*

Это не выдумка, а факт положительный, который могут исследовать те, которые хотят, у постоянных жителей Швейцергофа, справившись по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля.

Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях. Что англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китайцы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую монету, что французы убили еще тысячу кабиллов за то, что хлеб хорошо родится в Африке и что постоянная война полезна для формирования войск, что турецкий посланник в Неаполе не может быть жид и что император Наполеон гуляет пешком в Plombières и печатно уверяет народ, что он царствует только по воле всего народа, – это все слова, скрывающие или показывающие давно известное; но событие, произошедшее в Люцерне 7-го июля, мне кажется совершенно
30 ново, странно и относится не к вечным дурным сторонам человеческой природы, но к известной эпохе развития общества. Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации.

Отчего этот бесчеловечный факт, невозможный ни в какой деревне, немецкой, французской или итальянской, возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство доведены до высшей степени, где собираются путешествующие, самые цивилизованные люди самых цивилизованных наций? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные, в общем, на всякое
40 честное, гуманное дело, не имеют человеческого сердечного чувства на личное доброе дело? Отчего эти люди, в своих палатах, митингах и обществах горячо заботящиеся о состоянии безбрачных китайцев в Индии, о распространении христианства и образовании в Африке, о составлении обществ исправле-

ния всего человечества, не находят в душе своей простого первобытного чувства человека к человеку? Неужели нет этого чувства, и место его заняли тщеславие, честолюбие и корысть, руководящие этих людей в их палатах, митингах и обществах? Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной ассоциации? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступлений? Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним звуком слова «равенство»? 10

Равенство перед законом? Да разве вся жизнь людей происходит в сфере закона? Только одна тысячная доля ее подлежит закону, остальная часть происходит вне его, в сфере нравов и воззрения общества. А в обществе лакей одет лучше певца и безнаказанно оскорбляет его. Я лучше одет лакея и безнаказанно оскорбляю лакея. Швейцар считает меня выше, а певца ниже себя; когда я соединился с певцом, он счел себя равным с нами и стал груб. Я стал нагл с швейцаром, и швейцар признал себя ниже меня. Лакей стал нагл с певцом, и певец признал себя ниже его. И неужели это свободное то, что люди называют, положительно свободное государство, то, в котором есть хоть один гражданин, которого сажают в тюрьму за то, что он, никому не вредя, никому не мешая, делает одно, что может, для того чтобы не умереть с голода? 20

Несчастное, жалкое создание человек с своей потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий. Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой неблаго. Проходят века, и где бы, что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблаго. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива! Ложна односторонностью, по невозможности человека объять всей истины, и справедлива по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом вечном движущемся, бесконечном, бесконечно-перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет миллионов других подразделе- 30 40

ний совсем с другой точки зрения, в другой плоскости. Правда, вырабатываются эти новые подразделения веками, но и веков прошли и пройдут миллионы. Цивилизация – благо; варварство – зло; свобода – благо; неволя – зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие запутанные факты? У кого так велик ум, чтоб хотя в неподвижном прошедшем обнять все факты и свесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе. И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не оттого, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу.

И этот-то один непогрешимый блаженный голос заглушает шумное, торопливое развитие цивилизации. Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, с злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему миллионной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, или маленький певец, который, рискуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет, никому не делая вреда, ходит по горам и долам, утешая людей своим пением, которого оскорбили, чуть не вытолкали нынче и который, усталый, голодный, пристыженный, пошел спать куда-нибудь на гниющей соломе?

В это время из города в мертвой тишине ночи я далеко-далеко услышал гитару маленького человечка и его голос.

Нет, – сказалось мне невольно, – ты не имеешь права жалеть о нем и негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вон он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит в блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой, благоуханной ночи, в душе его нет ни упрека, ни злобы, ни раскаянья. А кто знает, что делается теперь в душе всех этих

людей, за этими богатыми, высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека? Бесконечна благодать и премудрость Того, Кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, незаконно пытающемуся проникнуть Его законы, Его намерения, только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит с своей светлой неизмеримой высоты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь. В своей гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет, и ты с своим маленьким, пошленьким негодованьем на лакеев, и ты тоже ответил на гармоническую потребность вечного и бесконечного...

18 июля 1857 г.

АЛЬБЕРТ

I

Пять человек богатых и молодых людей приехали в третьем часу ночи *веселиться* на петербургский балик.

Шампанского было выпито много, большая часть господ были очень молоды, девицы были красивы, фортепьяно и скрипка неумоимо играли одну польку за другою, танцы и шум не переставали; но было как-то скучно, неловко, каждому казалось почему-то (как это часто случается), что все это не то и не нужно.

10 Несколько раз они усиливались поднять веселье, но притворное веселье было еще хуже скуки.

Один из пяти молодых людей, более других недовольный и собой, и другими, и всем вечером, с чувством отвращения встал, отыскал шляпу и вышел с намерением потихоньку уехать.

В передней никого не было, но в соседней комнате, за дверью, он услышал два голоса, спорившие между собою. Молодой человек приостановился и стал слушать.

– Нельзя, там гости, – говорил женский голос.

– Пустите, пожалуйста, я ничего! – умолял слабый мужской
20 голос.

– Да уж не пушу без позволения мадамы, – говорила женщина, – куда вы? ах какой!..

Дверь распахнулась, и на пороге показалась странная мужская фигура. Увидав гостя, служанка перестала удерживать, а странная фигура, робко поклонившись, шатаясь на согнутых ногах, вошла в комнату. Это был среднего роста мужчина, с узкой согнутой спиной и длинными всклокоченными волосами. На нем были короткое пальто и прорванные узкие панталоны над шершавыми, нечищеными сапогами. Скрутившийся веревкой гал-
30 стук повязывал длинную белую шею. Грязная рубаха высовывалась из рукавов над худыми руками. Но, несмотря на чрезвычай-

ную худобу тела, лицо его было нежно, бело, и даже свежий румянец играл на щеках, над черной редкой бородой и бакенбардами. Нечесанные волосы, закинутае кверху, открывали невысокий и чрезвычайно чистый лоб. Темные усталые глаза смотрели вперед мягко, искательно и вместе важно. Выражение их пленительно сливалось с выражением свежих, изогнутых в углах губ, видневшихся из-за редких усов.

10 Пройдя несколько шагов, он приостановился, повернулся к молодому человеку и улыбнулся. Он улыбнулся как будто с трудом; но когда улыбка озарила его лицо, молодой человек – сам не зная чему – улыбнулся тоже.

– Кто это такой? – спросил он шепотом у служанки, когда странная фигура прошла в комнату, из которой слышались танцы.

– Помешанный музыкант из театра, – отвечала служанка, – он иногда приходит к хозяйке.

– Куда ты ушел, Делесов? – кричали в это время из зала.

Молодой человек, которого звали Делесовым, вернулся в залу.

Музыкант стоял у двери и, глядя на танцующих, улыбкой, взглядом и притоптыванием ног выказывал удовольствие, доста-
20 вляемое ему этим зрелищем.

– Что же, идите и вы танцевать, – сказал ему один из гостей.

Музыкант поклонился и вопросительно взглянул на хозяйку.

– Идите, идите, – что ж, когда вас господа приглашают, – вмешалась хозяйка.

Худые, слабые члены музыканта вдруг пришли в усиленное движение, и он, подмигивая, улыбаясь и подергиваясь, тяжело, неловко пошел прыгать по зале. В середине кадрили веселый офицер, танцевавший очень красиво и одушевленно, нечаянно толкнул спиной музыканта. Слабые, усталые ноги не удержали
30 равновесия, и музыкант, сделав несколько подкашивающихся шагов в сторону, со всего роста упал на пол. Несмотря на резкий, сухой звук, произведенный падением, почти все засмеялись в первую минуту.

Но музыкант не вставал. Гости замолчали, даже фортепьяно перестало играть, и Делесов с хозяйкой первые подбежали к упавшему. Он лежал на локте и тускло смотрел в землю. Когда его подняли и посадили на стул, он откинул быстрым движением костлявой руки волосы со лба и стал улыбаться, ничего не отвечая на вопросы.

40 – Господин Альберт! господин Альберт! – говорила хозяйка, – что, ушиблись? где? Вот я говорила, что не надо было танцевать. Он такой слабый! – продолжала она, обращаясь к гостям, – насилу ходит, где ему!

– Кто он такой? – спрашивали хозяйку.

– Бедный человек, артист. Очень хороший малый, только жалкий, как видите.

Она говорила это, не стесняясь присутствием музыканта. Музыкант очнулся и, как будто испугавшись чего-то, съежился и оттолкнул окружающих его.

– Это все ничего, – вдруг сказал он, с видимым усилием вставая со стула.

И, чтобы доказать, что ему несколько не больно, вышел на середину комнаты и хотел припрыгнуть, но пошатнулся и опять бы упал, ежели бы его не поддержали. 10

Всем сделалось неловко; глядя на него, все молчали.

Взгляд музыканта снова потух, и он, видимо забыв о всех, потирал рукою колено. Вдруг он поднял голову, выставил вперед дрожащую ногу, тем же, как и прежде, пошлым жестом откинул волосы и, подойдя к скрипачу, взял у него скрипку.

– Все ничего! – повторил он еще раз, взмахнув скрипкой. – Господа! будем музицировать.

– Что за странное лицо! – говорили между собой гости.

– Может быть, большой талант погибает в этом несчастном 20 существе! – сказал один из гостей.

– Да, жалкий, жалкий! – говорил другой.

– Какое лицо прекрасное!.. В нем есть что-то необыкновенное, – говорил Делесов, – вот посмотрим...

II

Альберт в это время, не обращая ни на кого внимания, прижав скрипку к плечу, медленно ходил вдоль фортепьяно и настраивал ее. Губы его сложились в бесстрастное выражение, глаз не было видно; но узкая костлявая спина, длинная белая шея, кривые ноги и косматая черная голова представляли чудное, но 30 почему-то вовсе не смешное зрелище. Настроив скрипку, он бойко взял аккорд и, вскинув голову, обратился к пьянисту, приготовившемуся аккомпанировать.

– «*Melancholie G-dur!*» – сказал он, с повелительным жестом обращаясь к пьянисту.

И вслед за тем, как бы прося прощения за повелительный жест, кротко улыбнулся и с этой улыбкой оглянул публику. Вскинув волосы рукой, которой он держал смычок, Альберт остановился перед углом фортепьяно и плавным движением смычка провел по струнам. В комнате пронесся чистый, строгий 40 звук, и сделалось совершенное молчание.

Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно-ясным и успокоительным светом, вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный или умеренный звук не нарушил покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды, следили за развитием их. Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувства покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии. Альберт с каждой нотой вырастал выше и выше. Он далеко не был уродлив или странен. Прижав подбородком скрипку и с выражением страстного внимания прислушиваясь к своим звукам, он судорожно передвигал ногами. То он выпрямлялся во весь рост, то старательно сгибал спину. Левая напряженно-согнутая рука, казалось, замерла в своем положении и только судорожно перебирала костлявыми пальцами; правая двигалась плавно, изящно, незаметно. Лицо сияло непрерывной, восторженной радостью; глаза горели светлым сухим блеском, ноздри раздувались, красные губы раскрывались от наслаждения.

Иногда голова ближе наклонялась к скрипке, глаза закрывались, и полузакрытое волосами лицо освещалось улыбкой кроткого блаженства. Иногда он быстро выпрямлялся, выставлял ногу; и чистый лоб, и блестящий взгляд, которым он окидывал комнату, сияли гордостью, величием, сознанием власти. Один раз пьянист ошибся и взял неверный аккорд. Физическое страдание выразилось во всей фигуре и лице музыканта. Он остановился на секунду и, с выражением детской злобы топая ногой, закричал: «*Moll, c-moll!*» Пьянист поправился, Альберт закрыл глаза, улыбнулся и, снова забыв себя, других и весь мир, с блаженством отдался своему долгу.

Все находившиеся в комнате во время игры Альберта хранили покорное молчание и, казалось, жили и дышали только его звуками.

Веселый офицер неподвижно сидел на стуле у окна, устремив на пол безжизненный взгляд, и тяжело и редко переводил дыхание.

Девыцы в совершенном молчании сидели по стенам и только изредка, с одобрением, доходящим до недоумения, переглядывались между собою. Толстое, улыбающееся лицо хозяйки расплывалось от наслаждения. Пьянист впивался глазами в лицо Альберта и со страхом ошибиться, выразавшимся во всей его вытягивавшейся фигуре, старался следить за ним. Один из гостей, выпивший больше других, ничком лежал на диване и старался не двигаться, чтобы не выдать своего волнения. Делесов испытывал непривычное чувство. Какой-то холодный круг, то суживаясь, то расширяясь, сжимал его голову. Корни волос становились чувствительны, мороз пробегал 10
вверх по спине, что-то, все выше и выше подступая к горлу, как тоненькими иголками кололо в носу и нёбе, и слезы незаметно мочили ему щеки. Он встряхивался, старался незаметно втягивать их назад и отирать, но новые выступали опять и текли по его лицу. По какому-то странному сцеплению впечатлений, первые звуки скрипки Альберта перенесли Делесова к его первой молодости. Он – немолодой, усталый от жизни, изнуренный человек, вдруг почувствовал себя семнадцатилетним, самодовольно-красивым, блаженно-глупым и бессознательно-счастливым существом. Ему 20
вспомнилась первая любовь к кузине в розовом платице, вспомнилось первое признание в липовой аллее, вспомнился жар и непонятная прелесть случайного поцелуя, вспомнилось волшебство и неразгаданная таинственность тогда окружавшей природы. В его возвратившемся назад воображении блистала *она* в тумане неопределенных надежд, непонятных желаний и несомненной веры в возможность невозможного счастья. Все неоцененные минуты того времени одна за другою восставали перед ним, но не как незначущие мгновения бегущего настоящего, а как остановившиеся, разрастающиеся и укоряющие образы прошедшего. Он с наслаждением созерцал их и плакал, – плакал не оттого, что прошло то время, 30
которое он мог употребить лучше (ежели бы ему дали назад это время, он не брался употребить его лучше), но он плакал оттого только, что прошло это время и никогда не воротится. Воспоминания возникали сами собою, а скрипка Альберта говорила одно и одно. Она говорила: «Прошло для тебя, навсегда прошло время силы, любви и счастья, прошло и никогда не воротится. Плачь о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об этом времени, – это одно лучшее счастье, которое осталось у тебя».

К концу последней варьяции лицо Альберта сделалось красно, глаза горели не потухая, крупные капли пота струились по щекам. На лбу надулись жилы, все тело больше и больше приходило в движение, побледневшие губы уже не закрывались, и вся фигура выражала восторженную жадность наслаждения. 40

Отчаянно размахнувшись всем телом и встряхнув волосами, он опустил скрипку и с улыбкой гордого величия и счастья оглянул присутствующих. Потом спина его согнулась, голова опустилась, губы сложились, глаза потухли, и он, как бы стыдясь себя, робко оглядываясь и путаясь ногами, прошел в другую комнату.

III

Что-то странное произошло со всеми присутствующими, и что-то странное чувствовалось в мертвом молчании, последовавшем за игрой Альберта. Как будто каждый хотел и не умел высказать того, что все это значило. Что такое значит – светлая и жаркая комната, блестящие женщины, заря в окнах, взволнованная кровь и чистое впечатление пролетевших звуков? Но никто и не попытался сказать того, что это значит; напротив, почти все, чувствуя себя не в силах перейти вполне на сторону того, что открыло им новое впечатление, возмутились против него.

– А ведь он, точно, хорошо играет, – сказал офицер.

– Удивительно! – отвечал, украдкой рукавом отирая щеки, Делесов.

– Однако пора ехать, господа, – сказал, оправившись несколько, тот, который лежал на диване. – Надо будет дать ему что-нибудь, господа. Давайте складчину.

Альберт сидел в это время один в другой комнате на диване. Облокотившись локтями на костлявые колена, он потными, грязными руками гладил себе лицо, взбивал волосы и сам с собою счастливо улыбался.

Складчину сделали богатую, и Делесов взялся передать ее.

Кроме того, Делесову, на которого музыка произвела такое сильное и непривычное впечатление, пришла мысль сделать добро этому человеку. Ему пришло в голову взять его к себе, одеть, пристроить к какому-нибудь месту – вообще, вырвать из этого грязного положения.

– Что, вы устали? – спросил Делесов, подходя к нему.

Альберт улыбался.

– У вас действительный талант; вам надо бы серьезно заниматься музыкой, играть в публике.

– Я бы выпил чего-нибудь, – сказал Альберт, как будто проснувшись.

Делесов принес вина, и музыкант с жадностью выпил два стакана.

– Какое славное вино! – сказал он.

– «Меланхолия», какая прелестная вещь! – сказал Делесов.

– О! да, да, – отвечал, улыбаясь, Альберт, – но извините меня, я не знаю, с кем имею честь говорить; может быть, вы граф или князь: не можете ли вы мне ссудить немного денег? – Он помолчал немного. – Я ничего не имею... я бедный человек. Я не могу отдать вам.

Делесов покраснел, ему неловко стало, и он торопливо передал музыканту собранные деньги.

– Очень благодарю вас, – сказал Альберт, схватив деньги. – Теперь давайте музицировать, я, сколько хотите, буду играть вам. Только выпить бы чего-нибудь, выпить, – прибавил он, вставая. 10

Делесов принес ему еще вина и попросил сесть подле себя.

– Извините меня, ежели я буду откровенен с вами, – сказал Делесов, – ваш талант так заинтересовал меня. Мне кажется, что вы не в хорошем положении?

Альберт поглядывал то на Делесова, то на хозяйку, которая вошла в комнату.

– Позвольте мне вам предложить свои услуги, – продолжал Делесов, – ежели вы в чем-нибудь нуждаетесь, то я бы очень рад был, ежели бы вы на время поселились у меня. Я живу один, и, может быть, я был бы вам полезен. 20

Альберт улыбнулся и ничего не отвечал.

– Что же вы не благодарите, – сказала хозяйка, – разумеется, для вас это благодеяние. Только я бы вам не советовала, – продолжала она, обращаясь к Делесову и отрицательно качая головой.

– Очень вам благодарен, – сказал Альберт, мокрыми руками пожимая руку Делесова, – только теперь давайте музицировать, пожалуйста. 30

Но остальные гости уже собрались ехать и, как их ни уговаривал Альберт, вышли в переднюю.

Альберт простился с хозяйкой и, надев истертую шляпу с широкими полями и летнюю старую альмавиву, составлявшие всю его зимнюю одежду, вместе с Делесовым вышел на крыльцо.

Когда Делесов сел с своим новым знакомцем в карету и почувствовал тот неприятный запах пьяницы и нечистоты, которым был пропитан музыкант, он стал раскаиваться в своем поступке и обвинять себя в ребяческой мягкости сердца и нерассудительности. Притом все, что говорил Альберт, было так глупо и пошло, и он так вдруг грязно опьянел на воздухе, что Делесову сделалось гадко. «Что я с ним буду делать?» – подумал он. 40

Проехав с четверть часа, Альберт замолк, шляпа с него свалилась в ноги, он сам повалился в угол кареты и захрапел. Колеса равномерно скрипели по морозному снегу; слабый свет зари едва проникал сквозь замерзшие окна.

Делесов оглянулся на своего соседа. Длинное тело, прикрытое плащом, безжизненно лежало подле него. Делесову казалось, что длинная голова с большим темным носом качалась на этом туловище; но, взглядевшись ближе, он увидел, что то, что он принимал за нос и лицо, были волосы, а что настоящее лицо было ниже. Он нагнулся и разобрал черты лица Альберта. Тогда красота лба и спокойно сложенного рта снова поразили его.

Под влиянием усталости нерв, раздражающего бессонного часа утра и слышанной музыки Делесов, глядя на это лицо, снова перенесся в тот блаженный мир, в который он заглянул нынче ночью; снова ему вспомнилось счастливое и *великодушное* время молодости, и он перестал раскаиваться в своем поступке. Он в эту минуту искренно, горячо любил Альберта и твердо решил сделать добро ему.

IV

На другой день утром, когда его разбудили, чтобы идти на службу, Делесов с неприятным удивлением увидел вокруг себя свои старые ширмы, своего старого человека и часы на столике. «Так что же бы я хотел видеть, как не то, что всегда окружает меня?» – спросил он сам себя. Тут ему вспомнились черные глаза и счастливая улыбка музыканта; мотив «Меланхолии» и вся странная вчерашняя ночь пронеслись в его воображении.

Ему некогда было, однако, размышлять о том, хорошо или дурно он поступил, взяв к себе музыканта. Одеваясь, он мысленно распределил свой день: взял бумаги, отдал необходимые приказания дома и торопясь надел шинель и калоши. Проходя мимо столовой, он заглянул в дверь. Альберт, уткнув лицо в подушку и раскидавшись в грязной изорванной рубашке, мертвым сном спал на сафьянном диване, куда его, бесчувственного, положили вчера вечером. Что-то не хорошо – невольно казалось Делесову.

– Сходи, пожалуйста, от меня к Борюзовскому, попроси скрипку дня на два для них, – сказал он своему человеку, – да когда они проснутся, напой их кофеем и дай надеть из моего белья и старого платья что-нибудь. Вообще удовлетвори его хорошенько. Пожалуйста.

Возвратившись домой поздно вечером, Делесов, к удивлению своему, не нашел Альберта.

– Где же он? – спросил он у человека.

– Тотчас после обеда ушли, – отвечал слуга, – взяли скрипку и ушли, обещались прийти через час, да вот до сей поры нету.

– Та! та! досадно, – проговорил Делесов. – Как же ты его пустил, Захар?

Захар был петербургский лакей, уже восемь лет служивший у Делесова. Делесов, *как одинокий холостяк*, невольно поверял ему свои намерения и любил знать его мнение насчет каждого из своих предприятий.

– Как же я смел его не пустить, – отвечал Захар, играя печаткой своих часов, – ежели бы вы мне сказали, Дмитрий Иванович, чтобы его удерживать, я бы дома мог занять. Но вы только насчет платья сказали.

– Та! досадно! Ну, а что он тут делал без меня?

Захар усмехнулся.

– Уж точно, можно назвать артистом, Дмитрий Иванович. Как проснулись, так попросили мадеры, потом с кухаркой и с соседским человеком все занимались. Смешные такие... Однако характера очень хорошего. Я им чаю дал, обедать принес, ничего не хотели одни есть, все меня приглашали. А уж на скрипке как играют, так это точно, что таких артистов у Излера мало. Такого человека можно держать. Как он «Вниз по матушке по Волге» нам сыграл, так точно, как человек плачет. Слишком хорошо! Даже со всех этажей пришли люди к нам в сени слушать.

– Ну, а одел ты его? – перебил барин.

– Как же-с; я ему вашу ночную рубашку дал и свое пальто ему надел. Этому человеку можно помогать, точно, милый человек. – Захар улыбнулся. – Все спрашивали меня, какого вы чина, имеете ли знакомства значительные? и сколько у вас душ крестьян?

– Ну, хорошо, только надо будет его найти теперь и вперед ему ничего не давать пить, а то ему еще хуже сделаешь.

– Это правда, – перебил Захар, – он, видно, слаб здоровьем, у нас такой же у барина был приказчик...

Делесов, уже давно знавший историю пившего запоем приказчика, не дал ее докончить Захару и, велев приготовить себе все для ночи, послал его отыскать и привести Альберта.

Он лег в постель, потушил свечу, но долго не мог заснуть, все думал об Альберте. «Хоть это все странным может показаться многим из моих знакомых, – думал Делесов, – но ведь так редко делаешь что-нибудь не для себя, что надо благодарить Бога, когда представляется такой случай, и я не упущу его. Все сделаю, решительно все сделаю, что могу, чтобы помочь ему. Может быть, он и вовсе не сумасшедший, а только спился. Стоить это

мне будет совсем не дорого: где один, там и двое сыты будут. Пускай поживет сначала у меня, а потом устроим ему место или концерт, стащим его с мели, а там видно будет».

Приятное чувство самодовольствия овладело им после такого рассуждения.

«Право, я не совсем дурной человек; даже совсем недурной человек, – подумал он. – Даже очень хороший человек, как сравню себя с другими...»

Он уже засыпал, когда звуки отворяемых дверей и шагов в 10 передней развлекли его.

«Ну, обращаюсь с ним построже, – подумал он, – это лучше; и я должен это сделать».

Он позвонил.

– Что, привел? – спросил он у вошедшего Захара.

– Жалкой человек, Дмитрий Иванович, – сказал Захар, значительно покачав головой и закрыв глаза.

– Что, пьян?

– Очень слаб.

– А скрипка с ним?

20 – Принес, хозяйка отдала.

– Ну, пожалуйста, не пускай его теперь ко мне, уложи спать и завтра отнюдь не выпускай из дома.

Но еще Захар не успел выйти, как в комнату вошел Альберт.

V

– Вы уж спать хотите? – сказал Альберт, улыбаясь. – А я был там, у Анны Ивановны. Очень приятно провел вечер: музицировали, смеялись, приятное общество было. Позвольте мне выпить стакан чего-нибудь, – прибавил он, взявшись за графин с водой, стоявший на столике, – только не воды.

30 Альберт был такой же, как и вчера: та же красивая улыбка глаз и губ, тот же светлый, вдохновенный лоб и слабые члены. Пальто Захара пришлось ему как раз впору, и чистый, длинный, некрахмаленый воротник ночной рубашки живописно откидывался вокруг его тонкой белой шеи, придавая ему что-то особенно детское и невинное. Он присел на постель Делесова и молча, радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него. Делесов посмотрел в глаза Альберта и вдруг снова почувствовал себя во власти его улыбки. Ему перестало хотеться спать, он забыл о своей обязанности быть строгим, ему захотелось, напротив, веселиться, 40 слушать музыку и хоть до утра дружески болтать с Альбертом. Делесов велел Захару принести бутылку вина, папирос и скрипку.

– Вот это отлично, – сказал Альберт, – еще рано, будем музицировать, я вам буду играть сколько хотите.

Захар с видимым удовольствием принес бутылку лафиту, два стакана, слабых папирос, которые курил Альберт, и скрипку. Но вместо того чтобы ложиться спать, как ему приказал барин, сам, закурив сигару, сел в соседнюю комнату.

– Поговоримте лучше, – сказал Делесов музыканту, взявшемуся было за скрипку.

Альберт покорно сел на постель и снова радостно улыбнулся.

– Ах да, – сказал он, вдруг стукнув себя рукой по лбу и приняв озабоченно-любопытное выражение. (Выражение лица его всегда предшествовало тому, что он хотел говорить.) – Позвольте спросить... – он приостановился немного, – этот господин, который был с вами там, вчера вечером... вы его называли N., он не сын знаменитого N.?

– Родной сын, – отвечал Делесов, никак не понимая, почему это могло быть интересно Альберту.

– То-то, – самодовольно улыбаясь, сказал он, – я сейчас заметил в его манерах что-то особенно аристократическое. Я люблю аристократов: что-то прекрасное и изящное видно в аристократе. А этот офицер, который так прекрасно танцует, – спросил он, – он мне тоже очень понравился, такой веселый и благородный. Он адъютант NN., кажется?

– Который? – спросил Делесов.

– Тот, который столкнулся со мной, когда мы танцевали. Он славный должен быть человек.

– Нет, он пустой малый, – отвечал Делесов.

– Ах, нет! – горячо заступился Альберт, – в нем что-то есть очень, очень приятное. И он славный музыкант, – прибавил Альберт, – он играл там из оперы что-то. Давно мне никто так не нравился.

– Да, он хорошо играет, но я не люблю его игры, – сказал Делесов, желая навести своего собеседника на разговор о музыке, – он классической музыки не понимает; а ведь Донизетти и Беллини – ведь это не музыка. Вы, верно, этого же мнения?

– О нет, нет, извините меня, – заговорил Альберт с мягким заступническим выражением, – старая музыка – музыка, и новая музыка – музыка. И в новой есть красоты необыкновенные: а «Сомнамбула»? а финал «Лючии»? а *Chopin*? а Роберт?! Я часто думаю... – он приостановился, видимо, собирая мысли, – что ежели бы Бетховен был жив, ведь он бы плакал от радости, слушая «Сомнамбулу». Везде есть прекрасное. Я слышал в первый раз «Сомнамбулу», когда здесь были Виардо и Рубини; это было

вот что, – сказал он, блистая глазами и делая жест обеими руками, как будто вырывая что-то из своей груди. – Еще бы немного, то это невозможно бы было вынести.

– Ну, а теперь как вы находите оперу? – спросил Делесов.

– Бозио хороша, очень хороша, – отвечал он, – изящна необыкновенно, но тут не трогает, – сказал он, указывая на ввалившуюся грудь. – Для певицы нужна страсть, а у нее нет. Она радуется, но не мучает.

– Ну, а Лаблаш?

10 – Я его слышал еще в Париже в «Севильском цирюльнике»; тогда он был единствен, а теперь он стар, – он не может быть артистом, он стар.

– Что ж, что стар, все-таки хорош в *morceaux d'ensemble*¹, – сказал Делесов, всегда говоривший это о Лаблаше.

– Как что же, что стар? – возразил Альберт строго. – Он не должен быть стар. Художник не должен быть стар. Много нужно для искусства, но главное – огонь! – сказал он, блистая глазами и поднимая обе руки кверху.

20 И действительно, страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре.

– Ах, Боже мой! – сказал он вдруг. – Вы не знаете Петрова – художника?

– Нет, не знаю, – улыбаясь, отвечал Делесов.

– Как бы я желал, чтобы вы с ним познакомились! Вы бы нашли удовольствие говорить с ним. Как он тоже понимает искусство! Мы с ним встречались прежде часто у Анны Ивановны, но она теперь за что-то рассердилась на него. А я очень желал бы, чтобы вы с ним познакомились. Он большой, большой талант.

– Что ж, он картины пишет? – спросил Делесов.

30 – Не знаю; нет, кажется, но он был художник Академии. Какие у него мысли! Когда он иногда говорит, то это удивительно. О, Петров большой талант, только он ведет жизнь очень веселую. Вот жалко, – улыбаясь, прибавил Альберт. Вслед за тем он встал с постели, взял скрипку и начал строить.

– Что, вы давно не были в опере? – спросил его Делесов.

Альберт оглянулся и вздохнул.

40 – Ах, я уж не могу, – сказал он, схватившись за голову. Он снова подсел к Делесову. – Я вам скажу, – проговорил он почти шепотом, – я не могу туда ходить, я не могу там играть, у меня ничего нет, ничего – платья нет, квартиры нет, скрипки нет. Скверная жизнь! скверная жизнь! – повторял он несколько раз. – Да и

¹ ансамблях (фр.)

зачем мне туда ходить? Зачем это? не надо, – сказал он, улыбаясь. – Ах, «Дон-Жуан»!

И он ударил себя по голове.

– Так поедem когда-нибудь вместе, – сказал Делесов.

Альберт, не отвечая, вскочил, схватил скрипку и начал играть финал первого акта «Дон-Жуана», своими словами рассказывая содержание оперы.

У Делесова зашевелились волосы на голове, когда он играл голос умирающего командора.

– Нет, не могу играть нынче, – сказал он, кладя скрипку, – я много пил.

Но вслед за тем он подошел к столу, налил себе полный стакан вина, залпом выпил и сел опять на кровать к Делесову.

Делесов, не спуская глаз, смотрел на Альберта; Альберт изредка улыбался, и Делесов улыбался тоже. Они оба молчали; но между ними взглядом и улыбкой ближе устанавливались любовные отношения. Делесов чувствовал, что он все больше и больше любит этого человека, и испытывал непонятную радость.

– Вы были влюблены? – вдруг спросил он.

Альберт задумался на несколько секунд, потом лицо его озарилось грустной улыбкой. Он нагнулся к Делесову и внимательно посмотрел ему в самые глаза.

– Зачем вы это спросили у меня? – проговорил он шепотом. – Но я вам все расскажу, вы мне понравились, – продолжал он, посмотрев немного и оглянувшись. – Я не буду вас обманывать, я вам расскажу все, как было, сначала. – Он остановился, и глаза его странно, дико остановились. – Вы знаете, что я слаб рассудком, – сказал он вдруг. – Да, да, – продолжал он, – Анна Ивановна вам, верно, рассказывала. Она всем говорит, что я сумасшедший! Это неправда, она из шутки говорит это, она добрая женщина, а я, точно, не совершенно здоров стал с некоторого времени.

Альберт опять замолчал и остановившимися, широко открытыми глазами посмотрел в темную дверь.

– Вы спрашивали, был ли я влюблен? Да, я был влюблен, – прошептал он, поднимая брови. – Это случилось давно, еще в то время, когда я был при месте в театре. Я ходил играть вторую скрипку в опере, а она ездила в литерный бенуар с левой стороны.

Альберт встал и перегнулся на ухо Делесову.

– Нет, зачем называть ее, – сказал он. – Вы, верно, знаете ее, все знают ее. Я молчал и только смотрел на нее; я знал, что я бедный артист, а она аристократическая дама. Я очень знал это. Я только смотрел на нее и ничего не думал.

Альберт задумался, припоминая.

– Как это случилось, я не помню; но меня позвали один раз аккомпанировать ей на скрипке. Ну что я, бедный артист! – сказал он, покачивая головой и улыбаясь. – Но нет, я не умею рассказывать, не умею... – прибавил он, схватившись за голову. – Как я был счастлив!

– Что же, вы часто были у нее? – спросил Делесов.

– Один раз, один раз только... но я сам виноват был, я с ума сошел. Я бедный артист, а она аристократическая дама. Я не должен был ничего говорить ей. Но я сошел с ума, я сделал глупости. С тех пор для меня все кончилось. Петров правду сказал мне: лучше бы было видеть ее только в театре...

– Что же вы сделали? – спросил Делесов.

– Ах, постойте, постойте, я не могу рассказывать этого.

И, закрыв лицо руками, он помолчал несколько времени.

– Я пришел в оркестр поздно. Мы пили с Петровым этот вечер, и я был расстроен. Она сидела в своей ложе и говорила с генералом. Я не знаю, кто был этот генерал. Она сидела у самого края, положила руки на рампу; на ней было белое платье и перлы на шее. Она говорила с ним и смотрела на меня. Два раза она посмотрела на меня. Прическа у ней была вот этак; я не играл, а стоял подле баса и смотрел. Тут в первый раз со мной сделалось странно. Она улыбнулась генералу и посмотрела на меня. Я чувствовал, что она говорит обо мне, и вдруг я увидел, что я не в оркестре, а в ложе, стою с ней и держу ее за руку, за это место. Что это такое? – спросил Альберт, помолчав.

– Это живость воображения, – сказал Делесов.

– Нет, нет... да я не умею рассказывать, – сморщившись, отвечал Альберт. – Я уже и тогда был беден, квартиры у меня не было, и когда ходил в театр, иногда оставался ночевать там.

– Как? в театре? в темной пустой зале?

– Ах! я не боюсь этих глупостей. Ах, постойте. Как только все уходило, я шел к тому бенеуару, где она сидела, и спал. Это была одна моя радость. Какие ночи я проводил там! Только один раз опять началось со мной. Мне ночью стало представляться много, но я не могу рассказать вам много. – Альберт, опустив зрачки, смотрел на Делесова. – Что это такое? – спросил он.

– Странно! – сказал Делесов.

– Нет, постойте, постойте! – Он на ухо шепотом продолжал. – Я целовал ее руку, плакал тут подле нее, я много говорил с ней. Я слышал запах ее духов, слышал ее голос. Она много сказала мне в одну ночь. Потом я взял скрипку и потихоньку стал играть. И я отлично играл. Но мне стало страшно. Я не

боюсь этих глупостей и не верю; но мне стало страшно за свою голову, – сказал он, любезно улыбаясь и дотрогиваясь рукою до лба, – за свой бедный ум мне стало страшно, мне казалось, что-то сделалось у меня в голове. Может быть, это и ничего? Как вы думаете?

Оба помолчали несколько минут.

Und wenn die Wolken sie verhüllen,
Die Sonne bleibt doch ewig klar¹, –

пропел Альберт, тихо улыбаясь. – Не правда ли? – при-
10 бавил он.

Ich auch habe gelebt und genossen², –

Ах! старик Петров как бы все это растолковал вам.

Делесов молча, с ужасом смотрел на взволнованное и побледневшее лицо своего собеседника.

– Вы знаете «Юристен-вальцер»? – вдруг вскричал Альберт и, не дождавшись ответа, вскочил, схватил скрипку и начал играть веселый вальс. Совершенно забывшись и, видимо, полагая, что целый оркестр играет за ним, Альберт улыбался, раскачивался, передвигал ногами и играл превосходно.

20 – Э, будет веселиться! – сказал он, кончив и размахнув скрипкой.

– Я пойду, – сказал он, молча посидев немного, – а вы не пойдете?

– Куда? – с удивлением спросил Делесов.

– Пойдем опять к Анне Ивановне; там весело: шум, народ, музыка.

Делесов в первую минуту чуть было не согласился. Однако, опомнившись, он стал уговаривать Альберта не ходить нынче.

– Я бы на минуту.

30 – Право, не ходите.

Альберт вздохнул и положил скрипку.

– Так остаться?

Он посмотрел еще на стол (вина не было) и, пожелав покойной ночи, вышел.

Делесов позвонил.

– Смотри не выпускай никуда господина Альберта без моего спроса, – сказал он Захару.

¹ Пусть облака окутывают солнце, оно все же остается вечно сияющим (нем.)

² И я жил и наслаждался (нем.)

На другой день был праздник. Делесов, проснувшись, сидел у себя в гостиной за кофеем и читал книгу. Альберт в соседней комнате еще не шевелился.

Захар осторожно отворил дверь и посмотрел в столовую.

– Верите ль, Дмитрий Иванович, так на голом диване и спит! Ничего не хотел подостлать, ей-Богу. Как дитя малое. Право, артист.

В двенадцатом часу за дверью послышалось кряхтение и кашель.

10

Захар снова прошел в столовую; и барин слышал ласковый голос Захара и слабый просящий голос Альберта.

– Ну, что? – спросил барин у Захара, когда он вышел.

– Скучает, Дмитрий Иванович; умываться не хочет, пасмурный такой. Все просит выпить.

«Нет, уж если взялся, надо выдержать характер», – сказал себе Делесов.

И, не приказав давать вина, снова принялся за свою книгу, невольно, однако, прислушиваясь к тому, что происходило в столовой. Там ничего не двигалось, только изредка слышался грудной 20
тяжелый кашель и плеванье. Прошло часа два. Делесов, одевшись, перед тем как выйти со двора, решил заглянуть к своему сожителю. Альберт неподвижно сидел у окна, опустив голову на руки. Он оглянулся. Лицо его было желто, сморщено и не только грустно, но глубоко несчастно. Он попробовал улыбнуться в виде приветствия, но лицо его приняло еще более горестное выражение. Казалось, он готов был заплакать. Он с трудом встал и поклонился.

– Если бы можно рюмочку простой водки, – сказал он с просящим выражением, – я так слаб... пожалуйста!

30

– Кофей вас лучше подкрепит. Я бы вам советовал.

Лицо Альберта вдруг потеряло детское выражение; он холодно, тускло посмотрел в окно и слабо опустился на стул.

– Или позавтракать не хотите ли?

– Нет, благодарю, не имею аппетита.

– Если вам захочется играть на скрипке, то вы мне не будете мешать, – сказал Делесов, кладя скрипку на стол.

Альберт с презрительной улыбкой посмотрел на скрипку.

– Нет; я слишком слаб, я не могу играть, – сказал он и отодвинул от себя инструмент.

40

После этого, что ни говорил Делесов, предлагая ему и пройтись, и вечером ехать в театр, он только покорно кланялся и

упорно молчал. Делесов уехал со двора, сделал несколько визитов, обедал в гостях и перед театром заехал домой переодеться и узнать, что делает музыкант. Альберт сидел в темной передней и, облокотив голову на руки, смотрел в топившуюся печь. Он был одет опрятно, вымыт и причесан; но глаза его были тусклы, мертвы, и во всей фигуре выражались слабость и изнурение, еще большие, чем утром.

– Что, вы обедали, господин Альберт? – спросил Делесов.

Альберт сделал утвердительный знак головой и, взглянув в
10 лицо Делесова испуганно, опустил глаза.

Делесову сделалось неловко.

– Я говорил нынче о вас директору, – сказал он, тоже опуская глаза, – он очень рад принять вас, если вы позволите себя послушать.

– Благодарю, я не могу играть, – проговорил себе под нос Альберт и прошел в свою комнату, особенно тихо затворив за собою дверь.

Через несколько минут замочная ручка так же тихо повернулась, и он вышел из своей комнаты со скрипкой. Злобно и бегло
20 взглянув на Делесова, он положил скрипку на стул и снова скрылся.

Делесов пожал плечами и улыбнулся.

«Что ж мне еще делать? в чем я виноват?» – подумал он.

– Ну, что музыкант? – был первый вопрос его, когда он поздно возвратился домой.

– Плох! – коротко и звучно отвечал Захар. – Все вздыхает, кашляет и ничего не говорит, только раз пять принимался просить водки. Уж я ему дал одну. А то как бы нам его не загубить так, Дмитрий Иванович. Так-то приказчик...

30 – А на скрипке не играет?

– Не дотрогивается даже. Я тоже к нему ее приносил раза два; так возьмет ее потихоньку и вынесет, – отвечал Захар с улыбкой. – Так пить не прикажете давать?

– Нет, еще подождем день, посмотрим, что будет. А теперь он что?

– Заперся в гостиной.

Делесов прошел в кабинет, отобрал несколько французских книг и немецкое Евангелие.

– Положи это завтра ему в комнату, да смотри не выпускай, –
40 сказал он Захару.

На другое утро Захар донес барину, что музыкант не спал целую ночь: все ходил по комнатам и приходил в буфет, пытаясь отворить шкаф и дверь, но что все, по его старанию, было заперто. Захар рас-

сказывал, что, притворившись спящим, он слышал, как Альберт в темноте сам с собой бормотал что-то и размахивал руками.

Альберт с каждым днем становился мрачнее и молчаливее. Делесова он, казалось, боялся, и в лице его выражался болезненный испуг, когда глаза их встречались. Он не брал в руки ни книг, ни скрипки и не отвечал на вопросы, которые ему делали.

На третий день пребывания у него музыканта Делесов приехал домой поздно вечером, усталый и расстроенный. Он целый день ездил, хлопотал по делу, казавшемуся очень простым и легким, и, как это часто бывает, решительно ни шагу не сделал вперед, несмотря на усиленное старание. Кроме того, заехав в клуб, он проиграл в вист. Он был не в духе. 10

– Ну, Бог с ним совсем! – отвечал он Захару, который объяснил ему печальное положение Альберта. – Завтра добьюсь от него решительно: хочет ли он или нет оставаться у меня и следовать моим советам? Нет – так и не надо. Кажется, что я сделал все, что мог.

«Вот делай добро людям! – думал он сам с собой. – Я для него стесняюсь, держу у себя в доме это грязное существо, так что утром принять не могу незнакомого человека, хлопочу, бегаю, а он на меня смотрит, как на какого-то злодея, который из своего 20 удовольствия запер его в клетку. А главное, сам для себя и шагу не хочет сделать. Так они и все (это “все” относилось вообще к людям, и особенно к тем, до которых у него нынче было дело). И что с ним делается теперь? О чем он думает и грустит? Грустит о разврате, из которого я его вырвал? Об унижении, в котором он был? О нищете, от которой я его спас? Видно, уж он так упал, что тяжело ему смотреть на честную жизнь...»

«Нет, это был детский поступок, – решил сам с собою Делесов. – Куда мне братья других исправлять, когда только дай Бог с самим собою сладить». Он хотел было сейчас отпустить его, но, 30 подумав немного, отложил до завтра.

Ночью Делесова разбудил стук упавшего стола в передней и звук голосов и топота. Он зажег свечу и с удивлением стал прислушиваться...

– Погодите, я Дмитрию Ивановичу скажу, – говорил Захар; голос Альберта бормотал что-то горячо и несвязно. Делесов вскочил и со свечою выбежал в переднюю. Захар, в ночном костюме, стоял против двери, Альберт, в шляпе и альмавиве, отталкивал его от двери и слезливым голосом кричал на него:

– Вы не можете не пустить меня! У меня паспорт, я ничего не 40 унес у вас! Можете обыскать меня! Я к полицмейстеру пойду!

– Позвольте, Дмитрий Иванович! – обратился Захар к барину, продолжая спиной защищать дверь. – Они ночью встали, на-

шли ключ в моем пальто и выпили целый графин сладкой водки. Это разве хорошо? А теперь уйти хотят. Вы не приказали, потому я и не могу пустить их.

Альберт, увидав Делесова, еще горячее стал приступать к Захару.

– Не может меня никто держать! не имеет права! – кричал он, все больше и больше возвышая голос.

– Отойди, Захар, – сказал Делесов. – Я вас держать не хочу и не могу, но я советовал бы вам остаться до завтра, – обратился он к Альберту.

– Никто меня держать не может! Я к полицмейстеру пойду! – все сильнее и сильнее кричал Альберт, обращаясь только к Захару и не глядя на Делесова. – Караул! – вдруг завопил он неистовым голосом.

– Да что же вы кричите так-то? ведь вас не держат, – сказал Захар, отворяя дверь.

Альберт перестал кричать. «Не удалось? Хотели уморить меня. Нет!» – бормотал он про себя, надевая калоши. Не простившись и продолжая говорить что-то непонятное, он вышел в дверь. Захар посветил ему до ворот и вернулся.

– И слава Богу, Дмитрий Иванович! а то долго ли до греха, – сказал он барину, – и теперь серебро поверить надо.

Делесов только покачал головой и ничего не отвечал. Ему живо вспомнились теперь два первые вечера, которые он провел с музыкантом, вспомнились последние печальные дни, которые по его вине провел здесь Альберт, и главное, он вспомнил то сладкое смешанное чувство удивления, любви и сострадания, которое возбудил в нем с первого взгляда этот странный человек, и ему стало жалко его. «И что-то с ним будет теперь? – подумал он. – Без денег, без теплого платья, один посреди ночи...» Он хотел было уже послать за ним Захара, но было поздно.

– А холодно на дворе? – спросил Делесов.

– Мороз здоровый, Дмитрий Иванович, – отвечал Захар. – Я забыл вам доложить, до весны еще дров купить придется.

– А как же ты говорил, что останутся?

VII

На дворе действительно было холодно, но Альберт не чувствовал холода, – так он был разгорячен выпитым вином и спором.

Выйдя на улицу, он оглянулся и радостно потер руки. На улице было пусто, но длинный ряд фонарей еще светил красными огнями, на небе было ясно и звездно. «Что?» – сказал он,

обращаясь к светившемуся окну в квартире Делесова; и, засунув руки под пальто в карманы панталон и перегнувшись вперед, Альберт тяжелыми и неверными шагами пошел направо по улице. Он чувствовал в ногах и желудке чрезвычайную тяжесть, в голове его что-то шумело, какая-то невидимая сила бросала его из стороны в сторону, но он все шел вперед по направлению к квартире Анны Ивановны. В голове его бродили странные, несвязные мысли. То он вспоминал последний спор с Захаром, то почему-то море и первый свой приезд на пароходе в Россию, то счастливую ночь, проведенную с другом в лавочке, мимо которой он проходил; то вдруг знакомый мотив начинал петь в его воображении, и он вспоминал предмет своей страсти и страшную ночь в театре. Но, несмотря на несвязность, все эти воспоминания с такой яркостью представлялись его воображению, что, закрыв глаза, он не знал, что было больше действительность: то, что он делал, или то, что он думал? Он не помнил и не чувствовал, как переставлялись его ноги, как, шатаясь, он толкался об стену, как он смотрел вокруг себя и как переходил с улицы на улицу. Он помнил и чувствовал только то, что, причудливо сменяясь и перепутываясь, представлялось ему.

Проходя по Малой Морской, Альберт споткнулся и упал. Очнувшись на мгновение, он увидел перед собой какое-то громадное, великолепное здание и пошел дальше. На небе не было видно ни звезд, ни зари, ни месяца, фонарей тоже не было, но все предметы обозначались ясно. В окнах здания, возвышавшегося в конце улицы, светились огни, но огни эти колебались, как отражение. Здание все ближе и ближе, яснее и яснее вырастало перед Альбертом. Но огни исчезли, как только Альберт вошел в широкие двери. Внутри было темно. Одинокие шаги звучно раздавались под сводами, и какие-то тени, скользя, убегали при его приближении. «Зачем я пошел сюда?» – подумал Альберт; но какая-то непреодолимая сила тянула его вперед к углублению огромной залы... Там стояло какое-то возвышение, и вокруг него молча стояли какие-то маленькие люди. «Кто это будет говорить?» – спросил Альберт. Никто не ответил, только один указал ему на возвышение. На возвышении уже стоял высокий худой человек с щетинистыми волосами и в пестром халате. Альберт тотчас узнал своего друга Петрова. «Как странно, что он здесь!» – подумал Альберт. «Нет, братья! – говорил Петров, указывая на кого-то. – Вы не поняли человека, жившего между вами; вы не поняли его! Он не продажный артист, не механический исполнитель, не сумасшедший, не потерянный человек. Он гений, великий музыкальный гений, погибший среди вас незамеченным и

неоцененным». Альберт тотчас же понял, о ком говорил его друг; но, не желая стеснять его, из скромности опустил голову.

«Он, как соломинка, сторел весь от того священного огня, которому мы все служим, – продолжал голос, – но он исполнил все то, что было вложено в него Богом; за то он и должен назваться великим человеком. Вы могли презирать его, мучить, унижать, – продолжал голос громче и громче, – а он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. Он счастлив, он добр. Он всех одинаково любит или презирает, что все равно, а служит только тому, что
10 вложено в него свыше. Он любит одно – красоту, единственно несомненное благо в мире. Да, вот кто он такой! Ниц падайте все перед ним, на колена!» – закричал он громко.

Но другой голос тихо заговорил из противоположного угла залы. «Я не хочу падать перед ним на колена, – говорил голос, в котором Альберт тотчас узнал голос Делесова. – Чем же он велик? И зачем нам кланяться перед ним? Разве он вел себя честно и справедливо? Разве он принес пользу обществу? Разве мы не знаем, как он брал займы деньги и не отдавал их, как он унес скрипку у своего товарища артиста и заложил ее?.. (“Боже мой!
20 как он это все знает!” – подумал Альберт, еще ниже опуская голову.) Разве мы не знаем, как он льстил самым ничтожным людям, льстил из-за денег? – продолжал Делесов. – Не знаем, как его выгнали из театра? Как Анна Ивановна хотела в полицию послать его?» («Боже мой! это все правда, но заступись за меня, – проговорил Альберт, – ты один знаешь, почему я это делал».)

«Перестаньте, стыдитесь, – заговорил опять голос Петрова. – Какое право имеете вы обвинять его? Разве вы жили его жизнью? Испытывали его восторги? (“Правда, правда!” – шептал Альберт.) Искусство есть высочайшее проявление могущества
30 в человеке. Оно дается редким избранным и поднимает избранника на такую высоту, на которой голова кружится и трудно удержаться здравым. В искусстве, как во всякой борьбе, есть герои, отдавшиеся все своему служению и гибнувшие, не достигнув цели».

Петров замолчал, а Альберт поднял голову и громко закричал: «Правда! правда!» Но голос его замер без звука.

«Не до вас это дело, – строго обратился к нему художник Петров. – Да, унижайте, презирайте его, – продолжал он, – а из всех нас он лучший и счастливейший!»

40 Альберт, с блаженством в душе слушавший эти слова, не выдержал, подошел к другу и хотел поцеловать его.

«Убирайся, я тебя не знаю, – отвечал Петров, – проходи своей дорогой, а то не дойдешь...»

– Вишь, тебя разобрало! не дойдешь, – прокричал будочник на перекрестке.

Альберт приостановился, собрал все силы и, стараясь не шататься, повернул в переулок.

До Анны Ивановны оставалось несколько шагов. Из сеней ее дома падал свет на снег двора, и у калитки стояли сани и кареты.

Хватаясь охолодевшими руками за перила, он взбежал на лестницу и позвонил.

Заспанное лицо служанки высунулось в отверстие двери и сердито взглянуло на Альберта. «Нельзя! – прокричала она, – не велено пускать», – и захлопнула отверстие. На лестницу доходили звуки музыки и женских голосов. Альберт сел на пол, прислонился головой к стене и закрыл глаза. В то же мгновение толпы несвязных, но родственных видений с новой силой обступили его, приняли в свои волны и понесли куда-то туда, в свободную и прекрасную область мечтания. «Да, он лучший и счастливейший!» – невольно повторялось в его воображении. Из двери слышались звуки польки. Эти звуки говорили тоже, что он лучший и счастливейший! В ближайшей церкви слышался благовест, и благовест этот говорил: «Да, он лучший и счастливейший». «Но пойду опять в залу, – подумал Альберт. – Петров еще много должен сказать мне». В зале уже никого не было, и вместо художника Петрова на возвышеньи стоял сам Альберт и сам играл на скрипке все то, что прежде говорил голос. Но скрипка была странного устройства: она вся была сделана из стекла. И ее надо было обнимать обеими руками и медленно прижимать к груди, для того чтобы она издавала звуки. Звуки были такие нежные и прелестные, каких никогда не слышал Альберт. Чем крепче прижимал он к груди скрипку, тем отраднее и слаще ему становилось. Чем громче становились звуки, тем шибче разбегались тени и больше освещались стены залы прозрачным светом. Но надо было очень осторожно играть на скрипке, чтобы не раздавить ее. Альберт играл на стеклянном инструменте очень осторожно и хорошо. Он играл такие вещи, которых, он чувствовал, что никто никогда больше не услышит. Он начинал уже уставать, когда другой дальний глухой звук развлек его. Это был звук колокола, но звук этот произносил слово: «Да, – говорил колокол, далеко и высоко гудя где-то. – Он вам жалок кажется, вы его презираете, а он лучший и счастливейший! Никто никогда больше не будет играть на этом инструменте».

Эти знакомые слова показались внезапно так умны, так новы и справедливы Альберту, что он перестал играть и, стараясь не двигаться, поднял руки и глаза к небу. Он чувствовал себя прекрасным и счастливым. Несмотря на то, что в зале никого не было, Альберт

выпрямил грудь и, гордо подняв голову, стоял на возвышенье так, чтобы все могли его видеть. Вдруг чья-то рука слегка дотронулась до его плеча; он обернулся и в полусвете увидел женщину. Она печально смотрела на него и отрицательно покачала головой. Он тотчас же понял, что то, что он делал, было дурно, и ему стало стыдно за себя. «Куда же?» – спросил он ее. Она еще раз долго, пристально посмотрела на него и печально наклонила голову. Она была та, совершенно та, которую он любил, и одежда ее была та же, на полной белой шее была нитка жемчугу, и прелестные руки были обнажены
10 выше локтя. Она взяла его за руку и повела вон из залы. «Выход с той стороны», – сказал Альберт; но она, не отвечая, улыбнулась и вывела его из залы. На пороге залы Альберт увидел луну и воду. Но вода не была внизу, как обыкновенно бывает, а луна не была наверху: белый круг в одном месте, как обыкновенно бывает. Луна и вода были вместе и везде – и наверху, и внизу, и сбоку, и вокруг их обо-
их. Альберт вместе с нею бросился в луну и воду и понял, что теперь можно ему обнять ту, которую он любил больше всего на свете; он обнял ее и почувствовал невыносимое счастье. «Уж не во сне ли это?» – спросил он себя; но нет! это была действительность, это было
20 больше, чем действительность: это было действительность и воспоминание. Он чувствовал, что то невыразимое счастье, которым он наслаждался в настоящую минуту, прошло и никогда не воротится. «О чем же я плачу?» – спросил он у нее. Она молча, печально посмотрела на него. Альберт понял, что она хотела сказать этим. «Да как же, когда я жив», – проговорил он. Она, не отвечая, неподвижно смотрела вперед. «Это ужасно! Как растолковать ей, что я жив», – с ужасом подумал он. «Боже мой! да я жив, поймите меня», – шептал он. «Он лучший и счастливейший», – говорил голос. Но что-
30 то все сильнее и сильнее давило Альберта. Было ли то луна и вода, ее объятия или слезы – он не знал, но чувствовал, что не выскажет всего, что надо, и что скоро все кончится.

Двое гостей, выходявшие от Анны Ивановны, наткнулись на растянувшегося на пороге Альберта. Один из них вернулся и вызвал хозяйку.

– Ведь это безбожно, – сказал он, – вы могли этак заморозить человека.

– Ах, уж этот мне Альберт, – вот где сидит, – отвечала хозяйка. – Аннушка! положите его где-нибудь в комнате, – обратилась она к служанке.

40 – Да я жив, зачем же хоронить меня? – бормотал Альберт, в то время как его, бесчувственного, вносили в комнаты.

28 февраля 1858

ТРИ СМЕРТИ

Рассказ

I

Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два экипажа. В передней карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная. Другая – горничная, глянцевито-румяная и полная. Короткие сухие волосы выбивались из-под полинявшей шляпки, красная рука в прорванной перчатке порывисто поправляла их. Высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем, быстрые черные глаза то следили через окно за убегающими полями, то робко взглядывали на госпожу, то беспокойно окидывали углы кареты. Перед носом горничной качалась привешенная к сетке барынина шляпка, на коленях ее лежал щенок, ноги ее поднимались от шкатулок, стоявших на полу, и чуть слышно подбарабанивали по ним под звук тряски рессор и побрякивания стекол. 10

Сложив руки на коленях и закрыв глаза, госпожа слабо покачивалась на подушках, заложенных ей за спину, и, слегка наморщившись, внутренне покашливала. На голове ее был белый ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной, бледной шее. Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, 20
чрезвычайно плоские напомаженные волосы, и было что-то сухое, мертвенное в белизне кожи этого просторного ряда. Вялая, несколько желтоватая кожа неплотно обтягивала тонкие и красивые очертания лица и краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и беспокойны, редкие ресницы не курчавились, и дорожный суконный капот делал прямые складки на впалой груди. Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздражение и привычное страдание.

Лакей, облокотившись на свое кресло, дремал на козлах, почтовый ямщик, покрикивая бойко, гнал крупную потную четвер- 30

ку, изредка оглядываясь на другого ямщика, покрикивавшего сзади в коляске. Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги. Небо было серо и холодно, сырая мгла сыпалась на поля и дорогу. В карете было душно и пахло одеколоном и пылью. Больная потянула назад голову и медленно открыла глаза. Большие глаза были блестящи и прекрасного темного цвета.

– Опять, – сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец салоп горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся. Матреша подобрала обеими руками салоп, приподнялась на сильных ногах и села дальше. Свежее лицо ее покрылось ярким румянцем. Прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной. Госпожа уперлась обеими руками о сиденье и также хотела приподняться, чтоб подсесть выше; но силы отказали ей. Рот ее изогнулся, и все лицо ее исказилось выражением бессильной, злой иронии. – Хоть бы ты помогла мне!.. Ах! не нужно! Я сама могу, только не клади за меня свои какие-то мешки, сделай милость!.. Да уж не трогай лучше, коли ты не умеешь! – Госпожа закрыла глаза и, снова быстро подняв веки, взглянула на горничную. Матреша, глядя на нее, кусала нижнюю красную губу. Тяжелый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель. Она отвернулась, сморщилась и обеими руками схватилась за грудь. Когда кашель прошел, она снова закрыла глаза и продолжала сидеть неподвижно. Карета и коляска въехали в деревню. Матреша высунула толстую руку из-под платка и перекрестилась.

– Что это? – спросила госпожа.

30 – Станция, сударыня.

– Что ж ты крестишься, я спрашиваю?

– Церковь, сударыня.

Больная повернулась к окну и стала медленно креститься, глядя во все большие глаза на большую деревенскую церковь, которую объезжала карета больной.

Карета и коляска вместе остановились у станции. Из коляски вышли муж больной женщины и доктор и подошли к карете.

– Как вы себя чувствуете? – спросил доктор, щупая пульс.

40 – Ну, как ты, мой друг, не устала? – спросил муж по-французски, – не хочешь ли выйти?

Матреша, подбрав узелки, жалась в угол, чтобы не мешать разговаривать.

– Ничего, то же самое, – отвечала больная. – Я не выйду.

Муж, постояв немного, вошел в станционный дом. Матреша, выскочив из кареты, на цыпочках побежала по грязи в ворота.

– Коли мне плохо, это не резон, чтобы вам не завтракать, – слегка улыбаясь, сказала больная доктору, который стоял у окна.

– Никому им до меня дела нет, – прибавила она про себя, как только доктор, тихим шагом отойдя от нее, рысью взбежал на ступени станции. – Им хорошо, так и все равно. О! Боже мой!

– Ну что, Эдуард Иванович, – сказал муж, встречая доктора и с веселой улыбкой потирая руки, – я велел погребец принести, вы как думаете насчет этого? 10

– Можно, – отвечал доктор.

– Ну, что она? – со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови.

– Я говорил: она не может доехать не только до Италии, – до Москвы дай Бог. Особенно по этой погоде.

– Так что ж делать? Ах, Боже мой! Боже мой! – Муж закрыл глаза рукою. Подай сюда, – прибавил он человеку, вносившему погребец.

– Остаться надо было, – пожав плечами, отвечал доктор.

– Да скажите, что же я мог сделать? – возразил муж, – ведь я 20 употребил все, чтобы удержать ее, я говорил и о средствах, и о детях, которых мы должны оставить, и о моих делах, – она ничего слышать не хочет. Она делает планы о жизни за границей, как бы здоровая. А сказать ей о ее положении – ведь это значило бы убить ее.

– Да она уже убита, вам надо знать это, Василий Дмитрич. Человек не может жить, когда у него нет легких, и легкие опять вырасти не могут. Грустно, тяжело, но что ж делать? Наше и ваше дело только в том, чтобы конец ее был сколь возможно спокоен. Тут духовник нужен. 30

– Ах, Боже мой! да вы поймите мое положение, напоминая ей о последней воле. Пусть будет, что будет, а я не скажу ей этого. Ведь вы знаете, как она добра...

– Все-таки попробуйте уговорить ее остаться до зимнего пути, – сказал доктор, значительно покачивая головой, – а то дорогой может быть худо...

– Аксюша, а Аксюша! – визжала смотрительская дочь, накинув на голову кацавейку и топчась на грязном заднем крыльце, – пойдем ширкинскую барыню посмотрим, говорят, от грудной болезни за границу везут. Я никогда еще не видала, какие 40 в чахотке бывают.

Аксюша выскочила на порог, и обе, схватившись за руки, побежали за ворота. Уменьшив шаг, они прошли мимо кареты

и заглянули в опущенное окно. Больная повернула к ним голову, но, заметив их любопытство, нахмурилась и отвернулась.

– Мм-а-гушки! – сказала смотрительская дочь, быстро оборачивая голову. – Какая была красавица чудная, нынче что стало? Страшно даже. Видела, видела, Аксюша?

– Да какая худая! – поддакивала Аксюша. – Пойдем еще посмотрим, будто к колодцу. Вишь, отвернулась, а я еще видела. Как жалко, Маша.

10 – Да и грязь же какая! – отвечала Маша, и обе побежали назад в ворота.

«Видно, я страшна стала, – думала больная. – Только бы поскорей, поскорей за границу, там я скоро поправлюсь».

– Что, как ты, мой друг? – сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.

«Все один и тот же вопрос, – подумала больная, – а сам ест!»

– Ничего! – пропустила она сквозь зубы.

– Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду, и Эдуард Иванович то же говорит. Не вернуться ли нам? Она сердито молчала.

20 – Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало; мы бы и поехали все вместе.

– Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и была бы совсем здорова.

– Что ж делать, мой ангел, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на месяц, ты бы славно поправилась; я бы кончил дела, и детей бы мы взяли...

– Дети здоровы, а я нет.

– Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже дорогой... тогда, по крайней мере, дома.

30 – Что ж, что дома?... Умереть дома? – вспльчиво отвечала больная. Но слово *умереть*, видимо, испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся, и слезы полились из ее глаз. Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.

– Нет, я поеду, – сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала шептать несвязные слова. – Боже мой! за что же? – говорила она, и слезы лились сильнее. Она долго и горячо молилась, но в груди так же было больно и тесно, в небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно, и та же осенняя мгла, 40 ни чаще, ни реже, а все так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету...

Карета была заложена, но ямщик мешкал. Он зашел в ямскую избу. В избе было жарко, душно, темно и тяжело, пахло жильем, печеным хлебом, капустой и овчиной. Несколько человек ямщиков было в горнице, кухарка возилась у печи, на печи в овчинах лежал больной.

– Дядя Хведор! а дядя Хведор, – сказал молодой парень, ямщик в тулупе и с кнутом за поясом, входя в комнату и оборачиваясь к больному.

– Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь? – отозвался один из ямщиков, – вишь, тебя в карету ждут. 10

– Хочу сапог попросить; свои избил, – отвечал парень, вскидывая волосами и оправляя рукавицы за поясом. – Аль спит? А дядя Хведор? – повторил он, подходя к печи.

– Чаво? – послышался слабый голос, и рыжее худое лицо нагнулось с печи. Широкая, исхудалая и побледневшая рука, покрытая волосами, натягивала армяк на острое плечо в грязной рубахе. – Дай испить, брат, ты чаво?

Парень подал ковшик с водой.

– Да что, Федя, – сказал он, переминаясь, – тебе, чай, сапог новых не надо теперь; отдай мне, ходить, чай, не будешь. 20

Больной, припав усталой головой к глянецвитому ковшу и макая редкие отвисшие усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые, тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не мог и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша носом, он смотрел прямо в глаза парню, собираясь с силами.

– Може, ты кому пообещал уже, – сказал парень, – так даром. Главное дело, мокреть на дворе, а мне с работой ехать, я и подумал себе: дай у Федьки сапог попрошу, ему, чай, не надо. Може, тебе самому надобны, ты скажи... 30

В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.

– Уж где надобны, – неожиданно сердито на всю избу затрещала кухарка, – второй месяц с печи не слезает. Вишь, надрывается, даже у самой внутренность болит, как слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж давно пора, прости Господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевести его, что ль, в избу в другую, или куда! Такие больницы, слышь, в городу есть; а то разве дело – занял весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже, чистоту спрашивают. 40

– Эй, Серега! иди садись, господа ждут, – крикнул в дверь почтовый староста.

Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной глазами, во время кашля, давал ему знать, что хочет ответить.

– Ты сапоги возьми, Серега, – сказал он, подавив кашель и отдохнув немного. – Только, слышь, камень купи, как помру, – хрипя, прибавил он.

– Спасибо, дядя, так я возьму, а камень, ей-ей, куплю.

– Вот ребята слышали, – мог выговорить еще больной и снова
10 перегнулся вниз и стал давиться.

– Ладно, слышали, – сказал один из ямщиков. – Иди, Серега, садись, а то вон опять староста бежит. Барыня, вишь, ширкинская больная.

Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно большие сапоги и швырнул под лавку. Новые сапоги дяди Федора пришлось как раз по ногам, и Серега, поглядывая на них, вышел к карете.

– Эх сапоги важные! дай помажу, – сказал ямщик с помазкою в руке, в то время как Серега, влезая на козлы, подбирал вожжи. – Даром отдал?

20 – Аль завидно, – отвечал Серега, приподнимаясь и повертывая около ног полы армяка. – Пущай! Эх вы, любезные! – крикнул он на лошадей, взмахнув кнутиком; и карета и коляска с своими седоками, чемоданами и важами, скрываясь в сером осеннем тумане, шибко покатались по мокрой дороге.

Больной ямщик остался в душной избе на печи и, не выкашлявшись, через силу перевернулся на другой бок и затих.

В избе до вечера приходили, уходили, обедали, – больного было не слышно. Перед ночью кухарка влезла на печь и через его ноги достала тулуп.

30 – Ты на меня не серчай, Настасья, – проговорил больной, – скоро опростаю угол-то твой.

– Ладно, ладно, что ж, ничаво, – пробормотала Настасья. – Да что у тебя болит-то, дядя? Ты скажи.

– Нутро все изныло. Бог его знает что.

– Небось и глотка болит, как кашляешь?

– Везде больно. Смерть моя пришла – вот что. Ох, ох, ох! – простонал больной.

– Ты ноги-то укрой вот так, – сказала Настасья, по дороге натягивая на него армяк и слезая с печи.

40 Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек десять ямщиков с громким храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно.

– Чудно́ что-то я нынче во сне видела, – говорила кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро. – Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю: куда уж тебе дрова рубить, а он как схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и нашел. Как я закрычу, и проснулась. Уж не помер ли? Дядя Хведор! а дядя!

Федор не откликнулся.

10 – И то, не помер ли? Пойти посмотреть, – сказал один из проснувшихся ямщиков.

Свисшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и бледна.

– Пойти смотрительно сказать, кажись, помер, – сказал ямщик.

Родных у Федора не было – он был дальний. На другой день его похоронили на новом кладбище, за рощей, и Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, который она видела, и про то, что она первая хватилась дяди Федора.

III

20 Пришла весна. По мокрым улицам города, между навозными льдинками, журчали торопливые ручьи; цвета одежд и звуки говора движущегося народа были ярки. В садиках за заборами пухнули почки дерев, и ветви их чуть слышно покачивались от свежего ветра. Везде лились и капали прозрачные капли... Воробьи нескладно подпискивали и подпархивали на своих маленьких крыльях. На солнечной стороне, на заборах, домах и деревьях, все двигалось и блестело. Радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в сердце человека.

30 На одной из главных улиц, перед большим барским домом, была постелена свежая солома; в доме была та самая умирающая больная, которая спешила за границу.

У затворенных дверей комнаты стоял муж больной и пожилая женщина. На диване сидел священник, опустив глаза и держа что-то завернутым в епитрахили. В углу, в вольтеровском кресле, лежала старушка – мать больной – и горько плакала. Подле нее горничная держала на руке чистый носовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила его; другая чем-то терла виски старушки и дула ей под чепчик в седую голову.

40 – Ну, Христос с вами, мой друг, – говорил муж пожилой женщине, стоявшей с ним у двери, – она такое имеет доверие к вам, вы так умеете говорить с ней, уговорите ее хорошенько, голу-

бушка, идите же. – Он хотел уже отворить ей дверь; но кухня удержала его, приложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой.

– Вот теперь, кажется, я не заплакана, – сказала она и, сама отворив дверь, прошла в нее.

Муж был в сильном волнении и казался совершенно растерян. Он направился было к старушке; но, не дойдя несколько шагов, повернулся, прошел по комнате и подошел к священнику. Священник посмотрел на него, поднял брови к небу и вздохнул. Густая с проседью борода тоже поднялась кверху и опустилась. 10

– Боже мой! Боже мой! – сказал муж.

– Что делать? – вздыхая, сказал священник, и снова брови и борода его поднялись кверху и опустились.

– И матушка тут! – почти с отчаяньем сказал муж. – Она не вынесет этого. Ведь так любить, так любить ее, как она... я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успокоить ее и уговорить уйти отсюда.

Священник встал и подошел к старушке.

– Точно-с, материнское сердце никто оценить не может, – сказал он, – однако Бог милосерд. 20

Лицо старушки вдруг стало все подергиваться, и с ней сделалась истерическая икота.

– Бог милосерд, – продолжал священник, когда она успокоилась немного. – Я вам доложу, в моем приходе был один больной, много хуже Марьи Дмитриевны, и что же, простой мещанин травами вылечил в короткое время. И даже мещанин этот самый теперь в Москве. Я говорил Василью Дмитриевичу – можно бы испытать. По крайности утешенье для больной бы было. Для Бога все возможно.

– Нет, уже ей не жить, – проговорила старушка, – чем бы 30 меня, а ее Бог берет. – И истерическая икота усилилась так, что чувства оставили ее.

Муж больной закрыл лицо руками и выбежал из комнаты.

В коридоре первое лицо, встретившее его, был шестилетний мальчик, во весь дух догонявший младшую девочку.

– Что ж детей-то, не прикажете к мамаше сводить? – спросила няня.

– Нет, она не хочет их видеть. Это расстроит ее.

Мальчик остановился на минуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг подпрыгнул ногой и с веселым криком побежал дальше. 40

– Это она будто бы ворона, папаша! – прокричал мальчик, указывая на сестру.

Между тем в другой комнате кузина сидела подле больной и искусно веденным разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окна мешал питье.

Больная, в белом капоте, вся обложенная подушками, сидела на постели и молча смотрела на кузину.

– Ах, мой друг, – сказала она, неожиданно перебивая ее, – не приговаривайте меня. Не считайте меня за дитя. Я христианка. Я все знаю. Я знаю, что мне жить недолго, я знаю, что ежели бы муж мой раньше послушал меня, я бы была в Италии и, может быть, даже наверно, была бы здорова. Это все ему говорили. Но что ж делать, видно, Богу было так угодно. На всех нас много грехов, я знаю это; но надеюсь на милость Бога, всем простится, должно быть, всем простится. Я стараюсь понять себя. И на мне было много грехов, мой друг. Но зато сколько я выстрадала. Я старалась сносить с терпеньем свои страдания...

– Так позвать батюшку, мой друг? вам будет еще легче, причастившись, – сказала кузина.

Больная нагнула голову в знак согласия.

– Боже! прости меня, грешную, – прошептала она.

Кузина вышла и мигнула батюшке.

– Это ангел! – сказала она мужу с слезами на глазах.

Муж заплакал, священник прошел в дверь, старушка все еще была без памяти, и в первой комнате стало совершенно тихо. Чрез пять минут священник вышел из двери и, сняв епитрахиль, оправил волосы.

– Слава Богу, оне спокойнее теперь, – сказал он, – желают вас видеть.

Кузина и муж вошли. Больная тихо плакала, глядя на образ.

– Поздравляю тебя, мой друг, – сказал муж.

– Благодарствуй! Как мне теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю, – говорила больная, и легкая улыбка играла на ее тонких губах. – Как Бог милостив! Не правда ли, Он милостив и всемогущ? – И она снова с жадной мольбой смотрела полными слез глазами на образ.

Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала к себе мужа.

– Ты никогда не хочешь сделать, что я прошу, – сказала она слабым и недовольным голосом.

Муж, вытянув шею, покорно слушал ее.

– Что, мой друг?

– Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не знают, есть простые лекарки, они вылечивают... Вот батюшка говорит... мещанин... Пошли.

– За кем, мой друг?

– Боже мой! ничего не хочет понимать... – И больная сморщилась и закрыла глаза.

Доктор, подойдя к ней, взял ее за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

– Не плачь, не мучь себя и меня, – говорила больная, – это отнимает у меня последнее спокойствие.

– Ты ангел! – сказала кузина, целуя ее руку.

– Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!

В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома. В большой комнате с затворенными дверями сидел один дьячок и в нос, мерным голосом, читал песни Давида. Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрова, страшно поднимающегося на коленях и пальцах ног. Дьячок, не понимая своих слов, мерно читал, и в тихой комнате странно звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота. 20

«Сокроешь лицо Твое – смущаются, – гласил псалтырь, – возьмешь от них дух – умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух Твой – созидаются и обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки».

Лицо усопшей было строго, спокойно и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?

IV

Через месяц над могилой усопшей воздвиглась каменная часовня. Над могилой ямщика все еще не было камня, и только светло-зеленая трава пробивала над бугорком, служившим единственным признаком прошедшего существования человека. 30

– А грех тебе будет, Серега, – говорила раз кухарка на станции, – коли ты Хведору камня не купишь. То говорил: зима, зима, а нынче что ж слова не удержишь? Ведь при мне было. Он уж приходил к тебе раз просить, не купишь, еще раз придет, душить станет.

– Да что, я разве отрекаюсь, – отвечал Серега, – я камень куплю, как сказал, куплю, в полтора целковых куплю. Я не забыл, да ведь привезть надо. Как случай в город будет, так и куплю. 40

– Ты бы хоть крест поставил, вот что, – отозвался старый ямщик, – а то впрямь дурно. Сапоги-то носишь.

– Где его возьмешь, крест-то? из полена не вытешешь?

– Что говоришь-то? Из полена не вытешешь, возьми топор да в рощу пораньше сходи, вот и вытешешь. Ясенку ли, что ли, срубишь. Вот и голубец будет. А то, поди, еще объездчика пой водкой. За всякой дрянью поить не наготовишься. Вон я намедни вагу сломал, новую вырубил важную, никто слова не сказал.

10 Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рощу.

На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем росы. Восток незаметно ясел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из мокуш 20 необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.

Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось мокушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свиснула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими 30 крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями.

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое, сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над 40 мертвым, поникшим деревом.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Мы носили траур по матери, которая умерла осенью, и жили всю зиму в деревне, одни с Катей и Соней.

Катя была старый друг дома, гувернантка, вынянчившая всех нас, и которую я помнила и любила с тех пор, как себя помнила. Соня была моя меньшая сестра. Мы проводили мрачную и грустную зиму в нашем старом покровском доме. Погода была холодная, ветреная, так что сугробы намело выше окон; окна почти всегда были замерзлы и тусклы, и почти целую зиму мы никуда не ходили и не ездили. Редко кто приезжал к нам; да кто и приезжал, не прибавлял веселья и радости в нашем доме. У всех были печальные лица, все говорили тихо, как будто боясь разбудить кого-то, не смеялись, вздыхали и часто плакали, глядя на меня и в особенности на маленькую Соню в черном платье. В доме еще как будто чувствовалась смерть; печаль и ужас смерти стояли в воздухе. Комната мамы была заперта, и мне становилось жутко, и что-то тянуло меня заглянуть в эту холодную и пустую комнату, когда я проходила спать мимо нее.

Мне было тогда семнадцать лет, и в самый год своей смерти мама хотела переехать в город, чтобы вывезить меня. Потеря матери была для меня сильным горем, но должна признаться, что из-за этого горя чувствовалось и то, что я молода, хороша, как все мне говорили, а вот вторую зиму даром, в уединении, убиваю в деревне. Перед концом зимы это чувство тоски одиночества и просто скуки увеличилось до такой степени, что я не выходила из комнаты, не открывала фортепьяно и не брала книги в руки. Когда Катя уговаривала меня заняться тем или другим, я отвечала: не хочется, не могу, а в душе мне говорилось: зачем? Зачем что-

нибудь делать, когда так даром пропадает мое лучшее время? Зачем? А на *зачем* не было другого ответа, как слезы.

Мне говорили, что я похудела и подурнела в это время, но это даже не занимало меня. Зачем? для кого? Мне казалось, что вся моя жизнь так и должна пройти в этой одинокой глуши и беспомощной тоске, из которой я сама, одна, не имела силы и даже желанья выйти. Катя под конец зимы стала бояться за меня и решилась во что бы то ни стало везти меня за границу. Но для этого нужны были деньги, а мы почти не знали, что у нас осталось после матери, и с каждым днем ждали опекуна, который должен был приехать и разобрать наши дела.

В марте приехал опекун.

– Ну слава Богу! – сказала мне раз Катя, когда я как тень, без дела, без мысли, без желаний, ходила из угла в угол, – Сергей Михайлыч приехал, присылал спросить о нас и хотел быть к обеду. Ты встряхнись, моя Машечка, – прибавила она, – а то что он о тебе подумает? Он так вас любил всех.

Сергей Михайлыч был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Кроме того, что его приезд изменял наши планы и давал возможность уехать из деревни, я с детства привыкла любить и уважать его, и Катя, советуя мне встряхнуться, угадала, что изо всех знакомых мне бы больше всего было перед Сергеем Михайлычем показаться в невыгодном свете. Кроме того, что я, как и все в доме, начиная от Кати и Сони, его крестницы, до последнего кучера, любила его по привычке, он для меня имел особое значение по одному слову, сказанному при мне мамашей. Она сказала, что такого мужа желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно; герой мой был совсем другой. Герой мой был тонкий, сухощавый, бледный и печальный. Сергей же Михайлыч был человек уже немолодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый; но, несмотря на то, эти слова мамыши запали мне в воображение, и еще шесть лет тому назад, когда мне было одиннадцать лет и он говорил мне *ты*, играл со мной и прозвал меня *девочка-фиалка*, я не без страха иногда спрашивала себя, что я буду делать, ежели он вдруг захочет жениться на мне?

Перед обедом, к которому Катя прибавила пирожное крем и соус из шпината, Сергей Михайлыч приехал. Я видела в окно, как он подъезжал к дому в маленьких санках, но, как только он заехал за угол, я поспешила в гостиную и хотела притвориться, что совсем не ожидала его. Но, заслышав в передней стук ног, его громкий голос и шаги Кати, я не утерпела и сама пошла ему навстречу. Он, держа Катю за руку, громко говорил и улыбался.

Увидев меня, он остановился и несколько времени смотрел на меня, не кланаясь. Мне стало неловко, и я почувствовала, что покраснела.

– Ах! неужели это вы? – сказал он с своею решительною и простою манерой, разводя руками и подходя ко мне. – Можно ли так перемениться! как вы выросли! Вот те и фиалка! Вы целый розан стали.

Он взял своею большою рукой меня за руку и пожал так крепко, честно, только что не больно. Я думала, что он поцелует мою 10 руку, и нагнулась было к нему, но он еще раз пожал мне руку и прямо в глаза посмотрел своим твердым и веселым взглядом.

Я шесть лет не видала его. Он много переменился; постарел, почернел и оброс бакенбардами, что очень не шло к нему; но те же были простые приемы, открытое, честное, с крупными чертами лицо, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская, улыбка.

Через пять минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас, даже для людей, которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду.

Он вел себя совсем не так, как соседи, приезжавшие после кончины матушки и считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас; он, напротив, был разговорчив, весел и ни слова не говорил о матушке, так что сначала это равнодушие мне показалось 30 странно и даже неприлично со стороны такого близкого человека. Но потом я поняла, что это было не равнодушие, а искренность, и была благодарна за нее.

Вечером Катя села разливать чай на старое место в гостиной, как это бывало при мамаше; мы с Соней сели около нее; старый Григорий принес ему еще бывшую папашину отыскав- 30 шуюся трубку, и он, как и в старину, стал ходить взад и вперед по комнате.

– Сколько страшных перемен в этом доме! Как подумаешь! – сказал он, останавливаясь.

– Да, – сказала Катя со вздохом и, прикрыв самовар крышечкой, посмотрела на него, уж готовая расплакаться.

– Вы, я думаю, помните вашего отца? – обратился он ко мне.

– Мало, – отвечала я.

– А как бы вам теперь хорошо было бы с ним! – проговорил он, тихо и задумчиво глядя на мою голову выше моих глаз. – 40 Я очень любил вашего отца! – прибавил он еще тише, и мне показалось, что глаза его стали блестящие.

– А тут ее Бог взял! – проговорила Катя и тотчас же положила салфетку на чайник, достала платок и заплакала.

– Да, страшные перемены в этом доме, – повторил он, отвернувшись. – Соня, покажи игрушки, – прибавил он через несколько времени и вышел в залу. Полными слез глазами я посмотрела на Катю, когда он вышел.

– Это такой славный друг! – сказала она.

И действительно, как-то тепло и хорошо стало мне от сочувствия этого чужого и хорошего человека.

Из гостиной слышался писк Сони и его возня с нею. Я выслала ему чай; и слышно было, как он сел за фортепьяно и Сониными ручонками стал бить по клавишам.

10

– Марья Александровна! – слышался его голос. – Подите сюда, сыграйте что-нибудь.

Мне приятно было, что он так просто и дружески-повелительно обращается ко мне; я встала и подошла к нему.

– Вот это сыграйте, – сказал он, раскрывая тетрадь Бетховена на адажио сонаты *quasi una fantasia*. – Посмотрим, как-то вы играете, – прибавил он и отошел с стаканом в угол залы.

Почему-то я почувствовала, что с ним мне невозможно отказываться и делать предисловия, что я дурно играю; я покорно села за клавикорды и начала играть, как умела, хотя и боялась суда, зная, что он понимает и любит музыку. Адажио было в тоне того чувства воспоминания, которое было вызвано разговором за чаем, и я сыграла, кажется, порядочно. Но *скерцо* он мне не дал играть. «Нет, это вы нехорошо играете, – сказал он, подходя ко мне, – это оставьте, а первое недурно. Вы, кажется, понимаете музыку». Эта умеренная похвала так обрадовала меня, что я даже покраснела. Мне так ново и приятно было, что он, друг и равный моего отца, говорил со мной один на один серьезно, а уже не как с ребенком, как прежде. Катя пошла наверх укладывать Соню, и мы вдвоем остались в зале.

20

30

Он рассказывал мне про моего отца, про то, как он сошелся с ним, как они весело жили когда-то, когда еще я сидела за книгами и игрушками; и отец мой в его рассказах в первый раз представлялся мне простым и милым человеком, каким я не знала его до сих пор. Он спрашивал меня тоже про то, что я люблю, что читаю, что намерена делать, и давал советы. Он был теперь для меня не шутник и весельчак, дразнивший меня и делавший игрушки, а человек серьезный, простой и любящий, к которому я чувствовала невольное уважение и симпатию. Мне было легко, приятно, и вместе с тем я чувствовала невольную напряженность, говоря с ним. Я боялась за каждое свое слово; мне так хотелось самой заслужить его любовь, которая уж была приобретена мною только за то, что я была дочь моего отца.

40

Уложив Соню, Катя присоединилась к нам и нажаловалась ему на мою апатию, про которую я ничего не сказала.

– самого-то главного она и не рассказала мне, – сказал он, улыбаясь и укоризненно качая на меня головой.

– Что ж рассказывать! – сказала я, – это очень скучно, да и пройдет. (Мне действительно казалось теперь, что не только пройдет моя тоска, но что она уже прошла и что ее никогда не было.)

10 он, – Это нехорошо не уметь переносить одиночества, – сказал он, – неужели вы барышня?

– Разумеется, барышня, – отвечала я, смеясь.

– Нет, дурная барышня, которая только жива, пока на нее любят, а как только одна осталась, так и опустилась, и ничто ей не мило; все только для показу, а для себя ничего.

– Хорошего вы мнения обо мне, – сказала я, чтоб сказать что-нибудь.

– Нет! – проговорил он, помолчав немного, – недаром вы похожи на вашего отца, в вас *есть*, – и его добрый, внимательный взгляд снова польстил мне и радостно смутил меня.

20 Только теперь я заметила из-за его на первое впечатление веселого лица этот ему одному принадлежащий взгляд, сначала ясный, а потом все более и более внимательный и несколько грустный.

– Вам не должно и нельзя скучать, – сказал он, – у вас есть музыка, которую вы понимаете, книги, ученье, у вас целая жизнь впереди, к которой теперь только и можно готовиться, чтоб потом не жалеть. Через год уж поздно будет.

Он говорил со мной, как отец или дядя, и я чувствовала, что он беспрестанно удерживается, чтобы быть наравне со мною.

30 Мне было и обидно, что он считает меня ниже себя, и приятно, что для одной меня он считает нужным стараться быть другим.

Остальной вечер он о делах говорил с Катей.

– Ну, прощайте, любезные друзья, – сказал он, вставая и подходя ко мне и взяв меня за руку.

– Когда же увидимся опять? – спросила Катя.

– Весной, – отвечал он, продолжая держать меня за руку, – теперь поеду в Даниловку (наша другая деревня); узнаю там, устрою, что могу, заеду в Москву, уж по своим делам, а лето будем видеться.

40 – Ну что ж это вы так надолго? – сказала я ужасно грустно; и действительно, я надеялась уже видеть его каждый день, и мне так вдруг жалко стало и страшно, что опять вернется моя тоска. Должно быть, это выразилось в моем взгляде и тоне.

– Да; побольше занимайтесь, не хандрите, – сказал он, как мне показалось, слишком холодно-простым тоном. – А весной я вас проэкзаменую, – прибавил он, выпуская мою руку и не глядя на меня.

В передней, где мы стояли, провожая его, он заторопился, надевая шубу, и опять обошел меня взглядом. «Напрасно он старается! – подумала я. – Неужели он думает, что мне уж так приятно, чтоб он смотрел на меня? Он хороший человек, очень хороший... но и только».

Однако в этот вечер мы с Катей долго не засыпали и все говорили, не о нем, а о том, как проведем нынешнее лето, где и как будем жить зиму. Страшный вопрос: зачем? – уже не представлялся мне. Мне казалось очень просто и ясно, что жить надо для того, чтобы быть счастливою, и в будущем представлялось много счастья. Как будто вдруг наш старый, мрачный покровский дом наполнился жизнью и светом. 10

II

Между тем пришла весна. Прежняя тоска моя прошла и заменилась весеннею мечтательною тоскою непонятных надежд и желаний. Хотя я жила не так, как в начале зимы, а занималась 20 и Соней, и музыкой, и чтением, я часто уходила в сад и долго, долго бродила одна по аллеям или сидела на скамейке, Бог знает о чем думая, чего желая и надеясь. Иногда и целые ночи, особенно месячные, я просиживала до утра у окна своей комнаты, иногда в одной кофточке, потихоньку от Кати, выходила в сад и по росе бегала до пруда, и один раз вышла даже в поле и одна ночью обошла весь сад кругом.

Теперь мне трудно вспомнить и понять те мечты, которые тогда наполняли мое воображение. Даже когда я вспомню, мне не верится, чтобы точно это были мои мечты. Так они были стран- 30 ны и далеки от жизни.

В конце мая Сергей Михайлыч, как и обещал, вернулся из своей поездки.

В первый раз он приехал вечером, когда мы совсем не ожидали его. Мы сидели на террасе и собирались пить чай. Сад уже был весь в зелени, в заросших клумбах уже поселились соловьи на все Петровки. Кудрявые кусты сирени кое-где как будто посыпаны были сверху чем-то белым и лиловым. Это цветы готовились распускаться. Листва березовой аллеи была вся прозрачна на заходящем солнце. На террасе была свежая тень. Сильная вечерняя 40 роса должна была лечь на траву. На дворе за садом слышались

последние звуки дня, шум пригнанного стада; дурачок Никон ездил с бочкой перед террасой по дорожке, и холодная струя воды из лейки кругами чернила вскопанную землю около стволов георгин и подпорок. У нас на террасе, на белой скатерти, блестел и кипел светловычищенный самовар, стояли сливки, крендельки, печенья. Катя пухлыми руками домовито перемывала чашки. Я, не дожидаясь чая и проголодавшись после купанья, ела хлеб с густыми свежими сливками. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам. Катя первая, еще через окно, увидала его.

– А! Сергей Михайлыч! – проговорила она, – а мы только что про вас говорили.

Я встала и хотела уйти, чтобы переодеться, но он застал меня в то время, как я была уже в дверях.

– Ну что за церемонии в деревне, – сказал он, глядя на мою голову в платке и улыбаясь, – ведь вам не совестно Григория, а я, право, для вас Григорий. – Но именно теперь мне показалось, что он смотрит на меня совсем не так, как мог смотреть Григорий, и мне стало неловко.

– Я сейчас приду, – сказала я, уходя от него.

– Чем же это дурно! – прокричал он мне вслед, – точно молодайка крестьянская.

«Как он странно посмотрел на меня, – думала я, торопливо переодеваясь наверху. – Ну слава Богу, что он приехал, веселей будет!» И, посмотревшись в зеркало, весело сбегала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись вошла на террасу. Он сидел за столом и рассказывал Кате про наши дела. Взглянув на меня, он улыбнулся и продолжал говорить. Дела наши, по его словам, были в отличном положении. Теперь нам надо было только лето пробыть в деревне, а потом ехать или в Петербург для воспитания Сони, или за границу.

– Да вот ежели бы вы с нами за границу поехали, – сказала Катя, – а то мы одни как в лесу там будем.

– Ах! как бы я с вами вокруг света поехал, – сказал он полусуто, полусерьезно.

– Так что ж, – сказала я, – поедemте вокруг света.

Он улыбнулся и покачал головой.

– А матушка? А дела? – сказал он. – Ну да не в том дело, расскажите-ка, как вы провели это время? Неужели опять хандрили?

Когда я ему рассказала, что без него занималась и не скучала, и Катя подтвердила мои слова, он похвалил меня и словами и взглядом обласкал, как ребенка, как будто имел на то право. Мне казалось необходимо подробно и особенно искренно сообщать

ему все, что я делала хорошего, и признаваться, как на исповеди, во всем, чем он мог быть недоволен. Вечер был так хорош, что чай унесли, а мы остались на террасе, и разговор был так занимателен для меня, что я и не заметила, как понемногу затихли вокруг нас людские звуки. Отовсюду сильнее запахло цветами, обильная роса облила траву, соловей защелкал недалеко в кусте сирени и затих, услышав наши голоса; звездное небо как будто опустилось над нами.

Я заметила, что уже смерклось, только потому, что летучая мышь вдруг беззвучно влетела под парусину террасы и затрепыхалась около моего белого платка. Я прижалась к стене и хотела уже вскрикнуть, но мышь так же беззвучно и быстро вынырнула из-под навеса и скрылась в полутьме сада.

– Как я люблю ваше Покровское, – сказал он, прерывая разговор. – Так бы всю жизнь и сидел тут на террасе.

10 – Ну что ж, и сидите, – сказала Катя.

– Да, сидите, – проговорил он, – жизнь не сидит.

– Что вы не женитесь? – сказала Катя. – Вы бы отличный муж были.

– Оттого, что я люблю сидеть, – засмеялся он. – Нет, Катерина Карловна, нам с вами уж не жениться. На меня уж давно все перестали смотреть как на человека, которого женить можно. А я сам и подавно, и с тех пор мне так хорошо стало, право.

Мне показалось, что он как-то неестественно-увлекательно говорит это.

20 – Вот хорошо! тридцать шесть лет, уж и отжил, – сказала Катя.

– Да еще как отжил, – продолжал он, – только сидеть и хочется. А чтоб жениться, надо другое. Вот спросите-ка у нее, – прибавил он, головой указывая на меня. – Вот этих женить надо. А мы с вами будем на них радоваться.

В тоне его была затаенная грусть и напряженность, не укрывшаяся от меня. Он помолчал немного; ни я, ни Катя ничего не сказали.

– Ну представьте себе, – продолжал он, повернувшись на стуле, – ежели бы я вдруг женился, каким-нибудь несчастным случаем на семнадцатилетней девочке, хоть на Маш... на Марье Александровне. Это прекрасный пример, я очень рад, что это так выходит... и это самый лучший пример.

Я засмеялась и никак не понимала, чему он так рад и что такое так выходит...

– Ну скажите по правде, руку на сердце, – сказал он, шутливо обращаясь ко мне, – разве не было бы для вас несчастье соединить свою жизнь с человеком старым, отжившим, который только сидеть хочет, тогда как у вас там Бог знает что бродит, чего хочется.

Мне неловко стало, я молчала, не зная, что ответить.

– Ведь я не делаю вам предложения, – сказал он, смеясь, – но по правде скажите, ведь не о таком муже вы мечтаете, когда по вечерам одни гуляете по аллее; и ведь это было бы несчастье?

– Не несчастье... – начала я.

– Ну, а нехорошо, – закончил он.

– Да, но ведь я могу ошиба...

Но опять он перебил меня.

– Ну вот видите, и она совершенно права, и я благодарен ей за искренность и очень рад, что у нас был этот разговор. Да мало этого, для меня бы это было величайшее несчастье, – прибавил он.

– Какой вы чудак, ничего не переменились, – сказала Катя и вышла с террасы, чтобы велеть накрывать ужин. 10

Мы оба затихли после ухода Кати, и вокруг нас все было тихо. Только соловей уже не по-вечернему, отрывисто и нерешительно, а по-ночному, неторопливо, спокойно, заливался на весь сад, и другой снизу от оврага, в первый раз нынешний вечер, издали откликнулся ему. Ближайший замолк, как будто прислушался на минуту, и еще резче и напряженнее залился пересыпчатой звонкой трелью. И царственно-спокойно раздавались эти голоса в ихнем чуждом для нас ночном мире. Садовник прошел спать в оранжерею, шаги его в толстых сапогах, все удаляясь, прозвучали по дорожке. Кто-то пронзительно свистнул два раза под горой, и все 20
опять затихло. Чуть слышно заколебался лист, полыхнулось полотно террасы, и, колеблясь в воздухе, донеслось что-то пахучее на террасу и разлилось по ней. Мне неловко было молчать после того, что было сказано, но что сказать, я не знала. Я посмотрела на него. Блестящие глаза в полутьме оглянулись на меня.

– Отлично жить на свете! – проговорил он.

Я вздохнула отчего-то.

– Что?

– Отлично жить на свете! – повторила я. 30

И опять мы замолчали, и мне опять стало неловко. Мне все приходило в голову, что я огорчила его, согласившись с ним, что он стар, и хотела утешить его, но не знала, как сделать это.

– Однако прощайте, – сказал он, вставая, – матушка ждет меня к ужину. Я почти не видал ее нынче.

– А я хотела сыграть вам новую сонату, – сказала я.

– В другой раз, – сказал он холодно, как мне показалось.

– Прощайте.

Мне еще больше показалось теперь, что я огорчила его, и стало жалко. Мы с Катей проводили его до крыльца и постояли на 40
дворе, глядя по дороге, по которой он скрылся. Когда затих уже

топот его лошади, я пошла кругом на террасу и опять стала смотреть в сад, и в росистом тумане, в котором стояли ночные звуки, долго еще видела и слышала все то, что хотела видеть и слышать.

Он приехал в другой, в третий раз, и неловкость, происшедшая от странного разговора, бывшего между нами, совершенно исчезла и больше не возобновлялась. В продолжение всего лета он раза два-три в неделю приезжал к нам; и я привыкла к нему так, что, когда он долго не приезжал, мне казалось неловко жить одной, и я сердилась на него и находила, что он дурно поступает, оставляя меня. Он обращался со мной, как с молодым любимым товарищем, расспрашивал меня, вызывал на самую задушевную откровенность, давал советы, поощрял, иногда бранил и останавливал. Но, несмотря на все его старанье постоянно быть наравне со мною, я чувствовала, что за тем, что я понимала в нем, оставался еще целый чужой мир, в который он не считал нужным впускать меня, и это-то сильнее всего поддерживало во мне уважение и притягивало к нему. Я знала от Кати и от соседей, что, кроме забот о старой матери, с которою он жил, кроме своего хозяйства и нашего опекунства, у него были какие-то дворянские дела, за которые ему делали большие неприятности; но как он смотрел на все это, какие были его убеждения, планы, надежды, я никогда ничего не могла узнать от него. Как только я наводила разговор на его дела, он морщился своим особенным манером, как будто говоря: «Полноте, пожалуйста, что вам до этого», – и переводил разговор на другое. Сначала это оскорбляло меня, но потом я так привыкла к тому, что мы всегда говорили только о вещах, касающихся меня, что уже находила это естественным.

Что также сначала не нравилось мне, а потом, напротив, сделалось приятно, – было его совершенное равнодушие и как бы презрение к моей наружности. Он никогда ни взглядом, ни словом не намекал мне на то, что я хороша; а, напротив, морщился и смеялся, когда при нем называли меня хорошенькою. Он даже любил находить во мне наружные недостатки и дразнил меня ими. Модные платья и прически, в которые Катя любила наряжать меня по торжественным дням, вызывали только его насмешки, огорчавшие добрую Катю и сначала сбивавшие меня с толку. Катя, решившая в своем уме, что я ему нравлюсь, никак не могла понять, как не любить, чтобы нравящаяся женщина выказывалась в самом выгодном свете. Я же скоро поняла, чего ему было надо. Ему хотелось верить, что во мне нет кокетства. И когда я поняла это, во мне действительно не осталось и тени кокетства нарядов, причесок, движений; но зато явилось, белыми нитками шитое, кокетство простоты, в то время как я еще не могла

быть проста. Я знала, что он любит меня, – как ребенка или как женщину, я еще не спрашивала себя; я дорожила этою любовью, и, чувствуя, что он считает меня самою лучшею девушкою в мире, я не могла не желать, чтоб этот обман оставался в нем. И я невольно обманывала его. Но, обманывая его, и сама становилась лучше. Я чувствовала, как лучше и достойнее мне было выказывать перед ним лучшие стороны своей души, чем тела. Мои волосы, руки, лицо, привычки, какие бы они ни были, хорошие или дурные, мне казалось, он сразу оценил и знал так, что я ничего, кроме желания обмана, не могла прибавить к своей наружности. Души же моей он не знал; потому что любил ее, потому что в то самое время она росла и развивалась, и тут-то я могла обманывать и обманывала его. И как легко мне стало с ним, когда я ясно поняла это! Эти беспричинные смущения, стесненность движений совершенно исчезли во мне. Я чувствовала, что спереди ли, сбоку ли, сидя или стоя он видит меня, с волосами кверху или книзу, – он знал всю меня и, мне казалось, был доволен мною, какою я была. Я думаю, что ежели бы он, против своих привычек, как другие, вдруг сказал мне, что у меня прекрасное лицо, я бы даже несколько не была рада. Но зато как отрадно и светло на душе становилось мне, когда он после какого-нибудь моего слова, пристально поглядев на меня, говорил тронутым голосом, которому старался дать шутливый тон:

– Да, да, в вас *есть*. Вы славная девушка, это я должен сказать вам.

И ведь за что я получала тогда такие награды, наполнявшие мое сердце гордостью и весельем? За то, что я говорила, что сочувствую любви старого Григорья к своей внучке, или за то, что до слез трогалась прочитанным стихотвореньем или романом, или за то, что предпочитала Моцарта Шульгофу. И удивительно, мне подумалось, каким необыкновенным чутьем угадывала я тогда все то, что хорошо и что надо бы любить; хотя я тогда еще решительно не знала, что хорошо и что надо любить. Большая часть моих прежних привычек и вкусов не нравились ему, и стоило движеньем брови, взглядом показать, что ему не нравится то, что я хочу сказать, сделать свою особенную, жалкую, чуть-чуть презрительную мину, как мне уже казалось, что я не люблю того, что любила прежде. Бывало, он только хочет посоветовать мне что-нибудь, а уж мне кажется, что я знаю, что он скажет. Он спросит меня, глядя мне в глаза, и взгляд его вытягивает из меня ту мысль, какую ему хочется. Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими, перешли в мою жизнь и осветили ее.

Совершенно незаметно для себя я на все стала смотреть другими глазами: и на Катю, и на наших людей, и на Соню, и на себя, и на свои занятия. Книги, которые прежде я читывала только для того, чтобы убивать скуку, сделались вдруг для меня одним из лучших удовольствий в жизни; и все только оттого, что мы поговорили с ним о книгах, читали с ним вместе и он привозил мне их. Прежде занятия с Соней, уроки ей были для меня тяжелою обязанностью, которую я усиливалась исполнять только по сознанию долга; он посидел за уроком – и следить за успехами Сони сделалось для меня радостью. Выучить целую музыкальную пьесу прежде казалось мне невозможным; а теперь, зная, что он будет слушать и похвалит, может быть, я по сорока раз сряду проигрывала один пассаж, так что бедная Катя затыкала уши ватой, а мне все не было скучно. Те же старые сонаты как-то совсем иначе фразировались теперь и выходили совсем иначе и гораздо лучше. Даже Катя, которую я знала и любила, как себя, и та изменилась в моих глазах. Теперь только я поняла, что она вовсе не была обязана быть матерью, другом, рабой, какой она была для нас. Я поняла все самоотвержение и преданность этого любящего создания, поняла все, чем я обязана ей; и еще больше стала любить ее. Он же научил меня смотреть на наших людей, крестьян, дворовых, девушек совсем иначе, чем прежде. Смешно сказать, а до семнадцати лет я прожила между этими людьми более чужая для них, чем для людей, которых никогда не видала; ни разу не подумала, что эти люди так же любят, желают и сожалеют, как и я. Наш сад, наши рощи, наши поля, которые я так давно знала, вдруг сделались новыми и прекрасными для меня. Недаром он говорил, что в жизни есть только одно несомненное счастье – жить для другого. Мне тогда это странно казалось, я не понимала этого; но это убеждение, помимо мысли, уже прошло мне в сердце. Он открыл мне целую жизнь радостей в настоящем, не изменив ничего в моей жизни, ничего не прибавив, кроме себя, к каждому впечатлению. Все то же с детства безмолвно было вокруг меня, а стоило ему только прийти, чтобы все то же заговорило и наперерыв запросилось в душу, наполняя ее счастьем.

Часто в это лето я приходила наверх, в свою комнату, ложилась на постель, и вместо прежней весенней тоски желаний и надежд в будущем тревога счастья в настоящем обхватывала меня. Я не могла засыпать, вставала, садилась на постель к Кате и говорила ей, что я совершенно счастлива, чего, как теперь я вспоминаю, совсем не нужно было говорить ей: она сама могла видеть это. Но она говорила мне, что и ей ничего не нужно и что она тоже очень счастлива, и целовала меня. Я верила ей, мне

казалось так необходимо и справедливо, чтобы все были счастливы. Но Катя могла тоже думать о сне и даже, притворяясь сердитою, прогоняла меня, бывало, с своей постели и засыпала; а я долго еще перебирала все то, чем я так счастлива. Иногда я вставала и молилась в другой раз, своими словами молилась, чтобы благодарить Бога за все то счастье, которое Он дал мне.

И в комнатке было тихо; только сонно и ровно дышала Катя, часы тикали подле нее, и я поворачивалась и шептала слова или крестилась и целовала крест на шее. Двери были закрыты, ставешки были в окнах, какая-нибудь муха или комар, колеблясь, жужжали на одном месте. И мне хотелось никогда не выходить из этой комнатки, не хотелось, чтобы приходило утро, не хотелось, чтобы разлетелась эта моя душевная атмосфера, окружавшая меня. Мне казалось, что мои мечты, мысли и молитвы – живые существа, тут во мраке живущие со мной, летающие около моей постели, стоящие надо мной. И каждая мысль была его мысль, и каждое чувство – его чувство. Я тогда еще не знала, что это любовь, я думала, что это так всегда может быть, что так даром дается это чувство. 10

III

Один день во время уборки хлеба мы с Катей и Соней после 20
обеда пошли в сад на нашу любимую скамейку в тени лип над оврагом, за которым открывался вид леса и поля. Сергей Михайлыч уже дня три не был у нас, и в этот день мы ожидали его, тем более, что наш приказчик сказал, что он обещал приехать на поле. Часу во втором мы видели, как он верхом проехал на ржаное поле. Катя велела принести персиков и вишен, которые он очень любил, с улыбкой взглянув на меня, прилегла на скамейку и задремала. Я оторвала кривую плоскую ветку липы с сочными листьями и сочной корой, обмочившею мне руку, и, обмахивая Катю, продолжала читать, беспрестанно отрываясь и глядя на поле- 30
вую дорогу, по которой он должен был приехать. Соня у корня старой липы строила беседку для кукол. День был жаркий, безветренный, парило, тучи срастались и чернели, и с утра еще собиралась гроза. Я была взволнована, как всегда перед грозой. Но после полудня тучи стали разбираться по краям, солнце выплыло на чистое небо, и только на одном краю погромыхивало, и по тяжелой туче, стоявшей над горизонтом и сливавшейся с пылью на полях, изредка до земли прорезались бледные зигзаги молнии. Ясно было, что на нынешний день разойдется, у нас по крайней мере. По видневшейся местами дороге за садом, не прерываясь, 40
то медленно тянулись высокие скрипящие воза с снопами, то бы-

стро, навстречу им, постукивали пустые телеги, дрожали ноги и развевались рубахи. Густая пыль не уносилась и не опускалась, а стояла за плетнем между прозрачною листвою деревьев сада. По-
дальше, на гумне, слышались те же голоса, тот же скрип колес,
и те же желтые снопы, медленно продвигавшиеся мимо забора,
там летали по воздуху, и на моих глазах росли овальные дома,
выделялись их острые крыши, и фигуры мужиков копошились
на них. Впереди, на пыльном поле, тоже двигались телеги, и те
же виднелись желтые снопы, и так же звуки телег, голосов и пе-
сен доносились издали. С одного края все открытее и открытее
становилось жнивье с полосами полынью поросшей межи. По-
правее, внизу, по некрасиво спутанному, скошенному полю вид-
нелись яркие одежды вязавших баб, нагибающихся, размахиваю-
щих руками, и спутанное поле очищалось, и красивые снопы ча-
сто расставлялись по нем. Как будто вдруг на моих глазах из ле-
та сделалась осень. Пыль и зной стояли везде, исключая нашего
любимого местечка в саду. Со всех сторон в этой пыли и зное на
горячем солнце говорил, шумел и двигался трудовой народ.

А Катя так сладко похрапывала под белым батистовым пла-
точком на нашей прохладной скамейке, вишни так сочно-глянце-
вито чернели на тарелке, платья наши были так свежи и чисты,
вода в кружке так радужно-светло играла на солнце, и мне так
было хорошо. «Что же делать? – думала я. – Чем же я виновата,
что я счастлива? Но как поделиться счастьем? как и кому отдать
всю себя и все свое счастье?..»

Солнце уже зашло за макушки березовой аллеи, пыль
укладывалась в поле, даль виднелась явственнее и светлее в
боковом освещении, тучи совсем разошлись, на гумне из-за де-
реьев видны были три новые крыши скирд, и мужики сошли
с них; телеги с громкими криками проскакали, видно, в послед-
ний раз; бабы с граблями на плечах и свяслами на кушаках с
громкою песнью прошли домой, а Сергей Михайлыч все не
приезжал, несмотря на то, что я давно видела, как он съехал
под гору. Вдруг по аллее, с той стороны, с которой я вовсе не
ожидала его, показалась его фигура (он обошел оврагом).
С веселым, сияющим лицом и сняв шляпу, он скорыми шагами
шел ко мне. Увидав, что Катя спит, он закусил губу, закрыл
глаза и пошел на цыпочках; я сейчас заметила, что он находил-
ся в том особенном настроении беспричинной веселости,
которое я ужасно любила в нем и которое мы называли диким
восторгом. Он был точно школьник, вырвавшийся от ученья;
все существо его, от лица и до ног, дышало довольством,
счастьем и детскою резвостию.

– Ну, здравствуйте, молодая фиалка, как вы? хорошо? – сказал он шепотом, подходя ко мне и пожимая мне руку... – А я отлично, – отвечал он на мой вопрос, – мне нынче тринадцать лет, хочется в лошадки играть и по деревьям лазить.

– В диком восторге? – сказала я, глядя на его смеющиеся глаза и чувствуя, что этот *дикий восторг* сообщался мне.

– Да, – отвечал он, подмигивая одним глазом и удерживая улыбку. – Только за что же Катерину Карловну по носу бить?

Я и не заметила, глядя на него и продолжая махать веткой, как я сбила платок с Кати и гладила ее по лицу листьями. Я за- 10
смеялась.

– А она скажет, что не спала, – проговорила я шепотом, будто бы для того, чтобы не разбудить Катю; но совсем не затем; мне просто приятно было шепотом говорить с ним.

Он зашевелил губами, передразнивая меня, будто я говорила уже так тихо, что ничего нельзя было слышать. Увидев тарелку с вишнями, он как будто украдкой схватил ее, пошел к Соне под липу и сел на ее куклы. Соня рассердилась сначала, но он скоро помирился с ней, устроив игру, в которой он с ней наперегонки должен был съесть вишни. 20

– Хотите, я велю еще принести, – сказала я, – или пойдете сами.

Он взял тарелку, посадил на нее кукол, и мы втроем пошли к сараю. Соня, смеясь, бежала за нами, дергая его за пальто, чтоб он отдал кукол. Он отдал их и серьезно обратился ко мне.

– Ну, как же вы не фиалка, – сказал он мне все еще тихо, хотя некого уже было бояться разбудить, – как только подошел к вам после всей этой пыли, жару, трудов, так и запахло фиалкой. И не душистою фиалкой, а знаете, этою первою, темненькою, которая пахнет снежком талым и травую весеннею. 30

– Ну, а что, хорошо все идет по хозяйству? – спросила я его, чтобы скрыть радостное смущение, которое произвели во мне его слова.

– Отлично! этот народ везде отличный. Чем больше его знаешь, тем больше любишь.

– Да, – сказала я, – нынче перед вами я смотрела из сада на работы, и так мне вдруг совестно стало, что они трудятся, а мне так хорошо, что...

– Не кокетничайте этим, мой друг, – перебил он меня, вдруг серьезно, но ласково взглянув мне в глаза, – это дело свято. 40
Избави вас Бог щеголять этим.

– Да я *вам* только говорю это.

– Ну да, я знаю. Ну, как же вишни?

Сарай был заперт, и садовников никого не было (он их всех усылал на работы). Соня побежала за ключом, но он, не дожидаясь ее, взлез на угол, поднял сетку и спрыгнул на другую сторону.

– Хотите? – послышался мне оттуда его голос, – давайте тарелку.

– Нет, я сама хочу рвать, я пойду за ключом, – сказала я, – Соня не найдет...

Но в то же время мне захотелось посмотреть, что он там делает, как смотрит, как движется, полагая, что его никто не видит. Да просто мне в это время ни на минуту не хотелось терять его из виду. Я на цыпочках по крапиве оббежала сарай с другой стороны, где было ниже, и, встав на пустую кадку, так что стена мне приходилась ниже груди, перегнулась в сарай. Я окинула глазами внутренность сарая с его старыми изогнутыми деревьями и с зубчатыми широкими листьями, из-за которых тяжело и прямо висели черные сочные ягоды, и, подсунув голову под сетку, из-под корявого сука старой вишни увидела Сергея Михайлыча. Он, верно, думал, что я ушла, что никто его ни
20 видит. Сняв шляпу и закрыв глаза, он сидел на развилке старой вишни и старательно скатывал в шарик кусок вишневого клею. Вдруг он пожал плечами, открыл глаза и, проговорив что-то, улыбнулся. Так не похоже на него было это слово и эта улыбка, что мне совестно стало за то, что я подсматриваю его. Мне показалось, что слово это было: Маша! «Не может быть», – думала я. «Милая Маша!» – повторил он уже тише и еще нежнее. Но я уже явственно слышала эти два слова. Сердце забилося у меня так сильно, и такая волнующая, как будто запрещенная радость вдруг обхватила меня, что я ухватилась руками за стену,
30 чтобы не упасть и не выдать себя. Он услышал мое движение, испуганно оглянулся и, вдруг опустив глаза, покраснел, побагровел как ребенок. Он хотел сказать мне что-то, но не мог, и еще, и еще так и вспыхивало его лицо. Однако он улыбнулся, глядя на меня. Я улыбнулась тоже. Все лицо его просияло радостью. Это был уже не старый дядя, ласкающий и поучающий меня, это был равный мне человек, который любил и боялся меня и которого я боялась и любила. Мы ничего не говорили и только глядели друг на друга. Но вдруг он нахмурился, улыбка и блеск в глазах его исчезли, и он холодно, опять отечески
40 обратился ко мне, как будто мы делали что-нибудь дурное и как будто он опомнился и мне советовал опомниться.

– Однако слезайте, ушибетесь, – сказал он. – Да поправьте волосы, посмотрите, на что вы похожи.

«Зачем он притворяется? зачем хочет мне делать больно?» – с досадой подумала я. И в ту же минуту мне пришло непреодолимое желание еще раз смутить его и испытать на нем мою силу.

– Нет, я хочу сама рвать, – сказала я и, схватившись руками за ближайший сук, ногами вскочила на стену. Он не успел поддержать меня, как я уж соскочила в сарай на землю.

– Какие вы глупости делаете! – проговорил он, снова краснея и под видом досады стараясь скрыть свое смущение, – ведь вы могли ушибиться. И как вы выйдете отсюда?

Он был смущен еще больше, чем прежде, но теперь это смущение уже не обрадовало, а испугало меня. Оно сообщилось мне, я покраснела и, избегая его взгляда и не зная, что говорить, стала рвать ягоды, которых класть мне было некуда. Я упрекала себя, я раскаивалась, я боялась, и мне казалось, что я навеки погубила себя в его глазах этим поступком. Мы оба молчали, и обоим было тяжело. Соня, прибежавшая с ключом, вывела нас из этого тяжелого положения. Долго после этого мы ничего не говорили друг с другом и оба обращались к Соне. Когда мы вернулись к Кате, которая уверяла нас, что не спала, а все слышала, я успокоилась, и он снова старался попасть в свой покровительственный отеческий тон, но тон этот уже не удавался ему и не обманывал меня. Мне живо вспомнился теперь разговор, бывший несколько дней тому назад между нами.

Катя говорила о том, как легче мужчине любить и выражать любовь, чем женщине.

– Мужчина может сказать, что он любит, а женщина – нет, – говорила она.

– А мне кажется, что и мужчина не должен и не может говорить, что он любит, – сказал он.

– Отчего? – спросила я.

– Оттого, что всегда это будет ложь. Что такое за открытие, что человек любит? Как будто, как только он это скажет, что-то защелкнется, хлоп – любит. Как будто, как только он произнесет это слово, что-то должно произойти необыкновенное, знамения какие-нибудь, из всех пушек сразу выпалют. Мне кажется, – продолжал он, – что люди, которые торжественно произносят эти слова: «я вас люблю», или себя обманывают, или, что еще хуже, обманывают других.

– Так как же узнает женщина, что ее любят, когда ей не скажут этого? – спросила Катя.

– Этого я не знаю, – отвечал он, – у каждого человека есть свои слова. А есть чувство, так оно выразится. Когда я читаю романы, мне всегда представляется, какое должно быть озадачен-

ное лицо у поручика Стрельского или у Альфреда, когда он скажет: «я люблю тебя, Элеонора!» и думает, что вдруг произойдет необыкновенное; и ничего не происходит ни у ней, ни у него, те же самые глаза и нос, и все то же самое.

Я тогда уже в этой шутке чувствовала что-то серьезное, относящееся ко мне, но Катя не позволяла легко обращаться с героями романов.

– Вечно парадоксы, – сказала она. – Ну скажите по правде, разве вы сами никогда не говорили женщине, что любите ее?

10 – Никогда не говорил и на колени на одно не становился, – отвечал он, смеясь, – и не буду.

«Да, ему не нужно говорить мне, что он меня любит, – думала я теперь, живо вспоминая этот разговор. – Он любит меня, я это знаю. И все старание его казаться равнодушным не разуверит меня».

Весь этот вечер он мало говорил со мною, но в каждом слове его к Кате, к Соне, в каждом движении и взгляде его я видела любовь и не сомневалась в ней. Мне только досадно и жалко за него было, зачем он находит нужным еще таиться и притворяться
20 холодным, когда все уже так ясно и когда так легко и просто можно бы было быть так невозможно счастливым. Но меня, как преступление, мучило то, что я спрыгнула к нему в сарай. Мне все казалось, что он перестанет уважать меня за это и сердит на меня.

После чаю я пошла к фортепьяно, и он пошел за мною.

– Сыграйте что-нибудь, давно я вас не слышал, – сказал он, догоняя меня в гостиной.

– Я и хотела... Сергей Михайлыч! – сказала я, вдруг глядя ему прямо в глаза. – Вы не сердитесь на меня?

30 – За что? – спросил он.

– Что я вас не послушала после обеда, – сказала я, краснея.

Он понял меня, покачал головою и усмехнулся. Взгляд его говорил, что следовало бы побранить, но что он не чувствует в себе силы на это.

– Ничего не было, мы опять друзья, – сказала я, садясь за фортепьяно.

– Еще бы! – сказал он.

В большой высокой зале было только две свечи на фортепьяно, остальное пространство было полутемно. В отворенные
40 окна глядела светлая летняя ночь. Все было тихо, только Катины шаги с перемежкой поскрипывали в темной гостиной и его лошадь, привязанная под окном, фыркала и била копытом по лопуху. Он сидел сзади меня, так что мне его не видно было; но везде

в полутьме этой комнаты, в звуках, во мне самой я чувствовала его присутствие. Каждый взгляд, каждое движение его, которых я не видала, отзывались в моем сердце. Я играла сонату-фантазию Моцарта, которую он привез мне и которую я при нем и для него выучила. Я вовсе не думала о том, что играю, но, кажется, играла хорошо, и мне казалось, что ему нравится. Я чувствовала то наслаждение, которое он испытывал, и, не глядя на него, чувствовала взгляд, который сзади был устремлен на меня. Совершенно невольно, продолжая бессознательно шевелить пальцами, я оглянулась на него. Голова его отделялась на светлевшем фоне 10
ночи. Он сидел, облокотившись головой на руки, и пристально смотрел на меня блестящими глазами. Я улыбнулась, увидев этот взгляд, и перестала играть. Он улыбнулся тоже и укоризненно покачал головою на ноты, чтоб я продолжала. Когда я кончила, месяц посветлел, поднялся высоко, и в комнату уже, кроме слабого света свеч, входил из окон другой, серебристый свет, падавший на пол. Катя сказала, что ни на что не похоже, как я остановилась на лучшем месте, и что я дурно играла; но он сказал, что, напротив, я никогда так хорошо не играла, как нынче, и стал ходить по комнатам, через залу в темную гостиную и опять 20
в залу, всякий раз оглядываясь на меня и улыбаясь. И я улыбалась, мне даже смеяться хотелось без всякой причины, так я была рада чему-то, нынче только, сейчас случившемуся. Как только он скрывался в дверь, я обнимала Катю, с которою мы стояли у фортепьяно, и начинала целовать ее в любимое мое местечко, в пухлую шею под подбородок; как только он возвращался, я делала как будто серьезное лицо и насилию удерживалась от смеха.

– Что с нею сделалось нынче? – говорила ему Катя.

Но он не отвечал и только посмеивался на меня. Он знал, что со мною сделалось. 30

– Посмотрите, что за ночь! – сказал он из гостиной, останавливаясь перед открытою в сад балконною дверью...

Мы подошли к нему, и точно, это была такая ночь, какой уж я никогда не видала после. Полный месяц стоял над домом за нами, так что его не видно было, и половина тени крыши, столбов и полотна террасы наискоски en rassoing¹ лежала на песчаной дорожке и газонном круге. Остальное все было светло и облито серебром росы и месячного света. Широкая цветочная дорожка, по которой с одного края косо ложились тени георгин и подпорок, вся светлая и холодная, блестя неровным щебнем, уходила в тумане и в даль. Из-за дерев виднелась светлая крыша оранже- 40

¹ укороченно (фр.)

реи, и из-под оврага поднимался растущий туман. Уже несколько оголенные кусты сирени все до сучьев были светлы. Все увлажненные росой цветы можно было отличать один от другого. В аллеях тень и свет сливались так, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колыхающимися и дрожащими домами. Направо в тени дома все было черно, безразлично и страшно. Но зато еще светлее выходила из этого мрака причудливо раскидистая макушка тополя, которая почему-то странно остановилась тут, недалеко от дома, наверху в ярком свете, а не улете-
10 ла куда-то, туда далеко, в уходящее синеватое небо.

– Пойдемте ходить, – сказала я.

Катя согласилась, но сказала, чтобы я надела калоши.

– Не надо, Катя, – сказала я, – вот Сергей Михайлыч даст мне руку.

Как будто это могло помешать мне промочить ноги. Но тогда это всем нам троим было понятно и ничуть не странно. Он никогда не подавал мне руки, но теперь я сама взяла ее, и он не нашел этого странным. Мы втроем сошли с террасы. Весь этот мир, это небо, этот сад, этот воздух, были не те, которые я знала.

20 Когда я смотрела вперед по аллее, по которой мы шли, мне все казалось, что туда дальше нельзя было идти, что там кончился мир возможного, что все это навсегда должно быть заковано в своей красоте. Но мы подвигались, и волшебная стена красоты раздвигалась, впускала нас, и там тоже, казалось, был наш знакомый сад, деревья, дорожки, сухие листья. И мы ходили точно по дорожкам, наступали на круги света и тени, и точно сухой лист шуршал под ногою, и свежая ветка задевала меня по лицу. И это точно был он, который, ровно и тихо ступая подле меня, бережно нес мою руку, и это точно была Катя, которая, поскрипывая,
30 шла рядом с нами. И, должно быть, это был месяц на небе, который светил на нас сквозь неподвижные ветви...

Но с каждым шагом сзади нас и спереди снова замыкалась волшебная стена, и я переставала верить в то, что можно еще идти дальше, переставала верить во все, что было.

– Ах! лягушка! – проговорила Катя.

«Кто и зачем это говорит?» – подумала я. Но потом я вспомнила, что это Катя, что она боится лягушек, и я посмотрела под ноги. Маленькая лягушонка прыгнула и замерла передо мной, и от нее маленькая тень виднелась на светлой глине дорожки.

40 – А вы не боитесь? – сказал он.

Я оглянулась на него. Одной липы в аллее не доставало в том месте, где мы проходили, мне ясно было видно его лицо. Оно было так прекрасно и счастливо.

Он сказал: «Вы не боитесь?» – а я слышала, что он говорил: «Люблю тебя, милая девушка!» – Люблю! люблю! – твердил его взгляд, его рука; и свет, и тень, и воздух, и все твердило то же самое.

Мы обошли весь сад. Катя ходила рядом с нами своими маленькими шажками и тяжело дышала от усталости. Она сказала, что время вернуться, и мне жалко, жалко стало ее, бедняжку. «Зачем она не чувствует того же, что мы? – думала я. – Зачем не все молоды, не все счастливы, как эта ночь и как мы с ним?»

Мы вернулись домой, но он еще долго не уезжал, несмотря на то, что прокричали петухи, что все в доме спали, и лошадь его все чаще и чаще била копытом по лопуху и фыркала под окном. Катя не напоминала нам, что поздно, и мы, разговаривая о самых пустых вещах, просидели, сами не зная того, до третьего часа утра. Уж кричали третьи петухи и заря начала заниматься, когда он уехал. Он простился, как обыкновенно, ничего не сказал особенного; но я знала, что с нынешнего дня он мой и я уже не потеряю его. Как только я призналась себе, что люблю его, я все рассказала и Кате. Она была рада и тронута тем, что я ей рассказала, но бедняжка могла заснуть в эту ночь, а я долго, еще долго ходила по террасе, сходила в сад и, припоминая каждое слово, каждое движение, прошла по тем аллеям, по которым мы прошли с ним. Я не спала всю эту ночь и в первый раз в жизни видела восход солнца и раннее утро. И ни такой ночи, ни такого утра я уже никогда не видала после. «Только зачем он не скажет мне просто, что любит меня? – думала я. – Зачем он выдумывает какие-то трудности, называет себя стариком, когда все так просто и прекрасно. Зачем он теряет золотое время, которое, может быть, уже никогда не возвратится? Пускай он скажет: люблю, словами скажет: люблю, пускай рукой возьмет мою руку, пригнет к ней голову и скажет: люблю. Пускай покраснеет и опустит глаза передо мной, и я тогда все скажу ему. И не скажу, а обниму, прижмусь к нему и заплачу. Но что ежели я ошибаюсь и ежели он не любит меня?» – вдруг пришло мне в голову.

Я испугалась своего чувства, Бог знает куда оно могло повести меня, и его и мое смущение в сарае, когда я спрыгнула к нему, вспомнились мне, и мне стало тяжело, тяжело на сердце. Слезы полились из глаз, я стала молиться. И мне пришла странная, успокоившая меня мысль и надежда. Я решила говеть с нынешнего дня, причаститься в день моего рождения и в этот самый день сделаться его невестою.

Зачем? почему? как это должно случиться? – я ничего не знала, но я с той минуты верила и знала, что это так будет. Уже совсем рассвело и народ стал подыматься, когда я вернулась в свою комнату.

Был Успенский пост, и потому никого в доме не удивило мое намерение – говеть в это время.

Во всю эту неделю он ни разу не приезжал к нам, и я не только не удивлялась, не тревожилась и не сердилась на него, но, напротив, была рада, что он не ездит, и ждала его только к дню моего рождения. В продолжение этой недели я всякий день вставала рано и, покуда мне закладывали лошадь, одна, гуляя по саду, перебирала в уме грехи прошлого дня и обдумывала то, что мне
 10 нужно было делать нынче, чтобы быть довольною своим днем и не согрешить ни разу. Тогда мне казалось так легко быть совершенно безгрешною. Казалось, стоило только немножко постараться. Подъезжали лошади, я с Катей или с девушкой садилась в линейку, и мы ехали за три версты в церковь. Входя в церковь, я всякий раз вспоминала, что молятся за всех, «со страхом Божиим входящих», и старалась именно с этим чувством всходить на две поросшие травой ступени паперти. В церкви бывало в это время не больше человек десяти говевших крестьянок и дворовых; и я с старательным смирением старалась отвечать на их поклоны и сама, что мне казалось подвигом, ходила к свечному
 20 ящику брать свечи у старого старосты солдата и ставила их. Сквозь царские двери виднелся покров алтаря, вышитый мамашей, над иконостасом стояли два деревянные ангела с звездами, казавшиеся мне такими большими, когда я была маленькая, и голубок с желтым сиянием, тогда занимавший меня. Из-за клироса виднелась измятая купель, в которой столько раз я крестила детей наших дворовых и в которой и меня крестили. Старый священник выходил в ризе, сделанной из покрова гроба моего отца, и служил тем самым голосом, которым, с тех самых пор как помню себя, служилась церковная служба в нашем доме, и крестины Сони, и панихиды отца, и похороны матери. И тот же дребезжащий голос дьячка раздавался на клиросе, и та же старушка, которую я помню всегда в церкви, при каждой службе, согнувшись
 30 стояла у стены и плачущими глазами смотрела на икону в клиросе, и прижимала сложенные персты к полинялому платку, и беззубым ртом шептала что-то. И все это уже не любопытно, не по одним воспоминаниям близко мне было, все это было теперь велико и свято в моих глазах и казалось мне полным глубокого значения. Я вслушивалась в каждое слово читаемой молитвы, чувством старалась отвечать на него, и ежели не понимала, то мысленно просила Бога просветить меня или придумывала на место нерасслышанной свою молитву. Когда читались молитвы
 40

раскаяния, я вспоминала свое прошедшее, и это детское невинное прошедшее казалось мне так черно в сравнении с светлым состоянием моей души, что я плакала и ужасалась над собой; но вместе с тем чувствовала, что все это простится и что ежели бы и еще больше грехов было на мне, то еще и еще слаще бы было для меня раскаяние. Когда священник в конце службы говорил: «Благословение Господне на вас», мне казалось, что я испытывала мгновенно сообщаемое мне физическое чувство благосостояния. Как будто какие-то свет и теплота вдруг входили мне в сердце. Служба кончалась, батюшка выходил ко мне и спрашивал, не нужно ли и когда приехать к нам служить всенощную; но я трогательно благодарила его за то, что он хотел, как я думала, для меня сделать, и говорила, что я сама приду или приеду. – Сами потрудиться хотите? – говаривал он.

И я не знала, что отвечать, чтобы не согрешить против гордости.

От обедни я всегда отпускала лошадей, ежели была без Кати, возвращалась одна пешком, низко, со смирением кланяясь всем встречавшимся мне и стараясь найти случай помочь, посоветовать, пожертвовать собой для кого-нибудь, пособить поднять воз, покачать ребенка, дать дорогу и загрязниться. Один раз вечером я слышала, что приказчик, докладывая Кате, сказал, что Семен, мужик, приходил просить тесину на гроб дочери и денег рубль на поминки и что он дал ему. «Разве они так бедны?» – спросила я. «Очень бедны, сударыня, без соли сидят», – отвечал приказчик. Что-то защемило мне в сердце, и вместе с тем я как будто обрадовалась, услышав это. Обманув Катю, что я пойду гулять, я побежала наверх, достала все свои деньги (их было очень мало, но все, что у меня было) и, перекрестившись, пошла одна через террасу и сад на деревню к избе Семена. Она была с края деревни, и я, никем не видимая, подошла к окну, положила на окно деньги и стукнула в него. Кто-то вышел из избы, скрипнул дверью и окликнул меня; я, дрожа и холодея от страха, как преступница, прибежала домой. Катя спросила меня, где я была? что со мною? но я не поняла даже того, что она мне говорила, и не ответила ей. Все так ничтожно и мелко вдруг показалось мне. Я заперлась в своей комнате и долго ходила одна взад и вперед, не в состоянии ничего делать, думать, не в состоянии дать себе отчета в своем чувстве. Я думала и о радости всего семейства, о словах, которыми они назовут того, кто положил деньги, и мне жалко становилось, что я не сама отдала их. Я думала и о том, что бы сказал Сергей Михайлыч, узнав этот поступок, и радовалась тому, что никто никогда не узнает его. И такая радость была во мне, и так

дурны казались все и я сама, и так кротко я смотрела на себя и на всех, что мысль о смерти, как мечта о счастье, приходила мне. Я улыбалась, и молилась, и плакала, и всех на свете и себя так страстно, горячо любила в эту минуту. Между службами я читала Евангелие, и все понятнее и понятнее мне становилась эта книга, и трогательнее и проще история этой божественной жизни, и ужаснее и непроницаемее те глубины чувства и мысли, которые я находила в его учении. Но зато как ясно и просто мне казалось все, когда я, вставая от этой книги, опять вглядывалась и вдумывалась в жизнь, окружавшую меня. Казалось, так трудно жить нехорошо и так просто всех любить и быть любимой. Все так добры и кротки были со мной, даже Соня, которой я продолжала давать уроки, была совсем другая, старалась понимать, угождать и не огорчать меня. Какую я была, такими и все были со мною. Перебирая тогда своих врагов, у которых мне надо было просить прощения перед исповедью, я вспомнила вне нашего дома только одну барышню, соседку, над которой я посмеялась год тому назад при гостях и которая за это перестала к нам ездить. Я написала к ней письмо, признавая свою вину и прося ее прощения. Она отвечала мне письмом, в котором сама просила прощения и прощала меня. Я плакала от радости, читая эти простые строки, в которых тогда мне виделось такое глубокое и трогательное чувство. Няня расплакалась, когда я просила ее прощения. «За что они все так добры ко мне? чем я заслужила такую любовь?» – спрашивала я себя. И я невольно вспоминала Сергея Михайлыча и подолгу думала о нем. Я не могла делать иначе и даже не считала это грехом. Но я думала теперь о нем совсем не так, как в ту ночь, когда в первый раз узнала, что люблю его, я думала о нем как о себе, невольно присоединяя его к каждой мысли о своем будущем. Подавляющее влияние, которое я испытывала в его присутствии, совершенно исчезло в моем воображении. Я чувствовала себя теперь равною ему и с высоты духовного настроения, в котором находилась, совершенно понимала его. Мне теперь ясно было в нем то, что прежде мне казалось странным. Только теперь я понимала, почему он говорил, что счастье только в том, чтобы жить для другого, и я теперь совершенно была согласна с ним. Мне казалось, что мы вдвоем будем так бесконечно и спокойно счастливы. И мне представлялись не поездки за границу, не свет, не блеск, а совсем другая, тихая семейная жизнь в деревне, с вечным самопожертвованием, с вечною любовью друг ко другу и с вечным сознанием во всем кроткого и помогающего Провидения.

Я причащалась, как и предполагала, в день моего рождения. В груди у меня было такое полное счастье, когда я возвращалась в этот день из церкви, что я боялась жизни, боялась всякого впе-

чатления, всего того, что могло нарушить это счастье. Но только что мы вышли из линейки на крыльцо, как по мосту загредел знакомый кабриолет, и я увидела Сергея Михайлыча. Он поздравил меня, и мы вместе вошли в гостиную. Никогда с тех пор, как я его знала, я не была так спокойна и самостоятельна с ним, как в это утро. Я чувствовала, что во мне был целый новый мир, которого он не понимал и который был выше его. Я не чувствовала с ним ни малейшего смущения. Он понимал, должно быть, отчего это происходило, и был особенно нежно-кроток и набожно-уважителен со мной. Я подошла было к фортепьяно, но он запер его и спрятал ключ в карман.

– Не портите своего настроения, – сказал он, – у вас теперь в душе такая музыка, которая лучше всякой на свете.

10 Я благодарна была ему за это, и вместе с тем мне было немного неприятно, что он так слишком легко и ясно понимал все, что тайно для всех должно было быть в моей душе. За обедом он сказал, что приехал поздравить меня и вместе проститься, потому что завтра едет в Москву. Говоря это, он смотрел на Катю; но потом мельком взглянул на меня, и я видела, как он боялся, что заметит волнение на моем лице. Но я не удивилась, не встревожилась, даже не спросила, надолго ли. Я знала, что он это скажет, и знала, что он не уедет. Как я это знала? Я теперь никак не могу объяснить себе;

20 но в этот памятный день мне казалось, что я все знала, что было и что будет. Я была как в счастливом сне, когда все, что ни случится, кажется, что уже было, и все это я давно знаю, и все это еще будет, и я знаю, что это будет.

Он хотел ехать сейчас после обеда, но Катя, уставшая от обеда, ушла полежать, и он должен был подождать, пока она проснется, чтобы проститься с ней. В зале было солнце, мы вышли на террасу. Только что мы сели, как я совершенно спокойно начала говорить то, что должно было решить участь моей любви. И начала говорить ни раньше, ни позже, а в ту самую минуту, как мы сели, и

30 ничего еще не было сказано, не было еще никакого тона и характера разговора, который бы мог помешать тому, что я хотела сказать. Я сама не понимаю, откуда брались у меня такое спокойствие, решимость и точность в выражениях. Как будто не я, а что-то такое независимо от моей воли говорило во мне. Он сидел против меня, облокотившись на перилы, и, притянув к себе ветку сирени, обрывал с нее листья. Когда я начала говорить, он отпустил ветку и головой оперся на руку. Это могло быть положение человека со-

40 совершенно спокойного или очень взволнованного.

– Зачем вы едете? – спросила я значительно, с расстановкой и прямо глядя на него.

Он не вдруг ответил.

– Дела! – проговорил он, опуская глаза.

Я поняла, как трудно ему было лгать передо мной и на вопрос, сделанный так искренно.

– Послушайте, – сказала я, – вы знаете, какой день нынче для меня. По многому этот день очень важен. Ежели я вас спрашиваю, то не для того, чтобы показать участие (вы знаете, что я привыкла к вам и люблю вас), я спрашиваю потому, что мне нужно знать. Зачем вы едете?

– Очень трудно мне вам сказать правду, зачем я еду, – сказал он. – В эту неделю я много думал о вас и о себе и решил, что мне надо ехать. Вы понимаете, зачем? и ежели любите меня, не будете больше спрашивать. – Он потер лоб рукою и закрыл ею глаза. – Это мне тяжело... А вам понятно.

Сердце начало сильно биться у меня.

– Я не могу понять, – сказала я, – *не могу*, а вы скажите мне, ради Бога, ради нынешнего дня скажите мне, я все могу спокойно слышать, – сказала я.

Он переменил положение, взглянул на меня и снова притянул ветку.

– Впрочем, – сказал он, помолчав немного и голосом, который напрасно хотел казаться твердым, – хоть и глупо и невозможно рассказывать словами, хоть мне и тяжело, я постараюсь объяснить вам, – добавил он, морщась как будто от физической боли.

– Ну! – сказала я.

– Представьте себе, что был один господин А, положим, – сказал он, – старый и отживший, и одна госпожа Б, молодая, счастливая, не выдавшая еще ни людей, ни жизни. По разным семейным отношениям он полюбил ее как дочь и не боялся полюбить иначе.

Он замолчал, но я не прерывала его.

– Но он забыл, что Б так молода, что жизнь для нее еще игрушка, – продолжал он вдруг скоро и решительно и не глядя на меня, – и что ее легко полюбить иначе, и что ей это весело будет. И он ошибся и вдруг почувствовал, что другое чувство, тяжелое, как раскаянье, пробирается в его душу, и испугался. Испугался, что расстроится их прежние дружеские отношения, и решил уехать прежде, чем расстроятся эти отношения. – Говоря это, он опять, как будто небрежно, стал потирать глаза рукою и закрыл их.

– Отчего ж он боялся полюбить иначе? – чуть слышно сказала я, сдерживая свое волнение, и голос мой был ровен; но ему он, верно, показался шутливым. Он отвечал как будто оскорбленным тоном.

– Вы молоды, – сказал он, – я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно. Играйте, только не со мной, а то я поверю, и мне нехорошо будет, и вам станет совестно. Это А сказал, – прибавил он, – ну, да это все вздор, но вы понимаете, зачем я еду. И не будемте больше говорить об этом. Пожалуйста!

– Нет! нет! будем говорить! – сказала я, и слезы задрожали у меня в голосе. – Он любил ее или нет?

Он не отвечал.

– А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребенком? – проговорила я.

– Да, да, А виноват был, – отвечал он, торопливо перебивая меня, – но все было кончено, и они расстались... друзьями.

– Но это ужасно! и разве нет другого конца, – едва проговорила я и испугалась того, что сказала.

– Да, есть, – сказал он, открывая взволнованное лицо и глядя прямо на меня. – Есть два различные конца. Только, ради Бога, не перебивайте и спокойно поймите меня. Одни говорят, – начал он, вставая и улыбаясь болезненной, тяжелою улыбкой, – одни говорят, что А сошел с ума, безумно полюбил Б и сказал ей это...
20 А она только засмеялась. Для нее это были шутки, а для него дело целой жизни.

Я вздрогнула и хотела перебить его, сказать, чтоб он не смел говорить за меня, но он, удерживая меня, положил свою руку на мою.

– Пойдите, – сказал он дрожащим голосом, – другие говорят, будто она сжалилась над ним, вообразила себе, бедняжка, не видавшая людей, что она точно может любить его, и согласилась быть его женой. И он, сумасшедший, поверил, поверил, что вся жизнь его начнется снова, но она сама увидала, что обманула его и что он обманул ее...
30 Не будемте больше говорить про это, – заключил он, видимо не в силах говорить далее, и молча стал ходить против меня.

Он сказал: «Не будем говорить», – а я видела, что он всеми силами души ждал моего слова. Я хотела говорить, но не могла, что-то жало мне в груди. Я взглянула на него, он был бледен, и нижняя губа его дрожала. Мне стало жалко его. Я сделала усилие и вдруг, разорвав силу молчания, сковывавшую меня, заговорила голосом тихим, внутренним, который, я боялась, оборвется каждую секунду.

– А третий конец, – сказала я и остановилась, но он молчал, – а третий конец, что он не любил, а сделал ей больно, больно, и думал, что прав, уехал и еще гордился чем-то. Вам, а не мне, вам шутки, я с первого дня полюбила, полюбила вас, – повторила я, и на этом слове «полюбила» голос мой невольно из тихого, внутреннего перешел в дикий вскрик, испугавший меня самую.

Он бледный стоял против меня, губа его тряслась сильнее и сильнее, и две слезы выступили на щеки.

– Это дурно! – почти прокричала я, чувствуя, что задыхаюсь от злых невыплаканных слез. – За что? – проговорила я и встала, чтоб уйти от него.

Но он не пустил меня. Голова его лежала на моих коленях, губы его целовали еще мои дрожавшие руки, и его слезы мочили их.

– Боже мой, ежели бы я знал, – проговорил он.

– За что? За что? – все еще твердила я, а в душе у меня было счастье, навеки ушедшее, невозвратившееся счастье.

10

Через пять минут Соня бежала наверх к Кате и на весь дом кричала, что Маша хочет жениться на Сергее Михайловиче.

V

Не было причин откладывать нашу свадьбу, и ни я, ни он не желали этого. Правда, Катя хотела было ехать в Москву и покупать и заказывать приданое, и его мать требовала было, чтоб он, прежде чем жениться, обзавелся новой каретой, мебелью и оклеил бы дом новыми обоями, но мы вдвоем настояли на том, чтобы сделать все это после, ежели уже это так необходимо, а венчаться две недели после моего рождения, тихо, без приданого, без гостей, без шаферов, ужинов, шампанского и всех этих условных принадлежностей женитьбы. Он рассказывал мне, как его мать была недовольна тем, что свадьба должна была сделаться без музыки, без гор сундуков и без переделки заново всего дома, не так, как ее свадьба, стоившая тридцать тысяч, и как она серьезно и тайно от него, перебирая в кладовой сундуки, совещалась с экономкой Марьюшкой о каких-то необходимейших для нашего счастья коврах, гардинах и подносах. С моей стороны Катя делала то же с няней Кузьминишной. И об этом с ней нельзя было говорить шутя. Она твердо была убеждена, что мы, говоря между собой о нашем будущем, только нежничаем, делаем пустяки, как и свойственно людям в таком положении; но что существенное-то наше будущее счастье будет зависеть только от правильной кройки и шитья сорочек и подрубки скатертей и салфеток. Между Покровским и Никольским каждый день по нескольку раз сообщались тайные известия о том, что где заготавливалось, и хотя наружно между Катей и его матерью казались самые нежные отношения, между ними чувствовалась уже несколько враждебная, но тончайшая дипломатия. Татьяна Семеновна, его мать, с которою я теперь познакомилась ближе, была чопорная, строгая хозяйка дома и старого века барыня. Он любил ее не только как

20

30

40

сын по долгу, но как человек по чувству, считая ее самою лучшею, самою умною, доброю и любящею женщиной в мире. Татьяна Семеновна всегда была добра к нам и ко мне особенно и рада была, что сын ее женится, но когда я как невеста была у нее, мне показалось, что она хотела дать почувствовать мне, что, как партия для ее сына, я могла бы быть и лучше и что не мешало бы мне всегда помнить это. И я совершенно понимала ее и была согласна с ней.

10 Эти две последние недели мы виделись каждый день. Он приезжал к обеду и просиживал до полночи. Но, несмотря на то, что он говорил – и я знала, что говорил правду, – что без меня он не живет, он никогда не проводил целого дня со мной и старался продолжать заниматься своими делами. Внешние отношения наши до самой свадьбы оставались те же, как и прежде, мы продолжали говорить друг другу *вы*, он не целовал даже моей руки и не только не искал, но даже избегал случаев оставаться наедине со мною. Как будто он боялся отдаться слишком большой, вредной нежности, которая была в нем. Не знаю, он или я изменились, но теперь я чувствовала себя совершенно равною ему, не находила в нем больше прежде не нравившегося мне притворства простоты и часто с наслаждением видела перед собой вместо внушающего уважение и страх мужчины кроткого и потерянного от счастья ребенка. «Так только-то и было в нем! – часто думала я, – он точно такой же человек, как и я, не больше». Теперь мне казалось, что он весь передо мной и что я вполне узнала его. И все, что я узнавала, было так просто и так согласно со мной. Даже его планы о том, как мы будем жить вместе, были те же мои планы, только яснее и лучше обозначившиеся в его словах.

30 Погода эти дни была дурная, и большую часть времени мы проводили в комнатах. Самые лучшие душевные беседы происходили в углу между фортепьяно и окошком. На черном окне близко отражался огонь свеч, по глянцевитому стеклу изредка ударяли и текли капли. По крыше стучало, в луже шлепала вода под желобом, из окна тянуло сыростью. И как-то еще светлее, теплее и радостнее казалось в нашем углу.

– А знаете, я давно хотел вам сказать одну вещь, – сказал он раз, когда мы поздно одни засиделись в этом углу. – Я, покуда вы играли, все думал об этом.

– Ничего не говорите, я все знаю, – сказала я.

Он улыбнулся.

40 – Да, правда, не будем говорить.

– Нет, скажите, что? – спросила я.

– А вот что. Помните, когда я вам рассказывал историю про А и Б?

– Еще бы не помнить эту глупую историю. Хорошо, что так кончилось...

– Да, еще бы немного, и все мое счастье погибло бы от меня самого. Вы спасли меня. Но главное, что я все лгал тогда, и мне совестно, я хочу досказать теперь.

– Ах, пожалуйста, не надо.

– Не бойтесь, – сказал он, улыбаясь. – Мне только оправдаться надо. Когда я начал говорить, я хотел рассуждать.

– Зачем рассуждать! – сказала я, – никогда не надо.

– Да, я рассуждал плохо. После всех моих разочарований, ошибок в жизни, когда я нынче приехал в деревню, я так себе сказал решительно, что любовь для меня кончена, что остаются для меня только обязанности доживанья, что я долго не отдавал себе отчета в том, что такое мое чувство к вам и к чему оно может повести меня. Я надеялся и не надеялся, то мне казалось, что вы кокетничаете, то верилось, и сам не знал, что я буду делать. Но после этого вечера, – помните, когда мы ночью ходили по саду, – я испугался, мое теперешнее счастье показалось мне слишком велико и невозможно. Ну, что бы было, ежели бы я позволил себе надеяться, и напрасно? Но, разумеется, я думал только о себе; потому что я гадкий эгоист. 20

Он помолчал, глядя на меня.

– Однако ведь и не совсем вздор я говорил тогда. Ведь можно и должно было мне бояться. Я так много беру от вас и так мало могу дать. Вы еще дитя, вы бутон, который еще будет распускаться, вы в первый раз любите, а я...

– Да, скажите мне по правде, – сказала я, но вдруг мне страшно стало за его ответ. – Нет, не надо, – прибавила я.

– Любил ли я прежде? да? – сказал он, тотчас угадав мою мысль. – Это я могу сказать вам. Нет, не любил. Никогда ничего похожего на это чувство... – Но вдруг как будто какое-то тяжелое воспоминание мелькнуло в его воображении. – Нет, и тут мне нужно ваше сердце, чтоб иметь право любить вас, – сказал он грустно. – Так разве не нужно было задуматься, прежде чем сказать, что люблю вас? Что я вам даю? Любовь – правда. 30

– Разве это мало? – сказала я, глядя ему в глаза.

– Мало, мой друг, для вас мало, – продолжал он. – У вас красота и молодость! Я часто теперь не сплю по ночам от счастья и все думаю о том, как мы будем жить вместе. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья. Тихая, уединенная жизнь в нашей деревенской глуши, с возможностью 40
делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли; потом труд, труд, который, кажется, что приносит пользу; потом отдых, природа, книга, музыка, любовь к

близкому человеку – вот мое счастье, выше которого я не мечтал. А тут, сверх всего этого, такой друг, как вы, семья, может быть, и все, что только может желать человек.

– Да, – сказала я.

– Для меня, который прожил молодость, – да, но не для вас, – продолжал он. – Вы еще не жили, вы еще в другом, может быть, захотите искать счастья и, может быть, в другом найдете его. Вам кажется теперь, что это счастье, оттого что вы меня любите.

10 – Нет, я всегда только желала и любила эту тихую семейную жизнь, – сказала я. – И вы только говорите то самое, что я думала.

Он улыбнулся.

– Это только вам кажется, мой друг. А вам мало этого. У вас красота и молодость, – повторил он задумчиво.

Но я рассердилась за то, что он не верил мне и как будто прекал моею красотой и молодостью.

– Так за что же вы любите меня? – сказала я сердито, – за молодость или за меня самую?

– Не знаю, но люблю, – отвечал он, глядя на меня своим внимательным, притягивающим взглядом.

30 Я ничего не отвечала и невольно смотрела ему в глаза. Вдруг что-то странное случилось со мной; сначала я перестала видеть окружающее, потом лицо его исчезло передо мной, только одни его глаза блестели, казалось, против самых моих глаз, потом мне показалось, что глаза эти во мне, все помутилось, я ничего не видела и должна была зажмуриться, чтоб оторваться от чувства наслаждения и страха, которые производил во мне этот взгляд...

Накануне дня, назначенного для свадьбы, перед вечером погода разгулялась. И после дождей, начавшихся летом, прояснился первый холодный и блестящий осенний вечер. Все было мокро, холодно, 30 светло, и в саду в первый раз замечался осенний простор, пестрота и оголенность. На небе было ясно, холодно и бледно. Я пошла спать, счастливая от мысли, что завтра, в день нашей свадьбы, будет хорошая погода. В этот день я проснулась с солнцем, и мысль, что уже нынче... как будто испугала и удивила меня. Я вышла в сад. Солнце только что взошло и блестело раздробленно сквозь облетевшие желтеющие липы аллеи. Дорожка была устлана шуршавшими листьями. Сморщенные яркие кисти рябины краснелись на ветках с убитыми морозом редкими покоробившимися листьями, георгины сморщились и почернели. Мороз в первый раз серебром лежал на 40 бледной зелени травы и на поломанных лопухах около дома. На ясном, холодном небе не было и не могло быть ни одного облака.

«Неужели нынче? – спрашивала я себя, не веря своему счастью. – Неужели завтра уже я проснусь не здесь, а в чужом ни-

кольском доме с колоннами? Неужели больше не буду ожидать и встречать его и по вечерам и ночам говорить о нем с Катей? Не буду с ним сидеть у фортепьяно в покровской зале? Не буду провожать и бояться за него в темные ночи?» Но я вспоминала, что вчера он сказал, что приезжает в последний раз, и Катя заставляла меня примеривать подвенечное платье и сказала: «К завтраму»; и я верила на мгновение и снова сомневалась. «Неужели с нынешнего же дня буду жить там с свекровью, без Надежи, без старика Григория, без Кати? Не буду целовать на ночь няню и слышать, как она по старой привычке, перекрестив меня, скажет: “Покойной ночи, барышня”? Не буду учить Соню и играть с нею, и через стену стучать к ней утром и слышать ее звонкий хохот? Неужели нынче я сделаюсь чужою для себя самой и новая жизнь осуществления моих надежд и желаний открывается передо мною? Неужели навсегда эта новая жизнь?» Я с нетерпением ждала его, мне тяжело было одной с этими мыслями. Он приехал рано, и только с ним я вполне поверила тому, что нынче буду его женою, и мысль эта перестала быть для меня страшною.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Перед обедом мы ходили в нашу церковь служить панихиду по отце.

«Ежели бы он был жив теперь!» – думала я, когда мы возвращались домой, и я молча опиралась на руку человека, бывшего лучшим другом того, о ком я думала. Во время молитвы, припадая головою к холодному камню пола часовни, я так живо воображала моего отца, так верила в то, что его душа понимает меня и благословляет мой выбор, что и теперь мне казалось, что душа его тут, летает над нами и что я чувствую на себе его благословение. И воспоминания, и надежды, и счастье, и печаль сливались во мне в одно торжественное и приятное чувство, к которому шли этот неподвижный свежий воздух, тишина, оголенность полей и бледное небо, с которого на все падали блестящие, но бессильные лучи, пытавшиеся жечь мне щеку. Мне казалось, что тот, с кем я шла, понимал и разделял мое чувство. Он шел тихо и молча, и в его лице, на которое я взглядывала изредка, выражалась та же важная не то печаль, не то радость, которые были и в природе, и в моем сердце.

Вдруг он обернулся ко мне, я видела, что он хотел сказать что-то. «Что, ежели он заговорит не про то, про что я думаю?» – пришло мне в голову. Но он заговорил про отца, даже не называя его.

– А один раз он шутя сказал мне: «Женись на моей Маше!»

– Как бы он был счастлив теперь! – сказала я, крепче прижимаемая к себе руку, которая несла мою.

– Да, вы еще были дитя, – продолжал он, глядя в мои глаза, – я целовал тогда эти глаза и любил их только за то, что они на

него похожи, и не думал, что они будут за себя так дороги мне. Я звал вас Машею тогда.

– Говорите мне «ты», – сказала я.

– Я только что хотел сказать тебе «ты», – проговорил он, – только теперь мне кажется, что ты совсем моя, – и спокойный, счастливый, притягивающий взгляд остановился на мне.

И мы все шли тихо по полевой непроторенной дорожке через стоптанное, сбитое жнивье; и только шаги и голоса наши были нам слышны. С одной стороны через овраг до далекой оголенной рощи тянулось буроватое жнивье, по которому в стороне от нас мужик с сохой беззвучно прокладывал все шире и шире черную полосу. Рассыпанный под горою табун казался близко. С другой стороны и впереди, до сада и нашего дома, видневшегося из-за него, чернело и кое-где полосами уже зеленело озимое оттаявшее поле. На всем блестело нежаркое солнце, на всем лежали длинные волокнистые паутины. Они летали в воздухе вокруг нас и ложились на обсыхающее от мороза жнивье, попадали нам в глаза, на волосы, на платья. Когда мы говорили, голоса наши звучали и останавливались над нами в неподвижном воздухе, как будто мы одни только и были посреди всего мира и одни под этим голубым сводом, на котором, вспыхивая и дрожа, играло нежаркое солнце.

Мне тоже хотелось назвать его *ты*, но совестно было.

– Зачем ты идешь так скоро? – сказала я скороговоркою и почти шепотом и невольно покраснела.

Он пошел тише и еще ласкательнее, еще веселее и счастливее смотрел на меня.

Когда мы вернулись домой, уже там была его мать и гости, без которых мы не могли обойтись, и я до самого того времени, как мы из церкви сели в карету, чтоб ехать в Никольское, не была наедине с ним.

Церковь была почти пуста, я видела одним глазом только его мать, прямо стоявшую на коврике у клироса, Катю в чепце с лиловыми лентами и слезами на щеках и двух-трех дворовых, любопытно глядевших на меня. На него я не смотрела, но чувствовала тут, подле себя, его присутствие. Я вслушивалась в слова молитв, повторяла их, но в душе ничего не отзывалось. Я не могла молиться и тупо смотрела на иконы, на свечи, на вышитый крест ризы на спине священника, на иконостас, на окно церкви – и ничего не понимала. Я только чувствовала, что что-то необычайное совершается надо мною. Когда священник с крестом обернулся к нам, поздравил и сказал, что он крестил меня и вот Бог привел и венчать, Катя и его мать поцеловали нас, и послышался голос Григория, зовущего карету, я удивилась и испугалась, что все кончено уже, а ничего не-

обыкновенного, соответствующего совершившемуся надо мною таинству, не сделалось в моей душе. Мы поцеловались с ним, и этот поцелуй был такой странный, чуждый нашему чувству. «И только-то», – подумала я. Мы вышли на паперть, звук колес густо раздался под сводом церкви, свежим воздухом пахнуло в лицо, он надел шляпу и за руку посадил меня в карету. Из окна кареты я увидела морозный с кругом месяц. Он сел рядом со мною и затворил за собою дверцу. Что-то кольнуло меня в сердце. Как будто оскорбительна мне показалась уверенность, с которою он это сделал. Катин голос прокричал, чтобы я закрыла голову, колеса застучали по камню, потом по мягкой дороге, и мы поехали. Я, прижавшись к углу, смотрела в окно на далекие светлые поля и на дорогу, убегающую в холодном блеске месяца. И, не глядя на него, чувствовала его тут, рядом со мною. «Что ж, и только-то дала мне эта минута, от которой я ждала так много?» – подумала я, и мне все как будто унижительно и оскорбительно казалось сидеть одной так близко с ним. Я обернулась к нему с намерением сказать ему что-нибудь. Но слова не говорились, как будто уже не было во мне прежнего чувства нежности, а чувства оскорбления и страха заменили его.

20 – Я до этой минуты все не верил, что это может быть, – тихо ответил он на мой взгляд.

– Да, но мне страшно почему-то, – сказала я.

– Меня страшно, мой друг? – сказал он, взяв мою руку и опуская к ней голову.

Моя рука безжизненно лежала в его руке, и в сердце становилось больно от холода.

– Да, – прошептала я.

Но тут же сердце вдруг забилося сильнее, рука задрожала и сжала его руку, мне стало жарко, глаза в полутьме искали его взгляда, и я вдруг почувствовала, что не боюсь его, что страх этот – любовь, новая и еще нежнейшая и сильнейшая любовь, чем прежде. Я почувствовала, что я вся его и что я счастлива его властью надо мною.

30

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

VI

Дни, недели, два месяца уединенной деревенской жизни прошли незаметно, как казалось тогда; а между тем на целую жизнь достало бы чувств, волнений и счастья этих двух месяцев. Мои и его мечты о том, как устроится наша деревенская жизнь, сбылись совершенно не так, как мы ожидали. Но жизнь наша была не хуже наших мечтаний. Не было этого строгого труда, исполнения долга самопожертвования и жизни для другого, что я вообража-

ла себе, когда была невестой; было, напротив, одно себялюбивое чувство любви друг к другу, желание быть любимым, беспричинное постоянное веселье и забвение всего на свете. Правда, он иногда уходил заниматься чем-то в своем кабинете, иногда по делам ездил в город и ходил по хозяйству; но я видела, какого труда ему стоило отрываться от меня. И сам он потом признавался, как все на свете, где меня не было, казалось ему таким вздором, что он не мог понять, как можно заниматься им. Для меня было то же самое. Я читала, занималась и музыкой, и мамашей, и школой; но все это только потому, что каждое из этих занятий было связано с ним и заслуживало его одобрение; но как только мысль о нем не примешивалась к какому-нибудь делу, руки опускались у меня, и мне так забавно казалось подумать, что есть на свете что-нибудь, кроме его. Может быть, это было нехорошее, себялюбивое чувство; но чувство это давало мне счастье и высоко поднимало меня над всем миром. Только он один существовал для меня на свете, а его я считала самым прекрасным, непогрешимым человеком в мире; поэтому я и не могла жить ни для чего другого, как для него, как для того, чтобы быть в его глазах тем, чем он считал меня. А он считал меня первую и прекраснейшею женщиной в мире, одаренною всеми возможными добродетелями; и я старалась быть этою женщиной в глазах первого и лучшего человека во всем мире. 10

Один раз он вошел ко мне в комнату в то время, как я молилась Богу. Я оглянулась на него и продолжала молиться. Он сел у стола, чтобы не мешать мне, и раскрыл книгу. Но мне показалось, что он смотрит на меня, и я оглянулась. Он улыбнулся, я рассмеялась и не могла молиться.

– А ты молился уже? – спросила я.

– Да. Да ты продолжай, я уйду.

– Да ты молишься, надеюсь?

Он, не отвечая, хотел уйти, но я остановила его.

– Душа моя, пожалуйста, для меня, прочти со мною молитвы.

Он стал рядом со мною и, неловко опустив руки, с серьезным лицом, запинаясь, стал читать. Изредка он оборачивался ко мне, искал одобрения и помощи на моем лице. 30

Когда он кончил, я засмеялась и обняла его.

– Все ты, все ты! Точно мне опять десять лет становится, – сказал он, краснея и целуя мои руки.

Наш дом был один из старых деревенских домов, в которых, уважая и любя одно другое, прожило несколько родственных поколений. Ото всего пахло хорошими, честными семейными воспоминаниями, которые вдруг, как только я вошла в этот дом, 40

сделались как будто и моими воспоминаниями. Убранство и порядок дома велись Татьяною Семеновной по-старинному. Нельзя сказать, чтобы все было изящно и красиво; но от прислуги до мебели и кушаньев всего было много, все было опрятно, прочно, аккуратно и внушало уважение. В гостиной симметрично стояла мебель, висели портреты и на полу расстилались домашние ковры и полосухи. В диванной находились старый рояль, шифоньерки двух различных фасонов, диваны и столики с латунью и инкрустациями. В моем кабинете, убранном старанием Татьяны Семеновны, стояла самая лучшая мебель различных веков и фасонов и, между прочим, старое трюмо, на которое я сначала никак не могла смотреть без застенчивости, но которое впоследствии, как старый друг, сделалось мне дорого. Татьяны Семеновны не слышно было, но все в доме шло как заведенные часы, хотя людей было много лишних. Но все эти люди, носившие мягкие без каблуков сапоги (Татьяна Семеновна считала скрип подошв и топот каблуков самою неприятною вещью на свете), все эти люди казались горды своим званием, трепетали перед старою барыней, на нас с мужем смотрели с покровительственною лаской и, казалось, с особенным удовольствием делали свое дело. Каждую субботу регулярно в доме мылись полы и выбивались ковры, каждое первое число служились молебны с водосвятием, каждое тезоименитство Татьяны Семеновны, ее сына (и мое – в первый раз в эту осень) задавались пиры на весь околоток. И все это неизменно делалось еще с тех пор, как помнила себя Татьяна Семеновна. Муж не вмешивался в домоводство и только занимался полевым хозяйством и крестьянами, и занимался много. Он вставал даже и зимою очень рано, так что, проснувшись, я уже не заставляла его. Он возвращался обыкновенно к чаю, который мы пили одни, и почти всегда в эту пору, после хлопот и неприятностей по хозяйству, находился в том особенном веселом расположении духа, которое мы называли *диким восторгом*. Часто я требовала, чтоб он рассказал мне, что делал утром, и он рассказывал мне такие вздоры, что мы помирали со смеху; иногда я требовала серьезного рассказа, и он, удерживая улыбку, рассказывал. Я глядела на его глаза, на его движущиеся губы и ничего не понимала, только радовалась, что вижу его и слышу его голос.

– Ну что же я сказал? повтори, – спрашивал он. Но я ничего не могла повторить. Так смешно было, что *он мне* рассказывает не про себя и про меня, а про что-то другое. Точно не все равно, что бы там ни делалось. Только гораздо после я стала немного понимать и интересоваться его заботами. Татьяна Семеновна не выходила до обеда, пила чай одна и только через послов здорово-

валась с нами. В нашем особом, сумасбродно счастливом мире так странно звучал голос из ее другого, степенного, порядочного уголка, что часто я не выдерживала и только хохотала в ответ горничной, которая, сложив руку на руку, мерно докладывала, что Татьяна Семеновна приказали узнать, как почивали после вчерашнего гулянья, а про себя приказали доложить, что у них всю ночь бочок болел и глупая собака на деревне лаяла, мешала почивать. «А еще приказали спросить, как понравилось нынешнее печенье, и просили заметить, что не Тарас нынче пек, а для пробы, в первый раз, Николаша, и очень, дескать, недурно, крендельки особенно, а сухари пережарил». До обеда мы были мало вместе. Я играла, читала одна, он писал, уходил еще; но к обеду, в четыре часа, мы сходились в гостиной, мамаша выплывала из своей комнаты, и являлись бедные дворянки, странницы, которых всегда человека два-три жило в доме. Регулярно каждый день муж, по старой привычке, подавал к обеду руку матери; но она требовала, чтоб он подавал мне другую, и регулярно каждый день мы теснились и путались в дверях. За обедом председательствовала матушка же, и разговор велся прилично-рассудительный и несколько торжественный. Наши простые слова с мужем приятно разрушали торжественность этих обеденных заседаний. Между сыном и матерью иногда завязывались споры и насмешки друг над другом; я особенно любила эти споры и насмешки, потому что в них-то сильнее всего выражалась нежная и твердая любовь, которая связывала их. После обеда татап садилась в гостиную на большое кресло и растирала табак или разрезывала листы новополученных книг, а мы читали вслух или уходили в диванную к клавибордам. Мы много вместе читали это время, но музыка была нашим любимейшим и лучшим наслаждением, всякий раз вызывая новые струны в наших сердцах и как будто снова открывая нам друг друга. Когда я играла его любимые вещи, он садился на дальний диван, где мне почти не видно было его, и из стыдливости чувства старался скрывать впечатление, которое производила на него музыка; но часто, когда он не ожидал этого, я вставала от фортепьян, подходила к нему и старалась застать на его лице следы волнения, неестественный блеск и влажность в глазах, которые он напрасно старался скрыть от меня. Мамаше часто хотелось посмотреть на нас в диванной, но, верно, она боялась стеснить нас, и иногда, будто не глядя на нас, она проходила через диванную с мнимосерьезным и равнодушным лицом; но я знала, что ей незачем было ходить к себе и так скоро возвращаться. Вечерний чай разливала я в большой гостиной, и опять все домашние собирались к столу. Это торжественное заседание

при зеркале самовара и раздача стаканов и чашек долгое время смущали меня. Мне все казалось, что я недостойна еще этой чести, слишком молода и легкомысленна, чтобы повертывать кран такого большого самовара, чтобы ставить стакан на поднос Никите и приговаривать: «Петру Ивановичу, Марье Миничне», – спрашивать: «Сладко ли?» – и оставлять куски сахара няне и заслуженным людям. «Славно, славно, – часто приговаривал муж, – точно большая», – и это еще больше смущало меня.

После чая мама раскладывала пасьянс или слушала гаданье
10 Марьи Миничны; потом целовала и крестила нас обоих, и мы уходили к себе. Большею частью, однако, мы просиживали вдвоем за полночь, и это было самое лучшее и приятное время. Он рассказывал мне про свое прошедшее, мы делали планы, философствовали иногда и старались говорить все потихоньку, чтобы нас не услышали наверху и не донесли бы Татьяне Семеновне, которая требовала, чтобы мы ложились рано. Иногда мы, проголодавшись, потихоньку шли в буфет, доставали холодный ужин через протекцию Никиты и съедали его при одной свече в моем кабинете. Мы жили с ним точно чужие в этом большом старом
20 доме, в котором над всем стоял строгий дух старины и Татьяны Семеновны. Не только она, но люди, старые девушки, мебель, картины внушали мне уважение, некоторый страх и сознание того, что мы с ним здесь немножко не на своем месте и что нам надо жить здесь очень осторожно и внимательно. Как я вспоминаю теперь, то вижу, что многое – и этот связывающий неизменный порядок, и эта бездна праздных и любопытных людей в нашем доме – было неудобно и тяжело; но тогда самая эта стесненность еще более оживляла нашу любовь. Не только я, но и он не показывал вида, что ему что-нибудь не нравится. Напротив, он даже
30 как будто прятался сам от того, что было дурно. Маменькин лакей Дмитрий Сидоров, большой охотник до трубки, регулярно каждый день после обеда, когда мы бывали в диванной, ходил в мужнин кабинет брать его табак из ящика; и надо было видеть, с каким веселым страхом Сергей Михайлыч на цыпочках подходил ко мне и, грозя пальцем и подмигивая, показывал на Дмитрия Сидоровича, который никак не предполагал, что его видят. И когда Дмитрий Сидоров уходил, не заметив нас, от радости, что все кончилось благополучно, как и при всяком другом случае, муж говорил, что я прелесть, и целовал меня. Иногда это спокойствие, всепрощение и как будто равнодушие ко всему не нравилось
40 мне, – я не замечала того, что во мне было то же самое, и считала это слабостью. «Точно ребенок, который не смеет показать свою волю!» – думала я.

– Ах, мой друг, – отвечал он мне, когда я раз сказала ему, что меня удивляет его слабость, – разве можно быть чем-нибудь недовольну, когда так счастлив, как я? Легче самому уступать, чем гнуть других, в этом я давно убедился; и нет того положения, в котором бы нельзя было быть счастливым. А нам так хорошо! Я не могу сердиться; для меня теперь нет дурного, есть только жалкое и забавное. А главное – *le mieux est l'ennemi du bien*¹. Поверишь ли, когда я слышу колокольчик, письмо получаю, просто когда проснусь, мне страшно становится. Страшно, что жить надо, что изменится что-нибудь; а лучше теперешнего быть не 10 может.

Я верила, но не понимала его. Мне было хорошо, но казалось, что все это так, а не иначе должно быть и всегда со всеми бывает, а что есть там, где-то, еще другое, хотя не большее, но другое счастье.

Так прошло два месяца, пришла зима с своими холодами и метелями, и я, несмотря на то, что он был со мной, начинала чувствовать себя одинокою, начинала чувствовать, что жизнь повторяется, а нет ни во мне, ни в нем ничего нового, а что, напротив, мы как будто возвращаемся к старому. Он начал заниматься 20 делами без меня больше, чем прежде, и опять мне стало казаться, что есть у него в душе какой-то особый мир, в который он не хочет впускать меня. Его всегдашнее спокойствие раздражало меня. Я любила его не меньше, чем прежде, и не меньше, чем прежде, была счастлива его любовью; но любовь моя остановилась и не росла больше, а кроме любви, какое-то новое беспокойное чувство начинало закрадываться в мою душу. Мне мало было любить после того, как я испытала счастье полюбить его. Мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне хотелось волнений, опасностей и самопожертвования для чувства. 30 Во мне был избыток силы, не находивший места в нашей тихой жизни. На меня находили порывы тоски, которую я, как что-то дурное, старалась скрывать от него, и порывы неистовой нежности и веселости, пугавшие его. Он еще прежде меня заметил мое состояние и предложил ехать в город; но я просила его не ездить и не изменять нашего образа жизни, не нарушать нашего счастья. И точно, я была счастлива; но меня мучило то, что счастье это не стоило мне никакого труда, никакой жертвы, когда силы труда и жертвы томили меня. Я любила его и видела, что я все для него; но мне хотелось, чтобы видели все нашу любовь, чтобы мешали 40 мне любить, и я все-таки любила бы его. Мой ум и даже чувство

¹ Лучшее – враг хорошего (*фр.*).

были заняты, но было другое чувство – молодости, потребности движения, не находившее удовлетворения в нашей тихой жизни. Зачем он мне сказал, что мы можем ехать в город, когда только я захочу этого? Не скажи он мне этого, может быть, я поняла бы, что томившее меня чувство есть вредный вздор, вина моя, что та жертва, которую я искала, была тут, передо мной, в подавлении этого чувства. Мысль, что я могу спастись от тоски, только переехав в город, невольно приходила мне в голову; и вместе с тем оторвать его от всего, что он любил, для себя мне было совестно и жалко. А время уходило, снег заносил больше и больше стены дома, и мы все были одни и одни, и все те же были мы друг перед другом; а там где-то, в блеске, в шуме, волновались, страдали и радовались толпы людей, не думая о нас и о нашем уходящем существовании. Хуже всего для меня было то, что я чувствовала, как с каждым днем привычки жизни заковывали нашу жизнь в одну определенную форму, как чувство наше становилось не свободно, а подчинялось ровному, бесстрастному течению времени. Утром мы бывали веселы, в обед почтительны, вечером нежны. «Добро!.. – говорила я себе. – Это хорошо делать добро и жить честно, как он говорит; но это мы успеем еще, а есть что-то, на что у меня только теперь есть силы». Мне не того нужно было, мне нужна была борьба; мне нужно было, чтобы чувство руководило нами в жизни, а не жизнь руководила чувством. Мне хотелось подойти с ним вместе к пропасти и сказать: вот шаг, я брошусь туда, вот движение, и я погибла, – и чтоб он, бледнея на краю пропасти, взял меня в свои сильные руки, подержал бы над ней, так что у меня бы в сердце захолонуло, и унес бы куда хочет.

Это состояние подействовало даже на мое здоровье, и нервы начинали у меня расстраиваться. Одно утро мне было хуже обывновенного; он вернулся из конторы не в духе, что редко бывало с ним. Я тотчас заметила это и спросила: что с ним? Но он не хотел сказать мне, говоря, что не стоит того. Как я после узнала, исправник призывал наших мужиков и, по нерасположению к мужу, требовал от них незаконного и угрожал им. Муж не мог еще переварить всего этого так, чтобы все было только смешно и жалко, был раздражен и оттого не хотел говорить со мною. Но мне показалось, что он не хотел говорить со мною оттого, что считал меня ребенком, который не может понять того, что его занимает. Я отвернулась от него, замолчала и велела попросить к чаю Марью Миничну, которая гостила у нас. После чаю, который я кончила особенно скоро, я увела Марью Миничну в диванную и стала громко говорить с нею о каком-то вздоре, который для меня был вовсе не занимателен. Он ходил по ком-

нате, изредка взглядывая на нас. Эти взгляды почему-то теперь так действовали на меня, что мне все больше и больше хотелось говорить и даже смеяться; мне казалось смешно все, что я сама говорила, и все, что говорила Марья Минична. Ничего не сказав мне, он ушел совсем в свой кабинет и затворил за собою дверь. Как только его не слышно стало, вся моя веселость вдруг исчезла, так что Марья Минична удивилась и стала спрашивать, что со мною. Я, не отвечая ей, села на диван, и мне захотелось плакать. «И что он это передумывает? – думала я. – Какой-нибудь вздор, который ему кажется важен, а попробуй сказать мне, я покажу ему, что все пустяки. Нет, ему нужно думать, что я не пойму, нужно унижать меня своим величавым спокойствием и всегда быть правым со мною. Зато и я права, когда мне скучно, пусто, когда я хочу жить, двигаться, – думала я, – а не стоять на одном месте и чувствовать, как время идет через меня. Я хочу идти вперед и с каждым днем, с каждым часом хочу нового, а он хочет остановиться и меня остановить с собой. А как бы ему легко было! Для этого не нужно ему везти меня в город, для этого нужно только быть таким, как я, не ломать себя, не удерживаться, а жить просто. Это самое он советует мне, а сам он не прост. Вот что!»

Я чувствовала, что слезы подступают мне к сердцу и что я раздражена на него. Я испугалась этого раздражения и пошла к нему. Он сидел в кабинете и писал. Услышав мои шаги, он оглянулся на мгновение равнодушно, спокойно и продолжал писать. Этот взгляд мне не понравился; вместо того чтобы подойти к нему, я села к столу, у которого он писал, и, раскрыв книгу, стала смотреть в нее. Он еще раз оторвался и поглядел на меня.

– Маша! ты не в духе? – сказал он.

Я ответила холодным взглядом, который говорил: «Нечего спрашивать! что за любезности?» Он покачал головой и робко, нежно улыбнулся, но в первый раз еще моя улыбка не ответила на его улыбку.

– Что у тебя было нынче? – спросила я, – отчего ты не сказал мне?

– Пустяки! маленькая неприятность, – отвечал он. – Однако теперь я могу рассказать тебе. Два мужика отправились в город... Но я не дала ему досказать.

– Отчего ты не рассказал мне тогда еще, когда за чаем я спрашивала?

– Я бы тебе сказал глупость, я был сердит тогда.

– Тогда-то мне и нужно было.

– Зачем?

– Отчего ты думаешь, что я никогда ни в чем не могу помочь тебе?

– Как думаю? – сказал он, бросая перо. – Я думаю, что без тебя я жить не могу. Во всем, во всем не только ты мне помогаешь, но ты все делаешь. Вот хватилась! – засмеялся он. – Тобой я живу только. Мне кажется все хорошо только оттого, что ты тут, что тебя надо...

– Да, это я знаю, я милый ребенок, которого надо успокаивать, – сказала я таким тоном, что он удивленно, как будто в первый раз что увидел, посмотрел на меня. – Я не хочу спокойствия, 10 довольно его в тебе, очень довольно, – прибавила я.

– Ну, вот видишь ли, в чем дело, – начал он торопливо, перебивая меня, видимо боясь дать мне все выговорить, – как бы ты рассудила его?

– Теперь не хочу, – отвечала я. Хотя мне и хотелось слушать его, но мне так приятно было разрушить его спокойствие. – Я не хочу играть в жизнь, я хочу жить, – сказала я, – так же, как и ты.

На лице его, на котором все так быстро и живо отражалось, выразилась боль и усиленное внимание.

– Я хочу жить с тобой ровно, с тобой...

20 Но я не могла договорить: такая грусть, глубокая грусть выразилась на его лице. Он помолчал немного.

– Да чем же не ровно ты живешь со мной? – сказал он. – Тем, что я, а не ты, вожусь с исправником и пьяными мужиками...

– Да не в одном этом, – сказала я.

– Ради Бога, пойми меня, мой друг, – продолжал он, – я знаю, что от тревог нам бывает всегда больно, я жил и узнал это. Я тебя люблю и, следовательно, не могу не желать избавить тебя от тревог. В этом моя жизнь, в любви к тебе: стало быть, и мне не мешай жить.

30 – Ты всегда прав! – сказала я, не глядя на него.

Мне было досадно, что опять у него в душе все ясно и покойно, когда во мне была досада и чувство, похожее на раскаяние.

– Маша! Что с тобой? – сказал он. – Речь не о том, я ли прав или ты права, а совсем о другом: что у тебя против меня? Не вдруг говори, подумай и скажи мне все, что ты думаешь. Ты недовольна мной, и ты, верно, права, но дай мне понять, в чем я виноват.

Но как я могла сказать ему мою душу? То, что он так сразу понял меня, что опять я была ребенок перед ним, что ничего я не могла сделать, чего бы он не понимал и не предвидел, еще больше 40 взволновало меня.

– Ничего я не имею против тебя, – сказала я. – Просто мне скучно и хочется, чтобы не было скучно. Но ты говоришь, что так надо, и опять ты прав!

Я сказала это и взглянула на него. Я достигла своей цели, спокойствие его исчезло, испуг и боль были на его лице.

– Маша, – заговорил он тихим, взволнованным голосом. – Это не шутки то, что мы делаем теперь. Теперь решается наша судьба. Я прошу тебя ничего не отвечать мне и выслушать. За что ты хочешь мучить меня?

Но я перебила его.

– Я знаю, ты будешь прав. Не говори лучше, ты прав, – сказала я холодно, как будто не я, а какой-то злой дух говорил во мне.

– Если бы ты знала, что ты делаешь! – сказал он дрожащим 10
голосом.

Я заплакала, и мне стало легче. Он сидел подле меня и молчал. Мне было и жалко его, и совестно за себя, и досадно за то, что я сделала. Я не глядела на него. Мне казалось, что он должен или строго, или недоумевающе смотреть на меня в эту минуту. Я оглянулась: кроткий, нежный взгляд, как бы просящий прощения, был устремлен на меня. Я взяла его за руку и сказала:

– Прости меня! Я сама не знаю, что я говорила.

– Да; но я знаю, что ты говорила, и ты правду говорила.

– Что? – спросила я. 20

– Что нам надо в Петербург ехать, – сказал он. – Нам тут теперь делать нечего.

– Как хочешь, – сказала я.

Он обнял меня и поцеловал.

– Ты прости меня, – сказал он. – Я виноват перед тобою.

В этот вечер я долго играла ему, а он ходил по комнате и шептал что-то. Он имел привычку шептать, и я часто спрашивала у него, что он шепчет, и он, всегда подумав, отвечал мне именно то, что он шептал: большею частию стихи и иногда ужасный вздор, но такой вздор, по которому я знала настроение его души. 30

– Что ты нынче шепчешь? – спросила я.

Он остановился, подумал и, улыбнувшись, отвечал два стиха Лермонтова:

...А он, безумный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

«Нет, он больше, чем человек; он все знает! – подумала я, – как не любить его!»

Я встала, взяла его за руку и вместе с ним начала ходить, стараясь попадать ногу в ногу. 40

– Да? – спросил он, улыбаясь, глядя на меня.

– Да, – сказала я шепотом; и какое-то веселое расположение духа охватило нас обоих, глаза наши смеялись, и мы шаги делали

все больше и больше, и все больше и больше становились на цыпочки. И тем же шагом, к великому негодованию Григория и удивлению мамыши, которая раскладывала пасьянс в гостиной, отправились через все комнаты в столовую, а там остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались.

Через две недели, перед праздником, мы были в Петербурге.

VII

Наша поездка в Петербург, неделя в Москве, его, мои родные, устройство на новой квартире, дорога, новые города, лица – все это прошло как сон. Все это было так разнообразно, ново, весело, все это так тепло и ярко освещено было его присутствием, его любовью, что тихое деревенское житье показалось мне чем-то давнишним и ничтожным. К великому удивлению моему, вместо светской гордости и холодности, которую я ожидала найти в людях, все встречали меня так неподдельно-ласково и радостно (не только родные, но и незнакомые), что казалось, они все только обо мне и думали, только меня ожидали, чтоб им самим было хорошо. То же неожиданно для меня и в кругу светском и казавшемся мне самым лучшим; у мужа открылось много знакомых, о которых он никогда не говорил мне; и часто мне странно и неприятно было слышать от него строгие суждения о некоторых из этих людей, казавшихся мне такими добрыми. Я не могла понять, зачем он так сухо обращался с ними и старался избегать многих знакомств, казавшихся мне лестными. Мне казалось, чем больше знаешь добрых людей, тем лучше, а все были добрые.

– Вот видишь ли, как мы устроимся, – говорил он перед отъездом из деревни, – мы здесь маленькие Крезы, а там мы будем очень небогаты, а потому нам надо жить в городе только до Святой и не ездить в свет, иначе запутаемся; да и для тебя я не хотел бы...

30 – Зачем свет? – отвечала я, – только посмотрим театры, родных, послушаем оперу и хорошую музыку и еще раньше Святой вернемся в деревню.

Но как только мы приехали в Петербург, планы эти были забыты. Я очутилась вдруг в таком новом, счастливом мире, так много радостей охватило меня, такие новые интересы явились передо мной, что я сразу, хотя и бессознательно, отреклась от всего своего прошедшего и всех планов этого прошедшего. «То было все так, шутки; еще не начиналось; а вот она, настоящая жизнь! Да еще что будет?» – думала я. Беспокойство и начало то-
40 ски, тревожившие меня в деревне, вдруг, как волшебством, совершенно исчезли. Любовь к мужу сделалась спокойнее, и мне

здесь никогда не приходила мысль о том, не меньше ли он любит меня? Да я и не могла сомневаться в его любви, всякая моя мысль была тотчас понята, чувство разделено, желание исполнено им. Спокойствие его исчезло здесь или не раздражало меня более. Притом я чувствовала, что он, кроме своей прежней любви ко мне, здесь еще и любит меня мной. Часто после визита, нового знакомства или вечера у нас, где я, внутренне дрожа от страха ошибиться, исполняла должность хозяйки дома, он говаривал: «Ай да девочка! славно! не робей. Право, хорошо!» И я бывала очень рада. Скоро после нашего приезда он писал письмо к матери, и когда позвал меня приписать от себя, то не хотел дать прочесть, что написано было, вследствие чего я, разумеется, потребовала и прочла. «Вы не узнаете Маши, – писал он, – и я сам не узнаю ее. Откуда берется эта милая, грациозная самоуверенность, *афгабельность*, даже светский ум и любезность. И все это просто, мило, добродушно. Все от нее в восторге, да я и сам не налюбуюсь на нее, и ежели бы можно было, полюбил бы еще больше».

«А! так вот я какая!» – подумала я. И так мне весело и хорошо стало, показалось даже, что я еще больше люблю его. Мой успех у всех наших знакомых был совершенно неожиданный для меня. Со всех сторон мне говорили, что я там особенно понравилась дядюшке, тут тетушка без ума от меня, тот говорит мне, что мне нет подобных женщин в Петербурге, та уверяет меня, что мне стоит захотеть, чтобы быть самою *изысканною* женщиной общества. Особенно кузина мужа, княгиня Д., немолодая светская женщина, внезапно влюбившаяся в меня, более всех говорила мне лестные вещи, кружившие мне голову. Когда в первый раз кузина пригласила меня ехать на бал и просила об этом мужа, он обратился ко мне и, чуть заметно, хитро улыбаясь, спросил: хочешь ли я ехать? Я кивнула головою в знак согласия и почувствовала, что покраснела.

– Точно преступница признается, чего ей хочется, – сказал он, добродушно смеясь.

– Да ведь ты говорил, что нам нельзя ездить в свет, да и ты не любишь, – отвечала я, улыбаясь и умоляющим взглядом глядя на него.

– Ежели очень хочется, то поедем, – сказал он.

– Право, лучше не надо.

– Хочется? очень? – снова спросил он.

Я не отвечала.

– Свет еще небольшое горе, – продолжал он, – а светские несуществующие желания – это и дурно и некрасиво. Непременно надо ехать и поедем, – решительно заключил он.

– Правду тебе сказать, – сказала я, – мне ничего в мире так не хотелось, как этого бала.

Мы поехали, и удовольствие, испытанное мною, превзошло все мои ожидания. На бале еще больше, чем прежде, мне казалось, что я центр, около которого все движется, что для меня только освещена эта большая зала, играет музыка и собралась эта толпа людей, восхищающихся мною. Все, начиная от парикмахера и горничной и до танцоров и стариков, проходивших через залу, казалось, говорили мне или давали чувствовать, что они любят меня. Общее суждение, составившееся обо мне на этом бале и переданное мне кухиной, состояло в том, что я совсем непохожа на других женщин, что во мне есть что-то особенное, деревенское, простое и прелестное. Этот успех так польстил мне, что я откровенно сказала мужу, как бы я желала в нынешнем году съездить еще на два, на три бала, «и с тем, чтобы хорошенько насытиться ими», прибавила я, покривив душою.

Муж охотно согласился и первое время ездил со мною с видимым удовольствием, радуясь моим успехам и, казалось, совершенно забыв или отрекшись от того, что говорил прежде.

Впоследствии он видимо стал скучать и тяготиться жизнью, которую мы вели. Но мне было не до того; ежели я и замечала иногда его внимательно-серьезный взгляд, вопросительно устремленный на меня, я не понимала его значения. Я так была отуманена этою, внезапно возбужденною, как мне казалось, любовью ко мне во всех посторонних, этим воздухом изящества, удовольствий и новизны, которым я дышала здесь в первый раз, так вдруг исчезло здесь его, подавлявшее меня, моральное влияние, так приятно мне было в этом мире не только сравняться с ним, но стать выше его, и за то любить его еще больше и самостоятельнее, чем прежде, что я не могла понять, что неприятного он мог видеть для меня в светской жизни. Я испытывала новое для себя чувство гордости и самодовольства, когда, входя на бал, все глаза обращались на меня, а он, как будто совестясь признаться перед толпою в обладании мною, спешил оставить меня и терялся в черной толпе фраков. «Постой! – часто думала я, отыскивая глазами в конце залы его незамеченную, иногда скучающую фигуру, – постой! – думала я, – приедем домой, и ты поймешь и увидишь, для кого я старалась быть хороша и блестяща и что я люблю из всего того, что окружает меня нынешний вечер». Мне самой искренно казалось, что успехи мои радовали меня только для него, только для того, чтобы быть в состоянии жертвовать ему ими. Одно, чем могла быть вредна для меня светская жизнь, думала я, была возможность увлечения одним из людей, встречае-

мых мною в свете, и ревность моего мужа; но он так верил в меня, казался так спокоен и равнодушен, и все эти молодые люди казались мне так ничтожны в сравнении с ним, что и единственная, по моим понятиям, опасность света не казалась страшна мне. Но, несмотря на то, внимание многих людей в свете доставляло мне удовольствие, льстило самолюбию, заставляло думать, что есть некоторая заслуга в моей любви к мужу, и делало мое обращение с ним самоувереннее и как будто небрежнее.

– А я видела, как ты что-то очень оживленно разговаривал с Н.Н., – однажды, возвращаясь с бала, сказала я, грозя ему пальцем и называя одну из известных дам Петербурга, с которою он действительно говорил в этот вечер. Я сказала это, чтобы расшевелить его; он был особенно молчалив и скучен. 10

– Ах, зачем так говорить? И говоришь ты, Маша! – пропустил он сквозь зубы и морщась, как будто от физической боли. – Как это нейдет тебе и мне! Оставь это другим; эти ложные отношения могут испортить наши настоящие, а я еще надеюсь, что настоящие вернуться.

Мне стало стыдно, и я замолчала.

– Вернутся, Маша? Как тебе кажется? – спросил он. 20

– Они никогда не портились и не испортятся, – сказала я, и тогда мне точно так казалось.

– Дай-то Бог, – проговорил он, – а то пора бы нам в деревню.

Но это только один раз сказал он мне, остальное же время мне казалось, что ему было так же хорошо, как и мне, а мне было так радостно и весело. Если же ему и скучно иногда, – утешала я себя, – то и я поскучала для него в деревне; если же и изменились несколько наши отношения, то все это снова вернется, как только мы летом останемся одни с Татьяной Семеновной в нашем Никольском доме. 30

Так незаметно для меня прошла зима, и мы, против наших планов, даже Святую провели в Петербурге. На Фоминой, когда мы уже собирались ехать, все было уложено, и муж, делавший уже покупки подарков, вещей, цветов для деревенской жизни, был в особенно нежном и веселом расположении духа, кухня неожиданно приехала к нам и стала просить остаться до субботы, с тем чтоб ехать на раут к графине Р. Она говорила, что графиня Р. очень звала меня, что бывший тогда в Петербурге принц М. еще с прошлого бала желал познакомиться со мной, только для этого и ехал на раут и говорил, что я самая хорошенькая женщина в России. Весь город должен был быть там, и, одним словом, ни на что бы не было похоже, ежели я бы не поехала. 40

Муж был на другом конце гостиной, разговаривая с кем-то.

– Так что ж, едете, Мари? – сказала кузина.

– Мы послезавтра хотели ехать в деревню, – нерешительно отвечала я, взглянув на мужа. Глаза наши встретились, он торопливо отвернулся.

– Я уговорю его остаться, – сказала кузина, – и мы едем в субботу кружить головы. Да?

– Это бы расстроило наши планы, а мы уложились, – отвечала я, начиная сдаваться.

– Да ей бы лучше нынче вечером съездить на поклон
10 принцу, – с другого конца комнаты сказал муж раздраженно-сдержанным тоном, которого я еще не слыхала от него.

– Ах! он ревнует, вот в первый раз вижу, – засмеялась кузина. – Да ведь не для принца, Сергей Михайлович, а для всех нас я уговариваю ее. Как графиня Р. просила ее приехать!

– Это от нее зависит, – холодно проговорил муж и вышел.

Я видела, что он был взволнован больше, чем обыкновенно; это меня мучило, и я ничего не обещала кузине. Только что она уехала, я пошла к мужу. Он задумчиво ходил взад и вперед и не видал и не слыхал, как я на цыпочках вошла в комнату.

20 «Ему уж представляется милый Никольский дом, – думала я, глядя на него, – и утренний кофе в светлой гостиной, и его поля, мужики, и вечера в диванной, и ночные таинственные ужины. Нет! – решила я сама с собой, – все балы на свете и лесть всех принцев на свете отдам я за его радостное смущение, за его тихую ласку». Я хотела сказать ему, что не поеду на раут и не хочу, когда он вдруг оглянулся и, увидав меня, нахмурился и изменил кротко-задумчивое выражение своего лица. Опять пронизательность, мудрость и покровительственное спокойствие
30 простым человеком; ему нужно было полубогом на пьедестале всегда стоять передо мной.

– Что ты, мой друг? – спросил он, небрежно и спокойно оборачиваясь ко мне.

Я не отвечала. Мне было досадно, что он прячется от меня, не хочет оставаться тем, каким я любила его.

– Ты хочешь ехать в субботу на раут? – спросил он.

– Хотела, – отвечала я, – но тебе это не нравится. Да и все уложено, – прибавила я.

Никогда он так холодно не смотрел на меня, никогда так хо-
40 лодно не говорил со мной.

– Я не уеду до вторника и велю разложить вещи, – проговорил он, – поэтому можешь ехать, коли тебе хочется. Сделай милость, поезжай. Я не уеду.

Как и всегда, когда он бывал взволнован, он неровно стал ходить по комнате и не глядел на меня.

– Я решительно тебя не понимаю, – сказала я, стоя на месте и глазами следя за ним, – ты говоришь, что ты всегда так спокоен (он никогда не говорил этого). Отчего ты так странно говоришь со мной? Я для тебя готова пожертвовать этим удовольствием, а ты как-то иронически, как ты никогда не говорил со мной, требуешь, чтоб я ехала.

– Ну что ж! Ты *жертвуешь* (он особенно ударил на это слово), и я жертвую, чего же лучше. Борьба великодушия. Какого же еще семейного счастья? 10

В первый раз еще я слышала от него такие ожесточенно-насмешливые слова. И насмешка его не пристыдила, а оскорбила меня, и ожесточение не испугало меня, а сообщилось мне. Он ли, всегда боявшийся фразы в наших отношениях, всегда искренний и простой, говорил это? И за что? За то, что точно я хотела пожертвовать ему удовольствием, в котором не могла видеть ничего дурного, и за то, что за минуту перед этим я так понимала и любила его. Роли наши переменились, он – избегал прямых и простых слов, а я искала их. 20

– Ты очень переменился, – сказала я, вздохнув. – Чем я провинилась перед тобой? Не раут, а что-то другое, старое есть у тебя на сердце против меня. Зачем неискренность? Не сам ли ты так боялся ее прежде. Говори прямо, что ты имеешь против меня? – «Что-то он скажет», – думала я, с самодовольством вспоминая, что нечем ему было упрекнуть меня за всю эту зиму.

Я вышла на середину комнаты, так что он должен был близко пройти мимо меня, и смотрела на него. «Он подойдет, обнимет меня, и все будет кончено», – пришло мне в голову, и даже жалко стало, что не придется доказать ему, как он не прав. Но он остановился на конце комнаты и поглядел на меня. 30

– Ты все не понимаешь? – сказал он.

– Нет.

– Ну так я скажу тебе. Мне мерзко, в первый раз мерзко, то, что я чувствую и что не могу не чувствовать. – Он остановился, видимо, испугавшись грубого звука своего голоса.

– Да что ж? – с слезами негодования в глазах спросила я.

– Мерзко, что принц нашел тебя хорошенькою и что ты из-за этого бежишь ему навстречу, забывая и мужа, и себя, и достоинство женщины, и не хочешь понять того, что должен за тебя чувствовать твой муж, ежели в тебе самой нет чувства достоинства; напротив, ты приходишь говорить мужу, что ты *жертвуешь*, то 40

есть «показаться его высочеству для меня большое счастье, но я жертвую им».

Чем дальше он говорил, тем больше разгорался от звуков собственного голоса, и голос этот звучал ядовито, жестко и грубо. Я никогда не видала и не ожидала видеть его таким; кровь прилила мне к сердцу, я боялась, но вместе с тем чувство незаслуженного стыда и оскорбленного самолюбия волновало меня, и мне хотелось отомстить ему.

– Я давно ожидала этого, – сказала я, – говори, говори.

10 – Не знаю, чего ты ожидала, – продолжал он, – я мог ожидать всего худшего, видя тебя каждый день в этой грязи праздности, роскоши, глупого общества; и дождался... Дождался того, что мне нынче стыдно и больно стало, как никогда; больно за себя, когда твой друг своими грязными руками залез мне в сердце и стал говорить о ревности, моей ревности, к кому же? к человеку, которого ни я, ни ты не знаем. А ты, как нарочно, хочешь не понимать меня и хочешь жертвовать мне, чем же?.. Стыдно за тебя, за твое унижение стыдно!.. Жертва! – повторил он.

20 «А! так вот она власть мужа, – подумала я. – Оскорблять и унижать женщину, которая ни в чем не виновата. Вот в чем права мужа, но я не подчинюсь им».

– Нет, я ничем не жертвую тебе, – проговорила я, чувствуя, как неестественно расширяются мои ноздри и кровь оставляет лицо. – Я поеду в субботу на раут, и непременно поеду.

– И дай Бог тебе много удовольствия, только между нами все кончено! – прокричал он в порыве уже несдержанного бешенства. – Но больше уже ты не будешь мучить меня. Я был дурак, что... – снова начал он, но губы у него затряслись, и он с видимым
30 усилием удержался, чтобы не договорить того, что начал.

Я боялась и ненавидела его в эту минуту. Я хотела сказать ему многое и отомстить за все оскорбления; но ежели бы я открыла рот, я бы заплакала и уронила бы себя перед ним. Я молча вышла из комнаты. Но только что я перестала слышать его шаги, как вдруг ужаснулась перед тем, что мы сделали. Мне стало страшно, что точно навеки разорвется эта связь, составлявшая все мое счастье, и я хотела вернуться. «Но достаточно ли он успокоился, чтобы понять меня, когда я молча протяну ему руку и посмотрю на него? – подумала я. – Поймет ли он мое великодушные? Что, ежели он назовет притворством мое горе? Или с сознанием правоты и с гордым спокойствием примет мое раскаяние и простит меня? И за что, за что он, которого я так любила, так жестоко оскорбил меня?..»

Я пошла не к нему, а в свою комнату, где долго сидела одна и плакала, с ужасом вспоминая каждое слово бывшего между нами разговора, заменяя эти слова другими, прибавляя другие, добрые слова и снова с ужасом и чувством оскорбления вспоминая то, что было. Когда я вечером вышла к чаю и при С., который был у нас, встретилась с мужем, я почувствовала, что с нынешнего дня целая бездна открылась между нами. С. спросил меня, когда мы едем. Я не успела ответить.

– Во вторник, – отвечал муж, – мы еще едем на раут к графине Р. Ведь ты едешь? – обратился он ко мне.

10

Я испугалась звука этого простого голоса и робко оглянулась на мужа. Глаза его смотрели прямо на меня, взгляд их был зол и насмешлив, голос был ровен и холоден.

– Да, – отвечала я.

Вечером, когда мы остались одни, он подошел ко мне и протянул руку.

– Забудь, пожалуйста, что я наговорил тебе, – сказал он.

Я взяла его руку, дрожащая улыбка была у меня на лице, и слезы готовы были потечь из глаз, но он отнял руку и, как будто боясь чувствительной сцены, сел на кресло довольно далеко от меня. «Неужели он все считает себя правым?» – подумала я, и готовое объяснение и просьба не ехать на раут остановились на языке.

20

– Надо написать матушке, что мы отложили отъезд, – сказал он, – а то она будет беспокоиться.

– А когда ты думаешь ехать? – спросила я.

– Во вторник, после раута, – отвечал он.

– Надеюсь, что это не для меня, – сказала я, глядя ему в глаза, но глаза только смотрели, а ничего не говорили мне, как будто чем-то заволочены они были от меня. Лицо его вдруг мне показалось старо и неприятно.

30

Мы поехали на раут, и между нами, казалось, установились опять хорошие, дружелюбные отношения; но отношения эти были совсем другие, чем прежде.

На рауте я сидела между дамами, когда принц подошел ко мне, так что я должна была встать, чтобы говорить с ним. Вставая, я невольно отыскала глазами мужа и видела, что он с другого конца залы смотрел на меня и отвернулся. Мне вдруг так стало стыдно и больно, что я болезненно смутилась и покраснела лицом и шеей под взглядом принца. Но я должна была стоять и слушать, что он говорил мне, сверху оглядывая меня. Разговор наш был недолго, ему негде было сесть подле меня, и он верно почувствовал, что мне очень неловко с ним. Разговор был о про-

40

шлом бале, о том, где я живу лето, и т. д. Отходя от меня, он изъявил желание познакомиться с моим мужем, и я видела, как они сошлись и говорили на другом конце залы. Принц, верно, что-нибудь сказал обо мне, потому что в середине разговора он, улыбаясь, оглянулся в нашу сторону.

Муж вдруг вспыхнул, низко поклонился и первый отошел от принца. Я тоже покраснела, мне стыдно стало за то понятие, которое должен был получить принц обо мне и особенно о муже. Мне показалось, что все заметили мою неловкую застенчивость
10 в то время, как я говорила с принцем, заметили его странный поступок; Бог знает, как они могли объяснять это; уж и не знают ли они нашего разговора с мужем? Кузина довезла меня домой, и дорогой мы разговорились с ней о муже. Я не утерпела и рассказала ей все, что было между нами по случаю этого несчастного раута. Она успокоивала меня, говоря, что это ничего не значащая, очень обыкновенная размолвка, которая не оставит никаких следов; объяснила мне с своей точки зрения характер мужа, нашла, что он очень несообщителен и горд стал; я согласилась с ней, и мне показалось, что я спокойнее и лучше сама
20 теперь стала понимать его.

Но потом, когда мы остались вдвоем с мужем, этот суд о нем, как преступление, лежал у меня на совести, и я почувствовала, что еще больше сделалась пропасть, теперь отделявшая нас друг от друга.

VIII

С этого дня совершенно изменилась наша жизнь и наши отношения. Нам уже не так хорошо было наедине, как прежде. Были вопросы, которые мы обходили, и при третьем лице нам легче говорилось, чем с глазу на глаз. Как только речь заходила о жизни в деревне или о бале, у нас как будто мальчики бегали в глазах, и неловко было смотреть друг на друга. Как будто мы оба чувствовали, в каком месте была пропасть, отделявшая нас, и боялись подходить к ней. Я была убеждена, что он горд и вспыльчив и надо быть осторожнее, чтобы не задевать его слабости. Он был уверен, что я не могу жить без света, что деревня не по мне и что надо покоряться этому несчастному вкусу. И мы оба избегали прямых разговоров об этих предметах, и оба ложно судили друг друга. Мы уже давно перестали быть друг для друга совершеннейшими людьми в мире, а делали сравнения с другими и
40 втайне судили один другого. Я сделалась нездорова перед отъездом, и вместо деревни мы переехали на дачу, откуда муж один по-

ехал к матери. Когда он уезжал, я уже достаточно оправилась, чтоб ехать с ним, но он уговаривал меня остаться, как будто боясь за мое здоровье. Я чувствовала, что он боялся не за мое здоровье, а за то, что нам нехорошо будет в деревне; я не очень настаивала и осталась. Без него мне было пусто, одиноко, но когда он приехал, я увидела, что и он уже не прибавлял к моей жизни того, что прибавлял прежде. Прежние наши отношения, когда, бывало, всякая не переданная ему мысль, впечатление, как преступление, тяготили меня, когда всякий его поступок, слово казались мне образцом совершенства, когда нам от радости смеяться 10 чему-то хотелось, глядя друг на друга, – эти отношения так незаметно перешли в другие, что мы и не хватились, как их не стало. У каждого из нас явились свои отдельные интересы, заботы, которые мы уже не пытались сделать общими. Нас даже перестало смущать то, что у каждого есть свой отдельный, чуждый для другого мир. Мы привыкли к этой мысли, и через год мальчики даже перестали бегать в глазах, когда мы смотрели друг на друга. Исчезли совершенно его припадки веселия со мной, ребячество, исчезло его всепрощение и равнодушие ко всему, прежде возмущавшие меня, не стало больше этого глубокого взгляда, который 20 прежде смущал и радовал меня, не стало молитв, восторгов вместе, мы даже не часто виделись, он был постоянно в разъездах и не боялся, не жалел оставлять меня одну; я была постоянно в свете, где мне не нужно было его.

Сцен и размолвок больше не бывало между нами, я старалась угодить ему, он исполнял все мои желания, и мы будто любили друг друга.

Когда мы оставались одни, что случалось редко, я не испытывала с ним ни радости, ни волнения, ни замешательства, как будто я сама с собой оставалась. Я знала очень хорошо, что это был 30 муж мой, не какой-нибудь новый, неизвестный человек, а хороший человек, – муж мой, которого я знала, как самое себя. Я была уверена, что знала все, что он сделает, что скажет, как посмотрит; и ежели он делал или смотрел не так, как я ожидала, то мне уже казалось, что это он ошибся. Я ничего не ждала от него. Одним словом, это был мой муж и больше ничего. Мне казалось, что это так и должно быть, что не бывает других и между нами даже не было никогда других отношений. Когда он уезжал, особенно первое время, мне становилось одиноко, страшно, я без него чувствовала сильнее значение для меня его опоры; когда он 40 приезжал, я бросалась ему на шею от радости, хотя через два часа совершенно забывала эту радость, и нечего мне было говорить с ним. Только в минуты тихой, умеренной нежности, кото-

рые бывали между нами, мне казалось, что что-то не то, что что-то больно мне в сердце, и в его глазах, мне казалось, я читала то же. Мне чувствовалась эта граница нежности, за которую теперь он как будто не хотел, а я не могла переходить. Иногда мне это грустно было, но некогда было задумываться над чем бы то ни было, и я старалась забыть эту грусть неясно чувствуемой перемены в развлечениях, которые постоянно готовы были мне. Светская жизнь, сначала отуманившая меня блеском и лестью самолюбия, скоро завладела вполне моими склонностями, вошла
10 в привычки, наложила на меня свои оковы и заняла в душе все то место, которое было готово для чувства. Я никогда уже не оставалась одна сама с собой и боялась вдумываться в свое положение. Все время мое от позднего утра и до поздней ночи было занято и принадлежало не мне, даже ежели бы я не выезжала. Мне это было уже не весело и не скучно, а казалось, что так, а не иначе, всегда должно было быть.

Так прошло три года, во время которых отношения наши оставались те же, как будто остановились, застыли и не могли
20 сделаться ни хуже, ни лучше. В эти три года в нашей семейной жизни случились два важные события, но оба не изменили моей жизни. Это были рождение моего первого ребенка и смерть Татьяны Семеновны. Первое время материнское чувство с такою силой охватило меня и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня; но через два месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга. Муж, напротив, со времени рождения нашего первого сына стал прежним, кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность и веселье перенес на ребенка. Часто, когда я в
30 бальном платье входила в детскую, чтобы на ночь перекрестить ребенка, и заставляла мужа в детской, я замечала как бы укоризненный и строго внимательный взгляд его, устремленный на меня, и мне становилось совестно. Я вдруг ужасалась своего равнодушия к ребенку и спрашивала себя: «Неужели я хуже других женщин? Но что ж делать? – думала я. – Я люблю сына, но не могу же сидеть с ним целые дни, мне скучно; а притворяться я ни за что не стану». Смерть его матери была для него большим горем; ему тяжело было, как он говорил, после нее жить в Никольском, а хотя мне и жалко было ее и я сочувствовала горю мужа, мне
40 было теперь приятнее и спокойнее в деревне. Все эти три года мы провели большею частью в городе, в деревню я ездила только раз на два месяца, и на третий год мы поехали за границу.

Мы проживали лето на водах.

Мне было тогда двадцать один год, состояние наше, я думала, было в цветущем положении, от семейной жизни я не требовала ничего сверх того, что она мне давала; все, кого я знала, мне казалось, любили меня; здоровье мое было хорошо, туалеты мои были лучшие на водах, я знала, что я была хороша, погода была прекрасна, какая-то атмосфера красоты и изящества окружала меня, и мне было очень весело. Я не так была весела, как бывала в Никольском, когда я чувствовала, что я счастлива сама в себе, что я счастлива потому, что заслужила это счастье, что счастье мое велико, но должно быть еще больше, что все хочется еще и еще счастья. Тогда было другое; но и в это лето мне было хорошо. Мне ничего не хотелось, я ничего не надеялась, ничего не боялась, и жизнь моя, казалось мне, была полна, и на совести, казалось, было покойно. Из числа всей молодежи этого сезона не было ни одного человека, которого бы я чем-нибудь отличала от других или даже от старого князя К., нашего посланника, который ухаживал за мной. Один был молодой, другой старый, один белокурый англичанин, другой француз с бородкой, все они мне были равны, но все они были мне необходимы. Это были все одинаково безразличные лица, составлявшие радостную атмосферу жизни, окружавшую меня. Один только из них, итальянский маркиз Д., больше других обратил мое внимание своею смелостью в выражении восхищения передо мною. Он не пропускал никакого случая быть со мною, танцевать, ездить верхом, быть в казино и т. д., и говорить мне, что я хороша. Несколько раз я из окон видела его около нашего дома, и часто неприятный пристальный взгляд его блестящих глаз заставлял меня краснеть и оглядываться. Он был молод, хорош собой, элегантен и, главное, улыбкой и выражением лба похож на моего мужа, хотя и гораздо лучше его. Он поражал меня этим сходством, хотя в общем, в губах, во взгляде, в длинном подбородке, вместо прелести выражения доброты и идеального спокойствия моего мужа, у него было что-то грубое, животное. Я полагала тогда, что он страстно любит меня, и с гордым соболезнованием иногда думала о нем. Я иногда хотела успокоить его, перевести его в тон полудружеской тихой доверенности, но он резко отклонял от себя эти попытки и продолжал неприятно смущать меня своею невыражавшеюся, но всякую минуту готовою выразиться страстью. Хотя и не признаваясь себе, я боялась этого человека и против воли часто думала о нем. Муж мой был знаком с ним и еще больше, чем с другими нашими знакомыми, для которых он был только муж своей жены, держал себя холодно и высокомерно. К концу сезона я заболела и две недели не выходила из дома. Когда я в первый раз после болезни вышла вечером на музыку, я узнала, что без меня приехала дав-

но ожидаемая и известная своею красотою леди С. Около меня составилась круг, меня встретили радостно, но еще лучше круг составлен был около приезжей львицы. Все вокруг меня говорили только про нее и ее красоту. Мне показали ее, и, действительно, она была прелестна, но меня неприятно поразило самодовольство ее лица, и я сказала это. Мне этот день показалось скучно все, что прежде было так весело. На другой день леди С. устроила поездку в замок, от которой я отказалась. Почти никто не остался со мной, и все окончательно переменялось в моих глазах. Всё и все показались
10 глупы и скучны, мне хотелось плакать, скорей кончить курс и ехать назад в Россию. В душе у меня было какое-то нехорошее чувство, но я еще себе не признавалась в нем. Я сказалась слабою и перестала показываться в большом обществе, только утром выходила изредка одна пить воды или с Л.М., русскою знакомой, ездила в окрестности. Мужа не было в это время; он поехал на несколько дней в Гейдельберг, ожидая конца моего курса, чтоб ехать в Россию, и изредка приезжал ко мне.

Однажды леди С. увлекла все общество на охоту, а мы с Л.М. после обеда поехали в замок. Покуда мы шагом въезжали в коляске по извилистому шоссе между вековыми каштанами, сквозь которые дальше и дальше открывались эти хорошенькие эlegantные баденские окрестности, освещенные заходящими лучами солнца, мы разговорились серьезно, как мы не говорили никогда. Л.М., которую уже я давно знала, в первый раз представилась мне теперь хорошою, умною женщиною, с которою можно говорить все и с которою приятно быть другом. Мы говорили про семью, детей, про пустоту здешней жизни, нам захотелось в Россию, в деревню, и как-то грустно и хорошо стало. Под влиянием этого же
30 серьезного чувства мы вошли в замок. В стенах было тенисто, свежо, вверху по развалинам играло солнце, слышны были чьи-то шаги и голоса. Из двери, как в раме, виднелась эта прелестная, но холодная для нас, русских, баденская картина. Мы сели отдохнуть и молча смотрели на заходящее солнце. Голоса слышались явственнее, и мне показалось, что назвали мою фамилию. Я стала прислушиваться и невольно расслышала каждое слово. Голоса были знакомые: это был маркиз Д. и француз, его приятель, которого я тоже знала. Они говорили про меня и про леди С. Француз сравнивал меня и ее и разбирал красоту той и другой. Он не говорил ничего оскорбительного, но у меня кровь прилила к сердцу, когда я
40 расслышала его слова. Он подробно объяснял, что было хорошего во мне и что хорошего в леди С. У меня уж был ребенок, а леди С. было девятнадцать лет; у меня коса была лучше, но зато у леди стан был грациознее; леди большая дама, тогда как «ваша, –

сказал он, – так себе, одна из этих маленьких русских княгинь, которые так часто начинают появляться здесь». Он заключил тем, что я прекрасно делаю, не пытаюсь бороться с леди С., и что я окончательно похоронена в Бадене.

– Мне ее жаль. Ежели только она не захочет утешиться с вами, – прибавил он с веселым и жестоким смехом.

– Ежели она уедет, я поеду за ней, – грубо проговорил голос с итальянским акцентом.

– Счастливый смертный! он еще может любить! – засмеялся француз.

– Любить! – сказал голос и помолчал. – Я не могу не любить! без этого нет жизни. Делать роман из жизни – одно, что есть хорошего. И мой роман никогда не останавливается в середине, и этот я доведу до конца.

– Bonne chance, mon ami¹, – проговорил француз.

Дальше уже мы не слышали, потому что они зашли за угол, и мы с другой стороны услышали их шаги. Они сходили с лестницы и через несколько минут вышли из боковой двери и весьма удивились, увидав нас. Я покраснела, когда маркиз Д. подошел ко мне, и мне страшно стало, когда, выходя из замка, он подал мне руку. Я не могла отказать, и мы сзади Л.М., которая шла с его другом, пошли к коляске. Я была оскорблена тем, что сказал про меня француз, хотя втайне сознавала, что он только назвал то, что я сама чувствовала; но слова маркиза удивили и возмутили меня своею грубостью. Меня мучила мысль, что я слышала его слова, и, несмотря на то, он не боится меня. Мне гадко было чувствовать его так близко от себя; и, не глядя на него, не отвечая ему и стараясь держать руку так, чтобы не слышать его, я торопливо шла за Л.М. и французом. Маркиз говорил что-то о прекрасном виде, о неожиданном счастье встретить меня и еще что-то, но я не слушала его. Я думала в это время о муже, о сыне, о России; чего-то мне совестно было, чего-то жалко, чего-то хотелось, и я торопилась скорей домой, в свою одинокую комнату в Hôtel de Bade, чтобы на просторе обдумать все то, что только сейчас поднялось у меня в душе. Но Л.М. шла тихо, до коляски было еще далеко, и мой кавалер, мне показалось, упорно уменьшал шаг, как будто пытаюсь останавливать меня. «Не может быть!» – подумала я и решительно пошла скорее. Но положительно он удерживал меня и даже прижимал мою руку. Л.М. завернула за угол дороги, и мы были совершенно одни. Мне стало страшно.

– Извините, – сказала я холодно и хотела высвободить руку, но кружево рукава зацепилось за его пуговицу. Он, пригнувшись ко

¹ Желаю успеха, друг мой (фр.).

мне грудью, стал отстегивать его, и его пальцы без перчатки тронули мою руку. Какое-то новое мне чувство не то ужаса, не то удовольствия морозом пробежало по моей спине. Я взглянула на него с тем, чтобы холодным взглядом выразить все презрение, которое я к нему чувствую; но взгляд мой выразил не то, он выразил испуг и волнение. Его горящие, влажные глаза, подле самого моего лица, страстно смотрели на меня, на мою шею, на мою грудь, его обе руки перебирали мою руку выше кисти, его открытые губы говорили что-то, говорили, что он меня любит, что я все для него, и губы эти приближались ко мне, и руки крепче сжимали мои и жгли меня. Огонь пробежал по моим жилам, в глазах темнело, я дрожала, и слова, которыми я хотела остановить его, пересыхали в моем горле. Вдруг я почувствовала поцелуй на своей щеке и, вся дрожа и холодея, остановилась и смотрела на него. Не в силах ни говорить, ни двигаться, я, ужасаясь, ожидала и желала чего-то. Все это продолжалось одно мгновение. Но это мгновение было ужасно! Я так видела его всего в это мгновение. Так понятно мне было его лицо: этот видневшийся из-под соломенной шляпы крутой низкий лоб, похожий на лоб моего мужа, этот красивый прямой нос с раздутыми ноздрями, эти длинные остро-припомаженные усы и бородка, эти гладко выбритые щеки и загорелая шея. Я ненавидела, я боялась его, такой чужой он был мне; но в эту минуту так сильно отзывались во мне волнение и страсть этого ненавистного, чужого человека! Так непреодолимо хотелось мне отдаться поцелуям этого грубого и красивого рта, объятиям этих белых рук с тонкими жилами и с перстнями на пальцах. Так тянуло меня броситься очертя голову в открывшуюся вдруг, притягивающую бездну запрещенных наслаждений...

«Я так несчастна, – думала я, – пускай же еще больше и больше несчастий собирается на мою голову».

Он обнял меня одною рукой и наклонился к моему лицу. «Пускай, пускай еще и еще накопляется стыд и грех на мою голову».

– Je vous aime¹, – прошептал он голосом, который был так похож на голос моего мужа. Мой муж и ребенок вспомнились мне, как давно бывшие дорогие существа, с которыми у меня все кончено. Но вдруг в это время из-за поворота послышался голос Л.М., которая звала меня. Я опомнилась, вырвала свою руку и, не глядя на него, почти побежала за Л.М. Мы сели в коляску, и я тут только взглянула на него. Он снял шляпу и спросил что-то, улыбаясь. Он не понимал того невыразимого отвращения, которое я испытывала к нему в эту минуту.

¹ Я люблю вас (*фр.*).

Жизнь моя показалась мне так несчастна, будущее так безнадежно, прошедшее так черно! Л.М. говорила со мной, но я не понимала ее слов. Мне казалось, что она говорит со мной только из жалости, чтобы скрыть презрение, которое я возбуждаю в ней. Во всяком слове, во всяком взгляде мне чудилось это презрение и оскорбительная жалость. Поцелуй стыдом жег мне щеку, и мысль о муже и ребенке была мне невыносима. Оставшись одна в своей комнате, я надеялась обдумать свое положение, но мне страшно было одной. Я не допила чаю, который мне подали, и, сама не зная зачем, с горячечною поспешностью стала тотчас же собираться с вечерним поездом в Гейдельберг к мужу. 10

Когда мы сели с девушкой в пустой вагон, машина тронулась и свежий воздух пахнул на меня в окно, я стала опоминаться и яснее представлять себе свое прошедшее и будущее. Вся моя замужняя жизнь со дня переезда нашего в Петербург вдруг представилась мне в новом свете и укором легла мне на совесть. Я в первый раз живо вспомнила наше первое время в деревне, наши планы, в первый раз мне пришел в голову вопрос: какие же были его радости во все это время? И я почувствовала себя виноватою перед ним. «Но зачем он не остановил меня, зачем лицемерил передо мной, зачем избегал объяснений, зачем оскорбил? – спрашивала я себя. – Зачем не употребил свою власть любви надо мной? Или он не любил меня?» Но как бы он ни был виноват, поцелуй чужого человека вот тут стоял на моей щеке, и я чувствовала его. Чем ближе и ближе я подъезжала к Гейдельбергу, тем яснее воображала мужа и тем страшнее мне становилось предстоящее свидание. «Я все, все скажу ему, все выплачу перед ним слезами раскаяния, – думала я, – и он простит меня». Но я сама не знала, что такое «все» я скажу ему, и сама не верила, что он простит меня. 20

Но только что я вошла в комнату к мужу и увидела его спокойное, хотя и удивленное лицо, я почувствовала, что мне нечего было говорить ему, не в чем признаваться и не в чем просить его прощения. Невысказанное горе и раскаяние должны были оставаться во мне. 30

– Как это ты вздумала? – сказал он, – а я завтра хотел к тебе ехать. – Но, всмотревшись ближе в мое лицо, он как будто испугался. – Что ты? что с тобой? – проговорил он.

– Ничего, – отвечала я, едва удерживаясь от слез. – Я совсем приехала. Поедем хоть завтра домой в Россию.

Он довольно долго молча и внимательно посмотрел на меня. 40

– Да расскажи же, что с тобой случилось? – сказал он.

Я невольно покраснела и опустила глаза. В глазах его блеснуло чувство оскорбления и гнева. Я испугалась мыслей, которые

могли прийти ему, и с силой притворства, которой я сама не ожидала в себе, я сказала:

– Ничего не случилось, просто скучно и грустно стало одной, и я много думала о нашей жизни и о тебе. Уж так давно я виновата перед тобой! За что ты едешь со мной туда, куда тебе не хочется? Давно уж я виновата перед тобой, – повторила я, и опять слезы мне навернулись на глаза. – Поедем в деревню, и навсегда.

10 – Ах! мой друг, уволь от чувствительных сцен, – сказал он холодно, – что ты в деревню хочешь, это прекрасно, потому что и денег у нас мало; а что навсегда, то это мечта. Я знаю, что ты не уживешь. А вот чаю напейся, это лучше будет, – заключил он, вставая, чтобы позвонить человека.

Мне представлялось все, что он мог думать обо мне, и я оскорбилась теми страшными мыслями, которые приписывала ему, встретив неверный и как будто пристыженный взгляд, устремленный на меня. Нет! он не хочет и не может понять меня! Я сказала, что пойду посмотреть ребенка, и вышла от него. Мне хотелось быть одной и плакать, плакать, плакать...

IX

20 Давно не топлённый пустой Никольский дом снова ожил, но не ожило то, что жило в нем. Мамаши уже не было, и мы одни были друг против друга. Но теперь нам не только не нужно было одиночество, оно уже стесняло нас. Зима прошла тем хуже для меня, что я была больна и оправилась только после родов второго моего сына. Отношения наши с мужем продолжали быть тоже холодно-дружелюбные, как и во время нашей городской жизни, но в деревне каждая половица, каждая стена, диван напоминали мне то, чем он был для меня, и то, что я утратила. Как будто непрощенная обида
30 вид, что сам того не замечает. Просить прощения было не за что, просить помилования не отчего: он наказывал меня только тем, что не отдавал мне всего себя, всей своей души, как прежде; но и никому и ничему он не отдавал ее, как будто у него ее уже не было. Иногда мне приходило в голову, что он притворяется только таким, чтобы мучить меня, а что в нем еще живо прежнее чувство, и я старалась вызвать его. Но он всякий раз как будто избегал откровенности, как будто подозревал меня в притворстве и боялся, как смешного, всякой чувствительности. Взгляд и тон его говорили: все знаю, все знаю, нечего говорить; все, что ты хочешь сказать, и то
40 знаю. Знаю и то, что ты скажешь одно, а сделаешь другое. Сначала я оскорблялась этим страхом перед откровенностью, но потом

привыкла к мысли о том, что это не неоткровенность, а отсутствие потребности в откровенности. У меня язык не повернулся бы теперь вдруг сказать ему, что я люблю его, или попросить его прочесть молитвы со мной, или позвать его слушать, как я играю. Между нами чувствовались уже известные условия приличия. Мы жили каждый порознь. Он с своими занятиями, в которых мне не нужно было и не хотелось теперь участвовать, я с своею праздностью, которая не оскорбляла и не печалила его, как прежде. Дети еще были слишком малы и не могли еще соединять нас.

Но пришла весна, Катя с Соней приехали на лето в деревню, дом наш в Никольском стали перестраивать, мы переехали в Покровское. Тот же был старый Покровский дом с своею террасой, с сдвижным столом и фортепьянами в светлой зале и моею бывшею комнатой с белыми занавесками, и моими, как будто забытыми там, девичьими мечтами. В этой комнатке были две кровати — одна бывшая моя, в которой я по вечерам крестила раскидавшегося пухлого Кокосу, а другая маленькая, в которой из пеленок выглядывало личико Вани. Перекрестив их, я часто останавливалась посередине тихой комнатки, и вдруг изо всех углов, от стен, от занавесок поднимались старые, забытые молодые видения. Начи- 10
нали петь старые голоса девические песни. И где эти видения? где эти милые сладкие песни? Сбылось все то, чего я едва смела надеяться. Неясные, сливающиеся мечты стали действительностью; а действительность стала тяжелою, трудною и безрадостною жизнью. А все то же: тот же сад виден в окно, та же площадка, та же дорожка, та же скамейка вон там над оврагом, те же соловьиные песни несутся от пруда, те же сирени во всем цвету, и тот же месяц стоит над домом; а все так страшно, так невозможно изменилось! Так холодно все то, что могло быть так дорого и близко! Так же, как и в старину, мы тихо вдвоем, сидя в гостиной, говорим с Катей, и говорим о нем. Но Катя сморщилась, пожелтела, глаза ее не блестят радостью и надеждой, а выражают сочувствующую грусть и сожаление. Мы не восхищаемся им по-старому, мы судим его, мы не удивляемся, зачем и за что мы так счастливы, и не по-старому всему свету хотим рассказать то, что мы думаем; мы, как заговорщицы, шепчем друг с другом и сотый раз спрашиваем друг друга, зачем все так грустно переменялось? И он все тот же, только глубже морщина между его бровей, больше седых волос в его висках, но глубокий внимательный взгляд постоянно заволочен от меня тучей. Все та же и я, но нет во мне ни любви, ни желания любви. Нет 40
потребности труда, нет довольства собой. И так далеки и невозможны мне кажутся прежние религиозные восторги и прежняя любовь к нему, прежняя полнота жизни. Я не поняла бы теперь того,

что прежде мне казалось так ясно и справедливо: счастье жить для другого. Зачем для другого? когда и для себя жить не хочется?

Я совершенно бросила музыку с тех самых пор, как переехала в Петербург; но теперь старое фортепьяно, старые ноты снова приохотили меня.

Один день мне нездоровилось, я осталась одна дома; Катя и Соня поехали с ним вместе в Никольское смотреть новую постройку. Чайный стол был накрыт, я сошла вниз и, ожидая их, села за фортепьяно. Я открыла сонату *quasi una fantasia* и стала играть ее.

10 Никого не видно и не слышно было, окна были открыты в сад; и знакомые, грустно торжественные звуки раздавались в комнате. Я кончила первую часть и совершенно бессознательно, по старой привычке, оглянулась в тот угол, в котором он сживал, бывало, слушая меня. Но его не было; стул, давно не сдвинутый, стоял в своем углу; а в окно виднелся куст сирени на светлом закате, и свежесть вечера вливалась в открытые окна. Я облокотилась на фортепьяно обеими руками, закрыла ими лицо и задумалась. Я долго сидела так, с болью вспоминая старое, невозвратимое и робко придумывая новое. Но впереди как будто уже ничего не было, как

20 будто я ничего не желала и не надеялась. «Неужели я отжила!» – подумала я, с ужасом приподняла голову и, чтобы забыть и не думать, опять стала играть, и все то же *andante*. «Боже мой! – подумала я, – прости меня, ежели я виновна, или возврати мне все, что было так прекрасно в моей душе, или научи, что мне делать? как мне жить теперь?» Шум колес послышался по траве, и перед крыльцом, и на террасе послышались осторожные знакомые шаги и затихли. Но уже не прежнее чувство отозвалось на звук этих знакомых шагов. Когда я окончила, шаги послышались за мною, и рука легла на мое плечо.

30 – Какая ты умница, что сыграла эту сонату, – сказал он.

Я молчала.

– Ты не пила чай?

Я отрицательно покачала головой и не оглядывалась на него, чтобы не выдать следов волнения, оставшихся на моем лице.

– Они сейчас приедут; лошадь зашалила, и они сошли пешком от большой дороги, – сказал он.

– Подождем их, – сказала я и вышла на террасу, надеясь, что и он пойдет за мною; но он спросил про детей и пошел к ним. Опять его присутствие, его простой, добрый голос разуверил

40 меня в том, что что-то утрачено мною. Чего же еще желать? Он добр, кроток, он хороший муж, хороший отец, я сама не знаю, чего еще недостает мне. Я вышла на балкон и села под полотно террасы, на ту самую скамейку, на которой я сидела в день на-

шего объяснения. Уж солнце зашло, начинало смеркаться, и весенняя темная тучка висела над домом и садом, только из-за деревьев виднелся чистый край неба с потухавшею зарей и только что вспыхнувшею вечернею звездочкой. Надо всем стояла тень легкой тучки, и все ждало тихого весеннего дождика. Ветер замер, ни один лист, ни одна травка не шевелилась, запах сирени и черемухи так сильно, как будто весь воздух цвел, стоял в саду и на террасе и наплывами то вдруг ослабевал, то усиливался, так что хотелось закрыть глаза и ничего не видеть, не слышать, кроме этого сладкого запаха. Георгины и кусты розанов, еще без цвета, неподвижно вытянувшись на своей вскопанной черной рабатке, как будто медленно росли вверх по своим белым обструганным подставкам; лягушки изо всех сил, как будто напоследках перед дождем, который их загонит в воду, дружно и пронзительно трещали из-под оврага. Один какой-то тонкий непрерывный водяной звук стоял над этим криком. Соловьи перекликались вперемежку, и слышно было, как тревожно перелетали с места на место. Опять нынешнюю весну один соловей пытался поселиться в кусте под окном, и когда я вышла, слышала, как он переместился за аллею и оттуда щелкнул один раз и затих, тоже ожидая. 10 20

Напрасно я себя успокоивала; и я ждала и жалела чего-то.

Он вернулся сверху и сел подле меня.

– Кажется, помочит наших, – сказал он.

– Да, – проговорила я, и мы оба долго молчали.

А туча без ветра все опускалась ниже и ниже; все становилось тише, пахучее и неподвижнее, и вдруг капля упала и как будто подпрыгнула на парусинном навесе террасы, другая разбилась на щебне дорожки; по лопуху шлепнуло, и закапал крупный, свежий, усиливающийся дождик. Соловьи и лягушки совсем затихли, только тонкий водяной звук хотя и казался дальше из-за дождя, но все стоял в воздухе, и какая-то птица, должно быть забившись в сухие листья недалеко от террасы, равномерно выводила свои две однообразные ноты. Он встал и хотел уйти. 30

– Куда ты? – спросила я, удерживая его. – Здесь так хорошо.

– Послать зонтик и калоши надо, – отвечал он.

– Не нужно, сейчас пройдет.

Он согласился со мной, и мы вместе остались у перил террасы. Я оперлась рукою на склизкую мокрую перекладину и выставила голову. Свежий дождик неровно кропил мне волосы и шею. Тучка, светлея и редая, проливалась над нами; ровный звук дождя заменился редкими каплями, падавшими сверху и с листьев. Опять внизу затрещали лягушки, опять встрепенулись соловьи и 40

из мокрых кустов стали отзываться то с той, то с другой стороны. Все просветлело перед нами.

– Как хорошо! – проговорил он, присаживаясь на перилы и рукой проводя по моим мокрым волосам.

Эта простая ласка, как упрек, подействовала на меня, мне захотелось плакать.

– И чего еще нужно человеку? – сказал он. – Я теперь так доволен, что мне ничего не нужно, совершенно счастлив!

10 «Не так ты говорил мне когда-то про свое счастье, – подумала я. – Как ни велико оно было, ты говорил, что все еще и еще чего-то хотелось тебе. А теперь ты спокоен и доволен, когда у меня в душе как будто невысказанное раскаянье и невыплаканные слезы».

– И мне хорошо, – сказала я, – но грустно именно оттого, что все так хорошо передо мной. Во мне так несвязно, неполно, все хочется чего-то; а тут так прекрасно и спокойно. Неужели и у тебя не примешивается какая-то тоска к наслаждению природой, как будто хочется чего-то невозможного и жаль чего-то прошедшего?

Он принял руку с моей головы и помолчал немного.

20 – Да, прежде и со мной это бывало, особенно весной, – сказал он, как будто припоминая. – И я тоже ночи просиживал, желая и надеясь, и хорошие ночи!.. Но тогда все было впереди, а теперь все сзади; теперь с меня довольно того, что есть, и мне славно, – заключил он так уверенно небрежно, что, как мне ни больно было слышать это, мне поверилось, что он говорит правду.

– И ничего тебе не хочется? – спросила я.

30 – Ничего невозможного, – отвечал он, угадывая мое чувство. – Ты вот мочишь голову, – прибавил он, как ребенка лаская меня, еще раз проводя рукой по моим волосам, – ты завидуешь и листьям и траве за то, что их мочит дождик, тебе бы хотелось быть и травой, и листьями, и дождиком. А я только радуюсь на них, как на все на свете, что хорошо, молодо и счастливо.

– И не жаль тебе ничего прошлого? – продолжала я спрашивать, чувствуя, что все тяжеле и тяжеле становится у меня на сердце.

Он задумался и опять замолчал. Я видела, что он хотел ответить совершенно искренно.

– Нет! – отвечал он коротко.

40 – Неправда! неправда! – заговорила я, оборачиваясь к нему и глядя в его глаза. – Ты не жалеешь прошлого?

– Нет! – повторил он еще раз, – я благодарен за него, но не жалею прошлого.

– Но разве ты не желал бы воротить его? – сказала я.

Он отвернулся и стал смотреть в сад.

– Не желаю, как не желаю того, чтоб у меня выросли крылья, – сказал он. – Нельзя!

– И не поправляешь ты прошедшего? не упрекаешь себя или меня?

– Никогда! Все было к лучшему.

– Послушай! – сказала я, дотрогиваясь до его руки, чтоб он оглянулся на меня. – Послушай, отчего ты никогда не сказал мне, что ты хочешь, чтобы я жила именно так, как ты хотел, зачем ты давал мне волю, которою я не умела пользоваться, зачем ты перестал учить меня? Ежели бы ты хотел, ежели бы ты иначе вел меня, ничего, ничего бы не было, – сказала я голосом, в котором сильней и сильней выражалась холодная досада и упрек, а не прежняя любовь. 10

– Чего бы не было? – сказал он удивленно, оборачиваясь ко мне. – И так ничего нет. Все хорошо. Очень хорошо, – прибавил он, улыбаясь.

«Неужели он не понимает или, еще хуже, не хочет понимать?» – подумала я, и слезы выступили мне на глаза. 20

– Не было бы того, что, ничем не виноватая перед тобой, я наказана твоим равнодушием, презрением даже, – вдруг высказалась я. – Не было бы того, что без всякой моей вины ты вдруг отнял у меня все, что мне было дорого.

– Что ты, душа моя! – сказал он, как бы не понимая того, что я говорила.

– Нет, дай мне договорить... Ты отнял от меня свое доверие, любовь, уважение даже; потому что я не поверю, что ты меня любишь теперь, после того, что было прежде. Нет, мне надо сразу высказать все, что давно мучит меня, – опять перебила я его. – Разве я виновата в том, что не знала жизни, а ты меня оставил одну отыскивать... Разве я виновата, что теперь, когда я сама поняла то, что нужно, когда я, скоро год, бьюсь, чтобы вернуться к тебе, ты отталкиваешь меня, как будто не понимая, чего я хочу, и все так, что ни в чем нельзя упрекнуть тебя, а что я и виновата и несчастна! Да, ты хочешь опять выбросить меня в ту жизнь, которая могла сделать мое и твое несчастье. 30

– Да чем же я показал тебе это? – с искренним испугом и удивлением спросил он.

– Не ты ли еще вчера говорил, да и беспрестанно говоришь, что я не уживу здесь и что нам опять на зиму надо ехать в Петербург, который ненавистен мне? – продолжала я. – Чем бы подержать меня, ты избегаешь всякой откровенности, всякого ис- 40

кренного, нежного слова со мной. И потом, когда я паду совсем, ты будешь упрекать меня и радоваться на мое падение.

– Постой, постой, – сказал он строго и холодно, – это нехорошо, что ты говоришь теперь. Это только доказывает, что ты дурно расположена против меня, что ты не...

– Что я не люблю тебя? говори! говори! – досказала я, и слезы полились у меня из глаз. Я села на скамейку и закрыла платком лицо.

«Вот как он понял меня!» – думала я, стараясь удерживать 10 рыдания, давившие меня. «Кончена, кончена наша прежняя любовь», – говорил какой-то голос в моем сердце. Он не подошел ко мне, не утешил меня. Он был оскорблен тем, что я сказала. Голос его был спокоен и сух.

– Не знаю, в чем ты упрекаешь меня, – начал он, – ежели в том, что я уже не так люблю тебя, как прежде...

– Любил! – проговорила я в платок, и горькие слезы еще обильнее полились на него.

– То в этом виновато время и мы сами. В каждой поре есть своя любовь... – Он помолчал. – И сказать тебе всю правду? ежели уже ты хочешь откровенности. Как в тот год, когда я только 20 узнал тебя, я ночи проводил без сна, думая о тебе, и делал сам свою любовь, и любовь эта росла и росла в моем сердце, так точно и в Петербурге и за границей я не спал ужасные ночи и разламывал, разрушал эту любовь, которая мучила меня. Я не разрушил ее, а разрушил только то, что мучило меня, успокоился и все-таки люблю, но другую любовьюю.

– Да, ты называешь это любовьюю, а это мука, – проговорила я. – Зачем ты мне позволил жить в свете, ежели он так вреден тебе казался, что ты меня разлюбил за него?

30 – Не свет, мой друг, – сказал он.

– Зачем не употребил ты свою власть, – продолжала я, – не связал, не убил меня? Мне бы лучше было теперь, чем лишиться всего, что составляло мое счастье, мне бы хорошо, не стыдно было.

Я опять зарыдала и закрыла лицо.

В это время Катя с Соней, веселые и мокрые, с громким говором и смехом вошли на террасу; но, увидав нас, затихли и тотчас же вышли.

Мы долго молчали, когда они ушли; я выплакала свои слезы, и мне стало легче. Я взглянула на него. Он сидел, облокотив голову на руку, и хотел что-то сказать в ответ на мой взгляд, но 40 только тяжело вздохнул и опять облокотился.

Я подошла к нему и отвела его руку. Взгляд его задумчиво обратился на меня.

– Да, – заговорил он, как будто продолжая свои мысли. – Всем нам, а особенно вам, женщинам, надо прожить самим весь вздор жизни, для того чтобы вернуться к самой жизни; а другому верить нельзя. Ты еще далеко не прожила тогда этот прелестный и милый вздор, на который я любовался в тебе; и я оставлял тебя выживать его и чувствовал, что не имел права стеснять тебя, хотя для меня уже давно прошло время.

– Зачем же ты проживал со мною и давал мне проживать этот вздор, ежели ты любишь меня? – сказала я.

– Затем, что ты и хотела бы, но не могла бы поверить мне; ты сама должна была узнать, и узнала. 10

– Ты рассуждал, ты рассуждал много, – сказала я. – Ты мало любил.

Мы опять помолчали.

– Это жестоко, что ты сейчас сказала, но это правда, – проговорил он, вдруг приподнимаясь и начиная ходить по террасе, – да, это правда. Я виноват был! – прибавил он, останавливаясь против меня. – Или я не должен был вовсе позволить себе любить тебя, или любить проще, да.

– Забудем все, – сказала я робко. 20

– Нет, что прошло, то уж не воротится, никогда не воротишь, – и голос его смягчился, когда он говорил это.

– Все вернулось уже, – сказала я, на плечо кладя ему руку.

Он отвел мою руку и пожал ее.

– Нет, я неправду говорил, что не жалею прошлого; нет, я жалею, я плачу о той прошедшей любви, которой уж нет и не может быть больше. Кто виноват в этом? не знаю. Осталась любовь, но не та, осталось ее место, но она вся выболела, нет уж в ней силы и сочности, остались воспоминания и благодарность, но... 30

– Не говори так... – перебила я. – Опять пусть будет все, как прежде... Ведь может быть? да? – спросила я, глядя в его глаза. Но глаза его были ясны, спокойны и не глубоко смотрели в мои.

В то время как я говорила, я чувствовала уже, что невозможно то, чего я желала и о чем просила его. Он улыбнулся спокойно, кроткою, как мне показалось, старческою улыбкой.

– Как еще ты молода, а как я стар, – сказал он. – Во мне уже нет того, чего ты ищешь; зачем обманывать себя? – прибавил он, продолжая так же улыбаться.

Я молча стала подле него, и на душе у меня становилось спокойнее. 40

– Не будем стараться повторять жизнь, – продолжал он, – не будем лгать сами перед собою. А что нет старых тревог и волне-

ний, и слава Богу! Нам нечего искать и волноваться. Мы уж нашли, и на нашу долю выпало довольно счастья. Теперь нам уже нужно стираться и давать дорогу вот кому, – сказал он, указывая на кормилицу, которая с Ваней подошла и остановилась у дверей террасы. – Так-то, милый друг, – заключил он, пригибая к себе мою голову и целуя ее. Не любовник, а старый друг целовал меня.

А из сада все сильнее и слаще поднималась пахучая свежесть ночи, все торжественнее становились звуки и тишина, и на небе чаще зажигались звезды. Я посмотрела на него, и мне вдруг стало легко на душе; как будто отняли у меня тот больной нравственный нерв, который заставлял страдать меня. Я вдруг ясно и спокойно поняла, что чувство того времени невозвратно прошло, как и самое время, и что возратить его теперь не только невозможно, но тяжело и стеснительно бы было. Да и полно, так ли хорошо было это время, которое казалось мне таким счастливым? И так давно, давно уже все это было!

– Однако пора чай пить! – сказал он, и мы вместе с ним пошли в гостиную. В дверях мне опять встретилась кормилица с Ваней. Я взяла на руки ребенка, закрыла его оголившиеся красные ножонки, прижала его к себе и, чуть прикасаясь губами, поцеловала его. Он как во сне зашевелил ручонкою с растопыренными сморщенными пальцами и открыл мутные глазенки, как будто отыскивая или вспоминая что-то; вдруг эти глазенки остановились на мне, искра мысли блеснула в них, пухлые оттопыренные губки стали собираться и открылись в улыбку. «Мой, мой, мой!» – подумала я, с счастливым напряженьем во всех членах прижимая его к груди и с трудом удерживаясь от того, чтобы не сделать ему больно. И я стала целовать его холодные ножонки, животик и руки и чуть обросшую волосами головку. Муж подошел ко мне, я быстро закрыла лицо ребенка и опять открыла его.

– Иван Сергеич! – проговорил муж, пальцем трогая его под подбородочек. Но я опять быстро закрыла Ивана Сергеича. Никто, кроме меня, не должен был долго смотреть на него. Я взглянула на мужа, глаза его смеялись, глядя в мои, и мне в первый раз после долгого времени легко и радостно было смотреть в них.

С этого дня кончился мой роман с мужем; старое чувство стало дорогим, невозвратимым воспоминанием, а новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту...

НЕОКОНЧЕННОЕ

РОМАН РУССКОГО ПОМЕЩИКА

⟨I⟩

Глава 1. Обедня

С 7 часов утра на ветхой колокольне Николо-Кочаковского прихода гудел большой колокол. С 7 часов утра по проселочным пыльным дорогам и свежим тропинкам, вьющимся по долинам и оврагам, между влажными от росы хлебом и травую, пестрыми, веселыми толпами шел народ из окрестных деревень. Все больше бабы, дети и старики. Мужику Петровками и в праздник нельзя дома оставить: телега сломалась, в гумённый подпорки поставить, плетень заплести, у другого и навоз не довожен. Земляную работу грех работатъ, а около дома Бог простит. Дело мужицкое! 10

Кривой пономарь выпустил веревку из рук и сел подле церкви, молча вперив старческий равнодушный взгляд в подвигавшиеся пестрые толпы народа; отец Поликарп вышел из своего домика и, поднятием шляпы отвечая на почтительные поклоны своих духовных детей, прошел в церковь. Народ наполнил церковь и паперть, пономарь пронес в алтарь медный кофейник с водой, полотенце с красными концами и старое кадило, откуда вслед за этим послышалось сморканье, плесканье, ходьба, кашляние 20 и плевание.

Наконец движение в алтаре утихло, только слышен был изредка возвышающийся голос отца Поликарпа, читающего молитвы. Отставной священник, слепой дворник и бывший дворецкий покойного хабаровского князя, дряхлый Пиман Тимофеевич стояли уже на своих обычных местах в алтаре. На правом клиросе стояли сборные певчие-охотники: толстый бабуринский приказчик-октава, особенно замечательный в тройном «Господи помилуй», его брат Митенька, женский портной, любезник и первый игрок на гармонике – самый фальшивый, высокий и пискли- 30

вый дискант во всем приходе, буфетчик – второй бас, два мальчика, сыновья отца Игната, и сам отец Игнат, второй священник, бывший 36 лет тому назад в архиерейских певчих.

На паперти толпа заколебалась и раздалась на две стороны: человек в синей ливрейной шинели, с салопом на руке, стараясь, должно быть, показать свое усердие, крепко и без всякой надобности толкал и без того с торопливостью и почтительностью расступавшихся прихожан; за лакеем следовала довольно смазливая и нарядная барынька, лет 30, с лицом полным и улыбающимся.

10 За веселой барыней следовал супруг ее, Михаил Иванович Михайлов, человек лет 40. На нем был черный фрак, клетчатые брюки с лампасами, цветной пестрый жилет и цветной, очень пестрый шарф, на котором лежал огромной величины выпущенный некрахмаленный воротник рубашки. В наружности его не замечалось ничего особенного, исключая нешто длинных, курчавых, рыжеватых волос с пробором посередине, которые чрезвычайно отчетливо лежали с обеих сторон его белесового, ровного и спокойного лица. Вообще он ходил, стоял, крестился и кланялся очень прилично. Даже слишком прилично, так что именно это

20 обстоятельство не располагало в его пользу.

Прибывшие супруги стали около амвона. Прихожане с почтительным любопытством смотрели на них; они с спокойным равнодушием смотрели на прихожан. Обедня все еще не начиналась.

– Гаврило, – сказала шепотом барыня.

Гаврило выдвинулся вперед и почтительно пригнул свое ухо с серьгой к устам барыни.

– Попроси батюшку вынуть за упокой, вот по этой записке; да спроси отца Поликарпия, скоро ли начнется служба?

30 Гаврило живо растолкал набожных старушек с книжечками и пятаками, столпившихся у боковых дверей, и скрылся.

– Батюшка велел сказать, что очень хорошо-с, а начнется скоро, – сказал он, возвратившись.

Кривой пономарь, хотя нетвердую от старости, но самоуверенно походкою, с таким же точно видом сознания своего значения, с каким ходит секретарь по присутствию и актер за кулисами, вышел за лакеем и стал продираться сквозь толпу. Уже много пятаков и грошей из узелков в клетчатых платках и мошон перешло в потертый комод, из которого отставной солдат давал

40 свечи, и уже свечи эти, переходя из рук в руки, давно плыли перед иконами Николая и Богоматери, а обедня все не начиналась. Отец Поликарпий дожидался молодого князя Нехлюдова. Он привык ожидать его матушку, дедушку, бабушку; поэтому, не-

смотря на то, что молодой князь не раз просил его не заботиться о нем, отец Поликарпий никак не мог допустить, чтобы хабаровский помещик – самый значительный помещик в его приходе – мог дожидаться или опоздать.

Кривой пономарь вышел за церковь и, приставив руку ко лбу, стал с усилием смотреть на хабаровскую дорогу. По ней тянулись волны, но не было видно венской голубой коляски, в которой он привык видеть полвека хабаровских князей.

– Что, верно уж к достойной? – спросил пономаря молодой человек, проходя мимо него. 10

Заметно было, что пономарь был опечален и изумлен появлением князя не в венской коляске, а пешком, с запыленными сапогами, в широкополой шляпе и парусинном пальто.

– Нет, батюшка ваше сиятельство, все вас дожидали, – и он принялся звонить.

Молодой человек покраснел, пожал плечьями и скорыми шагами пошел в церковь, ломая на каждом шагу свою шляпу, чтобы отдавать поклоны направо и налево мужикам, снявшим перед ним шапки. Толпа на паперти опять заколебалась, и супруги оглянулись назад, но любопытная барыня ничего не увидела, кроме мелькнувшей выше других коротко обстриженной русой головы, которая тотчас же скрылась от ее взоров в углу за клиросом. Михаил Иванович не оглядывался больше, но его супруга несколько раз посматривала по тому направлению, по которому во время обедни, которая тотчас же и началась, преимущественно кадил отец дьякон. 20

Молодой человек стоял совершенно прямо, крестился во всю грудь и с набожностью преклонял голову, и все это он делал даже с некоторою аффектацией. Он с вниманием, казалось, следил за службой, но иногда задумывался и заглядывался. Раз он так засмотрелся на 6-летнего мальчика, который стоял подле него, что повернулся боком к иконам и стал ковырять пальцем воск с высокого подсвечника. Хорошенький мальчик с светлыми, как лен, волосами, подняв кверху головку, разинув рот, смотрел своими голубыми глазенками на все его окружающее. 30

– А это что? – говорил он, дергая за сарафан подле него стоящую женщину и указывая на дьякона.

Молодого человека вывели из задумчивости слова: «Миколе». Он оборотился и, как видно было, с величайшим удовольствием принял подаваемую ему свечу. Дотронувшись ею до плеча какого-то мужика, он передал ее, прибавив твердо и громко: «Миколе». 40

Певчие пели прекрасно, исключая концерта, который совсем было упал от несогласия отца Игната с Митенькой, даже бабу-

ринский приказчик, покраснев от напряжения, не мог покрыть своей октавой страшную разладицу. Несколько стариков, старух и крикливых детей причащались Святых Тайн. Г-жа Михайлова выставляла нижнюю губку и очень мило морщилась, когда грудные младенцы кричали около нее. Она удивлялась, как глуп этот народ: зачем носить детей в церковь? Разве грудной ребенок может понимать что-нибудь? Только другим мешают. Вот ее нервы, например, никак не выдерживают этого крика. Г-жа Михайлова, у которой ее собственный ребенок оставался дома на руках кормилицы, не принимала в соображение, что у крестьянских женщин не бывает кормилиц и что они кормят своих детей и на работе и в церкви.

Священник показался с крестом в царских дверях. Господа Михайловы и за ними люди позначительнее – приказчики, однодворцы, дворовые, дворники – подвинулись ближе к амвону, чтобы, как водится, приложиться к кресту одним прежде других. Молодой человек вместе с толпой тоже невольно придвинулся к амвону. Отец Поликарпий обратился с крестом к нему, как будто не замечая г-жу Михайлову, которая уже крестилась, быстро подо-
20 двинувшись к нему так близко, что касалась его ризы.

Молодой человек, заметив ее движение и краску досады, которая покрыла ее лицо, вспыхнул и не трогался с места; но отец Поликарпий упорствовал. Нечего было делать: он торопливо подошел к кресту и, совершенно растерявшись, не отвечая на поздравление с праздником священника, не оглядываясь, протеснился сквозь толпу и вышел на паперты.

Хабаровский князь, которого родные звали Николенькой и которого я впредь буду называть так же, был еще очень, очень
30 молод: ему было 22 года, пушок, такой же светлый, как волосы мальчика, на которого он загляделся в церкви, покрывал его подбородок, и трудно даже было предположить, чтобы пушок этот когда-нибудь превратился в щетину. Он был выше обыкновенного роста, сильно и приятно сложен. (В сложении, как и в лице, есть неуловимые, неопределимые черты красоты, которые отталкивают или привлекают нас.) Но, несмотря на этот рост, на несколько горделивую походку и осанку (он высоко носил голову) и на выражение твердости или упрямства, которое заметно было в его небольших, но живых и серых глазах, только изда-
40 лка и с первого взгляда его можно было принять за мужа: ясно было, что он еще почти ребенок, но милый ребенок. Это заметно было и по плоскости груди, и по длине рук, и по слишком нежным очертаниям около глаз, и по светло-красному недавнему загари, покрывавшему его лицо, и по нежности кожи на шее; а в

особенности по неутвердившейся и совершенно детской добродушной улыбке. В одежде его, как ни мало употребила времени для наблюдений г-жа Михайлова, она заметила непростительное неряшество. Пальто в пятнах, шейный платок Бог знает как повязан, на панталонах пятна: ясно, что запачкано дегтем и не отмыто. Сапоги с заплатками. А руки-то? Красные, загорелые, без перчаток. И г-жа Михайлова решила, что в молодом князе есть что-то очень, очень странное.

Глава. Шкалик

Отходя от церкви, Дмитрий еще раз набожно перекрестился и, надев шляпу, собирался было отправиться домой, как в толпе 10 выходящего народа заметил маленького плотного краснорожего мужика в синем кафтане. Это был дворник с большой дороги, занимающийся лугами, скотинкой, хлебом, отчасти и рощами, но преимущественно всякого рода плутовством, как-то: корчемством, даванием денег и хлеба в рост бедным мужичкам, кляузничеством и т. п. Когда можно, грубиян, когда нужно, маленький, ничтожный человек, иногда пьяный и распутный, иногда притворно набожный и смиренный, но всегда хитрый, скрытный и красноречивый. Дворник с большой дороги всегда человек опытный в житейском деле и говорить мастер. Он от других всегда 20 получает *деньжонки*, а платит *деньги*, он приятель со всеми суседскими приказчиками, со всеми мужичками зажиточными и с становым ладит, но бедный мужик – это природный враг его. Уж попадись он только ему в передел. «Народ оголтелый, необузданный, неотесанный». Он целый век или дома всыпает и пересыпает разный хлеб у амбара и, перетянувши ремни, разъезжает верхом на гнедой мохнатой лошади, которую купил у гуртовщиков, по разным делишкам в околотке. Часто лошадь эту можно видеть без седока, привязанной у крыльца домика с вывеской.

Прокутился ли помещик, он скачет к нему и торгует 10 000-ный 30 лес, а всех денег у него тысячи не наберется. Однако он за весь предлагает 2000; его гонят в шею, он скачет к купцам, уговаривает, чтобы цены не надбавляли, а он для них купит, только б ему за хлопоты магарычи были: он всем доволен, он человек ничтожный! и опять едет к помещику и опять; потом уж помещику до зарезу: купцы не едут, за ним присылают, глядишь, а за 10 000-(ный) лес он 500 рубликов задатку дает, да по вырубке 2000 приплатит, и лес его.

Неурожай ли случился, ему мужичок за осьмину четверть на другой год всыпает. Другой за семена ему год, почитай, целый 40 работает. Он привык по 2 гривны пуд сена брать, да по рублю

проезжим спускать, другой торговли он и не знает. Десять процентов в год получить он и пачкаться не станет; а торговля ему всякая открыта. Платит мещанские подати и за детей солдатчины не боится, потому что в разные города приписаны, а в гильдию записаться – он не дурак. Да и что? «Куда ему? – он человек ничтожный». Он любит чай, муку, в которой вечно пачкается, лошадок, водку и донское пивал с писарем, который ему клязусы пишет; очень любит трактиры и половых, а когда говорят о девках, то со смеху помирает. Но грамоте не знает; только умеет
10 имя писать да «цифры». Прозвище его Шкалик, но все зовут его Алешка, исключая бедных мужиков, которые, низко кланяясь, говорят ему «Алексей Тарасыч, батюшка».

Когда Алешка «прогорит» или «вылетит в трубу», то это обстоятельство всегда возбуждает истинную радость во всех его знакомых, и тогда он, погибший человек, или попадает в острог или спивается с кругу. К несчастью, Алешки, Липатки и Куприяшки изобилуют не в одном N уезде, а их по всей Руси много найдется.

И досадно то, что они все носят на себе самый чистый русский характер, в котором привык видеть много доброго и родного. Больно
20 смотреть, как иностранные артисты, девки, магазинщики, художники за вещи, не имеющие никакой положительной ценности, получают через руки наших помещиков трудом и потом добытые кровные деньги русского народа и, самодовольно посмеиваясь, увозят их за море, к своим соотечественникам. Но, по крайней мере, тут можем мы обвинять европейское влияние, можем утешать себя мыслью, что люди эти спекулировали на счет наших маленьких страстишек, в особенности на счет подлеишей и обыкновеннейшей из них – на счет тщеславия. Мы можем утешать себя мыслью, что,
30 разрабатывая тщеславие, они наказывают его. Но каково же видеть Алешек и Куприяшек, успешно разрабатывающих незаслуженную нищету и невинную простоту народа, которые одни причиною
удачи их спекуляций. Алешки и Куприяшки, не в том, так в другом виде, всегда будут существовать, но разве не от помещиков зависит ограничить круг их преступной деятельности?

– Шкалик, поди-ка сюда, – сказал Николенька, подзывая его и отходя в сторону. – Что ж, братец? – надень шапку – когда ты намерен кончить дело с Болхой? Надень же, я тебе говорю, – я тебе сказал, что, ежели ты до нынешнего дня с ним не помиришься, я подам на тебя в суд, и уж не прогневайся.

40 – Помилуйте, *васясо*, я готов для вашей милости все прекратить и с Болхой готов мировую исделать и все, что вам будет угодно, только не обидно ли будет-с, – говорил Алешка, опять снимая шляпу.

– Ах, скука какая! Надень, двадцать раз тебе говорю, мне не в шляпе дело, а в том, чтобы ты говорил толком, а не болтал всякий вздор: хочешь ты или нет кончить дело мировой? Ежели хочешь, ступай сейчас к Болхе и отдай ему по уговору пятьдесят рублей; ты вспомни, что уж вот вторая неделя; ежели не хочешь, так скажи прямо, что не хочешь.

– Оно точно, васясо, – отвечал Шкалик, надевая шляпу и мутно глядя через плечо князю, – деньги отдать ничто, да больно обидно будет: наше сено разломали, наши веревки растащили, да чуть до смерти не убили, а вы с меня же изволите деньги требовать, да судом изволите страшать. Сами изволите знать, мы за деньгами не постоим, да дело-то незаконное, а по судам, слава Богу, нам не впервой ходить, нас и Матвей Иваныч знают.

– Что?

– Впрочем, на то есть воля вашего сиятельства, только насчет денежек-то извольте уж лучше оставить, – прибавил он, поглаживая бородку.

– Не понимаю! Так ты говоришь, что ты ни в чем не виноват, что ты бабу не бил?

– Никак нет-с, – отвечал Шкалик, с выражением совершенного равнодушия поднимая брови.

– И денег платить не хочешь?

– За что ж нам платить? сами извольте посудить, васясо, – отвечал он с улыбкой, добродушно потряхивая головой.

– Ах, ка-кой – плут!!! – вскричал князь, отвернувшись от него с видом чрезвычайного изумления и отвращения. – Хорошо же, негодяй! – прибавил он, вспыхнув и быстро подходя к нему.

– Помилуйте, васясо, – отвечал Шкалик, снимая шляпу и отступая, – мы люди маленькие, темные.

30 Минутное волнение изобразилось на лице Шкалика при виде больших рук Николеньки, которые, выскочив из карманов и сделав грозный жест, энергически сложились за спиной. Казалось, руки эти напрашивались на другое употребление.

– Послушай, Шкалик, я советую тебе обдуматься, – продолжал он спокойнее, но в это время кто-то сзади довольно грубо толкнул его, прибавив: «позвольте». Он отодвинулся и, не переменяя сурового выражения лица, оглянулся. Г-жа Михайлова, сопутствуемая своим супругом и выделявая головой и глазами самые, по ее мнению, завлекательные маневры с явным намерением обратить на себя чье-то внимание, вертлявой походочкой проходила к экипажу.

40 – Советую тебе обдуматься, – продолжал князь к Шкалику, тотчас же отвернувшись. – Ты сам, верно, чувствуешь, что посту-

паешь бесчестно и бессовестно. Помяни же мое слово, что, ежели не я, то Бог жестоко накажет тебя за такие гнусные дела. А тогда уж будет поздно. Лучше обдумайся.

– Известно, ваше сиятельство, все под Богом ходим, – с глубоким вздохом отвечал Шкалик, но князь, повернув за угол, уже шел по тропинке, ведущей в Хабаровку.

– Все под Богом ходим, – повторил Шкалик, бросая лучезарную улыбку на окружавших его слушателей.

– Заметил ты, Михаил Иванович, – говорила г-жа Михайлова, усаживаясь в новые троечные дрожечки на рессорах, – какое у него лицо неприятное. Что-то этакое злое ужасно. Ну, а уж ходит, нечего сказать, не по-княжески. 10

– Да и слухи про него не так-то хороши, – отвечал Михайло Иванович, глубокомысленно вглядываясь в лоснящийся круп правой пристяжной. – Князь, так и держи себя князем, а это что?

Глава. Кляузное дело

На прошлой неделе пять хабаровских баб ходили в казенную засеку за грибами. Набрал по лукошке, часу в десятом они, возвращаясь домой через шкаликовскую долину (он снимал ее от казны), присели отдохнуть около стогов. По шкаликовской долине, занимающей продолговатое пространство в несколько десятин между старым казенным лесом, молодым березником и хабаровским озимым полем, течет чуть видная, чуть слышная речка Сорочка. На одном из ее изгибов росли три развесистые березы, а между березами стояли стога старого сена и вместе с ними кидали по утрам причудливую лиловую тень через речку на мокрую от росы шкаликовскую траву. Тут-то полдничали и спали бабы. Тонкая сочная трава растет около речки, но ближе к темным дубам, стоящим на опушке леса, она сначала превращается в осоку и глухую зарость, а еще ближе к лесу только кое-где тонкими 20
былинками пробивается сквозь сухие листья, желуди, сучья, каряжник, которые сотни лет сбрасывает с себя дремучий лес и кидает на сырую землю. Лес идет в гору, и чем дальше, тем суровее; изредка попадаются голые стволы осин с подсохшими снизу сучьями и круглой, высоко трепещущей зеленой верхушкой; кой-где скрипит от ветра нагнувшаяся двойная береза над сырым оврагом, в котором, придавив ореховый и осиновый подросток, с незапамятных времен гниет покрытое мохом свалившееся дерево. Но когда смотришь с долины, видны только зеленые макушки 30
высоких деревьев, все выше и выше, все синее и синее. И конца не 40
видать. Березник, лесок незавидный, нешто, нешто, слега, а то и

оглобля не выйдет. Трава тоже пустая, тонкая, редкая, косой нехватишь. По ней Шкалик скотину пускает. Зато – место веселое. В то самое время, как бабы отдыхали под стогами, Шкалик из города заехал посмотреть свою долину и, объехав ее кругом, удостоверившись, что трава растет и побоев нет, подъехал к стогам. Дальнейшие же обстоятельства могу передать только в том виде, в каком они дошли до меня.

В тот же день князю Нехлюдову доложили, что приехал Шкалик и имеет сообщить важное дело.

10 Выйдя на крыльцо, Николенька нашел Шкалика в самом странном положении. Лицо его было исцарапано, волосы, борода и усы растрепаны и слеplены кровью, над правым глазом синеватая шишка и такая же на верхней губе. Одежда, сгорбленное положение и болезненное выражение глаз и сильный запах водки свидетельствовали о необычайном его расстройстве.

– Что с тобой? – спросил князь.

– Ваше сиятельство, защитите.

– Что? что такое?

– Ваши мужички... жисть мою прекратили.

20 – Как жисть прекратили? Когда? где?

– Только вот-вот вырвался от злодеев, спасибо объездчик меня спас от варваров, а то бы там и лишиться бы мне смерти, ваше сиятельство.

– Где это было и за что? Объяснись обстоятельно.

– На Савиной поляне, ваше сиятельство. Ездил я в город позавчера по своим надобностям, только нынче напился чайку с Митряшкой, ежели изволите знать, что на канаве двор, он и говорит: «Поедем лучше, Алексей, вместе, я тебя на телеге доведу, а лошадь сзади привяжь».

30 – Ну, – сказал князь, усаживаясь на перила и продолжая слушать с напряженным вниманием.

Как только Шкалик приступил к изложению своего несчастья, все следы его слабости и расстройства постепенно исчезли, он выпрямился и говорил твердо. Он объяснил, как они с Митряшкой заезжали на конную, как потом Митряшка убедительно приглашал его в трактир, но как он, к своему несчастью, не согласился на его предложения. Потом следовал рассказ о том, какие выгоды может приносить Савина поляна и какие рождаются на ней сена. Далее он передал, что чувствовал как бы предчувствие своего несчастья, но нелегкий затащил его заехать на долину, на которой он и был изувечен хабаровскими мужичками. О причинах же, доведших его до этого несчастного положения, он умалчивал.

– Какие же были мужички на долине и за что вы поссорились? – продолжал допрашивать князь, замечая, что Шкалик так же охотно умалчивал о сущности обстоятельства, как охотно распространялся о предшествующих тому случаях с ним, с Митряшкой и с другими его знакомыми.

– Игнатка Болхин был, ваше сиятельство.

– Ну что же у вас с ним было?

– Ничего не было.

– Так за что же он тебя бил?

– По ненависти, ваше сиятельство.

– Да неужели он так, без всякой причины, подошел и начал молча бить тебя? Что же он говорил?

– Ты, – говорит, – наши луга травишь, да ты хлеб наш топчешь, да ты такой, да ты сякой, взял да и начал катать. Уж они меня били, били.

– Кто же они?

– Тут и бабы, тут и девки, тут уж я и не помню.

– Зачем же там бабы были?

– Бог их ведает, – отвечал он, махая рукой, как будто желая прекратить этот неприятный для него разговор. – Сено мое пораскидано, стога разломаны...

– Зачем же они сено разломали?

– По злобе, ваше сиятельство. Я еще сказал Афеньке Болхиной: «вы сено, бабочки, не ломайте», как она схватит жердь, – продолжал он, представляя ее жест и выражение лица, – а тут Игнатка с поля как кинется... Истиранили, ваше сиятельство, на век нечеловеком исделали, – продолжал он, опять приводя свое лицо и фигуру в положение прежнего расстройства. – Двадцать лет живу, такого со мной не бывало. Меня здесь все знают, я никому обиды не делал, ну уж и меня рассудите, ваше сиятельство, по-Божьему, чем нам кляузы иметь...

– Странно, – говорил князь, пожимая плечами, – так, без причины бросились бить. Хорошо, я все дело нынче вечером раз узнаю, а ты приезжай завтра рано утром, и, ежели твоя правда, строго взыщу, будь покоен.

– Коли им острастки не дать, ваше сиятельство, они убить рады – это такой народ.

– Будь покоен, прощай.

Князь воротился в комнату. Несчастный Шкалик в виду лакея насилиу влез на лошадь, но, выехав на большую дорогу, начал выделывать туловищем, плетью и головой престранные эволюции и вдруг пустил лошадь во весь скок до самого кабака.

В тот же день вечером призванный Игнатка Болхин объяснил дело это совсем иначе. Он просил у князя милости и защиты от Шкалика, который будто бы, подъехав к стогу, у которого отдыхали бабы, почал их бесщадно бранить за расхищение каких-то веревок и сена. На слова их, что они ни его, ни сена не трогают, он отвечал тем, что, схватив с стога жердь, погнался за ними.

Четыре бабы убежали, но Афенька Болхина была на сносе, поэтому не могла уйти, спотыкнулась, упала и была избита им так, что, едва-едва дотащившись домой, тотчас же выкинула.

10 Он же (Игнатка), находясь на бугре, что за березником (на который сваливал навоз), услышал крик и кинулся туда. Увидав, что хозяйка его уж хрипит, а Шкалик ее все таскает, он отнял у него хозяйку и жердь. Он готов был идти к присяге, что все это была истинная правда, и опирался при этом на свидетельство объездчика. Допрошенный объездчик из гвардейцев действительно подтвердил слова Игната, с одобрительной улыбкой прибавил, что Игнатка-таки похолодил Шкалика и что Шкалик, верно, не сделал бы такого, не будь он в Бахусе. Дело уяснилось.

Глава. Примиренье

20 Шкалик не являлся. Но когда посланный от князя конторщик объявил ему, что Афенька выкинула, что князь изволят крепко гневаться и обещаются взыскать с него по законам, – а они у нас до всего сами доходят, – прибавил конторщик, – Шкалик трухнул. Ему смутно представились острог, кобыла, плети, и все это так неприятно подействовало на него, что он поехал к князю, молча упал ему в ноги и только после неоднократных требований встать и объясниться, всхлипывая, сказал: «виноват, ваше сиятельство, не погубите!» Трогательное выражение раскаяния Шкалика подействовало на неопытного князя.

30 – Я вижу, ты не злой человек, – сказал он, поднимая его за плечи. – Ежели ты искренно раскаиваешься, то Бог простит тебя, мне же на тебя сердиться нечего; дело в том, простит ли тебя Болха и его жена, которым ты сделал зло? Я позову к себе Болху и поговорю с ним. Может быть, все и уладится.

При этом юный князь сказал еще несколько благородных, но не доступных для Шкалика слов о том, что прощать обиды лучшая и приятнейшая добродетель, но что в настоящем случае он не может доставить себе этого наслаждения, потому что обида нанесена не ему, а людям, вверенным Богом его попечению, что

40 он может только внушать им добро, но управлять чувствами этих людей он не может. Шкалик на все изъявил совершенное согла-

сие. Игнатка был позван в другую комнату, и юный князь, очень довольный своей ролью посредника, стал внушать Игнатке, очень удивленному тем, что все дело еще не прекратилось таской, которую он дал Шкалику, – чувства любви и примирения.

– Потеря твоя уж невозвратима, – говорил Николенька, – и, разумеется, ничем нельзя заплатить за сына, которого ты лишился, но так как этот человек искренно раскаивается и просит простить его, то не лучше ли тебе кончить с ним мировой? Он, я уверен, не откажется заплатить тебе пятьдесят рублей с тем только, чтобы ты оставил это дело и забыл все прошлое. Так что ли? 10

– Слушаю, ваше сиятельство!

– Нет, ты говори по своим чувствам, я тебя принуждать не намерен. Как ты хочешь?

– На то воля вашего сиятельства.

Больше этого князь ничего не мог добиться от не понимающего хорошенько, в чем дело, Игната, но, приняв и эти слова за согласие, он с радостным чувством перешел к Шкалику. Шкалик опять на все был совершенно согласен. Князь, очень довольный приведенным к окончанию примирением, перешел опять к Игнату и, слегка приготовив его, привел к Шкалику в переднюю, где 20 и заставил их, к обоюдному удивлению и к своему большому удовольствию, поцеловаться. Шкалик хладнокровно отер усы и, не взглядывая на Игната, простился, заметив, что с ним денег только целковый, а что он привезет остальные завтра. «Вот, – думал Николенька, – как легко сделать доброе дело. Вместо вражды, которая могла довести их Бог знает до чего и лишить их душевного спокойствия, они теперь искренно помирились».

Глава. Умный человек

Шкалик, не заезжая домой, отправился в город – прямо в нижнюю слободу и остановился у разваленного домика чиновницы Кошановой. Исхудалая, болезненная и оборванная женщина в чепце стояла в углу сорного, вонючего двора и мыла белье. Десятилетний мальчик в одной рубашонке, одном башмаке с ленточкой, но в соломенном картузике сидел около нее и делал из грязи плотину на мыльном ручье, текшем из-под корыта, шестилетняя девочка в чепчике с засаленными розовыми лентами лежала на животе посередине двора и надрывалась от крика и плача, но не обращала на себя ничьего внимания. 30

– Здравствуйте, Марья Григорьевна, – сказал Шкалик, въезжая на двор и обращаясь к женщине в чепце, – как бы вашего 40 Василья Федорыча увидеть?

– И, батюшка, Алексей Тарасыч, – отвечала женщина, счищая мыло с своих костлявых рук, – четвертую неделю не вижу.

– Что так?

– Пьет! – грустно отвечала женщина.

В одном слове этом и голосе, которым оно было сказано, заключалось выражение продолжительного и тяжелого горя.

– Верите ли, до чего дошли: ни хлеба, ни дров, ни денег, ничего нет, так приходилось, что с детьми хоть с сумой иди. Спасибо, добрые люди нашлись, дали работу, да и то мое здоровье какое? Куда мне стиркой заниматься? – продолжала женщина, как будто вспоминая лучшие времена. – Вот только тем и кормлюсь: куплю в день две булочки, да и делю между ними, – прибавила она, как видно, с удовольствием распространяясь о своем несчастье и указывая на детей. – А печки мы, кажется, с Пасхи не топили. Вот жизнь моя какая и до чего он довел меня бесчувственный, а кажется, мог бы семью прокормить. Ума палата, кажется, по его уму министром только бы быть, мог бы в свое удовольствие жить и семейство... все водочка погубила.

– А разве не знаешь, где он? Мне дельце важное до него есть.

Описание нищеты подействовало на Шкалика, должно быть, не так, как ожидала Марья Григорьевна; он презрительно поглядывал на нее и говорил ей уже не «вы», а «ты».

– Говорят, на съезжей сидит. Намедни, слышно, они у Настьки гуляли; так там драка какая-то с семинарскими случилась. Говорят, мой-то Василий Федорович в сердцах одному палец откусили что ли. Бог их знают.

– Он теперь трезвый, я-чай?

Женщина помолчала немного, утерла глаза щиколками руки и ближе подошла к лошади Шкалика.

– Алексей Тарасыч! вам, верно, его надо насчет бумаг. Вы сами знаете – он вам уж писал, так, как он, никто не напишет. Уж он, кажется, самому царю напишет. Сделайте такую милость, Алексей Тарасыч, – продолжала Марья Григорьевна, краснея и кланяясь, – не давайте ему в руки ничего за труды: все пропьет. Сделайте милость, мне отдайте. Видите мою нищету.

– Это уж там ваше дело. Мое дело заплатить.

– Верите ли, со вчерашнего утра у детей куска хлеба в роте не было, хоть бы вы... – Но тут голос Марьи Григорьевны задрожал, лицо ее покраснело, она быстро подошла к корыту, и слезы покатались в него градом.

– А пускают ли к нему? – спросил Шкалик, поворачивая лошадь.

Марья Григорьевна махнула рукой и, рыдая, принялась стирать какую-то салфетку.

Все, кто только знал Василья Федоровича, отзывались о нем так: «О! умнейший человек, и душа чудесная, только одно...»

Такое мнение основывалось не на делах его, потому что никогда он ничего ни умного, ни доброго не сделал, но единственно на утвердившемся мнении о его уме, красноречии и на том, что он будто бы служил в Сенате. «Заслушаешься его речей», – говорили его знакомые и в особенности те, которые обращались к нему для сочинения просьб, писем, докладных записок и т. п. В сочинении такого рода бумаг для безграмотных людей и состояли с незапамятных времен его средства к существованию в то короткое время года, в которое он не пил запоем или, как, смягчая это выражение, говорили о нем, – не бывал болен. 10

Мы не беремся решать вопроса, действительно ли существует эта болезнь, к которой особенно склонен известный класс русского народа, но скажем только одно: по нашему замечанию, главные симптомы этой болезни составляют беспечность, бесчестный промысел, равнодушие к семейству и упадок религиозных чувств, общий источник которых есть полуобразование. 20

Хотя умнейший человек знал отчасти гражданские и уголовные законы, но в бумагах, сочиняемых им, ясность и основательность изложения дела большей частью приносилась в жертву риторическим цветам; так что сквозь слова «высокодобродетельный, всемилостивейше снизойти, одр изнурительной медицинской болезни» и т. п., восклицательные знаки и размахи пера, смысл проглядывал очень, очень слабо. Это-то, кажется, и нравилось тем, которые обращались к нему. Лицо его, украшенное взбитым полуседым хохлом, выражало добродушие и слабость; никак нельзя было предполагать, чтобы такой человек мог откусить 30 палец семинаристу.

Умнейший человек, небритый, испачканный, избитый и испитой, в одной рубашке, лежал на кровати сторожа и не был пьян. Он внимательно выслушал рассказ Шкалика о деле его с князем. Шкалик обращался с Василием Федоровичем с чрезвычайным почтением. Узнав, что заболевшая от побоев баба была взята в устроенную недавно князем больницу и уже выздоровела, что от князя никакого прощения не поступало, а должно было поступить такого-то содержания (Шкалик достал от конторщика черновое прошение), что свидетель был 40 только один, умнейший человек сказал, что никто, кроме его, не может устроить этого дела, но что он, так и быть, берется за него, тем более что Шкалику выгоднее, вместо того чтобы

платить 50 рублей какому-то мужлану, заплатить ему хоть 15. «Так-то, брат Алешка», – сказал он, приподнимаясь. «Так точно», – отвечал Шкалик. После этого умнейший человек, не слушая обычных лестных слов Шкалика насчет своего высокого ума, впал в задумчивость. Плодом этой задумчивости были две бумаги следующего содержания. 1) По титуле. Такого-то и туда прошение, а о чем, тому следуют пункты. 1) Проезжая туда-то и туда-то, нашел на поляне такой-то и такой-то сено мое расхищенным (ночью должно было разломать два
10 стога и увезти во двор). 2) Похитителями были хабаровские крестьяне, в чем я удостоверился, застав их на месте преступления. 3) Увидав, что гнусный и преступный замысел их открыт, они возымели намерение лишить меня жизни, но все- милостивейшее Провидение спасло меня незримым перстом своим и т. д.; 4) и потому прошу, дабы с злоумышленными похитителями оногo сена и грабителями поступлено было по законам. К подаче надлежит туда-то, сочинял такой-то и т. д.

Вторая бумага: отзыв на прошение, которое мог подать князь.

20 В числе похитителей сена, означенных в прошении моем, поданном тогда-то, преждевременно разрешившаяся безжизненным плодом женщина Афенья Болхина не находилась, а поэтому в несчастьи, ее постигшем, я и не мог быть причинен. Но, как слышно, произошло то от побоев мужа ее, наказывавшего ее за распутное поведение. Боясь же открыть свое преступление помещику своему, студенту, князю Нехлюдову, имевшему к вышеупомянутой Афенье особенное пристрастие (что видно из того, что она была тотчас же взята для пользования на барский двор), вышеупомянутый крестьянин Болха
30 ложно показал, что она находилась во время покражи моего сена и буйства, произведенного хабаровскими крестьянами такого-то числа на Савиной поляне, и что я мог быть причиной несвоевременного ее разрешения и т. д.

Умнейший человек получил тотчас же обещанные 15 рублей, из которых только полтинник, и то с бранью, перешел в руки притащившейся с детьми в слезах Марьи Григорьевны, а на остальные же умнейший человек и министр продолжал быть болен, то есть пить запоем. Шкалик с радостной улыбкой получил, взамен 15 рублей, две красноречивые, драгоценные бумаги.
40 Эти-то бумаги находились уже в его кармазинном кармане, когда он после обедни глубокомысленно говорил князю: «Все под Богом ходим, ваше сиятельство».

Глава. Размышления князя

Юный князь скорыми шагами шел к дому. Прихожане с любопытством поглядывали на него, замечая отрывистые жесты, которые он делал, рассуждая сам (с) собой. Он был сильно возмущен. «Нет! – думал Николенька, – бесстыдная ложь, отпирательство от своих слов, вот что возмущает меня. Я не понимаю, даже не могу понять, как может этот человек после всего, что он мне говорил, после слез, которые казались искренними, так нагло отказываться от своих слов и иметь духу смотреть мне в глаза! Нет, правду говорил Яков, он решительно дурной человек, и его должно наказать. Я буду слаб, ежели я этого не сделаю. Но прав ли я? Не виноват ли я в том, что он теперь отказывается? Зачем я требовал эти проклятые деньги? Мне и тогда что-то говорило, что не годится в таком деле вмешивать деньги. Так и вышло. Может, он точно раскаивался; но я привел это хорошее чувство в столкновение с деньгами, с скупостью, и скупость взяла верх. Точно, пятьдесят рублей для Болхи значит много, и хотя не полное, но все-таки было вознаграждение, а для него пожертвование пятнадцати рублей было доказательством его искренности. Разумеется, ежели бы я теперь перестал требовать деньги, он охотно бы помирился и опять поцеловался бы, – вспомнив эту сделанную им смешную сцену между Шкаликком и Игнаткой, князь вздрогнул и покраснел до ушей, – но что же бы это было за примирение? комедия. Довольно и раз сделать глупость. Главное то, – продолжал князь, нахмурившись и прибавляя шагу, – он меня одурачил. Я могу за это сердиться, могу желать отмстить ему, потом могу смеяться над собой и своим сердцем, могу забывать и презирать его обиды. Все это будет очень любезно, – продолжал он иронически, – но какое я имею право забывать не свои обиды, а зло, несчастье, которое он причинил людям, которых я обязан покровительствовать – обязан, потому что они не имеют средств сами защищаться. Ежели я оставляю дело это так, то что же обеспечит не только собственность, но личность, семейство – самые священные права моих крестьян? Они не могут защищать их; поэтому обязанность эта лежит на мне. Я сам не могу защитить их, поэтому я должен искать защиты у правительства. Да, я не с Шкаликком буду тягаться, а я буду отстаивать самые священные права своих подданных. Тут нет ни меня, ни Шкалика, а тут есть справедливость, которой я должен и буду служить». Николенька в первый раз начинал тяжбу. Это тревожило его. Хотя он и был юристом в университете, но имел самое смутное и неприязненное понятие о присутственных местах. Поэтому, чтобы решиться иметь с ними дело, он должен был вызвать в окружающих должное для него понятие о долге.

Глава. Иван Чурис

Подходя к Хабаровке, Дмитрий остановился, вынул из кармана записную книжку, которую всегда носил с собой, и на одной из страниц прочел несколько крестьянских с отметками имен.

«Иван Чурис – просил сошек», прочел он и, взойдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа.

Жилище Ивана Чуриса составляли полусгнивший, подопре-
10 лый с углов струб, похилившийся и вросший в землю так, что над самой навозной завалиной виднелось одно разбитое оконце –
красное волоковое с полуоторванным ставнем и другое – волчье,
заткнутое хлопком; рубленые сени, с грязным порогом и низкой
дверью, которые были ниже первого сруба, и другой маленький
срубец, еще древнее и еще ниже сеней; ворота и плетеная клеть.
Все это было когда-то покрыто под одну неровную крышу, те-
перь же только на застрехе густо нависла черная гниющая соло-
ма, наверху же местами виден был решетник и стропила. Перед
двором был колодезь с развалившимся срубом, остатком столба
и колеса и с грязной лужей, в которой полоскались утки. Около
20 колодца стояли две старые, старые, треснувшие и надломленные
раkitы, но все-таки с широкими бледно-зелеными ветвями. Под
одной из этих раkit, свидетельствовавших о том, что кто(-то) и
когда-то заботился о украшении этого места, сидела восьмилет-
няя белокурая девчонка и заставляла ползать вокруг себя другую
двухлетнюю девчонку. Дворной щенок, вилявший хвостом около
них, увидав князя, опрометью бросился под ворота и залился от-
туда испуганным дребезжащим лаем.

– Дома ли Иван? – спросил Николенька.

Старшая девочка остолбенела и начала все более открывать
глаза, меньшая раскрыла рот и сбиралась плакать. Небольшая
30 старушонка, повязанная белым платком, из-под которого выби-
вались полуседые волосы, и в изорванной клетчатой паневе, низ-
ко подпоясанной стареньким, красноватым кушаком, притаив-
шись в сенях, выглядывала из-за дверей.

Николенька подошел к сеням. «Дома, кормилец», – прогово-
рила жалким голосом старушонка, низко кланяясь и как будто
очень испугавшись. Николенька, поздоровавшись, прошел ми-
мо прижавшейся в сенях и подперевшейся ладонью бабы на
двор. На дворе бедно лежал клочьями старый почерневший на-
воз. На навозе валялся боров, созревшая колода и вилы. Навесы
40 вокруг двора, под которыми кое-где беспорядочно лежали ка-
душки, сани, телега, колесо, колоды, соха, борона, сваленные в
кучу негодные колодки для ульев, были вовсе раскрыты, и одна

сторона их вовсе обрушилась, так что спереди переметы лежали уже не на углах, а на навозе. Иван Чурис топором и обухом выламывал плетень, который придавила крыша. Иван Чурис был человек лет пятидесяти, ниже обыкновенного роста. Черты его загорелого продолговатого лица, окруженного темно-русою с проседью бородою и такими же густыми волосами, были красивы и сухи. Его темно-голубые полузакрытые глаза выражали ум и беззаботность. Выражение его рта, резко обозначавшегося, когда он говорил, из-под длинных редких усов, незаметно сливающихся с бородою, было столько же добродушное, сколько и насмешливое. По грубости кожи, глубоким морщинам и резко обозначенным жилам на шее, лице и руках, неестественной сутуловатости, особенно поразительной при маленьком росте, кривому дугообразному положению ног и большему расстоянию большого пальца его руки от кисти, видно было, что вся жизнь его прошла в работе – даже в слишком трудной работе.

Вся одежда его состояла из белых посконных порток, с синими заплатками на коленях и такой же рубахи без ластовиков с дырками на спине, показывающими здоровое белое тело. Рубаха низко подпоясывалась тесемкой с висевшим на ней медным ключиком.

– Бог помочь тебе, Иван, – сказал князь. Чурисенок (как называли его мужики), увидав князя, сделал энергическое усилие, и плетень выпростался из-под стропил; он воткнул топор в колоду и, оправляя пояс, вышел из-под навеса.

– С праздником, ваше сиятельство, – сказал он, низко кланяясь и встряхивая головой.

– Спасибо, любезный... вот пришел твое хозяйство проведать. Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня.

– Сошки-то? Известно на что сошки, батюшка ваше сиятельство. Хоть мало-мальски подпереть хотел, сами извольте видеть – вот анадьсь угол завалился, да еще помиловал Бог, что скотины в ту пору не было, да и все-то еле-еле висит, – говорил Чурис, презрительно осматривая свои раскрытые кривые сараи. – Теперь и стропила-то, и откосы, и переметы, только тронь, глядишь, дерева дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь?

– Так для чего же ты просил у меня только пять сошек? – спросил его Дмитрий.

– Как же быть-то? старые сохи подгнили, сарай обвалился, надо же как-нибудь извернуться...

– Так на что же тебе пять сошек? Когда один сарай уж завалился и другие скоро завалятся. Тут нужны не сошки, а стропила, переметы, столбы.

Чурисенок молчал.

– Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек, так и говорить надо было, – сказал Митя.

– Вестимо нужно, да взять-то где. Не все же на барский двор ходить! Коли нашему брату повадку дать, то за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет насчет двух дубовых макушек, что на гумне лежат, – сказал он, робко кланясь и переминаясь, – так тоже я которые подменю, которые поурежу, из старого как-нибудь соорудая.

– Да и ведь ты сам говоришь, что все у тебя старо и гнило: нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий. Так уж ежели делать, так делать все заново, чтобы не даром работа пропадала. Ты скажи мне верно: может твой двор простоять зиму или нет? Чурис на минуту задумался.

– Должён завалиться, – сказал он вдруг.

– Ну вот видишь ли! Ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор перестроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе.

– Много довольны вашей милостью, – отвечал, почесываясь, Чурис. – Мне хоть бы бревна четыре да сошек пожаловали, так я, може, сам управлюсь, а который негодный лес выберется, тот в избу на подпорки пойдет.

– А разве у тебя изба плоха?

– Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь. Намедни и то накатила с потолка бабу убила.

– Как убила?

– Да так убила, ваше сиятельство, по спине как полыхнет ее, так она до ночи, сердешная, замертво лежала.

– Что ж, прошло?

– Прошло-то прошло, да Бог ее знает, все хворает.

– Чем ты больна? – спросил князь у охавшей бабы, показавшейся в дверях.

– Все вот тут не пускает меня, да и шабаш, – отвечала баба, указывая на свою тощую грудь.

– Отчего же ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Разве вам не повещали об этом?

– Повещали, кормилец, да недосуг все. И на барщину, и дома, и ребятишки, все одна. Дело наше одинокое, – отвечала старушонка, жалостно потряхивая головой.

[Учрежденное князем с такой любовью и надеждою на несомненную пользу деревенское заведение для подания простых медицинских средств больным крестьянам не могло принести пользы в этом случае, которого он не только не предполагал, но и понять не мог хорошенько. Это озадачило его, он поспешил переменить разговор.]

Глава 7. Его изба

Князь вошел в избу. [Налево от низкой двери в углу перед лавкою на земляном неровном полу стоял кривой стол; над столом в углу стояла деревянная черная, черная икона с медным венчиком, несколько суздальских картинок, истыканных тараканами и покрытых странными славянскими словами, были наклеены возле. Но эти безграмотные картинки и тараканы не помешали часто возноситься из этого мрачного угла чистым услышанным молитвам.]

10 [За столом была широкая лавка, покрытая рогожей и овчинами, около нее и под ней стояли светец, кадушки, ушат, ведра, ухват. Противуположную сторону занимали почерневшая большая смрадная печь и полати.]

Неровные темно-серые стены были увешаны разным тряпьем и хламом и покрыты тараканами. Изба была так мала, что в ней буквально трудно было поворотиться, и так крива, что ни один угол не был прям. В середине потолка была большая щель, и, несмотря что в двух местах были подпорки, потолок, казалось, не на шутку угрожал разрушением.

20 – Да, изба очень плоха, – сказал князь, всматриваясь в лицо Чуриса, который потупившись, казалось, не хотел начинать говорить об этом.

– Задавит нас и ребятишек задавит, – начала приговаривать баба, прислонившись к стене под полатями и, казалось, собираясь плакать.

– Ты не говори, – строго сказал ей Чурис и продолжал, обращаясь к князю и пожимая плечами, – и ума не приложу, что делать, ваше сиятельство, и подпорки и подкладки клал; ничего нельзя исделать. Как тут зиму зимовать? Коли еще подпорки по-
30 ставить да новый накатник настлать, да перемет переменить, да покрыть хорошенько, так, може, как-нибудь и пробьемся зимото, только избу-те всю подпорками загородим, прожить можно, а тронь, так щепки живой не будет.

Николеньке было ужасно досадно, что Чурис не обратился прежде к нему, тогда как он никогда не отказывал мужику и только того и добивался, чтобы все прямо приходили к нему за своими нуждами, – а довел себя до такого положения. Он рассердился даже, пожал плечами и покраснел, но вид нищеты и спокойная беззаботность окружающих его не только смягчили его гнев, но даже
40 превратили его в какое-то грустное, но доброе чувство.

– Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне этого? – сказал он тоном нежного упрека, садясь на лавку.

– Не посмел, ваше сиятельство, – отвечал Чурис, но он говорил это так смело и развязно, что трудно было верить ему.

– Наше дело мужицкое, как мы смеем, да мы... – начала было всхлипывая баба.

– Не гуторь, – лаконически сказал Чурис, полуоборачиваясь к жене.

– В этой избе тебе жить нельзя, это вздор, – сказал Николенька, подумав несколько, – а вот что мы сделаем: видел ты каменные герардовские – эти с пустыми стенами – избы, что я построил на Старой Деревне?

10

– Как не видать-с, – отвечал Чурис, насмешливо улыбаясь, – мы немало диву дались, как их клали – такие мудреные. Еще ребята смеялись, что не магази ли будут от крыс в стены засыпать. Избы важные – острог словно.

– Да, избы славные, и прочные, и просторные, и сухие, и теплые, и две семьи в каждой могут жить, и от пожара не так опасно.

– Неспорно, ваше сиятельство.

– Ну так вот, одна изба, чистая, сухая, десятиаршинная, с сениями и пустою клетью совсем уж готова, я тебе ее и отдам, ты свою сломаешь, она на амбар пойдет, двор тоже перенесешь, вода там славная, огороды я вырежу тебе из новины. Земли твои во всех трех полях тоже там под боком вырежу. Что ж, разве это тебе не нравится? – сказал князь, заметив, что, как только он заговорил о переселении, Чурис с тупым выражением лица, опустив глаза в землю, не двигался с места.

20

– Воля вашего сиятельства, – отвечал он, не поднимая глаз.

Старушонка выдвинулась вперед, как будто задетая за живое и желая сказать свое мнение.

– Воля вашего сиятельства, – сказал Чурис, – а на Старой Деревне нам жить не приходится.

30

– Отчего?

– Нет, ваше сиятельство, коли нас туды переселить, мы вам навек мужиками не будем. Там какое житье? Да там и жить-то нельзя.

– Да отчего?

– Разоримся, ваше сиятельство.

– Отчего?

– Как же там жить? место нежилое, вода неизвестная, выгона нету-ти, конопляники у нас здесь искони навозные, добрые, а там что? Да и что там? голь! ни плетней, ни овинов, ни сараев, ни ничего нету-ти. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погоните. Место новое, неизвестное, – повторял он, задумчиво покачивая головой.

40

Николенька, не любивший слепого повиновения от своих крестьян, – но худо ли, хорошо – считавший необходимым объяснить им причины своих распоряжений, – особенно касающихся их собственно, вступил с Чурисом в длинное объяснение выгод переселения в вновь устроенный им хутор. Николенька говорил дельно, но Чурис делал иногда такие неожиданные возражения, что князь приходил в недоумение. Так, Чурис не предполагал возможности примежевать переселенному мужику земли около хутора, предвидя нескончаемые распри по этому случаю между
10 владельцами земель, он находил еще, что отрезывать около хутора особый выгон будет невыгодно и неудобно. Он сказал еще с прикрытою добродушною простотою насмешливостью, что, по его мнению, хорошо бы поселить на хуторе стариков дворовых и Алешу-дурачка, чтоб они бы там хлеб караулили.

«Вот бы важно-то было». Но главный аргумент и который он повторял чаще других, был тот, что «место нежилое, необнакнов-
венное».

– Да что ж, что место нежилое, – терпеливо отвечал Николенька, – ведь и здесь когда-то место было нежилое, а вот живут,
20 и там вот ты только первый поселись с легкой руки.

– И, батюшка, ваше сиятельство, как можно сличить, – с живостью отвечал Чурис, как будто испугавшись, чтобы князь не принял окончательного решения, – это место с тамошним: здесь на миру место, место веселое, обычное, и дорога, и пруд тебе, белье что ли бабе стирать, скотину ли поить и все наше заведенье мужицкое, тут и гумно, и огородишки, и ветлы вот, что мои родители садили здесь, и дед мой, и батька здесь Богу душу отда-
ли, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Будет милость ваша избу поправить,
30 много довольны вашей милостью, а нет, так и в старенькой свой век как-нибудь доживем. Заставьте век Богу молить, – продолжал он с чувством и низко кланяясь, – не сгоняйте меня с гнезда нашего. Ведь это гнездо наше, ваше сиятельство.

В это время старушонка выскочила вперед и в слезах упала в ноги совершенно сконфуженному Николеньке.

– Не губи, кормилец, ты наш отец, ты наша мать, куда нам селиться, мы люди старые, одинокие, как Бог, так и ты...

Николенька пришел в сильнейшее волнение: он вскочил с лавки, морщился, краснел, не знал, куда деваться, и никак не мог
40 уговорить бабу перестать.

– Что ты! встань, пожалуйста. Коли не хотите, так не надо, я принуждать не стану, – говорил, расчувствовавшись, Николенька, и без всякой причины махая руками.

Невыразимо грустное чувство овладело им, когда он сел опять на лавку и в избе водворилось молчание, прерываемое только хныканьем бабы, удалившейся под полати и утиравшей слезы рукавом рубахи; он понял, что значит для этих людей разваливающаяся избенка, обваленный колодезь с лужей, гниющие ветлы перед кривым оконцем, клевушки и сарайчик. Он понял, что какое бы ни было их гнездо, они не могут не любить его. Пускай вся жизнь их прошла в нем в тяжелом труде, частом горе и лишениях; но все-таки это было их гнездо, в нем выражалась вся 50-летняя трудная их деятельность.

10

– Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба, я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем тогда, что я посвятил свою жизнь для вас, что я готов сам лишиться себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы.

Слова эти ясно доказывали неопытную молодость Николеньки. Он не знал, что обещания такого рода не прибавляют никакой цены их исполнению, что, напротив, благодеяния без приготовлений гораздо сильнее действуют на душу тех, которые их получают; не знал, что слова эти запомнятся и в случае неисполнения их вселят недоверие в его мужиках и в нем самом удвоят тягостное чувство позднего раскаяния. Он не знал и того, что такого рода излияния не способны возбуждать доверия ни в ком и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело и не охотнике до выражения чувств, хотя глубоко восприимчивом. Но простодушный Николенька не мог не излить благородное чувство, преполнявшее его душу.

20

Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал Николеньку, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он и говорит о вещи, совершенно до нас не касающейся и несколько неинтересной.

30

– Но ведь я не могу всем давать все, что от меня требуют. Ежели бы я не отказывал всем, которые у меня просят леса, скоро у меня ничего не осталось, и я не мог бы дать тому, кто истинно нуждается. Затем-то я отделил заказ и определил его для исправления крестьянского строения. Лес этот теперь уж не мой, а ваш – крестьянский, и уж я им не могу распоряжаться, а распоряжается мир, как знает. Ты приходи нынче на сходку, я миру поговорю о твоей просьбе, коли он присудит тебе избу дать, так и хорошо, а у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе помочь, но дело уже не мое, а мирское.

40

– Много довольны вашей милостью, – отвечал смущенный Чурис, – коли на двор леску ублагоотворите, так мы и так поправимся.

– Нет, ты приходи.

– Слушаю.

Николеньке, видно, хотелось еще спросить что-то, он не вставал, и после довольно неприятного для него молчания он робко спросил, заглядывая в пустую нетопленную печь:

– Что, вы уж обедали?

Под усами Чуриса обозначилась несколько насмешливая и вместе грустная улыбка, он не отвечал.

10 – Какой обед, кормилец? – тяжело вздыхая, проговорила баба, – хлебушка поснедали, вот и обед наш. За сняткой нынче ходить неколи было, так и щец сварить не из чего, а что кваску было там, ребятам дала.

– Нынче пост голодный, ваше сиятельство, – вмешался Чурис, – хлеб да лук, вот и пища наша мужицкая. Еще слава-ти Господи, хлебушка-то у меня, по милости вашей, по сию пору хватило, а то сплошь и хлеба-то нету, а луку ныне везде недород, у Михаила Брюхина за пучок по грошу берут, а покупать нашему брату неоткуда. С Пасхи, почитай, что и в церкву не ходил: свечку Миколе не на что купить.

20 Николенька знал, в какой бедности живут крестьяне, но мысль эта была так невыносимо тяжела для него, что он против воли забывал истину и всякий раз, когда ему напоминали ее, у него на сердце становилось еще грустнее и тяжелее.

– Отчего вы так бедны? – сказал он, думая вслух.

– Да каким же нам и быть, батюшка, как не бедным? Земля наша какая? вы сами изволите знать, глина, бугры, да и то, видно, прогневили мы Бога, вот уж с холеры, почитай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало, которые позаказали, которые попридрали. Дело-то мое одинокое, старое... где и рад
30 бы похлопотать – сил моих нету. Старуха моя больная, что ни год, то девчонок рожает. Ведь всех кормить надо. Вот один маюсь, а семь душ дома. Грешен Господу Богу, часто думаю себе: хоть бы прибрал их Бог поскорее, и мне бы легче было, да им-то, сердечным, лучше, чем здесь горе мыкать. Вот моя подмога, вся тут, – продолжал он, указывая на белоголового, шаршавого мальчика лет семи, который с огромным животом в это время робко подошел к нему и, уставив исподлобья удивленные глаза на Николеньку, сморщился и изо всех сил ковырял у себя в носу. – Вот и подсобка, – продолжал звучным голосом Чурис,
40 проводя своей шаршавой рукой по лицу ребенка, – когда его дождешься; а мне уж работу не в мочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. В ненастье хоть криком кричи; а ведь уж мне давно в старики пора, вон Данилкин Ермишка – все моложе

меня, а уж давно земли сложили. Ну мне сложить не на кого, вот беда моя, а кормиться надо, вот и бьюсь, ваше сиятельство.

– Как же быть, ведь мир не согласится с тебя земли сложить.

– Известно дело, коли землей владать, то и барщину править надо, как-нибудь малого дождусь, только будет милость ваша насчет училища его увольте, а то наемни земский приходил, говорил, его сиятельство гневаться изволят, что мальчишки нет. Ведь какой у него разум, ваше сиятельство, он еще и ничего не смыслит.

– Нет, Иван, мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю, ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет, да будет грамоте знать и считать будет уметь, и в церкви читать, ведь все у тебя дома с Божьей помощью лучше пойдет, – говорил Николенька, стараясь выражаться как можно популярнее. 10

– Неспорно, ваше сиятельство, да дома-то побыть некому: мы с бабой на барщине, он хоть и маленек, а все подсобляет: и скотину загнать, лошадей напоить. Какой ни есть, а все мужик, – и он с улыбкой опять провел рукою по его лицу.

– Все-таки ты присылай его, когда сам дома и когда ему время, слышишь? 20

– Слушаю, – неохотно отвечал Чурис.

– Да, я еще хотел сказать тебе, – сказал Николенька, – отчего у тебя навоз не довожен?

– Какой у меня навоз? и возить нечего, двух куч не будет. Скотина моя какая: кобыла да коровенка, а телушку осенью из телят Шкалику отдал, вот и скотина моя.

– Отчего ж у тебя скотины мало, а ты осенью ему телку из телят отдал?

– Кормить нечем.

– Разве соломы не достанет тебе на двух коров-то, ведь у других достает. 30

– У других земли навозные, а моя земля глина.

– Так вот ты ее и навозь, чтобы не было глины и чтобы было чем скотину кормить.

– Да и скотины-то нету. Какой будет навоз? Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит, а все Бог. Вот у меня летось на пресном осьминнике шесть копен стало, а с навозной и крестца не собрали. Никто, как Бог, – прибавил он со вздохом. – Да и скотина мне ко двору нейдет, вот летось одна телка сдохла, другую продали, и запрошлый год важная корова пала. Все мое несчастье. 40

– Ну, братец, чтобы ты не говорил, что у тебя скотины нет оттого, что корму нет, а корму нет оттого, что скотины нет, вот

возьми себе семь рублей серебром, – сказал князь, доставая и разбирая скомканную кучку ассигнаций из кармана шаровар, – и купи себе на мое счастье корову, а корм бери с гумна, я прикажу. Смотри же, чтобы к будущему воскресенью у тебя была корова, я зайду.

Чурис так долго с улыбочкой переминался, не подвигая руку за деньгами, что привел Николеньку в краску и заставил протянутую руку Николеньки дрожать от напряжения и положить наконец деньги на стол.

10 – Много довольны вашей милостью, – сказал Чурис с улыбочкой, жена же его опять бросилась в ноги, начала плакать и приговаривать: «вы наши отцы, вы наши матери кормилицы».

Не в силах будучи укротить ее, Николенька вышел на улицу, а за ним вслед Чурис.

– Я рад тебе помогать, – сказал Николенька, останавливаясь у колодца и отвечая на благодарности Чуриса, – тебе помогать можно, потому что, я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться, и я буду помогать, с Божьей помощью и поправишься.

– Уж не то что поправиться, только бы не совсем разориться, 20 ваше сиятельство. Жили при бачке с братьями, то ни в чем нужды не видали, а вот как помёр он, да как разошлись, так все хуже, да хуже пошло. Все одиночество!

– Зачем же вы разошлись?

– Все из-за баб вышло, ваше сиятельство. Тогда уже дедушки 30 вашего не было, а то при нем бы и думать не смели бы, запорол бы. Славные порядки были, так же, как вы, до всего сам доходил. Не любил покойник мужикам повадку давать. А нами после вашего дедушки заведовал Алпатыч – не тем будь помянут – человек был пьяный, необстоятельный. Пришли к нему просить раз, 30 другой, нет, мыл, житья от баб, позволь разойтись, ну подрал, подрал, а наконец тому делу вышло, все-таки поставили бабы на своем – врозь стали жить. А уж одинокий мужик известно какой. Ну, да и порядков-то никаких не было, орудовал нами Алпатыч, как хотел. Чтоб было у тебя все, а из чего нашему брату взять, этого не спрашивал. Тут подушные прибавили, столовый запас тоже собирать больше стали, а земель меньше стало, и хлеб рожать перестал. Ну, а как межевка прошла, да как он у нас наши навозные земли в господский клин отрезал, злодей, и порешил нас совсем, хоть помирай. Батюшка ваш, Царство Небесное, барин 40 добрый был, да мы его и не видали, почитай, все в Москве жил, ну, известно, и подводы туды чаще гонять стали. Другой раз распутица, кормов нет, а вези. Нельзя ж без того. А с опекой-то, – сказал он нараспев, – ух, много горя, много приняли мужич-

ки. – Он махнул рукою и замолчал. – Ну, как теперь, ваша милость, до своего лица всякого мужичка допускаете, так и мы другие стали, и приказчик-то другой человек стал. Мы теперь знаем хоша, что у нас барин есть, и уж как, и сказать нельзя, как мужички за это вашей милости благодарны.

«Славный народ и жалкий народ...» – подумал Николенька, приподнял шляпу и пошел дальше.

Чурис был одним из тех мужиков, которых Николенька называл консерваторами и которые составляли главный камень преткновения для всех предполагаемых им улучшений в хозяйстве и быте самих крестьян. Чурис с тех пор, как отделился от своего брата, стал беден. Он был работающий, сметливый, веселый и добрый мужик, хотя немножко болтун. Первые года он старался поправиться, поднять свое хозяйство; но судьба преследовала его: то коровенка, то лошадь падет, то жена двойняшку родит, то на хлеб незарод. Управляющий же, радея о барской и преимущественно своей пользе, не переставал тянуть со всех мужиков все, что было можно вытянуть. При таких обстоятельствах непрерывный труд и сметливость Чуриса не осуществляли его надежд: прикупить лошадку, другой стан колес завести, землицы принанять, а только, только доставляли возможность буквально не замерзнуть и не умереть от голода ему и его семейству. Так прошло год, два и больше. С молодостью проходили тоже и надежды, которые она породила (у них тоже есть молодость и надежды). Наконец Чурис привык к мысли, что вся жизнь его должна пройти так, чтобы всевозможным трудом добывать едва достаточные средства к существованию. Он почел такое состояние нормальным, необходимым. Странно сказать: он привык к нему и наконец полюбил свою привычку. Так что, ежели бы Чурису дали средства выйти из бедности, в которой он находился, он бессознательно не употребил бы их, потому что слишком привык к своему положению. Николенька испытал это. Все пособия, которые он давал таким консерваторам, ничего не помогали. И что же было требовать от них? Они продолжали проводить жизнь в посильном труде, но заставить их трудиться не так, как они трудились всю свою жизнь, было невозможно. «Бог послал, Бог не зародил, Богу угодно» – вот аргументы, против которых ничего не могли сделать все убеждения и советы Николеньки о необходимости порядочного, заботливого хозяйства. И то сказать: какое утешение оставалось бы у этих людей, ежели бы они не думали, что тяжелый крест, который они несут, послан им от Бога и что во всем одна воля Его.

Глава. Юхванка Мудреный

«Юхванка мудреный хочет лошадь продать», прочел Николенька в записной книжечке и перешел через улицу к двору Юхванки Мудреного.

Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой с барского гумна и срублена из свежего светло-серого осинового леса, тоже из барского заказа, с двумя выкрашенными красными ставнями у окон и крылечком, с навесом, с затейливыми перильцами, вырезанными из тесин. Сенцы и холодная изба были тоже исправны; но общий вид довольства и достатка, который имела эта связь, нарушался несколько пригороженной к воротцам 10 клетки с недоплетенным забором и раскрытым навесом, который виднелся из-за нее. В то самое время, как Николенька подходил с одной стороны, к крыльцу с другой подходили две женщины крестьянки, несшие ушат. Одна из них была жена, другая мать Юхванки. Первая была плотная, румяная баба, с необыкновенно просторно развитой грудью, в красном кумачовом платке, в чистой рубахе с бусами на шее, шитой на шее и рукавах занавеске, яркой паневе и тяжелых черных смазанных котях, надетых на толстые шерстяные чулки. Конец водоноса не покачивался и 20 плотно лежал на ее широком и твердом плече. Легкое напряжение, заметное в покрасневшем и обильно вспотевшем ее лице, изгибе спины и мерном движении рук и ног, еще более выказывало ее силу и здоровье. Другой же конец водоноса имел далеко не такую сильную и высокую опору. Юхванкина мать была одна из тех старух, лета которых невозможно определить, потому что они, кажется, дошли уже до последнего предела разрушения в живом человеке. Корявый остов ее, на котором надета была черная изорванная рубаха и бесцветная панева, был буквально согнут дугою, так что водонос лежал скорее на спине, чем на плече 30 ее. Обе руки ее с искривленными пальцами, которыми она держалась за водонос, были какого-то темно-бурого цвета и, казалось, не могли уже разгибаться; понурая, мерно качавшаяся голова, обвязанная каким-то тряпьем, носила на себе самые тяжелые следы глубокой старости и нищеты. Из-под узкого лба, с обеих сторон которого выбивались остатки желто-седых волос, изрытого по всем направлениям глубокими морщинами, тускло смотрели в землю красные глаза, лишенные ресниц, длинный нос казался еще больше и безобразнее от страшно втянутых щек и впалых бесцветных губ. Один огромный желтый зуб выказывался 40 из-под верхней губы и сходился почти с вострым подбородком; под скулами и на горле висели какие-то мешки, шевелившиеся

при каждом движении; дыхание ее было громко и тяжело, но босые, искривленные ноги – хотя волочась, но мерно двигались одна за другою.

Юхванка был не родной ее сын, а пасынок. Пяти лет он остался сироткой с братом своим Алешей-дурачком. Вдове оставили мужнину землю, и она одна своими трудами кормила сирот. Управляющий взял Юхванку к себе, научил грамоте, а потом отдал на миткалевую фабрику. Вдова осталась одна с Алешей и, не переставая трудиться, довела хозяйство почти до цветущего положения. Когда Юхванка уже стал на возрасте, вдова взяла его, женила и передала ему землю и все свое имущество. «Примерная мачеха!» – сказали бы в нашем быту, а у крестьян иначе и не бывает. Этого еще мало: когда Юхванка стал в доме хозяин, мачеха поняла, что она ему в тягость – не трудно было ей о том догадаться, потому что, что на сердце, то и на языке у простого человека. Юхванка, может быть, не раз намекал ей об этом. Чтобы не есть даром хлеб, мачеха не переставала трудиться по силе, по мочи. «Сноха женщина молодая – надо ее пожалеть», – говорила она себе и старалась исполнять всю трудную работу в доме. Но сноха не жалела ее: часто посылала туда, сюда и даже выговаривала ей. Старуха, не думая о том, что все, что было в дворе: скотина, лошади, снасть – все было приобретено ею, безропотно повиновалась и работала из последних сил. «Какое примерное самоотвержение!» – сказали бы в нашем свете, а у крестьян иначе и не бывает. У них человек ценится по пользе, которую он приносит, и старый человек, зная, что он уже не зарабатывает своего пропитания, старается тем больше, чем меньше у него остается сил, чтобы хоть чем-нибудь заплатить за хлеб, который он ест. Зато бездействие, желчность, болезни, скупость и эгоизм старости неизвестны им так же, как и низкий страх медленно приближающейся(ся) смерти – порождения роскоши и праздности. Тяжелая трудовая дорога их ровна и спокойна, смерть есть только желанный конец ее, в котором вера обещает блаженство и успокоение. Да, труд – великий двигатель человеческой природы; он единственный источник земного счастья и добродетели.

Почти столкнувшись с князем, молодая баба бойко поставила ушат, потупилась, поклонилась, потом блестящими глазами исподлобья взглянула на князя и, стараясь рукавом вышитой рубахи скрыть легкую улыбку, быстро, постукивая котами, взошла на сходцы и скрылась в сенях, как будто находя неприличным оставаться с князем на улице. Скромному герою моему очень не понравились и движения эти и наряд молодой бабы, он строго посмотрел ей вслед, нахмурился и обратился к старухе, которая,

согнув еще более свой и так летами чересчур согнутый стан, поклонилась и хотела сказать что-то, но, приложив руки ко рту, так закашлялась, что Николенька, не дождавшись ее, вошел в избу.

Юхванка, увидав князя, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него, поспешно сунул в печурку какую-то вещь и с улыбочкой провинившегося школьника остановился посередине избы. Юхванка был русский парень лет тридцати, худощавый, стройный, с молодой остренькой бородкой и довольно красивый, ежели бы не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под запухших век, и недостаток двух передних зубов, весьма заметный, потому что губы были коротки и беспрестанно складывались в улыбку. На нем была праздничная чистая рубаха, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами. Внутренний вид избы был так же беден, но не так мрачен, как той, в которую мы заглядывали. Две вещи здесь останавливали внимание и как-то неприятно поражали зрение: небольшой погнутый самовар, стоящий на полке, и портрет какого-то архимандрита с кривым носом и шестью пальцами в черной рамке под остатком стекла около образов, из которых один был в окладе.

Князь недружелюбно посмотрел и на самовар, и на архимандрита, и в печурку, в которой из-под какой-то ветошки торчал конец трубки в медной оправе.

– Здравствуй, Епифан, – сказал он, глядя ему в глаза.

Епифан поклонился, пробормотал: «Здравия желаем, ваше сиятельство», особенно нежно выговаривая последнее слово, и глаза его мгновенно обегали всю фигуру Николеньки, избу, пол и потолок, не останавливаясь ни на чем; потом он торопливо пошел к полатам, стащил оттуда зипун и стал надевать его.

– Зачем ты одеваешься? – сказал князь, садясь на лавку и следя за ним глазами.

– Как же, помилуйте, ваше сиятельство, разве можно? Мы, кажется, можем понимать...

– Поди-ка сюда, – сказал Николенька, замечая, что он ни на минуту не остается на месте, и указывая на середину избы, – я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь и много ли у тебя лошадей, и какую ты лошадь хочешь продать?

– Мы много довольны вашей ласкою, ваше сиятельство, что не побрезгали зайти ко мне, к мужику, – отвечал Юхванка, бросая быстрые взгляды на архимандрита с кривым носом, на печку, на сапоги князя и на все предметы, исключая лица князя, – мы всегда за вас Богу молимся...

– Зачем тебе нужно лошадь продать? – сказал князь, возвышая голос.

Юхванка вздрогнул, встряхнул волосами, взгляд его опять обежал избу и, заметив кошку, которая спокойно мурлыкала на полатах, он крикнул на нее: «брысь, подлая» и торопливо оборотился к князю.

– Лошадь старая, ваше сиятельство, негодная... коли бы животина добрая была, я бы продавать не стал...

– А сколько у тебя всех лошадей?

– Три лошади, ваше сиятельство.

– А жеребят нет?

– Как можно-с, и жеребенок есть.

– Пойдем, покажи мне своих лошадей, они у тебя на дворе?

– Так точно-с, ваше сиятельство. Как мне приказано, так и сделано, разве мы можем послушаться. Мне приказал Яков Ильич, чтоб, мыл, лошадей завтра в поле не пущать, мы и не пуцали. Уж мы не смеем послушаться...

Покуда Николенька выходил в двери, Юхванка вынул трубку из печурки и сунул ее на полати под полушубок. Худая сивая кобыленка перебирала старый навоз под навесом, двухмесячный длинноногий жеребенок какого-то неопределенного цвета с голубоватыми ногами и мордой не отходил от ее тощого, засоренного репьями желтоватого хвоста. Посередине двора, зажмурившись и задумчиво опустив голову, стоял утробистый гнедой меренок.

– Так тут все твои лошади?

– Никак нет-с, вот еще кобылка, да вот жеребенок, – отвечал Юхванка, указывая под навес.

– Я вижу. Так какую же ты хочешь продать?

– А вот евту-с, – отвечал он, махая полой зипуна на задремавшего меренка. Меренок открыл глаза и лениво повернулся к нему хвостом.

– Он не стар на вид и собой лошадка плотная, – сказал князь, – поймай-ка его, да покажи мне зубы.

– Никак не можно поймать-с одному, вся скотина гроша не стоит, а норовистая и зубом, и передом, – отвечал Юхванка, плутовски улыбаясь и пуская глаза в разные стороны.

– Что за вздор! поймай, тебе говорят!

Юхванка долго улыбался, переминался и только тогда, когда Николенька сказал: «Ну!», бросился под навес, принес обороть и стал гоняться за меренком, пугая его и подходя сзади, а не спереди.

Николеньке надоело смотреть на это.

- Дай сюда обротъ, – сказал он.
– Помилуйте, ваше сиятельство... не извольте...
– Дай сюда.

Юхванка подал. Николенька прямо подошел к меренку с головы и вдруг ухватил его за уши и пригнул к земле с такой силой, что несчастный меренок, который был самая смиренная мужицкая лошадка в мире, – зашатался и захрипел. Заметив, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, Николеньке стало досадно, тем более что Юхванка не переставал улыбаться; он покраснел, выпустил уши бедной лошади, которая никак не понимала, чего от нее хотят, и без помощи оброти, преспокойно открыл ей рот и посмотрел зубы. Клыки были целы, чашки полные, стало быть, лошадь молодая.

Юхванка в это время нашел, что борона лежит не на месте, он поднял и поставил ее стоячи, прислонив к плетню.

– Поди сюда, – крикнул Николенька. – Что, эта лошадь старая?

– Помилуйте, ваше сиятельство, ведь такой смоляной зуб бывает, а уж я...

20 – Молчать! Ты лгун и негодяй, потому что честный мужик не станет лгать, ему незачем. Ну, на чем ты выедешь пахать, когда продашь эту лошадь? Тебя нарочно посылают на пешие работы, чтобы ты поправлялся лошадьми к пахоте, а ты последнюю хочешь продать, ведь другим обидно за тебя земляную работу работать, а главное, зачем ты лжешь?

Юхванка во время этой нотации опустил глаза вниз, но и там они ни на секунду не оставались спокойными.

– Мы, ваше сиятельство, – отвечал он, – не хуже других на работу выедем.

30 – Да на чем ты выедешь?

– Уж будьте покойны, ваше сиятельство, голышами не будем, – отвечал он, без всякой надобности нукая на мереня и отгоняя его. – Коли бы не нужда, то стал бы разве продавать?

– Зачем же тебе нужны деньги?

– Хлеба нету-ти ничего, да и Болхе отдать долг надо.

– Как хлеба нету? Отчего же у других, у семейных, еще есть, а у тебя, у бессемейного, нету? Куда ж он девался?

– Известно, ели, ваше сиятельство, а теперь ни крохи нет, лошадь я к осени, перед Богом, куплю, ваше сиятельство.

40 – Лошади продавать и думать не смей.

– Что ж, ваше сиятельство, коли так, то какая же наша жизнь будет, и хлеба нету, и продать ничего не смею, – отвечал он, кинув беглый, но дерзкий взгляд на лицо князя.

– Не одобровать тебе, Феофан, ежели ты не исправишься, – сказал Николенька медленно, – потому что таких мужиков, как ты, держать нельзя.

– На то воля ваша, – отвечал он спокойно, – коли я вам не заслужил. А кажется, за мной никаких качеств не замечено. Известно, уж коли я вашему сиятельству не полюбился! только не знаю, за что?

– А вот за что: за то, что у тебя двор раскрыт, есть нечего, навоз не запахан, плетни поломаны, а ты сидишь дома, да трубочку покуриваешь.

– Помилуйте, ваше сиятельство, я и не знаю, какие они трубки-то бывают.

– Вот ты опять лжешь.

– Как я смею лгать, ваше сиятельство?

– Все это: трубки, самовары, сапоги, все это не беда, коли достаток есть, да и то нейдет, а бедному мужику, который последнюю лошадь продает, это не годится. Опять, сколько раз я тебе говорил, чтобы ты в город не смел отлучаться без спросу; а ты опять в четверг ездил барана продавать и с фабричными по кабакам шляться. Ведь я про тебя все знаю, не хуже твоих соседей. Тебе старуха полный двор отдала, и скотины, и лошадей, всего было довольно, а ты его разорил, так что тебе трех душ кормить нечем, да еще и ее почитать не хочешь. И баба твоя тоже, чем бы работать, когда у вас хлеба нет, только знает, что в платки да в коты наряжается. Ты муж, ты за ней смотреть должен. Ежели ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою фабричную жизнь, и трубочки, и самоварчики оставь, да занимайся землей и хозяйством, а не тем, чтобы с объездчиками казенный лес воровать, да по кабакам зипуны закладывать. Коли тебе в чем нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно и зачем, а не лги, тогда я тебе не откажу ни в чем, что только могу сделать.

– Помилуйте, ваше сиятельство, мы, кажется, можем понимать, – отвечал он, улыбаясь, как будто вполне понимал всю прелесть шуток князя.

Николенька понял, как мало действительно могут быть его увещания и угрозы против порока, воспитанного невежеством и поддерживаемого нищетой, с тяжелым чувством уныния вышел на улицу. На пороге сидела старуха и плакала.

– Вот вам на хлеб, – прокричал Николенька на ухо, кладя в руку депозитку в три рубля, – только сама покупай, а не давай Юхванке, а то он проплет.

Старуха собралась благодарить, голова ее закачалась быстрее, но Николенька уже прошел дальше.

«Давыдка Козел просил хлеба и кольев», значилось в книжечке после Юхванки.

«Как, опять к мужику?» – скажет читатель. «Да, опять к мужику», – преспокойно ответит автор и прибавит: «Читатель! Ежели вам скучны путешествия моего героя, не перевертывайте страниц, интереснее ничего не будет, а бросьте книгу. И вам будет не скучно, и мне будет приятно. О вас, читательница, я и не говорю. Не может быть, чтобы вы дочли до этих пор. Но ежели же это случилось, то, пожалуйста, бросьте книгу, тут ничего нет для вас, ни графа-богача, соблазителя в заграничном платье, ни маркиза из-за границы, ни княгини с коралловыми губами, ни даже чувствительного чиновника; о любви нет, да, кажется, и не будет ни слова, а все мужики, мужики, какие-то сошки, мерени, сальные истории о том, как бабы выкинули, как мужики живут и дерутся. Решительно нет тут ничего достойного вашего высокого образования и тонких чувств. Вам, я думаю, надоело слушать, как супруг или папенька ваш возится с мужиками; а может быть, даже вы никогда и не думали о них; притом их так много – $\frac{9}{10}$ нашего народонаселения, так что же это за редкость, что же для вас может быть приятно читать такую книгу, в которой больше ничего нет, как мужики, мужики и мужики. А может быть, в вас больше сердца, чем высокого образования и тонких чувств, тогда читайте, милая добрая читательница, и примите дань моего искреннего к вам удивленья и уваженья. Итак, я смело веду вас вместе с Николенькой к Давыдке Белому, избранные читатели, хотя изба его далеко на краю околицы. Но кто этот небольшой человек с двумя крошечными, но густыми черными клочками усов под самым носом (по моде), с большим брюхом, с тяжелой палкой в руке, в клеенчатой глянцовитой фуражке, в длиннополом оливковом сертуке, из кармана которого торчит фуляр, в часах с цепочкой и в голубых узких панталонах со стрипками? Он медленно величественной походкой идет нам навстречу и не отвечает на поклоны крестьян, которые издали набожно кланяются ему. Уж не старый ли это князь? Он больше похож на князя, чем наш худощавый Николенька, который вечно торопится и ходит не слишком чисто. Так, по крайней мере, думают хабаровские мужички и дворовые при виде часов, платков, торчащих из кармана, и пуза, которое отрастил себе Яков Ильич – приказчик. Завидев Николеньку, который остановился, чтобы подождать приказчика, Яков Ильич сбросил с себя величие, как не годящийся при таких обстоятельствах предмет, и скорыми шагами, спрятав платки в глубину кармана, тяжело дыша от необычайной толщины, подошел к князю и снял блестящую фуражку.

– Надень, Яков.

Яков надел.

– Где изволили быть, ваше сиятельство?

– Был у Юхванки. Скажи, пожалуйста, что нам с ним делать?

– А что, ваше сиятельство?

Князь рассказал ему бедность, в которую вводит себя Юхванка, и его нерадение к хозяйству, «как будто он хочет от рук отбиться», прибавил он.

– Не знаю, ваше сиятельство, как это он так вам не показался: он мужик умный, грамотный, при сборе подушных он всегда ходит и ничего, честный, кажется, мужик, и старостой при моем уж управлении три года ходил, тоже ничем не замечен. В третьем годе опекуну угодно было его ссадить, так он и на тягле исправен был. Нешто хмелем позашibaет, зато аккуратный мужик, ученый, и самоварчик у него есть. Становой ли, землемер, кто, бывало, заедет, или офицера поставят: все, бывало, к нему. Обходительный мужик!

– То-то и беда, – отвечал Николенька с сердцем, – что он никогда мужиком, работником не был, а только вот сборщиком ходит, фабричничать, старостой мошенничать, трубочки, да грамотки, да самоварчики. Он и хочет, кажется, чтобы я его с земли снял, да на оброк пустил. Только я этого не сделаю, за что другие за него работать будут? Мать его кормила, вырастила, пусть и он ее кормит. Отпустить его несправедливо, а и делать что с ним, не знаю. Вот вы с опекунами, – продолжал он горячо, – Яков Ильич снял фуражку. – Вместо того, чтобы этаких негодяев из вотчины вон, в солдаты отдавать – из лучших семей брали и хороших мужиков разоряли.

– Да ведь не годится, – тихо отвечал Яков Ильич, – разве не изволили заметить, у него зуб передних нет?

– Верно, нарочно выбил?

– Бог его знает, уж он давно так.

– Счастье, что таких негодяев мало, а то что бы с ними делать? – сказал Николенька.

– Надо постращать, коли он так себе попустил, – сказал, поддельываясь, Яков Ильич.

– И то сходи-ка к нему, да постращай его, а то я не умею, да мне и противно с ним возиться.

– Слушаю-с, – сказал Яков Ильич, приподнимая фуражку, – сколько прикажете дать?

– Чего сколько? – спросил с изумлением Николенька.

– Постращать, то есть сколько розог прикажете дать?

– Ах, братец, сколько же раз нужно тебе говорить, что я не хочу и не нахожу нужным наказывать телесно. Постращать значит словами, а не розгами.

- По-нашему, по-деревенскому, не так-с...
- Какой ты несносный человек, Яков!
- Слушаю-с, я поговорю, а вы домой изволите?
- Нет, к Давыдке К(озлу).

– Вот тоже ляд-то. Уж эта вся порода Козлов такая; чего-чего с ним ни делал, ништо не берет. Вчера по полю крестьянскому проехал, у него и гречиха не посеяна. Что прикажете делать с таким народцем? Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же: и себе, и на барщине только через пень колоду валит. В прошлом 10 годе перед вашим приездом земли вовсе не пахал; уж я его при сходке драл, драл.

– Кого? неужели старика?

– Да-с, так верите ли, хоть бы те что, встряхнулся, пошел и то осьминника не допахал, и ведь мужик смиренный и не курит.

– Как не курит?

– Не пьет. Эта вся уж порода такая, вот Митрюшка тоже ихней семьи, такая ж ляд проклятый.

– Ну, ступай, – сказал князь и пошел к Давыдке Белому.

Давыдкина изба криво и одиноко стоит на краю деревни, выстроенной в линию. Около нее нет ни двора, ни овина, ни амбара. 20 Только какие-то грязные клевушки для скотины лепятся около с одной стороны, с другой кучею навален лес, и высокий, зеленый бурьян растет на том месте, где когда-то был двор.

Никого, кроме свиньи, которая лежала у порога, не было около избы; Николенька постучался в разбитое окно, никто не отзывался, он подошел к сеним и крикнул: «хозяева» – то же самое; потом прошел сени, заглянул в клевушки и вошел в отворенную избу; тощий старый петух и две курицы, забравшиеся на стол и лавку в тщетной надежде найти какие-нибудь кро- 30 хи, с кудахтаньем, распутив крылья, забились по стенам, как будто их хотели резать. Шестиаршинную избенку всю занимала с разломанной трубой печь, ткацкий стан, который не был вынесен, потому что некуда было его поставить, почерневший стол и грязная лужа около порога, образовавшаяся во время дождя в прошлую неделю от течи в потолке и крыше. Полатей не было. Трудно было подумать, чтобы место это было жилое, такой решительный вид запустения и беспорядка носила на себе как наружность, так и внутренность избы; однако тут жил Давыдка Козел и даже в настоящую минуту, несмотря на 40 жар июньского дня, увернувшись с головой в полушубок, крепко спал, забившись в угол печи. Даже испуганная курица, вскочившая на печь и бегавшая по спине его, несколько не мешала ему.

Николенька хотел уже выйти, но сонный, влажный вздох изобличил хозяина.

– Ей! кто тут! – крикнул он.

С печки послышался другой протяжный вздох.

– Кто там? поди сюда.

Еще вздох, мычание, зевок.

– Ну, что ж ты?

На печи медленно зашевелилось, наконец спустилась одна нога в лапте, потом другая, и показалась вся толстая фигура Давыдки Белого, сидевшего на печи и протиравшего глаза. Медленно нагнув голову, он, зевая, взглянул в избу и, увидав князя, стал поворачиваться скорее, чем прежде, но все еще так лениво, что Николеньке тотчас вспомнился зверь ай, про которого он читал в детской натуральной истории. Давыдка Белый был действительно белый; и волоса, и тело, и лицо его – все было чрезвычайно бело. Он был высок ростом и очень толст, толст, как бывают мужики, то есть не животом, а телом, – но толщина его была какая-то мягкая, нездоровая. Довольно красивое лицо его с светло-голубыми спокойными глазами и с широкой окладистой бородой носило на себе особенный отпечаток болезненности: на нем не было заметно ни загара, ни румянца, оно все было какого-то бледно-желтоватого цвета с лиловым оттенком и как будто заплывало жиром или распухло. Руки его были пухлы, желты и сверх того покрыты тонкими белыми волосами. Он так разоспался, что никак не мог совсем открыть глаз, стоять не пошатываясь и остановить зевоту. 10 20

– Ну, как же тебе не совестно, – начал Николенька, – середь белого дня спать, когда у тебя двор разгорожен, когда у тебя хлеба нет... и т. д.

Как только Давыдка протрезвился и стал понимать, в чем дело, он сложил руки под животом, опустил голову, склонив ее немного набок, и сделал самую жалкую и терпеливую мину. Выражение его лица можно передать так: «знаю, уж мне не первый раз это слышать. Ну, бейте же, коли хотите. Я снесу». Он, казалось, желал, чтобы Николенька перестал говорить, а поскорее избил бы его и оставил в покое. Замечая, что Давыдка, привыкший к одним побоям и брани, не понимает, к чему клонятся его убеждения и советы, Николенька разными вопросами старался вывести его из апатического молчания. 30

– Для чего же ты просил у меня лесу, когда он у тебя вот уж скоро месяц целый и самое свободное время так лежит? а? 40

Давыдка моргал глазами и молчал.

– Ну, отвечай же.

Давыдка промычал что-то.

– Ведь надо работать, братец: без работы что же будет? Вот теперь у тебя хлеба уж нет, а все это отчего? Оттого, что у тебя земля дурно вспахана, да не передвоена, да не вовремя засеяна – все от лени. И вот ты просишь у меня хлеба, ну, положим, я тебе дам, потому что нельзя тебе с голоду умирать; да ведь этак делать не годится. Чей хлеб я тебе дам, как ты думаешь? а?

– Господский? – пробормотал Давыдка, робко и вопросительно поднимая глаза.

10 – А господский-то откуда? рассуди-ка сам, кто под него вспахал, заскородил, кто его посеял, убрал? Мужички? так? Так вот видишь ли, уж ежели раздавать хлеб господский мужичкам, так надо раздавать тем больше, которые больше за ним работали, а ты меньше всех – на тебя и на барщине жалуются – меньше всех работал, а больше всех господского хлеба просишь. За что же тебе давать? а другим нет? Ведь коли бы все, как ты, на боку лежали, так мы давно с голоду бы померли. Надо, братец, трудиться; а это дурно, слышишь, Давыд?

– Слушаю-с, – медленно пропустил он сквозь зубы.

20 В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотно на коромысле, и через минуту в избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет пятидесяти, но довольно еще свежая и живая. Загорелое, изрытое рябинами и морщинами лицо ее было далеко не красиво, но вздернутый нос, сжатые тонкие губы и быстрые черные глаза выражали энергию и ум. Угловатость плеч, плоскость груди, сухость рук и развитие мышц на черных босых ногах ее свидетельствовали о том, что она уже давно перестала быть женщиной, стала работником. Она бойко вошла в избу, притворила дверь, обдернула паневу и сердито взглянула на сына. Князь что-то хотел сказать ей, но она отвернулась от него и начала креститься на почерневшую икону, выглядывавшую из-за стана. Окончив это дело, она оправила сероватый платок, которым небрежно была повязана ее голова, и низко поклонилась князю.

30 – С праздником Христовым, ваше сиятельство, – сказала она, – спаси тебя Бог, отец ты наш.

Увидав мать, Давыдка заметно испугался, согнулся еще более всем телом и еще ниже опустил голову.

– Спасибо, Арина, – отвечал князь, – вот я сейчас с твоим сы-
40 ном говорил об хозяйстве об вашем... Надо...

Арина, или, как ее прозвали мужики еще в девках, Аришка-бурлак, подперла подбородок кулаком правой руки, которая в свою очередь опиралась на ладонь левой и, не дослушав князя,

начала говорить так резко и звонко, что вся хата наполнилась звуками ее голоса, что ушам становилось тяжело ее слушать и со двора могло показаться, что в хате горячо спорят бесчисленное множество бабьих голосов.

– Чего, отец ты мой, чего с ним говорить, ведь он и говорить-то не может, как человек. Вот он стоит, олух, – продолжала она, презрительно указывая головой на жалкую и смешную фигуру Давыдки. – Какое *мое* хозяйство? батюшка ваше сиятельство, мы – голь, хуже нас во всей слободе у тебя нету: ни себе, ни на барщину – срам, а все он нас довел. Родили, кормили, поили, не чаяли дожидаться парня. Вот и дождались, хлеб лопают, а работы от него, как от прелой вон той колоды, только знает на печи лежит, либо вот стоит, башку свою дурацкую скребет, – сказала она, передразнивая его. – Хоть бы ты его, отец, *пострацал* что ли, уж я сама прошу, накажи ты его, ради Господа Бога, в солдаты ли: один конец. Мочи моей с ним не стало.

– Ну, как тебе не грешно, Давыдка, доводить до этого свою мать, – сказал князь, обращаясь к нему.

Давыдка не двигался.

– Ведь добро бы мужик хворый был, а то ведь только смотреть на него, ведь словно боров с мельницы, раздулся. Есть, кажись, чему бы и работать – гладух какой! Нет, вот пропадает на печи лодырем, а возьмется за что, так глядеть мерзко: колі поднимется, колі передвинется, колі что, – говорила она, растягивая слова и переваливаясь с боку на бок. – Ведь вот нынче старик сам за хворостом в лес уехал, а ему велел ямы копать, так нет вот, и лопаты не брал. – На минуту она замолчала. – Загубил он, шельма, меня, сироту, – взвизгнула она, вдруг размахнув кулаками и с угрожающим жестом подходя к нему. – Гладкая твоя морда, лядащая, прости Господи! – Она презрительно отвернулась от него и обратилась к князю с тем же одушевлением и с слезами на глазах, продолжая размахивать руками.

– Ведь все одна, кормилец, – старик-ат мой хворый, старый, а я все одна, да одна. Камень и тот треснет. Хоть бы помереть, так легче б было, один конец; а то сморят они меня, отец ты наш, мочи моей уж нет. Невестка с работы извелась, и мне то же будет.

– Как извелась? отчего?

– С натуги, кормилец. Взяли мы ее запрошлый год из Бабурина, – продолжала она слезным голосом, – ну баба была и молодая, свежая, смиренная: важная была баба, родной. Дома-то у отца за золовками в холе жила, нужды не видала, а как к нам поступила, как нашу работу узнала, и на барщину, и дома, и везде она, да я. Мне что? Я баба привышная, она же тяжелая

была, да горе стала терпеть, а все маялась – работающая была – ну и надорвалась, сердешная. Стала чахнуть, да чахнуть. Летось Петровками еще на беду родила, а хлебушка не было, кой-что, кой-что ели, работа же спешная подошла. У ней груди и пересохли. Детенок первенькой был, коровенки нету-ти, да и дело наше мужицкое – иде рожком выкормить, а кормить нечем; ну известно, бабья глупость, она этим пуще убиваться стала. А как мальчишка помер, уж она с этой кручины выла, выла, голосила, голосила, да нужда, да работа все та же, да так
10 извелась, сердешная, что к Покрову и сама кончилась. Он ее порешил, бестия. Что я тебя просить хотела, ваше сиятельство, – продолжала она, низко кланяясь.

– Что?

– Ведь он мужик еще молодой, от меня уже какой работы ждать, нынче жива, а завтра помру. Как ему без жены быть? Ведь он тебе не мужик будет. Обдумай ты нас как-нибудь, отец ты наш.

– То есть ты женить его хочешь? Что ж, это дело.

– Сделай божескую милость, ты наш отец, ты наша мать, –
20 и, сделав знак своему сыну, она с ним вместе грохнулась в ноги князю.

– Зачем же ты в землю кланяешься? – говорил Николенька, с досадой поднимая ее за плечо. – Разве нельзя так сказать? Ты знаешь, что я этого не люблю. Жени сына, пожалуйста, я очень рад, коли у тебя есть невеста на примете.

Старуха поднялась и утирала рукавом сухие глаза. Давыдка последовал ее примеру и в том же глупо-апатическом положении продолжал стоять и слушать, что говорила его мать.

– Невесты-то есть – как не быть? Вот Васютка Михейкина,
30 девка ничего, да ведь без твоей воли не пойдет.

– Разве она не согласна?

– Нет, кормилец, коли по согласию пойдет?

– Ну, так что ж делать? Я принуждать не могу, а вы поищите другую: не у себя, так у чужих, я охотно заплачу сто, двести рублей, только бы шла по своей охоте, а насильно выдавать замуж нельзя. И закона такого нет, да и грех это большой.

– Э-э-эх, кормилец! Да статочное ли дело, чтобы, глядя на нашу жизнь, охотой пошла? Солдатка самая и та такой нужды на себя принять не захочет. Какой мужик девку к нам в двор отдаст?
40 Отчаянный не отдаст. Ведь мы голь, нищета. Одну, скажет, почи-тай, что с голоду заморили, так и моей то же будет. Кто отдаст? – прибавила она, недоверчиво качая головой. – Рассуди, ваше сиятельство.

– Так что же я могу сделать?

– Обдумай ты нас как-нибудь, родимый, – повторила убедительно Арина, – что нам делать?

– Да что же я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сделать для вас в этом отношении. Вот хлеба вы просили, так я прикажу вам отпустить и во всяком деле готов помогать; только ты его усовести, чтобы он свою лень-то бросил, – говорил Николенька, выходя в сени, старухе, которая кланяясь следовала за ним.

– Что я с ним буду делать, отец? Ведь сам видишь, какой он. Он ведь мужик и умный, и смирный, грех напрасно сказать, художеств за ним никаких не водится; уж это Бог знает, что это с ним такое попритчилось, что он сам себе злодей. Ведь он и сам тому не рад. Я, батюшка ваше сиятельство, – продолжала она шепотом, – и так клала и этак прикидывала: не иначе как испортили его злые люди.

– Как испортили?

– Да как испортили? Долго ли до греха? По злобе вынули горсть земли из-под следу... и навек нечеловеком исделали, ведь всякие люди бывают. Я так себе думаю: не сходить ли мне к Дындыку старику, что в Воробьевке живет, он всякие слова знает и порчу снимает, и с креста воду пушает; так не пособит ли он!

– Нет, он не поможет; а я подумаю о твоём сыне, – и князь вышел на улицу.

– Как не помочь, кормилец, ведь он колдун, одно слово колдун.

Давыдка Белый мужик смирный, непьющий, неглупый и честный, он лучше многих своих товарищей, которые живут не так бедно, как он. Но несчастный, в высшей степени лимфатический темперамент или апатический характер, или просто наследственная непреодолимая лень сделали его тем, что он есть, – лодырем, как выражается его мать. И она совершенно права, говоря, что он сам этому не рад. Он родился лодырем и век будет лодырем, ничто не изменит его. Но родись он в другой сфере, в которой непрерывный тяжелый труд не есть существенная необходимость, кто знает, чем бы он был? Разве мало встречаем мы этих запухших, вялых, ленивых натур без живости и энергии, которые были (бы) такими же лодырями, родись они в бедности? Но средства к существованию их обеспечены, временный умственный труд в некоторой степени возможен для них, и они спокойно погружаются в свою безвыходную апатию, часто даже щеголяя ею и называя ее неизвестно почему славянскою ленью.

Но нищета, труд крестьянина, принужденного работать из всех сил и беспрестанно, невозможны с таким характером. Он

убивает надежду, увеличивает беспомощность. А беспрестанные брань, побои вселяют равнодушие, даже отвращение к окружающим. Наконец, что грустнее всего, к бессилию присоединяется сознание бессилия: и бедность, и побои, и несчастья делаются обыкновенными необходимыми явлениями жизни, он привыкает к ним, не думая о возможности облегчить свою участь, ничего не желая, ничего не добиваясь. Давыдку забили. Он знает, что он лодырь, что ему есть нечего. Что ж, пускай бьют, так и следует, рассуждает он.

10 «Но что мне делать с ним, – думает мой герой, грустно наклонив голову и шагая большими шагами вниз по деревне. – Ежели останутся такие мужики, то мечта моя видеть их всех счастливыми никогда не осуществится. Он никогда не поймет, чего я от него хочу, он от меня ничего не ожидает, кроме побой. Так и быть должно. Его двадцать лет били, а я только год стараюсь советовать и помогать ему. В солдаты, – подумал он, – но за что? он добрый мужик. Да и не примут, – подсказало ему чувство расчетливого эгоизма. – Взять во двор? Да, вот, – и он с удовольствием человека, разрешившего трудную задачу, остановился на этой мысли.

20 – Там он будет на глазах. Я в состоянии буду всегда следить за ним; и, может быть, кротостью, увещаниями, выбором занятий успею приучить его к размышлению и труду. Так и сделаю».

Успокоившись на этот счет, Николенька вспомнил, что ему надо зайти к Болхе и отдать обещанные 50 рублей. «Хотя Шкалик обманул меня, – говорил он сам себе, – но я должен исполнить свое слово, ежели хочу внушить к себе доверие». И он отправился к Болхе. Болхиных семья большая, и двор исправный. Во всей вотчине, почитай, первый мужик. Летось другую связь из своего леса поставил, господ не трудил. Теперь есть где с семьей

30 распространиться. Коней у него, кроме жеребят, да подростков, троек шесть соберется, а скотины, коров, да овец: как с поля гонят, да бабы выйдут на улицу загонять, так в воротах их то сопрется, что у-у! Беда! Люди говорят, что у старика и деньги есть, и деньги не маленькие; да он про то никому не рассказывает, и никто, ни дети, ни невестки, не знает, где они у него зарыты. Должно, на осике, больше негде. Да как им справным не быть? Старик-ат Болха мужик умный, расчетливый и порядки всякие знает. С молодых-то лет он на станции на трех тройках лет восемь стоял. Ну, как сошел, и лошадьми, и снастью справился, и в

40 мошне-то не пусто было. За землю принялся, батрака нанял. Пчелами занялся. И назвать что пчеловод! против него другого мастера по всей округности нет. Дал Бог ему во всем счастья и на хлеб, и на лошадей, и на скотину, и на пчел, и сыновья-те

ребята знатные выросли, да и баловаться-те он им больно повадки не давал, куратный мужик! Как пришла пора, и сыновей женил, одну бабу взял у своих, а двух у соседей на свой кошт откупил. Просить тогда некого было – опека была. Ну, известное дело: как настоящий хозяин в дому, да семья большая, невестки-то полагаются, полагаются, а все ладно живут, и мужики зажиточные. Старик-ат, годов пять тому будет, было лугами по малости займаться стал, с Шкаликком в долю пошел, да не посчастливилось. Триста рублей на Шкалику пропало, и расписка по сю пору у старика лежит, да получить не чаёт; так и бросил. 10
Меньшие ребята – Игнатка, да Илья теперь каждый год на пяти тройках зиму в извоз ездят, а старшего Карпа старик хозяином в доме поставил. «Стар, мыл, уж мне не по силам, и мое дело около пчел». Карп-то мужик и похвальный, да все проти старика не будет: да и хозяин-ат он неполный. Неспорно старик и передал все ему, да деньги не открывает, ну, известно, пока жив, да деньги у него, в дому-то все стариков разум орудует. Этак-то они и славно живут, коли бы не старик. Куды?

В новых тесовых воротах, которые с скрипом отворились, 20
Николеньку встретил Илья. Он вел поить две тройки крепконогих, гривистых и рослых коней. Лошади хотя были сыты и веселы, были уже не совсем свежи. У некоторых широкие копыта, потные колени погнулись, и во многих местах видны были старые побои на спине и боках. Лицо Илюшки Болхина, одно из красивейших лиц, которые когда-либо мне удавалось видеть. Все, начиная от светло-русой головы, обстриженной в кружок, до огромных тяжелых сапог с сморщенными широкими голенищами, надетых с особенным ямским шиком на его стройные ноги, – все прекрасно. 30

Он среднего роста, но чрезвычайно строен. Правильное лицо его свежо и здорово; но беззаботное и вместе умное выражение ясных голубых глаз и свежего рта, около которого и пушок еще не пробивается, дышит какою-то необыкновенно приятною русскою прелестью. Может быть, бывают фигуры изящнее фигуры Илюшки, но фигуры грациознее и полнее в своем роде желать нельзя: так хорошо его сотворила русская природа и нарядила русская жизнь. Как хорошо обхватывает косой ворот белой рубахи его загорелую шею и низко повязанный поясok его мускулистый и гибкий стан. Какая ловкая и уверенная походка, несмотря на эти огромные сапоги. Порадовалась душа Николеньки, глядя на него, когда он, поклонившись ему, бойко встряхнул светлыми кудрями. На широком дворе под высокими навесами стоит и лежит много всякого мужицкого добра, телеги, колеса, ободья, 40

сани, лубки... Под одним из них Игнатка и Карп прилаживают дубовую ось под новую троечную телегу. Игнат побольше, поплотнее и постарше Ильи; у него рыжеватая бородка клином, и он одет не по-степному: на нем рубаха пестрая, набойчатая и сапоги, но, несмотря на сходство с братом, он не хорош собой. Карп еще повыше, еще поплотнее, еще постарше, лицо его красно, волоса и борода рыжие, на нем посконная рубаха и лапти.

– Игнат, – сказал князь.

– Чего изволите? – отвечал он, бросая подушку на землю.

10 – Вот, братец, я принес тебе деньги, – сказал князь, опуская глаза и доставая знакомую нам смятую пачку ассигнаций, – которые обещал дать тебе от Шкалика. Смотри же, забудь все, что он сделал, и не имей на него больше зла. Кто старое помянет, тому глаз вон, – прибавил Николенька для популярности речи.

Игнат молчал и, улыбаясь глазами, с любопытством следил за движением рук Николеньки, которые тряслись, разбирая смявшуюся в лепешку пачку ассигнаций. Молчание, продолжавшееся все это время, было крайне тягостно для моего застенчивого героя. По какой-то странной причине он всегда терялся
20 и краснел, когда ему приходилось давать деньги, но теперь в особенности он чувствовал себя в неловком положении. Наконец 15 рублей отсчитаны, и Николенька подает их, но тут Игнат начинает улыбаться, чесать затылок и говорить: «На что мне его деньги? Ваше сиятельство, я и так попрекать не стану. С кем грех не случается».

В это время подходит сгорбленный, но еще крепкий старик с багровой плешью посередине белых, как снег, волос, с седою желтоватою бородою и нависшими бровями, из-под которых весело
30 смотрят два умные, прекрасные глаза: это сам старик Болха пришел с осика посмотреть, что ребята работают. Николенька обращается к нему и сначала объясняет все дело. Старик внимательно слушает дело и резко обращается к Карпу. «Возьми деньги. Благодаря его сиятельству», – говорит он Игнату и сам кланяется.

– Меня не за что благодарить.

Свалив наконец эту тяжелую для него обузу, Николенька по своему обыкновению вступил в хозяйственный разговор с стариком, которого умные речи и советы он любил слушать, и, разговаривая, пошел посмотреть с ним новую хату.

Войдя в избу, старик еще раз поклонился, смахнул полой
40 пуна с лавки переднего угла и, улыбаясь, спросил: «Чем вас просить, ваше сиятельство?»

Изба была белая (с трубой), просторная, с полатями и нарами: свежие осиновые бревны, между которыми виднелся недавно

завядший мох, еще не почернели, новые лавки и полати не сгладились, и пол еще не убился. Одна молодая, худощавая, очень хорошенькая крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку, привешенную на шесте к потолку, в которой задремал ее ребенок, другая, Карпова хозяйка, плотная, краснолицая баба, засучив выше локтя сильные, загорелые руки, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Афенька была в огороде. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и сильно пахло только что испеченным хлебом. С полатей поглядывали вниз курчавые головки двух детей, забравшихся туда в ожидании 10 обеда.

Николенька съел кусок горячего хлеба, похвалил избу, хлеб, хорошенькую девочку, которая, закрывши глазенки, чуть заметно дышала, раскидавшись в зыбке, и, не желая стеснять добрых мужичков, поторопился выйти на двор и в самом приятном расположении духа пошел с стариком посмотреть его осик.

Был час десятый, прозрачные белые тучи только начинали собираться на краях ярко-голубого неба; теплое июньское солнушко прошло $\frac{1}{4}$ пути и весело играло на фольге образка, стоящего на середине осика, оно кидало яркие тени и цветы на новую 20 соломенную крышу маленького рубленого мшеника, стоящего в углу осика, на просвечивающие плетни, покрытые соломой, около которых симметрично расставлены улья, покрытые отрезками досок, на старые липы с свежей, темной листвой, чуть слышно колыхаемой легким ветром, на низкую траву, пробивающуюся между ульями, на рои шумящих золотистых пчел, носящихся по воздуху, и даже на седую и плешистую голову старика, который с полуулыбкой, выражающей довольство и гордость, вводил Николеньку в свои исключительные владения. Николеньке было 30 весело, он видел уже всех своих мужиков такими же богатыми, такими же добрыми, как старик Болха, они все улыбались, были совершенно счастливы и всем этим были обязаны ему; он забыл даже о пчелах, которые вились около его.

– Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство, пчела-то теперь злая.

– Кусают?

– Меня не кусают.

– Так и мне не нужно.

– Как угодно, – отвечал Болха, оттыкая одну колодку и заглядывая в отверстие, покрытое шумящею и ползающею пчелою по 40 кривым вощинам. Николенька заглянул тоже.

– Что, скоро будут роиться? – В это время одна пчела заби-лась ему под шляпу и билась в волосах, другая ужалила за ухо.

Больно ему было, бедняжке, но он не поморщился и продолжал разговаривать.

– Коли роиться, вот только зачала брать-то как следует. Изволите видеть, теперь с калошкой идет, – сказал старик, затыкая опять улей и прижимая тряпкой ползающую пчелу. – Лети, свет, лети, – говорил он, огребая несколько пчел с морщинистого затылка. Пчелы не кусали его, но зато бедный Николенька едва-едва выдерживал характер: не было места, где бы он не был ужален, однако он продолжал спрашивать...

10 – А много у тебя колодок? – спросил Николенька, ступая к калитке.

– Что Бог дал, – отвечал Болха, робко улыбаясь. – Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел, – продолжал он, подходя к тоненьким колодкам, стоявшим под липами, – об Осипе, хоть бы вы ему заказали в своей деревне так дурно делать.

– Как дурно делать?

– Да вот, что ни год, свою пчелу на моих молодых напускает. Им бы поправляться, а чужая пчела у них вошины повиытаскивает, да и подсекает...

20 – Хорошо, после, сейчас... – проговорил Николенька, не в силах уже более терпеть и, отмахиваясь, выбежал в калитку.

.....
Одним из главных правил Николеньки было во всех отношениях становиться на уровень мужиков и показывать им пример всех крестьянских добродетелей; но главная из этих добродетелей есть терпение или, лучше, безропотная и спокойная сносность, которая приобретается временем и тяжким трудом, а он не видал еще ни того, ни другого. Не знаю, смеяться ли над ним, или жалеть его, или удивляться ему, но
30 гримасы и прыжки, которые заставила его сделать пчела, мучили его как преступление; он долго не мог простить себе такой слабости. И, нахмуривши свое молодое лицо, остановился посередине двора.

– Что я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство, – сказал старик, как будто или действительно не замечал грозного вида барина.

– Что?

– Да вот лошадами, слава-те Господи, мы исправны, и батрак есть, так барщина за нами не постоит.

40 – Так что ж?

– Коли бы милость ваша была, ребят отпустить, так Илюшка в извоз бы на трех тройках пошел. Может, что бы и заработал.

– Куда в извоз?

– Да как придется, – вмешался возвратившийся Илюшка, – калединские ребята на восьми тройках в Ромен ездили, так, говорят, прокормились и десятки по три на тройку домой привезли, а то и в Одест, говорят, кормы дешевые.

– Разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься?

– Когда не выгоднее, дома-то лошадей кормить нечем.

– Ну, а сколько ты в лето выработаешь?

– Да летошний год, начто кормы дорогие были, мы в Киев с товаром ездили, да в Курском опять до Москвы крупу наложили и так и сами прокормились и лошади сыты были, да и пятнадцать 10
рублев денег привез.

– Что ж, я очень рад, что вы занимаетесь честным промыслом, коли хотите опять ехать, с Богом, но мне кажется, что выгод вам мало этим заниматься, да и работа эта такая, что шатается малый везде, всякий народ видит – избаловаться может, – прибавил Николенька, обращаясь к старику.

– Чем же нашему брату, мужику, заниматься, как не извозом, съездишь хорошо, и сам сыт, и лошади сыты, а что насчет баловства, так они у меня уж, слава-те Господи, не первый год ездят, да 20
и сам я езжал, дурного ни от кого не видал, окромя доброго.

– Нет, брат, как ты ни говори, а самое пустое это дело только шляться. Мало ли чем другим вы бы могли заняться.

– Как можно, ваше сиятельство, – подхватил Илюшка с жаром, – уж мы с этим родились, все эти порядки нам известны, способное для нас дело, самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить.

– Ну отчего бы вам не заняться рощами или лугами?

– Силы нашей нет, – отвечал старик.

– Ведь у тебя есть деньги, – неосторожно сказал Николенька, – так, чем им у тебя в сундуке лежать, ты их в оборот пусти... 30

– Какие наши деньги, ваше сиятельство, вот избенку поставил, да ребят справил, и деньги мои все... наши деньги мужицкие. Где одолеть рощу купить? Последний достаток потеряешь, да и деньги наши какие? – продолжал твердить старик.

– Придите в контору получить билет, – резко сказал Николенька, повернулся и пошел домой. «Он боится открыть мне, что (у) него есть деньги», – подумал он. Как передать мысли Николеньки, когда он шел по большой аллее, которая через сад вела к дому? Они так были тяжелы для него, что он и сам не сумел бы 40
выразить их.

Сколько препятствий встречала единственная цель его жизни, которой он исключительно предался со всем жаром юноше-

ского увлечения! Достигнет ли он когда-нибудь того, чтобы труды его могли быть полезны и справедливы? Одна цель его трудов есть счастье его подданных; но и это так трудно, так трудно, что, кажется, легче самому найти счастье, чем дать его другим. Недоверие, ложная рутина, порок, беспомощность, вот преграды, которые едва ли удастся преодолеть ему. На все нужно время, а юность, у которой его больше всего впереди, не любит рассчитывать его, потому что не испытала еще его действий. Искоренить ложную рутину, нужно дождаться нового поколения
10 и образовать его, уничтожить порок, основанный на бедности, нельзя – нужно вырвать его. Дать занятия каждому по способности. Сколько труда, сколько случаев изменить справедливости. Чтобы вселить доверие, нужно вдвое столько лет, сколько вселялось недоверие. На чем-нибудь да основан страх Болхи открыть свое имущество. Это почти одно горькое влияние рабства, и то произошло не от самого положения рабства, а от небрежности, непостоянства и несправедливости управления.

Возвратившись домой, Николенька взошел в одну из комнат своего большого дома. В небольшой комнате этой стоял старый
20 английский рояль, большой письменный стол и кожаный истертый диван, обитый медными гвоздиками, на котором спал мой герой, и несколько таких же кресел, вокруг комнаты было несколько полок с книгами и бумагами и нотами. В комнате было чисто, но беспорядочно, и этот жилой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным барским убранством других комнат большого бабуриного дома.

Николенька бросил шляпу на рояль и сел за него. Рука его рассеянно и небрежно пробежала по клавишам, вышел какой-то мотив, похожий на тройное «Господи помилуй», которое пели в
30 церкви. Николенька подвинулся ближе и в полных и чистых аккордах повторял мотив, потом начал модулировать, гармония беспрестанно изменялась, изредка только возвращалась к первоначальной и повторению прежнего мотива. Иногда модуляции были слишком смелы и не совсем правильны, но иногда чрезвычайно удачны. Николенька забылся. Его слабые, иногда тощие аккорды дополнялись его воображением. Ему казалось, что он слышит и хор, и оркестр, и тысячи мелодий, сообразных с его гармонией, вертелись в его голове. Всякую минуту, переходя к смелому изменению, он с замиранием сердца ожидал, что выйдет,
40 и, когда переход был удачен, как отрадно становилось ему на душе. В то же самое время мысли его находились в положении усиленной деятельности и вместе запутанности и туманности, в котором они обыкновенно находятся в то время, когда человек бы-

вает занят полуумственным, полупрактическим трудом, например, когда мы читаем, не вникая в смысл читанного, когда читаешь ноты, когда рисуешь, когда находишься на охоте и т. д. Различные странные образы – грустные и отрадные – сменялись одни другими. То представлялись ему отец и сын Белые в виде негров, запряженных в тележку, на которой сидит плантатор необыкновенной толщины, так что никакие силы не могли свезти его; но плантатор, который не кто иной, как Яков, безжалостно погоняет; то старик Болха, который проповедует по всем селам и деревням, что от помещиков деньги прятать нужно; а Николенька 10
играет и невольно шепчет: «от помещиков деньги прятать нужно». То он думает: какова должна быть любовь Чуриса к своему единственному пузатому сынишке, когда он в нем кроме сына видит помощника и спасителя. «Вот это любовь», – шепчет Николенька. Потом вспоминает он о старухе Мудреного, вспоминает о выражении терпения, всепрощения и доброты, которые он заметил на лице ее, несмотря на уродливые черты и желтый торчащий зуб. «Должно быть, в семьдесят лет ее жизни я первый заметил это», – думает он и шепчет: «Странно», – потом вспоминает он, как боялся Илюшка, чтобы он не пустил его в извоз; и ему 20
представляется серое, туманное утро, подсклизлая шоссе́нная дорога и длинный обоз огромных нагруженных и покрытых рогожами троечных телег на здоровых толстоногих конях, которые, выгибая спины, натягивая постромки и побрякивая бубенчиками, дружно тянут в гору по склизкой дороге. Навстречу обоза бежит почта. Ямщик с бляхой издали поднимает кнут, во все горло кричит: «Стой!» На переднем возу из-под рогожи, покрывающей 30
грядки телеги, лениво высовывается красивая голова Илюшки, который на зорьке славно пригрелся и заснул под рогожей. Он сквозь сон посмотрел на три тройки с чемоданами, которые с звоном и криком пронесли мимо его, слегка, ласкательно хлестнул правую пристяжную и опять спрятал голову. Николенька мыслью следит за всей жизнью Илюшки в извозе, он видит, как к вечеру скрипят перед усталыми тройками широкие тесовые ворота, Илюшка весело и добродушно калякает с хозяином и выпрягает коней, как он идет в жаркую избу, набитую народом, крестится, садится за стол, балагурит с хозяйкой (?) и ведет речь с товарищами, как скидает армяк, разувается босой и здоровый, беззаботный и веселый ложится на пахучее сено около лошадей 40
и храпит до петухов сном детей или праведника. Он следит за ним и в кабаке, где он идет сорвать косуху и затянуть длинную песню своим грудным тенором, и в Одест, в котором он видит только место, в котором корм дорог и бывает хозяину сдача, и в Ромен,

и в Киев, и по всему широкому Р(усскому) цар(ству), и опять он видит его на передке телеги на большой дороге и в ясный вечер, и в знойное утро здоровым, сильным, беззаботным. «Славно», – шепчет Николенька, все играет, и мысль, зачем я не Илюшка, тоже представляется ему.

Седой княжеский слуга давно на цыпочках принес кофе на серебряном подносе и, зная по опыту, что одно средство рассердить князя было помешать ему в то время, когда он играет, так же осторожно и тихо вышел в высокую дверь. Однако, должно быть, 10 весьма важный случай заставил его опять воротиться и молча дожидаться у двери, чтобы князь оглянулся на него. Но звуки, которые вызывала пылкая фантазия, и странные мысли, которые, как бы следуя за ними, возникали в юной голове моего героя, так увлекали все его внимание, что он не замечал ни почтительного положения старого Фоки, ни даже приближающегося по большой березовой аллее звука почтового колокольчика, подвешенного к дышлу дорожной коляски. В дорожной коляске на козлах сидели ямщик и щеголь городской с замшевой сумкой через плечо, в триповом пальто и бархатной фуражке, а в середине молодой человек, с заметным любопытством и нетерпением выгляды- 20 вавший в сад и на дом. Не успели еще кони фыркнуть у подъезда и лакей соскочить с козел, как молодой человек, выказывая все признаки сильного волнения и удовольствия, бежал уже по лестнице и спрашивал у встретившегося Фоки, дома ли князь.

– Дома-с.

– Где же он? Один? Что он делает? – спрашивал молодой человек, не дожидаясь ответа и улыбаясь от внутреннего удовольствия.

– Одни-с. Как прикажете доложить? – говорил Фока с недовольным видом, стараясь обогнать беспокойного гостя. 30

– Скажи исправник, слышишь? – сказал молодой человек, засмеявшись звучным, необыкновенно приятным смехом.

Николенька услышал этот смех. Он многое напоминал ему. Образ человека, который смеялся так и которого он любил так, как любят только в его лета, живо предстал перед ним; но видеть этого человека было бы для него слишком большим наслаждением, для того чтобы он мог поверить сразу этой мысли. Он принял слышанные им звуки за одну из тех мимолетных грез, которые беспорядочно бродили в его воображении, и продолжал играть. 40

– Исправник приехали-с, – сказал Фока почти шепотом, с значительным видом зажмуривая глаза.

– Какой исправник? Зачем исправник? – сказал Николенька, с озадаченным видом оборачиваясь к нему.

– Не могу знать-с.

– Ах, Боже мой, зачем это? Что ему нужно? И зачем ему нужно, не понимаю.

– Прикажете просить?

– Вот приятно. Проводи его в гостиную и попроси подождать.

В это время из-за двери показалась веселая и красивая фигура гостя, который с слезами на глазах и хохоча из всех сил вбегал в комнату. Увидав его, Николенька несколько секунд оставался совершенно неподвижен, схватил себя за голову, зажмурился и прошептал: «Быть не может». Потом хотел броситься к гостю, хотел что-то сказать ему, но имел только силу привстать с табурета и, бледный, остановился (1 нрзб.). 10

Гость обнял его, и они крепко несколько раз поцеловались. Оба были так сильно взволнованы, что они не могли ни минуты стоять на месте, они чувствовали потребность ходить, делать что-нибудь, говорить хотя вещи самые глупые, неинтересные ни для того, ни для другого.

В звании романиста, обязанного рассказывать не только поступки своих героев, но и самые сокровенные мысли и побуждения их, я скажу вам, читатель, что ни тот, ни другой не чувствовали ни малейшего ни желания, ни удовольствия обниматься и целоваться, но сделали это именно потому, что находились в положении напряженной бесцельной деятельности, о которой я говорил, и потому, что они, встречаясь в первый раз после дружеской связи, соединившей их четыре года тому назад, они, несмотря на сильное волнение, чувствовали некоторую неловкость и желали чем-нибудь прекратить ее. Кто не испытывал подобного тройного смешанного чувства радости, беспокойства и замешательства при свидании с людьми, которых любишь: как-то хочется смотреть в глаза друг другу, и вместе как будто совестно, хочется излить всю свою радость, а выходят какие-то странные слова – вопросы: когда приехал, хороша ли дорога и т. п. Только долго, долго после первой минуты успокоишься так, что сумеешь выразить свою радость и сказать вещи, которые, Бог знает почему, задерживаются и просятся из глубины сердца. Так сделал и Николенька. Он сначала спрашивал, не хочет ли обедать его друг, останавливался ли он в городе, ходил большими шагами по комнате, садился за рояль, тотчас же вскакивал и опять ходил по комнате, беспрестанно оглядываясь на гостя; наконец он стал против него, положил ему руку на плечо и с слезами на глазах сказал: 30 40

– Ты не поверишь, Ламинский, как я счастлив, что тебя вижу.

Кто не слышал в наш век остроумных фраз о устарелости чувства дружбы и шуточек над Кастором и Полюксом и кто в своей молодости не чувствовал страстного, необъяснимого влечения к человеку, с которым не имел ничего общего, кроме этого чувства? Чему же верить: фразам или голосу сердца?

– Каким ты помещиком, – говорил Ламинский, оглядывая с головы до ног Николеньку.

– А ты, право, вырос, – говорил Николенька.

10 с Варенькой? – спрашивал Ламинский.

Николенька садился за рояль и играл эту польку.

В этом, без сомнения, не выражается дружба, в которую вы не хотите верить, но ежели бы можно было выразить словами то, что они чувствовали, я бы сказал вам многое, и вы поверили бы. Мне кажется, для этого даже достаточно бы было взглянуть на лицо моего героя. Столько в нем было истинной радости и счастья. Даже седой Фока, остановившись у притолки, с почтительной, чуть заметной улыбкой одобрения смотрел на своего господина и думал с сожалением: «Так-то и князь, покойник, их дедушка, любил гостей принимать. Только покойник важный был, а наш молод еще – не знает порядков, как гостей угостить».

20 Пускай Фока судит по-своему; чистое и ясное чувство любви и радости, озаряющее душу Николеньки, нисколько не померкнет от этого.

30 Старый ломберный штучный стол, с желобками для бостонных марок и с латуњью по краям, был поставлен и симметрично накрыт Фокою в саду, под просвечивающею, колеблющейся тенью темно-зеленых высоких лип. Белая старинная камчатная скатерть казалась еще белее, форма старинных круглых ложек и выписанных еще старым князем киевских тарелок еще красивее и стариннее, серебряная резная кружка, в которой было пиво, одна роскошь стола, которую позволял себе Николенька, еще отчетливее и почтеннее. Николенька до обеда водил своего друга по всем своим заведениям.

Конец 1-ой части

〈ВТОРАЯ ЧАСТЬ〉

После несвязной сцены первого свиданья Николенька пригласил Ламинского пойти по хозяйству.

Ламинский знал моего героя студентом, добрым, благородным ребенком, с тою милою особенностью, которую нельзя иначе выразить, как «*enfant de bonne maison*»¹; ему трудно было привыкнуть смотреть на него как на хозяина, к которому *одному* он приехал. Мундир с синим воротником и парусинное пальто тоже большая разница. Ламинский все шутил. «Каким ты помещиком, – говорил он, покачивая головой, – точно настоящий» и т. д. 10

Но когда они пришли в школу, где собрались мальчики и девочки для получения наград, и Николенька, хотя с застенчивостью, но с благородным достоинством стал некоторых увещевать, а других благодарить за хорошее ученье и дарить приготовленными школьным учителем, старым длинноносым музыкантом, валторнистом Данилой пряниками, платками, шляпами и рубашками, он увидел его совсем в другом свете. Один из старших учеников поднес князю не в счет ученья написанную им пропись в виде подарка. Отличным почерком было написано: «Героев могли призвести счастье и отважностей, но великих людей!» 20

Николенька поцеловал мальчика, но, выходя, подозвал Данилу и кротко выговаривал ему за непослушание. Николенька сам сочинял прописи, которые могли понимать ученики (и из которых некоторые вошли даже в поговорку между мальчиками, как-то: «за грамотного двух неграмотных дают» и т. д.), но Данила отвечал:

– Я, ваше сиятельство, больше дал переписать насчет курсива руки приказчиьего сына.

– Да ведь смысла нет, Данила, этак он привыкнет не понимать, что читает, и тогда все ученье пропало. 30

– Помилуйте-с.

Уже не раз бывали такие стычки с Данилой: князь против телесного наказания, даже мальчикам; и один раз, разговаривая с Данилой, увлекся так, объясняя ему план школы и последствия, которые он от нее ожидает, что слезы выступили у него на глазах, и Данило, отвернувшись почтительно, обтер глаза обшлагом.

– А все, ваше сиятельство, шпанскую мушку не мешает поставить, коли ленится, – сказал он, подмигивая с выразительным жестом. 40

¹ ребенок из хорошей семьи (*фр.*)

Выходя из школы, Ламинский сделал Николеньке несколько вопросов, которые навели этого на любимую тему, и он, наконец, сказал ему то же, что нынче утром сказал Чурису, то есть что он посвятил свою жизнь для счастья мужиков. Ламинский понял эти слова иначе, чем Чурис, – они тронули его: он знал откровенность, настойчивость и сердце Николеньки, и перед ним мгновенно открылась блестящая будущность Николеньки, посвященная на добро, и добро, для которого только нужно желать его делать. По крайней мере, так ему казалось, и поэтому-то он так
10 сильно завидовал Николеньке, несмотря на то, что одного нынешнего утра достаточно бы было, чтобы навеки разочаровать его от такого легкого и приятного способа делать добро.

– Ты решительно великий человек, Николенька, – сказал он, – ты так хорошо умел понять свое назначение и истинное счастье.

Николенька молчал и краснел.

– Зайдем в больницу? – спросил он.

– Пожалуйста, все мне покажи, – говорил Ламинский с открытой веселой улыбкой Николеньке, который большими шагами шел впереди его.
20

– Я понимаю теперь твое направление, и не можешь себе представить, как завидую тебе! Ах, ежели бы я мог быть так же, как ты, совершенно свободен, верно, я не избрал бы другой жизни. Что может быть лучше твоего положения: ты молод, умен, свободен, обеспечен, и главное – добр и благороден – не так, как обыкновенно понимают это слово, а как мы с тобой его понимаем – и ты посвятил свою жизнь на то, чтобы завести такое хозяйство, какое должно быть, а не такое, какое завела рутинка и невежество между нашими помещиками; и я уверен, что ты успеешь
30 совершенно, что хозяйство твое будет примерное, что ты образует своих крестьян, что ты приобретешь этим славу и счастье, которых ты так достоин. Я ужасно тебе завидую. Ежели бы я был свободен...

– Да разве ты не свободен? – перебил Николенька, с участием вглядываясь в одушевленное и грустное выражение лица своего друга.

– А отец? – отвечал он скороговоркой, – ведь я еще ребенок, я ничего не имею. Мое назначение шляться по балам, делать визиты и числиться в каком-то министерстве, в котором я не
40 умею, не хочу и не могу быть на что-нибудь полезен. Отец никак не хочет понять, что мы живем уж не в его время, что меня не может удовлетворить то, что удовлетворяло его, когда он был молод, что я не могу жить без цели целый век. Положим, что

меня никто не принуждает увлекаться тем, чем я увлекаюсь, но это делается невольно; дайте мне свободу и самостоятельность, а не держите, как ребенка, и я бы, может быть, мог быть таким же хорошим и полезным человеком, как и ты.

Николенька молчал: ему приятно было видеть в своем друге это жаркое сочувствие к избранной цели его жизни; но, вместе с тем, он знал, что это сочувствие только минутное; он знал, что Ламинский был один из тех людей, которые влюбляются в мысли так же, как другие влюбляются в женщин. В первую минуту увлечения они не только не сомневаются в ее безусловной истине, но и не воображают возможности противоречия в приложении ее. Они любят ее, как женщину, со слезами и полною верою в ее непогрешительность и так же, как женщине, изменяют ей для другой и от восторга вдруг переходят к равнодушию. Увлечение их бывает так сильно, что не может быть продолжительно, и так отвлеченно, что никогда оно не заставляет чем-нибудь положительным жертвовать для него. Так Ламинский приходил в искренний энтузиазм от каждой новой благородной мысли, которая с детства приходила в его голову, а продолжал с большим порядком и успехом вести самую светскую жизнь, противоположную всем тем мыслям, которые приходили ему. Было ли это сомнение в своих силах, привычка к разладице между мыслями и поступками? Бог знает. Верно только то, что это не было притворство, и Николенька знал это.

⟨II⟩

Глава 1-я. Деревенская церковь

С семи часов утра слышался благовест с ветхой колокольни Николо-Кочаковского прихода, и пестрые веселые толпы народа по проселочным дорогам и сырым тропинкам, вьющимся между влажными от росы хлебом и травою, приближались к церкви.

Пономарь перестал звонить и, вперив старческий, равнодушный взор в пестрые группы баб, детей, стариков, столпившихся на кладбище и паперти, присел на заросшую могилку. Отец Поликарп, отвечая поднятием шляпы на почтительные поклоны расступавшихся прихожан, прошел в церковь; народ вслед за ним, набожно кланяясь и крестясь, стал проходить в средние двери. Седой, горбатый дьячок пронес в алтарь кофейник с водой и кадило, высокий белоголовый мужик, постукивая гвоздями огромных сапогов и запахивая новый армяк, вышел из толпы и, встряхивая волосами, с свечкой подошел к иконе, грудной ребенок заплакал

на руках у убаюкивающей его молодой крестьянки, в алтаре слышался мерный, изредка возвышающийся голос отца Поликарпа, читающего молитвы, молодой безбородый крестьянский парень вдруг быстро стал креститься и кланяться в пояс.

Начались часы.

Отставной священник, дряхлый отец Пимен, в старом плисовом подряснике, слепой Тихон в желтом фризovém сюртуке, бывший княжеский дворецкий, белый как лунь Григорий Михайлыч в палевых коротких панталонах и синем фраке – все стояли на своих обычных местах в алтаре и у боковых дверей. На правый клирос прошли сборные певчие. Толстый бабури́нский приказчик в глянцево́м сюртуке и голубых шароварах, его брат золотарь Митенька, рыжий дворник с большой дороги, телятинский буфетчик и два мальчика в длинных нанковых сюртуках – сыновья отца Поликарпа, прокашливались и перешептывались на клиросе.

Перед концом часов толпа заколебалась около дверей, и из-за торопливо и почтительно сторонившихся мужичков показался высокий лакей в нанковом сюртуке, который, левой рукой поддерживая женский салоп, правой толкал тех, которые не успевали дать ему дорогу. За лакеем шли господа: телятинский помещик Александр Сергеевич Облесков, дочь его, двенадцатилетняя румяная девочка в пуко́льках, панталончиках и козловых башмачках со скрипом и жена его – высокая, худая и бледная женщина с добрым выражением лица. Александр Сергеич был человек, на вид лет тридцати (хотя ему было гораздо больше), немного ниже среднего роста, тучный, полнокровный и довольно свежий. Лицо его было одно из тех лиц, которые кажутся эффектными изда́лека, но которых выражение трудно разобрать под украшениями, покрывающими их. Высокий и широкий галстух с пряжкой назади скрывал его шею, часть подбородка и скул, черноватые бакенбарды, доходившие от зачесанных до самых бровей и загнутых масляных висков до краев рта, закрывали его щеки, а золотые очки с четырьмя синими стеклами скрывали совершенно его глаза и переносицу. Открытые же части его физиогномии: высокий, гладкий и широкий лоб, небольшой правильный нос с крепкими ноздрями и крошечный, как будто усиленно сложенный ротик с красными тонкими губами, носящими почему-то особенное выражение губ человека, только что обрившего усы, – были не лишены приятности.

Александр Сергеевич, оставив жену и дочь около амвона, скромной, но и не лишенной достоинства походочкой, прошел в алтарь и, поклонившись священнику, стал около двери. Часы

кончились, и уже много пятаков и грошей из узелков в клетчатых платках и мошон перешло в потертый комод, из которого седой отставной солдат выдавал свечи; и свечи эти вместе с теплыми молитвами простодушных подателей уже давно светились перед иконами Николая Чудотворца и Богоматери, а обедня все не начиналась. Отец Поликарп ожидал молодого красногорского помещика – князя Нехлюдова. Горбатый дьячок, уже несколько раз выходивший на паперть посмотреть, не едет ли венская голубая коляска, в которой он полвека привык видеть красногорских князей, снова продрался сквозь толпу и, защитив рукою глаза от яркого июньского солнца, устремил взор на большую дорогу. 10

– Началась обедня? – спросил его молодой человек в круглой серой шляпе и парусинном пальто, скорыми шагами подходивший к церкви.

– Нет, батюшка ваше сиятельство, все вас поджидали, – отвечал дьячок, давая ему дорогу.

– Ведь я просил батюшку никогда не дожидаться, – сказал он краснея и, пройдя в боковые двери, стал сзади клироса. Вслед за тем послышался благовест, и дьякон в стихаре вышел на амвон.

Началась обедня. 20

Молодой князь стоял совершенно прямо, внимательно следил за службой, крестился во всю грудь и набожно преклонял голову. Все это он делал даже с некоторою аффектацией; казалось, что не чувство, а убеждение руководило им. Когда бабурицкий мужичок, не зная его, дотронулся до его плеча свечкой и просил его передать «Миколу», он с видимым удовольствием взял ее и, толкнув впереди стоящего крестьянина, тоже сказал «Миколу».

Сборные певчие пели складно, голоса были хороши, но дребезжащий старческий голос старого дьячка, одиноко раздававшийся иногда на левом клиросе, как-то более соответствовал спокойной прелести деревенской церкви, более возбуждал отрадно согревающее религиозное чувство. К причастью подошли две старушки и несколько крестьянок с грудными младенцами. Худощавый сгорбленный мужичок, помолвившись перед иконостасом, кланяясь и звоня колокольчиком, стал обходить прихожан, прося на Церковь Божию. Потом среди благоговейного молчания, прерываемого только пронзительным плачем детей и сдержанным кашлем стариков, отдернулась завеса, и дьякон провозгласил священные слова. Наконец отец Поликарп благословил прихожан и вышел с крестом из Царских дверей. 40

Александр Сергеевич, пропустив вперед себя жену и дочь, приблизился к священнику; люди значительные: приказчики, дворники, дворовые сделали то же; но отец Поликарпий обра-

тился с крестом к молодому князю, который стоял сзади и который под обращенными на него со всех сторон любопытными взорами, краснея, как виноватый, должен был выйти вперед и приложиться прежде всех. Торопливо ответив на поздравление с праздником священника и поклонившись Александр Сергеевичу, у которого при этом, несмотря на приветливую улыбку, губы сделались еще тоньше, молодой человек, краснея еще больше, выбрался из церкви и, завернув за угол, вошел в маленькую часовню, построенную на кладбище.

10

Глава 2-я. Князь Дмитрий

Красногорский помещик князь Нехлюдов, которого знакомые звали еще m-г Dmitri, а родные просто Митя и Дмитрий и которого мы впредь будем называть так же, был третий сын известного князя Нехлюдова и княгини Нехлюдовой, урожденной графини Белорецкой. Княгиня умерла от родов дочери, меньшей сестры Дмитрия, а старый князь пережил ее только четыре года, так что четверо детей, из которых старшему Николаю было тогда девять лет, а дочери пять, и большое, но отягченное долгами именье остались на руках опекунов. Опекунами были: бывший адъютант покойного князя, отставной штаб-ротмистр Рыков, помещик Т-ой губернии, и графиня Белорецкая, вдова брата княгини, искренний друг покойного князя. Первый принял на себя управление делами, вторая управление воспитанием малолетних. Но потому ли, что одно труднее другого, или потому, что неодинаковые чувства руководили опекунами, управление и воспитание шли не одинаково успешно. Через двенадцать лет дети получили прекрасное светское и нравственное воспитание и уменьшенное во время опеки из трех до двух тысяч душ расстроенное имение. Старший брат Николай, окончив кандидатом курс в Московском университете, поступил на службу в Министерство иностранных дел и, достигнув совершеннолетия, по совету родных, принял от г-на Рыкова опеку. Память отца, оказывавшего доверенность г-ну Рыкову, была достаточная причина для сына, чтобы безотчетно принять от него дела и дать ему от себя и братьев удостоверение в исправности и верности счетов, очевидно бесчестных. Князь Николай, однако, скоро почувствовал свою неспособность управлять расстроенными делами и, побоявшись ответственности перед братьями, предложил им съехаться в Красных Горках и разделить имение. Ваня, средний брат, служивший на Кавказе, прислал доверенность Николаю и, полагаясь во всем на него, просил об одном, чтобы сестре дать ровную часть имения,

30

40

что точно так же уже было решено между Николаем и Митей. Братья приехали в деревню, уравнили, как умели, четыре части, бросили жеребий, и Мите, который был еще в третьем курсе университета, достались Красные Горки. Митя в то время еще был очень, очень молод. Несмотря на выше обыкновенного, высокий рост, сильное сложение и на выражение гордости и смелости в походке, только издали можно было принять его за взрослого человека, взглядевшись же ближе, сейчас видно было, что он еще совершенный ребенок. Это заметно было и по плоскости груди, и по длине рук, и по слишком неопределенным очертаниям около глаз, и по светлому пушку, покрывавшему его верхнюю губу и щеки, а в особенности по совершенно детски добродушной неувердившейся улыбке. Он был нехорош собой, но приятный контур лица, открытый выгнутый над бровями лоб и узкие необыкновенно блестящие серые глаза давали всей его физиогномии общий благородный характер ума и решительности. Кроме того (несмотря на неряшливость и бедность, которые он как будто любил или считал нужным выказывать в одежде), в выражении рта, в изгибе спины, в расположении волос и в особенности в прекрасной мужской руке было что-то изобличавшее в нем человека, не способного подчиняться чужому влиянию, а рожденного для того, чтобы оказывать его. Что же касается до его характера, то ежели бы я мог описать его, мой роман тут бы и кончился.

Глава 3-я. Его прошедшее

После раздела князь Николай уехал в Петербург, а Митя до конца вакансий один оставался в деревне, и вот отрывок письма, которое он за год перед тем воскресеньем, с которого начинается наш рассказ, писал в Москву графине Белозерской:

«J'ai pris une résolution, qui doit décider de mon sort: je quitte l'université pour me vouer à la vie de campagne, pour laquelle je me sens fait. Au nom du Ciel, chère maman, ne vous moquez pas de moi. Je suis jeune, peut-être qu'en effet je suis encore enfant: mais cela ne m'empêche de sentir ma vocation de vouloir faire le bien et de l'aimer. Comme je vous l'ai déjà écrit, j'ai trouvé les affaires dans un état de délabrement impossible à décrire. En voulant y mettre de l'ordre j'ai trouvé que le mal principal est dans le misérable état des paysans et que l'unique moyen d'y remédier était le temps et la patience.

Si vous aviez pu voir seulement Давыдка Козел et Иван Белый – deux de mes paysans – et la vie qu'ils mènent avec leurs familles je suis sûr que la vue seule de ces deux malheureux vous aurait mieux convaincu que tout ce que je pourrai dire pour vous expliquer ma résolution.

N'est-ce pas mon devoir le plus sacré que de travailler au bonheur de ces 700 personnes, dont je dois être responsable devant Dieu? N'est-ce pas une horreur, que d'abandonner ces pauvres et honnêtes gens aux fripons d'управляющие и старосты pour des plans de plaisir ou d'ambition? Et pourquoi chercher ailleurs l'occasion d'être utile et de faire du bien, quand j'ai devant moi une carrière si belle et si noble.

Je me sens capable d'être un bon *хозяин* (c'est à dire d'être le bienfaiteur de mes paysans) et pour l'être je n'ai besoin ni du diplôme de candidat, ni des rangs, que vous désirez tant pour moi. Chère maman! cessez
10 de faire pour moi des plans d'ambition, habituez-vous à l'idée que j'ai choisi un chemin extraordinaire; mais qui est *bon* et qui, *je le sens*, me mènera au bonheur.

Ne montrez point cette lettre à Nicolas, je crains son persiflage et vous savez qu'il a pris l'habitude de me dominer et moi celle de l'être. Pour Jean je sais, que s'il ne m'approuve, du moins il me comprendra...»¹

«Я принял решение, от которого должна зависеть участь моей жизни: я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради Бога, милая мама, не смейтесь надо мной. Я молод, может быть
20 точно, я еще ребенок; но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его.

Как я вам писал уже, я нашел дела в неопisanном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я нашел, что

¹ «Я принял решение, которое должно определить мою судьбу: я покидаю университет, чтобы посвятить себя сельской жизни, для которой я чувствую себя созданным. Ради всего святого, дорогая матушка, не смейтесь надо мной. Я молод, быть может, я и на самом деле еще ребенок; но это не мешает мне ощущать в себе призвание творить добро и любить его. Как я вам уже писал, я застал дела в состоянии расстройства, не поддающегося описанию. Желая привести их в порядок, я пришел к выводу, что основное зло заключается в бедственном положении крестьян и что единственное средство это изменить – время и терпение.

Если бы вы только могли видеть Давыдку Козла и Ивана Белого – двоих из моих крестьян – и существование, которое они ведут со своими семьями, я уверен, что один вид этих несчастных убедил бы вас лучше всего того, что я мог бы привести для объяснения моего решения. Не является ли моим самым священным долгом – трудиться на благо этих 700 человек, ответственность за которых я несу перед Богом? Не отвратительно ли бросать этих бедных и честных людей на плутов управляющих и старост ради развлечений или честолюбивых планов? Зачем искать другого случая быть полезным и творить добро, когда передо мной лежит возможность такой прекрасной и благородной деятельности.

Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином (то есть быть благодетелем своих крестьян), для этого мне не нужны ни кандидатский диплом, ни чины, которых вы столь для меня желаете. Дорогая матушка, перестаньте строить для меня честолюбивые планы, привыкните к мысли, что я избрал путь необычный, но *хороший*, который, *я это чувствую*, приведет меня к счастью.

Не показывайте этого письма Николаю, я опасюсь его насмешек. А вы ведь знаете, что он приобрел привычку надо мной властвовать, а я – ему подчиняться. Что касается Ивана, то я знаю, что он, если и не одобрит, то по крайней мере поймет меня...» (фр.)

главное зло заключается в самом жалком бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Ежели бы вы только могли видеть двух моих мужиков: Давыда и Ивана и жизнь, которую они ведут с своими семьями, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтобы объяснить мое намерение.

Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастии этих 700 человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Не подлость ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем 10
искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая блестящая, благородная карьера? Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином; а для того, чтобы быть *хозяином*, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которые вы так желаете для меня. Милая мама, не делайте за меня честолюбивых планов, привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, *я чувствую*, приведет меня к счастью.

Не показывайте письма этого Николеньке, я боюсь его насмешек: он привык первенствовать надо мной, а я привык подчиняться ему. Ваня, ежели и не одобрит мое намерение, то поймет его». 20

«Ta lettre, cher Dmitri, ne m'a rien prouvé si ce n'est ton excellent cœur, chose dont je n'ai jamais douté, – писала ему графиня Белорецкая. – Mais, mon cher, les bonnes qualités nous font dans la vie plus de tort, que les mauvaises. Je ne compte point influencer ta conduite, te dire, que tu fais des extravagances, que ta conduite m'afflige, mais je tâcherai de te convaincre. Raisonçons, mon ami. Tu dis que tu te sens de la vocation pour la vie de campagne, que tu veux faire le bonheur de tes sujets et que tu espères devenir un bon хозяин. 1-mo il faut que je te dise: qu'on ne sent sa véritable vocation, qu'après l'avoir manquée; 2-do 30
qu'il est plus facile de faire son propre bonheur que celui des autres et 3-io, que pour être un bon хозяин, il faut être froid et sévère, ce que tu ne pourras jamais être. Tu crois tes raisonnements péremptoires et ce qui plus est tu veux les prendre pour règles de conduite; mais à mon âge, mon ami, on ne croit qu'à l'expérience: et l'expérience me dit que ton projet n'est qu'un enfantillage. Je frise la cinquantaine, j'ai connu dans ma vie beaucoup de gens de mérite et cependant jamais je n'ai entendu parler d'un jeune homme bien né et de capacités, qui de gaieté de cœur s'allait enterrer à la campagne sous prétexte de faire du bien. Vous avez 40
toujours affecté d'être original, tandis que votre originalité n'est qu'un excès d'amour-propre. Hé! mon cher, suivez les chemins battus; ce sont ceux dans lesquels on réussit et il faut réussir pour acquérir les moyens

de faire du bien. La misère de quelques paysans est un mal indispensable, ou un mal auquel il est possible de remédier sans oublier tous ses devoirs, envers l'état, ses parents et soi-même.

10 Avec ton esprit, ton cœur et ton enthousiasme pour la vertu il n'y a point de carrière dans laquelle tu ne réussisses; mais choisis en au moins une qui te vaille et qui te fasse honneur. Je te crois sincère, quand tu dis que tu n'as point d'ambition; mais tu te trompes, mon ami; tu en as plus que tout autre. A ton âge et avec tes moyens l'ambition est une vertu et n'est plus qu'un travers et un ridicule quand on n'est plus en état de la satisfaire. Tu l'éprouveras si tu persists dans ta résolution.

Adieu, cher Dmitri, il me paraît, que je t'aime encore plus pour ton projet qui, quoiqu'extravagant, est noble et généreux. Tu n'as qu'à faire selon ta volonté; mais je n'avoue que je ne l'approuve pas»¹.

«Твое письмо, милый Дмитрий, ничего мне не доказало, кроме того, что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда не сомневалась. Но, милый друг, наши добрые качества больше вредят нам в жизни, чем дурные. Я не хочу руководить твоими поступками – не стану говорить тебе, что ты делаешь глупость, что поведение твое

¹ «Твое письмо, дорогой Дмитрий, доказало мне только то, что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда не сомневалась, – писала ему графиня Белорезская. – Но, дорогой мой, хорошие качества больше вредят нам в жизни, нежели плохие. Я ни в коей мере не рассчитываю влиять на твои поступки, говорить тебе, что ты совершаешь сумасбродство, что поведение твое огорчает меня; но я постараюсь убедить тебя. Рассудим, друг мой. Ты говоришь, что ты чувствуешь призвание к сельской жизни, что ты хочешь составить счастье своих крепостных и что ты надеешься стать хорошим хозяином. Во-первых, должна сказать тебе, что свое настоящее призвание человек постигает лишь тогда, когда ему не удалось по нему пойти, во-вторых, что легче составить свое собственное счастье, чем счастье других, и в-третьих, что для того, чтобы быть хорошим хозяином, надо быть холодным и строгим, каким ты никогда не сможешь быть. Ты считаешь свои рассуждения непреложными и, более того, хочешь принять их за правила поведения, но в моем возрасте, мой друг, верят только в опыт, а опыт говорит мне, что твой план – одно лишь ребячество. Мне уже около пятидесяти лет, в жизни я знавала много достойных людей, и тем не менее я никогда не слыхала, чтобы молодой человек хорошего происхождения и со способностями зарылся бы безо всякой причины в деревне под предлогом творить добро. Вы всегда любили быть оригинальным, между тем ваша оригинальность не что иное, как избыток самолюбия. Ох, друг мой, идите по проторенным дорожкам; на них-то человек и преуспевает, а преуспеть надо, чтобы получить возможность творить добро. Нищета нескольких крестьян – необходимое зло, или такое зло, которому можно помочь, не забывая своих обязанностей по отношению к государству, к родителям и к самому себе.

С твоим умом, твоим сердцем и твоим восторженным отношением к добродетели – нет деятельности, в которой бы ты не преуспел; но выбери по крайней мере такую, которая была бы тебя достойна и сделала бы тебе честь. Я верю в твою искренность, когда ты говоришь, что у тебя совсем нет честолюбия; но ты ошибаешься, друг мой; у тебя его больше, нежели у всякого другого. В твоем возрасте и при твоих возможностях честолюбие – достоинство, и оно становится недостатком и смешной чертой, когда человек уже больше не в состоянии его удовлетворять. Ты это испытаешь, если будешь настаивать на своем решении.

Прощай, дорогой Дмитрий; мне кажется, что я еще больше люблю тебя за твое намерение, которое, несмотря на его экстравагантность, благородно и великодушно. Поступай, как хочешь; но, признаюсь, я этого не одобряю» (*фр.*).

огорчает меня, но постараюсь подействовать на тебя одним убеждением. Будем рассуждать, мой друг. Ты говоришь, что чувствуешь призвание к деревенской жизни, что хочешь сделать счастье своих подданных и что надеешься быть добрым хозяином. 1-го, я должна сказать тебе, что мы чувствуем свое призвание только тогда, когда ошибемся в нем; 2-го, что легче сделать собственное счастье, чем счастье других, и 3-го, что для того, чтобы быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим, чем ты никогда не будешь. Ты считаешь свои рассуждения непреложными и даже принимаешь их за правила в жизни; но в мои лета, мой друг, не верят в рассуждения, а верят только в опыт; а опыт говорит мне, что твои планы – ребячество. Мне уже под 50, и я много знавала достойных людей; но никогда не слыхивала, чтобы молодой человек с именем и способностями под предлогом делать добро зарылся в деревне. Ты всегда хотел казаться оригиналом; а твоя оригинальность не что иное, как излишнее самолюбие. И! мой друг, выбирай лучше торные дорожки; они ближе ведут к успеху, а успех необходим, чтобы иметь возможность делать добро. 10

Нищета нескольких крестьян есть зло необходимое, или такое зло, которому можно помочь, не забывая всех своих обязанностей к государству, к своим родным и к самому себе. С твоим умом, твоим сердцем и любовью к добродетели нет карьеры, в которой бы ты не имел успеха, но выбирай по крайней мере такую, которая бы тебя стоила и сделала бы тебе честь. 20

Я верю в твою искренность, когда ты говоришь, что у тебя нет честолюбия; но ты сам обманываешь себя. Честолюбие добродетель в твои лета и с твоими средствами, но она делается недостатком и пошлостью, когда человек уже не в состоянии удовлетворить ему. И ты испытываешь это, ежели не изменишь своему намерению. Прощай, милый Митя, мне кажется, что я тебя люблю еще больше за твой несообразный, но благородный и великодушный план. Делай как знаешь, но признаюсь, не могу согласиться с тобой». 30

Митя вышел из университета и остался в деревне.

Глава 4-я. Ближайший сосед

Помолившись над прахом отца и матери, вместе похороненных в часовне, Митя вышел из нее и задумчиво направился к дому; но, не пройдя еще кладбища, он столкнулся с семейством телятинского помещика.

– А мы вот отдавали визит дорогим могилкам, – с приветливой улыбкой сказал ему Александр Сергеич. – Вы, верно, тоже были у своих, князь? 40

Но на князя, находившегося еще под влиянием искреннего чувства, испытанного в часовне, по-видимому, неприятно подействовала шуточка соседа; он, не отвечая, сухо взглянул на него.

– Признаюсь вам, князь, – продолжал Александр Сергеич приятным, вкрадчивым голосом, – в наш век так редко видишь в молодых людях это похвальное религиозное чувство, что особенно бывает приятно встречать... Извините, князь, что я вас задерживаю, – прибавил он, заметив, что Митя хотел раскланяться с ним, – у меня до вас есть нижайшая просьба... Извольте видеть, когда я еще весной утруждал вас своим посещением, я имел в виду переговорить с вами об этом обстоятельстве; но ваша любезность заставила меня тогда совершенно забыть о деле, да притом, сознаюсь вам, князь, я надеялся, что вы не пренебрежете мной и что удостоите посетить и мой скромный домик, – сказал \langle он \rangle , необыкновенно тонко складывая свои крошечные губы.

– Я очень виноват перед вами, – сказал Митя краснея, – но поверьте, что это произошло нисколько не от пренебрежения, я, напротив, очень благодарен за честь, которую вы мне сделали; но откровенно скажу вам, что, живя в деревне и занимаясь хозяйством, я взял себе за правило избегать всех, даже приятных знакомств.

– Помилуйте, князь, я и не смею претендовать, очень хорошо понимая, как много, много трудов у вас должно быть теперь по хозяйству. Именье ваше, князь, действительно золотое дно; но, между нами, во время опеки оно сильно порасстроилось. Я, как ближайший сосед, могу судить об этом. Не знаю, как теперь, но прежде не только запасов, но поверите ли, князь, – с сладкой улыбочкой сказал Александр Сергеич, – у меня, мелкопоместного, сколько раз брали на обсеменение и теперь еще есть за вашей экономией. Ведь не акты же совершать – взаимные одолжения! Сделайте одолжение, я вовсе не к тому говорю, – продолжал он, перебивая князя, хотевшего сказать что-то, – вы извольте спросить своего приказчика; но главное, усердные трудолюбцы наши – мужички, откровенно скажу, разорены были у вас, князь; а это главное, главное... Итак, – продолжал Александр Сергеич, придавая своему лицу вдруг деловое выражение, – нижайшая просьба, с которой я обращаюсь к вам, относится к церковному делу. Извольте видеть, князь, деревенский храм наш, ежели вы потрудитесь бросить на него внимательный взгляд, год от году приходит в большую ветхость и упадок, так что не только чувству больно смотреть на это разрушение, но разрушение это пред-

ставляет даже некоторую опасность для прихожан. Во избежание такого несчастья, я, как постояннейший посетитель здешней церкви, позволил себе обратить внимание наших прихожан на это обстоятельство и предложить им содействовать общими силами, не употребляя на то церковных сумм, которые у нас слишком незначительны, и все наши дворяне, приняв мое предложение и принеся посильные лепты на общее душеспасительное дело, удостоили меня быть сборщиком и возобновителем нашего храма. Поэтому надеюсь, что и вы, князь, как главный наш помещик, не откажете содействовать общему душеспасительному делу. 10

– Как же-с, я очень рад, – сказал Митя. – И непременно пишу то, что в состоянии...

– Истинная жалость, – продолжал Александр Сергеич тем же певучим голосом, – допустить до разрушения этот скромный дом Божий, в котором слишком сто лет приносились теплые молитвы Всевышнему. Не так ли, князь? Согласитесь, что единственная радость и утешение для всех этих трудолюбцев, – сказал он, указывая на крестьян, выходявших из церкви, – составляет религия и церковь, и поверьте, что ежели бы не это чувство руководило мной, я никогда не взял бы на себя такую хлопотливую обязанность. 20

[– С праздником Христовым, батюшка Александр Сергеич, – сказал в это время невысокий, плотный мужичок в синем армяке и поярковой шляпе, которую он ловко снял, проходя мимо разговаривающих.

– Изволите знать этого молодца? – сказал Александр Сергеич, обращаясь к князю. – Это банкир наш – я всегда его так называю – дворник с большой дороги.

– К несчастью, знаю и даже на днях подал на него прошение. 30

– Ах, как это неприятно. Верно, по случаю этой гнусной ссоры с вашими крестьянами, как это неприятно!

– Напротив, я очень рад, что имею случай раз навсегда избавить здешний край от этого вредного человека.

– Да-с, это совершенная правда; но извините меня, князь, с этими людьми трудно, да и как-то... глуп... неприятно судиться. Вот вам отец Петра Николаича Болхова умел с ними ладить, расспросит, дознается, призовет к себе, да и расправится с ним в четырех стенах без свидетелей. И прекрасно!]

– Однако не смею задерживать вас долее, – сказал он, 40
посмотрев на жену, которая с покорным выражением лица стояла около экипажа, – позвольте надеяться, что до приятного свидания.

Глава 6-я. Двор Ивана Чуриса

Раскланявшись с соседом, Митя поправил шляпу и скорыми большими шагами пошел по красногорской дороге. Подходя к деревне, через которую путь лежал к барскому дому, он остановился, достал из кармана тетрадку и, прочтя в ней несколько имен с отметками против каждого, подошел к ветхому полуразвалившемуся крестьянскому дому.

[Жилище Ивана Чуриса состояло из одного кривого и почерне-
лого 8-миаршинного сруба с одним волоковым и волчьим оконцем,
10 рубленых сеней с грязным порогом и низкой дверью и другого
6-тиаршинного сруба, который был еще ниже, чернее и древнее
первого. Все это когда-то было покрыто под одну неровную кры-
шу; теперь же только на застрехе густо нависла черная гниющая
солома, наверху же местами виднелись стропилы и решетник.]

– Дома Иван? – спросил Дмитрий у крестьянской девочки, ко-
торая с ребенком на руках сидела на навозной завалинке, но, не
дождавшись ответа от остолбеневшей и вытаращившей глаза де-
вочки, он прошел в сени.

– Дома, кормилец, – проговорила плачущим голосом сгорб-
20 ленная старушонка, выходя из двери избы и низко кланяясь, – на
дворе работает, кормилец.

Пройдя в противоположную дверь сеней, князь Дмитрий вы-
шел на небольшой навозный двор, окруженный полуразрушив-
шимися раскрытыми навесами, и под одним из них увидев не-
большого мужика, рубившего что-то, подошел к нему.

Чурисенок, как звали его мужики, увидав барина, не докани-
вая работу, несколько раз еще ударил топором и только, когда
князь уже вышел на середину двора, он воткнул топор в колоду
и, оправляя поясok рубахи, вышел из-под навеса. Иван Чурис был
30 невысок ростом и худ. В сложении его заметны были те особен-
ные черты изнурения и вместе сносноcти, которые оставляет на
человеке постоянная и тяжелая работа, – неестественная сутуло-
ватость узкой спины, дугообразное положение ног, резко обозна-
чавшиеся жилы на руках и шее и глубокие морщины на висках и
затылке. Но лицо его, несмотря на лет 50, которые можно было
ему дать судя по седине, пробивавшей в русых волосах и бороде,
было еще свежо и приятно. Оно выражало какую-то смесь тоски
и беззаботности. Последнее с примесью даже некоторой насмеш-
ливости особенно заметно было в добродушной улыбке, иногда
40 показывавшейся под его длинными усами. Одежда его состояла
из белых посконных порток с синими заплатами на коленях, та-
кой же грязной рубахи, во многих местах открывающей тело, и
низко подпоясанного по ней пояска с медным ключиком.

ДНЕВНИК ПОМЕЩИКА

28 мая. В 8-мь часов вечера я позвал к себе старосту Василья – молодого красивого мужика из богатых ямщиков, который ходит в синем казакине и говорит красноречиво, путая господские обороты с крестьянской речью, и Осипа Наумова, мужа моей кормилицы, бывшего старосту, известного за колдуна, хозяина и пчеловода. Осипу Наумову лет 60, но на вид не более 40. Он приземист, очень белокур, глаза всегда смеются. Он умен, речист и гордится тем, что знает солнечные часы и планы, что не мешает ему быть вполне народным как в жизни, речах, так и приемах. Я объявил им, что намерен отпустить всех крестьян по оброку, и созвал сходку для того, чтобы узнать, согласен ли будет мир на оброчное положение при следующих 2-х условиях: 1) чтоб крестьянские земли все отмежеваны были к одному краю, и 2) чтоб дело я имел не с каждым отдельным крестьянином, а с обществом, причем общество за недоимки обязано выставлять по урочной плате нужное число рабочих. 10

Василий сказал, что размежевки земли *составить слишком затруднительно*, на что я ответил, что затруднения не останоят меня. Осип сказал, что иметь дело с обществом невозможно, потому что найдется слишком много лежебоков. Он не понял меня. Когда я объяснился лучше, он замолк. Я перешел к сходке. 20

– Здравствуйте (я не знал, сказать ли ребята или друзья или мир, и промычал что-то), – сказал я и спросил, нет ли жалоб и довольны ли начальниками. Все молчали, я смотрел на Матвея Егорова, богатого ямщика. – Так довольны? – повторил я.

– Что ж... – сказал кто-то.

– Стало быть, довольны, – повторил я опять после долгого молчания и перешел к изложению моего предложения. Когда я сказал, что даю еще по полдесятины на душу, двое поклонились. Я сказал, что дело не в благодарности (они перестали тотчас же), 30

а в том, чтобы ответили мне на два вопроса. Когда объяснял, как я понимаю мои отношения к обществу, многие изъявили одобрение. Когда я говорил о перемежевке, Василий объяснил, что та самая отходящая земля, 25 десятин, приступит к крестьянскому полю. Я ничего не понял и выразил ему это, но один из мужиков понял, что то была речь о земле барской в крестьянском клине, которая поступит в число $\frac{1}{4}$ десятины на душу. Предоставив решить дело между собой, я ушел домой. Часа через 1 $\frac{1}{2}$ пришли Василий и Осип и объявил Василий, что насчет общества согласны, чтоб я положил
10 сумму на всех и сказал, какую еще землю даю, чтобы они знали, сколько мне платить могут. Общинное начало не удивило их, они еще развили его. Насчет размежевки земли же они изъявляли свое несогласие, предполагая, что вся крестьянская земля будет переделаться между ними и между мной; причем Осип прибавил, что ежели я у них за С. верхом землю отмежую, то они без хлеба останутся. Они видимо предполагали во мне умысел обобрать их. Когда я объяснил, что перемежевки не будет, исключая невозможного сосредоточения в одно всей моей земли, они согласились. При этом я показал это, как я понимаю, на плане. Осип старался не столько
20 понимать, что я говорил, сколько уколоть Василия его незнанием плана. О цене же я сказал, что прежде назначения ее я хочу определить все условия, и что тогда пусть сами скажут, что могут дать. Я купец, они покупатели. Это понравилось Осипу. Еще я сказал им передать миру, чтобы определили справочные цены работ, весьма неудачно объяснив необходимость не набавлять цены тем, что я не буду брать их по высоким ценам зарабатывать оброк, и приказал старосте поговорить с владельцами всех долженствующих пережеваться земель о их требованиях.

Они ушли, но я не вытерпел и в темноте подошел к забору, от
30 которого мог слышать их речи. Объяснение перемежевки понравилось, говорили все вместе. Свеженавозные земли были одним затруднением; кто-то один сказал, что коли у кого отойдет навозная земля, то миром навозить ее, и все согласились. Владельцами пережевывающихся земель оказались все, и все согласились. Насчет справочных цен почти единогласно чрезвычайно умеренно назначили цены: пахоту 1 рубль серебром, косьбу крюком 50 копеек серебром и т. д. Доводом к тому, чтобы не набавляли лишнего, было то, что коли дорого назначить – будут работать чужие, и своим придется брать дешевле. Как они меня поправили!

40 Я подошел к ним; сняли шапки и замолкли. Говорил только староста Осип и Резун, бездомовник, умный плотник, говорун, лет 60, но на вид 40, худощавый, остроносый, с бородой. Я требовал, чтобы надели шапки, говоря, что с шапками голос пропал.

28 Мар. В 8 часов вечера в поезде к себе
 старшему Василию - молодого красивого мушкетера
 из богатых князьков, который, идя по
 казачьи и говорит весьма красиво про
 нутая господский влрота в Фрунженской дрова,
 и сына Кошкова, мушкетера видя Корининири, об-
 шего староста, извещения за какою-то ~~какою~~
 и неюбода. - С. Н. моты во, но на вид не ба-
 уне со. Он дружит; овал обшкур, маж
 всегда ештанис. Сидит у нас, рогаем и гредо.
 и моты это знаея саемочес кае и тая,
 что не итшает ему свит ^{втрим} совершено ка-
 ридиан факт в Фрунженской, так и кри-
 ская. - Я обавил мис это паштрив от
 шетит вемел Крестидар по афору, а сурен
 шодку див того, что в узаме сошавшим
 будит мурь на асрочеи сточраи зур ил
 дурочива 2^е уаовидия: 1) что в пред ридеки
 зати все ашавидань баш в адному крае
 и 2) что в див и миты не в кардини отиде
 кивн Крестидарам а в обидежан, при
 чем обидея за редомиди обидане вездиде
 ги урочии шатт ^{мушкетера} итветнае мило расован

Дружелюбно смеялись: цель сходки нравилась. Резун предложил взять земли на мальчиков. Осип нетерпеливо подернул плечом и отвернулся. Я сказал, что земли даю только те, которые находятся в владении. Поняли, что Резун бил на нечистое дело.

Я предложил вопрос о том, сколько хотят сенокоса в одном месте, чтобы ни мне, ни миру обидно не было. Резун сказал, что половину дать им. Я ответил, что он судит скоро, чтоб подумал: цена оброка будет зависеть от того, сколько у них будет земли. Замошчали и звуки одобрения. Я простился и пошел, они тоже
10 пошли, громко разговаривая. Завтра дадут ответ о сенокосе.

29 мая. В 9 часов мне сказали, что собралась сходка. Я пошел к ним и предложил вопрос о сенокосе. Вообще заметно было уныние, непохожее на вчерашнее расположение духа. О сенокосе мне сказали, что у них сена слишком мало и желали бы иметь больше, именно Арковский верх и т. д. Я пошел с Осипом посмотреть на плане. Он многозначительно поводит пальцем и растолковал мне. Мы решили определить так, что я отдаю все покосы, исключая некоторых. Я вышел снова к ним из конторы и предложил вопрос так:
20 хотите взять по вольному контракту или нет, и какую назначите цену? Осип сказал: рублей 20, – как будто не понимая, в чем дело – предложил то есть $\frac{1}{3}$ настоящей цены. Я снова ушел в контору, посоветовав им совещаться. Я с глаза на глаз объявил Василию цену, за которую я хочу отпустить. Он нашел цену небольшою. Сообщи-
30 л ему мысль приобщить дворовых к общине. Он понял так, что крестьяне будут нанимать у дворовых. Сообщил тоже Осипу о дворовых, ему понравилось. Осип сказал вдруг, что о сенокосе несогласны, не зная цены. Вышел к ним, объяснил о дворовых всем, обращая преимущественно к Резуну. Он вдруг сказал, что вообще отвечать общиной не согласны. Мы разошлись совсем. Они
40 сказали, что с барщиной много довольны и жить хорошо, ежели бы я прибавил сенокоса и земли. Снова я спросил, как могут быть не согласны, не зная цены. Просили открыть цену. Я сказал. Молчание. Резун сказал: нельзя. Какой-то дерзкий голос, с желанием уколоть меня, как мне показалось: оброком нас всех разорите. – Много голосов, все из бедных и бездомных: за что общество будет отвечать за неимущих и полтора оброка платить? Я доказывал, что заработают барщиной, одной поденной работой в $1\frac{1}{2}$ раза больше. Умолкли. Я предложил советоваться и ушел. Вызвал старосту, прося его убедить их. Он обещал, как дело весь-
40 ма для него легкое. Снова я пошел к ним. Уже толковали о том, сколько платить старикам без земли. Просили прибавить земли на мальчиков и убавить цены, я назначил каждый день сходки и ответ в Троицын день через 5 дней.

3 июня. Троицын <день>. Сходки не было, потому что я не приказал старосте, а только сказал мужикам на сходке. Василий однако утром сказал мне, что мужики решительно не согласны, что Осип сказал, что и 10 рублей не заплатит, а Резун один согласен. Вечером на Грумах встретил Кирилу, Анисимова брата, в лесу и заговорил с ним; он сказал, что нынешний год тяжел падежом лошадей, и поэтому оброк невозможен. Потом подъехал к Осипу: он с сдержанной улыбкой умного человека, который проник, что его хотят надуть, и не поддается, сказал, что придется платить по 150 рублей за нищих, что оброк велик и что староста угнетатель. 10

Встретил Резуна, тот сказал, что он не понимает упорства других, что он согласен и что надо поговорить еще. Потом подъехал к Даниле (богатый семейный мужик, из ямщиков, худой, бледный, неподобострастный, но добродушный и очень умный). Он подошел ко мне, когда я заговорил об оброке, с лицом, выражающим стыд за меня, что я притворяюсь и лгу. Он отделался общими местами, говоря, что и за мной жить хорошо, что при папеньке моем за ними оброк тоже не стоял. Часов в 10 я пошел ходить с Васильем и рассказал ему весь свой план. Василий понял, не удивился и сказал, что он как пред Богом, так и передо мной, объяснит, что они имеют в разуме, что я хочу сделку сделать, теперь обязательство взять, так как знаю, что в коронацию всем будет свобода, и главное от этого не соглашаются. Они и не знали, что я намерен пересадить на оброк с осени. Но трудно будет разуверить в том, что я их обманываю. Завтра открою им свою мысль и допущу оброк хотя нескольких, ежели не захотят обществом. 20

5 июня. Нынче была сходка. Когда я спросил: желают ли на оброк обществом, долго все молчали и потом стали говорить, что дорого и что некоторые пойдут, может. Сказали только, что не согласны, когда я спросил: не согласны? Говорили, что хлеба нет и придется платить по 92 рубля, что некоторые пойдут. Я объяснил, что все дело решится только осенью. Молчание... Я вошел в контору и из окна начал говорить: что цель моя в том, чтобы они откупились. Молчание. Что произойти это не может раньше выкупа из Совета, 24 лет. Яков, белобрысый бойкий мужик, сказал, что никто не доживет до этого срока. Звуки одобренья. Сказали, что оброк велик и что и так жить хорошо. Я предложил идти на оброк тем, которые хотят, и составить общество. Звуки одобрения; но когда я сказал, что остальные пусть вместе с другими сделают условие – контракт, слышались испуганно-недовольные возражения, что может сделать(ся) болезнь и из всего общества 10 человек останется. Я сказал (необдуманно), что контракт нельзя сделать иначе, как когда все пойдут, а потом сказал, что можно и совсем, вообще изложил 40

неясно. Сначала напали бедняки, и из первых Яков, на то, что оброчным нечего ходить, ежели не все. Я объяснил, что каждый свободен; потом возразили, что пусть лучше останется на прежнем положении, а то кормить в голод некому будет, и, выйдя из оброка, я не приму его. Возвратились к оброку, просили отсрочку до осени. Когда я сказал, что нужно мои поля бросить, они предлагали нанять их. Я сказал им пункты условия, все изъявили неудовольствие и к подписке выражали страх. Потом я заметил, что ежели свобода будет дана общая, то условия контракта моего пусть будут недействительны. С ужасом восставали на всякое поползновение к подписке и обращались к оброку. Я сказал, что подписка для того, чтобы связать наследников. Они сказали, что им все равно и у Мараюшников жить. Даже те, которые были за оброк, замолкли. Стали льстить и врать официально. «Вы наши отцы, нам хорошо». Резун вдруг предложил отдать им всю землю. Я предложил ему отдать мне свой армяк и сапоги. Засмеялись. Я возвратился к подписке. Оскорбленно говорили, что никак нельзя, как можно, отцы не делали, и дети пусть служат, как будто я предлагал им дать подписку в том, что каждый будет осквернять святыню. Данило, к которому я приступил, требуя объяснения отказа и объясняя его надеждой воли без выкупа, божился мошеннически, и все одобрительно подтверждали его слова, что они ничего не знают. Он сказал, что дети пусть тоже служат барину. – Да, – я сказал, – разве им не лучше будет? – Нет, – ответил он, и все подхватили, – вольным жить хуже. И опять начали не то льстить; видно, они очень испугались чего-то, чего еще я не понял. Я сказал, что все-таки пусть потолкуют, согласны ли на контракт, и кто согласен на оброк? Голос из толпы, что на оброк никто не пойдет, и все одобрительно молчали. Я отошел в сад и минут через 5 вернулся. Никого уже не было. Все разошлись молча, плотники толковали с старостой о сваях. Как будто нынешние мои слова были уже так глупы, что не стоили никакого внимания. Староста, с которым я после заговорил об этом деле, сообщил мне, что, когда он начал говорить им, они и слушать не стали и разошлись молча. Староста, который на мою сторону клонит и, как богатый мужик, должен желать свободы, объяснял их несогласие действительно тем, что свободным лучше. Он подтверждал это примерами. Завтра напишу черновое условие и дам им.

6 июня. Вот черновой договор, который дал старосте и который он одобрил, с тем чтобы дать его читать крестьянам. Староста объяснил мне, что они действительно ожидают вольной в коронацию и что они боятся, я их надую.

7 июня. Я велел собрать стариков. Староста же сделал весьма неудачный выбор. Влас, болезненный развратный старик.

Мороз, добродушный плут, который отвечал мне, что он глух. Владимир, добрый, но тупой мужик, Резун, Осип и Данило. Староста им прочел еще прежде меня, я прочел снова. Резун говорил, что понимает, когда же я приступил с вопросами: хотят или нет? сказали, что лучше по-старому, что мы готовы, одним словом, не отвечали на вопрос. Осип сказал, что хуже бы не было от того, что 3 дня; я доказывал нелепость его слов. Он сказал, что он стар, с молодыми поговорите. Потом сказал, что начальства будет много. Данило – злобный плутовской брютет. Ямщик. Косится на других, когда говорит. Говорил, что они глупы, не понимают. Лучше служить по-старому, и что они не доживут воли. Наконец, когда я нападал на их недоверие и скрытность, Резун, которому, между прочим, нужно от меня лошадь, сказал, что он скажет все: надеются свободы, а я их свяжу подпиской. Я прочел последний пункт, опять толковал, просил об одном, чтобы со мной советовались. Стали сговорчивей и обещались подумать. Воскресенье велел созвать общую сходку. На этой сходке Резун снова, как будто обещая согласиться, просил прибавить земель, и все подтверждали.

10

Черновое письмо гр. Блудову.

20

Ваше сиятельство,
граф Дмитрий Николаевич!

Уезжая из Петербурга, я, кажется, имел честь сообщать Вам цель моей поездки в деревню. Я хотел разрешить для себя в частности вопрос об освобождении крестьян, занимавший меня вообще. Перед отъездом моим я даже подавал докладную записку товарищу министра внутренних дел, в которой излагал те основания, не совсем подходящие к законам о вольных хлебопашцах и обязанных крестьянах, на которых я намерен был сделать это. Г-н министр передал мне словесно через своего товарища, что он одобряет мой план, рассмотрит и постарается утвердить подробный проект, который я обещал прислать из деревни. Приехав в деревню, я предложил крестьянам идти вместо барщины на оброк вдвое меньший, чем оброк в соседних деревнях. Сходка отвечала, что оброк велик и они не в состоянии будут уплатить его. Я предлагал заработки – несогласие. Я предложил им выйти в обязанные крестьяне работой по 3 дня в неделю, с прибавками земли, с тем чтобы по истечении 24 лет срока выкупа имения из залога они получили вольную с полной собственностью на землю. К удивлению моему они отказались и еще, как бы подтрунивая, спрашивали, не отдам ли я им еще всю и свою землю. Я не отчаивался и продолжал почти месяц, каждый день беседовать на сходках и отдельно. Наконец я узнал причину отказа, прежде для

30

40

меня непостижимого. Крестьяне, по своей всегдашней привычке к лжи, обману и лицемерию, внушенной многолетним попечительным управлением помещиков, говоря, что они за мной счастливы, в моих словах и предложениях видели одно желание обмануть, обокрасть их. Именно: они твердо убеждены, что в коронацию все крепостные получают свободу, и смутно воображают, что с землей, может быть, даже и со всей – помещичьей: в моем предложении они видят желание связать их подпиской, которая будет действительна даже и на время свободы.

- 10 Все это я пишу для того только, чтобы сообщить вам два факта, чрезвычайно важные и опасные: 1) что убеждение в том, что в коронацию последует общее освобождение, твердо вкоренилось во всем народе, даже в самых глухих местах, и 2) главное, что вопрос о том, чья собственность – помещичья земля, населенная крестьянами, чрезвычайно запутан в народе и большей частью решается в пользу крестьян, и даже со всей землею помещичью. Мы ваши, а земля наша. Деспотизм всегда рождает деспотизм рабства. Деспотизм королевской власти породил деспотизм власти черни. Деспотизм помещиков породил уже
- 20 деспотизм крестьян; когда мне говорили на сходке, чтобы отдать им всю землю, и я говорил, что тогда я останусь без рубашки, они посмеивались, и нельзя обвинять их: так должно было быть. Виновато правительство, обходя везде вопрос, первый стоящий на очереди. Оно теряет свое достоинство (*dignité*) и порождает те деспотические толкования народа, которые теперь укоренились. Инвентари. Пускай только правительство скажет, кому принадлежит земля. Я не говорю, чтобы непременно должно было признать эту собственность за помещиком (хотя того требует историческая справедливость), пускай признают ее часть за крестьянами или всю даже. Теперь не время думать о исторической
- 30 справедливости и выгодах класса, нужно спасать все здание от пожара, который с минуты на минуту обнимет. Для меня ясно, что вопрос помещикам теперь уже поставлен так: жизнь или земля. И признаюсь, я никогда не понимал, почему невозможно определения собственности земли за помещиком и освобождения крестьянина без земли? Пролетариат! Да разве теперь он не хуже, когда пролетарий спрятан и умирает с голоду на своей земле, которая его не прокормит, да и которую ему обработать нечем, а не имеет возможности кричать и плакать на площади: дайте
- 40 мне хлеба и работы. У нас почему-то все радуются, что мы будто доросли до мысли, что освобождение без земли невозможно и что история Европы показала нам пагубные примеры, которым мы не последуем. Еще те явления истории, которые произвел

пролетариат, произведший революции и Наполеонов, не сказал свое последнее слово, и мы не можем судить о нем как о законченном историческом явлении. (Бог знает, не основа ли он возрождения мира к миру и свободе.) Но главное, в Европе не могли иначе обойти вопроса, исключая Пруссии, где он был подготовлен. У нас же надо печалиться тому общему убеждению, хотя и вполне справедливому, что освобождение необходимо с землей. Печалиться потому, что с землей оно никогда не решится. Кто ответит на эти вопросы, необходимые для решения общего вопроса: по сколько земли? или какую часть земли помещичьей? 10
Чем вознаградить помещика? В какое время? Кто вознаградит его? Это вопросы неразрешимые или разрешимые 10-летними трудами и изысканиями по обширной России.

А время не терпит, не терпит потому, что оно пришло исторически, политически и случайно. Прекрасные, истинные слова государя, сказанные в Москве, облетели все государство, все слои и запомнились всем, во-первых, потому что они сказаны были не о параде и живых картинах, а о деле, близком сердцу каждого, во-вторых, что они откровенно-прямо-истинны. Невозможно отречься от них, опять потому, что они истинны, или надо 20
уронять в грязь prestige¹ трона, нельзя откладывать их исполнения, потому что его дожидаются люди *страдающие*.

Пусть только объявят ясно, внятно, законом обнародованным: кому принадлежит земля, находящаяся в владении крепостных, и пусть объявят всех вольными, с условием оставаться в продолжение 6 месяцев на прежних условиях, и пусть под надзором чиновников, назначенных для этого, прикажут составить условия, на которых останутся отношения крестьян с помещиками, пусть допустят даже свободное переселение с земель и определят по губерниям minimum его. Нет другого выхода, а выход 30
необходим. Ежели в 6 месяцев крепостные не будут свободны – пожар. Все уже готово к нему, недостает изменнической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожар везде. Мы все говорили: это много труда, обдумыванья, времени. Нет! время пришло. Есть 3 выхода: деньги! Их нет. Расчетom уплатой – времени нет. И 3 – без земли. Можно после утвердить. Первая приготовительная мера – объявление, нечего скрывать, все знают.

10 июня. Была окончательная общая сходка. Долго молчали на мой вопрос: согласны ли? Наконец один маленький плюгавый бедняк заговорил за всех и объявил, что не согласны. Общее 40
мычанье подтвердило. Резун объяснил причины, будто бы

¹ обаяние, престиж (фр.)

1) что я не даю сенокоса и 2) что мальчики будут подрастать, земли понадобятся, и неоткуда их будет взять, и 3) что по 24 лет им одних своих земель мало¹. Я отвечал, что сенокосы дам и земли буду давать по требованию. Опять жалобы на недостаток хлеба, сенокосов и поголовную работу, которая их разорила совершенно. (По журналу не выходит 130 дней на тягло.) Я сказал, что одно средство – подписка. Вопль, что мы не противничали, как служили, так и будем, не было бы хуже за больных отвечать. Я решил, что дело прямо невозможно и предоставил один оброк, 10 осенью решится дело.

Потом я предложил земли; никто не хотел брать, говоря, что для этого нужно принуждать: очевидное противоречие с 2-м доводом Резуна.

Мир, как правила детской игры, *compétent*² в решении дел о сенокосах, но перенесите его в другую сферу, дайте ему другую задачу, задачу о выходе из помещичьей власти, он не только не решает, но сам уничтожается, и остаются невежественные бессмысленные единицы. Контракт с ними невозможен, я решил одно – оброк, для того завел своих рабочих. Когда все будут на оброке, еще раз предложу контракт. 20

¹ Опять является смутное понятие о их собственности на всю землю. (Прим. Л.Н. Толстого.)

² сведущий (фр.)

〈ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ〉

В июле месяце 1855 года, в самое жаркое время Крымской кампании, майор Вереин ехал ночью один верхом по дороге, ведущей от Белбекской мельницы к Инкерманской позиции. Он ездил на полковой праздник к командиру гусарского полка и теперь возвращался к себе в лагерь. Часов с двух в этот день пошел реденький дождик из желтоватой прозрачной тучи, составлявшей край большой черной грозовой тучи, и, казалось, должен был пройти скоро, но вместо того дождик все усиливался и продолжал идти теперь, во втором часу ночи, то мелкий, как сквозь сито, то как будто с каких-то невидимых деревьев сыпались сверху с ветром крупные тяжелые косые капли. На северо-востоке, однако, туча уже резкой черной чертой поднялась над светло-прозрачным горизонтом, на котором поднимался вывернутый в другую сторону, убывающий золотистый месяц. На юге, впереди по дороге, по которой ехал майор, часто загорались на черном небе красноватые молнии и слышался гул выстрелов в Севастополе. 10

Завернувшись в отяжелевшую и провонявшую мылом от мокроты солдатскую шинель, майор сгорбившись сидел на тепло-сыром седле и беспрестанно поталкивал мокрыми склизкими каблучками в живот уставшей большой гнедой кавалерийской лошади. Старая лошадь, подкидывая задней ногой, в которой у нее был шпат, пошлепывала по лужам дороги, болтала отвислой губой, изредка при виде куста или рытвины поднимала одно ухо и сторонилась и беспрестанно кряхтела как-то с визгом, как будто натуживаясь изо всех сил. Майор много выпил на празднике, голова у него не кружилась, но отяжелела и глаза слипались. Изредка только он открывал их, взглядывал на вытянутую шею и мокрую гриву лошади, на белую полосу дороги, блестящую рябыми лужами, которая, однообразно изменяясь, в одинаковом расстоянии белела перед ним, и повторял фразу: «хорошо у бабушки на свете жить», 30

которая Бог знает почему уже давно пришла ему в голову и которую он без всякой мысли умственно повторил уже раз триста, и снова закрывал глаза и задремывал.

Майор Вереин был человек лет 35-ти, очень высокий ростом, с длинными ногами, широким тазом и сутуловатой угловатой спиной. Круглые карие глаза, выгнутый широкий нос среди худого желтоватого лица и очень длинные чернеющие к скулам бакенбарды, зачесанные вниз, давали ему выражение изнурения, доброты и общего всем старым военным спокойно-мужественного равнодушия. Вглядевшись ближе в его совсем круглые глаза, зрачки которых далеко не доходили до краев век, в них заметно было кроме того выражение сильной мечтательности или постоянного увлечения одной идеей. Вереин уже лет 17 служил в военной службе и все в том же драгунском полку. Товарищи и начальники говорили про него: офицер примерный, службу знает, как сам устав, хозяин отличный, эскадрон у него в порядке как ни у кого, с людьми строг, правда, но иначе и нельзя. Строг, но справедлив, за то и любят его. Кроме того, человек образованный, говорит по-французски, по-немецки, кажется, и по-итальянски.

20 Живет прилично. Как следует быть эскадронному командиру.

Вереин действительно был таков, как описывали его товарищи, и главное то, что это знание службы и служебных отношений как-то само собой, без труда с его стороны, давалось ему. Он сначала страстно любил службу, охота мало-помалу пропадала, осталась одна привычка, и теперь уже давно ему все казалось, что напрасно он на нее посвятил лучшие года и силы молодости, которые бы он мог употребить лучше. Несмотря на то, ежели бы у него спросили, как бы он желал устроить свою жизнь, он бы не умел ответить. Уже 17 лет весь мир, исключая своего военного круга, был закрыт для него. Все интересы, не только общечеловеческие, но личные людей невоенных были непонятны для него. Разве изредка, читая газеты или слушая разговоры, он любил заставить себя подумать о каком-нибудь случайно представившемся ему вопросе: то о устройстве свеклосахарных заводов, то о китайских инсургентах, то о новооткрытом минерале. Все воспоминания его были только военные, набравшиеся за эти 17 лет службы. Воспоминания эти были: время конкерства, дежурство на конюшне, ссоры с фелдвеебелем, лихие успехи в верховой езде, кутежи с товарищами, потом счастливая эпоха производства, поездки к помещикам и снова кутежи и манеж; потом отличие и усердие в службе и надежда на эскадрон и наконец осуществление этой надежды. Воспоминания, предшествовавшие службе: его жизнь в богатой деревне отца, ласки матери, игры с братом, – как-то неприятно действовали на него, и он

30

бессознательно отгонял их. Перебирать эти полковые воспоминания, которые как ни кажутся ничтожными, для него были полны значения и жизни, составляло главное занятие Вереина. Он часто по целым дням просиживал с трубкой в зубах на одном месте, перебирал свои воспоминания, внутренне тоскуя и досадуя на кого-то за то, что воспоминания эти были так пошлы и пусты.

В эти времена хандры он бывал особенно холодно строг с людьми, ежели случались какие-нибудь дела по эскадрону. Поход в Крым расшевелил его. Ему представились тотчас же две стороны этого обстоятельства. Полк, в котором он служил, не принимал участия 10 в военных действиях во все время кампании, слухи, доходившие из Севастополя, были часто ложны, да и по правде сказать, он вовсе не интересовался ими. Что наша возьмет, он твердо был уверен в этом, а война выражалась для него тем, что стояли дивизии лагерем, кормились по справкам и получали рационы. Сегодня утром он поехал к полковому командиру только потому, что его затащили товарищи, но, приехав туда, он не раскаивался. Праздник был блестящий. Гостей почетных и из Главного штаба много, обед и вина отличные.

Хозяин был генерал, гусар старого времени, и давно знаком с Вереиным. Он принял его хорошо, посадил на верхнем конце стола между адъютантом Главнокомандующего и флигель-адъютантом. Во все время обеда пели песенники, и на другом конце стола корнеты и поручики, сначала робко смотревшие на верхний конец, оживились и говорили громко. Крымское вино и портер заменились шампанским. Адъютант спорил, что он выпьет больше всех, Вереин стал пить с ним и выпил пропасть. За бланманже закурили сигарки, и разговор о Севастополе и ошибках начальства заменился разговором о женщинах, лошадях, не потому, чтоб находили его веселей, но так, по привычке, будто так надобно. Притворялись, что интересны 20 дела военные и справки, хотя всякий знал, сколько получает дохода К.И.; теперь притворялись, что весело пить и говорить об лошадях. 30

Вереин никогда не думал, что притворяются, но он уж так привык к этому, что знал вперед все, что будет: как снимет сюртук один, потом другой, как пойдут к песенникам, как будут петь гусарскую песню, как Р. Вал. будет махать руками, как будут пить за здоровье полка, за здоровье гостей почетных, за защитников Севастополя, а потом так будут пить за шуточные здоровья, как подойдут к песенникам, как гусары будут комедию ломать. И пить ему не хотелось, но уж так вино на столе, будто весело, и другим бы было неприятно. Другие думали то же самое. Особенно так думал адъютант, но надо 40 mettre других en train¹ и пошел плясать. Генерал притворился, что рад и смеется, несмотря на то что с секунду в глазах его при этом

¹ расшевелить (фр.)

выразился испуг, что это неприлично и не удержать ли его. Потом адъютант сказал майору, что он перепил его. Майор сделал, как будто это ему неприятно, и выпил целый стакан. Стакан этот был лиш-
ний. Голова у него закружилась, а тут адъютант потащил его пля-
сать. Генерал истинно устыдился; но он, злобно стиснув зубы на
свою глупость, прошел-таки казачка. Длинные ноги зацепились од-
на о другую, и он упал. Он сделал ужасную гримасу, будто смеется,
бакенбарды мокрые как-то жалобно отвисли, он встал и пошел
прочь от палаток в сад. В саду над канавкой он остановился, уперся
10 головой об дуб и долго силой воли не мог остановить круженье
головы. Вода текла, комары по ней, трава, на к(оторую) он вдруг
открыл глаза. Вдруг ему вспомнилось детство, семейство отца и ста-
руха бабка. Он лег головой на траву и мгновенно заснул. Проснув-
шись, он нашел в палатках игру. Пропонтировал 100 рублей и, при-
творяясь, что ему все равно, с мрачным лицом пошел ужинать.
Опять невольно все притворились, что празднуют что-то: полк
кавалерии, дух, и он выпил много, но не столько. Почетных гостей
не было, ужин был проще. Он пропонтировал еще 150, которых
у него не было, и поехал домой. Дорогой опять привычная грусть
20 начала сосать его. Какой-то непонятный вопрос: зачем? беспре-
станно представлялся ему, и ему было все грустнее и грустнее,
и вместе с тем он вспоминал, что говорил про справки, и говорит:
хорошо (у) бабушки, и дремля твердил это теперь. Шинель стано-
вилась сырей и сырей, лужи больше и больше. Но вот кусты,
кажется эти. Да, надо завтра взять деньги из ящика, отдать, этого ка-
налью фуражира выпороть, что сено купил по 80, а у генерала по 60.
Приеду домой – небось палатка насквозь промокла, и постель
мокра, а Николаев пьян наверно, – и он снова закрыл глаза. Сказа-
но, что если веруешь, то горы подвигнешь. Господи, подумал он,
30 дай мне семейную тихую жизнь, выведи меня отсюда.

Он посмотрел кругом, месяц совсем уже выплыл, но его пе-
ререзала тонкая черная тучка. Темная полоса тучи так же резко
отделялась от горизонта. Мелкий дождь сыпал сверху из сплош-
ного серого неба. Направо ровная даль, налево огни Севасто-
поля. Дорога белела резче, извиваясь между черным кустарником,
изредка узкими тропинками огибая его. «Так, вот за этими куста-
ми, полверсты, не больше будет», – подумал он, снова закрывая
глаза. Он совершенно забылся, минуты на две. Когда он открыл
глаза, дождик переставал, едва сыпался, когда приносило его
40 ветром из дальней тучи; было светлей, те же кусты виднелись с
обеих сторон дороги, но кусты эти были выше и чаще, точно ал-
лея. Чем больше он вглядывался, тем более изменялись они. Он
поглядел направо: кусты мешались с высокими деревьями, ко-

торых, он твердо знал, не было в этом месте. За деревьями между ними блестела вода, двигаясь между корней, которые сами бежали, один застилая другой. Он стал вглядываться: это похоже было на сад. Он оглянулся налево, где не смотря чувствовал свет и принимал его за огни выстрелов Севастополя. Эти дальние огни не мелькали, а стояли на месте ровным четверугольником. Не было сомнения, это дом с освещенными окнами. Куда я заехал? Однако он толкнул вперед лошадь. Вот и въезд в аллею, по которой лошадь пошла сама, как домой, веселой иноходью. Он посмотрел на лошадь, – и лошадь была другая, вороная, с толстой шеей и острыми ушами и длинной гривой. В ней чувствительны были сила и игривость, она, бойко раскачиваясь, потопывала по лужам и подкидывала спиной и подергивала поводья, поворачивая голову то направо, то налево. 10

Едва она подъехала к крыльцу, как в темное окно высунулась сзади освещенная женская фигура и по лестнице послышался топот. Вышел старик дядька его и взял лошадь.

– Изволили промокнуть, Петр Николаич, – сказал он.

Какая-то собачонка с визгом стала вертеться вокруг лошади.

– Нехорошо, Петр Николаич, – сказала женская фигура, – не слушаться жену; я говорила, что будет дождик. 20

Вереин тотчас узнал голос М.Н., он понял, что она жена его, но, странно, удивился очень мало. Он почувствовал себя дома и уже давно. Что-то прилило к сердцу – счастье. Он вошел на лестницу. Все это было ему ново, но знакомо, ужасно знакомо и мило. Этот ларь, ручка двери и т. д. Он даже вспомнил, что, уезжая из дома, почти поссорился с женой за то, что она не хотела отнять от груди младшего ребенка, девочку, которой был уж 2-й год. Она упрекнула его в своеволии, а он посмеялся довольно зло над нежностью, которую будто она аффектировала. Он вошел на лестницу. Все было как следует. Жена встретила его. Она много похудела, лицо было прозрачно, руки ужасно худы, но та же милая добродушно-веселая улыбка, волосы ее были зачесаны назад, на ней было пестрое голубого цвета платье. 30

– Я тебя послушала, мой друг, – сказала она, целуя его в щеку, – я отняла Машу.

– Ах, напрасно, – сказал он невольно, – а я хотел сказать, что я врал утром, виноват.

Она улыбнулась: «Хочешь чаю, мы пили, но самовар ждет тебя». Они вошли в гостиную, на диване за картами сидела старушка мать Вереина, которая умерла тому назад лет 8 и теперь постарела очень. У окна сидел старший брат. Он читал вслух, подле него стоял кудрявый мальчишка. 40

ДВОРЯНСКОЕ СЕМЕЙСТВО

Комедия в 3-х действиях

Действие происходит в деревне князя Зацепина

Действующие лица

Князь Зацепин. Отставной гвардии полковник, 50 лет.

Княгиня, жена его, 40 лет.

Князь Анатолий, старший сын его, гвардии поручик, адъютант, 27 лет.

10 Князь Валерьян, меньшей, 20 лет, не кончивший курс в университете и не служащий.

Володя, управляющий, бывший крепостной старого князя, 40 лет.

Наталья, жена его, 35 лет.

Пашенька, сестра Натальи, 22 лет.

Иван Ильич, незаконный сын отца старого князя, отставной портупей¹-юнкер, 43 лет, живущий уже 15 лет в доме князя.

Староста.

Егорка, слуга старого князя, 50 лет.

Еремей, слуга Володи.

20 Иполит, слуга князя Анатоля.

Сашка, слуга княгини.

Леля Житова, соседка князя.

Приказчица Житовых.

Действие 1-е

Комната подле кабинета, кругом диваны, в середине круглый накрытый стол, на котором стоят самовар, серебряный кофейник, чашки, сливки, крендельки, хлеб и масло.

За столом сидят старая княгиня, разливая чай, и Иван Ильич, который робко намазывает масло на хлеб. Сашка стоит, отставив ногу, у двери.

Княгиня. Я боюсь, он опять дурно спал ночь. Вчера рассердили его эти бабы, что приходили жаловаться – ах, этот на-

¹ В автографе: протупей.

род! вот говорят – деревня, покой – ему дня не проходит без тревог или неприятностей каких-нибудь. Отчего вы не вошли к нему, к мужу отчего не вошли, Иван Ильич?

Иван Ильич. Я уж подходил к двери, княгиня, – я как хорошие часы верен, как князь изволит говорить, в 7 часов на ногах, до осьми гуляю до мельницы и назад, и в восемь к князю и чай. Наталья Дмитриевна там была, за ней барин посылали гребешок почистить; так я спросил: можно? – нет, говорит, сейчас сам князь выйдут, они уж одеваются. Как нынче, матушка, эти крендельки
10 сдобные Захар делает хорошо – уж точно прекрасно.

Княгиня. Ну, а сына Воленьку не видали?

Иван Ильич. Видел, княгиня. Он в саду. Подле оранжереи с книжкой лежит. Я так-то прошел, он меня не заметил. Читает так серьезно. Экой ангел, Валерьян-то Осипыч ваш, уж все и люди, и соседи говорят; вот истинно, три месяца у нас гостит, и не слышно его, как бы не было. А умница-то какой.

Княгиня (*рассеянно*). Да... Саша, сходи, мой дружок, в сад и скажи Валерьян Осипычу, что маменька приказали сказать, что извольте, мол, домой к чаю одеться идти, а то папенька вый-
20 дут и опять будут сердиться, что вас нет, – слышишь.

Сашка. Слушаю-с. (*Уходит.*)

Иван Ильич (*кричит вслед*). Смотри, в малину не заходи. Аким поймает, он тебе даст. (*Молчание.*)

Княгиня. Хотите еще чаю, или кофею?

Иван Ильич. Теперь кофею позвольте.

Княгиня. Куда вы ездили вчера?

Иван Ильич. К соседям к вашим, княгиня, к Зайцовым. Они славные люди, бильярд тоже есть. Что мы говорили там, княгиня...

30 Княгиня. Что?

Иван Ильич. Про князь Осип Ивановича.

Княгиня. Эти соседи, кажется, не совсем хорошие люди, муж говорил.

Иван Ильич. Нет, княгиня, они люди достойные. Говорили, что хотят непременно князя в предводители просить. На будущий год.

Княгиня. Какой вздор – с его здоровьем и так беспокойств слишком много, да и состояние наше достаточно для нас и для детей, а пиры задавать мы не можем. Да и с какой стати. Муж
40 довольно служил, кажется.

Иван Ильич. Да они говорят, что князь все-таки, какое б ни было его состояние, первое лицо в губернии и по уму...

Княгиня. Да еще бы.

И в а н И л ь и ч. ...и по образованию, и по связям, и во всех отношениях; и про вас говорили, что такой дамы нет для приема, что вы да губернаторша.

К н я г и н я. Однако вы ужасный сплетник, Иван Ильич.

И в а н И л ь и ч. Говорили тоже, княгиня, про Владимира Петровича.

К н я г и н я. Про Володю? что им до Володи за дело.

И в а н И л ь и ч. Один был там землемер Берсов, который с ним дело имел, очень им недоволен, и говорил, что ежели князя выберут, то не князь – Володька с Натальей, это я его слова 10 повторяю, будут предводителями.

К н я г и н я (*строго*). Я вам говорила раз и повторяю первый и последний раз, чтобы вы мне ни про Володю, ни про Наталью не смели говорить. Я знаю отношения Володи к мужу и знать не хочу, как их перетолковывают.

И в а н И л ь и ч. Да ведь не я говорил, а только...

К н я г и н я. Все равно, вы не должны повторять при мне.

И в а н И л ь и ч (*смущенный*). Виноват, княгиня, поверьте.

К н я г и н я. А вот вы сходите-ка лучше к князю да узнайте, как его здоровье, и ежели он не хочет сюда выйти, то чего ему 20 прислать туда? и не хочет ли он свежего хлеба, спросите.

И в а н И л ь и ч (*встает, в дверях встречается князь*). А княгиня только что посылали меня о вашем здоровье узнать, ваше сиятельство.

К н я з ь (*с досадою размахивая руками около лица Ивана Ильича*). Ну какое мое здоровье? разумеется, скверное и еще хуже от того, что нет секунды покоя, чтоб не прибежал какой-нибудь посол. «Хорошо ли ваше здоровье, как вы почивали?» Ах, тоска! (*Идет к чайному столу. Входит Сашка. Княгиня делает ему знаки, он подходит к ней.*) 30

⟨К н я г и н я.⟩ Ну что?

С а ш к а. Сказали, что придут.

К н я г и н я. Да что ж он, встал? пошел?

С а ш к а. Нет, все лежат, я им еще сказал, чтоб изволили идти, они рассерчали, не мешай, сказали и опять стали читать.

К н я г и н я. Ну, беги еще раз. (*Встает и в сторону.*) Опять это огорчит его, ах, Боже мой. (*К мужу, целуются рука в руку.*) Здравствуй, мой дружок, хорошо ли ты почивал?

К н я з ь (*иронически*). Прекрасно...

К н я г и н я (*садится за стол*). Кофею хочешь, мой друг? 40

К н я з ь. Да. Только, пожалуйста, не сладко, как всякий раз как сироп. А Валерьяна нет?

К н я г и н я. Он в саду, читает, сейчас придет, мой друг. А сухариков ты хочешь? (*Подает ему.*)

К н я з ь. «Bestimmung des Menschen» читает. Как философ; а что отец его 20 раз говорил, что он хочет видеть его за завтраком, так этого нет. А рассуждать мастер. С попом об философии и дурней помещиков удивлять своими фразами, только на это и взять.

К н я г и н я. Да он ведь готовится к экзамену, мой друг, иногда и зачитается, увлечется.

К н я з ь. Ах, уж этот мне экзамен, матушка, вот где сидит. Из экзамена из этого выйдет то ж, что из хозяйства, из живописи, из службы: все начнет и бросит, уж это я тебе говорю. Я его
10 знаю. Коли бы хотел учиться, так учился бы, пока был в университете, а не проваливался бы на экзаменах и меня (не) срамил перед всеми профессорами, попечителем, которому я писал об нем. Шалопай и больше ничего.

К н я г и н я. Ах, мой друг, он теперь старается.

К н я з ь. Не может он ничего стараться; потому что это самый пустяшный человек, ни на что не способный. (*Обращаясь к Ивану Ильичу.*) И все от чего? От того, что матушка да тетушка, ее сестрица в Москве, восхищались им и уверяли всех и его самого, что это гений и умный, вот извольте видеть, а это болван каких мало – просто,
20 как я его узнал теперь в эти три месяца, (*обращаясь снова к жене*) глуп как пробка, как этот Сашка, глуп и ленив, и дурен, и все.

К н я г и н я. Ах, что это ты, мой друг.

К н я з ь. Не я этому виноват, а на вашей душе грех, сударыня. Болвану 20 лет, я его повез к губернатору, так он войти в комнату не умеет, он двух слов сказать не может. Губернатор мне друг и приятель старый.

И в а н И л ь и ч. Как же-с, это, ваше сиятельство, все знают, как они вас уважают.

К н я з ь. То есть он мальчишкой был, корнетом, когда я был
30 поручиком гвардии, и он ко мне бегал по три раза на день – так вот наши отношения, но мне стыдно, совестно перед ним стало за сына. Ведь он по-французски забыл говорить, он не может уж *une conversation suivie*¹ по-французски, это кутейник какой-то, а не князь Зацепин.

К н я г и н я. Да он еще так молод, мой друг.

К н я з ь. Молод? Вот это я люблю; да помилуй, матушка, да в его года я был уж адъютантом у принца и уж меня весь Петербург знал, а он только собирается держать экзамен на кандидата. Молод?

В о л о д я (*входит с письмом и кланяется княгине*). С добрым утром, ваше сиятельство. Из города приехали, вам письмо,
40 сударь, кажется, от кнезь Анатолий Осипыча.

¹ связано говорить (*фр.*)

К н я з ь. Давай, хочешь чаю?

В о л о д я. Помилуйте-с, я дома пил.

К н я з ь (*распечатывая письмо*). Налей ему чаю. (*Читает.*)
Аа! ну что ж, я очень рад.

К н я г и н я. Что это, мой друг?

К н я з ь. Анатолий на днях будет, он взял отпуск на три месяца и будет сюда с женой. Только тесно им будет. А? Володя? Как ты думаешь? А? Где их поместим?

В о л о д я (*взяв чашку*). Что ж, во флигеле можно приготовить.

10

К н я з ь. Да-да, во флигеле, ты вели это там подчистить, помазать, понимаешь, чтоб аккуратно было; он ныне или завтра будет, пишет, что выедет 18-го; 18-е, 19-е, 20-е, 21-е, да, ныне он может быть; пожалуйста ж, Володя.

В о л о д я. Слушаю-с; только не лучше ли им мой флигель отдать, а мы бы перешли.

К н я г и н я. И точно, мой друг, там лучше гораздо, а то Машенька часто больна, говорят, там и теплей по ночам.

И в а н И л ь и ч. Там чисто, славно, и в сад прямо ход.

В о л о д я. Впрочем, и в том хорошо будет.

20

К н я з ь. Ну так как? А, Володя?

В о л о д я. Как приказать изволите.

К н я з ь. Нет, уж как сначала сказал...

К н я г и н я. Что он пишет, мой друг, здоровы все?

К н я з ь. Пишет, что генерал его отпустил, что служба его слава Богу, ожидает производства. Вот этот не рассуждает много о *Bestimmung des Menschen*, а делает: вот он и адъютант, поручик гвардии, в лучшем обществе, красавчик. А, Володя? Ты помнишь его? А?

В о л о д я. Как же-с.

30

К н я з ь. Я очень рад, очень рад, и она милая, должно быть. Отца ее я знал и любил, теперь он сенатор, все это хорошо. Я очень рад, очень рад. А, Володя? У нее состоянье славное. Они принимают. Славно. Славно? А, Володя?

С а ш а (*входит и говорит на ухо княгине*). Сказали, что сейчас придут, только немного дочесть.

К н я г и н я. Ах, Бог мой! Какой он! Дай мне зонтик, Саша. Ты не будешь больше пить? Я пойду в сад, мой друг.

К н я з ь. Иван Ильич, что вы, заснули?

И в а н И л ь и ч. Никак нет-с, я рад-с, что вот князь молодой 40
приедет.

К н я з ь. Подите шары поставьте, я приду сейчас в бильярдную, будем играть.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Комедия в 3-х действиях

Действующие лица

Князь Осип Иванович Коломин, 50 лет.

Княгиня Наталья Дмитриевна, жена его, 45 лет.

Князь Анатолий Осипыч, сын их, гвардии поручик, 24 лет.

10 Князь Валерьян Осипыч, второй сын их, не служащий, 22 лет.

Ольга Федоровна Вереина, девушка 18 лет.
(Дочь богатых соседей.)

Володя, управляющий князя, вольноотпущенный, 2-й гильдии купец, 48 лет.

Наталья, жена его, 37 лет.

Генерал Диков, родной брат княгини.

Пашенька, сестра ее, 20 лет.

[Иван Ильич Пугалов, дальний родственник, живущий в доме князя, 40 лет.]

20 Егорка – слуга.

Мужики и бабы.

Действие происходит в имении князя Коломина.

Действие первое

Сцена 1

Театр представляет гостиную богатого деревенского дома. На круглом столе перед диваном накрыт чайный стол. Самовар, кофейник, корзинка для сухарей, молочник – серебряные. Дверь в кабинет направо, дверь в спальню налево и дверь прямо в сад.

Практический человек
Самедвар в 1911. Дневник.

1

Самедварский музей.

К. С. У. Кавалер 50 лет.

К. С. У. Кавалер 45 — жена его

К. С. Кавалер сестра старшего сына

Игоря Маркушевича 24 лет.

К. С. Кавалер младший сын

Игоря Маркушевича 20 лет

Сестра Игоря Маркушевича

Иван Кавалер — 28 лет.

Кавалер управляющий 40 лет.

Кавалер жена его 35 лет.

Наместник Самарской губернии
Кавалер — 19 лет.

Сестра Ивана, дочь Самедварского
самодеятельного музея.

Вдова, супруга Кавалера. —

Ивановича приехавшего в Москву
Кавалера.

Самедварский 1.

Самедварский 1.

Музей представляется частью
Кавалерского музея. Ввиду того
что приоткрылся для музея
Самедварский и Самарский музеи.

Кавалерский музей (в Самарской
губернии) (4 Самарского
музея) музей Самарского

Явление I

И в а н И л ь и ч (*докуривая кончик сигарки, стоит у окна, беспрестанно оглядываясь на дверь налево, и в руках держит запечатанное письмо*). От Анатоленьки письмо – от Анатоленьки (*заглядывает в середину*) по-французски! Ничего не разберешь! А уж как хочется знать, что пишет. Ведь благодетели мои все семейство. Как же не интересоваться? Сказывал Володька, что он уж в городе; нынче сюда будет. Ведь, бывало, Анатоленьку-то на
10 подносе носил и за вихор дирал, а теперь, небось, Анатоленька уж и вовсе ваше сиятельство стал. Приедет вдруг да скажет: вон Иван Ильича отсюда! зачем он даром хлеб ест. Смотри, Иван Ильич, веди себя искусно. (*Жмет пальцы сигарой.*) Ах, бросать не хочется, а княгиня выйдет, забурлит опять за сигарку. Княгиня-то ничего, к ее характеру примениться можно, а вот Анатоленька прибудет, так держись умно, Иван Ильич. Главное дело, коли запьешь теперь – пропал. А характер выдержу, да про Володькины дела порасскажу: что я, мол, хоть не Брюс какой-нибудь по уму, а служил своему царю не хуже другого, теперь 18-й
20 год папеньку вашего успокаиваю, ничего не требую, а служить бы вам мог честно, истинно от души, потому что привык к семейству вашему, как родной. И отчего же управителем не быть. Есть и полковники именьями управляют. Ежели бы положили мне жалованья, хоть 1000 рублей, я уж точно устрою. (*Княгиня входит. Иван Ильич разгоняет дым в окно, бросает окурок и подходит к руке княгини.*) С красным деньком, княгиня матушка, почивать хорошо ли изволили, ночью что-то собаки очень лаяли у оранжереи, не побеспокоили вас?

К н я г и н я. Здравствуйте, мой любезный. Вы опять навоняли своей черной сигаркой. От кого это письмо?

И в а н И л ь и ч. От князь Анатоля Осипыча, княгиня. Владимир Петрович передал, сказывал, они в городе по разным аферам на 2 часа остались, к обеду сюда будут.

К н я г и н я (*читает письмо*). Он нынче будет сюда непременно, слышали, Иван Ильич?

И в а н И л ь и ч. Как же-с, слышал, радуюсь, радость, утешение вам будет.

К н я г и н я (*заливает чай*). Ах, как вы навоняли этим табаком. Сколько раз вам говорить, курите на крыльце.

40 И в а н И л ь и ч (*махает руками*). Точно, как воняет дурно. Течение ветра, княгиня, я и то в саду курил. Уж так я обрадовался, даже совсем потерялся, потому что люблю ваш дом как истинно родной. Вот Владимир так не очень радуются с Натальей.

(Понижая голос.) Он мне говорил, княгиня матушка, что не на радость едет Анатолий Осипыч-то, что князя здоровье плохое, что поместить негде. Чует, матушка, чье кошка мясо съела. Как князь-то Анатолий Осипыч, как умный человек, войдут в агрономию в настоящую, так откроются дела разные. Уж пора бы Владимир Петровичу честь знать, за все благодеяния нажил себе состояние; а то ведь до сей поры, извините, княгиня, не вы госпожа в доме, а он. Соседи говорят, да и мужички говорят, что не князь, не княгиня господа, а Володька с Натальей. Вчера мне говорили Зайцовы: поверьте, говорят, Иван Ильич, мы княгиню любим и уважаем, и нельзя такого ангела не любить, но правду вам скажу, Наталья госпожа в доме. 10

Княгиня. Берите свою чашку и не сплетничайте, пожалуйста, вы знаете, что я отвращение имею к сплетням.

Иван Ильич. Надолго погода установилась. Помните, еще князь надо мной смеялись, что я все пророчествовал. Как у Брюса сказано, что Льва и Козерога знак ежели в каком году сходятся – лето ведренное будет, так оно и есть по моим словам.

Княгиня. Вы помешаетесь когда-нибудь на Брюсовом календаре. Вы мужа видели?

Иван Ильич. Подходил к двери, княгиня, у него Наталья была, – ее позвали князь гребешок почистить. Они дурно почивали ночь, кажется. 20

Княгиня. Что ж вы не вошли? разве он занят был?

Иван Ильич. Так не вошел, побеспокоить не смел. Как эти крендельки нынче Захар хорошо делать стал. Они там говорили что-то про Анатолий Осипыча. Натальин голос я слышал.

Княгиня. Что ж они говорили?

Иван Ильич. Наталья что-то тараторила, недовольна очень приездом Анатолий Осипыча, да я не расслышал, про депансы¹ что-то говорили, да я не помню. 30

Княгиня. Ничего не умеете рассказать, только всегда слова какие-то необыкновенные выдумываете. А Воленьку видели?

Иван Ильич. Видел, княгиня, он в саду лежит у оранже-реи, сочиненья все читает.

Княгиня (звонит; входит слуга). Сходи в сад, зови Валерьян Осипыча к чаю – скажи, княгиня приказали доложить, что вам хочется, чтоб опять князь гневался, что вас к чаю нет. (Слуга уходит.) Ах, мой Бог, как это Воленька странный какой! Я вам скажу, Иван Ильич, что много он мне слез стоит. 40

Иван Ильич. Все вижу, княгиня, и понимаю ваши чувства, и сердце кровью обливается, глядя на ваши муки. Ведь он

¹ от фр. *dépense* – расходы

сердца доброты единственной и ума тоже необыкновенного, можно сказать, одно – характер. Что не хочет служить и папеньку этим огорчает, а уж как он вас любит и жалеет. Он все понимает. Мы с ним часто разговоримся, так он даже до слез. Не могу я служить, не могу я ничего, и маменьку свою я ужасно жалею, все мне это противно, говорит, потому что я...

К н я г и н я. Одно уж, что я часто думаю, это надо... да вам нельзя рассказывать, вы сейчас и мужу и ему разболтаете!

10 И в а н И л ь и ч (*оскорбленно*). Ах, матушка княгиня, вот уж это грех вам меня обижать, чтоб я да чьи-нибудь секреты выдавал, ведь это подлецы только делают. Как вы-то обо мне понимаете?

К н я г и н я. Ну смотрите – не болтать, вы знаете, что я ненавижу сплетни. А я вам скажу, потому что он с вами откровенен, вы у него узнайте и скажите мне. Я его хочу женить на Оленьке Житовой. И мне кажется, он к ней не равнодушен. Она бы изменила совсем его характер. Влиянье женщины главное для мужчины. Вы наведите его на этот разговор, да и расскажите мне, как он, а то его я, мать, не пойму никак, то как будто влюблен, а то...

20 И в а н И л ь и ч (*который слушает с усиленным вниманием*). Вот это вам, матушка княгиня, от Бога мысль. Благое дело. И непременно женить надо. У Житовых именье славное, а уж влюблен он, он со мной откровенен, так что и – просто амуры. Это только его наставить, так и лучше не надо. У Житовых же всего одна дочь, а именье, кроме здешнего, 800 душ в Саратов(ской), золотое дно именье то, говорят.

Явление II

Входит князь.

ДЯДЮШКИНО БЛАГОСЛОВЕНЬЕ

Комедия в 2-х действиях

Действие происходит в Москве

Действующие лица

1. Лидия Никаноровна Енисеева, за 30 лет, одетая по последней крайней моде, всегда говорит по-французски и курит сигары.

2. Петр Федорыч Енисеев, ее муж, за сорок, одет модно и умеренно, толстый, добродушный холерик.

3. Жан Мослоский, 22 лет, нигде не кончил курса, 10
очень модно цветно одет, большие волосы, стеклышко в глазу, любовник Лидии.

4. Семен Никитич Кляксин, под 60 лет, значительное лицо, скромный, самоуверенный придворный старичок, с гладко обстриженными седыми волосами, дядя и любовник Лидии.

5. Князь Шерваншидзе, 19 лет, очень хорош собой, в грузинском костюме, плохо говорит по-русски, с особенным грузинским акцентом на гласные.

6. Ольга Михайловна, 16 лет, только что приехавшая 20
из деревни родственница Петра Федоровича.

7. Анатолий Никанорович Лацкан, брат Лидии, жених Ольги, 25 лет, красивый пехотный офицер, с длинными волосами и лорнетом.

8. Анна Никаноровна Лацкан, сестра его и Лидии, 22 лет, *девица*.

9. Катерина Федотовна, крепостная Ольги, 40 лет, половина горничная, половина нянюшка.

10. Граф Кукушев, старый холостяк, 60 лет.

Действие I

Театр представляет будуар Лидии, направо и в середине двери.

Явление I

Лидия и Мослоский, говорят о любви. Лидия говорит, что она его не любит больше, Жорж Занд, надо быть откровенной, она любит грузинского князя. Он ревнует уже к старику.

Явление II

Входит Ольга с Катериной Федотовной, ее срамят за костюм, хотят стричь, она горячится и уходит. Они продолжают говорить
10 о любви и ревности к Ольге.

Явление III

Входит муж. Он говорит, что в нынешнем веке это так, он понимает, но зачем negliжировать старика, он нужен. Лидия говорит, что он прав, что он лучший ее друг, но все-таки она страдает и от любви к грузинскому князю и от ревности. Так выдать ее замуж за брата, брат дурак, только хочет жениться, она тоже влюблена, кажется. Притом же вместе ехать за границу, их дела плохи.

Явление IV

Приезжает Лацкан, над ним смеются, фыркают и говорят
20 ему, чтоб он женился. Он согласен, они ходят по зале.

Явление V

Приезжает Т., зол, ругает Мослоского, муж их успокаивает, упрекает в стороне барышню, дает ей денег, говорит, но хочет только зн(ать).

Явление VI

Лацкан объявляет, что он сделал предложение, все поздравляют. Она должна ехать к дяде за благословеньем.

Явление VII

Входит грузинский князь, Лидия выгоняет всех и хочет объ-
30 яснить ему Жорж Занд и что Ольга выходит замуж, он говорит: она мне мила, а вы противная, 2-х женщин нельзя любить.

Действие II

Явление I

Деревня графа. Он пьет чай, приходит Катерина Федотовна. Он ей говорит, что скверно, она сама не знает, как это случилось.

Явление II

Ольга гордо говорит, что она любит. Портрет. Он груб. Зачем ты приехала – благословенье вздор, деньги, она горячится, говорит, что все кончено. Он раскаивается, успокаивает ее, она говорит, что, кажется, влюблена.

Явление III

10

Катерина Федотовна успокаивает ее, лесть.

Явление IV

Она очаровывает графа, решается испытать его.

Действие III

Будуар Лидии, муж, 2 любовника и Лацкан в уголку, она печальна, князь обещался приехать, говорят о приезде Ольги; муж был у нее и рассказывает, что она ничего не сказала о деньгах. Она приходит холодна, молчит о деньгах; в стороне говорят с Лацканом о поцелуях, – допытываются о деньгах, холодность. Приходит грузинский князь, волочится за Ольгой. Лидия с ней ссорится, говорит о женихе. Ольга и князь бьют ее ее оружием. Лидия злится, говорит о деньгах, сцена. Грузинский князь предлагает свою руку, она гонит его. 20

Конец

СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Комедия в 2-х действиях

Действующие лица

1) Лидия Андревна Щурина, под 30 лет, необыкновенные, бросающиеся в глаза туалеты и прически.

2) Дмитрий Сергеевич Щурин, ее муж, под 40 лет.

3) Капитолина Андревна, ее сестра, девица 25 лет, одевается так же странно, как и старшая сестра.

4) Ольга, племянница Щурина, 19 лет, барышня, только что приехавшая из деревни.

5) Масловский, 22 лет, худощавый фронт с стеклышком в глазу и большим количеством брелочков, любовник Лидии.

6) Его превосходительство Иван Никанорыч Лацкан, под 60 лет, значительное лицо, учтивый светский старичок, дядя и любовник Лидии.

7) Подполковник Кулешенко, недавно вернувшийся с войны, 35 лет.

8) Князь Чивчивидзе, 18 лет, очень хорош собой, в грузинском костюме, говорит по-русски не совсем чисто и с особенным ударением на гласные.

9) Катерина Федотовна, крепостная горничная и няня Ольги, приехала с Ольгой из деревни, около 40 лет.

10) Нанятой лакей Щуриных.

Действие происходит в Москве в весьма богато и вычурно убранном доме Щуриных.

Действие I

Театр представляет будуар Лидии. Комната обтянута штофом, в середине потолка висит матовая лампа, большой и маленький диван, трюмо, одна дверь направо, другая в середине, на одной стене на ковре висят пистолеты и кинжалы; перед диваном медвежья шкура. В углу клетка с попугаем.

Явление I

Л и д и я (*одна, в красном шлафроке, с ногами, обутыми в горностаевые туфли, лежит на большом диване и курит сигару*). Милый дикарь... мой Теверино... да, я не шутя люблю его и всему свету скажу, что я люблю его. Помню, как Масловский подвел мне его на этом бале и шутя просил, чтобы я не влюбилась в него; а я влюбилась, и влюбилась страстно, потому что нельзя не влюбиться... этот грузинский костюм, который так идет к нему, это южное страстное лицо, эти чудные волосы... Нет, я не могу пробыть нынче вечер без него, и я должна ему сказать, как люблю его. Я всегда 10 прямо говорила: «люблю» тем людям, которых любила, потому что горжусь этим чувством, а этого дикого князька надо обнять и поцеловать при всех, чтобы он понял мою любовь и высказал бы свою; и я сделаю это. Слава Богу, я уже давно стою выше суеверий толпы. (*Приподнимается к столу, подвигает себе чернильницу и портфель и пишет.*) Любезный и милый князь... я жду вас нынче вечером... (*Звонит.*) Я жду вас нынче вечером... надеюсь, что и в Грузии... исполняют просьбы женщин... (*Входит слуга.*) Подожди... (*Пишет молча.*) Нет, он не поймет, послать за ним лучше мужа. (*Обращаясь к слуге.*) Где Дмитрий Сергеич? 20

С л у г а. Отдыхать изволят.

Л и д и я. Разбуди и позови сюда поскорее.

С л у г а. Слушаю-с. (*Уходит.*)

Л и д и я (*разрывает начатую записку и пьет глоток вина и задумывается*). Нет... и он любит меня, я это чувствую... (*Опять задумывается и улыбается.*) Здесь нынче вечером и мы одни... может быть, минута истинного счастья. Одно – несносный дядя помешает опять, придет с своими допотопными нежностями... (*Входит Щурин, встряхиваясь, чтобы совершенно очнуться; Лидия, не глядя на него, протягивает ему руку.*) Здравствуйте, 30 мой друг, что вы подельвали?

Щ у р и н (*садится на кресло подле нее*). Отдыхал. Вы меня звали, Лили?

Л и д и я. Щурин, окажите мне услугу!

Щ у р и н. Все, что хотите, Лили.

Л и д и я. Вы знаете, где живет князь Чивчивчидзе?

Щ у р и н. Этот хорошенький, Лили? Ей-Богу не знаю.

Л и д и я. Ну, вы сыщите его, и поезжайте только сейчас и скажите ему, что я непременно хочу его видеть у себя нынче вечером. Послушайте, Щурин, будьте милы, как всегда, кажется, я 40 редко прошу вас о чем-нибудь и оставляю вас совершенно свободным. Поезжайте.

Щ у р и н. Пожалуйста, не сердитесь, Лили, за то, что я вам скажу. Я тоже редко вам говорю что-нибудь. Я слишком уважаю вас и ценю вашу искренность; но, шер Лили, не зовите его нынче; вы знаете почему.

Л и д и я. Нет, не знаю.

Щ у р и н. Кажется, мы в 10 лет узнали друг друга, вы видели, что я никогда, ни разу не позволил себе ревновать вас. Поверьте, я понимаю так же, как вы, в наш век всю смешную, бесчестную сторону ревности. Я знаю, что любовь должна быть свободна и
10 что искренность благороднее всего. Но, Лили, машер, я теперь не для себя прошу, чтобы вы не звали нынче грузинского князя и вообще были бы осторожнее с ним. Было бы слишком смешно и глупо, ежели бы я ревновал вас, как мальчик, я прошу этого для вас: вы знаете, ваш дядя человек не нынешнего века, не так смотрит на это, как я...

Л и д и я. Ах, Бог мой! какой вы смешной, Щурин! да кто же велел дяде влюбиться в меня.

Щ у р и н. Ну, разумеется...

Л и д и я. А мне-то что ж делать? Сначала меня забавляла его
20 стариковская страсть, а теперь уж мне давно это скучно. Кто ему мешает любить меня как друга, как племянницу, но ревность, просьбы, нежности...

Щ у р и н. Лили, вы еще совершенный ребенок... Подумайте, как много сделал для нас этот человек и как много может для нас сделать и сделает, ежели вы сами не восстановите его. Вы не хотите знать наших средств, а ведь ежели бы не он, нам бы давно было жить нечем. С своей страстью к вам, подумайте, как много он еще может сделать для нас. Положим, что эта страсть смешна и тяжела для вас, но вы должны поддерживать ее, подумайте об
30 этом.

Л и д и я. Вы всегда правы.

Щ у р и н. Да что ж делать?

Л и д и я. Я знаю, что вы правы, но мне что ж делать? Вы меня знаете, я не могу притворяться и скрывать свои чувства. (*С жаром.*) Я люблю князя! Как никогда никого не любила. Я для него готова отдать все – детей, все в мире. И вы хотите, чтобы этим святым, высоким чувством я жертвовала для ваших денежных расчетов. (*С гордостью.*) Нет, Щурин, еще вы меня не знаете и не хотите понять!

40 Щ у р и н (*спокойно*). Лили, я вас знаю, я вас ценю, 10 лет наших дружеских отношений могли бы вас убедить в этом, но будьте благоразумны, мой друг. Вот уж 3 года я с удовольствием вижу ваши отношения с Масловским и знаю, что он наш лучший

друг. Теперь в нынешнюю зиму вы увлеклись этим героем полковником, я тоже ничего не говорил, потому что вы, как всегда, были искренни и честны в вашем увлечении, и оно никому не мешало; но теперь вы вспомните, чем вы обязаны вашему дяде, что мы можем еще ожидать от него. Нам надо беречь его; а вы так неосторожно при нем кокетничаете с этим князем. Я видел третьего дня, как дядя переменялся в лице и тотчас уехал, когда вы вдруг напали на Оленьку и увели князя в цветочную и заперли двери. Будьте осторожнее, ежели не для меня, то для себя и для ваших детей, вот все, о чем я прошу вас, будьте благоразумны. 10

Л и д и я. Я вам сказала, что я люблю, так не могу я быть благоразумной, особенно когда я вижу эту Ольгу, вашу племянницу, которую вы Бог знает зачем выписали сюда, которая кокетничает с князем. Это еще больше разжигает мою страсть, я наделаю глупостей, а вы хотите, чтоб я была благоразумна. И зачем вы выписали сюда эту Ольгу?

Щ у р и н. Как мне это ни больно, но я второй раз должен противоречить вам, Лили. Оленька добрая девушка, правда провинциалка, отсталая, но она мне ближайшая родня, она сирота, и главное, ежели бы не ее 3 тысячи в год, я вас уверяю, что нам бы 20 уж нельзя было больше оставаться в Москве.

Л и д и я. Ну прекрасно, все прекрасно и правда, но поезжайте к князю и привезите его. Я только об одном прошу вас...

Щ у р и н (*делает строгую угрожающую мину*). Лили...

Входит Масловский.

Явление II

Те же и Масловский.

Щ у р и н (*не вставая подает ему руку*). Bonjour, cher. Хоть вы помогите мне уговорить эту взбалмошную головку: может быть, вы будете убедительнее меня. 30

Л и д и я (*протягивая руку, которую Масловский целует, садясь у ее ног на диван*). Нет, он лучше понимает меня и сделает то, об чем я его прошу. Он любит и, следовательно, великодушен, а не благоразумен. (*Презрительно выговаривает последнее слово.*)

М а с л о в с к и й. Все сделаю, особенно нынче (*глядя на нее нежно*), когда вы так прелестны... (*Она жмет ему руку.*) А ведь вы проиграли пари – Кулешенко действительно носит накладку – я узнал. Наверно. (*Понижая голос.*) Так я имею право поцеловать вашу ножку... 40

Щ у р и н (*встает и отходит к попугаю*). Попка! попопка!
попопочка! Уа!..

Л и д и я (*улыбаясь*). Да, но прежде вы должны исполнить еще мою просьбу; поезжайте сейчас, найдите где хотите князя Чивчивчидзе и привезите его ко мне, непременно нынче вечером. Непременно, слышите? Я хочу этого.

М а с л о в с к и й. А вы все еще влюблены в него?..

Л и д и я. Нет, Масловский! Я не влюблена, – влюблена – это как-то глупо, банально, и не люблю его так, как вас; но это что-то и больше, и меньше. Я уверена, знаю вперед, что через три дня этот дикарь-ребенок надоест мне, и я буду опять нераздельно ваша, но теперь я до такой степени страстно люблю и желаю его, что я, кажется, умру, ежели не увижу его. Вчера его не было, и я вечером приняла опиуму и, Боже мой, как я наслаждалась! и вот у меня уже опять готова пастилка на нынче, ежели он не приедет. Я знаю, что вы сделаете это для меня, вы мой лучший друг и вы так нежны, что в состоянии понять все оттенки женского чувства.

М а с л о в с к и й (*во все время ее монолога с нежной улыбкой глядевший на нее*). Я вас понимаю, Лили, да, но не забывайте, что всегда и все я сделаю, что могу сделать для вашего счастья, но что иногда это для меня тяжелая жертва. Я всего отдал себя вам и навсегда, не требуя от вас ничего, а с благодарностью принимая то, что вы мне даете. Вы мне дали свою дружбу, дали право говорить вам о своей любви, и я счастлив; но в душе я все-таки желал бы всегда иметь вас всю, и вашу дружбу, и ваши увлечения. Разве я не страдал, когда я привел к вам Кулешенко (*иронически*), этого севастопольского героя, нажившего себе там билет в 10 000. Но все ваши увлечения, даже ваши ошибки священны для меня. Я не стал вас разочаровывать. Вы разочаровались сами, но зато хоть недолго, но вы были счастливы, а я радовался и страдал, глядя на ваше счастье. Теперь тоже я рад, что посредством этого прелестного дикого ребенка я могу вам доставить счастье, но не спрашивайте меня, что здесь. (*Указывает на сердце*.) Ежели бы я смел ревновать вас, то я бы ревновал вас не к этим минутным порывам, которые только больше возбуждают мою любовь и после которых вы еще прелестнее возвращаетесь ко мне; но я бы ревновал вас к вашему старику, дядечке, как вы его называете, который всякую минуту выказывает какое-то право на вас, которому вы как будто даете это право. Вот кого я ненавижу. Вы помните, что 28 мая, когда я в первый раз полюбил вас, я купил это кольцо с ядом и сказал вам, что ежели когда-нибудь я перестану быть для вас чем-нибудь, мне нечего будет делать на этом свете... И ваши отношения с этим стариком часто

заставляют меня поглядывать на это кольцо. Ежели бы не я, а он стал для вас необходимым другом, я бы ни минуты не задумался... (Делает вид, что проглатывает кольцо.)

Л и д и я (жмет ему руку). Шер ами!.. Так вы привезете его нынче?

М а с л о в с к и й (вставая, делая головой знак согласия. Обращаясь к Шурину). Дмитрий Сергееч! Я просил одного господина, чтобы он попросил о вашем деле в Совете – мне обещали.

Щ у р и н. Я знаю, что вы золотой человек. Ну что, поговорили ей?..

10

М а с л о в с к и й. Да... я... (подходит к Лидии).

Щ у р и н (встает и тоже подходит к Лидии, которая его не слушает и говорит в одно время с ним). Он тоже согласен, Лили, что надо беречь такого человека, как ваш дядя. Кто ж говорит, что вам нравится, как дитя, этот князек, но надо быть благоразумной.

Л и д и я. Масловский! Да приезжайте сами. Подите сюда. Ежели он приедет, я хочу о многом переговорить с ним, растолковать многое этому милому дикарю. Я боюсь, он дичится меня, оттого что воображает, с своими восточными кавказскими понятиями, что муж мой зарежет его, что я замужняя женщина et cetera. Ольга будет мешать мне. Уж вы будьте совсем великодушны, займитесь ей нынешний вечер и вашим другом дядечкой, ежели он приедет. А то мне не дадут минуты покоя...

20

М а с л о в с к и й. Я сделаю лучше: я привезу храброго полковника, для того чтобы занять Ольгу, которой вы напрасно боитесь, а дядечку усадим за карты.

Щ у р и н (вместе с Масловским). Вот это прекрасно и умно.

Л и д и я. Вы восхитительны! Поезжайте.

М а с л о в с к и й. Нет, знаете, какая мне пришла мысль? Храбрый полковник – я могу смело теперь говорить про него? – глуп ужасно, и его билет в 10 000 сбил его совсем с толку; ему мало одному нанимать ложи в бельэтаже и кареты, его мечта жениться на ком бы то ни было. Его надо женить на Оленьке, он будет совершенно счастлив, и вы отделаетесь от 2-х разом. Какова идея!

30

Л и д и я. Чудесная. Я в 1/2 часа влюблю Ольгу в храброго полковника: она девочка пылкая, как все провинциалки, с допотопными идеями об любви, и очень недалекая...

Щ у р и н (вместе с Лидией). Да она и славная девочка, и я должен отвечать за нее; Бог знает, сделает ли он ее счастливой.

40

Л и д и я (обращаясь к Шурину). С вами не говорят, вы не хотели сделать того, о чем я вас просила...

(Из боковой двери входит Ольга, в белой кисейной юбке и в черном кружевном канзу, с косой вокруг головы. Присядает Масловскому. За ней отворяется дверь, и Катерина Федотовна подает ей платок и обдергивает ее платье. Масловский кланяется дамам, жмет руку Щурину и уходит.)

Явление III

Щурин, Лидия, Ольга и Катерина Федотовна.

Л и д и я (*берет за руку Ольгу и приподнявшись оглядывает ее*). Олин! Ты ужасно хороша, свежа, но ты не рассердишься на меня? ужасно провинциалка. Что за туалет!

10 Щ у р и н (*оглядывая ее*). Да, мой дружок, ты мила, но в нынешнем свете столько есть условий... все это...

О л ь г а (*краснея*). Что ж, я смешна? Что ж такое в моем платье?..

Л и д и я (*вставая*). Все, машер. Во-первых, это канзу, это слишком нарядно, и оно портит тебе талию, ты лучше надень мою горностаевую.

Щ у р и н. Да вот я велю принести тебе.

Л и д и я. Потом, мытое 30 раз платье – это ведь горничные носят. Ну, да это ничего еще. Но башмаки покажи.

20 О л ь г а (*показывает ножку*). Что ж башмаки?

Л и д и я (*смеется*). Это очень мило, что тебе все равно, но кто ж носит башмаки? разве тебе не принесли? Надень хоть мои, но они тебе малы будут (*ставит свою ногу подле ее*), да, малы.

О л ь г а. Разве много гостей будет, что вы меня так одевае-те?

Л и д и я. Будет полковник, который очень...

ОТРЫВОК ДНЕВНИКА 1857 ГОДА

I. ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ

15/27 мая. Нынче утром уезжали мои соотечественники и сожители в Кларанском пансионе Кетерера. Я давно уже собирался идти пешком по Швейцарии, и кроме того мне слишком бы грустно было оставаться одному в этом милом Кларане, в котором я нашел таких дорогих друзей; я решился пуститься в путь нынче же, проводив их.

С утра в трех наших квартирах происходила возня укладки. Впрочем, наши хозяева поняли нас, русских, и несмотря на то, что мы все хвастались друг перед другом своей практичностью, укладывали за нас трудолюбивые муравьи Кетереры. 10

Долго я пытался достигнуть аккуратности немецкой, но теперь уж махнул рукой, утешая себя тем, что ежели у меня и пропадают и пачкаются и мнутся вещи больше, чем у прусского генерала, который укладывался два дня не переставая, зато уж и никому так равнодушно не обойтись без пропащей вещи и не носить испачканного или измятого платья. Это тоже русская практичность в своем роде.

В 8 часов мы все в последний раз сошлись за Кетереровским чаем, в маленьком *salon*¹, с ситцевыми гардинками и портретами Наполеона в Берлине и Фридриха с кривым носом. Все были такие же чистенькие, общительные, жизнерадостные, как и каждый день в продолжение двух месяцев. 20

В конце чая в *salon* вошла наша соотечественница, с своими детьми. Она искала квартиру.

Старшему 11-летнему мальчику ее ужасно хотелось идти в горы, а так как мне всегда казалось, что ходить по Швейцарии с очень молодым мальчиком, для которого «еще новы все впечат-

¹ салоне (фр.)

ленья бытия», должно быть вдвое приятнее, я предложил матери отпустить его со мной. Мать согласилась, и мальчик рысью, раскрасневшись и от радости задирая ноги чуть не выше головы, побежал укладываться.

В 10 часов мы все были в известном положении укладывающихся людей, т. е. ходили без всякого дела кругом комнат и растерянными глазами оглядывали лежащие на полу чемоданы и стены комнат, все что-то вспоминая. В это время приехали из Montreux русские барышни с только что приехавшей из России матерью и еще с каким-то господином, тоже русским; потом приехали русские из Vasset, тоже нынче уезжающие. Благодарный Кетерер за подарки, которые сделал ему наш кружок, приготовил завтрак. Не было одной комнаты свободной, везде чемоданы, отворенные двери, все комнаты сделались ничьи. Гости переходили из одной в другую. Было одно время, что как будто никто не знал, кто у кого и зачем, и кто куда едет, и с кем прощаться. Я знал только то, что расстроивается наш мирный милый кружок, в котором я не видал, как прожил два месяца, и эти два месяца, я чувствовал, останутся навсегда дорогим воспоминанием моему сердцу. Это чувствовали, кажется, и все.

В 12 часов все тронулись провожать первых отъезжающих, мужа с женой П(ущиных). Я надел свой ранец, взял в руки Alpenstock¹, подарок прусского 95-летнего генерала, и все тронулись пешком до парохода. Нас было человек 10; правда, что большая часть из этих людей были редко встречающиеся превосходные люди, особенно женщины, но на всем нашем обществе в это утро лежала одинаковая общая всем печать какого-то трогательного чувства благодушия, простоты и любовности (как ни странно это выражение). Я чувствовал, что все были настроены на один тон; это доказывали и ровные, мягкие походки, и нежно искательные звуки голосов, и слова тихой приязни, которые слышались со всех сторон. Удивительно спокойное гармоническое и христианское влияние здешней природы.

Погода была ясная, голубой, ярко-синий Леман, с белыми и черными точками парусов и лодок, почти с трех сторон сиял перед глазами; около Женевы в дали яркого озера дрожал и темнел жаркий воздух, на противоположном берегу круто подымались зеленые Савойские горы, с белыми домиками у подошвы и с раселинами скалы, имеющими вид громадной белой женщины в старинном костюме. Налево, отчетливо и близко над рыжими виноградниками, в темно-зеленой гуще фруктовых садов, видне-

¹ альпеншток (нем.)

X Отырловскъ дневника 1857 года. 1.

15
24 Май. Квасице утрамъ гуз-
-трами мои саотмественики
и сацитамъ въ Варшавскы
пансионъ Кетчера, а давно
ура собирами наши тиканъ
по Вавонгаріи и Врано того
мнѣ шиканъ въ грудно
было сбавары адману въ
отамъ миланъ Кларанъ, въ
Котранъ а машинъ такыи
варочныи дружыи, а фрншиски
путникы а путъ авице пу
пробавары машъ. -

Во утра въ тѣ решити кашицы
Квартиранъ примидидина воури
укладки. Вавонгары машинъ машинъ
сва панди машъ фрншиски и мел-
моторъ ка то, что ты воу сбаво-
мнѣ дружъ передъ дружыи сваи
практичнѣе, укладывали я машъ
тѣрншискии мукавы Кетчера.
Давно а пѣстали достигнута
акуратиса машинъ, во тѣ
ура, машинъ фрншиски, утишала сѣбѣ
тѣмъ, что времѣ у машинъ и тѣ
пѣдоложъ ка и сакжанъ и машинъ.
и всѣ сидѣли внѣ у Крус-
каго Ташкана, котораи у кладывали
и два два во пересѣлѣнъ, за то
ура и машинъ такъ рѣшолоу-
во ты обавитъ вѣдъ проканъ
всѣ и не мошнѣ переканъ
машъ, мнѣ изидѣтало отмѣнѣ

лись Монтрё с своей прилепившейся на полускате грациозной церковью, Вильнёв на самом берегу, с ярко блестящим на полуденном солнце железом домов, таинственное ущелье Вале с нагроможденными друг на друга горами, белый холодный Шильон над самой водой и воспетый островок, выдуманно, но все-таки прекрасно торчащий против Вильнёва. Озеро чуть рябило, солнце прямо сверху ударяло на его голубую поверхность, и распущенные по озеру паруса, казалось, не двигались.

Удивительное дело, я два месяца прожил в Clarens, но всякий раз, когда я утром или особенно перед вечером, после обеда, отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и на зеленые и далью синие горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно, с силой неожиданного действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе, я жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго-долго, и мысль о смерти получала детский поэтический ужас. Иногда даже, сидя один в тенистом садике и глядя, все глядя на эти берега и это озеро, я чувствовал, как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу.

Подойдя к Верне, маленькой деревушке, где пристаёт пароход, мы нашли на лавочках под высокими раинами, как всегда и везде в Швейцарии, семейство чистоплотных англичан, пастора в белом галстуке, старуху с корзинкой и двух молодых швейцарок в шляпках, с багровым румянцем и певучими голосками. Все дожидались парохода. Я не умею говорить перед прощаньем с людьми, которых я люблю. Сказать, что я их люблю, – совестно, отчего я этого не сказал прежде? говорить о пустяках тоже совестно. Я пошел на берег делать камушками рикошеты и занимался этим до самого того время, как лодочник сказал, что пора садиться в лодку и выезжать к пароходу. Сапоги и башмаки застучали по полу лодки, и два большие весла стали толкать лодку. Мы подъехали под самый пароход так близко, что пена забрызгала нас. Покуда нам бросали канат, с парохода празднично смотрели на нас пассажиры, опершись на решетку, знакомый капитан с французской бородкой, кланяясь, встретил у трапа чету П(ущинных), пустили веревку, синяя, как распущенная лазурь, вода забурлила около ярко-красных колес, и как будто мы побежали прочь от парохода. Пассажиры передвинулись к корме, замахали платки, и наши друзья очутились уж совсем далеко от нас и в чужой незнакомой среде людей, которые их окружали.

Там тоже махали другие платками и совсем не нам, а краснощекой швейцарке, которая, не обращая на нас никакого внима-

ния, тоже махала батистовым платком. На суше, у поворота в Монтрё, я простился еще с дорогими друзьями и с уже менее мне близкими людьми пошел в гору в Монтрё за своим молодым спутником. Наш милый кружок был расстроен, и верно навсегда, дамы, с которыми я шел, говорили о своих частных делах, я почувствовал себя вдруг одиноким, и мне это показалось так грустно, как будто это случалось со мной в первый раз.

Вместе с земляками в два часа мы пошли обедать в пансион Вотье. Несмотря на самые разнообразные личности, соединяющиеся в пансионах, ничто не может быть однообразнее вообще 10 пансиона.

Мы вошли в низкую длинную комнату с длинным накрытым столом. На верхнем конце сидел тот самый седой чисто выбритый англичанин, который бывает везде, потом еще несколько островитян мужского и женского пола, потом скромные, пытающиеся быть общительными немцы и развязные русские, и молчаливые неизвестные. За столом служили румяные миловидные швейцарки, с длинными костлявыми руками, и m-me Votier в черном чепце, с протестантской кроткой улыбочкой, нагибаясь спрашивала, что кому будет угодно. Те же, как и во всех пансионах, пять кушаний с повторениями, и те же разговоры на английском, немецком и ломаном французском языках о прогулках, о дорогах, о гостиницах. В начале весны обитатели пансионеров еще дичатся друг с другом, в середине лета сближаются и под конец делаются врагами; тот шумел прошлую ночь и не давал спать, тот прежде берет кушанье, тот не ответил на поклон. Особенно немки по своей обидчивости и англичане по своей важности бывают зачинщиками раздоров... 20

В 4 часа, напившись кофею, я зашел за своим спутником. После радостной торопливой беготни, которая продолжалась 30 $\frac{1}{4}$ часа, он был готов и с мешком через плечо и длинной палкой в руках прощался с матерью, сестрой и братом. От Монтрё мы стали подниматься по лесенке, выложенной в виноградниках, прямо вверх в гору. Ранец мой так тянул мне плечи и было так жарко, что я только храбрился перед своим товарищем, а думал, что вовсе не в состоянии буду ходить с этой ношей. Но вид озера, который все уже и уже, и вместе с тем блестящее и картинное, открывался перед нами, и заботы о том, чтобы Саша (мой спутник) не мучался бы напрасно, подпрыгивая по ступенькам, и не оборвался бы под 10- и кое-где 20-аршинную стену виноградника, развлекали меня, и, пройдя с полчаса, я уже начинал забывать 40 об усталости. Уж мальчик мне был чрезвычайно полезен одним тем, что избавлял меня от мысли о себе и тем самым придавал

мне силы, веселости и моральной гармоничности, ежели можно так выразиться.

Я убежден, что в человека вложена бесконечная не только моральная, но даже физическая бесконечная сила, но вместе с тем на эту силу положен ужасный тормоз – любовь к себе, или скорее память о себе, которая производит бессилие. Но как только человек вырвется из этого тормоза, он получает всемогущество. Хотелось бы мне сказать, что лучшее средство вырваться
10 есть любовь к другим, но, к несчастью, это было бы несправедливо. Всемогущество есть бессознательность, бессилие – память о себе. Спасаться от этой памяти о себе можно посредством любви к другим, посредством сна, пьянства, труда и т. д.; но вся жизнь людей проходит в искании этого забвения. Отчего происходит сила ясновидящих, лунатиков, горячечных или людей, находящихся под влиянием страсти? матерей, людей и животных, защищающих своих детей? Отчего вы не в состоянии произнести правильно слова, ежели вы только будете думать о том, как бы его произнести правильно? Отчего самое ужасное наказание, которое выдумали люди, есть – вечное заточение? (Смерть как
20 наказание выдумали не люди, они при этом слепое орудие Провиденья). Заточение, в котором человек лишается всего, что может его заставить забыть себя, и остается с вечной памятью о себе. И чем человек спасается от этой муки? Он для паука, для дырки в стене хоть на секунду забывает себя. Правда, что лучшее, самое сообразное с общечеловеческой жизнью спасенье от памяти о себе есть спасенье посредством любви к другим; но не легко приобрести это счастье.

.....
Я намерен был через гору Jaman идти на Фрибург.
30 В Avant, 1 1/2 часа от Монтрё, мы хотели ночевать нынче. Когда мы вышли на большую дорогу, высеченную, как все горные дороги, фута на два в каменном грунте, идти стало легче. Мы поднялись уже так высоко, что около нас не видать было желтокофейных плешин виноградников, воздух как будто стал свежее, и с левой стороны, с которой заходило солнце, сочнолиственные, темно-зеленые лесные, а не фруктовые деревья закрывали нас своей тенью. Направо виднелся глубокий зеленый овраг с быстрым потоком; через него торчал на горе Rigi Vaudais пансион, составляющий казенную *partie*¹ англичанок и немок, а оглянувшись
40 назад, виднелось уже значительно сужившееся синее озеро, с белыми парусами и с дорожками, которые по разным направлени-

¹ прогулку (фр.)

ям бежали по нем. Вале в синей дали с руслом Роны далеко и глубоко расстилался, направо снеговые горы Савои обозначались чище и яснее.

Чем выше мы поднимались, тем реже встречали швейцарцев с корзинками за плечами и с певучими *bonsoir, monsieur*¹, которыми они приветствовали нас, лес становился гуще и чернее, дорога становилась грязнее, глинистее и колеистее. Может быть, это от того, что я русский, но я люблю, просто люблю глинистые, чуть засыхающие, еще мягкие желтые колеи дороги, особенно когда они в тени и на них есть следы копыт. Мы присели в тени на камне около жолобка воды, из которого чуть слышно лилась струйка прозрачной воды, я достал фляжку и накапал рому в стаканчик. Мы выпили с наслаждением, над нами заливались лесные птицы, которых не слышишь над озером, пахло сыростью, лесом и рубленной елью. Было так хорошо идти, что нам жалко было приходить скоро. 10

Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливый, белый весенний запах. Саша побежал в лес и сорвал вишневых цветов, но они почти не пахли; с обеих сторон были видны зеленые деревья и кусты без цвета. Сладкий одуряющий запах все усиливался и усиливался. Пройдя сотню шагов, с правой стороны кусты открылись, и покатая, огромная, бело-зеленая долина с несколькими разбросанными на ней домиками открылась перед нами. 20

Саша побежал на луг рвать обеими руками белые нарциссы и принес мне огромный, невыносимо пахучий букет, но с свойственной детям разрушительной жадностью побежал еще топтать и рвать чудесные молодые сочные цветы, которые так нравились ему.

Avant состоит из десятка швейцарских домиков, разбросанных у подошвы Jaman, перед началом глубокого заросшего оврага, который идет до самого Монтрё, на широкой просторной зеленой поляне, буквально усеянной нарциссами. Кругом темные дубовые и сосновые рощи, сверху скалистый зуб Жаманский, внизу открывается дом Риги, несколько шале, и уголок синего далекого озера с исполосанной дорогами, изгородями и Роной долиной Вале. Несколько потоков шумят около домов. 30

Нам указали гостиницу. Это скромный, еще необитаемый пансион. Швейцарка с зобом отнесла наши котомки в две чистенькие комнатки, дала кисленького вина и накрыла чай на террасе. Мальчишки стреляли в цель из арбалета, странствующий итальянец чинил посуду перед одним из домиков. Здоровые 40

¹ добрый вечер, сударь (*фр.*)

швейцарцы, с голыми по подмышки грязными руками, укладывали вонючий сыр, другая старая старушка с зубом, сидя на бревне, вязала чулок перед домом, около которого было два чахлых кусточка розанов, вот все, что мы видели, пройдясь по деревне. Уединенно, бедно, просто и над этим всем непоколебимая красота зеленых лесистых гор, синей дали с клочком блестящего озера и прозрачного неба, на котором белым облачком стоял матовый молодой месяц.

10 Саша побегал по деревне, завел знакомство с итальянцем, узнал, сколько у него детей и хорошо ли жить в Милане, придержал пальцем фонтан около дома и запыхавшись вернулся на террасу. Мы напились чаю и разошлись в свои комнатки. Я сел было писать, но, вспомнив о друзьях, с которыми расстался, мне стало так грустно, что я бросил и из окна перелез на террасу.

Все уж было черно кругом, месяц светил на просторную поляну, потоки, не нарушаемые дневным шумом, равномерно гудели в глуби оврага, белый запах нарциссов одуряюще был разлит в воздухе, сосны и скалы отчетливо рисовались на светлом
20 месячном горизонте.

Хозяйка мне сказала, что поля с нарциссами, скверные луга для скотины (*1 нрзб*)¹ переводят. Неужели такой закон природы, что полезное противоречит прекрасному, цивилизация поэзии? – пришло мне в голову. – Зачем же эта путаница? Зачем несогласуемые противоречия во всех стремлениях человека? – думал я, чувствуя в то же время какое-то сладкое чувство красоты, наполнявшее мне душу. И в себе я чувствовал противоречие.

Впрочем, все эти кажущиеся несогласуемыми стремления жизнь как-то странно по-своему соединяет их. И из всего этого
30 выходит что-то такое неконечное, не то дурное, не то хорошее, за которое человек сам не знает благодарить или жаловаться. Видно покаместа так надобно.

В молодости я решал и выбирал между двумя противоречиями; теперь я довольствуюсь гармоническим колебанием. Это единственное справедливое жизненное чувство. Красота природы всегда порождает его во мне, это чувство не то радости, не то грусти, не то надежды, не то отчаяния, не то боли, не то наслаждения. И когда я дойду до этого чувства, я останавливаюсь. Я уже знаю его, не пытаюсь развязать узла, а довольствуюсь этим колебанием.

40 Я опять перелез в окно и скоро спокойно заснул в своей маленькой, чистенькой комнатке, в которую до половины пола проникали лучи месяца.

¹ Слово залито чернилами и не поддается прочтению.

16/28 мая. Я проснулся в 4. В окно уже виднелся бледный свет утра. Башмаки мои не были принесены, дверь заперта снаружи, я отворил окно, перелез в него на террасу.

Свежий воздух охватил меня, и дрожь пробежала по телу. Потоки так же, как и вчера, уединенно и равномерно шумели внизу темного сырого оврага, над голубым озером далеко тянулись туманные белые тучки, Жаманский скалистый зуб наверху с снегом, лепившимся к нему, отчетливо виднелся на золотисто-голубом горизонте, разбросанные по горам шале казались ближе, на траве и по дороге серебрилась морозная роса. Где-то недалеко уже звонили бубенчиками пасущиеся коровы. Я постучался к хозяйке. Костлявая, с длинными руками девушка отворила мне дверь, из которой пахло спаньем, и дала башмаки и платье. Я разбудил Сашу, он укусил себя за мизинец, чтоб совсем проснуться, и через 1/4 часа мы были готовы, заплатили хозяйке что-то 4 франка за постели, чай и вино и пустились в дорогу.

Широкая вытесанная дорога, извиваясь, шла в гору. Справа и слева все гуще и мрачнее становился еловый и сосновый лес. Кое-где попадались как бы болотца с бедной растительностью от недавно стаявшего снега, попадались изгороди, отделявшие одну горную пастьбу от другой, и небольшие полянки на полугорьях, на которых, позванивая подвешенными под горло бубенчиками, паслись некрупные, но сбитые, красивые швейцарские коровы и грациозные козочки. Даже повернувшись назад не было видно веселого, блестящего озера, все было серьезно, уныло, но не мрачно и мягко.

С полчаса от Avant мы подошли к загородке с затворенными воротами. Опять большая поляна над оврагом и на поляне длинный шале, в котором делают сыр, с фонтаном, с колодой. Проходя мимо шале, мы услышали в нем звонки и топот копыт поворачивающихся коров и голоса.

– Здравствуйте, кто там? – спросил я, перегнувшись через заборы в темные конюшни.

– Уае! – откликнулся оттуда заспанный грубый голос, – qui est là?¹

– Иностранцы. Нет ли молока? – спросили мы.

К нам вышел малый лет 16-ти с лилово-желтыми засученными руками и ногами и таким же лицом с тупым удивленным выражением. Другой старый голос слышен был из конюшни; он на своем грубом *ratois*² сказал что-то малому. Малый указал нам на плоский чан с молоком, положил в него деревянное орудие вроде лопаты без ручки и, сказав «*voilà*»³, скрылся в конюшне.

¹ кто там? (фр.)

² местном наречии (фр.)

³ «вот» (фр.)

– Ну что, хотите? – сказал я Саше, предлагая ему деревянное орудие и указывая на желтоватое с синим, все усыпанное сверху плавающим сором.

Саша расхохотался только, мы напились воды и пошли дальше.

– И он думает, что это пить можно. Хорошо угощение! – говорил Саша, подсмеиваясь над швейцарским сырником.

У детей, как и у простолюдинов, есть одинаковое счастливое свойство насмешливости над привычками и обычаями, которые не похожи на ихние. Сколько раз я видал, как наши солдаты по-10
мирали со смеху над французами от того, что они не понимали по-русски, и над татарами, которые снимали башмаки, входя в комнату. И Саша никак не мог понять, что ему в горной сырне не подается молоко, как в пансионе Вотье, и помирал со смеху над этим. Больше уже, до самой вершины Жапал, мы не встречали жилищ; только то над головами в кустах, то внизу над самым оврагом слышали равномерное побрякивание бубенчиков пасущегося стада. Раз даже целое стадо, во главе которого бежала веселенькая красная коровка с маленькой головкой и на тоненьких прямых ножках, наткнулось на нас. Саша посторонился с уваже-20
нием от коров, но поймал маленькую козочку за рога и с хохотом любовался ворочаньем ее коротенького черненького хвостика.

– Ну еще, вот так, ну еще, – приговаривал он.

Правду мне говорили, что чем выше идешь в горы, тем легче идти; мы шли уже с час, и оба не чувствовали ни тяжести мешков, ни усталости. Хотя мы еще не видели солнца, но оно через нас, за-30
девая несколько утесов и сосен на горизонте, бросало свои лучи на возвышенье напротив; потоки все слышны были внизу, около нас только сочилась снеговая вода, и на поворотах дороги мы снова стали видеть озеро и Вале на ужасной глубине под нами. Низ Савойских гор был совершенно синий, как озеро, только темнее его, верх, освещенный солнцем, совершенно бело-розовый. Снеговых гор было больше, они казались выше и разнообразнее. Паруса и лодки, как чуть заметные точки, были видны на озере.

Это было что-то красивое, даже необыкновенно красивое, но это не природа, а что-то такое хорошее. Я не люблю этих так называемых величественных знаменитых видов – они холодны как-то. Саша, кажется, разделял мое мнение. Даль этого вида только интересовала его, но не нравилась очень. Через последний поток, который нам надо было перейти, нам пришлось снова спускаться 40
на несколько сот шагов в глубокий овраг на мостик. Этот вид больше поразил нас.

Внизу – крутой шумный поток по камням, через который переброшен мостик из нетесаных елей; с нашей стороны между

черными, все густеющими книзу елями вьется вниз каменистая дорога и по другой стороне, по каменистому уступистому косо-
ру поднимается вверх. По крутому течению все гуще и гуще ели;
кое-где повыврваны и переброшены на камни красные стволы, и
корни виднеются на серебристой пене, и рядом с пеной симметри-
ческая верхушка другой сосны, растущей в обрыве; и книзу все
гуще и гуще, круче и круче идет поток, перемешиваясь с темно-
зелеными верхушками и, наконец, на самом низу его закрывает
от глаз облако, кое-где прорванное кажущимися совершенно
черными ветвями сосен.

10

Перейдя мостик, *dent du Jaman*¹ казалась уже совершенно над
нами, мы различали ее расселины и снег и кусты около нее; но
идти еще было тяжело и далеко. Саша мой все старался идти пря-
мее, по диагоналям, забегал вперед и отдыхал, и от этого уставал
еще больше. Он уже отказывался идти, и мне становилось тяже-
ло; но зная по опыту, что надо не верить первому моменту уста-
лости, я, еле-еле передвигая ногу за ногу, все шел вперед по зиг-
загам дороги, которая поднималась по редкому бору.

Солнце еще не выбралось из-за скал. Везде пусто, сыро, ни-
кого не видно и не слышно, с обеих сторон голые стволы деревьев и
бедная растительность. Чем выше мы поднимались, становилось
грязнее и грязнее от таявшего снега, ноги скользили и мешок
страшно тянул мне спину, и я уже думал, что вовсе не так приятно
ходить пешком по Швейцарии, как все говорят, когда вдруг
все переменялось. Выше меня послышались бубенчики, силь-
ный, свежий мужской голос, который пел эту вечную швейцар-
скую песню с гортанными переливами; пройдя маленький зигзаг,
мы очутились на маленькой сырой полянке, с которой открылся
еще шире, дальше и блестящее вид на озеро; солнце большей по-
ловиной выкатилось из-за скалы и ослепительно заблестело по
голым красным стволам сосен и по сырой траве поляны.

30

Взглянув вверх, над самой головой, я увидел черную навью-
ченную лошадку, которая, опустив голову вниз, как бы обнюхивая
дорогу, по самой окраине спускалась вниз, осторожно поджимая
задние ноги. Сзади скорыми шагами с палкой в руке шел швейца-
рец, молодой красивый малый в соломенной шляпе. Увидав нас, он
перестал петь и только весело покрикивал на лошадку.

– *Bonjour, monsieur*², – сказал он весело, заигрывающе ударяя
на последнем слог, когда мы сошлись с ним.

– *Bonjour*, далеко ли до *Alières*?

40

¹ Жаманский зуб (фр.)

² Здравствуйте, сударь (фр.)

– Два маленьких часика, – отвечал он, и – хуп, хуп, – закричал он и взялся за хвост лошади, которая, приложив уши, с каким-то шутовски веселым выражением, побрякивая бубенчиками, быстро спускалась по самому краю дороги. Пока мы входили до самого верха горы, мы всё видели внизу себя под ногами, то там, то сям по извилинам дороги черную лошадку с вьюком и слышали песню швейцарца.

Странная вещь – из духа ли противоречия, или вкусы мои противоположны вкусам большинства, но в жизни моей ни одна знаменито прекрасная вещь мне не нравилась. Я остался совершенно холоден к виду этой холодной дали с Жаманской горы; мне даже и в голову не пришло остановиться на минуту, полюбоваться. Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно в даль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда те самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов, когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют линию далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба; когда вы не одни ликуете и радуетесь природой; когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись ползают коровки, везде кругом заливаются птицы. А это голая холодная пустынная сырая площадка, и где-то там красивое что-то, подернутое дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного целого. Мне дела нет до этой дали. Жаманский вид – вид для англичан. Им должно быть приятно сказать, что они видели с Жамана озеро и Вале и т. д.

Кроме того, на горе недавно стаял снег, было сыро, я устал поднимаясь, хотел пить, а тут воды нигде не было. Два шале, которые мы нашли тут почти на самой вершине, были пустые. Саша побежал было к снегу, которого за хребтом горы было много, но снег был грязен. Вид по ту сторону Жамана несравненно гармоничнее: это до самого горизонта глубокое, суживающееся, мрачное, поросшее хвойным лесом ущелье. В отверстие ущелья выставляется другой хребет гор, того же строгого и величественного характера; в глуби и на полускатах ущелий виднелись дымки, которые одни оживляли картину; домов и шале нигде не было видно. На вершинах почти везде клочьями лежал снег. Спуск по ту сторону по маленькой, едва проторенной каменистой тропинке. Тропинка эта так мала, что мы даже сомневались, на настоящей ли мы дороге.

Первый дым, который нам был виден, и где надеялись спросить о дороге, остался вправо. Около часу мы всё круто спускались, никого не встречая, и чем дальше мы шли, тем дорога становилась хуже. Видно было, что вблизи выше рубили лес, и на самой дороге попадались иногда сложенные сажени, а иногда просто сброшенные сверху деревья, заграждавшие дорогу.

Я сомневался, не сбился ли я, и признаюсь, серьезно беспокоился, но Саша, которому я сообщил свои опасения, помирал со смеху от мысли, что мы заблудились. Я тоже смеялся и не от того, чтобы мне смешно было, но от того, что мы, спускаясь, устали еще больше, чем поднимаясь, нас распарило, и как это часто бывает в подобных случаях, на Сашу нашел смехун и сообщился мне отчасти. 10

Скажу я: «Фу, в какую мы трущобу зашли», – и Саша спотыкался, падал от смеха и только повторял: «в трущобы зашли»; и мне почему-то это становилось ужасно смешно.

– А вон слышите, рубят дрова, – сказал я, – надо будет спросить у этого господина.

– Я вижу и господина, – сказал Саша, помирая со смеху, и, путаясь ногами, побежал вперед к господину. 20

Это был высокий, худой, рябой мужчина, ужасно грязно одетый и изнуренный. Он, засучив рукава над своими худыми жилистыми руками, рубил дрова около дороги. На все вопросы Саши по-французски, как пройти в Альер? далеко ли? он отвечал таким непонятным фляфляванием, как будто у него был полон рот каши, и с таким диким испуганным выражением смотрел на мальчика, что Саша начал пятиться от него. Предполагая, что он из немецкой Швейцарии и говорит на своем *ratois*¹, я спросил его по-немецки; но кроме каких-то непонятных слюнявых звуков и тех же растерянных взглядов, я ничего не мог от него добиться. 30 Не итальянец ли он? Саша спросил его по-итальянски. Он только пожал плечами и сделал такую комическую рожу, что Саша лопнул, расхохотался и побежал прочь. Я не мог удержаться и сделал то же. Я нигде не встречал такой уродливой идиотической старости рабочего класса, как в Швейцарии.

Пройдя несколько шагов, мы встретили других дровосеков ниже дороги. Саша сбегал к ним. Эти поняли его и сказали, что мы идем хорошо и через маленький полчаса будем в Альере. Действительно, скоро уже дорога пошла ровно вдоль потока, между обсаженными каменными изгородями; стали попадаться 40 стада, рассыпанные по полугорам, освещенным солнцем, и скоро

¹ местном наречии (*фр.*)

около самой деревни мы нашли фонтан, которого нам так хотелось.

Alières, в том же роде, как и Avant, – десятка полтора хороших домиков, на довольно далекое расстояние друг от друга рассыпанных по зеленой долине. Тот же овраг внизу, те же потоки, те же душистые нарциссы в лугах, только больше коров и скотины виднеется в лугах и на полянах лесов. Справа и слева, немолкаемо слышатся эти бубенчики, которые так идут как-то к утренним косым лучам солнца, к росистой зелени и к запаху цветов, росы и стада.

Саша с одной стороны вбежал в большой дом, мимо которого мы проходили, чтобы узнать, не это ли гостиница, а я с другой уж нашел вывеску, изображающую медведя с надписью кругом: Hôtel de L'ours, a la confiance¹. Служанка, к которой мы обратились по-французски, пожала плечами, в знак сожаления, что не понимает, что, разумеется, нас очень обрадовало, дав возможность показать свои знания по-немецки.

Это был уже кантон Фрибурга.

Нас провели в залу с голыми столами и лавками и дали славного свежего хлеба и молока. Кофей, который мы заказали, мы слышали как жарился и терся. Но мы рады были отдохнуть, и на нас снова нашел смехун, вследствие наслаждения отдыха, хотя и под предлогом надписей на чашках и тарелках, которые нам подали. На моей чашке было написано просто: par l'amitié² в лавровом венке, но у Саши надпись была длиннее: mon cœur est tout attristé, je pleure en réalité³. Но лучше всего была тарелка с синими разводами, с изображением якоря и с немецкой надписью внизу: komm her und küss mich⁴. Видимо здесь уже и в людях и в предметах боролись немецкий и французский элементы. Однако кофей был недурен, дешев чрезвычайно и подан скоро, так что еще не было жарко, когда мы пустились в путь дальше до Monbovont, где мы намеревались дневать и обедать.

Дорога шла извиваясь между лугами и лесами, то в гору, то под гору. Под самым Альером мы нагнали женщину уже лет за 40, которая несла за спиной пустую корзинку. Она шла ровным охотничьим шагом, мы шли скорее, и, признаюсь, не без гордости подумал, как я легко обгонял горную женщину, и что она, глядя на нас, подумает, может быть: молодцы, хорошо идут.

¹ «Hôtel de L'ours», пользуется доверием (фр.).

² в знак дружбы (фр.).

³ сердце мое весьма огорчено, я плачу настоящими слезами (фр.).

⁴ приди и поцелуй меня (нем.).

Услыхав за собой наши шаги, она посторонилась и произнесла этот певучий: *bonjour, monsieur*, к которому так привыкаешь на Лемане. Слово за слово, мы разговорились, кто, куда и откуда? и, признаюсь, мне стыдно стало, когда я узнал, что она, которую я хотел удивить, нынче вышла из Монтрё и, пройдя в одно утро то же самое, что мы в два дня, была впереди нас. Мало этого, она прибавила так, к слову, что вот сейчас здесь наложит 36 фунтов холстины в корзину и вернется нынче же в Монтрё.

Мы с Сашей только переглянулись. Вот так молодец баба! 10
Когда она, пожелав нам счастливого пути, повернула в сторону, я внимательно осмотрел ее фигуру. Ничего особенного, тот обыкновенный тип рабочих женщин, которых с шляпами в виде бутылок встречаешь в виноградниках Côte и у большей части которых висит зоб под подбородком, плоская спина и грудь, костлявые длинные руки, вывернутые ноги и кислая сморщенная улыбка. На половине дороги встретили мы с удовольствием такого же туриста, как мы, только гораздо менее навьюченного, у него была крошечная сумочка, а я тащил на себе, я думаю, больше пуда и теперь, пройдя по горам около 20 верст, начинал 20
серьезно уставать. Притом дорога однообразно идет по еловому лесу; кое-где ручьи, потоки или полянка с шале и фонтаном; но зато беспрестанные встречи: то дальние немцы швейцарцы с большими палками и фарфоровыми трубочками, то из-под горы седой старик тянет корову за рога, а за ним идет хорошенькая румяная швейцарочка с длинной хворостиной и, потупив глазки, здоровается с иностранцами, то два мальчика, в вздернутых на бок на одной помочке штанишках, вперед себя гонят куда-то коз и беспрестанно забегают в лес, выгоняя оттуда свое непослушное стадо, то две уродливые старухи вытаскивают за 30
хвост красную свинью из оврага. Эту последнюю встречу мы сделали под самой деревней. Свинья пронзительно визжала, одна баба тащила ее за хвост, другая худая, костлявая, с зобом и с каким-то странным тиком во рту, дававшим ей ужасно злобный вид, колотила ее палкой.

Саше моему так смешно показалось это зрелище, что насилу я мог удержать его, чтобы он не прыснул прямо в нос уродливой бабе, с которой мы столкнулись нос с носом на дороге. Зато уж после он дал себе волю, хрипел, пыхтел, фыркал и смехун продолжался до самой гостиницы. 40

Монбвонт живописно открылся нам под горой, на довольно большой речке, с большим городского фасада домом гостиницы, католической церковью и большой дорогой шоссе, которую я,

признаюсь, увидел не без удовольствия, после дороги, по которой мы шли нынешнее утро.

Не дошли мы до гостиницы, как особенности католического края тотчас же выказались: грязные оборванные дети, большой крест на перекрестке перед деревней, надписи на домах, уродливо вымазанная статуетка мадонны над колодцем, и один опухлый старик и мальчик в аглицкой болезни попросили у меня милостыню. Гостиница была чистая, просторная, на большую ногу и совершенно пустая; нам служили отлично. Бывшая хорошенькая горничная из Берна, принарядившись и наподадившись для нашего приезда, усиливалась говорить с нами по-французски и без надобности забегала в нашу комнату. Желательно бы было, чтобы к нам не переходил в Россию обычай иметь женскую прислугу в гостиницах. Я не гадлив, но мне лучше есть с тарелки, которую, может быть, облизал половой, чем с тарелки, которую подает помаженная плешивеющая горничная с впалыми глазами и масляными мягкими пальцами. Госпожу эту звали Элиза, но Саша, смотревший на картинки в зале, изображавшие историю Женеьевы, брошенной в лес и вскормленной ланью, назвал ее Женевьевкой, потом Женевесткой, потом Женеверткой, и слово Женевертка заставляло его смеяться до упаду. Кроме того, с этого дня Женевертка стало для нас словом, означющим вообще трактирную служанку.

Я закрыл ставни и лег спать до обеда. Саша пошел удить рыбу на речку. Проснувшись, я порадовался по карте, как далеко мы отошли от Монтрё, и мне пришла мысль, что, так как мы стоим на дороге, ведущей из Фрибурга в Интерлакен, идти лучше любоваться горной природой в Оберланд, чем по пыльному шоссе идти в Фрибург, где я мог слушать знаменитый орган на обратном пути. Перед выступлением я прошелся по деревне. Дома большей частью были большие, красивые, в каждом жило по несколько семейств; но одежда и вид народа ужасно бедны. На нескольких домах я прочел надписи вроде следующей: *Cette maison a été bâtie par un tel, mais ce n'est rien en comparaison de celle que nous réserve le Seigneur. Oh mortel! mon ombre passe avec vitesse et ma fin approche avec rapidité!*¹ и еще раз *Oh mortel!* Что за нелепое соединение невежественной гордости, христианства, мистицизма и тщеславной напыщенной болтовни.

¹ Дом сей построен имяреком, но он есть ничто в сравнении с тем жилищем, которое уготовил нам Господь. О смертный! тень моя проходит стремительно и конец мой быстро приближается! (*фр.*)

Саша ничего не поймал, проект мой ему очень понравился, и в 5-м часу мы пустились в путь совсем в противоположную сторону от той, в которую думали идти.

Дорога до Château d'Oex, где мы хотели ночевать, идет, редко где поднимаясь и опускаясь, по берегу большого быстрого потока. Поток этот называется Sarine. Несмотря на то, что он далеко не был в полном разливе, шум его был слышен за версту, и по нем в многих местах плыли, а в других, зацепившись за камни, стояли еловые бревна, которые таким образом перевозят с места на место. Иногда через месяц хозяева леса, дожидаясь воды, приходят к плотинам и находят свой лес, который они узнают по клеймам. По ровному гладкому шоссе нам казалось так легко идти после прежней дороги, что мы прошли час и почти не устали, только мешки тянули нам плечи. 10

Мы приостановились на мосту, положив мешки на перила, чтобы они (не) тянули нам спины, и долго любовались Саринной, которая в этом месте через большие нагроможденные друг на друга камни довольно крутым уступом спускается вниз. Саша очень любит всякую воду, даже не может пропустить ни одного жолобка с водой, чтоб не заткнуть его рукой, и лужицы, чтоб не поболтать в ней концом палки, поэтому водопады приводят его в восхищение; но для меня водопад, слишком далекий и не окруженный зеленью, такое же холодное зрелище, как декорация или знаменитые виды с высоких гор. Этот водопад однако шумел в прелестной рамке. С обеих сторон кривые, разной величины, темные сосны, и между ними эта стремительно движущаяся и однообразно возобновляющаяся белая пена, и широкие серебристые струи, и неподвижные, беспрерывно одинаково обливаемые то сверху, то с боков белые камни, бревна елей, живописно, всегда живописно столкнувшихся и зацепившихся, и этот одуряющий шум; так что вы не знаете, что вода и что камни... 20 30

Этот водопад был прекрасен. За шумом воды мы и не слышали, как нас нагнала шагом ехавшая на одной вороной лошади немецкая открытая бричка с мучными мешками. На бричке спереди сидел красивый малый и сзади старушка.

– Попросите к ним мешки положить, – сказал Саша.

– Разве вы устали?

Но Саша уже таким заискивающим тоном сказал: *bonjour, madame*, и так выразительно поглядел на старушку, что она поворочилась и показала ему подле себя место: «Садитесь, коли вы устали», – сказала она. Саша тотчас же вскочил к ней рядом, я тоже положил свой мешок и предложил швейцарцу выпить вместе бутылку вина в первом трактире. 40

– Oh, ce n'est pas ça¹, – сказал покраснев миловидный румяный швейцарец; venez aussi², – прибавил он, давая мне место, – мы рысью поедем. – Но я отказался, сказав, что догоню их. И мой Саша с новыми знакомцами, что-то руками рассуждая с старушкой, затрясся от меня рысью вперед по дороге.

Я их догнал у харчевни, подле которой молодой мельник остановил свою лошадь. Он уже заказал себе пива, но я попросил его выпить вина со мною. Мельник принадлежал к тому милому и поэтическому красивому типу швейцарцев, который довольно часто встречается в кантонах Vaud, Женевы, Нёшателя и Фрибурга. Громадно широкие плечи и грудь, чрезвычайно развитые мышцы ног и рук, небольшая белокурая голова, румянец во всю щеку и благодушная, кроткая, немного глуповатая улыбка. От трактира, по настоятельному приглашению, я сел с ним рядом на телегу, и мы разговорились. Он сирота, мельник, получает 4 франка, целковый в неделю, не служит потому, что не записался в граждане, и вовсе не находит это записыванье нужным.

– А что, вы не женаты? – спросил я.

– Молод еще, – отвечал (он).

20 – Что же, веселитесь так с молодыми девками?

Он покраснел и оглянулся на старуху, которая сидела сзади. – Oh non! – сказал. – Я не подхожу к девкам. Ça me gêne³, – прибавил, с недоумением пожимая плечами.

– От этого он так и здоров, – подхватила старуха.

– Что, вы его мать? – спросил я у нее.

– Нет, он так меня довозит; я из Россиньера, вот эта деревня на горе, там и большой пансион есть, много иностранцев приезжают.

– А о чем вы говорили с молодым человеком? – спросил я ее.

30 – О! он меня забавлял, – отвечала старуха, – рассказывал, что он был в 14-ти государствах и 8 языков знает. – Я оглянулся на Сашу, он отворачивался, и уши его были красны.

Мельник немного не довез нас до нашего ночлега, повернул на свою мельницу. Подходя к Château d'Oex, мы встречали на каждом шагу пьяных солдат, которые буйными развращенными толпами шли по дороге, и около самой деревни нас догнал дилижанс, т. е. колясочка на одной лошади, в которой ехал один пассажир, и в синих мундирных фраках с красными обшлагами почтовый лакей и кучер. Мы решили ехать нынче ночью даль-

¹ О, не в этом дело (фр.)

² садитесь и вы (фр.)

³ О нет!.. Это меня смущает (фр.).

ше, кучер (сказал), что переменит лошадей и подождет нас в деревне.

Деревня большая, богатая, с высокими домами, с такими же надписями, как в Монбвонт, с лавками и с замком на возвышении. На площади, перед большим домом, на котором было написано: Hôtel de ville¹ и из которого раздавались отвратительно фальшивые звуки роговой военной музыки, были толпы военных – все пьяные, развращенные и грубые. Нигде как в Швейцарии не заметно так резко пагубное влияние мундира. Действительно, вся военная обстановка как будто выдуманная для того, чтобы из разумного и доброго создания – человека сделать бессмысленного злого зверя. Утром вы видите швейцарца в своем коричневом фраке и соломенной шляпе на винограднике, на дороге с ношей или на озере в лодке; он добродушен, учтив, как-то протестантски искренне кроток. Он с радушием здоровывается с вами, готов услужить, лицо выражает ум и доброту. В полдень вы встречаете того же человека, который с товарищами возвращается из военного сбора. Он наверное пьян (ежели даже не пьян, то притворяется пьяным); я в три месяца, каждый день выдав много швейцарцев в мундирах, никогда не видал трезвых. Он пьян, он груб, лицо его выражает какую-то бессмысленную гордость или скорее наглость. Он хочет казаться молодцом, раскачивается, махает руками, и все это выходит неловко, уродливо. Он кричит пьяным голосом какую-нибудь похабную песню и готов оскорбить встретившуюся женщину или сбить с ног ребенка. А все это только от того, что на него надели пеструю куртку, шапку и бьют в барабан впереди.

.....
Я не без страха прошел через эту толпу с Сашей до дилижанса, он сел впереди, я сел с барином, и мы поехали. Какой-то мертвецки пьяный солдат непременно хотел ехать с нами и отвратительно ругался, ужасная музыка не переставая играла какой-то марш, до того невыносимо фальшиво, что буквально больно ушам было. Со всех сторон развращенные пьяные грязные нищие.

Зато с каким наслаждением, когда мы выехали из городу, я увидал при ясном закате прелестную Занскую долину, по которой мы ехали, с вечными звучащими живописными стадами коров и коз. Господин, с которым я сидел, был одет, как одеваются магазинщики в Париже, имел новешенькое чистенькое porte-

¹ Городская гостиница (фр.)

manteau¹, плед и зонтик. На носу у него были золотые очки, на пальце перстень, черные волосы старательно причесаны, борода гладко выбрита, в лице неприятное напущенное чопорное спокойствие, которое сохранялось только на то время, как он молчал. Говорил он по-французски с женевским акцентом, видимо подделываясь под французский. Мне казалось, что это женевский или водский bourgeois. Это безжизненная, притворная, нелепо подражающая французам, презирующая рабочий класс Швейцарии и отвратительно корыстно мелочная порода людей. После его презрительной манеры говорить с нашим молодым кучером, который все заговаривал с нами, и условий, которые он мне предложил для поездки в наемной карете вместе в Интерлакен, я уже не сомневался. Он расчел как-то так, что мы с Сашей, у которых вовсе не было клади, платили за карету чуть не втрое против его, у которого с собой было 3 тяжелых чемодана. И он настойчиво уверял, что это стоило бы мне гораздо дешевле, чем в дилижансе.

Мало того, он еще рассердился на меня за то, что я отказался, и когда мы приехали, он как-то озлобленно сказал кондуктору, что он пойдет брать себе место в дилижансе, une fois que monsieur (это я) ne veut pas aller², – и сердито махнул на меня рукой так энергичически, что мне без шуток показалось, что я виноват перед ним. Мне совестно уже было с ним встречаться, и я подождал его, чтобы пойти брать места в «Post-bureau»³.

Я подошел к затворенной двери, на которой была надпись. Около двери сидело 3 человека, которые даже не посмотрели на меня. Я отворил дверь в Пост-бюро. Это была грязная низкая комната, с грязной кроватью, с кадушками и развешанными платьями. Я вышел назад и спросил у сидящих у дверей, это ли Пост-бюро.

30 – Это, – сказал мне один из сидящих грубым голосом, – идите туда, что ходите?

Я вошел. Действительно, в крайнем углу стояла конторка и лежали бумаги. Никого, кроме болезненной женщины с грудным ребенком, не было в почти уже темной комнате. Через минуту тот самый человек в сертуке, который велел мне войти, размахивая руками и всей спиной, с фуражкой набекрень, вошел в комнату. Я поздоровался с ним, он захлопнул дверь и не взглянул на меня. Сначала я думал, что он чужой и чем-нибудь очень занятый или огорченный человек, но всмотревшись ближе, и особенно,

¹ чемодан (фр.)

² раз господин... не хочет ехать (фр.)

³ «Почтовой конторе» (фр.)

когда он прошел за конторку, я убедился, что все его движения, физиономия, походка, все это было сделано для оскорбления меня или для внушения мне уважения. Он был высок ростом, широк в плечах, но худощав; длиннонос, белокур и ряб. На нем был сертук, широкие штаны и фуражка. Вообще вся рожа его была отвратительна или так показалось мне.

Я самым учтивым манером спросил о местах. Как будто бы это я во сне видел, что я говорю, – никакого внимания. Я стал вспоминать, не оскорбил ли я его чем-нибудь входя, не полагает ли он почему-нибудь, что я хочу гордиться. Я снял шляпу и в коротенькую фразу, которой я спрашивал его, сколько верст до Туна, я 3 раза поместил *monsieur* – это тоже не подействовало. Я подал ему деньги, он писал что-то и молча оттолкнул мою руку. Я начинал сердиться, и пускай меня обвиняют варваром, но у меня руки так и чесались, чтобы сгрести его за шиворот и разбить в кровь его рябую фигуру. По счастью для меня, он скоро бросил мне на стол два билета, так же швырнул сдачу, что ежели бы я не удержал, она бы скатилась на пол, и он бы верно не поднял. Потом, размахивая так же спиной и руками и еще как-то сардонически чуть заметно улыбаясь, он вышел на улицу. 10

Нет, подобной бесчеловечной грубости я не только никогда не видал в России между колодниками, но я представить себе не мог ничего подобного. 20

Когда я вернулся домой и не выдержал, стал жаловаться кучеру, который принес мне наверх мои вещи. Он пожал плечами, улыбнулся (он был молодой веселый малый и в настоящую минуту ожидал на водку).

– *Vous dites que c'est le buraliste qui est comme ça?*¹

– Да.

– *Que voulez vous, monsieur, – ils sont républicains, ils sont tous comme ça. Et puis il est buraliste, il est fier de ça.*² 30

Я, ложась спать, все не мог забыть бюроалиста и твердил про него. А Саша хохотал.

– Так задал вам страху бюроалист? – все спрашивал он. – А Женевертка вычистит нам башмаки завтра? – И он заливался хохотом. Кончилось тем, что и я расхохотался и, перебирая весь день, заснул все-таки с веселыми мыслями.

¹ Вы говорите, что это бюроалист был таков? (*фр.*)

² Что вы хотите, сударь, – они республиканцы, они все таковы. Да кроме того, ведь он бюроалист, он этим и чванится (*фр.*).

ЗАПИСКИ МУЖА

Вот я опять один и один там, где я был и молод и дитя, и где я был глуп и гадок, и хорош и несчастлив, и где я был счастлив, где я жил, истинно жил раз в жизни в продолжение 20-ти дней. И эти (20) дней как солнце одни горят передо мной и жгут еще мое себялюбивое подлое сердце огнем воспоминаний. Теперь Бог знает что я такое, и что я делаю, и зачем все то же вокруг меня, и время все так же бежит около меня, не унося меня с собой, не двигая даже. Оно бежит, а я стою – и не стою, а подло, лениво, 10 бесцельно валяюсь посреди все той же внешней жизни без сил, без надежд, без желаний, с одним ужасным знанием – с знанием себя, своей слабости, истасканности и неисцелимой холодности. Я себе не мил нисколько, ни с какой стороны, не дорог я и не ненавистен себе, я хуже всего этого, я неинтересен для себя, я сучен, я вперед знаю все, что я сделаю, и все, что я сделаю, будет пошло, старо, невесело. Пробовал я и вырваться из этого старого, пыльного, затхлого, гниющего, заколдованного круга *себя*, в котором мне суждено вертеться, но все, что бы я ни сделал самого необычайного, все это тотчас же получало *мой* собственный 20 исключительный цвет, образ и запах. Только я мог это и так сделать. Все то же, все то же. Ежели бы я застрелился или повесился, о чем я думаю иногда так же здраво, как о том, не поехать ли в город, и это бы я сделал не так, как солдат, повесившийся прошлого года в засеке, а только так, как мне свойственно, – старо, пошло, затхло и невесело.

Нет, не уйти от себя и от своего прошедшего!

Не для человека свобода. Каждая секунда, которую я проживаю, против воли проживаю, заковывает будущее. А уже остается меньше жизни впереди, чем сзади. Все будущее не мое уже. 30 Так склонись, покорствуй и неси цепи, которые ты сам сковал себе. Да, легко сказать, а ежели бы у меня оставалось только два

мгновения жизни, я бы и их употребил на то, чтобы мучительно биться с этим прошедшим, и пытался бы вырваться на свет и свободу и хоть раз свободно и независимо дыхнуть чистым воздухом и взглянуть на не омраченный, не сжатый, не оклеветанный, а великий, ясный и прелестный мир Божий.

Правда, я не имею еще права жаловаться и плакать, у меня были две недели свободы, и теперь бывают при воспоминании о моей жизни минуты восторга, когда я свободен, другие не выйдут из вечного рабства.

Жизнь моя отжита, ежели то жизнь, те 33 года, которые я 10 был, мне делать нечего; я навеки закован в мире действительном; остается один мир моральный, в котором я могу быть свободен. Хочу, пользуясь теми минутами восторга, в которых я свободен, рассказывать *историю моей жизни* и те события, самые простые и обыкновенные события, которые довели меня до моего настоящего положения.

1.

Первый взгляд на жизнь и первые идеалы

С тех пор как себя помню, какие были мои первые идеалы? Чего я желал? Чем я гордился? Богатство и власть были мои идеалы, их я желал и ими гордился. Помню, мне было 3 года, отец 20 отдавал приказанья в кабинете, в то время как все мы, мать, тет-ка, я и сестра сидели за чаем в гостиной.

«ОН НЕ МОГ НИ УЕХАТЬ, НИ ОСТАВАТЬСЯ...»

Он не мог ни уехать, ни оставаться. Уехать не мог, потому что денег¹ не было и потому что без вечеров у Пушкиновых ему не представлялась возможность жить. А каждый вечер он выходил от них с чувством сосущей тоски и говорил себе: выжат, выжат апельсин. Тот самый апельсинат, который она ела при нем. А оставаться не мог, потому что столько было насплетничано и пересплетничано вокруг него с нею, и между им и ею были такие
10 отношения, которые можно было только чувствовать, но не понимать. Она ли отказала ему, он ли ей? Кто кого обманул, [разо]чаровал и не удовлетворил, не довел своих отношений до сознания. Вообще между ними говорилось и думалось тонко, очень тонко, изящно. Грубые слова: влюблен, хочет жениться или выйти замуж, обманул, сделал предложение и т. п. – не только слова, но и понятия не допускались. Оно было тонко, но зато ужасно неясно. Приятно ли было или нет, это их дело. Должно быть что приятно, иначе они бы так не вели себя.

¹ Слово читается предположительно: в автографе чернильное пятно.

Он не мог ни уехать, ни остаться...

(1)

Оно не могло ни уехать, ни оставаться. Имело
ни слов, потому что оно было не было и потому что
было вечером у Пушкина, и ему не представлялось
возможности уехать. И тогда вечером он выскочил
оттуда и пошел в квартиру, которую искал и соборный
двор: вечер, вечер и пошел. Там сидел человек
маленький, который был с ним приехал. И тогда
ни слов, потому что он стоял было на улице и
и переосмысливал, как было дело и как он был
и это было так, что он стоял, который не мог
только себе сказать, но и подумать. Но он не
мог ни уехать, ни остаться. Кто был человек, который
и который стоял и не мог уехать, и который
до создания. Вечер, вечер и пошел и пошел
и пошел только один только человек, который
был человек, который стоял и пошел, и который
однажды предположил и т. д. и пошел и пошел
и пошел и пошел. Оно было только ни
уехать уехать не было. И тогда ни уехать ни
ни уехать. И тогда ни уехать ни уехать, и тогда
ни уехать ни уехать.

«ОН НЕ МОГ НИ УЕХАТЬ, НИ ОСТАВАТЬСЯ»

Автограф

СКАЗКА О ТОМ,
КАК ДРУГАЯ ДЕВОЧКА ВАРЕНЬКА
СКОРО ВЫРОСЛА БОЛЬШАЯ
(Посвящается Вареньке)

– Что это в самом деле мы совсем забыли детей, – сказала мать после обеда. – Вот и праздники прошли, а мы ни разу не свозили их в театр. – Принесите афишу – нет ли нынче чего-нибудь хорошенького для них.

10 Варенька, Николенька и Лизанька играли в это время в сирену, они все три сидели на одном кресле – под водой ехали на лодке к фее; и их было в игре будто бы 6 человек: мать, отец, Евгений, Этиен, Саша и Милашка. Лизанька была Милашка и сейчас собиралась быть феей, чтобы принимать гостей; но вместе слушала, что говорили большие.

– Варенька! в театр, нас... – сказала она и опять принялась за свое дело: дуть и махать руками, что значило, что они едут под водой.

– Мамаша? – спросил Николенька.

– Да, – сказала Варенька.

20 И игра пошла плохо, очень долго не доезжали до феи, дети всё слушали, как мамаша совещалась с дядей, куда ехать? В цирк или в Большой театр, в «Наяду и Рыбак».

– Идите одевайтесь! – сказала мамаша.

Сирена вдруг расстроилась, ни лодки, ни воды, ни Милашки, ничего больше не было.

– Мы, мамаша? – спросила старшая, Варенька, хотя и знала, что одеваться сказано им.

Николенька и Лизанька, молча глядя на мамашу, ожидали подтверждения.

30 – Идите, идите скорей наверх!

И топая ногами, с писком и криком, толкая друг друга, полетели дети.

Через полчаса они потихоньку, боясь запачкать и смять платья, ленты и рубашки, с умытыми лицами и руками, сошли в гостиную. Они все были славные дети, особенно девочки в кисейных платьях с розовыми лентами, а мальчик в канаусовой сизой рубашке с золотым поясом, которого ему самому очень мало было видно.

10 – Неужели я такая же хорошенькая, как и Лизанька? – думала Варенька и, чтобы увериться в этом, прошлась, шаркая, мимо зеркала и как будто мимоходом заглянула на себя под стол в зеркало. В зеркале боком стояла хорошенькая девочка.

– Лизанька! посмотри, у тебя кожи всё не пригладились, – сказала она, и Лизанька подошла и посмотрела на себя.

Коков не было видно. Это только подшучивала Варенька. Николенька тоже подошел и посмотрел на свой золотой пояс:

– Ну точно сабля у дяденьки, прелесть!

Но вдруг няня, стоявшая за дверью с муфтами, вошла в комнату и отвела Лизаньку.

20 – Опять измялись! – сказала она, обдергивая ей юбку. – Нельзя вас брать!

Но Лизанька знала, что это только шутки.

– *Allez prendre vos précautions avant de partir!*, – сказала гувернантка в красных лентах и шумящем шелковом платье, входя в комнату.

– Прекотьоны, прекотьоны! – закричали дети, и сначала побежала Лизанька.

– Мне не нужно, – гордо сказал Николенька.

– И мне тоже, – сказала Варенька.

30 – Какие кхинолины! – сказала Варенька.

– Какая красавица Бисутушка! – говорили дети, прыгая вокруг *m-lle Bissaut*, которая тоже посмотрелась в зеркало, чтобы узнать, точно не сделалась ли она красавица.

40 Мамаша долго одевалась, так что дети сыграли еще одну игру в доктора и измяли все платья и взъерошились. Их побранили, сказали, что нельзя их одевать хорошо, что их надо оставить; но они знали, что их непременно возьмут, и старались сделать кислые рожи, но в душе им было весело. Наконец посадили всех в карету. Михайла так и подкидывал их с порога, как мячики; а старушка няня, без платка и в одном платье стоявшая на крыльце на морозе, все говорила, что у Лизаньки шляпка сбилась, а что

¹ Сходите на всякий случай в уборную перед отъездом (*фр.*)

Варенька хоть ручки бы спрятала. Николенька – тот кавалер, молодец, ему ничего не нужно.

Когда приехали в театр и пошли по коридору, и незнакомые люди стали ходить взад и вперед прямо на них, и как стала мамаша спрашивать, куда идти, и Михайло не знал, то дети, по правде сказать, испугались сильно, хотя и не признавались в этом. Лизанька даже думала, что все кончено, что заблудились, что собьют с ног, уведут куда-нибудь, и что вот-те и театр будет. Она даже задыхалась от страха и, еще бы немножко, заплакала бы. Я знаю, что она не признается в этом, но было дело. Зато как нашли ложу, 10 и человек какой-то с золотыми галунами потребовал билет у мамыши, несмотря на то что она мамаша, и отворил дверь, удивительно хорошо стало, даже немножко страшно. Музыка играет, светло, золотые свечи большие и люди, люди, люди! Головы, головы, головы! Наверху, внизу, везде люди. Точно настоящие.

Мамаша пустила вперед детей, а сама села сзади. Тут дети стали осматриваться. Люди напротив, кругом и внизу точно были настоящие, они шевелились, были даже дети, и дети такие же настоящие, как и они сами. Особенно рядом с ними через загородку сидели мальчик и девочка, такие хорошенькие, точно волшебные. 20 Девочка в пуклях до открытых плечиков, и сама не старше Вареньки, а мальчик тоже с длинными курчавыми волосами, в бархатной поддевке с золотыми пуговками и такой хорошенький, лучше Феде и Стивы, даже лучше Раевского, ну точно волшебный мальчик.

Волшебный мальчик и девочка смотрели на детей, которые пришли, и дети смотрели на них и шептались между собой.

– Смотрите же сюда, дети, вот где сцена, – сказала мамаша, указывая вниз в одну сторону.

Дети посмотрели туда, и им не понравилось. Там сидели 30 музыканты, все черные, с скрипками и с трубами, а повыше были нехорошие простые доски, как в доме в деревне пол, и на полу ходили люди в рубашках и красных колпаках и махали руками. А одна девочка без панталон в коротенькой юбочке стояла на самом кончике носка, а другую ногу выше головы подняла кверху. Это было нехорошо, и детям стало жалко этой девочки.

– Который театр, мамаша? – спросил Николенька.

– Этот самый, – отвечала мамаша, в трубку глядя на девочку и указывая на нее.

Дети стали смотреть туда; девочка прыгала, вертелась, и другие прыгали и танцевали с ней, и ничего не было смешного. Правда, сзади девочки было сделано точно море и месяц, это было хорошо. 40

– Неужели это настоящие девочки? – спросила Лизанька, которой было страшно отчего-то и хотелось плакать.

– Разумеется, настоящие! – отвечала Варенька, – посмотри, как она ходит; как туда пойдет за эти перегородки, очень видно, что настоящие.

Лизанька обиделась.

– Которые с нами рядом сидят, я вижу, что настоящие, а те – я не знаю.

Но и Вареньке было веселей смотреть на ложи и на люстру и особенно на соседку девочку и мальчика, чем на самый театр. Маленькие соседи тоже смотрели на них, а старшие все заставляли смотреть на танцовщиц. Было смешно только, когда вдруг все начинали бить в ладоши, да еще перед самым концом было хорошо и смешно, когда на сцену пришло много людей с алебардами, стали бить друг друга, случился пожар, и один провалился, только жалко – тут-то и закрылась занавес.

Соседние дети встали и вышли из ложи с офицером, который был с ними.

– Как жарко! – сказала мамаша и тоже вышла с детьми в коридор и стала ходить. Лизанька держалась за нее, чтобы не потеряться, другие ходили сами. Офицер с волшебными детьми тоже ходил. Встречаясь, дети смотрели друг на друга и смотрели так пристально, что ничего не видали под ногами, и Лизанька так загляделась, что спотыкнулась и упала. Но она не заплакала, а покраснела и засмеялась. И наши дети, и волшебные дети захотали. Волшебные дети еще показались лучше, когда смеялись. «Такие хорошенькие, веселые, особенно девочка», – думал Николенька; «особенно мальчик», – думали Лизанька и Варенька.

– *Quels charmants enfants!*¹ – проговорила мамаша гувернантке, но так, чтобы офицер и дети слышали. В душе же она думала: хороши дети, но мои лучше. Детей очень испугало и удивило то, что решилась сказать мамаша; однако она это хорошо сказала. Отойдя на другой конец коридора, офицер то же самое сказал своим детям.

– Ну, подите познакомьтесь с ними, – сказал он им.

– Поди сам, коли тебе хочется, – сказала девочка.

– Что же, я пойду, – сказал мальчик, глядя вверх на офицера. – Только что сказать им?

– Спроси, не ушиблась ли эта девочка.

– Хорошо, я скажу! – решительно сказал мальчик.

– И я скажу, – сказала девочка, и они пошли им навстречу.

¹ Какие прелестные дети! (фр.)

Мальчик все смотрел на девочку, которая упала, приостановился около нее, открыл было рот, но не решился и весь покраснел – и лицо и шея; скрипя новыми сапожками, побежал к своим и схватил офицера за руку.

– Отрамился, – сказал офицер.

С другого конца опять сошлись дети. Мальчик остановился против Лизаньки, и она остановилась.

– Как вас зовут? – спросила она.

– Саша!

– Ах, Саша! – сказали и Николенька, и Варенька, и Лизанька, и все засмеялись.

– Мы играем в Сашу, – сказал Николенька.

– А мы играем в воланы, – сказала волшебная девочка.

– Вы в первый раз в театре? – спросила Варенька.

– Нет, мы видели «Корсара», и в цирке два раза были, там клоуны, и «Волшебную флейту» видели и послезавтра с бабушкой поедем.

Вареньке сделалось стыдно.

– «Волшебная флейта» хорошо, должно быть?

– Нет. Цирк лучше всего, всего!

– А вы говорите по-французски?

– Говорим, и по-немецки говорим, и по-аглички учимся.

– А вас как зовут?

Уж по коридору меньше стало ходить народу, мамаша ушла в ложу, и музыка заиграла, а дети все разговаривали.

– Ну, вот и познакомились, теперь пойдете в ложу, – сказала гувернантка.

– Проститесь, поцелуйтесь, – сказал офицер, улыбаясь.

Дети стали целоваться. Только Варенька не успела поцеловаться с волшебным мальчиком, и ей это было досадно. В ложе опять дети смотрели больше друг на друга, чем на балет, и улыбались, как знакомые.

Только скучно было, что гувернантка все сердилась, что измяла платье. Что за дело, уже приехали.

Во втором антракте дети опять сошлись и, схватившись за руки, всё ходили вместе и всё рассказали друг другу. Офицер купил им винограду, и они испачкали все перчатки, всё ели.

– Когда же мы увидимся еще? – спросила Варенька.

– Может быть, в театре, – сказал мальчик, – а вы к нам не можете разве ездить?

– Нет, можем, ежели мамаша захочет, а когда будем большие, тогда уж все будем делать, что хотим, будем ездить к вам.

– Нет, к нам лучше, у нас зала большая.

– А знаете, меня наш знакомый учил, как большим сделаться. Только я не мог. Надо вырвать свой волосок, привязать себе на ночь вокруг шеи или так положить, и ежели он до утра не соскочит, то большой будешь.

Очень было весело. Так было весело, как никогда не было весело.

– Мы будем всегда друзья? – сказал мальчик Вареньке, когда они уходили.

– Всегда, – отвечала Варенька.

10 И то же самое Николенька сказал волшебной девочке. И Лизанька то же сказала девочке.

– Все, все всегда будем друзья! – чтобы сократить дело, сказал Саша, и все остались очень довольны.

После театра дядя пришел пить чай с мамашей, а дети рассказывали ему и няне все, что они видели, и больше рассказывали про детей, чем про театр. Мамаше нездоровилось, и она устала и соскучилась в театре.

– И что ж, хороши дети были? – спросил дядя у Лизаньки.

– Очень хороши, – ответила она.

20 – И вы подружились?

– Очень подружились.

– И тебя полюбили?

– Д-д-да!

– Даром что без зуб?

– И без зуб полюбить можно.

– Разумеется, можно и без зуб, – подтвердила Варенька.

– Они все там влюбились, – сказала гувернантка.

– Да, я влюбилась! – сказала Варенька и замялась.

– Ах ты моя прелесть! – сказала мамаша.

30 Варенька удивилась, что ее за что-то хвалят.

– Хочешь выйти за него замуж?

– Хочу, – сказала она.

– Коли бы ты была большая, то можно бы было, – сказала Лизанька, – а теперь нельзя.

– Разумеется, нельзя. Однако идите спать, дети.

40 Дети перекрестили мать, и она их перекрестила, поцеловались со всеми, кто только был в комнате, и побежали наверх. Покуда они снимали платья и панталоны и покуда молились Богу, они всё думали и говорили о волшебных детях. И долго няня еще не могла их уговорить, они всё переговаривались из своих кроваток. Наконец они затихли, няня поправила лампадку и вышла из комнаты.

– Николенька! – сказала Варенька в полусвете лампадки в спущенной с плеч рубашечке, высовывая из-под полога свою головку.

Николенька вскочил на колени.

– А я хочу видеть во сне Сашу.

– А я Машу, – сказал Николенька.

– А я всех двух, – пропищала Лизанька.

– Вот я пойду мамаше скажу, – слышался голос няни из-за двери.

Дети притихли.

– Лучше всех, всех! – себе в подушку проговорила Варенька.

Ей так виделся Саша с своими черными курчавыми волосами и веселым смехом.

– Ах, кабы я была большая! – Я бы вышла за него замуж. Непременно.

И ей вспомнился волосок, она привстала на локоть и стала дергать, но захватила много волосков, сделала себе больно и вскрикнула.

– Что ты, Варенька? – прошептал Николенька.

– Ничего, прощай! – сказала она.

– Прощай!

Однако два волоска остались у Вареньки между пальцами, она выбрала один подлиннее и попробовала. Он не обходил 20
вокруг шеи. Она связала два и завязала их и легла на подушку.

– А ведь Лизанька и Николенька останутся маленькими, – подумала она, и ей стало страшно. – Ничего, я и им тоже сделаю, возьмем Сашу к себе, и все будем жить вместе, – подумала она и тотчас же заснула.

Вдруг Варенька почувствовала, что она тянется, тянется и не может уже уместиться в кровати. Лизанька и Николенька еще спали. Она проснулась, огляделась, она была большая. Она встала потихоньку, вышла на крыльцо и побежала прямо туда, где жил Саша. Саша еще спал. Она подошла к его кроватке и рассмотрела на 30
его шее тоже связанный волосок, который чуть держался на шее и вот-вот должен был соскочить, она потихоньку поправила волосок.

Вдруг Саша стал растягиваться, растягиваться, расти, расти, так что кроватка затрещала. Какие толстые сделались руки, ноги, усы стали выходить. Саша открыл глаза и посмотрел на Вареньку.

– А, вот сюрприз, – сказал он потягиваясь.

Вареньке стало вдруг стыдно и страшно: и глаза и улыбка Саши были такие странные. У Вареньки потемнело в глазах, она закричала и упала навзничь. Понемногу все прошло, она открыла глаза и увидела свою кроватку, лампадку и няню, которая в платке 40
стояла подле нее и крестила. Она сорвала волосок, перевернулась на другой бок и заснула.

〈СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ〉

В страстную субботу я сидел вечер у приятеля. Мы так заговорились, что и не заметили, как пробило одиннадцать.

– Что ж – ты решительно поедешь, или нет? – спросила, входя, молодая хозяйка дома у моего приятеля.

– Да разве непременно нужно ехать? – отвечал он, улыбаясь.

Я встал и взял шапку.

– Ты куда хочешь ехать? – спросил он. – И непременно поедешь?

10 – Еще бы! В университет, и сейчас иду одеваться. Пожалуйста поедем! Я и Marie обещалась там быть. Ну на что это похоже, такой праздник не встретить в церкви. Надеюсь, даже и вы пойдете в церковь? – прибавила она, обращаясь ко мне несколько насмешливо.

– Нет, я – спать, – отвечал я, – мне и нездоровится, да и...

– Ну, вы как хотите, вы не мой муж, а ты пожалуйста, Сережа...

Я пожал руки двум супругам, надел пальто и вышел на улицу.

20 Проходя через залу и переднюю, я заметил, что полы были вновь натерты, замки вычищены и лакей, подавший мне пальто, напомажен и особенно гладко выбрит. Сапоги его блестели и скрыпели не по-обыкновенному. На улице было темно, мокро и сыро. Фонари чуть светились, освещая только свои мокрые стекла, собаки лаяли за воротами, как и в обыкновенные дни. В домах из-за стор виднелись огни. По изрытым улицам, неровно дребезжа, изредка проезжали то дрожки, то бочки. Пешеходов совсем не было. Даже дворников не видеть было на тротуарах. Сверху сыпался не то таявший снег, не то дождик. Разговор с моим знакомым, который прервала его жена, сильно занимал меня. Я шел скорыми шагами, механически поворачивая из переулка в переулочек, по направлению к дому и не замечал происходившего
30 вокруг меня. На Никитской, у перекрестка, я почти столкнулся

с двумя женщинами, также как и я обходившими лужу. Это уже ко всеобщей, – подумал я, заметив на полусвете фонаря их белые юбки из-под поднятого платья и новые башмаки, особенно осторожно ступавшие по глянцевитым мокрым камням улицы. Пройдя еще немного, мне встретился солдат писарь в новой фуражке и шинели, с женой, шумящей юбками. Так и пахло на меня праздником от этого звука, и особенно вида шелкового платка на голове и другого красного нового носового платка в руке, которой она равномерно раскачивала.

– Вот что зонтик не взяли, Михаил Ефремович, – сказала она. 10

Еще подальше встретились мне два чиновника в шляпах и с зонтиком, потом старик с палочкой. Две дамы с детьми. Несколько дрожек протащилось, ныряя в водяных рытвинах, две кареты, треща рессорами и блестя фонарями, проехали по улице. Дворник без шапки вышел с площадками к столбам тротуара. У Никитского монастыря прижался по стене и на ступенях народ в праздничных одеждах, нищих попадалось много, но они не просили милостыни. Так и веяло от всего готовящейся, собирающейся народной радостью. Я прошел монастырь, повернул по глянцевитому тротуару Александровского сада, все те же торопливые 20 радостные группы встречались мне; и вдруг старое забытое чувство праздника живо воскресло во мне, мне стало завидно этим людям, стало стыдно, что я в шапке, в старом сертуке иду спать, как этот мужик, везущий бочку, без участия в общей радости. Не отдавая себе отчета зачем, я повернул под ворота в Кремль и, отставая и перегоняя толпы народные, а иногда бедных мужиков, странников, монахов, пешеходов, вошел мимо гауптвахты на Кремлевскую площадь. И солдаты на мокрой платформе имели парадный необычайный вид.

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

Глава 1

Много все говорили о будущем освобождении крестьян, и я говорил не меньше других. Понятно, что этот вопрос занимает всех, в особенности же нас, маленьких помещиков, живавших в деревне, родившихся в деревне и любящих свой уголок, как свою маленькую родину. Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его. Хорошо ли, дурно ли, но я не знаю другого чувства родины и не понимаю и не уважаю в другом чувства родины, не вводящего его в любовь и несправедливость.

Вследствие этого чувства, кроме разговоров об освобождении, я еще с 3-го года задумал освобождение в своей Ясной Поляне, и теперь, когда случилось так счастливо, что основания освобождения, изложенные в Рескрипте, сходились совершенно с теми, которые я сам положил себе, я с новым рвением принялся за это дело.

Я уж лет 12 урывками занимался хозяйством, жывал лето, толковал на сходках, но до нынешней весны никогда сам не был в непосредственных отношениях с крестьянами. Всегда между мной и ими была контора, начальство, и я чувствовал себя более или менее бесполезным и лишним членом. С нынешней же весны, приехав в деревню, я убедился, что для новых отношений, установившихся между мной и крестьянами, у меня нет посредников, и я невольно стал с ними лицом к лицу.

Все, что я видел и узнал в продолжение нынешнего лета, кажется мне совершенно новым, несмотря на то, что, я повторяю – я уже не новичок в хозяйстве и в продолжение 12 лет управления именем года проводил в деревне и старался, сколько мог, и умел

Автограф в деревне.

Глава 1. —

Моего кем говорили о су-
 щности освобождения крестьян;
 и я говорил не меньше
 другим. Помню это с по-
 коймъ занимаемъ себя
 в особенности при на-
 значеніи князя князя
 иудейскихъ в деревню, по-
 бывшемъ в деревню и
 свободнымъ свои угодья;
 какъ само напечатанъ
 ладимъ. Тогда свами и с вами
 поговорилъ и много могу
 себя представлять в деревню
 и какъ отъ меня в деревню.
 Тогда свами поговорилъ, и
 поговорилъ свами и свами у.
 свами свами законъ свами
 свами свами свами свами
 свами; но я не буду до
 свами свами свами свами.
 свами свами свами свами.
 свами свами свами свами

узнавать крестьянина. Эти-то наблюдения я здесь и намерен сообщить публике, почти в том порядке, в котором они мне представлялись.

Имение мое нынешней весной находилось в следующем положении. В одном имении 62 тягла, бывшие прежде барщинские, были на оброке, 26 рублей серебром с тягла при пользовании $4 \frac{3}{4}$ десятин пахоти, $\frac{1}{2}$ десятины усадьбы и десятины луга. Сверх того тягло должно было мне выработать 20 бабьих дней в рабочую пору и 5 подвод в Тулу за 17 верст; 4 тягла оставались на барщине.

В другом маленьком имении все 10 тягол были на оброке за 36 рублей серебром с тягла при пользовании 10 десятин пахоти, $\frac{1}{4}$ десятины усадьбы и десятины луга. Барщинская земля предполагалась обрабатываться вольными рабочими. Сарай для помещенья орудий, орудия, лошади уже были готовы. Именем управлял бурмистр, бывший мой вольноотпущенный крестьянин.

3-го апреля я приехал в свою милую Ясную... Хоть я и не молод, но все еще не могу отвыкнуть от преждевременных мечтаний, особенно при переезде на новое место. «Ну, теперь начинается настоящее! Деятельность, аккуратность, стойкость, ласковое изучение. Сад, книги, фортепьяно, все прочь, — соха, борона, записная книга, и деятельность, деятельность, деятельность!»

Первое лицо, встретившее меня, как и всегда, была нянюшка, только что видевшая меня во сне и половину действительно, половину притворно не могущая опомниться от радости; хотя мое присутствие, кроме неудовольствия, ничего ей не могло до-
30 ставить.

— Ну что, Агафья Михайловна, как наши делишки?

— Да ведь вы не любите, батюшка, когда я про свой бок говорю.

— А болит?

— Нет! не болит! — ответила она сердито.

— А чай есть?

— Откуда ж ему быть, вашего не беру. Прикажете чаю или покушать? Максим Иваныч все нездоров.

— Ну, а хозяйство как?

— Да что, Василий старается, кажется, все хлопочет. Только забывчив: намеднись приказывала белого хлеба купить, говорю:
40 граф приедет, — забыл.

— Ну, а работники есть?

– Есть, кажется, да всё жалуются – солдаты, противный народ такой – не слушаются, говорят, а он старается. Да ведь с вольным народом где сладить. – Она вздохнула. – Намедни лошадь что-то...

Она остановилась. Я видел, что она меня приготавливает.

– Ну, это все ничего; а мужики, что?

– Да что, батюшка, мужички Богу за вас молят; им ли не жисть. Намедни у Алексеевой матери была; так и она говорит: Андел небесный.

– Ну, понесла!

10

Я притворился, что мне это было неприятно; а в комнате что-то уж стало веселей.

– Кто там? – окликнул я толстые сапоги, всходившие по лестнице.

– Василий.

Бурмистр, человек лет 27, высокий ростом, уже забирающий начальническую полноту, курчавый и красивый, ежели бы не узкое расстояние глаз и вечное беспокойство их. Василий – один и старший из 7 сыновей самого зажиточного мужика Ермила. Его идеал – толстый приказчик, который был при отце в этом имени, его страх – быть похожим на мужика лапотника. Купец Черемушкин говорит, что Василий настоящий бурмистр, он в Туле с купцами графский интерес соблюдает и свою амбицию соблюдает. Агафья Михайловна говорит, что он уж запутался в словах; то говорит: в мановении ока, а то: кадды – скажет. Василий полагает, что искусство управления разделяется на два отдела: 1-й и главный – составляет искусство встретить барина, проводить его, доложить, не обеспокоить, скрыть неприятность и т. д., и 2-й отдел, заключающий в себе искусство оборотиться так, чтобы все казалось по желанию барина.

20

30

Вследствие этого убеждения, Василий всегда страстно встречает меня. Запыхавшись, с дрожащим голосом и даже, кажется, с слезами на глазах, он бросается к ручке. Это мне неприятно, тем более, что так нейдет к его мужицкой фигуре. Как и обыкновенно, мы потолкались друг с другом, плечом в голову и головой в подбородок, и, как всегда, ему не удалось поцеловать, мне не удалось оттолкнуть его. Когда мы поуспокоились, я стал спрашивать, он стал успокаивать. Все было хорошо, навозу зимнего вывезено 30 десятин, лошади сыты, 2 только истратились, крестьяне оброк заплатили в срок.

40

– Ничего особенного нет?

– Ничего-с, слава Богу. Только нужно вам доложить, – сказал он помолчав, – что молотью не мог окончить, по одной ндравственности (ндравственность значит упрямство) баб. Не выходят повольно, а летних дней и не смей брать.

– Почем ходят? По гривеннику?

– Разве мало? Где ей больше взять. И станешь говорить, не повинуются. Дни большие, говорят.

– Так прибавить 40 копеек.

– Не прикажете ли так посылать, за барщину? Лучше ходят.

10 А расчеты пустые.

– Нет, да вот я посмотрю; сходку вели собрать нынче.

– Завтра не прикажете ли? – нынче не соберешь.

КОММЕНТАРИИ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АРХИВОХРАНИЛИЩА

ГМТ – Государственный музей Л.Н. Толстого. Отдел рукописных фондов (Москва).

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив (Москва).

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Бирюков – Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4 т. Изд. 3-е. М.; Пг., 1923.

Булгаков – Булгаков Ф.И. Граф Л.Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная. СПб.; М., 1886.

Венгеров – Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 65. СПб., 1901. С. 448–457.

В.П. Боткин и И.С. Тургенев. Неизданная переписка – В.П. Боткин и И.С. Тургенев. Неизданная переписка. 1851–1869. М.; Л., 1930.

Гольденвейзер – Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 1959.

Гусев, I, II – Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954; Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957.

Дистерло. Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист – Дистерло Р.А. Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист. Критический очерк. СПб., 1887.

Дневники С.А. Толстой – Толстая С.А. Дневники: В 2 т. М., 1978.

Летописи ГЛМ – Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 9. Письма к А.В. Дружинину (1850–1863). М., 1948.

ЛН – «Литературное наследство», т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. 1–2. М., 1965; т. 90. У Толстого. 1904–1910. «Яснополянские записки» Д.П. Маковского. Кн. 1–4. М., 1979.

Мережковский. Л. Толстой и Достоевский – Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Изд. 2-е. СПб., 1903. Т. 1–2.

Миллер О. Русские писатели после Гоголя – Миллер Орест. Русские писатели после Гоголя. Чтения, речи и статьи. Изд. 3-е, измененное и дополненное. СПб., 1886. Ч. II.

Некрасов – Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений: В 15 т. Л.; СПб., 1981–2000. Художественные произведения: т. 1–10; Письма: т. 11–15. СПб., 1999. Т. 14. Кн. II.

- Описание* – Описание рукописей художественных произведений Л.Н. Толстого / Сост. В.А. Жданов, Э.Е. Зайденшнур, Е.С. Серебровская. Общ. ред. В.А. Жданова. М., 1955.
- Переписка* – Л.Н. Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. Изд. 2-е, доп. / Сост., вступит. статья и примеч. С.А. Розановой. М., 1978.
- Переписка с А.А. Толстой* – Толстовский музей. Том 1. Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой. 1857–1903. СПб., 1911.
- Скабичевский* – Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы. 1848–1890. СПб., 1891.
- Труды ГБЛ* – Труды Публичной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. Вып. III. М., 1934.
- Тургенев* – Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Изд. 2-е. М., 1978.
- Тургенев и круг «Современника»* – Тургенев и круг «Современника». Незданные материалы. 1847–1861. М.; Л., 1930.
- Чуковский К. Люди и книги шестидесятих годов* – Чуковский К. Люди и книги шестидесятих годов. Л., 1934.
- Юб.* – Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1928–1958.

В третий том входят художественные произведения Л.Н. Толстого, напечатанные в 1856–1859 гг.: «Два гусара» (1856), «Утро помещика» (1856), «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» (1856), «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» (1857), «Альберт» (1858), «Три смерти» (1859), «Семейное счастье» (1859). Все они входили в прижизненные издания «Сочинений гр. Л.Н. Толстого» начиная с двухтомника 1864 г., выпущенного Ф. Стелловским, но ни в одном из них Толстой не правил текст. В 1859 г. возник замысел издать книгу, куда бы вошли «Метель», «Два гусара», «Утро помещика», «Разжалованный», «Люцерн», «Альберт», «Юность», «Три смерти» (см. комментарии к «Двум гусарам»). А.В. Дружинин, принимавший вместе с Я.П. Полонским участие в переговорах с гр. А.Г. Кушелевым-Безбородко, писал Толстому 29 марта 1859 г., что Кушелев желал бы издать не «часть сочинений», а «все» (*Переписка*, т. 1, с. 280). Издание не состоялось.

В раздел «Неоконченное» входят: «Роман русского помещика», «Дневник помещика», («Фантастический рассказ»), «Дворянское семейство», «Практический человек», «Дядюшкино благословенье», «Свободная любовь», «Отрывок дневника 1857 года», «Записки мужа», «Он не мог ни уехать, ни оставаться...», («Светлое Христово Воскресенье»), «Лето в деревне», «Сказка о том, как другая девочка Варенька скоро выросла большая».

Когда Толстой, вернувшийся из Севастополя, приступил к продолжению работы над «Романом русского помещика» и повестью «Два гусара», он был уже известным писателем, мастером изображения глубинных тайн души человеческой и «знатоком поэзии военного быта». «Он был встречен в Москве и Петербурге как один из первых русских писателей», как «великая надежда русской литературы» (*Дружинин А.В. Собр. соч.* СПб., 1865. Т. 7. С. 172, 247, 249; *Некрасов*, т. 14(II), с. 31). Четыре журнала – «Современник», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки» и «Русский вестник» – соперничали в стремлении получить право первой публикации его новых сочинений, и все четыре журнала достигли цели. В «Современнике» были напечатаны «Два гусара», «Люцерн», «Альберт», в «Библиотеке для чтения» – «Разжалованный» и «Три смерти»; «Отечественные записки» опубликовали «Утро помещика», «Русский вестник» – «Семейное счастье».

Дневники и письма Толстого этого времени свидетельствуют как о широком круге его литературных связей и знакомств (там встречаются имена И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Н.Г. Чернышевского, А.В. Дружинина, В.П. Боткина, П.В. Анненкова, А.А. Фета, А.И. Герцена, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ю.Ф. Самарина, А.С. Хомякова, Аксаковых и др.), так и о напряженных поисках своей самостоятельной, независимой позиции в литературной и общественной жизни 1850-х годов. «Какого нового направления он хочет?» – спрашивал Некрасов в письме Тургеневу (*Некрасов*, т. 14(II), с. 45). Действительно, Толстой искал новые пути в искусстве. И не всегда современная ему критика могла понять и оценить главный пафос его произведений второй половины 1850-х годов, написанных по-

сле Севастопольских рассказов. Не случайно статья Ап. Григорьева, в которой упоминались эти произведения Толстого, называлась «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой» (Время. 1862. № 1).

Толстому необходимо было художественно освоить ту современную жизнь, которую Крымская война привела в движение, в которой особенно настойчиво требовали решения вопросы, возникшие еще в канун этой войны, и прежде всего крестьянский вопрос. В 1852 г. Толстой задумал «Роман русского помещика», написание которого было на некоторое время прервано. В 1856 г., в преддверии крестьянской реформы, работа над главами из этого романа велась интенсивно и завершилась созданием повести «Утро помещика». Критика увидела в ней отражение личного опыта общения Толстого с крестьянами Ясной Поляны. Автобиографические черты, несомненно, сильны в этом произведении. Вместе с тем совершенно очевидно, что Толстой создал обобщающую картину русской жизни. В «Утре помещика» Толстому удалось сказать о деревне, о мужике новое слово. Как писал Чернышевский, «Толстой с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. Он умеет переселяться в душу поселянина, — его мужик чрезвычайно верен своей натуре» (*Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. М., 1948. Т. 4. С. 682). В отличие от своего героя, «юного помещика» Нехлюдова, не знавшего причины того, почему его «излияния не способны возбуждать доверия» у крепостных, Толстой уже видел истоки недоверия крестьян в «многолетнем попечительном управлении помещиков», в вековой «несправедливости крепости» (запись в дневнике от 28 мая 1856 г.; черновое письмо к Д.Н. Блудову от 7 июня 1856 г.).

Одной из характерных черт эпохи, которую теперь пытался постигнуть Толстой, был, по свидетельству современника, практицизм, меркантилизм. «Меркантильные свойства» все более и более делались «преобладающими свойствами»; «все, не разбирая своих сил и способностей, с жадностью бросились в одну эту сторону» (*Боткин В.П.* Соч. СПб., 1891. Т. 2. С. 252–254). Так писал критик о современной ему эпохе. Толстому-художнику, для того чтобы глубже понять настоящее, необходимо было сопоставить его с прошлым и в этом сопоставлении века нынешнего с веком минувшим выявить их определяющие тенденции. В повести «Два гусара» это сопоставление было художественно разработано в сравнении представителей двух поколений — Турбина-отца и Турбина-сына. В Турбине-младшем, внешне респектабельном, но буднично-меркантильном молодом человеке, Толстой увидел типичного представителя своего времени и писал его «без любви» (запись в дневнике от 16 мая 1856 г.).

В 1857 г., будучи за границей, Толстой создал рассказ «Люцерн». Современной Толстому критикой «Люцерн» был расценен как неприятие цивилизации — под влиянием идей Руссо. В черновых набросках рассказа действительно есть такие слова: «Да, вот она цивилизация. Не смешной вздор говорил Руссо в своей речи о влиянии цивилизации на нравы». С юных лет Толстой увлекался идеями Руссо. Но он увлекался, интересовался идеями и многих других философов, например, идеями Гегеля, о чем сам вспоминал впоследствии в связи с рассказом «Люцерн»: «...Я помню, я приехал с Кавказа в Петербург диким офицером и попал в кружок литераторов. Мне сразу стало ясно, что у Боткина, Анненкова и других есть какая-то своя вера, которой я сначала не понимал. Стоило кому-нибудь из них начать бобé, бобé, бобé, другой, даже не дослушав, сейчас же начинал отвечать ему своими бобé, бобé, бобé. Я и сам заразился этим бобé, бобé... Им у меня попорчен, например, рассказ “Люцерн”, где гармония мира и т. д. А теперь ото всего этого на моих глазах не осталось ничего, точно никогда не бывало. Если и осталось, так разве у историков, там, пожалуй, еще

существует гегельянство с бобé, бобé, бобé» (*ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 78). Примерно о том же в связи с «Люцерном» писал и биограф Толстого Н.Н. Гусев: «Нужно было найти выход, путь разрешения тех противоречий действительности, которые он так мучительно переживал. Этого выхода он не видел, и разрешением противоречий представилась ему на некоторое время давно ему известная гегелевская идея «бесконечной гармонии мира»» (*Гусев*, II, с. 221–222).

Учитывая суждения об отражении идей Гегеля и Руссо в рассказе «Люцерн» и прежде всего суждения самого Толстого, следует в то же время помнить, что с самого начала творческого пути, при всем интересе Толстого к теориям и учениям самых разных мыслителей, от древних времен до современности, он сохранял самобытность мышления, о чем не раз свидетельствуют его дневниковые записи, размышления наедине с собой. «Сколько раз видишь свою бессильность ума – всегда выражающуюся односторонностью, а еще лучше видишь в прошедших мыслителях и деятелях, особенно, когда они дополняют друг друга». «Ум, который я имею и который люблю в других, – тот, когда человек не верит ни одной теории; проводя их дальше, разрушает каждую и, не доканчивая, строит новые» (13 (25) мая и 25 июня (7 июля) 1857 г.). Действительно, уже в «Люцерне» Толстой, «не доканчивая» идеи Руссо и Гегеля, строит новые, в которых предощущаются будущие идеи «Казиков», «Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресения» – жадные мучительные поиски того, что заставляет людей «жаться друг к другу» и отсутствие чего заставляет их «мучить друг друга». Тут и раздумья о смысле жизни, и размышления о соотношении человека и природы, человека и цивилизации, тут и жажда нравственного самосовершенствования – словом, начало того, над чем Толстой бился в течение всей жизни. В незавершенных комедиях середины 1850-х годов начался спор с нигилизмом, который продолжится позднее в «Заряженном семействе», романах «Война и мир» и «Анна Каренина».

В 1859 г., выступая в Обществе любителей российской словесности, Толстой произнес программную речь, в которой критиковал увлечение общества «изобличительной литературой» и защищал литературу, отражающую «вечные общечеловеческие интересы». Но высказанные в этой речи положения нуждаются в комментарии. Отношение Толстого к искусству с самого начала было значительно сложнее, чем это было сформулировано в пылу полемики со сторонниками критического направления, как бы в защиту «чистого искусства». В дневнике, размышляя над теми же проблемами, Толстой писал: «Никакая художественная струя не увольняет от участия в общественной жизни» (14 октября 1856 г.). Да и председательствовавший на заседании Общества А.С. Хомяков в ответной речи справедливо заметил, что в своем творчестве, в рассказе «Три смерти», сам Толстой не смог обойтись без обличения (*Хомяков А.С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 3. С. 418–419*).

Даже в «Альберте», где, пожалуй, в наибольшей степени сказались принципы, провозглашенные Толстым в речи 1859 г., – даже в этой повести писатель не остался им верен до конца. Ее герой, скрипач Альберт, подобно сторонникам «чистого искусства», «любит одно – красоту, единственное несомненное благо в мире». Он живет в мире звуков и заставляет слушателей целиком уйти в него. Но из-за всей этой «красоты», «несомненного блага в мире», всплывает жизненная драма. Альберт – пропащий, и пропащий в конечном счете оттого, что он «бедный артист». Очевидно, что довод противников «чистого искусства» – «как думать о прекрасном, когда становилось больно» – не был чужд и автору «Альберта».

Попытки Делесова покровительствовать Альберту столь же безрезультатны, как стремление Нехлюдова в «Утре помещика» помочь своим крестьянам, как порыв героя «Люцерна» проявить свое доброе отношение к нищему бродячему певцу. Толстой знал из своего жизненного опыта, что такого рода благо-

творительность ничего не дает, нужно что-то еще, что-то иное. И это что-то он пытался найти в простоте и естественности жизни природы и тех, кто ближе всего к ней. Мысль, «зачем он не Илюшка», близка не только его герою Нехлюдову, но и самому Толстому.

В рассказе «Три смерти» тяга к простоте и естественности жизни выступает еще более отчетливо. По словам П.И. Бирюкова, в этом рассказе нашло отражение исповедание веры (*profession de foi*) Толстого (*ЛН*, т. 90, кн. 4, с. 172). В «Трех смертях» проявилась и еще одна особенность творчества раннего Толстого: умение строить повествование не на сюжетном развертывании событий, или, по определению Д.И. Писарева, не на «интересе событий», вследствие чего произведение подчас приобретало нечто общее с поэзией. Видимо, поэтому у критиков Толстого возникали ассоциации с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, а один из первых биографов Толстого Р. Лёвенфельд, отмечая «высоко лирический характер» эпизодов из «Трех смертей», высказал предположение, что они могли бы быть переданы в стихотворной форме.

Но, выделяя лирическое начало в «Трех смертях» и других произведениях Толстого, следует сказать, что в целом характер творчества Толстого 1856–1859 гг. складывался значительно сложнее. В «Двух гусарах» современники увидели такое произведение, «из которого легко сделать два романа» (*Дружинин А.В.* Собр. соч. СПб., 1865. Т. 7. С. 176). И действительно, в этой повести Толстой обратился к эпохе «Пушкиных, Давыдовых и Милорадовичей», которая потом предстанет в незавершенном романе «Декабристы» и в «Войне и мире». В главах «Утра помещика» частично воплотился более широкий замысел «Романа русского помещика». К периоду, когда были написаны «Два гусара» и «Утро помещика», относится и «Семейное счастье», в котором трактовка темы любви, семьи, брака прокладывает путь к роману «Анна Каренина». Словом, творчество Толстого 1856–1859 гг. развивалось на подступах к созданию больших эпических творений.

К 1856 г. относится первый опыт Толстого в драматургии. В «Исповеди» Толстой вспоминал: «Двадцати семи лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего...». Там он провел зиму 1855–1856 гг. и весну до середины мая. Круг литераторов составляли не только изображенные на известной фотографии С.Л. Левицкого И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Д.В. Григорович, А.Н. Островский, А.В. Дружинин, но также Н.А. Некрасов, И.И. Панаев, В.П. Боткин, П.В. Анненков, А.А. Фет, А.Н. Майков, А.Ф. Писемский, И.Ф. Горбунов, В.А. Соллогуб и другие, примкнувшие к «Современнику».

Литературная и театральная жизнь, сосредоточенная преимущественно в столицах, была на подъеме. В конце ноября 1855 г. отмечали 50-летие сценической деятельности великого М.С. Щепкина. Организовать подписку петербургских почитателей на подарок юбиляру и обед предложил Тургенев, у которого поселился только что приехавший из Крыма Толстой, сразу попавший из «вредной... колеи военной жизни», как отметил в дневнике 21 ноября, в необычную для боевого офицера литературно-театральную обстановку.

Драматургический талант Тургенева был в полном расцвете. Для сцены он написал комедии «Где тонко, там и рвется», «Нахлебник», «Холостяк», «Завтрак у предводителя», «Месяц в деревне», «Провинциалка» и др. Об одной из постановок «Завтрака...», увиденной вместе на Александринской сцене, напомнил в письме к Толстому И.А. Гончаров: «Мы сидели рядом и дружно хохотали, глядя на Линскую, Мартынова и Сосницкого, которые дали плоть и кровь этому бледному произведению» (Толстой и о Толстом. М., 1927. Вып. 3. С. 45). Игрой А.Е. Мартынова Толстой был взволнован, когда смотрел в этом же театре драму А.А. Потехина «Чужое добро в прок нейдет».

7 (19) февраля 1856 г. из Москвы в Петербург приехал А.Н. Островский. Сближение с «Современником» открыло новый этап и в его творческой судьбе, и в истории русского театра. В сезон 1855/1856 г. на петербургских сценах можно было увидеть комедии Островского «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Картина семейного счастья», «В чужом пиру похмелье».

Спустя год, в январе 1857 г., в письме к В.П. Боткину Толстой вспомнил свои первые впечатления от первых встреч с драматургом: Островский «был сочен, упруг и силен».

Новая комедия Островского «Не так живи, как хочется» понравилась Толстому сразу и запомнилась на всю жизнь: «Короткая, веселая», – отозвался о ней в 1905 г. (*ЛН*, т. 90, кн. 1, с. 413); и позже: «это его зенит» (*ЛН*, т. 90, кн. 2, с. 388). 9 (21) декабря Толстой читал ее вслух в доме И.С. Тургенева на одном из «отличных раутов» «по случаю болезни хозяина» (*Дружинин А.В. Повести. Дневник*. М., 1986. С. 361). «Особенно удалась ему роль Груни – ее молодое, разудалое веселье и поразившее ее неожиданное горе», – свидетельствовал А.А. Стахович (*Стахович А.А. Клочки воспоминаний / Толстовский ежегодник 1912 г.* М., 1912. С. 28). «Груша в комедии всех пленила», – записал в дневнике Дружинин (*Дружинин А.В. Повести. Дневник*. М., 1986. С. 361).

Насыщенная событиями литературно-театральная жизнь Петербурга подтолкнула Толстого испробовать себя в драматическом роде. Новая сценическая культура, конечно, привлекла его своим вниманием к русскому быту и языку.

Повлиять на ход мыслей о комедии мог и Шекспир. Дружинин, с которым Толстой особенно сблизился, только что перевел «Короля Лира» и в первых числах февраля 1856 г. читал свой перевод «в ареопаге». Он писал В.П. Боткину, хорошо знавшему «знаменитую антипатию Толстого к Шекспиру»: «Толстой покупает себе Шекспира и хочет с ним великим мужем примириться» (Письма к А.В. Дружинину / Ред. и коммент. П.С. Попова // *Летонисис ГЛМ*. С. 45). Действительно, в июле 1856 г., когда Толстой уже работал над задуманной комедией, в его записной книжке появилось помета: «Шекспир».

Большое число незавершенных сочинений 1856–1859 гг., которые сохранились в рукописях, свидетельствует, насколько разнообразна, интенсивна, многопланова была в это время художественная деятельность Толстого. Остается неизвестным перевод сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля»; в дневнике 1 января 1857 г. отмечено (Толстой находился тогда в Петербурге, занятый печатанием «Юности»): «Перевел сказочку Андерсена. За обедом у Боткина прочел ее, она не понравилась». Сказка Андерсена так полюбилась Толстому, что в 1872 г. он обработал ее для «Азбуки», а в 1907 г. включил новый перевод в «Детский круг чтения».

Тексты подготовлены: *И.П. Видуэцкой* («Утро помещика», «Роман русского помещика»), *Л.Н. Кузиной* («Он не мог ни уехать, ни оставаться...»), *М.А. Можаровой* и *М.А. Соколовой* (другие, опубликованные при жизни Толстого, произведения и сочинения в разделе «Неоконченное»). Комментарии составлены: *И.П. Видуэцкой* («Утро помещика» – история создания, «Роман русского помещика»), *Л.Н. Кузиной* («Утро помещика» – отзывы критики, реальный комментарий; «Он не мог ни уехать, ни оставаться...»); *Л.Н. Кузиной* (отзывы критики, реальный комментарий) и *М.А. Соколовой* (история создания) (другие, опубликованные при жизни Толстого произведения), *А.В. Гулиным*, *Л.В. Гладковой* и *М.И. Щербаковой* (другие сочинения в разделе «Неоконченное»). В подготовке тома принимали участие Т.В. Кандыбина, И.И. Попова, Н.И. Романова, И.И. Сизова.

ДВА ГУСАРА

ПОВЕСТЬ

Впервые: Современник. 1856. № 5 (ценз. разр. 30 апреля). С. 5–63, с посвящением сестре: «Посвящается графине М.Н.Толстой». Подпись: Граф Л.Толстой.

Рукописи не сохранились.

Печатается по журналу «Современник» со следующими исправлениями по контексту:

С. 17, строка 8: Михайло Васильич – вместо: Василий Михайлыч.

С. 25, строка 13: зубы – вместо: усы.

С. 30, строки 32–33: Под уголовный подведу! – вместо: Под уголовный поведу!

С. 35, строка 22: узелочек был, видно – вместо: узелочек было видно.

С. 39, строка 18: отвечал Иоган. – вместо: отвечал Иван.

С. 54, строка 24: заставляя – вместо: заставляли.

С. 55, строка 22: не спал – вместо: спал.

С. 55, строка 29: махнув – вместо: махнул.

1

Л.Н. Толстой работал над повестью в марте – апреле 1856 г., находясь в Петербурге. 12 марта в дневнике запись: «Задумал отца и сына». 16 марта заметил в письме к Т.А. Ергольской: «Стараюсь как можно меньше ездить в свет и работать как можно больше» (перевод с фр.); и прибавил по-русски: «И охоты и мыслей много, да не знаю, что выйдет».

Судя по авторской дате в «Современнике», работа была завершена 11 апреля 1856 г. В последующие дни шла подготовка к печати, вносились новые «поправки».

13 апреля Толстой прочел повесть И.С. Тургеневу и на другой день написал сестре М.Н. Толстой: «Он хлопал себя по ляжке и говорил, что прелестно, но, признаюсь, я ему не очень верю. Он слишком легко восторгается». 15 апреля в дневнике отмечено: «Вчера кончил отца и сына». Видимо, в тот же день отправлено письмо Т.А. Ергольской (не датировано): «Вчера окончил небольшой рассказ, который думаю отдать в “Отечественные записки”, и в эту минуту я в том хорошем расположении духа, которое бывает по окончании работы, над которой трудился несколько месяцев» (перевод с фр.).

17 апреля Н.А. Некрасов известил В.П. Боткина: «Толстой написал превосходную повесть “Два гусара”, она уже у меня и будет в 5 № “Современника”».

Милый Толстой! Как журналист я ему обязан в последнее время самыми приятными минутами, да и человек он хороший, а блажь уходится» (*Некрасов*, т. 14, кн. II, с. 15).

19 апреля в дневнике снова упомянута повесть, получившая окончательное заглавие: «Кончил даже поправки отца и сына, которых, по совету Некрасова, назвал “Два гусара” – лучше».

В один из ближайших дней, 20 или 23 апреля, Толстой читал повесть у Д.Н. Блудова. А.Б. Гольденвейзер записал в 1903 г. слова Толстого: «Это был очень интересный дом, где собирались писатели и вообще лучшие люди того времени. Я, помню, читал там в первый раз “Два гусара”» (*Гольденвейзер*, с. 131).

В конце апреля Толстой получил уже корректуру; об этом запись в дневнике 26 апреля: «Вечером додержал корректуру». 13 мая в № 5 «Современника» повесть «Два гусара» вышла в свет (С.-Петербургские ведомости. 1856. 13 мая, № 106. С. 611). Накануне, как отмечено в дневнике, Толстой прочитал повесть в семье А.А. Толстой.

Вслед за журнальной публикацией предпринимались две попытки переиздать повесть.

27 июля 1857 г. Некрасов обратился к Толстому с предложением дать, если он найдет для себя «удобным или выгодным», три повести: «Два гусара», «Метель» и «Утро помещика» в сборники «Для легкого чтения», издававшиеся книгопродавцем А.И. Давыдовым под редакцией Некрасова (*Некрасов*, т. 14, кн. II, с. 85). В 1856 г. в одном из таких сборников был помещен рассказ «Записки маркера» (см. т. 2 наст. изд., с. 331–333), переданный Некрасову в те майские дни, когда «Два гусара» впервые увидели свет. 30 июля 1857 г., вернувшись в Петербург из заграничного путешествия, Толстой в тот же день навестил Некрасова в Петергофе. В сборниках «Для легкого чтения» ни «Два гусара», ни другие повести не печатались. Позднее возник новый замысел.

В 1859 г., находясь в Петербурге, Толстой вел переговоры с Я.П. Полонским и А.В. Дружининым об издании своего сборника, который обещал выпустить гр. Г.А. Кушелев-Безбородко. Сохранилось письмо Толстого Кушелеву от 26 марта 1859 г.: «Из печатанных в журналах моих сочинений есть большая половина, не напечатанная отдельным изданием. Сочинения эти:

- 1) Метель (Современник)
- 2) Два гусара
- 3) Утро помещика (Отечественные записки)
- 4) Встреча с московским знакомым (Библиотека)
- 5) Люцерн (Современник)
- 6) Альберт
- 7) Юность
- 8) Три смерти (Библиотека)

(...) зная, что Вы берете на себя издания некоторых русских авторов, я предлагаю Вашему Сиятельству эти вещи, предоставляя Вам назначить время, форму и условия издания». Письмо было направлено Дружинину для передачи Кушелеву. Судя по письму к Толстому от 29 марта, Дружинин оставил письмо у себя, а через Полонского передал Кушелеву перечень произведений. И просил Полонского уведомить, «в каком положении дело Толстого»: «Он просит скорого ответа, чтобы не упустиť случая по изданию своих повестей, который может в Москве представиться. Пусть Кушелев ответит просто *да* или *нет* и, в случае *да*, войдет с Толстым в сношения об условиях» (*Юб.*, т. 60, с. 282). Издание не осуществилось.

Повесть Толстого обсуждалась в литературных кругах еще до появления в печати. 11 мая 1856 г. В.П. Боткин в письме П.В. Анненкову назвал «Двух гусаров» «прелестью» (П.В. Анненков и его друзья. СПб., 1892. С. 570). Впрочем, несколько дней спустя, видимо, прочитав журнал, высказался не столь однозначно, находя «твердость рисунка» лишь в первой половине: «Старый гусар – полный тип, – но молодой и Лиза далеки от типов» (Голос минувшего. 1916. № 10. С. 94–95). Познакомившись в начале 1856 г. с писательницей Е.А. Ладыженской (псевд. С. Вахновская), видимо, пытаясь проверить свое впечатление от «Двух гусаров», Боткин поинтересовался и ее мнением о повести Толстого. 6 июня, отвечая на его «вопрос относительно “Двух гусаров”», Ладыженская писала о том, что ей эта повесть очень понравилась, что она написана так «просто, как будто нечаянно, бессознательно». «Одному я всегда особенно удивлялась в Толстом, а именно его нравственному чутью в отношении женщины; он всегда немногими словами, но удивительно верно передает самые тонкие, неопределенные оттенки внутренних чувств и впечатлений в женщинах, в которых им и самим трудно было бы отдать себе отчет, как, например, во втором отделении рассказа, этот намек на смутные чувства, которые волновали Лизанью перед свиданием с гусарами: “Она не столько желала их видеть, сколько боялась какого-то волнующего счастья, которое, как ей казалось, ожидало ее”» (ГМТ. Архив В.П. Боткина).

Интерес критики повесть «Два гусара» пробудила сразу же после ее появления в печати. 24 мая Некрасов просил Тургенева сказать Толстому, что «его последняя повесть нравится, – мы с (Ег.П.) Ковал(евским) слышали много хороших о ней отзывов» (Некрасов, т. 14, кн. II, с. 17). В «Литературных заметках», помещенных в «Московских ведомостях» (19 мая 1856 г., № 60), «Два гусара» были определены как произведение, «далеко выходящее из ряда обыкновенных беллетристических». В «С.-Петербургских ведомостях» (29 мая 1856 г., № 118) в заметке «Русская литература. “Два гусара”, повесть графа Л.Н. Толстого» критик Вл. Зотов особое внимание обратил на то, что автором повести «непривлекательные картины “доброе старое время” подмечены и изображены мастерски».

В № 12 «Современника» за 1856 г. появилась статья Н.Г. Чернышевского «Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. СПб., 1856. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого. СПб., 1856», где определены основные черты таланта Толстого: «чистота нравственного чувства» и открытия в области изображения «диалектики души». Приведя большой фрагмент из заключительной сцены повести «Два гусара», Чернышевский предварил его словами: «Помните ли вы эту чудную фигуру девушки, сидящей у окна ночью, помните ли, как бьется ее сердце, как сладко томится ее грудь предчувствием любви?» (отд. III, с. 63).

В «Заметках о журналах» за декабрь 1856 г. содержание «Двух гусаров» определено Чернышевским как «изображение нравов (...) общества в различные эпохи» (Современник. 1857. № 1. Отд. V. С. 167).

В 9-м номере «Библиотеки для чтения» за 1856 г. была напечатана статья А.В. Дружинина «“Метель” – “Два гусара”. Повести графа Л.Н. Толстого», где, в свете своей эстетической концепции, критик рассматривал повесть «Два гусара» как произведение «бессознательного представителя»; «теории свободного творчества»: «Для него как будто не существовало прошлого; все мелкие грешки нашей словесности: ее обществственный сентиментализм, ее робость перед новыми путя-

ми, ее одностороннее стремление к отрицательному направлению, наконец, остатки старого дидактического педантизма, отнявшие столько силы у наших современных деятелей, – нимало не отразились на таланте нового повествователя». Дружинин особенно подчеркивал, что основная мысль повести «Два гусара» – это мысль независимого художника, свободного от пристрастия к дидактике, морализированию, преднамеренному поучению. Толстой, по мысли Дружинина, нисколько не претендовал на роль учителя или обличителя современных слабостей, не бичевал в лице молодого Турбина никаких современных пороков. Тем не менее, замечал критик, художественный результат такого «беспристрастного» творчества необыкновенно ясен: «Сухость сердца, великая язва поколений нашего, никогда еще не была воплощена в нашей легкой литературе так сильно и так отчетливо», как в повести «Два гусара», состоящей из двух частей, двух отделений, «из которых легко сделать два романа», так насыщены они событиями, «значительными красотами и страницами крайне поэтическими».

Дружинин обратил внимание и на необычайное разнообразие художественных средств Толстого: «Грустный реализм “Маркёра” совершенно несходен с тонкой прелестью “Набега”, “Метель” не имеет почти ничего общего с “Двумя гусарами”». «Метель» и «Два гусара» действительно как будто написаны двумя разными лицами. Одна вещь полна тонкой, почти неуловимой поэзии; вторая есть не что иное, как ряд мастерски набросанных сцен самого оживленного содержания» (отд. V, с. 6, 7, 9–10, 20–21, 27).

В конце 50-х годов отзывы критики о «Двух гусарах» были довольно лаконичны. В «Сыне отечества», в «Очерке истории русской словесности в 1856 году», повесть Толстого была причислена к лучшим беллетристическим произведениям, опубликованным в «Современнике» за этот год (Сын отечества. 1857, 27 января. № 4. С. 91).

В 1858 г. в «Библиотеке для чтения» в разделе «Литературная летопись» сцена из «Двух гусаров» – с молодым человеком, проигравшим казенные деньги, – была названа «поразительной по своей психологической верности» (Библиотека для чтения. 1858. № 1. С. 39–40, 43). В следующем 1859 г. в статье Ап. Григорьева «И.С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа “Дворянское гнездо”» упоминался «прелестный, самобытный, объективно-идеальный женский образ» из второй части «Двух гусаров» (Русское слово. 1859. № 8. «Критика». С. 39).

Но уже в 1862 г. появилась большая статья Ап. Григорьева, посвященная литературной деятельности Л. Толстого, где «Двум гусарам» отведено значительное место. Статья вышла в журнале «Время» (№ 9, отд. II) под названием «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Статья вторая. Литературная деятельность графа Л. Толстого».

«В “Двух гусарах”, – писал Ап. Григорьев, – автор видимо увлекается старым гусаром с его энергическим буйством и размашистой удалью, в противоположность гусару новых времен с его мелочностью и пошлостью». Но не это противопоставление двух поколений особенно занимало критика. В «Двух гусарах» он увидел дальнейшее развитие особенностей толстовского психологического анализа: «анализ продолжает свое дело». Вместе с «Альбертом», «Люцерном», «Семейным счастьем» эта повесть Толстого, писал Ап. Григорьев, является собой прямо не только логическое, но и органическое продолжение и развитие того беспощадного психологического анализа, который так поразил всех в его предшествующих произведениях, – анализа «необыкновенно нового и смелого, анализа таких душевных движений, которых никто еще не анализировал» (с. 1–4, 26).

Итак, определяющим в высказываниях критиков 50–60-х годов было мнение о новаторстве Толстого в изображении всех тайн душевной жизни человека. И повесть «Два гусара» называлась среди тех произведений, которые подтверждали наблюдения и выводы относительно свежести и новизны толстовского психологического анализа.

Но встречались и неодобрительные суждения о повести Толстого. Об этом свидетельствует прежде всего запись в дневнике самого писателя: «Одни говорят, что ругают, другие говорят, больше литераторы, что гусаров хвалят» (запись от 18 мая 1856 г.). В одной из следующих записей – от 26 мая 1856 г. – Толстой несколько дополнил приведенную выше: «Был у Сушкова, который изъясил мне неудовольствие за “гусаров”». Н.В. Сушков, автор нескольких пьес и стихотворного сборника «Книга печалей» (М., 1855), «литератор старого времени», как называл его П. Щербальский в посвященной ему книге, которая так и озаглавлена «Литератор старого времени» (М., 1871), был далек от тех художественных открытий, которые несло в себе творчество Толстого.

По иным причинам не воспринял повести Толстого М.Е. Салтыков-Щедрин, тогда тоже, как и Толстой, начинающий писатель: слишком различно было их поэтическое credo. В доцензурной редакции статьи «Стихотворения Кольцова» 1856 г. есть не открытый, но очень прозрачный выпад против повести Толстого, рассказывающей о «превосходстве одного корнета перед другим». В «Двух гусарах» Салтыков увидел лишь «отчуждение от современных интересов» (*Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1966. Т. 5. С. 12).

Рецензент «Сына отечества» с неодобрением отмечал в «Двух гусарах» идеализацию Турбина-отца в духе Марлинского (Сын отечества. 1856, 1 июля. № 13. «Журналистика». С. 16–17). Очень сдержанную оценку получила повесть «Два гусара» у К.С. Аксакова. Высоко ставя Толстого как писателя, чьи сочинения «отличаются наглядностью живою, прямым отношением к предмету, уважением жизни и стремлением восстановить ее в искусстве во всей правде», Аксаков относил повесть «Два гусара» не к самым удачным произведениям ее автора (Русская беседа. 1857. I. Кн. 5. «Обозрение современной литературы». С. 33–34).

При всем несовпадении различных оценок и интерпретаций преобладало безусловно самое доброжелательное отношение к повести «Два гусара». Эта повесть не была забыта критикой и тогда, когда уже появилась «Война и мир». Н.Н. Страхов в статье о «Войне и мире» вспоминал оценку, данную «Двум гусарам» Ап. Григорьевым, цитировал высказывание критика о том, что повесть эта развивает особенности психологического анализа, открытые Толстым в более ранних его произведениях («“Война и мир”». Сочинение графа Л.Н. Толстого. Томы I, II, III и IV. Издание второе. Москва. 1868. Статья вторая и последняя» – Заря. 1869. № 2. «Критика». С. 240–241).

В 1875 г. появился французский перевод «Двух гусаров» с предисловием И.С. Тургенева, где об авторе повести, публикуемой в «Temps», сказано как об «одном из самых замечательных писателей новой русской литературной школы, той школы, которая исходит от Пушкина и Гоголя». «Этот рассказ, – писал Тургенев, – дает довольно точное понятие о манере графа Льва Толстого. Он также принадлежит к великому реалистическому потоку, который в настоящее время господствует повсюду в литературе и искусствах, но у него есть оттенки и тон, собственно ему принадлежащие» (*Le Temps*. 1875. № 5047. 10 février. P. 1; в русском переводе: Московские ведомости. 1875. 5(17) февраля. № 34. Ср.: *Тургенев*, т. 10, с. 355–356).

В 1887 г. появилась книга Р.А. Дистерло «Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист», в которой автор расценивал повесть «Два гусара» как произведе-

ние «с преобладающим бытовым интересом». «Это своего рода “Два поколения”, или “Отцы и дети”. Только, изображая свои два поколения, граф Толстой имеет в виду не идеи или общественные aspirations, а просто характеры» (с. 73). Сопоставляя характеры двух гусаров, писал Р. Дистерло, «автор вызывает на сравнение и оценку их, и вы чувствуете, как симпатия ваша невольно склоняется в сторону Турбина-отца, несмотря на то, что даже и не особенно строгая мораль нашла бы в нем немало пороков» (там же). «Не польстил автор “отцам”, но по сердцу, по натуре человека их время представляется нам все же лучшим, чем более цивилизованное время “детей”. С этой точки зрения и в настоящей повести можно подметить тот же мотив, что и в “Люцерне”» (с. 75).

В 1886 г. журнал «Новь» (№ 8–12) поместил цикл статей историка литературы и журналиста Ф.И. Булгакова, которые вышли в том же году отдельным изданием. Приведя высказывания своих предшественников, Булгаков выразил и свое мнение, резюмирующе-краткое: «Толстой в повести “Два гусара” с небывалой до него силой и правдой охарактеризовал в молодом Турбине сухость сердца как великую язву молодежи конца сороковых годов». Такие отрицательные типы, заключал Булгаков, должны были «свидетельствовать об уродливостях жизни, лишенной смысла и правды, жизни, от которой следовало отречься человеку, искавшему совершенствования и разумной цели» (*Булгаков Ф.И.* Граф Л.Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная. СПб.; М., 1886, с. 49).

Об «уродливостях жизни», изображенной в «Двух гусарах», писал и А.М. Скабичевский в «Истории новейшей русской литературы. 1848–1890». (СПб., 1891). Повесть «Два гусара» Скабичевский назвал «мрачной по своему содержанию», так как она представляет «страшное нравственное вырождение в дворянской среде, какое особенно сильно проявилось в течение тридцатых и сороковых годов» (с. 169).

О противопоставлении поколений в «Двух гусарах» писал и биограф Толстого П.И. Бирюков: «В “Двух гусарах” изображены два поколения: старое, кутящее напропалую, но цельное, искреннее и потому живое и стихийно гармоничное, и рядом поколение молодое – развратное в своей сдержанности, расчетливости и лицемерии. Стихийная гармония нарушена, а гармония сознательная еще не найдена, и звучит страшный диссонанс души, испорченной пороком» (*Бирюков*, т. 1, с. 236).

Под другим углом зрения рассмотрел повесть Толстого «Два гусара» П.Е. Астафьев в книге «Учение графа Л.Н. Толстого в его целом» (М., 1890). Сопоставляя Толстого и Достоевского и ссылаясь в подтверждение своих соображений на «Двух гусаров», Астафьев приходил к заключению: «В противоположность Ф.М. Достоевскому, у которого всякое, даже ничтожнейшее действующее лицо есть резко-определенная, живущая *своей* богатой внутренней жизнью личностью, графу Л. Толстому особенно удается изображение именно лиц мало-характерных, живущих жизнью *своей среды*, более или менее стихийных» (с. 39).

В книге «Русский роман и русское общество» (СПб., 1897), касаясь содержания «Двух гусаров», К. Головин особенно выделил Турбина-отца, назвав его одним из самых ярких толстовских героев и вместе с тем одним из редких его созданий, «до некоторой степени окрашенных романтизмом» (с. 140–141).

С точки зрения свободного отношения к сюжету, умелого использования светотеневой оценки «Двух гусаров» С. Венгеров. «“Два гусара”, – писал он, – дают чрезвычайно колоритную картинку былого и написаны с тою свободой отношения к сюжету, которая присуща только большим талантам. Легко было

власть в идеализацию прежнего гусарства при том обаянии, которое свойственно старшему Ильину (Турбину) – но Толстой снабдил лихого гусара именно тем количеством теневых сторон, которые бывают в действительности и у обаятельных людей – и эпический оттенок стерт, осталась реальная правда» (*Венгеров*, с. 452–453).

Умелое использование светотеней помогает Толстому в создании образа Турбина-старшего. Но это же умелое владение искусством светотеней сказало и в изображении Турбина-младшего. «Как бы ни были дурны его отдельные персонажи, он их не губит», – писал Ю. Айхенвальд о Турбине-сыне. Это ему «лунная ночь принесла (...) “свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви... Боже, какая ночь, какая чудная ночь! – думал граф, вдыхая в себя пахучую свежесть сада. – Чего-то жаль. Как будто недоволен и собой, и другими, и всею жизнью недоволен. А славная, милая девочка”» (*Айхенвальд Ю.* Силуэты русских писателей. М., 1908. Вып. II. С. 120, 121).

Критерий, с которым отнесся В. Вересаев к оценке героев «Двух гусаров» – «живая жизнь», «сила жизни», и вывод, к которому он пришел, были сформулированы предельно отчетливо: «У Турбина-старшего есть жизнь, у Турбина-младшего – пошлость и мертвечина». «Вот история “Двух гусаров”, – отца и сына. Граф Турбин-старший – кутила, мот, скандалист и дуэлянт. Но все, что он делает, горит жизнью. Кулит ли он с цыганками, расправляется ли с шулером, обыгравшим его товарища, – во всем он живет безудержно и самозабвенно. (...) Граф Турбин-младший – благоразумный, расчетливый и предусмотрительный молодой человек; из всего он умеет аккуратно и старательно извлекать приятное для себя удовольствие. (...) У обоих одинаково – мгновенно вспыхнувшее увлечение хорошенькими женщинами, оба с одинаково дерзостью стремятся к цели. Но Турбин-старший *живет* своею страстью, – и происходит что-то единственное, особенное, чего нельзя назвать определенным словом и к чему нельзя подойти с определенной меркою. У Турбина же младшего – холодный, спокойный расчет на “удовольствие”, пошлостное слово “интрижка” совершенно покрывает пошлую цель его стремлений, – и получается мертвая гадость» (*Вересаев В.* И да здравствует весь мир! О Льве Толстом // Современный мир. 1910. № 10. С. 204–205).

В конце жизни В.В. Стасов, перечитывая «прежние вещи» Толстого, «смакуя их слово за словом», так читал и «Двух гусаров» (Лев Толстой и В.В. Стасов. Переписка 1878–1906. Л., 1929. С. 292).

В контексте всего творчества Толстого видел «Двух гусаров» В.В. Розанов (Толстой в литературе) // Новое время. 1910, 9 ноября. № 1245): «От колыбели до гроба, от царя до крестьянина, от сподвижников Александра I до тревожных начала XX века все живет, дышит, говорит, думает в его великих созданиях. Это – целая культура. (...) “Война и мир” – главный корпус этой обширной, сложной и разнообразной постройки; к нему прибавлялись флигеля, этажи. В “Анне Карениной”, “Власти тьмы”, “Плодах просвещения”, “Воскресении”, – раньше в “Очерках Севастополя”, “Детстве и отрочестве”, “Казаках”, “Двух гусарах” и других мелких рассказах – дана история русского общества, всех ярусов, всех классов, за целое столетие, от первых его лет и до последних. Вот эта-то история общества и предлежит нашему изучению. На ней мы можем воспитаться в самосознании. Никто так обширно не творил, как он: около его картин создания других наших поэтов и художников являются картинками, рисуночками, лишь там и здесь дополняющими великую эпопею Толстого».

Появлялись отклики на «Двух гусаров» и в зарубежной критике.

Чарльз Эдвард Тёрнер попытался представить портрет Турбина-младшего в перспективе дальнейшего творчества Толстого. И более полный, более за-

конченный этот портрет он увидел в романе «Анна Каренина» – в облике Вронского (*Turner Charles Edward. Count Tolstoi as novelist and thinker. London, 1888. P. 101*).

Евгению Цабелю казалось необходимым особенно подчеркнуть автобиографический, дневниковый характер повести Толстого, хотя изложение этой точки зрения не подкреплялось толстовскими дневниковыми записями, а скорее строилось как предположение: «Он сам видел и хорошо знает, как жили в доброе старое время, как беспутничали и кутили тогда, и поведал нам об этом в рассказе “Два гусара”, – в рассказе, который гораздо скорее можно назвать воспоминаниями из пережитого, чем законченной повестью: мы не удивились бы, если бы оказалось, что рассказ этот целиком взят из дневника, где отдельные переживаемые впечатления связаны друг с другом только случайно» (*L.N. Tolstoi von Eugen Zabel. Leipzig, Berlin; Wien, 1901. S. 25–26; Цабель Евгений. Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк. Перевод с немецкого. Киев, 1903. С. 43*).

Эдвард Стейнер в противопоставлении отца и сына в «Двух гусарах» увидел изображение тех предварительно намеченных писателем двух жизненных позиций, над которыми он постоянно размышлял впоследствии – и в творчестве и в жизни. Причем с большей симпатией Стейнер воспринимал Турбина-сына, вступая в противоречие с замыслом Толстого, который «второго гусара», Турбина-младшего, судя по записи в дневнике от 16 мая 1856 г., писал «без любви» (*Steiner Edward. Tolstoy the man. New York, 1904. P. 97*).

Э. Моод назвал «Двух гусаров» единственной в своем роде в творчестве Толстого повестью, написанной в манере, близкой к художественной манере ирландского писателя Чарльза Джеймса Ливера, которому был свойствен диккенсовский юмор (*The Life of Tolstoy. First fifty years. By Aylmer Maude. London, 1908. P. 157–158*).

Предельно кратко, просто и ярко отозвалась о повести Толстого Жорж Санд: «Вещь эта сама по себе шедевр» (Тургеневский сборник. 1921. II. С. 122).

При жизни Толстого повесть «Два гусара» неоднократно была переведена на иностранные языки.

В 1875 г. перевод повести на французский язык был сделан Шарлем Роллина (Charles Rollinat), отредактирован И.С. Тургеневым и с его предисловием появился в печати (см. выше). Толстой в письме к П.В. Анненкову 21 февраля 1875 г. назвал этот перевод «превосходным». В 1886 г. отдельным изданием на французском языке «Два гусара» вышли в переводе И. Гальперина-Каминского: *Deux générations. Trad. de E. Halpérine-Kaminsky. In: Deux générations. Paris, 1886*. Переиздано в 1886 и 1887 г. В переводе Бинштока (J.W. Bienstock) повесть была включена в 4-й том (Paris, 1903) собрания сочинений, издававшегося под наблюдением П.И. Бирюкова.

В 1886 г. «Два гусара» были переведены на немецкий язык В.П. Граффом: *Zwei Husaren. Übers. v. W.P. Graff. In: Kleine Erzählungen und Kriegsbilder. Berlin, 1886*. Затем издания повести выходили в 1888, 1891, 1897, 1901–1903 гг. (переводчики – А. Hauff, Н. Roskoschny, R. Löwenfeld).

В 1887 г. перевод «Двух гусаров» на английский язык был осуществлен Н.Х. Доулом и опубликован в Нью-Йорке и Лондоне: *Two hussars. Transl. by N.H. Dole. In: A Russian proprietor and other stories. New York, 1887; A Russian proprietor and other stories. London, 1887*. В том же переводе: *Complete works. Vol. 11. A Russian proprietor. New York, 1899*. В переводе Э. Моода «Два гусара» были изданы в Лондоне в 1901, 1903, 1905 гг., в переводе К. Гарнетт – в 1902 г., в переводе Л.С. Винера – в 1904 г.

В 1887 г. появились два издания повести Толстого на шведском языке: *Två generationer*. In: *Bilder ur ryska samhällslivet*. Stockholm, 1887; *Två husarer*. Övers. av A.E.G. Helsingfors, Edlund, 1887.

В 1888 г. «Два гусара» вышли на датском языке: *Fader og søn*. Overs. af W. Gerstenberg. In: *Udvalgte fortællinger*. Kjøbenhavn, 1888. В том же переводе повесть была напечатана в 1906 г.

В 1889 г. повесть Толстого была напечатана на чешском языке: *Dva husaři*. Prel. P. Durdík. In: *Spisy*. Sv. I. Praha, 1889; в 1892 г. – на испанском языке: *Dos generaciones*. Madrid, *La España moderna*, 1892; в 1902 г. – на итальянском языке: *Usseri*. – *Un incontro al Caucaso*. Trad. di P. Ottolini. Milano, *Sonzogno*, 1902; в 1906 г. – на португальском языке: *Os cavalleiros da guarda*. In: *Os cavalleiros da guarda*. Lisboa, 1906; в 1908 г. – на голландском языке: *Twee huzaren*. Amsterdam, *Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur*, 1908.

Толстой не был равнодушен к качеству переводов его произведений на иностранные языки, о чем свидетельствует и приведенное выше его письмо к П.В. Анненкову о переводе Шарля Роллина, отредактированном Тургеневым, и письмо к Э. Мооду от 23 декабря 1901 г. Получив от Моода первый том издания «*Sevastopol and other military tales*» (London, 1901; переводчики – Луиза и Эйльмер Моод), Толстой писал, что ему «необыкновенно понравилась (...) и издание, и примечания, и, главное, перевод, и еще главное, добросовестность, с которой это все сделано». «Я открыл случайно на “Двух гусарах”, – продолжал Толстой, – и дочел до конца, точно новое что-то и написанное по-английски».

С. 7. ... *Жомини да Жомини*. // *А об водке ни полслова...* – Толстой в качестве эпиграфа приводит строки из стихотворения Д. Давыдова, в котором противопоставлены друг другу старое и новое поколение гусаров. В этом стихотворении очевидно сочувствие Д. Давыдова гусарам «минувших лет», бесстрашным рубакам и веселым повесам, которые не лишены привлекательных черт: удалства, презрения к светским условностям. Вместе со своим «старым гусаром» поэт недоумевает:

Говорят: умней они...
Но что слышим от любого?
Жомини да Жомини!
А об водке – ни полслова!
(«Песня старого гусара»)

Жомини (Jomini) Антуан Анри (Генрих Вениаминович) (1779–1869) – военный теоретик и историк, обобщивший опыт наполеоновских войн. В 1804–1813 гг. служил во французской армии; с 1813 г. был на русской службе. ...*дамы-камеши...* – женщины легкого поведения У истоков понятия «дамы-камеши» – роман французского писателя А. Дюма-сына «*Дама с камелиями*» (1848), а затем написанная по мотивам этого романа драма (1852).

...*в те наивные времена, когда, из Москвы выезжая в Петербург... ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики...* – Толстой отметил те приметы времени – первой трети XIX в., «времен Давыдовых, Пушкиных», – которые отмечали и современники. Хотя петербургско-московский тракт был главным трактом России, каждый раз, отправляясь в путешествие, нужно было запастись терпением. Вот как описывал Пушкин свою поездку из Москвы в Петербург: «...рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург».

полумертвый» (Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1962. Т. 6. С. 378. – «Путешествие из Москвы в Петербург»). Для отдыха и смены лошадей останавливались в Торжке, где особенной популярностью пользовались гостиница Пожарского и поварское искусство хозяйки. Ее «пожарские» котлеты быстро завоевали признание путешествовавших и заезжавших в гостиницу. Об этом уже в шутовой форме писал Пушкин С.А. Соболевскому:

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке.
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.

Крупной почтовой станцией был и Валдай (на Новгородской земле), слававшийся колокольчиками («дар Валдая») и баранками. В том же шутовом послании Пушкина к Соболевскому есть и такие строки:

У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай.

...времена мasonicких лож, мартинистов, тугендбунда... – Мasonicкие ложи, тайные организации участников религиозно-этического движения, возникли в начале XVIII в. в Англии и затем распространились во многих странах мира, в том числе и в России. Свою символику (молоток, наугольник и т. д.), организацию (объединение в ложи) и название (от фр. francs-maçons) масоны, или франкмасоны заимствовали от средневековых цехов строителей-каменщиков: каменщики строили храмы, масоны стремились построить невещественный храм всечеловеческого счастья. Мasonicство в России было связано с декабристским движением и запрещено в 1822 г.

Мартинисты – мистическая секта, основанная в XVIII в. Мартинесом Паскалисом. С его учением были мало знакомы в России. Зато здесь громкую известность получил его ученик Сен-Мартен и его теософская книга «О заблуждениях и истине» («Des Erreurs et de la Vérité»), переведенная на русский язык в 1785 г. Эта книга получила широкое распространение среди русских масонов, которых и называли «мартинистами».

Тугендбунд (нем. Tugendbund) – тайное политическое общество, основанное в 1808 г. в Кёнигсберге в эпоху французской оккупации Германии. Целью своей Тугендбунд поставил борьбу с упадком национального духа и тайную подготовку отпора завоевателю. Был официально закрыт по требованию Наполеона. Однако нелегально Тугендбунд продолжал существовать. В 1812 г. его члены перехватывали французских курьеров и публиковали подпольные бюллетени о поражениях французской армии. После окончания наполеоновских войн Тугендбунд пытался перейти на оппозиционный путь (борьба против меттерниховского режима, поддержка конституционных устремлений), но постепенно распался окончательно. Тугендбунд имел влияние в России эпохи Александра I в среде декабристов.

...в губернском городе... кончались дворянские выборы. – Раз в три года собиралось Дворянское собрание, избиравшее предводителя дворянства, решавшее дворянские и общестественные дела.

С. 8. *...фамилия гусара была граф Турбин...* – Существуют разные предположения о том, кто послужил прототипом героя повести «Два гусара» – Турбина

старшего. Б. Садовской в статье о Д. Давыдове писал, что этот «певец-гусар», «много лет спустя» после своей смерти, был вновь воскрешен Толстым в «Двух гусарах». Напомнив сцену поездки Турбина к цыганам, сцену песен и плясок цыган из хора «Илюшки», автор статьи приводил в параллель строки из «Гусарской исповеди» Д. Давыдова:

Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех,
И дым столбом от трубочной *затяжки!*

Конкретным прототипом Турбина Б. Садовской считал друга Д. Давыдова, «кутилу-гусара» Бурцова. При этом Садовской пояснял: «Непростительной исторической близорукостью было бы видеть в пьянстве и молодечестве Бурцовых и Турбиных одно безобразие и пошлость. Необходимо вдуматься сперва в дух эпохи. Лихой гусар, по понятиям того времени, должен был прежде всего быть “молодцом”, то есть кутилой и забиякой. Эти качества были для него такою же обязательною внешностью, как мундир и шпоры. Но когда дело касалось строгих понятий о чести, особенно по отношению к женщине, беспечный кутила оказывался безупречным рыцарем» (Садовской Борис. Русская камена. М., 1910. С. 32–33).

Другим прототипом Турбина называли двоюродного дядю Льва Толстого – Федора Ивановича Толстого (1782–1846), прозванного «Американцем». «Турбин, – писал С.Л. Толстой, – такой же, как и Ф.И. Толстой – бретер, кутила, любитель цыганского пения и такой же недобросовестный игрок. У него так же, как у американца Толстого, курчавые волосы, блестящие живые глаза, громкий голос, даже то же имя и отчество; его проделки в том же роде; он так же, – вспоминал С.Л. Толстой слова отца о Федоре-Американце, – “красив, привлекателен и преступен”» (Юб., т. 3, с. 329; Толстой С.Л. Федор Толстой Американец. М., 1926. С. 89–90).

...огромную серую меделянскую собаку... – Меделянская собака – порода крупных охотничьих собак, происходящих из Северной Италии. Меделянская – от названия города Милана (лат. – Mediolanum).

...в атласном синем архалуке... – Архалук – род короткого кафтана, популярная в первой половине XIX в. мужская верхняя одежда из плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани.

С. 9. ...за ремонтом был. – Ремонт – пополнение убыли лошадей в войсках.

С. 10. ...с ранжевými отворотами... – т. е. с оранжевыми

...лошадь, в лансадах вся... – Лансада (от фр. Lançade) – крутой высокий прыжок верховой лошади.

С. 11. ...кутит больше всех исправник... – Исправник – начальник уездной полиции; избирался Дворянским собранием.

Илюшкин хор цыган... Стешка запекает... – Толстой запечатлел в образах цыган черты известных в начале XIX в. руководителя цыганского хора Ильи Осиповича Соколова (1777–1848) и цыганской певицы из этого хора Степаниды Сидоровны Солдатовой (1784–1822) – «цыгана Ильи», «хоровода знаменитого Ильи» и «Стешки», «Степаниды», «русской Каталани», как их часто называли слушатели.

Молодой Толстой, страстный поклонник цыганского пения, слушал в Москве этот прославленный цыганский хор, возглавленный после смерти Ильи Соколова И.В. Васильевым. О нем писали В.Г. Бенедиктов, М.Н. Загоскин, наблюдательный хроникер художественной жизни С.П. Жихарев. В его «Записках современника», которые печатались в «Москвитянине» начиная с 1853 г., Толстой мог найти первые сведения о хоре, его руководителе, о «Степаниде». Илье Соколову, певцу, гитаристу, собирателю народных песен, принадлежат цыганские «транскрипции»

народных песен: «Хожу ль я по улице», «Гей вы, улане», «Слышишь – разумеешь» («Слышишь ли, мой сердечный друг»). В «Современнике», после того, как в этом журнале были напечатаны «Два гусара», появились строки, содержание которых явно соотносится с повестью: «Так ли веселились в старые годы!.. Да и эти цыгане... помилуйте, неужели эти цыгане похожи на прежних удалых и веселых цыган – на знаменитую Танюшу или Шешку, или на незабвенного и удалого Илью? (...) То ли еще бывало? Какой-нибудь отставной гусар времен давыдовских, с огромными усами и с пурпуровым носом, за одну песню Стеши бросал к ее ногам сто тысяч, которые он сорвал накануне в штос» (Современник. 1857. № 7. С. 82. «Петербургская жизнь. Заметки нового поэта» (И.И. Панаева)).

Уланский корнет – военный чин в легкой кавалерии; числился в 12-м классе Табели о рангах.

Накануне он сел за игру... – Речь идет о старинной азартной карточной игре – банк или штос, которая формально подвергалась запрещению, хотя практически процветала. В книге Ю.М. Лотмана «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)» (СПб., 1994), с приведением примеров из Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, описаны правила этой игры. Играющие пользовались специальной условной терминологией. Они делились на банкомета и понтёра. БанкOMET ставил какую-либо сумму денег («держал банк»), понтёр (мог быть не один игрок) объявлял, на какую сумму или на весь банк (т.е. «ва-банк») он играет. Каждый игрок, получив колоду карт, выбирал из нее одну карту, на которую ставил определенную сумму, «куш». Увеличивая ставку вдвое, понтёр загибал «угол». Перенос ставки на другую карту обозначался термином «транспорт». Одна простая ставка на карту, без «углов», называлась «семпель». Поставить на «руте» значило поставить на ту же карту. БанкOMET раскладывал карты из своей колоды направо и налево – «метал банк». Эти термины используются Толстым при описании карточной игры в первой части повести.

«Как правило, банкOMET и понтёр, – по описанию Ю.М. Лотмана, – располагаются по разные стороны вытянутого прямоугольного стола, покрытого зеленым сукном, которое служит для записи ставок и долгов. На этом же зеленом сукне производятся все расчеты. Перед каждым понтёром лежит мелок, щетка и поставленная им куча монет» (с. 140–151, 163). БанкOMET «мечет банк»; если карта, на которую поставил понтёр, легла «налево» от банкOMETа – она выиграла, если «направо» – проиграла.

В дневнике Толстого 1855 г. есть описание некоторых правил игры в штос и банк (28 января, 10 июля, 29 июля и т. д.).

С. 15. ...*доставал... красненькую или синенькую...* – т. е. десятирублевый или пятирублевый кредитные билеты, называвшиеся так по цвету.

С. 17. ...*я только одну талию...* – Талия – круг карточной игры до окончания колоды у банкOMETа или до срыва банка.

С. 18. ...*заиграли старинный польский «Александр, Елисавета»...* – Речь идет о полонезе, написанном автором многочисленных полонезов и маршей, русским композитором О.А. Козловским на слова Г.Р. Державина по случаю коронации Александра I:

Росскими летит странами
На златых крылах молва,
Солнца нового лучами
Освещается Москва.

Александр, Елисавета!
Восхищаете вы нас.

и т. д.

(Сочинения Державина. СПб., 1808. Ч. II. С. 255–256)

...в ...шитом золотом красном ментике... – Ментик – короткая накидка с меховой опушкой.

С. 19. ...с ней он танцевал и кадрили, и экосес... – Экосез – старинный шотландский народный танец, с конца XVII в. на его основе возник парный бальный танец.

С. 20. ...Он бегал ей за оршатом... – Оршад – прохладительный напиток, приготовлявшийся первоначально из отвара ячменя, позднее из миндального молока с сахаром.

С. 23. ...протанцевали еще гротфатер... – Гротфатер – старинный немецкий танец (от нем. Grobvatер).

С. 24. ...обитых желтым басоном... – Басон – плетеное изделие (шнур, тесьма, бахрома и др.), идущее на украшение одежды, мебели (от фр. passement).

С. 25. ...пой «Дорожку» – Имеется в виду русская народная песня «Не одна ли в поле дороженька», которую пели в хоре Ильи Соколова. См.: Пыляев М.И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 1889, с. 426.

С. 26. «Восстание в Серале» – балет на музыку французского композитора Теодора Франсуа Жозефа Лабара (наст. фамилия Берри).

«Хожу ль я по улице» – См. примеч. к с. 11.

«Эй вы, гусары...» – несколько переименованное название песни «Гей вы, улане» – см. примеч. к с. 11.

«Слышишь, разумеешь...» – См. примеч. к с. 11. В рассказе А.А. Фета «Кактус» встречается эпизод с исполнением этой же песни. Цыганский хор возглавляет не Илья Соколов, а его преемник Иван Васильев, и песню поет другая цыганка Стеша, известная не в начале века, а в более позднее время. Но этот эпизод явно перекликается с комментируемым из «Двух гусаров»: «...вот она взяла несколько аккордов и запела песню, которую я только в первой молодости слыхивал у московских цыган, так как современные петь ее не решались. Песня эта, не выносящая посредственной певицы, известная:

Слышишь ли, разумеешь ли...

Стеша не только запела ее мастерски, но и расположила куплеты так, что только с тех пор самая песня стала для меня понятна, как высокий образчик народной поэзии. Она спела так:

Ах ты злодей, ты злодей,
Добрый молодец.
Во моем ли саду
Соловей поет,
Громко свищет.
Слышишь ли,
Мой сердечный друг?
Разумеешь ли
Жизнь, душа моя?»

С. 27. «Дружбы нежное волнение» – цыганский романс, сочиненный И.В. Васильевым, гитаристом, певцом, композитором, участником цыганского хора И.О. Соколова.

С. 28. ...фаэтон купил бы. – Фаэтон – легкий четырехколесный экипаж с откидным верхом.

С. 33. ...погоня концами вожжей белую шелохвостую клячонку. – Шелохвостая (шилохвостая) клячонка – лошадь с длинным тонким хвостом.

С. 42. ...калетовскую свечу поставь. – Калетовскими назывались стеариновые свечи, изготовленные на заводе, построенном в Москве Каллетом.

...платьице муслин-де-леневое... – Муслин-де-лен (от фр. mousseline de laine) – легкая тонкая ткань, популярная в первой половине XIX в.

С. 44. ... *платье гро-гро*... – Гро-гро – название шелковой плотной ткани.

С. 46. ...*табелькой играть*... – Речь идет об игре в преферанс. Табелька – особый счет в этой коммерческой карточной игре.

... *играть... с мизерами*... – т.е. играть обзавшись не брать ни одной взятки.

...*с тузом и королем бланк*... – Король бланк – термин карточной игры в преферанс; бланка – единственная карта какой-либо масти, находящаяся у одного из игроков.

С. 47. ...*грубых его ошибок в вистованье*. – Вистованье – игра со своим партнером против объявившего игру.

...*обремизилась без трех*... – Обремизиться – в карточной игре проигрывать вследствие ремиза, недобора установленного числа взяток.

УТРО ПОМЕЩИКА

Впервые: Отечественные записки. 1856. № 12. С. 524–572. Подпись: Граф Л.Н. Толстой.

Рукописный фонд составляет 62 листа.

Печатается по тексту «Отечественных записок» со следующими исправлениями:

С. 65, строка 8: Не гутерь – *вместо*: Ну, гутерь (по автографу «Романа русского помещика»).

С. 69, строки 2–3: рождает – *вместо*: рождает (по НР).

С. 69, строка 21: – Как же быть? Я бы рад тебя облегчить, точно – *вместо*: Я бы рад тебя облегчить, точно. Как же быть? (по НР).

С. 75, строки 32–33: посмотрел в зубы. Клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин, стало быть, лошадь молодая. – *вместо*: посмотрел в зубы: клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин: стало быть, лошадь молодая. (по НР).

С. 87, строка 22: Да как им и справным не быть – *вместо*: Да как им исправным не быть (по НР).

С. 92, строка 36: десятки по три – *вместо*: десятка по три (по НР).

С. 101, строка 15: небо с частыми звездами – *вместо*: небо с чистыми звездами (по НР).

1

Повесть «Утро помещика» была создана Толстым на основе рукописей большого незавершенного произведения «Роман русского помещика», начатого в 1852 г. (см. раздел «Неоконченное» в наст. томе). Сохранившаяся наборная рукопись дает представление об этапах преобразования двух незавершенных редакций романа в повесть. Работу над второй редакцией романа Толстой оставил в январе 1854 г. В течение последующих двух лет и девяти месяцев в дневнике и записной книжке появлялись лишь записи отдельных мыслей, относившихся к замыслу романа. Начало нового – третьего этапа работы зафиксировано в дневниковой записи от 11 ноября 1856 г. Толстой находился тогда в Петербурге. Среди других дел, намеченных на завтра, значится: «...приготовить для

переписки Р(оман) р(усского) п(омещика)». Это приготовление заключалось, во-первых, в соединении текстов двух редакций. Начало составили четыре главы второй редакции «Романа русского помещика»; пятая глава («Иван Чурис») и последующие («Его изба» и «Юхванка Мудреный») были взяты из первой редакции. Во-вторых, уже на этом этапе были сделаны сокращения. Составить о них полное представление невозможно, так как в копии, сделанной писцом, не сохранились глава «Деревенская церковь» и начало главы «Князь Дмитрий». Есть и другие пропуски (отсутствуют конец главы «Князь Дмитрий» и начало главы «Его прошедшее»). В главе «Его прошедшее», еще до отдачи рукописи писцу, был изъят французский текст писем Дмитрия и его тетушки и оставлен только их русский перевод.

13 ноября 1856 г. в дневнике Толстого отмечено: «Перечел переписанный Р(оман) р(усского) п(омещика), может выйти хорошая вещь». Скорее всего, здесь речь идет о рукописи второй редакции романа, на обложке которой рукой Толстого написано: «Переписанный “Ром(ан) русс(кого) помещика”». Переписчик, которому Толстой не мог отдать рукопись ранее 12 ноября, едва ли успел бы сделать копию. По-видимому, 13 ноября были сделаны упоминавшиеся выше сокращения французского текста.

Глухая запись в дневнике 16 ноября: «обещал Краевскому» может означать договоренность с редактором «Отечественных записок» о напечатании будущего «Утра помещика» в его журнале.

На следующий день, 17 ноября, Толстой записал в дневнике: «С утра переправлял Р(оман) р(усского) п(омещика), растянуто жестоко. Гимнастика, обедал дома и опять тоже работал до 9 часов». В этой записи речь уже явно идет о работе над копией, сделанной писцом. В сохранившейся части вычеркнутого впоследствии начала рукой Толстого сделан ряд исправлений. Имя Митя исправлено на Дмитрий, Ваня – на Иван. Обращение «тапан» к графине Белорецкой исправлено на «тетушка». Вместо Николеньки стал брат Вася. Проведена стилистическая правка.

Но главная работа состояла в сокращении. В это время было отброшено все начало второй редакции «Романа русского помещика»: наборная рукопись «Утра помещика» начинается с оборванной фразы «N-ой¹ губернии и графиня Белорецкая, вдова брата княгини», сохранившиеся три страницы главы «Князь Дмитрий», сначала выправленные, целиком перечеркнуты. Затем отсутствует еще одна страница, на которой завершалась эта глава и начиналась следующая – «Его прошедшее». Судя по окончательному тексту «Утра помещика» (самое начало первой главки), текст второй редакции «Романа русского помещика» в этом месте подвергся значительной правке или перед отдачей рукописи писцу, или уже в корректуре. Отсутствие страницы не позволяет судить об этом определенно.

Далее вычеркнута вся глава «Ближайший сосед», которая перед этим была исправлена. Таким образом, из текста второй редакции «Романа русского помещика» в «Утро помещика» вошла лишь небольшая часть, составившая первую главку.

18 ноября, судя по записи в дневнике, Толстой читал «Роман русского помещика» В.П. Боткину. «Он дал хорошие советы, говорит – порядочно...» В тот же день в записной книжке заметка: «Мудрен(ого) переменить и Чуриса рассказ о одиночестве уничтожить. Я(кова) совет на поселенье Дав(ыдку). Уничтожить *отцы матери* в Чурисе. Описание лица Ч(уриса) уничтожить».

¹ В рукописи «Романа русского помещика» было Т-й губернии.

19 ноября в дневнике: «С утра ленился приняться. Немного написал Р(оман) р(усского) п(омещика). (...) дома обедал (...) от 9 до 2 работал. Больше половины окончательного текста повести, так как эта условная половина (до прихода Нехлюдова к Давыдке Белому) подверглась очень значительной правке, в особенности главы о Чурисе. Многие из тщательно выправленного затем вычеркивалось большими кусками.

20 ноября: «Встал в 10, написал немного».

21 ноября: «У Боткина весь вечер, прочел Р(оман) р(усского) п(омещика), решительно плохо, но напечатаю. Надо вымарывать».

22 ноября: «Встал в 11. Хотел писать, не шло».

23 ноября: «Встал в 1. Тишкевич помешал, поправил немного, обедал дома. Поправлял». Интересно, что вместо «Поправлял» сначала было «Писал». В этот же день Толстой написал В.В. Арсеньевой: «...я обещал (...) Краевскому в "Отечественные записки", и надо написать это к 1-му декабря (...) Краевскому нейдет на лад; я написал, но сам недоволен, чувствую, что надо переделать, некогда и не в духе, а все-таки работаю».

24 ноября в дневнике: «Встал в 10. Переправил довольно много (...) обедал дома, один целый вечер, читал, работал лениво».

25 ноября: «Поработал утром и перед обедом».

26 ноября: «Встал в 10, писал (...) диктовал У(тро) п(омещика) хорошо...» Эта запись представляет особый интерес. Здесь впервые появляется окончательное название напечатанного произведения. Поиск названия прошел несколько этапов. Первоначальное «Роман русского помещика» было исправлено на «Помещик» с подзаголовком в скобках «Отрывок». Этот вариант, написанный рукой Толстого, сохранился на полях первой страницы наборной рукописи.

Указание Толстого на то, что он диктовал, говорит о создании новых частей текста, а не об исправлении прежнего. Речь в этой записи скорее всего идет о главе XIII окончательного текста, в наборной рукописи она – глава XVI. (К этому времени Толстой уже произвел новую разбивку на главы по сравнению с «Романом русского помещика», сделав ее более дробной и убрав названия глав.) Текст почти всей этой новой главы написан рукой писца с дальнейшей правкой рукой Толстого. Конец главы XIII (XVI) и начало XIV (XVII) Толстой писал уже сам.

На следующий день, 27 ноября, Толстой записал: «Окончил П(омещичье) у(тро)». Возможно, это было не окончательное завершение работы, так как 29 ноября запись об окончании повторяется: «Да, кончил У(тро) п(омещика) и сам отвез к Краевскому (...) Дудышкин и Гончар(ов) слегка похвалили У(тро) п(омещика)».

Вся работа над повестью «Утро помещика» заняла две с половиной недели – с 11 по 29 ноября 1856 г. Сохранившаяся наборная рукопись дает возможность выявить два этапа работы Толстого над произведением. Правка, представленная в наборной рукописи, раскрывает пути переделки «Романа русского помещика» в повесть. Различия же между наборной рукописью и журнальным текстом позволяют судить об исправлениях, сделанных Толстым в корректуре.

Работа шла в трех направлениях: стилистическая правка текста, сокращения, дописывание новых фрагментов и эпизодов.

По-видимому, первое, что Толстой сделал, приступив к переработке рукописи, полученной от писца, – снятие названий глав. В сохранившейся части наборной рукописи вычеркнуты названия «Ближайший сосед», «Иван Чурис»,

«Его изба», «Юханка Мудреный». Вместо них рукой Толстого проставлены номера – IV, V и VI. При дальнейшем сокращении, когда из четырех глав второй редакции «Романа русского помещика» была сделана одна, Толстой зачеркнул цифру V и вместо нее поставил II. Изменение нумерации было проведено по всей рукописи: зачеркнуто: «Глава VI. Его изба» и вместо этого поставлена цифра III¹, цифра IV поставлена на полях вместо зачеркнутой цифры VII, вставленной ранее между строк, то же и с цифрами V вместо VIII, VI вместо IX. Десятый номер был ранее присвоен главе «Юханка Мудреный», она стала седьмой. Анализ этой перенумерации позволяет сделать вывод о том, что Толстой сначала разбил текст на более дробные главы, а уже затем выбросил начало. Прежняя глава шестая «Его изба» была разбита на четыре главки. Всего первоначально было 23 главки. Так и осталось в наборной рукописи. Окончательное изменение нумерации было проведено в корректуре.

При сокращении было целиком исключено лирическое отступление перед эпизодом встречи Нехлюдова с приказчиком. Это обращение автора к читателю в связи с «мужицкой» темой романа Толстой, по-видимому, счел неуместным в повести. Точно так же ранее, в конце эпизода встречи с Чурисом, было исключено размышление князя о судьбе этого мужика, начинавшееся словами «Странный народ и жалкий народ». Причем ранее Толстой провел довольно значительную правку этого текста (см. варианты во второй серии издания, а также конец главы «Его изба» в «Романе русского помещика»). Аналогичный случай в эпизоде с Давыдкой Белым: сначала проведена стилистическая правка, затем вычеркнуто целиком рассуждение о причинах бедственного положения этого мужика, сравнение его судьбы с судьбой человека такого же темперамента из привилегированного сословия, которому материальная обеспеченность позволяет безнаказанно лениться, в то время как лень крестьянина приводит к краху всего хозяйства и гибели близких. Вместо этого на полях вписан совершенно новый текст, содержащий рассуждение Нехлюдова по поводу дальнейшей судьбы Давыдки, начинающееся со слов: «Я не могу видеть его в этом положении» и заканчивающееся словами «приучать к работе и исправлять его» (конец XII главы в напечатанной повести).

При переработке романа в повесть Толстой не только делал сокращения, но и дополнял текст, заменяя выброшенные фрагменты новыми. Поэтому, несмотря на приведенные выше записи в дневнике, отражающие впечатление от собственного произведения («растянуто жестоко») и поставленную задачу: «надо вымарывать», в результате переработки общий объем текста почти не изменился. После того, как была отброшена большая часть второй редакции, т. е. все-таки произведено «вымарывание», шла структурная переработка для создания более цельного произведения.

Первое большое дополнение вписано на полях в самом начале главы о Чурисе (II главка окончательного текста). Вместе с последним абзацем предыдущей главки этот текст составил переход к главам первой редакции «Романа русского помещика». Поскольку были сняты главы «Деревенская церковь» и «Ближайший сосед», в «Утре помещика» Нехлюдов отправляется в обход крестьянских дворов не из церкви, а из дома, «напившись кофею и пробежав главу “Maison rustique”». Это тоже новый штрих, заменивший прежде начало главы: «Подходя к Хабаровке, Дмитрий остановился...» Новое начало в

¹ Переписчик не ставил номера глав, оставляя для них место. Цифры V в главе «Иван Чурис» и VI в главе «Его изба» вписаны Толстым. В названиях глав «Ближайший сосед» и «Юханка Мудреный» номер не проставлен.

процессе создания подверглось большой стилистической правке (см. варианты в т. 20 второй серии издания).

Также на полях вписано новое начало XV главы (в окончательном тексте). В копии, сделанной переписчиком, глава начиналась словами: «Что я с ним буду делать, отец?» Немного дальше монолог Арины значительно расширен за счет вставки, начинающейся со слов «Веришь ли, батюшка...» и до слов «ума не приложу, отчего он такой». Вероятно, об этой значительной переработке эпизода в избе Давыдки Белого Толстой записал в дневнике 24 ноября: «Переправил довольно много».

С XVI главы копии (XIII глава в окончательном тексте) начинаются радикальные различия между первой редакцией «Романа русского помещика» и «Утром помещика». Написав заново решение Нехлюдова по поводу дальнейшей судьбы Давыдки Белого, Толстой начал диктовать писцу (см. запись в дневнике 26 ноября) новое изложение следующего эпизода. Общей осталась фраза «Так и сделаю», подытоживающая решение Нехлюдова. После этого Николенька в «Романе русского помещика» отправлялся к зажиточному крестьянину Болхе, чтобы отдать 50 рублей компенсации за ущерб, нанесенный семье Болхи Шкалик. Поскольку главы, где фигурирует Шкалик, не были включены в «Утро помещика», потребовалась другая мотивировка. Цель Нехлюдова при посещении Дутловых (такой стала фамилия этого крестьянского семейства в повести) – уговорить их завести ферму.

В «Романе русского помещика», переходя к повествованию о семье Болхиных, Толстой внезапно, без какой-либо видимой мотивировки, менял образ автора: если до сих пор речь повествователя была стилистически нейтральна, то теперь она ярко стилизована под крестьянскую речь. При этом рассказчик не персонафицирован. Но как только рассказ о семье Болхиных закончен и вновь начинается действие, нить повествования возвращается к прежнему автору. Повидимому, почувствовав стилистическую чужеродность рассказа о семье Болхи в ткани повествования от лица нейтрального автора, Толстой ввел в «Утро помещика» нового персонажа – кормилицу Нехлюдова, которая встречает его на дороге; беседуя с ней, Нехлюдов узнает подробности об интересующей его семье. Весь стилизованный фрагмент текста, начиная от слов «Во всей вотчине, почитай, первый мужик» и кончая словами «Этак-то они и славно живут, коли бы не старик. Куды?», становится в наборной рукописи почти без изменений монологом кормилицы. Эта часть главы написана рукой писца; до сдачи рукописи в набор Толстой провел еще значительную правку: многое вычеркнуто, многое написано заново поверх вычеркнутых строк. Монолог кормилицы преобразован в ее диалог с князем. После слова «Куды?» переписка текста из «Романа русского помещика» была приостановлена, и Толстой написал заново конец XIII главы (имеется в виду окончательная нумерация) начиная от слов «Так вот Карп захочет, может быть», и главу XIV, которую обозначил в наборной рукописи как XVII.

Далее работа вновь продолжалась по тексту копии, из которой удалены несколько страниц. На этих страницах было описание встречи князя в воротах с Ильей, подробный портрет этого крестьянского парня, разговор Николеньки с Игнатом, Карпом и стариком Болхой, посещение им новой избы. Копия продолжается с середины фразы: «двух детей, забравшихся туда в ожидании обеда». Хотя фрагмент является точной копией текста «Романа русского помещика», князь назван в нем не Николенькой, а Дмитрием. Следовательно, перед тем, как отдавать рукопись «Романа русского помещика» писцу, Толстой довел до конца исправление имени главного героя, чего не было на предшествующем,

втором этапе работы, когда создавалась рукопись второй редакции «Романа...». Возможно, об этом было дано устное распоряжение переписчику, так как никакой промежуточной рукописи, в которой была бы осуществлена эта правка, не существует. То же можно сказать и о перемене фамилии Болхиных на Дутловых: в рукописи, с которой делалась копия, они Болхины, а в копии уже Дутловы.

Проведя, кроме того, большую стилистическую правку фрагмента, Толстой его вычеркнул и поверх вычеркнутых строк, а также на боковых и верхних полях написал новый текст, составивший XVIII главу наборной рукописи – XV главу в опубликованной повести.

Значительно переработав эпизод посещения Дутловых, составивший содержание XIII–XVII глав, Толстой широко использовал, хотя и в измененном виде, материал «Романа русского помещика». В «Утре...» перешли из «Романа...» все действующие лица эпизода, вплоть до ребяташек, забравшихся на полати в ожидании обеда, и ребенка в зыбке. Остались посещение князем осика и новой избы, портреты старика, его сыновей и невесток (хотя портрет Илюшки значительно сокращен), разговор о соседе Осипе, вредящем пчелам Дутлова, который в «Утре...» стал мужем кормилицы князя, обсуждение просьбы Дутловых отпустить Илью и Игната в извоз, попытка князя уговорить старика вложить деньги в дело, а не держать их дома.

При переработке эпизод у Болхиных-Дутловых получил новую компоновку. Текст XVI главы (в окончательной нумерации) целиком был взят из рукописи «Романа...», после чего Толстой провел довольно значительную правку: речь стала идти не об одном Илюшке, а об Илюшке и Игнате; вместо «ребят отпустить» стало «ребят на оброк отпустить», вместо «на трех тройках пошел» – «на трех тройках пошли на все лето», вместо «Куда в извоз?» – «Куда же они пойдут?»; добавлена фраза «Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой {...} Скажи, пожалуйста...», вписаны дополнения в некоторые фразы: «который в это время, привязав лошадей под навес, подошел к отцу», «опять вмешался Илья, бойко встряхивая волосами»; «возразил старик с своей кроткой улыбкой»; вычеркнута фраза: «Нет, брат, как ты ни говори, а самое пустое это дело только шляться»; переработана реплика князя, начинавшаяся в рукописи «Романа» и в копии словами «Что ж, я очень рад, что вы занимаетесь честным промыслом» (в повести она начинается словами «Оно не беда заниматься честным промыслом»).

После слов «самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить!» весь дальнейший текст в копии был вычеркнут, несколько страниц изъято, дописан на нижнем поле последний абзац XVI главы, который Толстой хотел было сделать началом следующей главы, поставив перед ним недописанный номер XX (по нумерации наборной рукописи). Затем идут листы, взятые из той части рукописи «Романа...», которая предшествовала только что рассмотренной сцене. Дело в том, что в «Романе...» Николенька сначала идет осматривать новую избу Болхиных, а потом отправляется на осик к старику. В «Утре помещика» Нехлюдов сначала беседует со стариком Дутловым на осике, а потом уже вместе с ним идет в избу. При перестановке листов копии Толстой часть из них удалил совсем, а в сохранившемся вычеркнул рассказ о появлении старика Дутлова. Следующее за ним описание посещения новой избы оставлено и явилось началом XX (XVII) главы. В текст копии Толстой внес правку, касающуюся главным образом описания внешности персонажей, затем вычеркнул заключительную фразу, начинавшуюся словами «Дмитрий съел кусок горячего хлеба», и заново написал текст до конца главы.

На этой главе кончается использование текста «Романа русского помещика». Последние главы (XXI–XXIII наборной рукописи, XVII–XX опубликованного произведения) были написаны Толстым заново. При этом большая часть текста (кроме окончания последней главы) написана рукой писца с последующей небольшой правкой Толстого. По-видимому, последние три главы Толстой диктовал. В этих главах частично реализованы те идеи, ситуации и образы, которые ранее присутствовали в заключительных сценах первой редакции «Романа русского помещика» и в некоторых записях дневника и записной книжки, относящихся к «Роману...». Так, были сохранены, хотя иначе текстуально оформлены, размышления молодого князя о цели жизни, о счастье, о его тщетных попытках перестроить жизнь крестьян на основах справедливости и взаимного доверия. В «Утре помещика» усилена горечь этих размышлений: Нехлюдов подводит печальный итог своего годичного пребывания в деревне. В общих чертах сохранилось описание «небольшой комнаты» в большом барском доме, где живет герой. «В небольшой комнате этой стоял старый английский рояль, большой письменный стол и кожаный истертый диван, обитый медными гвоздиками, на котором спал мой герой, и несколько таких же кресел, вокруг комнаты было несколько полок с книгами и бумагами, и нотами. В комнате было чисто, но беспорядочно, и этот жилой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным барским убранством других комнат большого бабуриного дома» («Роман русского помещика»). – «В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками; несколько таких же кресел; раскинутый старинный бостонный стол с инкрустациями, углублениями и медной оправой, на котором лежали бумаги, и старинный желтый, открытый английский рояль с истертыми, погнувшимися узенькими клавишами. Между окнами висело большое зеркало в старой позолоченной резной раме. На полу, около стола, лежали кипы бумаг, книг и счетов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид; и этот живой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат большого дома» («Утро помещика»).

В «Утро помещика» перешла из «Романа...» сцена игры героя на рояле и сопровождающих ее грез. И тут, и там князю представляются виденные им в течение дня крестьяне: Чурис с его любовью к пузатому сынишке, мать Юхванки Мудреного, Илюшка. В «Романе русского помещика», кроме того, приказчик Яков и старик Болха, а в «Утре помещика» – Давыдка Белый, кормилица, Игнат и Карп. Сохранено и обидное для молодого князя, но признаваемое им справедливым утверждение крестьян о том, что «от помещиков деньги прятать нужно». В «Романе...» оно вложено в уста старика Болхи, а в «Утре...» – кормилицы. Много деталей из «Романа русского помещика» использовано в описании воображаемого князем путешествия крестьян, занимающихся извозом. В «Утре...» к Илюшке добавился Карп, но Илюшка остался главным героем этой поэтической сцены, которая завершает повесть.

В «Романе русского помещика» за ней следовал эпизод приезда университетского друга героя – Ламинского. В «Утре помещика» друг студенческой юности Нехлюдова упоминается раньше и безымянно. Вместо старого слуги «Романа...» в «Утре...» фигурирует няня, а в мечтах героя появляется образ молодой жены, намеченный в записной книжке 9 июня 1856 г.: «Помещик хочет найти в девушке, к(оторая) ему нравится, опору в своих честных планах...» и позднее, 18 ноября того же года: «К Р(оману) р(усского) п(омещика). Он мечтает о счастье семейном, жена в белом капоте, потом едет трепаться по русской жизни».

В «Утре помещика» по сравнению с «Романом русского помещика» значительно ослаблен автобиографический элемент. Нет здесь и столь явных прототипов, как в «Романе...», где многих Толстой указал в «Предисловии не для читателя, а для автора»: в процессе переработки большая часть этих героев ушла со страниц «Утра помещика».

Название «Помещик (Отрывок)», написанное Толстым на полях наборной рукописи, говорит о том, что первоначально Толстой рассматривал новое произведение как публикацию части большого романа, работу над которым он, судя по дневниковым записям (см. комментарий к «Роману русского помещика»), собирался продолжить. Однако в процессе подготовки рукописи к печати он все более склонялся к созданию нового самостоятельного произведения, хотя и тесно связанного с оставленным романом. Смысл переработки заключался в изменении жанра произведения. «Роман русского помещика» был задуман как широкое полотно жизни с большим количеством героев из разных социальных слоев. Об обширности замысла свидетельствует «Предисловие не для читателя, а для автора» (см. его текст в т. 20 второй серии), представляющее собой краткий конспект будущего романа. Кроме уже написанных сцен деревенской жизни, помещицкой и крестьянской, были задуманы сцены «столичные, губернские и кавказские». В десяти пунктах были намечены основные действующие лица с краткой характеристикой их роли в сюжете. Обширному замыслу соответствовала распространенная экспозиция. Вся она была отброшена при переработке романа в повесть. Ушли намеченные в первых главах персонажи – члены церковного причта, помещик Михайлов (во второй редакции Облесков) с женой, дворник с большой дороги Шкалик и обиженная им крестьянская семья Болхиных, пьяница стряпчий, его жена и дети. Были опущены подробности о семье Нехлюдова – его родителей, братьях, сестре.

Ограничив время действия одним утром, а сюжет – сценами обхода нескольких крестьянских дворов, писатель, однако, не отказался от воплощения основной идеи, лежавшей в основе романа. Его герой пытается найти счастье в служении добру: «Итак, я должен делать добро, чтоб быть счастливым». Он видит свой долг в том, чтобы «трудом и терпением» улучшить жизнь принадлежащих ему крестьян, которые находятся «в самом жалком, бедственном» положении. На большом пространстве романа Толстой намеревался показать долгий путь героя к осуществлению его цели, полный ошибок, несчастий, страстей. И в конце торжество добродетели – «исправление и счастье» («Предисловие...»). В повести путь героя гораздо короче – от молодого энтузиазма в письме к тетке, написанном за год до начала действия, до горького разочарования в результатах своих усилий в конце, заставляющего его завидовать участи своего крестьянина, живущего простой бесхитростной жизнью. По сравнению с написанными главами романа повесть обогатилась внутренними монологами героя, которые вместе в авторскими объяснениями его душевного состояния придали законченность сюжету «Утра помещика».

Рукопись «Утра помещика» Толстой, как это следует из дневниковой записи 29 ноября 1856 г., «сам отвез к Краевскому». Сравнение текста наборной рукописи с текстом «Отечественных записок» свидетельствует о том, что Толстой держал корректуру. Однако декабрьские заметки в дневнике о чтении корректуры относятся к «Юности», печатавшейся в это время в «Современнике».

Двенадцатая книжка «Отечественных записок» с «Утром помещика» вышла 11 декабря 1856 г. (Прибавление к № 148 «Московских ведомостей» от 11 декабря, с. 1569).

Появление повести вызвало разносторонние отзывы критики. И быть может, Толстой слишком поторопился с обобщением, когда писал брату С.Н. Толстому 2 января 1857 г. о том, что «Утро помещика» имеет «мало успеха». Правда, П.В. Анненкову это произведение Толстого показалось «вещью довольно посредственной» (см. письмо Е.Я. Колбасина к Тургеневу от 2 декабря 1856 г. – *Тургенев и круг «Современника»*, с. 298). В.П. Боткин тоже очень сдержанно отозвался об «Утре помещика», оценив, однако, созданные Толстым крестьянские образы: «...впечатления не произвело, хотя некоторые лица мужиков очень хороши» (*В.П. Боткин и И.С. Тургенев. Неизданная переписка*, с. 112. Письмо Боткина Тургеневу от 3 января 1857 г.).

Отзывы Анненкова и Боткина не только не стали определяющими, но вскоре сменились совершенно противоположными. 13 января 1857 г. Тургенев с большой похвалой писал Дружинину и о содержании «Утра помещика» и о его художественных достоинствах: «Главное нравственное впечатление этого рассказа (не говорю о художественном) состоит в том, что, пока будет существовать крепостное состояние, нет возможности сближения и понимания обеих сторон, несмотря на самую бескорыстную и честную готовность сближения – и это впечатление хорошо и верно (...) мастерство языка, рассказа, характеристики великое» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 183).

Очень высокую оценку повести Толстого дал Н.Г. Чернышевский, отметив «замечательное мастерство» автора, его знание не только «внешней обстановки быта» крестьян, но и их «взгляда на вещи»: «Он умеет переселяться в душу поселянина, – его мужик чрезвычайно верен своей натуре, – в речах его мужика нет прикрас, нет риторики, понятия крестьян передаются у графа Толстого с такою же правдивостью и рельефностью, как характеры наших солдат. В новой сфере его талант обнаружил столько же наблюдательности и объективности, как в “Рубке леса”. В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата. (...) если бы мы захотели указать все удачные лица мужиков, все правдивые и поэтические страницы, нам пришлось бы представить слишком длинный перечень, потому что большая часть подробностей в “Утре помещика” прекрасны» (*Современник*. 1857. № 1. Отд. V. С. 167–168, 173. «Заметки о журналах. Декабрь 1856». См. также: *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1948. Т. IV. С. 682, 685).

Рецензент «С.-Петербургских ведомостей» П. Басистов, исходя из представления о литературе как о явлении свободном, ничему не подчиняющемся, черпающем «свои вдохновения в живительном ключе современной жизни», причислил «Утро помещика» Толстого к лучшим его произведениям (С.-Петербургские ведомости. 1857. 18 января. № 15).

Почти сразу по выходе из печати «Отечественных записок» с «Утром помещика» в «Сыне отечества» в «Обзоре периодических изданий» была дана высокая оценка этому новому произведению, свидетельствующему о том, что литература может от Толстого «ждать многого в будущем»: «...в каждой картине (...) видно столько наблюдательности, знания, правды, что небольшой рассказ этот оставляет сильное впечатление». Особенно автора «Обзора» поразили «мастерски изображенные типы крестьян» (*Сын отечества*. 1856. 30 декабря. № 39. С. 284). 27 января 1857 г. в 4-м номере того же «Сына отечества», в помещенном там «Очерке истории русской словесности в 1856 году», снова появилось упоминание об «Утре помещика» как о «поэтическом и в то же время дагерротипически верном очерке из крестьянского быта» (с. 90).

После выхода в 1864 г. в издании Стелловского сочинений Толстого в 12-м номере «Русского слова» за этот год была опубликована статья Писарева «Промысли не зрелой мысли», где автор дал анализ тех явлений общественной жизни, которые создали характер Нехлюдова, оказавшегося в состоянии «умственного банкротства». «Странная и печальная история! Ум, молодость, энергия, стойкость, человеколюбие – все, что делает человека сильным и полезным, все это есть у Нехлюдова, все это проявляется в его отношениях к крестьянам и все это приводит за собою только неудачи и разочарование» (отд. II, с. 44). Причина, по мнению Писарева, заключается в том, что Нехлюдов «самым добросовестным образом старается влить вино новое в меха старые. Задача неисполнимая: меха ползут врозь, и вино проливается на пол, или, говоря без метафор, новая гуманность пропадает без пользы, и даже приносит вред, когда приходится в соприкосновении с старыми формами крепостного быта» (там же).

Впоследствии, обращаясь к суждениям Писарева о герое Толстого, Ф.И. Булгаков в книге «Граф Л.Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная» (СПб.; М., 1886) так интерпретировал их: произведения Толстого, «Утро помещика» и «Люцерн», «заставили даровитого критика призадуматься над тем безнадежным воспитанием, какое формировало «страшно болезненные» характеры личностей, подобных Нехлюдову (Булгаков, с. 5). «Герой Толстого в «Утре помещика» ищет нравственного удовлетворения в сближении с меньшим братом, в просвещении его, в улучшении его быта; но скоро должен убедиться воочию, что и сближение невозможно при существовании крепостных отношений, и просветительные поползновения и нововведения барина выходят совершенно непрактичными затеями, ни к чему не ведущими» (там же, с. 48).

Близкие суждения о том, что причина неудачи Нехлюдова кроется не только в его характере, но прежде всего в условиях жизни при крепостном праве были высказаны и целым рядом других критиков, а также историков литературы. «Литературным свидетельством» против крепостного права, против мнения, «будто бы бедность завелась у крестьян только после их освобождения, а под крылом у помещиков все они пользовались изобилием», назвал «Утро помещика» Орест Миллер. «Мужики никак не могут себе представить, чтобы барин действительно хотел вникнуть в их нужды и мог помочь им: у них нет доверия ни к его познаниям, ни к его добrote, но напротив, есть уверенность в том, что барин не смыслит ничего в их крестьянских делах, а отсюда и желание воспользоваться его неопытностью и обмануть его, где можно». Нехлюдов понимал, что причиной недоверия крестьян является та «рознь между ними, которая слишком глубока» (Миллер О. Русские писатели после Гоголя, с. 239, 241).

В таких произведениях, как «Утро помещика», писал А.М. Скабичевский, «своим беспощадным анализом» Толстой доказывал, что герой его бессилён «сделать что-либо полезное ближним не вследствие одной только своей бесхарактерности, а вследствие самого своего положения» (Скабичевский А.М. Граф Л.Н. Толстой как художник и мыслитель. Критические очерки и заметки. СПб., 1887. С. 29). В «Истории новейшей русской литературы» Скабичевский развивал далее эту мысль: Толстой «обращает внимание на ложность самого общественного положения» героя «Утра помещика» и рассказа «Люцерн», показывая, что «и при всех моральных совершенствах, при всем энергическом стремлении к добру и пользе, все условия их жизни и отношения к людям столь ненормальны, что самые почтенные и энергические усилия или парализуются, или же, что еще хуже, превращаются в пограние человеческих прав, и вместо добра и пользы получается вред и зло» (Скабичевский, с. 164).

Обратив особое внимание на «типы русского мужика» в «Утре помещика» – типы, отличающиеся «замечательно художественною определенностью и правдоподобием», жизненностью и живостью, «стихий народного духа», автор «Критического очерка» о Толстом Р.А. Дистерло объяснил причину неуспеха всех начинаний главного героя разладом мечты и действительности: «Когда действительность оказалась не в ладу с его мечтою, когда от ее сурового прикосновения развевались прекрасные юношеские грезы, он почувствовал себя несчастным» (Дистерло. *Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист*, с. 63, 67).

Противореча большинству критических отзывов, К. Головин указывал на «явную натяжку» в изображении Толстым отношений крестьян и Нехлюдова. «Что Нехлюдова сплошь и рядом обманывают, – писал он, – что крестьяне с непривычки озадачены его участием в их судьбе, что он делал зачастую промахи вследствие незнакомства с их бытом, – все это несомненно и не могло не случиться. Но чтобы богатый помещик не мог при крепостном праве поднять благосостояния своих крестьян – расширив их поля, отпустив им лес на новые избы, прикупив им лошадей, – это явная натяжка, свидетельствующая лишь о том, что в 1852 году сам автор был недостаточно знаком с народным бытом» (Головин К. *Русский роман и русское общество*. СПб., 1897. С. 137).

К этой точке зрения близок и С. Весин, хотя в целом он более глубоко проник в причины сложных отношений Нехлюдова с крестьянами: «Нехлюдову пришлось бороться, с одной стороны, с невежеством крестьян, а с другой – с теми препятствиями, которые были соединены с условиями крепостного права, содействовавшего развитию недоверия в крестьянах» (Весин С. *Былое. Из русской жизни и литературы 40–60-х годов*. Житомир, 1899. С. 113).

В работе, посвященной пятидесятилетнему юбилею литературной деятельности Толстого, Н. Кузьман снова обратился к «Утру помещика» в связи с проблемами крепостного права и с той «мучительной» драмой, в которую попадает представитель интеллигенции, веками оторванный от народа: «В этом стоне Нехлюдова слышится стон целого общества, которое сознавало уже свои священные обязанности перед народом, но выполнить их, несмотря на страстное желание, не могло в силу прочно сложившихся условий» (Кузьман Н. Л. Н. Толстой. (1852–1902). К пятидесятилетию литературной деятельности. СПб., 1903. С. 6).

Сближая настроение Толстого после выхода из университета с настроением Нехлюдова из «Утра помещика», критик «С.-Петербургских ведомостей» Н. Вершинин писал: «“Я выхожу из университета, – читаем мы в “Утре помещика”, – чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Главное зло заключается в самом бедственном, жалком положении мужиков, – и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу?.. Я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша, и я чувствую, приведет меня к счастью”. Крепостной уклад оказал сильное сопротивление всем молодым и благим начинаниям молодого помещика, и Толстой уехал на Кавказ» (С.-Петербургские ведомости. 1903. 28 августа. № 234).

Итак, замысел Толстого показать «невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством» (запись в дневнике от 1 августа 1855 г.) – был понят и отмечен критикой.

Как правило, авторы книг и статей о Толстом обращали внимание на автобиографический характер повести «Утро помещика». В упомянутых уже работах Скабичевский высказал мысль, что эпизоды произведений «Утро помещика», «Альберт», «Люцерн» «навеяны не одними объективными наблюдениями,

а личными тяжкими опытами; автор их пережил и перестрадал. (...) Нужно было самому пережить все разочарование князя Нехлюдова, убедившегося, что он не только не способен оказать какую-либо пользу своим крестьянам, но все его усилия обращаются в ничто или приносят им один вред, — чтобы изобразить подобное разочарование юного помещика в такой ужасной правде» (*Скабичевский*, с. 164).

Н.К. Михайловский рассматривал «Утро помещика» как такое художественное произведение, в котором писатель «поэтическими образами иллюстрировал и комментировал движения своей собственной души, состояния своего собственного сознания» (*Михайловский Н.К.* Литература и жизнь. Письма о разных разностях. СПб., 1892. С. 256-257).

С. Венгеров назвал «Утро помещика» «автобиографической исповедью»: «Здесь надо только подставить фамилию “Толстой” вместо “Нехлюдов”, чтобы получить достоверный рассказ о житье его (Толстого) в деревне» (*Венгеров*, с. 449-450, 453).

В книге Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» «Утро помещика» истолковывалось как продолжение дневника писателя, как «нехлюдовский опыт с яснополянскими мужиками» (СПб., 1903, т. 1. с. 22-23).

Мысль об автобиографическом, мемуарном характере «Утра помещика» была поддержана и Д.Н. Овсяннико-Куликовским. В его интерпретации Нехлюдов 50-х годов — «это та сторона сложной натуры Толстого, в которой по преимуществу сосредоточены задатки высокой моральной личности, те импульсы, которые, рано или поздно, приведут к “переоценке всех ценностей”, к нравственному перевоспитанию человека, к его внутреннему “воскресению”» (*Овсяннико-Куликовский Д.Н.* Собр. соч. СПб., 1909. Т. 3. Л.Н. Толстой. С. 268). «В настоящее время, когда опубликовано немало данных из биографии Толстого, а также напечатаны выдержки из его дневника и много писем, мы знаем доподлинно», что в лице Нехлюдова «Толстой вывел *самого себя*» (*Овсяннико-Куликовский Д.Н.* Лев Николаевич Толстой. К 80-летию великого писателя. Очерк его деятельности, характеристика его гения и призвания. СПб., 1908. С. 12).

В многочисленных газетных статьях 1908 г., посвященных 80-летию юбилею Толстого, идея «автобиографизма» героя «Утра помещика» выступила на первый план.

М. Меньшиков в статье «Россия и Лев Толстой» (Новое время. 1908, 28 августа. № 11660) писал о том, что автор «Утра помещика» и других близких по времени к этой повести произведений дал читателю «громкую исповедь своей самой затаенной жизни».

В. Курбский в статье «Законченный круг» (Русское слово. 1908, 28 августа. № 199) высказывался об «Утре помещика» как о произведении, в котором Толстой отразил «свой опыт» «и рассказал, как он пытался работать у себя», в поместье, как пытался «просвещать крестьян».

О том, что в «Утре помещика» Толстой изобразил «свою тогдашнюю деревенскую жизнь», «тогдашнее настроение» писали и ранее авторы юбилейных заметок: «Граф Л.Н. Толстой. К 50-летию литературной деятельности» (Новое время. 1902, 28 августа. № 9512) и «Гр. Л.Н. Толстой. К 75-летию со дня его рождения» (Нива. 1903, 23 августа. № 34. С. 678).

Воспринимая «Утро помещика» как автобиографическое произведение, критики нередко при этом акцентировали внимание на увлечении молодого Толстого идеями Руссо.

Евгений Соловьев в биографическом очерке «Л.Н. Толстой. Его жизнь и литературная деятельность» (СПб., 1894) писал: «Конечно, противоречие меж-

ду Руссо и Толстым развилось только впоследствии. В юности он только увлекался страстными тирадами во славу природы и простоты жизни, во славу честного труда. И это увлечение не прошло бесследно; напротив, заброшенное великим женеvцем зерно упало на родную почву, хотя до плодов было еще далеко. Увлекаясь Руссо, Толстой не мог уже более презирать народ, и под влиянием Руссо бессознательное и смутное смущение обратилось в желание исполнить свой нравственный долг перед крепостными семьями душами. Легко, однако, видеть, что в этих первых попытках сближения много теоретического, наваянного и мало сердца. Перечтите «Утро помещика», заменивши везде, с позволения самого автора, «князя Нехлюдова» «графом Толстым»» (с. 40).

Ссылаясь на повесть Толстого «Утро помещика», В.Г. Щеглов в книге «Граф Лев Николаевич Толстой и Фридрих Нитцше. Очерк философско-нравственного их мировоззрения» (Ярославль, 1897) писал об увлечении молодого Толстого учением Руссо: «Толстой симпатизирует отрицательному отношению Руссо к благам цивилизации. Приходится ему по сердцу и глубокая, страстная любовь Руссо к крестьянину и всему его быту, которая в последующей деятельности Толстого делается одним из основных догматов его мировоззрения. На первых порах, однако, Толстому пришлось сильно разочароваться в своей вере в добрую и неиспорченную природу крестьян. Оставивши университет, он поселяется в деревне, где задается целью выполнить «священные обязанности русского помещика». С искреннею верою в прямоту и доброту своих крестьян юный помещик изучает их быт, вникает в нужды и старается помочь им советами и деньгами. Но все его мечты об обеспечении крестьянам материального довольства, исправлении их пороков, порожденных невежеством и суеверием, развитии нравственности разбиваются при соприкосновении с неприглядной действительностью. Крестьяне, выросшие в атмосфере крепостного права, не верят в намерение барина помочь им и, пользуясь его добротой, обманывают на каждом шагу» (с. 10).

В статье «Великая совесть», помещенной в журнале «Русская старина» в августе 1908 г. (№ 8) и подписанной инициалами «Н.Л.», снова возникла тема «Толстой – Руссо» в связи с повестью «Утро помещика». «В сороковых годах, еще юношей, под влиянием Руссо, он принимается за рассуждение «О цели философии», в котором ясно выражает свой идеал нравственного совершенствования и смотрит на философию как на «науку жизни». Теория у него не расходится с практикой». Оставив университет, Толстой «поселяется в родной Ясной Поляне, чтобы послужить своим крепостным, улучшить их быт. Об этой поре своей деятельности он сам рассказал потом в «Утре помещика». (...) Нехлюдов, этот постоянный спутник Толстого и во многих отношениях его двойник, вскоре убеждается в невозможности создать идиллическую счастливую Аркадию на скудной почве, прогноенной крепостным правом. Но благородный пыл души не гаснет от неудач» (с. 216).

Б.А. Майков в книге «Граф Лев Николаевич Толстой» (СПб.; Варшава, 1910) столь же категорично утверждал идею влияния взглядов Руссо на Толстого в период создания им «Утра помещика»: «Надо заметить, что на решение Толстого поселиться в деревне имели огромное влияние произведения и взгляды Ж.Ж. Руссо. Лев Николаевич читал и восхищался ими в ранней молодости. Увлекаясь Руссо, Толстой не мог более презирать простой народ, а, напротив, явилось желание исполнить свой нравственный долг перед семьями душами. (...) Филантропия по отношению к крепостному, бесправному мужику, настоянная на барских дрожжах и идеях просветительной литературы, никакого проку

не принесла и принести не могла. В деревне на первых порах его ждали всевозможные неудачи и разочарования, которые действовали на него охлаждающим образом. Весь этот эпизод своей жизни Толстой описал последствии» – в «Утре помещика» (с. 10–11, 81). Далее Б.А. Майков сравнивал произведение Толстого с «Записками охотника» Тургенева: «За “Утром помещика” остается честь быть первым произведением русской литературы, где впервые нашла себе воплощение идея служения народу на почве улучшения его экономического быта. (...) Те места “Утра помещика”, где идет речь о народной жизни, смело могут быть поставлены на ряду с лучшими страницами “Записок охотника” по глубине, силе и правдивости обрисовки быта крепостного мужика» (с. 92, 95).

«Утро помещика» соотнес с «Записками охотника» и другой критик – И. Иванов в статье «Заметки читателя. Два мирозерцания». И в том и в другом произведении, отметил критик, сопоставляя и противопоставляя «толстовское» и «тургеневское» течения в русской литературе, даны «наблюдения над крепостным бытом и крестьянами». Но если из «Записок охотника» сама собой вытекала «жгучая жалость к мужику», «после рассказа гр. Толстого остается одно лишь впечатление – мучительной подавленности». В «Записках охотника» на первом плане «тщательное выяснение нравственной жизни крестьян», в «Утре помещика» – «отвратительнейшие пороки, какие только могут быть воспитаны в подневольной жизни» (Артист. 1894. № 43. Кн. 11. Ноябрь. «Литературное обозрение». С. 164, 165).

Сравнение «Утра помещика» с «Записками охотника» Тургенева как бы напрашивалось само собой, – то противопоставлялось «толстовское» течение «тургеневскому», то сопоставлялось с ним, и те места «Утра помещика», где речь шла о народной жизни, ставились «наряду с лучшими страницами» «Записок охотника».

С. Венгеров, сравнивая образы крестьян в «Утре помещика» с «несомненно приподнятыми» образами крестьян из «Записок охотника», заключал: в мужиках «Утра помещика» «нет ни тени идеализации», что свидетельствует о «творческой свободе» Толстого (Венгеров, с. 453).

«Типы русского мужика» в «Утре помещика» были признаны критиками настоящим открытием. «И хотя эти типы, – писал Р. Дистерло, – образованы из черт, схваченных первым впечатлением, подмеченных в несколько минут наблюдения, хотя они созданы всего несколькими штрихами, тем не менее они отличаются замечательною художественною определенностью и правдоподобием. Это живые лица, каждый с своим характером, с своей индивидуальной физиономией, и в то же время во всех их вы чувствуете знакомую стихию народного духа, связывающую их с русскою землею, с русским бытом, с русскою историею. Здесь кстати заметить, что народные типы графа Толстого до сих пор остаются недостижимыми образцами для наших художников» (Дистерло. *Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист*, с. 63).

«Толстой-писатель покорил весь мир. На всех языках говорят с нами его русские люди», – писал Р. Лёвенфельд в 1892 г. Герои Толстого стали известны читателям всего мира. Среди них были и персонажи «Утра помещика». Р. Лёвенфельд обратил особое внимание на автобиографический характер Нехлюдова, на отражение в его действиях и поступках «неудачного опыта» общения Толстого с крестьянами в период его пребывания в Ясной Поляне после выхода из университета. «“Утро помещика” почти целиком представляет собою самописание: Нехлюдов – это Толстой» (Leo N. Tolstoi, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung. Von Raphael Löwenfeld. Erster Teil. Berlin, 1892. S. 6, 48; Лё-

венфельд Рафаил. Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание. СПб., 1896. С. 6, 62).

Об автобиографизме героя повести «Утро помещика» писал и Е. Цабель. Нехлюдов, жаждущий дела, мечтательный, прекрасно образованный аристократ, желающий «работать, трудиться на пользу своих крестьян» и собственным опытом убеждающийся, «как глубока пропасть между народом и образованным классом, вырытая крепостным правом», – этот Нехлюдов, писал Цабель, дает возможность «заглянуть в самые сокровенные глубины духовной жизни Толстого». Помимо образа Нехлюдова внимание критика было обращено на единство и гармоничность целого в осуществлении замысла Толстого: «Все в этой повести так живо, оригинально, самобытно, и в то же время все так просто, так понятно, беспритязательно! Ни одного лишнего слова, никаких признаков вынужденного урезывания содержания не встретит здесь читатель. Каждое предложение – исчерпывающее выражение того, что нужно сказать; везде природа, темперамент, действительность. (...) Юмор и умиление переплетаются друг с другом и создают величественное гармоническое целое» (L.N. Tolstoi. Von Eugen Zabel. Leipzig; Berlin; Wien, 1901. S. 19, 20; *Цабель Евгений*. Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк. Перевод с немецкого. Киев, 1903. С. 33–35).

О «самоописании» автора в «Утре помещика» упоминали и Эйльмер Моод (The Life of Tolstoy. First fifty years. By Aylmer Maude. London, 1908. P. 158), и Эдвард Стейнер (Tolstoy the man. By Edvard A. Steiner. New York, 1904. P. 63), и Эрнест Кросби, считавший, что в этой повести Толстой описал «результаты своего опыта быть помещиком», показав, как «плохо понимались его намерения крестьянами». «Только через 50 лет, – рассуждал далее Кросби, – продолжая историю того же князя Нехлюдова в своем романе “Воскресение”, он дает истинное решение земельного вопроса, заставляя своего героя принять простой способ единого налога с ценности земли (single tax), пропагандируемого Генри Джорджем» (*Кросби Эрнест*. Толстой и его жизнепонимание. Перевод с английского. М., 1909. С. 4).

«Утро помещика» упоминалось среди лучших произведений Толстого. В письме к нему от 28 января 1889 г. Стенли Уизерс сообщал: «Граф! Не могу удержаться, чтобы не сообщить вам, с каким восторгом встречают мои соотечественники ваши книги, которые стали выходить у нас по-английски. (...) “Утро помещика”, “Казак”, “Смерть Ивана Ильича”» (*ЛН*, т. 75, кн. 1, с. 337).

При жизни Толстого «Утро помещика» было переведено на английский, голландский, испанский, немецкий, норвежский, сербскохорватский, французский, чешский, шведский языки.

Первое издание «Утра помещика» на английском языке вышло в 1887 г.: «A Russian proprietor». Transl. by N.H. Dole. In: A Russian proprietor and other stories. London, 1887 (повторено в 1889, 1899 гг. В переводе Винера (L. Wiener) повесть напечатана в 1904 г. в Лондоне и Бостоне). В 1887 г. – на немецком языке «Der Morgen des Gutsherrn». Übers. v. H. Roskoschny. In: Neue Erzählungen. Leipzig, 1887 (в 1891 г. напечатана в переводе Р. Лёвенфельда (R. Löwenfeld), затем – в 1897, 1901 гг.). В 1888 г. – на французском языке: Projets. Trad. par Halpérine-Kaminsky. In: Le prince Nekludoff. Paris, 1888 (переиздано в 1889 г. В переводе Бинштока (Bienstock) включено во второй том (Paris, 1902) собрания сочинений, вышедшего под наблюдением П.И. Бирюкова). В 1889 г. – на норвежском языке: Livsplaner. Overs. av. H. Sinding. In: Fyrst Nelkiudoff. Kristiania, 1889. В том же 1889 г. – на чешском языке: «Statkářovo jitro». Přel. P. Kaňka. In: Spisy. Sv. I. Praha, 1889 (затем – в 1901 г.); на шведском языке: «Furst Nechljudov». Övers. av.

W. Hedberg, Stockholm, Bonnier, 1889. В 1892 г. – на испанском языке: «El príncipe Nekhliedoff», Madrid. La España moderna, 1892 (затем – в 1896 и 1901 гг.). В 1904 г. – на сербскохорватском языке: *Јутро једног спахије*. Приповетка. Прев. М. Николајевић. Мостар, 1904. В том же 1904 г. – на голландском языке: «De jonge landheer». In: *De jonge landheer*. Amersfoort, 1904 (затем – в 1909 г.).

С. 59. ...*пробежав главу «Maison Rustique»...* – Имеется в виду энциклопедия по сельскому хозяйству, вышедшая в пяти томах в Париже (1837–1844) – «La Maison rustique du 19-е siècle» («Ферма 19-го века»).

С. 60. ...*красное волоковое оконце...* – задвигаемое (заволакиваемое) доскою окно в крестьянской избе старинной постройки.

...*волчье, заткнутое хлопком* – маленькое окно, выходящее не на улицу.

...*на застрехе...* – Застреха – нижний, свисающий край крыши у избы, сарая и т. п.

...*решетник...* – жерди, брусья, применяемые для обрешетки крыши; клались поперек стропил.

...*стропила* – опора для устройства кровли из ряда бревен, соединенных верхними концами и упирающихся нижними концами в стены.

...*в изорванной клетчатой паневе...* – Панева – род домотканной шерстяной клетчатой или полосатой юбки, поверх которой посреди вышивался или наделался кусок материи, так называемая занавеска.

С. 62. ...*переметы лежали уже не на сохах...* – Перемёты – поперечные балки, служащие связью между стенами избы, сарая, овина и т. п. Сохи – столбы (подпоры), обычно с развилкой на конце.

...*белых посконных порток...* – сделанных из поскони, домотканного холста из волокна конопля.

С. 64. ...*новый накатник настлать...* – Накатник – настил из досок, бревен, жердей.

С. 65. ...*каменные герардовские избы...* – Кирпичные сельские дома, изобретенные действительным членом императорского Общества сельского хозяйства Антоном Ивановичем Герардом (ум. 1830). Каждая стена такого дома состояла из двух стенок (в полкирпича) с пустым между ними промежутком. Для тепла этот промежуток засыпался золой, углем, опилками, мхом, мелкой соломенной резкой. После завершения кирпичной работы все строение, внутри и снаружи, белили густым раствором извести.

...*во всех трех клинах...* – Имеется в виду деление пашни на три поля (клина), каждое из которых засевалось сначала озимыми, затем яровыми, а на третий год оставалось под паром.

С. 68. *За сныткой...* – Сныть, или снить – растение (то же, что дягель), употреблявшееся в щи.

...*показали в экономию...* – т. е. в контору.

С. 69. ...*с тягла...* – Тягло – крепостная повинность.

С. 70. ...*на пресном осьминнике...* – Осьминник – четверть десятины, меры земли, равной 1,092 гектара или 2400 кв. саженям. Пресная почва – чернозем (В. Даль).

...*и крестца не собрали.* – Крестец – небольшая копна, снопы в которой укладывались крестообразно, в копне – 4 крестца.

С. 71. ...*подушные...* – подати, взимавшиеся с каждого человека.

С. 72. ...*коты...* – полусапожки, ботинки.

...*щегольская кичка* – Старинный русский праздничный головной убор замужней женщины.

С. 72. *Конец водоноса...* – Водонос – жердь (с прицепом посредине), на которой двое носили ушат на плечах.

С. 73. *...с ярко-красными ластовиками...* – Ластовка или ластовица – вставка в рукаве под мышкой (в русских мужских рубашках делалась иного цвета, чем сама рубаша).

...полосатые набойчатые портки – из ткани с набивным узором.

С. 75. *Оброть...* – недоуздок, конская узда без удил и с одним поводом для привязи.

С. 77. *Фулярный платок...* – из легкой и мягкой шелковой ткани.

С. 81. *...земля ~ не передвоена...* – не вспахана вторично.

С. 83. *...Петровками...* – в пост перед Петровым днем, праздником св. апостолов Петра и Павла, приходившимся на 29 июня.

...к Покрову... – к празднику Пресвятой Богородицы, приходившемуся на 1 октября.

С. 86. *...к высокой и просторной связи...* – Связь – изба с надворными строениями или вообще несколько строений, сведенные под одну крышу.

С. 88. *На осике...* – Осик или осёк – пасека.

...поярковой шляпе... – сделанной из поярка, т. е. из шерсти от первой стрижки молодой овцы.

С. 89. *...в извоз ходил...* – Извоз – особый промысел, состоявший в перевозках грузов на лошадях.

С. 90. *...к деревянному голубцу...* – к широкой лавке.

...крытого свежей соломой мшеника... – Мшеник или мшаник – сарай, проконопаченный мхом.

С. 91. *...с калошкой идет* – с колошкой, цветочной пыльцой, приносимой пчелой на ножках.

С. 92. *Ромен. Одест* – Ромны. Одесса.

С. 93. *...с рядой ездить!* – Ряда – извоз, обозный промысел.

ИЗ КАВКАЗСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ. РАЗЖАЛОВАННЫЙ

Впервые: Библиотека для чтения. 1856. № 12 (ценз. разр. 5 декабря). С. 61–89, под заглавием: «Встреча в отряде с московским знакомым. Из кавказских записок князя Нехлюдова». Подпись: Граф Л.Н. Толстой.

Рукописный фонд составляет 72 л.

Печатается по журнальному тексту со следующими исправлениями:

С. 107, строки 27–28: это странно – вместо: это странно (по Р).

С. 110, строка 41: я не знал – вместо: я знал (по А).

С. 117, строки 26–27: немытый – вместо: немытые (по А).

С. 119, строка 7: он переменялся – вместо: они переменялись (по А).

С. 122, строка 15: Антоновым, Бондаренко – вместо: Антоном Бондаренко (по А.).

С. 125, строка 25: у двери – вместо: в двери (в рукописи «в» исправлено Толстым на «у»).

Замысел рассказа возник в 1853 г. Незадолго до отъезда с Кавказа, 3 декабря 1853 г. в дневнике Толстого появилась запись: «Я был в нерешительности насчет выбора из 4-х мыслей рассказов. 1) Дневник кавказского офицера, 2) Качаць поэма, 3) Венгерка, 4) Пропащий человек. Все 4 мысли хороши». «Пропащим» позднее был назван герой рассказа «Альберт». Но здесь под пропащим имелся в виду «Разжалованный» (Гуськов говорит о себе: «Я пропащий человек!»; замысел «Альберта» появился в январе 1857 г., после знакомства с музыкантом Г. Кизеветтером).

К работе над рассказом Толстой приступил лишь в ноябре 1856 г., находясь в Петербурге и после свидания 7 ноября с А.В. Дружининым, ставшим как раз с ноября официальным редактором журнала «Библиотека для чтения». Еще в сентябре Дружинин просил: «...напишите мне хотя самую крошечную статейку, отрывок, эпизод из севастопольских воспоминаний для последних книжек “Библиотеки”, пока еще Вы не связаны условием» (*Переписка*, т. 1, с. 264). «Условие» – это опубликованное 22 сентября 1856 г. в «Прибавлениях к “Московским ведомостям”» объявление И.И. Панаева и Н.А. Некрасова об издании журнала «Современник» в 1857 г.; здесь говорилось про «обязательное соглашение», по которому Толстой, Тургенев, Григорович и Островский обязались, начиная с 1857 г. сотрудничать в течение четырех лет только в этом журнале. Однако И.И. Панаев в письме к Островскому 30 августа 1856 г. сообщал, что каждый участник соглашения имеет право напечатать одну вещь в других журналах не позднее начала 1857 г., затем уже все прочие произведения должны будут печататься только в «Современнике» (см.: *Неизданные письма к А.Н. Островскому*. М.; Л., 1932. С. 323). Так было разъяснено и в объявлении об издании «Современника» на 1857 г.

Толстой уже был связан обещанием А.А. Краевскому (и вскоре отдал в «Отечественные записки» «Утро помещика»). Дружинину, отвечая 21 сентября на его письмо, он все же обещал «крошечный эпизод кавказский», написанный в свое время для несостоявшегося журнала «Военный листок» – «Как умирают русские солдаты», собираясь его переделать. 6 октября Дружинин известил В.П. Боткина, что Толстой и Тургенев «обещают по вещице *наверное*» (*ГМТ*. Фонд А.В. Дружинина. № 60743). В ноябре было начато изготовление копии (под диктовку), где рассказу 1854 г. дано новое заглавие: «Тревога» (см. т. 2 наст. изд., с. 346, 348). Но Толстой оставил работу над этим рассказом и начал новый, тоже по кавказским воспоминаниям.

9 ноября в дневнике отмечено: «Дома диктовал порядочно Разж(алованного)».

10 ноября: «Диктовал немного».

11 ноября: «Продиктовал часа 1½».

13 ноября: «Чуть-чуть подиктовал Разж(алованного)»...

14 ноября: «Встал рано, писал утром немного Разж(алованного) (...) обедал, спал, ездил зачем-то к Ухт(омскому), дописал начерно Разжалованного».

15 ноября: «С утра встал и поправил Разж(алованного) (...) обедал у Боткина. (...) Читал Разж(алованного), приняли холодно, оттуда поехали с Друж(ининым) к Аннен(кову)»...

В сохранившейся рукописи дата: 15 ноября. В «Библиотеке для чтения»: 15 ноября 1856 г. Но работа над рассказом продолжалась.

18 ноября Толстой «переправлял *Разж(алованного)*». 23 ноября в письме к В.В. Арсеньевой сказано: «Друж(инину) я написал кое-как маленький рассказ...»

На первом листе рукописи помета Дружинина: «Велите набрать скорей и в военную цензуру. Иные имена здесь в сокращении, набирать их вполне, как придется по смыслу». Ниже запись (подпись неразборчива): «Вторую корректуру, не отсылая г. цензору, доставить к Алекс. Вас. Дружинину».

26 ноября один экземпляр «Разжалованного» был отправлен в Военно-цензурный комитет. Сохранился «Реестр сочинениям и статьям, поступившим на рассмотрение в Военно-цензурный комитет в 1856 году»:

«Поступило: 26 ноября.

Заглавие сочинения: Из кавказских воспоминаний. Разжалованный. Из Кавказских записок. Встреча в отряде с московским знакомым (соч. графа Л.Н. Толстого).

От кого поступило: Для Библиотеки чтения.

Из редакции Библиотеки чтения.

У кого из членов находилось на рассмотрении: Председатель комитета.

Одобрено или не одобрено: Одобрено.

Когда возвращено: 30 ноября» (РГВИА. Ф. 494. Оп. 1. Д. 6. Л. 216)¹.

Военная цензура, таким образом, одобрила рассказ даже «без поправок» (в иных случаях в «Реестре» указывалось: «Одобрено с поправками»).

Толстой 29 и 30 ноября держал корректуры рассказа. В дневнике 29-го: «Корректуры немного»; 30-го: «...корректур Разжалованного, который плох».

Кроме военной, существовала и гражданская цензура. Толстой отметил в дневнике 2 декабря: «Разжалованного не пропускают». В тот же день цензор А.И. Фрейганг сообщил Дружинину: «Рассказ гр. Толстого из Кавказских нравов был внесен мною в пятницу (1 декабря) в Цензурный комитет и находится у г. председателя, от усмотрения которого будет зависеть пропуск означенного рассказа» (*Летописи ГЛМ*, с. 350).

Тогда же Дружинин извещал Толстого в письме, что произошла ошибка. «Любезнейший друг Лев Николаевич, Гончаров сообщил мне сейчас, что Фрейганг, не зная о пропуске Вашего рассказа военной цензурой, представил его кн. Щербатову² на рассмотрение». Далее Дружинин предлагал Толстому: «Не хотите ли побывать у князя и поговорить с ним об этом. Я все утро воскресенья дома, но Гончаров говорит, что у него лучше быть в понедельник утром» (*Переписка*, т. 1, с. 270–271). Толстой собирался посетить Щербатова еще 30 ноября («Опоздал к Анненкову, и к Дружинину, и к Щербатову», — записал он в дневнике). Теперь Дружинин очень торопился и в воскресенье 3 декабря побывал у Щербатова без Толстого (как явствует из его следующего письма).

В архиве Дружинина сохранился черновой листок с его записями замечаний Щербатова, сделанными, по-видимому, во время их встречи: «1, изъять те места, где автор выражает сочувствие нападкам Гуськова на кавказских офицеров. 2, дать рассказу другое название...» (*Чуковский К. Люди и книги шестидесятих годов*, с. 254).

Сразу же после посещения кн. Щербатова Дружинин отправил Толстому письмо (не датировано, но явно относится к 3 декабря) с подробным перечислением исправлений, которые необходимо сделать в рассказе: «Любезнейший друг Лев Николаевич, кн. Щербатов мил и прекрасен. Он просит вас о следую-

¹ На обложке «Реестра» ошибочно помечено вместо 1856 г. — 1853, и «Реестр» за год переплетен после 1852 г.

² И.А. Гончаров с 1856 г. занимал должность цензора. Председателем Петербургского цензурного комитета с августа 1856 г. был Г.А. Щербатов.

щем. 1-е) переменить заглавие, 2) смягчить резкие выражения об офицерах и вообще кавказцах, 3) показать от лица автора, как он был возмущен злостными отъездами Гуськова о его товарищах и храбрых воинах. Затем он пропускает всю вещь. Смягчите же историю даже более, чем он просит, и верните корректуры поскорее. Я думаю, можно бы исключить крепость и вообще что встретится в этом роде. Когда вы познакомитесь с Щербатовым и его оцените, вы поймете мою щекотливость, надо беречь такое сокровище для нашей же пользы» (*Переписка*, т. 1, с. 271. Уточнено по автографу ГМТ).

Толстой снова принялся за корректуру. 3 декабря: «...поправил корректуры Разж(алованного)»; 5 декабря: «Поправил Разжал(ованного)». В тот же день, 5 декабря, дано цензурное разрешение № 12 «Библиотеки для чтения». Толстой сообщил Т.А. Ергольской: «Я написал в один месяц совершенно новый рассказ для “Библиотеки для чтения”» и брату С.Н. Толстому: «Отставка моя вышла, и на днях надеваю фрак. Это стоит мне рублей 350; но, благо, я написал 4 листа $\frac{1}{2}$ в “Библиотеку для чтения” и “Отечественные записки”, которые мне дадут эти деньги». 23 декабря 1856 г. «С.-Петербургские ведомости» № 282 напечатали перечень содержания четырех последних номеров «Библиотеки для чтения», где упоминается рассказ Толстого.

В архиве сохранилась, помимо основной рукописи, писарская копия, озглавленная так же, как напечатано было в журнале; текст, за исключением мелких расхождений, совпадает с печатным, исправлений Толстого нет. Очевидно, копия связана с прохождением рассказа в цензуре.

Основная рукопись (вернее – изменения в ней) тоже несет на себе явные следы непростой истории публикации. Несмотря на значительную правку, именно с этой рукописи делался набор: на нескольких листах карандашом обозначены фамилии наборщиков.

Авторских изменений много по всему тексту – и в части, созданной под диктовку (31 страница), и на заключительных девяти листах (автограф).

В ходе правки продолжалась творческая работа. Вносились новые художественные детали, удалялось лишнее.

Так, к словам «дымящиеся аулы» добавлено: «с своими оголенными садами»; к слову «губы» – «весьма мало закрытые редкими, мягкими, белесоватыми усами»; вместо «пожал руку» стало: «и своей влажной рукой нерешительно, слабо пожал мою руку». В той же характеристике внешности Гуськова: «жилистую шею его обвязывал новый клетчатый платок и сверх него вязаный шарф» – снято упоминание о платке и осталось: «жилистую шею его обвязывал шерстяной зеленый шарф». Из фразы: «Я сам недавно был (...) юнкером без состояния, не имеющим средств для того, чтобы угашивать ротного командира шампанским и портером» вычеркнуто: «не имеющим средств для того, чтобы угашивать ротного командира шампанским и портером».

Дописывая рассказ, Толстой, как обычно в первоначальных автографах, оставлял большие поля для изменений. В этой части много существенных вставок, зачеркиваний, исправлений, пометок на полях, раскрывающих отчасти реализованные, но также и неосуществленные до конца детали замысла. Так, после рассказа Гуськова о том, что отец прекратил с ним «все сношения», добавлено: «По его убеждениям так надо было сделать, и я несколько не обвиняю его: il a été conséquent (он был последователен). Зато и я не сделал шагу для того, чтобы он изменил своему намерению». Усилена ирония в отношении к Гуськову. Вставлена реплика: «Что ж, ваше высокоблагородие, – говорил Никита, стоя подле капитана, – я их видал, соловьев-то, я не боюсь, а вот барин-то, что

тут был, ваш чихирь пил, так как услышал, такого стрелка дал мимо нашей палатки, шаром прокатился, как зверь какой изогнулся. Прыток!» Расширено и рассуждение о смерти на войне, где Гуськов высказывается презрительно о простых солдатах: «Вы понимаете ли, как ужасно думать, что какой-нибудь оборванец убьет меня, человека, который думает, чувствует, и что все равно бы было рядом со мной убить Антонова, существо, ничем не отличающееся от животного, и что легко может случиться, что убьют именно меня, а не Антонова, как всегда бывает une fatalité (рок) для всего высокого и хорошего». Имеются в автографе и многочисленные зачеркивания. Например, убраны слова Гуськова: «Нет, я уж и не жду ничего. Я убит». Финальная фраза: «Я не отвечал и молча выбрался на дорогу» – возникла между прежней заключительной строкой и уже проставленной 15 ноября датой и подписью.

На полях рукописи зачеркнутые пометы и аннотации. Например: «Он убил и о том не жалеет»; «Теперь у Алф(ерова) игра, желаешь – поправь. Что вы? Общество дурно? Может, увидимся в Пет(ербурге)?» выпивает водку, задумывается, вспоминает женщину. Нет, никогда, я погиб, плачет, желает смерти. Я утешаю. Храбрость! Ядро, подлость. Капитан. Еду к н(ачальнику) а(ртиллерии), дорога, возвращаюсь, у костра Г. хвастает»; «выпивши водки, говорит о полшубке, просит денег, говорит, что погиб. И что [со мной] с моей помощью он поднимется, но он не смел. Ядро».

Еще до набора рукопись прочел Дружинин. Возникли осложнения с заглавием. У Толстого было: «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный». Редактор журнала тут же написал: «Не дадите ли, Лев Николаевич, какого-нибудь заглавия поцензурнее?» Толстой заменил «Разжалованный» на «Гуськов», потом зачеркнул и его, восстановив штрихами первоначальное, затем снова повторил «Гуськов» и, наконец, дал в цензурном отношении нейтральное: «Из кавказских записок. Встреча в отряде с московским знакомым». Существует еще один вариант заглавия (рукой переписчика) – на обложке, в которую заключена данная рукопись: «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный N.». Заглавие, под которым рассказ появился в свет, «Встреча в отряде с московским знакомым. Из кавказских записок князя Нехлюдова», повторялось затем во всех прижизненных изданиях «Сочинений гр. Л.Н. Толстого» начиная с 1864 г. (изд. Ф. Стелловского). Лишь в т. 3 Юб. (1932) было восстановлено первоначальное авторское название, которое принято и в наст. изд.

Видимо, и некоторые другие изменения в рукописи связаны с цензурными условиями того времени. Вместо «ругали начальство» – «рассуждали о начальстве»; вместо «разжалованный» – «нижний чин» (хотя в иных местах остался «разжалованный»). Смягчение тона происходило и при дальнейшей правке, в корректуре. Хотя корректуры не сохранились, сличение рукописи с журнальной публикацией показывает, что было исправлено Толстым в окончательной редакции и в какой мере он выполнил предписание цензора Щербатова, а также советы Дружинина.

«Сидел в крепости» изменено повсюду на «сидел под арестом»; убраны резкие характеристики офицерской среды. Так, из фразы: «ужасное общество офицеров» снято слово «ужасное»; вместо: «эти свиньи офицеры» – «эти офицеры»; вместо: «...с юнкерами (это самый развратный класс людей в России) и солдатами – это звери какие-то, в которых нет ничего человеческого» – осталось «с юнкерами»; вместо: «пьянство» – «кутеж». Снято: «В делах этот полк бывает редко, поэтому пьянство, карты, разврат процветают там в высшей степени, больше, чем здесь»; офицеры стали «отплачивать» Гуськову «мелкими подлыми унижениями», в журнальном тексте убрано слово «подлыми».

Смягчено в окончательном тексте и описание светского общества. Так, например, опущена характеристика Ивашиной – сестры Гуськова: «В ней был развит в высшей степени тот русский, особенно петербургский аристократизм, выражающийся только в подобострастии перед известным светом и известным *comme il faut*, сквозь который они криво, косо и безнравственно смотрят на весь мир Божий, и аристократизм, который никакие несчастья, никакое влияние не в состоянии выбить из человека, ежели он правильным воспитанием и, еще хуже, успехом в свете привился к нему». В печати вместо этих строк появилось многоточие.

Щербатов просил показать, что автор «возмущен был злостными отзывами Гуськова о его товарищах и храбрых воинах» (*Чуковский К. Люди и книги шестидесятих годов*, с. 259), Толстой сделал вставку: «Мне было противно, что он, потому, верно, что я знал по-французски, предполагал, что я должен был быть возмущен против общества офицеров, которое я, напротив, пробыв долго на Кавказе, успел оценить вполне и уважал в тысячу раз больше, чем то общество, из которого вышел господин Гуськов. Я хотел ему сказать это, но его положение связывало меня». Впрочем, в суждении этом слышится отзвук мыслей самого Толстого, да и вся творческая работа влекла к некоторому снижению образа Гуськова. Первоначально он был описан в более мягких тонах, выглядел более жалким и робким. Потом Толстой внес, еще в рукописи, поправки, убрав определения: «робко», «испуганно», «краснея», «добрый»; зачеркнул строки, раскрывающие отношение автора к Гуськову: «...лицо Гуськова виднелось мне таким глубоко печальным и несчастным, что снова я к нему чувствовал какое-то уважение и сострадание вместе к его несчастию и не знал, что говорить ему». В журнальном варианте появилось еще несколько изменений. Так, сокращено в его рассказе: «...все дурное я принимал к сердцу, бесчестность, несправедливость, порок были мне отвратительны и я прямо говорил свое мнение и говорил неосторожно, слишком горячо и смело». Причина «несчастья» обозначена в итоге лаконично: «Я был ужасно молод в то время и мало ценил все эти выгоды».

2

В основу рассказа легли воспоминания о встреченных на Кавказе офицерах, разжалованных в рядовые. Сам Толстой назвал брата редактора-издателя журнала «Вестник Европы» М.М. Стасюлевича – А.М. Стасюлевича: «Когда ему было еще лет восемнадцать-двадцать, он был гвардейским офицером. Его назначили в караул в остроги, и на беду в его дежурство кто-то бежал из острога. Николай Павлович велел его разжаловать в рядовые и сослать на Кавказ. Я его описал отчасти в рассказе “Встреча в отряде с московским знакомым”. Я нехорошо это сделал, он был так жалок, и не следовало его описывать. Впрочем, это не совсем он. Я соединил с ним еще Кашкина, который судился вместе с Достоевским» (*Гольденвейзер*, с. 88).

Кроме А.М. Стасюлевича и Н.С. Кашкина был и еще один «разжалованный», который заинтересовал Толстого. 16 июня 1852 г. он записал в дневнике: «Разжалованный женатый Европеус очень интересуется меня». А.И. Европеус и Н.С. Кашкин были арестованы за участие в кружке М.В. Буташевича-Петрашевского, осуждены на смертную казнь и после того, как пережили ужасные минуты на эшафоте в ожидании расстрела, были сосланы на Кавказ. Здесь, на Кавказе, и состоялась встреча Толстого – в 1852 г. (судя по дневниковой записи) с А.И. Европеусом и в 1853 г. с Н.С. Кашкиным. Как передавал Н.Н. Каш-

кин воспоминания своего отца, Н.С. Кашкина, «летом 1853 года, заболев лихорадкой, Н.С. ездил лечиться в Железноводск, где познакомился с юнкером графом Л.Н. Толстым, с которым сошелся “на ты” и с которым до самой смерти великого писателя сохранил добрые отношения» (*Кашкин Н.Н.* Родословные разведки. СПб., 1913. Т. 2. С. 572).

Основные сведения об отношениях Толстого и разжалованного А.М. Стасюлевича заключает в себе дневник писателя. Стасюлевич, «человек с очень хорошими способностями, – так начал свою запись Толстой, – рассказывал мне историю своего несчастья». Он был разжалован в солдаты с лишением дворянства по обвинению «в выпуске арестантов» из тюрьмы (Метехского замка). В действительности же заключенных выпускал по ночам из замка другой караульный офицер, получавший за это часть награбленных ими денег. Когда однажды «грабеж их не удался» и «они были открыты», Стасюлевича арестовали за «неисполнение караульных обязанностей», хотя тот «ничего не знал» о ночных похождениях отпущенных не им арестантов. «Виновен ли он или нет? – спрашивал себя Толстой. – Бог знает, но когда он рассказывал мне (он-то прекрасно говорит) свое горе и его жены, я едва сдержался от слез» (запись в дневнике от 4 ноября 1853 г.). О встрече с А.М. Стасюлевичем в 1866 г. Толстой вспоминал в письме к его брату М.М. Стасюлевичу 10 мая 1908 г.: «Он был после разжалованья младшим офицером в стоявшем близ Ясной Поляны полку. У меня остались о нем самые хорошие воспоминания. Он навел меня на мысль защищать на суде солдата их полка, который за нанесенный удар ротному судился военным судом». Толстой выступил защитником солдата Шибунина на заседании военно-полевого суда и обращался с просьбой к А.А. Толстой ходатайствовать через военного министра Милютина о помиловании. А.М. Стасюлевич «сделал все, что мог, чтобы спасти солдата, – продолжал свои воспоминания Толстой в том же письме от 10 мая 1908 г., – но, несмотря на мои и его старания, солдат был казнен». Письмо Толстого П.И. Бирюкову от 24 мая 1908 г. подтверждало его самое доброе отношение к А.М. Стасюлевичу: «...я недостаточно знал его, чтобы поглубже вникнуть в его душевное состояние. Одно знаю, что общение с ним было приятно и вызывало смешанное чувство сострадания и уважения» (*Бирюков*, т. 2, с. 44).

4 ноября 1853 г. Толстой изложил в дневнике «историю» Стасюлевича. А на другой день упомянул еще об одном сослуживце – Акршевском, который тоже рассказал свою «историю». При этом Толстой добавил: «...он слишком кажется жалок, чтобы быть политическим преступником». Учитывая такое отношение Толстого к «политическим», можно предположить, что ни Кашкин, ни Европеус, «политические» ссыльные, не казались писателю столь жалкими, как герой его рассказа. В процессе развития замысла, зародившегося еще на Кавказе, работы над ним, использования столь характерных для Толстого светотеней, возник художественный образ, значительно отделившийся от своих прототипов, отчасти даже противоположный им, но созданный в то же время без «злонамеренности», которой не хотел бы видеть в «Разжалованном» автор (письмо Д.Я. Колбасину от 24 марта (5 апреля) 1857 г.).

По свидетельству современников, новый рассказ Толстого «прошел почти незаметным» (*В.П. Боткин и И.С. Тургенев. Неизданная переписка*, с. 112). И.И. Панаеву даже казалось, что вера в Толстого поколебалась такими произведениями, как «Разжалованный» (*Тургенев и круг «Современника»*, с. 442).

1 января 1857 г. Толстой получил письмо от Тургенева, с кратким упоминанием о «Разжалованном»: «Ваш рассказ в “Б(иблиотеке) для ч(тения)” я получу – а потому не присылайте его...» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 167). Отметив в

тот же день в дневнике получение этого «сухого, но милого» письма, на следующий день Толстой с тревогой писал брату, С.Н. Толстому: «Мои две повести в “Отечественных записках” (“Утро помещика”) и “Библиотеке для чтения” (“Разжалованный”), кажется, имели мало успеха, как и следовало ожидать, потому что были написаны наскоро». В октябре того же года, после поездки в Петербург, Толстой отразил в дневнике свои впечатления от этой поездки: «Петербург сначала огорчил, а потом совсем оправил меня. Репутация моя пала, или чуть скрипит. И я внутренне сильно огорчился; но теперь я спокойнее, я знаю, что у меня есть, что сказать и силы сказать сильно».

Размышляя об этом периоде творчества Толстого, П.И. Бирюков согласился с мнением В. Зелинского, автора труда «Русская критическая литература о произведениях Л.Н. Толстого. Хронологический сборник критико-биографических статей»: «Вообще с 1857 по 1861, по замечанию Зелинского, издавшего сборник критических статей о Толстом, несмотря на все его старание, он за эти года не нашел отдельных критических статей и рецензий о произведениях Льва Николаевича Толстого, несмотря на то, что за это время им напечатаны такие замечательные произведения, как “Юность”, “Люцерн”, “Альберт”, “Три смерти”, “Семейное счастье”» (Бирюков, т. 1, с. 167). Конечно, эти произведения не привлекли столь пристального внимания, как раньше «Детство», а позднее «Казачи», «Война и мир», «Анна Каренина» и др. Но с большим основанием слова биографа П.И. Бирюкова и В. Зелинского можно было бы отнести к «Разжалованному». И тем не менее, нельзя сказать, что этот рассказ совсем не был замечен.

В 1857 г. в «Сыне отечества» в «Обзоре литературных журналов» (№ 2 от 13 января) появилось сообщение о том, что в декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» напечатан рассказ, в котором «выведен новый, любопытный тип петербургского франта, разжалованного в солдаты за какую-то вину. Лицо это мастерски обрисовано; неловкие отношения его к офицерам выставлены прекрасно. (...) В легких очерках являются тут и другие типы кавказцев...» (с. 42).

Ап. Григорьев увидел в рассказе Толстого пример беспощадного отношения писателя «ко всему искусственному и сделанному», к тому, что нашло отражение в «ломаной личности юнкера» Гуськова (Время. 1862. № 9. Отд. II. С. 26. – «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения. Статья вторая. Литературная деятельность графа Л. Толстого»).

Позднее С.А. Венгеров счел необходимым особенно подчеркнуть название статьи Ап. Григорьева: «Аполлон Григорьев имел право назвать свою статью о Толстом (“Время”. 1862 г.): “Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой”. Чрезвычайно радушно встретив дебюты Толстого и “Севастопольские рассказы”, признав в нем великую надежду русской литературы (Дружинин даже употребил по отношению к нему эпитет “гениальный”), критика затем лет на 10–12, до появления “Войны и мира”, не то что перестает признавать его очень крупным писателем, а как-то охладевает к нему. (...) А между тем, материал для критики Толстой давал и до появления “Войны и мира” первостепенный» (Венгеров, с. 452).

В статье «“Война и мир”. Сочинение графа Л.Н. Толстого» Н.Н. Страхов вернулся к определению Ап. Григорьева всего того «искусственного» и «сделанного», что отразилось в личности Гуськова-разжалованного (Заря. 1869. № 2. «Критика». С. 240–241. – Статья вторая и последняя).

Об отражении искусственной стороны жизни – «подкладки барства» – в рассказе «Разжалованный» писал и О. Миллер: «Несмотря на все испытания и

на всю некрасивую обстановку настоящей жизни, подкладка барства сохранилась тут всецело и сказывается с прежней силой. В этом смысле как заграничные, так и Кавказские записки кн. Нехлюдова представляют связь с остальными повестями гр. Толстого» (*Миллер О. Русские писатели после Гоголя*, с. 252).

Внимание К. Головина, автора книги «Русский роман и русское общество» (СПб., 1897), привлек прежде всего образ не «разжалованного», а Нехлюдова, объединивший три рассказа: «Утро помещика», «Встреча в отряде» и «Люцерн». Причем Нехлюдова из «Записок маркёра» Головин, напротив, счел представителем «другого типа», хотя из того же класса, – типа, носящего «все признаки вырождения, не в силу своих дурных инстинктов, а просто вследствие бесхарактерности». Не таков Нехлюдов в «Утре помещика», в «Разжалованном», в «Люцерне»: «он увлекается, правда, но увлекается благотворительностью. Он быть может неловок в своих приемах, но неловок только по неопытности, и стыдиться ему этого незачем». Если в «Утре помещика» Нехлюдов – юноша, то во «Встрече в отряде с московским знакомым» – это совсем уже зрелый человек, и поставлен он по отношению к окружающим его людям – «и это очень редкий пример у Толстого – в положение несомненно преобладающее. С военными товарищами Нехлюдов держит себя просто и спокойно, без всякого оттенка заносчивости или спеси, и его превосходство становится особенно ярким при сопоставлении с прежним столичным знакомым, разжалованным вследствие какой-то истории и представляющим чрезвычайно типичную смесь угодливости и хвастовства» (с. 138–140).

Во «Встрече в отряде», писал Р. Лёвенфельд, переводчик этого рассказа на немецкий язык, «описание военной жизни отходит на задний план, и первое место в нем принадлежит Гуськову, в лице которого Толстой изобразил целый класс людей, часто встречающихся в русском дворянстве». «Представителей образованного общества мучит жажда блеска, почестей, богатства, добродетель же для них в одних случаях является предлогом, в других – средством, но никогда не бывает самостоятельной целью. Народ же, напротив, живет бессознательно хорошей, нравственной жизнью» (*Leo N. Tolstoj, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung. Von Raphael Löwenfeld. Erster Teil. Berlin, 1892. S. 54–56; Лёвенфельд Рафаил. Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание. СПб., 1896. С. 69, 70*).

Соотнеся рассказ «Встреча в отряде» с рядом других произведений Толстого, объединенных одним героем, Нехлюдовым, в котором критик нашел много автобиографических черт, Е. Цабель причислил этот рассказ к наиболее значительным в литературном отношении произведениям, действие которых происходит на Кавказе. «Вместо благородного и вдохновенного пафоса, в котором изливали свои рифмы вожди романтической школы, образы Толстого дышат правдивостью, ровной, простой, неизменно верной себе» (*Zabel Eugen. L.N. Tolstoj. Leipzig, Berlin; Wien, 1901. S. 22; Цабель Евгений. Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк. Киев, 1903. С. 45*).

Бегло, как факт творческой биографии Толстого, как отражение одного из моментов пребывания его на Кавказе упомянут рассказ «Встреча в отряде» в книге Дж. Перриса (*Leo Tolstoy. The grand Mujik. A Study in Personal Evolution. By G.H. Perris. London, 1898. P. 49*).

Эдвард Стейнер воспринял героя рассказа Толстого, разжалованного Гуськова, как представителя той среды, в которой проматывались состояния и разрушались характеры и которая столь отлична от простых людей, не растрачивающих жизнь в бесцельности. И все-таки, по мнению Стейнера, героев, подобных Гуськову, Толстой склонен изображать таким образом, что они вызывают не

чувство презрения, а скорее готовность сочувствовать несчастным и грешным (Steiner Edward A. Tolstoy the man. New York, 1904. P. 67–69).

Более категоричной была оценка героя рассказа, Гуськова, английским биографом Толстого – Э. Моодом. Как полагал Моод, в рассказе «Разжалованный» дано уничтожающее изображение трусости «человека из общества», проявленной им тогда, когда обстоятельства подвергли его испытанию (The Life of Tolstoy. First fifty years. By Aylmer Maude. London, 1908. P. 157–158).

При жизни Толстого «Разжалованный» был переведен на английский, датский, итальянский, испанский, немецкий, португальский, французский, чешский, шведский языки.

Первый перевод на английский язык вышел в 1887 г.: An old acquaintance. Transl. by N.H. Dole. In: The invaders and other stories. N.Y., 1887; переиздано в 1888, 1899 гг. В переводе Э. Моода (A. Maude) рассказ был напечатан в Лондоне в 1901 г.: Meeting a Moscow acquaintance in the detachment; переиздан в 1903, 1905 и 1910 гг. В переводе Л. Винера (L. Wiener) рассказ вышел в Лондоне и в Бостоне в 1904 г.: Meeting a Moscow acquaintance at the front.

В 1887 г. появился перевод «Разжалованного» на немецкий язык: Wie ich einem Moskauer Bekannten im Felde begegnete. Aus den kaukasischen Tagebüchern des Fürsten Nechljudow. Übers. v. H. Roskoschny. In: Russische Soldatengeschichten und kleine Erzählungen. Leipzig, 1887. В переводе Гауфа (L.A. Hauff) рассказ был опубликован в 1888 г. В переводе Р. Лёвенфельда (R. Löwenfeld) он был помещен в третий том собрания сочинений, выходившего в 1891–1893 гг.; переиздан в 1897, 1901 гг. в том же переводе.

В 1889 г. рассказ вышел в переводе на чешский язык: Setkáni s moskevským známým ve vojště. Přel. J.K. Pravda. In: Pisy. Praha, 1889. Sv. 2.

В 1890 г. «Разжалованный» был переведен на датский язык: Et møde med en gammel bekendt. Overs. af W. Gerstenberg. In: Soldaterliv i Kavkasus... Kjøbenhavn, 1890. В том же 1890 г. появился перевод рассказа на французский язык: Une rencontre en campagne, souvenir du Caucase. In: Paysans et soldats, scènes de la vie militaire et de la vie champêtre en Russie. Paris, 1890. В переводе Гальперина-Каминского (Halpérine-Kaminsky) рассказ вышел в 1900 г. В переводе Бинштока (Bienstock) был включен в четвертый том (Paris, 1903) собрания сочинений, выходившего под наблюдением П.И. Бирюкова.

В 1891 г. рассказ был издан на шведском языке: Ett underligt sammanträffande. Övers. av W. Hedberg. In: Från Kaukasus jämte flera berättelser. Stockholm, 1891; в 1901 – на испанском языке: Un encuentro en el Caucaso. Trad. de R. Sempau. In: Imitaciones. – Los casacos. Barcelona, 1901; в 1902 г. – на итальянском языке: Un incontro al Caucaso. Trad. di P. Ottolini. In: Usseri. Milano, 1902; в 1906 г. – на португальском языке: Um encontro no destacamento com um conhesido de Moscou. Diario de Caucaso do principe Nekhludof. Trad. de J. Leitão. In: Os cavalleiros da guarda. Lisboa, 1906.

С. 106. ...*монетов тысячу спустил...* – Монет – серебряный рубль.

С. 107. ...*не выиграл ни абаз...* – Абаз – мелкая серебряная монета в Иране, Грузии, Афганистане, чеканившаяся в 1802–1832 гг. царским правительством. В выражении: не выиграл ни абаз – ни одной копейки, ничего.

С. 108. ...*не отгибаться, поднявшись с маленького куша...* – Отгибаться – разгибать угол карты, загнутый в знак увеличения ставки. Куш – ставка в карточной игре.

Бастовать – термин карточной игры, от итал. basta (довольно).

С. 109. ...*в Венгерской кампании...* – Имеются в виду события, связанные с Венгерской революцией 1848–1849 гг. Габсбургская монархия обратилась

за помощью к России. Николай I направил войска на подавление Венгерской революции.

С. 112. *Вот как медведь пустыннолку услужил.* – Подразумевается басня И.А. Крылова «Пустыннолк и медведь».

С. 120. *Он странно играет, всегда арбур...* – т. е. играет на квити, ставит на карту всю выигранную сумму (от фр. à rebours).

ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА. ЛЮЦЕРН

Впервые: Современник. 1857. № 9 (ценз. разр. 31 авг.). С. 5–28. Подпись: Граф Л.Н. Толстой.

Печатается по тексту «Современника» с исправлениями:

С. 131, строка 20: человекка – вместо: человека (по автографу)

С. 146, строки 34–35: ни в какой деревне – *вместо*: ни в широкой деревне (по смыслу).

1

В основу рассказа лег случай, происшедший 25 июня (7 июля) 1857 г. в швейцарском городе Люцерне, куда Толстой приехал накануне из Берна. «Приехал в Люцерн, вид прелестен», – отмечено в дневнике. На следующий день произошел глубоко взволновавший его эпизод. «Проснулся в 9, пошел ходить в пансион и на памятник Льва. (...) Ходил в Privathaus (частный дом). Возвращаясь оттуда, ночью – пасмурно – луна прорывается, слышно несколько славных голосов, две колокольни на широкой улице, крошечный человек поет тирольские песни с гитарой и отлично. Я дал ему и пригласил спеть против Швейцерхофа – ничего; он стыдливо пошел прочь, бормоча что-то, толпа, смеясь, за ним. А прежде толпа и на балконе толпились и молчали. Я догнал его, позвал в Швейцерхоф пить. Нас провели в другую залу. Артист пошляк, но трогательный. Мы пили, лакей засмеялся и швейцар сел. Это меня взорвало – я их обругал и взволновался ужасно». И далее запись, раскрывающая состояние души Толстого: «Ночь чудо. Чего хочется, страстно желается? не знаю, только не благ мира сего. И не верить в бессмертие души! – когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие? Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть. – Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?»

А.А. Толстая, бывшая в то время в Швейцарии с великой княгиней Марией Николаевной, вспоминала, как неожиданно к ним явился Лев Николаевич. «Он прибыл в Люцерн двумя днями ранее нас и уже успел пройти через целую драму (...) Лев был страшно возбужден и пылал негодованием. Вот что мы узнали от него и что случилось накануне. Какой-то бродячий музыкант играл очень долго под балконом Швейцергофа, на котором расположилось весьма порядочное общество. Все слушали артиста с удовольствием; но когда он поднял шляпу для получения награды, – никто не бросил ему ни единого су; факт, конечно, некрасивый, но которому Лев Николаевич придавал чуть ли не преступные размеры. Чтобы отомстить расфранченной публике, он на ее глазах схватил музыканта под руку, посадил его с собою за стол и приказал подать ужин с шампанским. Едва ли публика да и сам бедный музыкант поняли всю иронию

этого действия. В этой черте проявился зараз писатель и человек» (Воспоминания графини А.А. Толстой // *Переписка с А.А. Толстой*, с. 11).

В тот же день, 25 июня (7 июля), Толстой отметил в записной книжке: «Протестантское чувство – гордость, католическое и наше humilité (смирение) во всей жизни. – Бросить бедному тирольцу они не хотели, а спасти душу с трудом, это их дело – гордость».

Под впечатлением пережитого на следующий же день Толстой начал писать рассказ в форме письма к В.П. Боткину. «Давно уже я собирался писать вам из-за границы (...) впечатление вчерашнего вечера в Люцерне так сильно засело мне в воображение, что, только выразив его словами, я отделаюсь от него и что, надеюсь, оно на читателей подействует хоть в сотую долю так, как на меня подействовало». И далее идет текст рассказа: «Люцерн небольшой швейцарский городок...». Это и есть единственный сохранившийся автограф – первая редакция произведения¹. Заглавия нет; позднее после вступления вписано: «Из путевых записок князя Нехлюдова».

27 июня (9 июля) в дневнике отмечено: «...писал Люцерн...». И тогда же в письме Боткину: «Я занят ужасно, работа – бесплодная или нет, не знаю – кипит; но не могу удержаться, чтоб не сообщить вам хоть части того, что бы хотелось переговорить с вами. Во-первых (...) многое за границей так ново и странно поражало меня, что я набрасывал кое-что с тем, чтобы быть в состоянии возобновить это на свободе. Ежели вы мне посоветуете это сделать, то позвольте писать это в письмах к вам. Вы знаете мое убеждение в необходимости воображаемого читателя. Вы мой любимый воображаемый читатель. Писать вам мне так же легко, как думать; я знаю, что всякая моя мысль, всякое мое впечатление воспринимается вами чище, яснее и выше, чем оно выражено мною». Толстой сообщал, что как «образчик будущих писем» посылает «это от 7 из Люцерна», но затем вписал между строк, что оно «еще не готово нынче».

Рукопись не была окончена и не отослана и впоследствии; Боткин познакомился с «Люцерном» только после публикации в журнале (см. ниже). Толстой же продолжал над ним работать. 28 июня (10 июля): «...писал Люцерн порядочно до обеда»; 29 июня (11 июля): «Дописал до обеда Люцерн. Хорошо. Надо быть смелым, а то ничего не скажешь, кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного».

Написав вчерне «Люцерн» за три дня, Толстой отправился в путешествие по окрестным местам, деревням, поднимался на гору Риги. Вернувшись 3 (15) июля в Люцерн, продолжил отделку рассказа. В этот день в дневнике отмечено: «Писал утро. Трудная работа писать. Не ленился, а в целый день переделал 5 листочков, которые еще надо переделать».

4 (16) июля: «Встал в 7, собака разбудила (...) После обеда пописал сколько мог, несмотря на жару...»

5 (17) июля: «Дождь. Славно спал, выкупался и писал целый день. Написал 3/4 Люцерна. Diffus (расплывчато)».

6 (18) июля Толстой читал рассказ А.А. и Е.А. Толстым и хорошему их знакомому полковнику К.Г. Ребиндеру. «Едва почти успел дописать с 7 до 1/2 11. Побежал к ним (Толстым) (...) Прочел Ребиндеру. Он глухое дерево. Очень туп, но сильно желает чего-то доброго. Вечером славная иллюминация и музыка на озере. Прочел им Люцерн».

Авторская дата рассказа в публикации «Современника» – «18 июля 1857 г.».

¹ В *Юб.* помещено (т. 60, с. 199–214) как черновое письмо к В.П. Боткину.

9 (21) июля Толстой, отвечая на неизвестное «недовольное» письмо Боткина от 16 июля, писал: «Главное содержание моего письма, которое вы не разобрали, было следующее. Меня в Люцерне сильно поразило одно обстоятельство, которое я почувствовал потребность выразить на бумаге. А так как в мое путешествие у меня много было таких обстоятельств, слегка записанных мною, то мне и пришла мысль восстановить их все в форме писем к вам, на что я и просил вашего согласия и совета. Люцернское же впечатление я тотчас же стал писать. Из него вышла чуть не статья, которую я кончил, которой – почти доволен и желал бы прочесть вам, но, видно, не судьба. Покажу Тургеневу, и если он апробует, то pošлю Панаеву».

Вводя заголовок с «князем Нехлюдовым», Толстой устранил прямой автобиографизм, однако сохранил повествование от первого лица. В печати перед текстом добавлена дата «8 июля» – как бы дневниковой записи «Вчера вечером я приехал в Люцерн...».

В автографе следы разновременной (разные чернила и бумага) и основной работы: переделки, вставки, зачеркивания, стилистическая правка. Так, при описании красот озера вставлено: «окружающая меня красота, к которой я был равнодушен, поразила меня». Вместо: «Все получило для меня значение» – стало: «Все спутанные невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение». Фраза: «Наверху публика молчала, но, видимо, ожидала» – переделана: «Я дал ему несколько монет. Наверху публика молчала, но, видимо, ожидала, и никто не бросил ему копейки, несмотря на то, что он с фуражкой подходил к ним». Добавлено: «Я не отдавал еще себе отчета в том, что я испытывал, но что-то было не то, больно и стыдно».

Много вставлено уточняющих определений, например, к словам: «80 человек» добавлено «блестяще одетых»; к слову «балконов» – «великолепного дома»; к словам «с улыбочкой» – «кратко-насмешливой»; к слову «горбунья» – «добродушная» и т. п.

Иногда Толстой оставлял место для слова или нескольких слов, которые так и остались не вписанными. Есть заметки по тексту: «Толпа – свинья, нечего и говорить»; «То, что они думают знать, убивает чувство».

Принято считать, что в рукописи нет конца; вернее предположить, что первая редакция на этом заканчивалась.

Толстой познакомил с рассказом Тургенева, по-видимому, в Бадене, где они были вместе 19 (31) июля – 21 июля (2 августа). 23 июля (4 августа) Тургенев писал Боткину: «Я прочел небольшую его вещь, написанную в Швейцарии, – не понравилась она мне: смешение Руссо, Теккеря и краткого православного катехизиса» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 244).

По приезде в Петербург Толстой 1 августа читал «Люцерн» на даче у Некрасова в присутствии А.Я. и И.И. Панаевых. «Подействовало на них», – заметил Толстой в дневнике. Свое мнение о рассказе Панаев высказал в письме к Боткину уже после опубликования «Люцерна» (см. ниже).

Некрасов, не имея ничего подходящего для сентябрьского номера «Современника» от «участников соглашения» (см. комментарии к рассказу «Разжалованный»), ждал с нетерпением рассказа от Толстого. Еще 27 июля Некрасов писал ему: «...Бога ради, пришлите повесть Вашу на IX № “Современника”, то есть вышлите ее не более как через неделю или 9 дней по получении этого письма. Это необходимо. Ни от кого из участников *ничего нет* – 1-е отделение «Современника» из рук вон плохо, а между тем при 9 книге нужно выпускать объявление о подписке на 1858 год. *С какими глазами?*.. Пожалуйста, выручите, а то, ей-богу, окончательно руки опустятся» (*Некрасов*, т. 14, кн. II, с. 85).

Как видно из записи в дневнике, Толстой 22 августа прочитал и отправил в «Современник» корректуру «Люцерна»: «Получил корректуры, переправил кое-как. Ужасно взбалмошно. Послал...» 31 августа получено цензурное разрешение.

12 сентября 1857 г. в «Русском инвалиде» (№ 195) появилось объявление о выходе в свет № 9 «Современника» с рассказом Толстого «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн».

Ни наборного экземпляра, ни корректур рассказа не сохранилось. Сравнение журнального текста «Люцерна» с ранней рукописью показывает, что, кроме перемены формы произведения – от рассказа в виде письма к повествованию от первого лица (вступительные строки просто сняты) и к откровенно публицистическому окончанию, рукопись претерпела ряд других изменений. Последовательность событий (встреча с музыкантом, его игра, сцена в ресторане) осталась та же, но отдельные описания и рассуждения были расширены и углублены.

Так, значительно расширено описание английского чопорного общества, мертвящей гнетущей обстановки за общим столом в фешенебельной гостинице, как и сравнение с непринужденной обстановкой, царившей в парижском пансионе.

Судя по журнальному тексту, изменена речь музыканта-тирольца. В его французской речи Толстой отметил особенности немецкого произношения, вызвавшие «хохот в окружающей толпе».

В то же время снято несколько конкретизирующих названий и имен. Вместо «шампанского Моёте» стало: «шампанского, и самого лучшего»; опущена фамилия автора «песни Риги».

Наибольшие изменения в заключительной части рассказа, посвященной рассуждениям о республиканском равенстве и осуждению западноевропейской цивилизации. Расширены, углублены страстные обличения Толстого. Так, например, добавлено в инвективе, обращенной к английским путешественникам: «Зачем вы все покинули свое отечество, родных, занятия и денежные дела и столпились в маленьком швейцарском городке Люцерне?» Более ярко и эмоционально, чем в раннем варианте, звучит осуждение богатой и безразличной к чужим страданиям толпы: «...ваша жизнь до того запутала и развратила, что вы смеетесь над тем, что одно любите, и ищете одного того, что ненавидите и что делает ваше несчастье. Вы так запутались, что не понимаете того обязательства, которое вы имеете перед бедным тирольцем, доставившим вам чистое наслаждение, а вместе с тем считаете себя обязанными даром, без пользы и удовольствия, унижаться перед лордом и зачем-то жертвовать ему своим спокойствием и удобством. Что за вздор, что за неразрешимая бессмыслица!»; «Отчего эти развитые, гуманные люди, способные, в общем, на всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого сердечного чувства на личное доброе дело?» и т.д. Расширено рассуждение о «непогрешимом руководителе» – всемирном духе.

Составляя в 1905 г. сборник «Круг чтения», Толстой включил в него большую цитату о всемирном духе из рассказа «Люцерн».

2

П.И. Бирюков писал по поводу откликов критики на рассказ Толстого: «Люцерн» «был не понят критикой и потому прошел почти незамеченным» (Бирюков, т. 1, с. 167). Хотя и немногочисленные, отзывы критики все-таки были, но часто они свидетельствовали о справедливости слов Бирюкова: рассказ и его автор не всегда были поняты. Среди первых читателей не все восприняли

критический пафос «Люцерна». После благожелательного, но очень беглого упоминания рассказа «Люцери» в «Северной пчеле» в заметке Н.И. Греча, подписанной псевдонимом Эрмион (Северная пчела. 1857, 16 сентября. № 201), в «С.-Петербургских ведомостях» (1857, 28 сентября. № 210) была напечатана статья за подписью П.Б. в которой рассказ Толстого был истолкован как выражение «какой-нибудь болезненной настроенности, какого-нибудь недуга»: «Непонятно, как можно видеть в этом ничтожном случае какой-то глубокий смысл и серьезное значение. Граф Толстой видит в этом случае какой-то важный *“факт в истории прогресса и цивилизации”*! Он выводит из него странное заключение о бесчеловечии целого общества, целой эпохи!».

Прочитав этот отзыв рецензента «С.-Петербургских ведомостей», Толстой, недовольный художественным исполнением рассказа, писал Некрасову 11 октября 1857 г.: «...какова мерзость и плоская мерзость вышла моя статья в печати и при перечтении. Я совершенно надул себя ею, да и вас, кажется. (...) Вчера прочел, как меня обругали в “Петербургских ведомостях”, и поделом». В этом же письме Толстой просил сообщить ему мнение Дружинина и Анненкова. П.В. Анненкову, мнением которого интересовался Толстой, «Люцери» не понравился. 16 ноября 1857 г. он писал Тургеневу: «Повесть его, ребячески восторженная, мне не понравилась. Она походит на булавочку, головке которой даны размеры воздушного шара в три сажени диаметра» (*Труды ГБЛ*, с. 72). Впечатление Анненкова от «Люцерна» совпало с мнением Тургенева. «Я не думаю, чтобы вам понравилось его последнее произведение», – писал он Анненкову 31 октября (12 ноября) 1857 г. (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 268). А самому Толстому Тургенев советовал: «...идите своей дорогой и пишите – только, разумеется, не Люцернскую морально-политическую проповедь» (там же, с. 275; письмо от 25 ноября (7 декабря) 1857 г.).

Не столько недоброжелательно, сколько осторожно отозвался о «Люцерне» И.И. Панаев. 16(28) октября 1857 г. он писал В.П. Боткину: «Его рассказ “Люцери” на публику подействовал неблагоприятно. – Когда я слышал его из уст автора, читавшего с раздражением внутренним и со слезами в конце, – рассказ этот подействовал на меня сильно, но потом, когда я перечел его сам, он произвел на меня совсем другое впечатление. Видно, что это писал благородный и талантливый, но очень молодой человек, из ничтожного факта выводящий бог знает что – и громащий беспощадно все, что человечество вырабатывало веками, потом и кровью... Горячо, но смешно; к тому же из рассказа этого немного выглядывает русский барчонок... Нет, философствовать ему еще рано, – надо пожить и поучиться» (*Тургенев и круг «Современника»*, с. 427–428). Боткин согласился с мнением Панаева, высказав свое отношение к «Люцерну» в письме от 17 (29) января 1858 г.: «“Люцери”, Толстого, я наконец прочел здесь (в Риме), – и искренно пожалел, что он не послушался совета Тургенева и напечатал его. Это во всех отношениях не только детская вещь, но еще неприятная; [великодушная по наружности, она мелка] и самую непривлекательную роль разыгрывает в ней сам автор» (там же, с. 437). Особенно «неприятным» в «Люцерне» Боткину представлялось то, что он называл «православным катехизисом» вслед за Тургеневым (см. письмо Тургенева Боткину от 23 июля (4 августа) 1857 г.). «...не могу себе объяснить, как он так глубоко уселся в нем. Сжатость и ограниченность воззрения смущает меня, между тем как с другой стороны пылливость его и анализ идут до нелепых даже крайностей» (*В.П. Боткин и И.С. Тургенев. Неизданная переписка*, с. 123–124).

27 октября 1857 г. в еженедельнике «Сын отечества» (№ 43) в «Обзоре литературных журналов» была дана противоречивая, двойственная оценка

«Люцерна». Автор обзора, признавая гуманную, благородную цель рассказа, вместе с тем выражал неудовлетворенность его героем и описаниями природы. Он был недоволен тем, что Толстой «навязал» такие теплые страницы рассказа «пустому» герою. «Почему он не рассказал просто, от своего имени, эту простую, но полную смысла сцену, эти верные размышления? Есть еще в рассказе гр. Толстого один недостаток, общий со всеми писателями, которые вставляют в свои повести описания природы: это очень красивые, но слишком вычурные фразы и сравнения, в которых однако же очень мало смысла, если рассмотреть их поближе. Так и в этом рассказе у гр. Толстого есть и *скомканная* черная даль, и лучи, *прорвавшиеся* с *разорванного* неба, и озеро голубое, как горящая сера, и запутанная, свободная красота, и *росистый, влажный* – свист перепела, и палка, торчащая *глупо, фокусно*» (с. 1051–1052). Все это, по мнению критика, «значит жертвовать точностью – картинному описанию. Как ни натягивай, но озеро никогда не будет походить на горящую серу. Страсть к вычурности простирается в гр. Толстом до того, что он употребляет или тривиальные выражения, или такие, в которых недостает смысла. (...) Но все эти внешние недостатки исчезают перед благородной, гуманной целью рассказа» (с. 1052).

Однако довольно скоро мнение читателей и критики о «Люцерне» стало меняться. За изображением «ничтожного факта» и «внешними недостатками» они увидели нечто более значительное. Два письма Д.В. Григоровича, следующие одно за другим, красноречиво свидетельствуют об этом. Если 25 сентября 1857 г. в письме к Боткину Григорович уверял, что повесть «Люцерн» прошла «без внимания, многим она очень даже не понравилась» (Литературная Россия. 1972. 31 марта. № 14), то уже 5 октября того же года он сообщал Некрасову: «В Москве мне говорили, что Толстой ничего не написал лучше; общее мнение, что повесть отличная» (Архив села Карабиха. М., 1916. С. 98).

Еще ранее, 10 (22) сентября 1857 г., М.Ф. Штакеншнейдер писала Я.П. Полонскому: «Из пьесы Толстого о Люцерне сделаю выписки. Благородный человек должен быть этот гр. Толстой и горячая душа. Понятно, что мы с ним хорошо сошлись. Я начинаю его уважать не только за его произведения, но и за его характер. Его *maledetto* (проклятие) на богатых англичан и равенство швейцарское замечательно. (...) И неужели это то равенство, за которое пролилось столько невинной крови и столько совершено преступлений? Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним звуком слова равенство?» (Русская литература. 1989. № 1. С. 173).

В статьях Ап. Григорьева 1859–1862 гг. так или иначе заходила речь о «Люцерне» Толстого.

В мае 1859 г. в журнале «Русское слово» (№ 5, «Критика») была напечатана статья Ап. Григорьева «И.С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа “Дворянское гнездо” (статья вторая)», где критик противопоставил нападкам на рассказы Толстого «Люцерн» и «Альберт» свои суждения о них: «Я сказал уже, что поэтические натуры, как натура Тургенева, – во всякое новое произведение вносят весь свой внутренний мир, – разумеется, в том моменте этого мира, в каком произведение застаёт душу художника. Поэтому-то деятельность подобных натур – в высочайшей степени искренняя, цельна и крепко связана во всех звеньях своей цепи. Искренность деятельности таких натур подвергается даже весьма часто упреку: так в наше время Толстой, со стороны многих близоруких судей, подвергается упрекам в моральном застое за свои последние произведения, за “Люцерн” и за “Альберта” (...) Положительно можно сказать, что всякая истинно художественная деятельность – как орган неисчерпаемой, вечно обманывающей расчёты, вечно иронической жизни – идет в разрез с теориями, каковы бы они ни были» (с. 20).

В 1862 г. напечатаны две статьи Ап. Григорьева о явлениях литературы, пропущенных критикой (Время. 1862. № 1 и 9), где рассказ «Люцерн» интерпретировался как неожиданное поразивший всех доходящий до отчаяния анализ, посвященный «погибающему миру искусства, страстей, истории» в эпоху утилитаризма (№ 9. Отд. II. С. 27, 26). Такие произведения, как «Люцерн», были созданы Толстым, по мысли Ап. Григорьева, в результате открытий в области «психического анализа, который поразил всех в “Военных рассказах”, в “Детстве и отрочестве”» (№ 1. Отд. II. С. 6).

В статье Д.И. Писарева «Промахи незрелой мысли» (Русское слово. 1864. № 12. «Литературное обозрение») рассказ «Люцерн» назван среди произведений Толстого, изумляющих «обилием, глубиной, силой и свежестью мыслей». Писарев сопоставлял героя «Люцерна» Нехлюдова с тургеневскими героями, Рудиным и Базаровым: «Рудины – чистые говоруны, не имеющие даже понятия о возможности какой-нибудь деятельности, кроме деятельности языка. Базаровы – чистые работники, допускающие деятельность языка только в том случае, когда она содействует успеху работы». Нехлюдовы же занимают «середину, между Рудинными, с одной стороны, и Базаровыми – с другой». Говоря о Нехлюдове, критик пояснял: характер Нехлюдова, «набросанный довольно яркими чертами в “Юности”», дорисован вполне в «Утре помещика» и «Люцерне» (с. 2–5).

На выступление Писарева «Современник» отозвался рецензией А.П. Пятковского (1865. № 4. «Современное обозрение»), в которой отчасти сказалась полемика «Современника» с «Русским словом». Пятковский критически отнесся и к рассказу Толстого, находя, что от «философской премудрости», квиетизма «Люцерн» серьезно «пострадал», и к статье Писарева – за его стремление найти для Нехлюдова «фантастическую середку» между Рудинными и Базаровыми (с. 326, 327). Впоследствии совсем иначе вспомнил статью Писарева Ф.И. Булгаков. «“Детство”, “Отрочество”, “Юность”, “Утро помещика”, “Люцерн”, – писал Булгаков, – заставили даровитого критика призадуматься над тем безнадежным воспитанием, какое формировало “страшно болезненные” характеры личностей, подобных Иртеньеву и Нехлюдову» (Булгаков, с. 5).

В статьях Н.Н. Страхова (“Наша изящная словесность” // Отечественные записки. 1866. № 12 и «“Война и мир”. Сочинение графа Л.Н. Толстого» // Заря. 1869. № 2) рассказ Толстого «Люцерн» рассматривался в ряду с другими ранними произведениями Толстого, как важная веха на пути творческих поисков, приведших к созданию «Войны и мира». Герои Толстого, писал Страхов, «буквально бродят по свету, нося в себе свой идеал, и ищут идеальной стороны жизни». «Они строго судят людей и себя; но у них нет никакого руководства, которое бы научало их различать добро от зла. (...) Для князя Д. Нехлюдова в “Люцерне” мир все еще представляется хаосом. (...) “Кто определит мне, – спрашивает он, – что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного и другого?”» (Отечественные записки. 1866. № 12. С. 806, 809). «“У кого в душе так непоколебимо это *мерило добра и зла*, чтобы он мог мерить им бегущие факты? В “Войне и мире” это мерило очевидно найдено, имеется в полном обладании художника, и он с уверенностью измеряет им всякие факты, какие только вздумает взять» (Заря. 1869. № 2. «Критика». С. 245).

Позднее Орест Миллер, излагая содержание рассказа «Люцерн», сопоставил заключенные в нем идеи с идеями Достоевского, в частности, с идеей романа «Идиот»: «Бедный певец захотел слишком многого. Даже и в Швейцарии натуральных законов не полагается, как не полагается их и в Америке. Эти натуральные законы не существуют ни в каком кодексе, – они должны быть в нравах, и только тогда, когда они будут в нравах, они окажутся действительными,

хотя бы и не были занесены в кодексы. До сих пор не имеется настоящего равенства ни в какой республике, как бы широки ни были ее законы; везде один и тот же всесветный владыка – мешок с золотом; ему беспрекословно поклоняются все. (...) Вопрос о праве всех людей – пользоваться всем, что доступно и открыто человеку, был решен задолго до нашего времени Тем, Кого великий инквизитор у Достоевского хочет возвести на костер. Свободе недостаточно пребывать только в учреждениях, она должна жить в духе человека, и только те учреждения, которые вытекают из свободы духа, действительно надежны и прочны, но если свобода и гуманность отсутствуют в нравах, то никакие либеральные учреждения не в состоянии заменить их. Вот что утверждает Л.Н. Толстой. (...) Эта повесть (“Люцерн”) может быть сопоставлена с “Идиотом” Достоевского. (...) Оба (Достоевский и Толстой) указывают на то, что внутренним миром создается мир внешний, что как скоро вымирает дух – форма теряет всякое значение» (Миллер О. *Русские писатели после Гоголя*, с. 247, 250–251).

Чаще всего рассказ «Люцерн» воспринимался в связи с отношением Толстого к цивилизации. В «Люцерне», писал Р. Дистерло, «подвергается сомнению благо цивилизации». «Рассматривая цивилизацию, которую так горда современная Европа и содействие которой считается высшею заслугой каждого человека, граф Толстой старается пошатнуть этот новый кумир, старается показать то зло, которое несет с собою эта прославленная цивилизация. И его нападки на нее отличаются меткостью и силою, хотя в то же время они и односторонни: в цивилизации не одно только зло» (Дистерло. *Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист*, с. 72).

«Рассмотрение цивилизации», о котором писал Дистерло, действительно имело место и в «Люцерне», и в следующих за ним произведениях Толстого. Но это «рассмотрение» было значительно сложнее, чем подчас истолковывали его критики. Быть может, поэтому менее категоричные суждения, например, А.М. Скабичевского об отношении Толстого к проблемам цивилизации, были ближе к действительности. В рассказе «Люцерн», подчеркивая его автобиографический характер, Скабичевский увидел отражение впечатлений, вынесенных Толстым из первой поездки за границу, отражение размышлений о «страшных противоречиях», тающихся в недрах европейской цивилизации: «Вот уже когда в гр. Толстом вера в прогресс, цивилизацию начала сильно колебаться, и вместе с тем в вопросе, “отчего развитые, гуманные люди, *способные в общем на всякое честное гуманное дело*,” – вы видите уже поворот на путь личного самосовершенствования, на который впоследствии окончательно выступил гр. Толстой» (Скабичевский, с. 170).

В книге профессора Демидовского юридического лица В.Г. Щеглова снова была поднята проблема отношения Толстого к цивилизации. «Поездка за границу нанесла большой удар верованию Толстого в совершенствование, хваленый прогресс европейского общества. Случай с странствующим певцом (в Люцерне) убедил его в том, что европейская цивилизация – ложь, пустое, бессодержательное слово, по крайней мере, для громадной массы населения европейских стран, не участвующей в пользовании благами современной цивилизации» (Щеглов В.Г. *Граф Лев Николаевич Толстой и Фридрих Нитцше. Очерк философско-нравственного их мировоззрения*. Ярославль, 1897. С. 13).

Прямо свое разочарование в европейской жизни, – писал С. Венгеро, – Толстой «высказал в рассказе “Люцерн”. Лежащий в основе европейского общества контраст между богатством и бедностью сквачен здесь Толстым с поражающей силой. Он сумел рассмотреть его сквозь великолепный внешний покров

европейской культуры, потому что его никогда не покидала мысль об устройстве человеческой жизни на началах братства и справедливости» (Венгеров, с. 452).

Однако не только отношение Толстого к европейской цивилизации занимало критиков в конце XIX – начале XX в. Все чаще и чаще стали появляться более разнообразные отклики на рассказ «Люцерн». Так, Я.П. Полонский в книге «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л.Н. Толстого» (СПб., 1896) высказал предположение, что в своих новых идеях, в своей проповеди Толстой начал с конца: будьте все равны и тогда на земле будет любовь, или Царство Божие, тогда как, полагал Полонский, следует проповедовать наоборот: любовь приведет к равенству. «Нельзя проповедовать резни или бойни во имя любви, – во имя же равенства – можно, так как стремление к равенству не может быть без недовольства, без сословной ненависти и без зависти». В подтверждение своей мысли Полонский приводил рассказ Толстого «Люцерн» (с. 64).

Иначе оценивал моральный пафос рассказа «Люцерн» Д.С. Мережковский: «наивнейший, во вкусе Жан Жака Руссо, но вместе с тем уже толстовский анархический бунт» (*Мережковский. Л. Толстой и Достоевский*, т. 2. с. IV).

О «моральной стороне» рассказа «Люцерн» есть строки и в книге Н. Кульмана, вышедшей к пятидесятилетию литературной деятельности Толстого – «Л.Н. Толстой. 1852–1902». (СПб., 1903). Сравнивая рассказ «Люцерн» с более ранними произведениями Толстого, Н. Кульман отметил ту же художественную правду, тонкую наблюдательность и простоту. «Но все больше и больше, – продолжал автор книги о Толстом, – выступает здесь моральная сторона, причем она не режет глаза, а воспринимается читателем вместе с художественными образами незаметно, что является лучшим доказательством необыкновенного творческого таланта» (с. 5).

Обращаясь к моральному пафосу «Люцерна», критики увидели в нем и протест против «великого греха» социального неравенства. «Вы помните его ранние, написанные еще в 1857 году, записки князя Д. Нехлюдова, – писал Вл. Боцяновский в газете «Русь». – Вот этого нищего, страдающего певца итальянца Толстой, подобно Нехлюдову, всю свою жизнь с самой ранней молодости и до настоящего времени находил везде и всюду. Формально провозгласив непротитвление злу, он всю свою жизнь всеми своими силами противился и боролся со злом того порядка, при котором возможны и подобное равнодушие, и тонушие в нем “нищие-певцы”. “Великим грехом” считал всю свою жизнь Толстой положение, при котором возможны подобного рода социальные несправедливости» (В Ясной Поляне. Русь. 1907, 6 сентября. № 236).

Конечно же, не была оставлена без внимания критиками и тема «силы музыки» в рассказе «Люцерн». Иннокентий Анненский в «Книге отражений» (СПб., 1906) писал о том, что в «Люцерне» Толстой превосходно изобразил «все счастье и всю силу музыки; на русском языке, может быть, никогда не было сложено такого одушевленного и такого чистого гимна, Аполлону или Дионису – не знаю. Но тут же в этом рассказе бог музыки был и побежден диалектикой; и великий художник-моралист без труда вступил в свои права» (с. 113).

В статье Ник. Бернштейна «Мысли Л.Н. Толстого о музыке», помещенной в «Петербургской газете», рассказ «Люцерн» назван среди произведений Толстого, в которых музыка «посвящены исключительно яркие по своему красноречию страницы» (Петербургская газета. 1908, 28 августа. № 236).

Как бы подводя итог учению Толстого, как бы оглядываясь на весь жизненный и творческий путь его, С. Франк писал в статье «Нравственное учение

Л.Н. Толстого», приуроченной к 80-летнему юбилею писателя: «Гении противоречивы, как природа, потому что они богаты и полны, как она; и нам остается лишь черпать из них то, что благотворно для нас.

Но догматизм присущ только Толстому-мыслителю; художественное дарование Толстого, граничащее с сверхчеловеческим ясновидением, порывает все внешние, сужающие цепи мысли, дает нам чутя великую, бесконечно сложную и богатую жизнь мирового духа и заставляет пантеистически преклоняться перед нею. И когда Толстой доверяется этому художественно-религиозному чутью, он уходит далеко от своих узких человеческих теорий и показывает нам всю силу жизни и всю серость догматической мысли. Я знаю только одно рассуждение Толстого, в котором достойно сказался весь его гений; это рассуждение принадлежит Толстому – почти юноше, но глубже его он ничего не сказал и позднее.

“Несчастное, жалкое создание – человек с своею потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий! {...} Один, только один у нас непогрешимый руководитель, всемирный дух”».

Приведя эти строки из «Люцерна», С. Франк продолжал: «В этих гениальных словах содержится осуждение едва ли не всего догматического “толстовства”. И все же их написал тот же самый Толстой, и можно только изумляться богатству его духа, который в своем развитии мог обнять такие противоположности. Откинув, с помощью самого Толстого, догматическую, узкую, “слишком человеческую” оболочку толстовства, мы должны использовать его драгоценную сердцевину. Неустанно и сосредоточенно работать над самим собой, безбоязненно искать правду, превыше всего ставить божественную природу человеческой души и мертвость догматов, традиций и стадных привычек в общественной, религиозной и этической жизни заменять свободным поклонением богу любви в духе и истине – таковы бессмертные заветы Толстого» (Слово. 1908, 28 августа. № 547).

В статье В. Курбского «Законченный круг», помещенной 28 августа 1908 г. в газете «Русское слово» (№ 199), где речь шла о творчестве Толстого в целом, снова упоминался «Люцери»: «Все произведения Л. Толстого, от первой его страницы до последней, – одно стройное, законченное целое. Произведения первой половины жизни, художественные изображения жизни, неизбежно вызывали философские искания смысла жизни. Одни, без вторых, были бы чем-то оборванным, половинчатым, незаконченным». Как бы очерчивался «законченный круг», в нем были и «Люцери», и «Смерть Ивана Ильича». И одно произведение неполно без другого.

Временами внимание критиков привлекало «мрачное настроение» писателя, отразившееся в «Люцерне». Е. Соловьев объяснял «тяжелое настроение духа», отразившееся в «Люцерне», смертью брата. «Этот момент (смерть брата), – писал Е. Соловьев, – я считаю важнейшим определяющим моментом для целого периода жизни Толстого. (...) Он написал за это время “Люцери” и “Альберт”, и чем-то мрачным веет от обоих этих рассказов и их бесконечно грустных сюжетов... Толстого стала мучить мысль о смерти...» (Соловьев Евгений. Л.Н. Толстой. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк. СПб., 1894. С. 69).

Рассуждения Е. Соловьева о мрачном колорите «Люцерна» были повторены в статье «Граф Л.Н. Толстой», посвященной 50-летнему юбилею литературной деятельности писателя (Новое время. 1902. 28 августа. № 9512).

Но совсем противоположную сторону высветил в «Люцерне» В. Вересаев в статье «И да здравствует весь мир!» (Современный мир. 1910. № 10–12): «Вот

она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкоими, полными глотками». Что Толстой «совершенно не выносит, что вызывает в нем тоску, отвращение, почти ужас, это – отсутствие все той же жизни, все той же силы жизни. Ему душно, мертвая тяжесть наваливается на его душу, когда он чувствует в людях отсутствие этого трепета жизни» (№ 10, с. 185, 215). В таком жизнеощущении лежит какая-то великая правда, утерянная людьми, подобными обитателям блестящей гостиницы Швейцерхоф в Люцерне. «Но слишком велика в Толстом и слишком в то же время чиста жажда гармонии, чтобы долго видеть в зле мира ряд отдельных случайностей. Постепенно все больше раскрываются детски-серьезные, вглядывающиеся глаза художника. Жизнь может быть безмерно прекрасна, люди могут быть захватывающе счастливы, – это он знает и чувствует крепко, “всем существом своим, жизнью”. А вот – жизнь исковеркана до самого основания, люди жалки и несчастны. И тот, кто раньше обличал случайную кучку богачей-туристов, примостившихся на балконе уродливого здания жизни (“Люцерн”), – теперь всею силою своею бьет в самый фундамент здания, пишет “Воскресение”, “не может молчать” и на весь мир кричит, что в уродство и грязь превращена священная жизнь, что нельзя людям мириться с таким кощунством» (№ 12, с. 208).

Отметив тяготение к «жизни», «живой жизни», «трепету жизни» как самое характерное для мироощущения Толстого, В. Вересаев сопоставил рассказ «Люцерн» с романом «Воскресение» и статьей «Не могу молчать», устанавливая таким образом связь раннего произведения со всем последующим творчеством. Эту связь, как очевидно из обзора отечественной литературы о Толстом, видел не только Вересаев. Прослеживалась она и зарубежными критиками.

Джон Колеман Кенворти отметил в «Люцерне» то, что, по его мнению, уже превосходило дальнейшее творчество Толстого – острое сочувствие угнетенным (Tolstoy: his Life and Works. By John Coleman Kenworthy. London; Newcastle-on-Tyne, 1902. P. 25–26).

Э. Моод также обратил внимание в «Люцерне» на те начала, которые потом проявились в творчестве Толстого тридцать лет спустя, прежде всего – на суровое обличение, которым проникнут этот рассказ (The Life of Tolstoy. First fifty years. By Aylmer Maude. London, 1908. P. 171–172).

Но было высказано и совсем иное понимание места «Люцерна» в творчестве Толстого. Георг Брандес, видя в произведении Толстого преобладающую «наклонность к морализированию», сделал исключение для рассказа «Люцерн» (Собр. соч. Георга Брандеса: В 12 т. Киев, 1902. Т. 5–6. С. 183. 2-я пагинация. – Перевод с датского под ред. М.В. Лучицкой; Menschen und Werke. Essays von Georg Brandes. Frankfurt a/M., 1900. S. 359–360).

Интересовало зарубежных критиков и отношение Толстого к цивилизации. Отметив, что в «Люцерне» поэзия переплетается с правдой, Р. Лёвенфельд далее писал: «Из этого рассказа мы видим, что писателя нашего снова стали мучить сомнения, что им снова овладело отчаяние, которое несколько лет до этого так резко отличало Толстого от его друзей и которое теперь привело его к разочарованию во всем, что носило имя цивилизации: по мнению Толстого, это громкое название только прикрывает злую насмешку над поступательным развитием человечества» (Leo N. Tolstoy, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung. Von Raphael Löwenfeld. Erster Teil. Berlin, 1892. S. 112; Лёвенфельд Рафаил. Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание. СПб., 1896. С. 126–127).

Эту же тему – природа и человек, природа и цивилизация в рассказе «Люцерн» – затронул Е. Цабель в книге «Граф Лев Николаевич Толстой». Е. Ца-

бель истолковал рассказ Толстого как стремление «спасти, насколько можно только, близость к природе, которую чересчур утонченная культурная жизнь с корнем вырывает из нас». В этой близости к природе для Толстого, – писал Е. Цабель, – «единственный залог хорошего будущего мира и людей, единственное средство для того, чтобы создать и поддерживать здоровую жизнь, единственное условие чистоты перед собственной совестью. Поэтому Толстой бежит к “труждающимся и обремененным”. (...) С целым рядом таких людей знакомимся мы в мелких рассказах Толстого. Сюда относится прежде всего повесть “Люцерн”, выдаваемая за отрывок из дневника князя Нехлюдова, а это у Толстого означает, что описанный случай есть не что иное, как взятое целиком из действительной жизни происшествие» (L.N. Tolstoy von Eugen Zabel. Leipzig; Berlin, Wien, 1901, S. 39; *Цабель Евгений*. Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк. Киев, 1903. С. 58–59).

Толстой, писал Стейнер, увидел, что цивилизация разрушила в людях простое, естественное, природное начало в отношении друг к другу (*Steiner Edward. Tolstoy the man. New York, 1904. P. 109–112*).

При жизни Толстого «Люцерн» был переведен на английский, голландский, немецкий, норвежский, французский, чешский языки.

В 1882 г. появился перевод на немецкий язык (Luzern. – Familienglück. 2 Erzählungen. Übers. v. W. Lange. Leipzig. Reclam, 1882. В 1888 г. «Люцерн» был напечатан в переводе Г. Роскошного (H. Roskoschny) и дважды переиздан в 1891 г. В том же 1891 г. был издан в переводе Р. Лёвенфельда (R. Löwenfeld) и переиздан в его же переводе в 1897 и 1901 гг.).

В 1887 г. рассказ был переведен на английский язык (Lucerne. Transl. by N.H. Dole. In.: A Russian proprietor and other stories. New York, 1887; переиздан в том же переводе в 1887, 1889 и 1899 гг. В переводе Л. Винера (L. Wiener) «Люцерн» вышел в 1904 г.).

В 1888 г. «Люцерн» был напечатан в переводе на французский язык (Le prince Nekhlioudov. A l'étranger. Trad. par E. Halpérine-Kaminsky. Paris, 1888; переиздан в том же переводе в 1889 г. В переводе Бинштока (J.W. Bienstock) вошел в пятый том (1903) собрания сочинений, издававшегося под наблюдением П.И. Бирюкова.

В 1889 г. «Люцерн» вышел в переводе на норвежский язык (Jutlandet. Overs. av. H. Sinding. In.: Fyrst Nekliudoff. Kristiania, 1889); в 1889 – на чешский язык (Lucefn. Ptel. B. Sokolová. In.: Spisy. Sv. I. Praha, 1889); в 1904 – на голландский язык (Lucerne. In.: De jonge landheer. Amersfoort, 1904).

Ромен Роллан вспоминал, как в середине 1880-х годов в Эколь Нормаль вошел русский роман, и связывал с этим обстоятельством свои намерения перевести на французский язык (с немецкого) рассказ Толстого «Люцерн» (*РН*, т. 75, кн. 1, с. 61).

С. 126. ...*говорит Murray...* – Имеется в виду путеводитель по Швейцарии «Handbook for travellers in Switzerland and the Alps of Savoy and Piemont», многократно издававшийся Джоном Мерреем (John Murray), опубликовавшим много книг о путешествиях и начавшим серию «Путеводителей Меррея».

С. 129. ...*руки с перстнями и в митенях...* – Митенки – женские вязаные перчатки без пальцев.

С. 130. ...*декламировавший «Божественную комедию»...* – «Божественная комедия» – поэма итальянского поэта Данте Алигьери.

...*имевший вход в Тюльери...* – Тюильри – королевский дворец в Париже.

С. 131. ...*несколько черных раин сада...* – Раина – вид пирамидального тополя.

...по обеим сторонам старинного собора... – Вблизи Швейцерхофа находится старинный собор св. Леонгарда – с двумя готическими шпицами по сторонам главного портала.

...фистула – высокий звук голоса своеобразного тембра, фальцет.

С. 133. ...из Арговии... – Арговия – швейцарский кантон.

С. 134. ...тирольскую песенку, которую он называл *l'air du Righi* – Песня Риги. О сюжете и мелодии этой песни писал Эрих Бёме (Erich Boeme) в статье «Der Sanger in L. Tolstojs "Luzern"» (Zeitschrift fur slavische Philologie. 1934. Bd. XI. Heft 3/4. Leipzig. S. 339–341). Ссылаясь на сочинения А.Л. Гассмана (Gassman A.L. Das Volkslied im Luzerner Wiggertal und Hinterland. 1906 и «Das Rigilied, Vo Luzarn uf Waggis zue, seine Entstehung und Verbreitung». 1908), в которых указано на разные варианты песни Риги, Эрнст Бёме, вслед за Гассманом, называет автора слов этой песни – Иоганна Люти (Johann Luthi, 1800–1869). У Толстого в черновом автографе назван некий Фрейганг «один Негт Freigang из Базеля».

С. 135. ...в диком шелковом платье... – Дикий – темно-серый цвет необработанного шелка.

С. 137. ...глицерзухт... – От нем. gliedersucht – боль в суставах.

С. 140. ...по новым законам республики... – Швейцарской конституцией 1848 г. был учрежден Союзный суд (Bundesgericht). В числе прочих в него поступали «дела о бродягах», не имевших постоянного места жительства в какой-либо швейцарской общине.

С. 141. Если бы в эту минуту я был в Севастополе... – Толстой вспоминает о севастопольской обороне (одном из центральных эпизодов Крымской войны 1853–1856 гг.), в которой принимал участие.

С. 146. Что англичане убили еще тысячу китайцев... – В 1856 г. Англия и Франция начали войну с Китаем, которая завершилась в 1860 г. походом на Пекин.

...что французы убили еще тысячу кабиллов... – Газеты того времени, к которому относится работа Толстого над «Люцерном», сообщали об «успехах экспедиции» французских войск в Кабилии (северная область Алжира), о «скором покорении всей этой страны», о завершении ее покорения французами и о понесенных той и другой стороной жертвах (см. например: Московские ведомости. 1857, 4, 6, 13, 18 июля. № 80, 81, 84, 86).

...что турецкий посланник в Неаполе не может быть жид... – В «Московских ведомостях» от 6 июля 1857 г. (№ 81) сообщалось: «Из Константинополя пишут в "Journal des Debats" от 25-го июня: {...} Наконец султан решил учредить посольство в Неаполе. Главою этого посольства будет князь Каллимахи, который останется вместе с тем турецким посланником и при Венском дворе. По этой причине князь Каллимахи должен отправиться в Неаполь для представления своих верительных грамот. По отъезде его из Неаполя поверенным в делах при Неаполитанском правительстве будет утвержден г. Спицер». Неаполитанский поверенный в делах при Порте дал понять, что «выбор этот не будет одобрен неаполитанским правительством, ибо г. Спицер еврей».

...император Наполеон гуляет пешком в Plombieres... – Французские газеты того времени печатали депеши из Пломбьера (курортного города в Вогезах) с сообщением о том, что император «прогуливался в окрестностях Пломбьера» с принцем Александром Гессенским, был на балу «в пользу бедных» и т. д. Глубже понять иронию Толстого по поводу сообщений газет о прогулках в Пломбьере помогает обращение к комментируемой строке в черновом автографе «Люцерна»: «...император Наполеон гуляет пешком и делает комедию

выборов». Дело в том, что сообщения французских газет о пребывании Наполеона III в Пломбьере должны были показать «свободу», данную «при последних выборах» в «члены законодательного сословия» Франции. По официальным данным, поступавшим из Франции, выборы показали, что «число разномыслящих не только не увеличилось, но еще уменьшилось. Свобода, данная им при последних выборах, не увеличила их числа, не скрыла их бессилия». Мнения же иностранных газет о том, что эти выборы «проведены несвободно», вызвали «неудовольствие наполеоновского правительства» и были «задержаны по почте» (С.-Петербургские ведомости. 1857. 23 июня. № 136; Московские ведомости. 1857, 22, 25 июня, 4, 9, 11 июля. № 75, 76, 80, 82, 83).

...о состоянии безбрачных китайцев в Индии... – На заседании английского парламента обсуждался вопрос о привлечении работников в колонии. «Московские ведомости» так писали по этом поводу: «...правительство противится переселению негров и неохотно допускает китайцев. Допущение негров может послужить к усилению торгова невольниками на тех берегах, с которых их вывозят. Что же касается до китайцев, то их нельзя уговорить перевозить с собою женщин». Видимо, это вызывало опасение, что переселившиеся китайцы не намерены были оставаться на длительный срок (Московские ведомости. 1857. 6 июля. № 81; Современник. 1856. № 1. С. 66–68). К.А. Вяземский в путевых заметках (Русское обозрение. 1895, февраль. С. 724) писал о «странном китайском обычае, запрещающем женщинам ездить в чужие страны».

АЛЬБЕРТ

Впервые: Современник. 1858. № 8 (ценз. разр. 31 июля). С. 365–392. Подпись: Граф Л.Н. Толстой.

Рукописный фонд составляет 114 листов.

Печатается по журналу «Современник» со следующими исправлениями:

С. 150, строка 4: *веселиться* – *вместо*: веселиться (по А).

С. 152, строка 27: в середине кадрили – *вместо*: в середине кадрили (по А).

С. 153, строки 40–41: строгий звук – *вместо*: стройный звук (по А).

С. 156, строка 5: прошел – *вместо*: пришел (по А).

С. 168, строка 6: выражались слабость и изнурение – *вместо*: выражалась слабость и изнурение (по А).

1

4 января 1857 г. в Петербурге сделана первая запись, относящаяся к будущему «Альберту». После рассуждений о поэтах, о гениальных людях в записной книжке заметка: «К Г(ениальному) Ю(родивому). Он не знает почему, но жизнь в условиях невозможна. Ему необходимо вдохновение. Его благодетель добрый поэтический эгоист»¹. В этот день в одном из увеселительных заведений Тол-

¹ В *Юб.*, т. 47, с. 201 расшифровано: «К П(овести?) Ю(ность)». Но запись не может относиться к «Юности». Верное прочтение предложено Н.Н. Гусевым (пометы на личном экземпляре 90-томного издания, хранящемся в книжных фондах ГМТ).

стой встретил музыканта Георга Кизеветтера, немца, приехавшего в 1848 г. из Ганновера. Нищий, несчастный и в то же время гениальный музыкант произвел неизгладимое впечатление. На другой день в дневнике отмечено: «...поехал в б(ардель) (...) Грустное впечатление. Скрыпач».

А.Л. Толстая в книге «Отец. Жизнь Льва Толстого» (М., 2001) позднее написала: «Образ пьяного, беспутного гения-музыканта так крепко засел ему в голову, что он не мог отделаться от него. (...) В жизни Толстого музыка занимала огромное место (...) музыка – будь то простая народная песня, красивый, старинный цыганский романс, классическое произведение Моцарта, Гайдна, Шуберта или Шопена, которого он особенно любил, – была для него божественным проявлением человеческой души. Когда он слушал музыку, в нем самым необычайной силой закипали мысли, рождались новые образы, пробуждалась вся собственная его сила творчества, до глубины потрясая все его могучее существо. Маленький бродячий музыкант в Люцерне, пьяный погибший музыкант в кабаке – произвели на Толстого почти что одно и то же незабываемое впечатление. Толстого потрясла мысль, что одновременно в одном и том же существе могли ужиться: пошлость, распущенность, пустота и сила божественного дара творчества, имеющая такую власть над человеческими душами» (т. 1, с. 212).

История жизни Георга Кизеветтера, рассказанная им самим, и послужила толчком для работы. Через три дня после встречи, 7 января Толстой записал в дневнике: «История Кизеветтера подмывает меня». 8-го музыкант был у Толстого. «Пришел Кизеветтер. Он умен, гениален и здрав. Он гениальный юридивый. Играл прелестно».

9 января: «Утро гимнастика, до гимнастики начал писать с удовольствием».

10 января: «Пришел Кизеветтер, ужасно пьян. Играл плохо». Следующая запись в этот же день: «...дома Кизеветтер сияющий – труп...» Вечером музыкант снова играл: «Кизеветтер *глубоко* тронул меня».

12 января Толстой уехал из Петербурга в Москву. По дороге в дневнике заметки: «Три поэта. 1) Жемчужников есть сила выражения, искра мала, пьет из других. 2) Кизеветтер, огонь и нет силы. 3. Художник ценит и того и другого, и говорит, что сгорел». Среди задуманных и начатых семи сюжетов вторым (после «Отъезжего поля») обозначен «П(ропащий)», намечено и задание для себя: «Писать, не останавливаясь, каждый день». Там же мысль о силе искусства, раскрытая потом в повести: «Русский добросовестный художник в конце злится на того, который видит притворство, и на Жемчужн(икова) и говорит: тот, кого мы видим в соплях, царь и велик, он сгорел, а ты не сгоришь». К обдумываемой повести относится еще одна запись, сделанная 30 января: «Он рассказывает свою историю и ночь в театре, которая его потревожила в рассудке. Он боится всех и стыдится – виноват. Он запутался в жизни, так что боится возвратиться, одно спасенье – забыться. В то время как он пробует, он рассказывает историю. Последний вечер – художник видит его с поэтической точки. Другой подозревает его. Я прошу его опомниться. – Нет, прекрасно, *wie schön!*»¹

29 января Толстой выехал за границу. Мысли о повести не оставляли его. «Я не довольно самостоятелен, однако обдумал много *Пропавшего*», – записано в дневнике.

3 февраля: «Кажется, что Пропащий совсем готов».

¹ как прекрасно! (нем.)

Из Варшавы Толстой проехал к Тургеневу в Париж, где в то время находился и Некрасов. На другой день по приезде – 10 (22) февраля он написал Боткину: «Некрасов нынче возвращается в Рим. Я думаю через месяц приехать туда. Этот же месяц надеюсь здесь кончить Кизиветтера, который в продолжение дороги так вырос, что уже кажется не по силам. Авось к апрельской книжке поспеет».

12 (24) февраля работа над повестью продолжалась: «...написал листок...»

14 (26) февраля: «Чуть-чуть и плохо пописал Пр(опащего)».

15 (27) февраля: «Пописал страничку...»

23 февраля (7 марта) Тургенев написал сотруднику «Современника», библиографу М.Н. Лонгинову, что видится с Толстым ежедневно: «Он работает прилежно – и должно думать, что из него выйдет большой человек» (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 200).

25 февраля (9 марта) Тургенев выехал для лечения в Дижон. Толстой поехал вместе с ним. Он не прекратил работу над повестью и уже в день приезда отметил: «Писал и плохо и хорошо. Больше первое. Слишком смело и небрежно».

26 февраля (10 марта): «Утром написал главу славно. (...) Вечером написал главу порядочно».

В тот же день Тургенев извещал П.В. Анненкова: «Со мной поехал Толстой, который обрадовался случаю уединиться, чтобы привести к окончанию начатую им большую повесть. Несмотря на жесточайший холод, царствующий в комнате гостиницы, в которой мы остановились, холод, заставляющий нас сидеть не близ камина, но в самом камине, на самом пылу огня, – он работает усердно, и страницы исписываются за страницами. Я радуюсь, глядя на его деятельность» (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 201). Толстой сделал приписку: «Я пишу, т. е. свою повесть, с удовольствием и надеждой, хотя это не спокойная уверенность, но, слава Богу, далеко не та, уж не скромность и наслаждение, в искреннем или неискреннем саморугании Тургенева».

27 февраля (11 марта) запись в дневнике: «Утро писал плохо. (...) Писал вечер с удовольствием».

28 февраля (12 марта): «Кончил набрасыванье Проп(ащего), что выйдет, не знаю. Не нравится».

«28 февраля 1857 г. Дижон» – авторская дата в рукописи. Много лет спустя, в 1894 г., беседуя с французским переводчиком Жюлем Легра, Толстой вспоминал, что провел в Дижоне неделю, вместе с Тургеневым, «дописал своего...», но названия не мог вспомнить (см. *ЛН*, т. 75, кн. 2, с. 17).

Первая редакция повести была тотчас же прочитана Тургеневу.

1 (13) марта: «Встал поздно. Тургенев скучен. Хочется в Париж, он один не может быть. Увы! он никого никогда не любил. Прочел ему П(ропащего). Он остался холоден. Чуть ссорились».

Однако 6 (18) марта Тургенев сообщил Панаеву, что Толстой кончил на днях «отличную» повесть, а 4 (16) марта написал Анненкову: «Толстой в Дижоне окончил вещь, которую он читал мне. Ее надо будет несколько переделать и обчистить – и тогда выйдет отличнейшая штука – Вы увидите» (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 205).

Рукопись этой первой редакции представляет собой автограф – 29 листов. Однако автограф сохранился не полностью. Отсутствуют конец четвертой главы, пятая глава, конец шестой и начало седьмой глав. Заглавия нет. Повесть делится на 14 глав. Учитывая публикацию в русском журнале, Толстой обозначил дату по старому стилю. Среди рукописей есть еще лист автографа с такой же

датой (в *Описании* № 5), после правки близкий к окончательному тексту и относящийся к третьей редакции; дата первого автографа была здесь просто повторена Толстым.

В первом автографе оставлены большие поля – для исправлений и дополнений, хотя в тексте их сравнительно немного. Но много заметок, уточняющих и развивающих замысел. Например, рядом с рассказом музыканта на полях: «Я не мог жить у вас, я должен жить, как я живу. Я с людьми жить не могу, я страдаю, я другой. Мне стыдно перед вами, но вы хотели сделать мне хорошо, а сделали дурно. Разве ваша жизнь лучше музыки...» Заключительные главы – явный черновик. Четырнадцатая глава представляет собой краткий рабочий конспект, две предыдущие – скорпись, с трудом поддающаяся прочтению.

Много пометок на полях, кратких аннотаций, отдельных мыслей, требующих дальнейшего развития. Например, около текста с размышлениями Крапивина – на полях: «а другие могли бы мне завидовать и завидуют, а мне большей частью грустно»; или о музыканте: «заплакал от досады, дорогой все думал о разговоре»; «Боится будить дворника. Доброта, радуется, как он спит. – Все добры, он добр, но он не понял меня и я не хотел сказать ему, зачем огорчать, он добр»; около рассказа о дочери Маллера (Малера): «любовь большая»; о поведении и речах музыканта: «Еще целый день пьет», «второй день играет», «не берет скрипку и пытается уйти», «красота на том свете».

Текст первой редакции существенно отличается от окончательного (см. во второй серии издания).

Музыкант носит имя Вольфганг¹. В печатном тексте действие начинается с петербургского балика у Анны Ивановны; в ранней редакции на протяжении первых двух глав рассказывается, как пятеро молодых людей, выйдя из трактира, беседуют об искусстве и спорят о том, ехать или не ехать на «танцкласс». И лишь в третьей главе четверо из них едут к Анне Ивановне. Компания состоит из художника, который не пошел на балик, офицеров Дулова и Серапина, француза *m-eur Meurice* и поэта Крапивина, который принимает участие в музыканте, приглашая к себе домой и пытаясь устроить его судьбу.

Вся вторая глава содержит размышления Крапивина, тщеславного, самолюбленного и посредственного поэта, о своем таланте и творчестве. «А отчего же, ежели я так люблю поэзию, не сделал я еще ничего великого, отчего я не только не приобрел славы, не приобрел просто маленькой известности? (...) Господи, какое наслаждение чувствовать, что тысячи, десятки тысяч людей любят меня...» Далее идут неудачные попытки создать стихотворение: «Действительно, я чувствую, что что-то не то в моей жизни. Поэт я не поэт, многого еще нет и тоже не человек, как другие...» Он пробует сочинить что-либо, но далее трех слов: «Хоть сумрак дней...», «которые Бог знает зачем пришли ему в голову, ничего не выходило».

Несколько страниц посвящено вдохновенной игре Вольфганга у Анны Ивановны: «Не слышно было ни смычка, ни скрипки, слышны были звуки и виден был вдохновенный человек, который, с скрипкой вместе, слившись в одно, производил их». «Все в комнате жили и дышали одними его звуками».

На следующий день на музыкальном вечере Крапивин рассказывал своим знакомым о необычайной игре Вольфганга. Присутствующие там музыканты, приглашенные из театра (первая скрипка и виолончелист), приняли

¹ В автографе последовательно: Вольфганг, как позднее (в третьей редакции) почти везде: Алберт. В перемене имени, вероятно, сыграло роль созвучие с немецким словом *albert* – нелепый.

описывать историю жизни Вольфганга, его любовь к дочери богача Малера, с осуждением рассказывали о том, как он беспечно занимал то сюртук, то скрипку и не отдавал их, о его чудачествах и анекдотах, которые ходили про него. Например, один из них: «Нанял квартиру по рекомендации одного из наших артистов за 30 рублей, пришел туда без вещей, потому что нет ничего, и квартира без мебели, запер ее, занял у хозяйки 7 рублей по гривнам и пропал, квартиру отворили без него, там один старый галстук лежит, ни мебели, ничего. Теперь у него года два уж квартиры нет, он так живет, на улице, в трактирах, где попало».

В VIII главе Крапивин встретил Вольфганга на улице, с трудом уговорил его прийти к нему на обед. На обеде присутствовали родственник, приехавший из Москвы, сын министра и молодой петербургский пианист Пишо. За обедом шел разговор о театре, об актерах, о «божественном» Россини и прелестной Бозио. О Вольфганге с усмешкой говорили, что он пьян, а вернее, просто сумасшедший. Но когда зазвучал «Венецианский карнавал» Паганини в его исполнении, «Вольфганг давал звукам такую силу, такую нежность и такую страсть, что все были покорены...»

В XIII главе художник произносит страстную речь в защиту музыканта, противопоставляя его другим гостям: «Кто перед вами? – спившийся немец, нет, погибший гений, он сгорел от того огня, которому мы все служили, а вы смее-те сомневаться в нем. Хоть вы его привели, чтоб смотреть, как на чудо, вы дадите ему деньги и он возьмет, вы благодетельствуете его, а все-таки он Царь, а вы рабы (...) вы его не можете унижить, того, что в нем есть, нет ни в ком (...) Он один из всех счастлив и добр, истинно он всех любит или скорее всех презирает, любит одно благо – красоту. Бога он любит. А вы все не только никого, и себя не любите (...) не презирать, не жалеть, не сомневаться в нем, не благодетельствовать надо, а плакать над ним, вот что надо, и любить, уважать его. Он пал за лучшее, за самое дорогое для человечества дело, за поэзию».

Рукопись кончается на том, что Вольфганг, ушедший от Крапивина и не допущенный к Анне Ивановне, попадает в конюшню, где и остается на ночь. Он погрузился в «спокойное сновидение, которое оттолкнуло от него до утра чувство сознания».

2 (14) марта Толстой вернулся, вместе с Тургеневым, в Париж.

Здесь началось переписыванье, а в сущности создание новой редакции повести.

В марте – апреле несколько дневниковых записей относятся к «Поврежденному».

8 (20) марта: «Встал поздно, пописал...»

21 марта (2 апреля): «...написал листок...»

22 марта (3 апреля): «Пописал немного...»

23 марта (4 апреля): «Встал в 12. Начал писать довольно лениво». В тот же день после театра: «Дома написал листок».

24 марта (5 апреля) в дневнике впервые появляется новое название повести: «Встал в 10. Немного пописал *Повреж(денного)* и письмо Боткину». В этом письме – важное признание: «Только очень недавно я успел устроиться так, что несколько часов в день работаю. Ужасно грязна сфера Кизеветтера, и это немножко охлаждает меня, но все-таки работаю с удовольствием».

Еще 8 марта (ст. ст.) В.П. Боткин известил Панаева: «Письмо Толстого бодрое и светлое; он там и работает и надеется скоро кончить один рассказ, предмет которого составляет тот полуюродивый артист, которого мы видели у него. Толстой прибавляет, что авось к апрельской книжке рассказ поспеет. Дай

Бог, если бы поспел, а то к апрельской книжке, кажется, нет ничего готового» (*Тургенев и круг «Современника»*, с. 403).

16 (28) марта 1857 г. Панаев написал Тургеневу, прося передать Толстому, что с нетерпением ждет повесть к 4-й или 5-й книжке «Современника» (там же, с. 85). В ответ Тургенев сообщил Панаеву 26 марта (7 апреля), что Толстой велел передать: он «вышлет свою повесть, как только кончит ее. Он прилежно трудится над ее переправкой, – а вещь будет славная. Во всяком случае, должно наверное полагать, что к маю поспеет» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 118).

25 марта (6 апреля) произошло событие, оставившее чрезвычайно тягостное впечатление: Толстой наблюдал публичную смертную казнь. «Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться». Он решил покинуть Париж и 27 марта (8 апреля) уехал в Женеву. В Швейцарии продолжалась переделка повести. 30 марта (11 апреля) отмечено в записной книжке: «Завтра до 12 часов письма и Поврежден(ный)...» В этот день Толстой написал Т.А. Ергольской: «Мне здесь очень хорошо, спокойно среди прекрасной природы и почти в одиночестве. Намереваюсь много работать и пока не делаю планов для дальнейшего путешествия». В тот же день – в письме к Д.Я. Колбасину: «Я здоров, спокоен и работаю».

Здесь Толстой получил письмо и от Некрасова: «Тургенев мне писал, что Вы окончили новую повесть. Он ее очень хвалит. Обделайте и посылайте в “Современник”. Если б Вы знали, как я краснею при мысли, что “Современник” заковылял» (*Некрасов*, т. 14, кн. II, с. 67).

Работа продолжалась весь май и начало июня. 24 апреля (6 мая): «...перечел Кизев(еттера). Хорошо».

25 апреля (7 мая): «Немного пописал Поврежд(енного) олять сначала».

26 апреля (8 мая): «Встал в 8 нездоровый, писал немного Пов(режденно-го)...».

27 апреля (9 мая): «Чуть-чуть пописал».

2 (14) мая: «Писал Поврежд(енного) листа три».

4 (16) мая: «Пописал немного».

5 (17) мая: «...встал поздно, немного голова болит и мрак нашел на меня ужасный. Однако пописал немного».

15 (27) мая, отправившись с Сашей Поливановым в путешествие по Швейцарии: «Написал листок Поврежденного».

18 (30) мая: «Вечер немного пописал Поврежд(енного)...»

25 мая (6 июня), вернувшись из путешествия в горы, Толстой вновь взялся за повесть: «Утром писал славно дневник путешествия, после обеда немного Казака (...) и немного еще Поврежденного».

26 мая (7 июня): «Писал Поврежденного один лист...»

2 (14) июня отмечено в записной книжке: Повр(ежденный). Надел чистую ночную рубашку и счастлив».

«Поврежд(енный). Когда едет ночью с ведьм(ой), кажется то гусь, то палка (?) и разный вздор».

12 (24) июня Толстой «читал Боткину Повреждения(ого)», которому повесть не понравилась. «Действительно, это плохо», – отмечено в дневнике.

Это была вторая редакция, сохранившаяся в рукописи, представляющей собой автограф, 18 листов, с заглавием «Поврежденный». Рукопись неполная: нет пятой главы (имеется лишь первая фраза) и первой половины шестой главы. Всего десять глав. XI глава только обозначена цифрой. Любопытно, что пять глав помечены арабскими цифрами, а седьмая, начинающаяся с нового листа – римской, как было во всей первой редакции. Очевидно, что Толстой имел перед глазами первоначальный черновик, работая над этими главами (VII–X).

В целом текст более завершённый и отделанный, чем рукопись первой редакции. Имеются вставки, исправления, зачеркивания, носящие в большинстве случаев стилистический характер. Сравнение второго автографа с печатным текстом показывает, что он ближе к ранней редакции, чем к окончательному, журнальному тексту.

Рукопись начинается эпиграфом из стихотворения А.С. Пушкина «Поэт и толпа» (первый раз напечатанного под названием «Чернь»):

Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Вторая половина 1856 и 1857 г. – пора увлечения Толстого Пушкиным, его поэзией. В яснополянской библиотеке сохранились читанные тогда тома «Сочинений Пушкина» (изд. П.В. Анненкова. СПб., 1855) с многочисленными пометами. 3 июня 1856 г. в дневнике записано: «Правда и сила, мною никогда не предвиденная в Пушкине». Прочитаны были и статьи В.Г. Белинского: «Статья о Пушкине – чудо. Я только теперь понял Пушкина» (дневник, 4 января 1857 г.).

Повесть начинается здесь с пространного описания пасмурной петербургской зимней ночи. «Большой холодный город спал тем горячечным, беспокойным сном, которым спит пьяный после дня разврата». Пятеро молодых людей отправляются к Анне Ивановне не после трактира, а после «приятельского вечера» у друзей, где шли разговоры о поэзии, живописи и положении России. Компания состояла из богача Акимова, князя Карякина, сына министра (как и в первой редакции) и двух художников – Делесова и Седьмого. Хотя здесь уже появился Делесов, роль покровителя Вольфганга играет не он (как в окончательном тексте), а Седьмой.

Автор рассуждает о причинах, по которым молодые люди посещают публичные дома: «...в сущности для каждого означало одно и то же – тяжелую, застенчивую под привычкой грусть, моральную усталость и потребность поэзии, которой не находили они в том заколдованном кругу, в который поставили их условия общества и из которого они не могли выйти». Каждый из них объяснял свою поездку по-своему, но «в сущности же все они искали и не могли найти одного лучшего наслаждения в жизни – самозабвения».

Далее идет подробная характеристика Делесова, идеалиста-художника, который «оттого еще ничего не произвел, что слишком высоко понимал искусство». «Красота и воспроизведение ее были его единственные любовь, цель труда и назначение жизни. Кроме того, он был умен и прост сердцем. (...) Он жил в кружке бедных художников, разделявших его легкий взгляд на жизнь, он, сколько мог, помогал им...» А «радости, печали, тревожения» таких людей, как Седьмой и Карякин, были «совершенно чужды» для него, «их равнодушие к интересам искусства приводило его в недоумение и злило». Делесов не поехал с компанией развлекаться.

Седьмой, «весьма приятной молодежью наружности» 35-летний человек, «не глупый, хорошо образованный, чрезвычайно приятный в обществе и всегда спокойный. Он занимал уже значительное место в гражданской службе, был уже ваше превосходительство, имел достаточное состояние и принадлежал к лучшему кругу, в котором привыкли к нему и уважали его, несмотря на молодость. Несмотря на незлое сердце, некоторую чувствительность и любовь к искусствам, в особенности к поэзии, он прожил 35 лет и ни разу ни для кого, ни для чего не испортил своего положения в обществе, ни разу ни на минуту не свернул с дороги, по которой шел. Он был совершенно равнодушен к этой до-

роге, не знал и не думал о том, куда она ведет, но шел по ней только потому, что надо же куда-нибудь идти (...) Он был последователен в жизни только потому, что был слаб характером».

Образ Вольфганга не изменился в этой редакции: он так же вдохновенно играл, поражая всех присутствующих. Музыкант едет домой к позвавшему его Седьмому. Так же, как и в VI главе ранней редакции, историю Вольфганга, анекдоты и слухи, ходившие о нем, рассказывают собравшиеся музыканты. То, что в первой редакции было набросано лишь начерно, здесь раскрыто полно (хотя и со многими вариантами). Так, подробнее описывается несчастная любовь музыканта к дочери богатого коммерсанта Малера. Когда богач перестал принимать Вольфганга, тот «пришел в отчаяние, повязал себе траур на шляпу и с того времени каждый абонемент господина Малера ходил в белых перчатках и в белом жилете в оркестр оперы и всё лорнировал ложу Малеров». Он ожидал любимую девушку «у подъезда в испанском плаще», совершая в отчаянии много других чудачеств: «...с того времени он чаще и чаще стал манкировать, стал пить, а когда приходил играть, то уж его просили оставить, потому что он никого не слушал, не дожидался, а играл свое, что ему нравилось. Раз в Фрейшюце (Вольном стрелке) он вдруг стал аккомпанировать эту известную арию турцией вверх. Может быть это было и хорошо, но неприлично. Ему почти отказали. Тут уж он совсем погиб: платье, белье, вещи, скрипку – все промотал и рассудком в это время, кажется, серьезно повредился. Сначала мы все и наши товарищи помогали ему, но потом увидели, что все это без пользы».

X глава, последняя в этой незавершенной редакции, повествует о том, как вечером Седьмой рассказывал своим знакомым об удивительной игре музыканта. Делесов, бывший на вечере, рассуждает о талантах, погибающих от пьянства, и отказывается прийти к Седьмому послушать игру Вольфганга: «Нет, мне это грустно всегда видеть».

Сразу же после чтения повести Боткину Толстой, согласившись, что она «плохая», снова взялся за ее переделку. Уже через три дня – 15 (27) июня он записал в дневнике: «Немного пописал *Погиб(шего)*».

Это было начало работы над новой – третьей – редакцией повести с новым заглавием: «Погибший».

23 июня (5 июля) по приезде в Берн: «После обеда пошел опять на гулянье, написав листа два *Погибшего*».

27 июня (9 июля) в письме к Боткину сообщение: «Я занят ужасно, работа – бесплодная или нет, не знаю – кипит...» (Толстой одновременно работал над «Погибшим», «Люцерном», «Казаками», «Отъезжим полем»).

24 июля Толстой вернулся в Россию, а 8 августа был в Ясной Поляне. Между 20 августа и 14 сентября помета в записной книжке, относящаяся к речи художника в «Погибшем». Как видно из дневника, Толстой писал «Погибшего» на протяжении всего сентября.

6 сентября: «Вечером написал 2 листочка *погибшего*».

7 сентября: «Немного пописал Погибшего».

8 сентября: «Пописал немного и хотелось писать».

10 сентября: «Писал легко Поврежд(енного)».

11 сентября: «Еще писал немного».

14 сентября после поездки в Ефремов на конскую ярмарку в записной книжке появилась запись: «К *Поврежд(енному)*. Что вспомн(ил) Дм(итрий) при вальсе. Как танцевал в поту и поцеловал). Старик, для него все голо, а прежде и дерево и облако вокруг них все было поэзия». А на другой день – 15-го – запись в дневнике: «Бросился писать и написал отличные 4 листика горячие» (см. ниже).

17 сентября: «Писать хотелось».

18 сентября: «Писал довольно много, но вся вещь плохая. Хочется свалить ее поскорее».

20 сентября: «Ничего не делал, остановился на трудном месте...»

22 сентября: «Писал довольно; но решительно плохо».

24 сентября: «...пописал немного».

25–28 сентября: «Хозяиничал не совсем аккуратно, понемногу писал, тоже нехорошо».

5 октября: «...пописал вечером».

В автографе третьей редакции стоит дата: «5 октября. Ясная Поляна». Тогда же, видимо, появилась авторская пагинация: 1–32.

Однако работа над повестью продолжалась, появлялись вставки, уже без обозначения страниц.

6 октября: «Вечером кое-что переправил. И обдумал окончательную отделку Погибшего».

8, 9, 10, 11 октября: «Был в Ясном, хозяиничал довольно успешно, изредка писал (...) Был в Туле (...) Изредка писал».

22 октября, в Петербурге, Толстой прочел «Погибшего» Анненкову, который заметил в письме Тургеневу 16 ноября 1857 г., что «повесть о музыканте будет хорошая вещь», если автор «поймет созерцание свое музыканта, а то выходит, что спать на улице и драться с мальчишками есть участь избранных. Старая и ложная песня! Если он не от мира сего, то надо, чтоб имел свой полный, разумный мир, отвечающий за самого себя». «По совету моему и Дружинина», сообщил далее Анненков, Толстой «поехал доделывать повесть в Москву, к великому сожалению Некрасова, который хотел ее тиснуть в сем месяце» (*Труды ГБЛ*, с. 72).

11 ноября Толстой обещал Некрасову: «...ежели только я не умру, то к 26-му пришлю вам *Погибшего*, повесть листа в 3, которой я начинаю быть доволен».

По-видимому, и запись в дневнике от 16 ноября: «Писал немного» – относится к «Погибшему».

18 ноября: «Писал».

19 ноября: «Писал».

20 ноября: «Пишу, поправляю».

22 ноября: «Писал вечер».

23 ноября Толстой читал «Погибшего» С.Т. Аксакову: «Писал утро (...) Вечером писал и поехал к Аксаковым. Кажется, понравилось старику». В письме от 18 декабря Толстой сообщил Некрасову, что читал повесть «переделанной одному старику Аксакову, который остался ею очень доволен».

24 ноября: «Писал Погиб(шего) (...) Дописал сон недурно»¹.

25 ноября: «Встал рано, пересматривал Погибшего (...) После обеда еще пересматривал и кончил. Вся вторая половина слаба».

26 ноября Толстой «с утра» отослал «Погибшего» Некрасову.

В сопроводительном письме, датированном 25 ноября, говорится: «Посылаю вам обещанную повесть, любезный Николай Алексеевич, ежели вы найдете ее хорошей, то напечатайте в декабрьской книжке. Я бы очень желал пересмотреть все корректуры. Ежели только это возможно по времени, то высылайте или вышлите их мне. Но корректуры 8 и 9 отдела *непрерывно* пришлите

¹ В комментариях Юб. изд. неверно отнесено к рассказу «Сон», написанному в конце декабря 1857 г. (см. т. 4 наст. изд.).

и скажите ваше мнение насчет их. Я ими недоволен. Я теперь занялся этой вещью преимущественно, чтобы сбить ее с рук – она загораживала другие, – но, занявшись ею опять, серьезно увлекся, и мне кажется, что есть места недурные. Об отделе 11-м тоже скажите свое мнение, он мне не нравится. Напрасно вы мне не отвечали на словечко, которое я написал вам в начале месяца (11 ноября). Ежели бы я знал, что вам не нужно повести, я бы поотделал эту; а теперь уж хочется, чтобы она была поскорей напечатана. Пожалуйста, тотчас же отвечайте». Посланная Некрасову рукопись не сохранилась. В письме «отделами» называются главы; как видно по уцелевшему фрагменту первого набора (гранки), в повести тогда было 12 глав.

Помимо основного автографа (48 листов почтового формата), к третьей редакции относятся несколько вставок на отдельных листах, а также вариант главы VIII (5 листов) и конца главы XII (в *Описании* № 3 и 5).

В основном автографе заголовок: «Погибший»; рядом рукой С.А. Толстой более поздний карандашный заголовок: «Альберт». Перед первой главой зачеркнут эпиграф, бывший во второй редакции и сначала повторенный здесь. Рукопись испещрена поправками, вставками, зачеркиваниями, часть которых восстанавливалась (а иногда оставались параллельные два текста), содержит композиционные перестановки, пометы на полях.

Вставка-вариант к V главе (2 листа) – заменяет вычеркнутый (неполно) рассказ музыканта об Альберте, в ином тоне – несколько комическом, но не анекдотичном, как было прежде. К главе VI – 2 листа вставки. Рассказ Альберта о себе зачеркнут и должен был быть заменен новым текстом. Но затем восстановлен первоначальный вариант (отброшенная же вставка осталась незачеркнутой).

Создан вариант VIII главы – взволнованное повествование о переживаниях Альберта, его размышлениях относительно своей жизни, возмущении такими людьми, как Делесов. «И как живут эти люди, которые с таким презрением смотрят на меня? – спрашивал он сам себя. – Как живет этот человек, который мучает меня, полагая делать мне добро, и спокойно спит теперь за стеной? Да нет, – подумал он, – он и не думает делать мне добро, он из тщеславия, из удовлетворения каких-нибудь их требований делает это, похвастаться».

По-прежнему наибольшей переделке подверглись последние главы повести, которыми Толстой был недоволен.

Первые главы третьей редакции близки к журнальному тексту, и в рукописном фонде «Альберта» это единственные страницы, которые удастся представить (см. вторую серию) в виде вариантов к окончательной редакции. III глава вставлена в рукопись позднее, это те четыре «листика горячих», которые были написаны после поездки в Ефремов. Они рассказывают о том, как один из гостей, под влиянием игры музыканта, вспоминает прошлое, молодость, первую любовь к очаровательной Лизаньке и бал, на котором он танцевал с ней, был влюблен и безумно счастлив. «Боже, как мне было хорошо, весело, как я был счастлив, как я был забавен, как я был силен, как я был умен, как я был блаженно глуп». Однако в окончательном тексте этот фрагмент был снят и заменен абзацем, где Делесов вспоминает прошлое и плачет, так как «прошло это время и никогда не воротится».

Повесть начинается сразу с появления Альберта у Анны Ивановны. Как и во второй редакции, в V главе описывается разговор Делесова (он стал покровителем скрипача) с музыкантами, знавшими Альберта, их рассказы о нем. VI глава посвящена беседе Делесова с Альбертом; рассказ музыканта о своей любви дан в двух вариантах. VII–VIII главы подробно описывают четырехдневное

пребывание его у Делесова, завершающееся посещением оперы и бегством. В IX главе Делесов, встретивший Альберта на улице, приглашает его к себе. X–XI главы посвящены описанию вечера у Делесова, где присутствуют сын министра, француз Пишо, «петербургский авторитет в музыке» Аленин и художник, названный Нехлюдовым – «энтузиаст и большой спорщик». Альберт играет. Художник, как и в первой редакции, горячо защищает Альберта, «падшего гения», «падшего не за себя, а за нас, за самое дорогое для человечества, за поэзию». Он носит в себе огонь поэзии и сгорает сам. Художник произносит панегирик искусству, которое есть «высочайшее проявление могущества в человеке». По сравнению с ранней редакцией речь художника и споры об искусстве, о праве человека посягать на внутренний мир другого человека здесь значительно расширены.

В последней, XII главе Альберт, уйдя от Делесова, укрывается в конюшню, ложится в пустое стойло и, прежде чем уснуть, вспоминает о прошлом, думает о будущем, мечтает о том, что имея он 2 миллиона, купил бы виллу в Италии, где бы жил с любимой. И был бы счастлив. «Будет это время, даже оно теперь начинала быть, я чувствую. Идет, идет что-то, уж близко. Смерть, может быть... тем лучше. Иди! Вот она! Больше он ничего не думал и не чувствовал. Это была не смерть, а сладкий, спокойный сон, который дал ему на время лучшее благо мира – полное забвенье». Создан и второй вариант конца, но все это будет изменено впоследствии.

Отправив 26 ноября рукопись Некрасову, Толстой на следующий день записал в дневнике: «Очень недоволен я теперь Погибшим; но не поеду в Петербург, подожду корректур». Видимо, в тот же день начато новое письмо Некрасову: «Только что я послал вам “Погибш(его)”, любезный Некрасов, как я вспомнил и понял, что в ней есть места из рук von плохие, которые необходимо переделать. Боюсь, что ежели вы будете печатать ее в декабре, то не успеете прислать мне корректуры; поэтому посылаю – след(ующий) варьант необходимейший. – Вставьте вместо начала *10 отд(ела)* следующее...»

Далее Толстой просил изменить конец IX, начала X и XI глав, в частности «езде, где есть художник – выбросить его». Соответственно вносился ряд изменений; например, слова художника о священном огне поэзии вкладываются в уста Аленина. В письме находятся соответствующие новые тексты (см. во второй серии наст. изд.).

Письмо не было отослано, но здесь – начало работы над последней, четвертой редакцией.

28 ноября Толстой отправил Некрасову другое письмо: «Жду не дождусь известия от вас, любезный Некрасов, насчет статьи, кот(орую) послал вам. Только что я отослал ее, как вспомнил много небольших, но необходимых исправлений. Главный вопрос: будете ли вы или нет печатать “Погибш(его)” в декабре? Ежели да, то успею ли я исправить его по корректурам в Москве? Ежели не успею, а вам нужно печатать теперь, то уж я приеду в Петербург. Необходимейшие исправления во второй половине; поэтому не велите отпечатывать ее в листы без исправлений. Я рассчитываю, что 27 или 28 вы получили. К 1 или 2 я бы мог получить корректуры, к 5 вы бы получили их обратно. Без исправлений же печатать *невозможно*. Извините, пожалуйста, за эти хлопоты, я сам ужасно раскаиваюсь в том, что послал вам вещь в таком ужасно-невозможном виде. Во всяком случае отвечайте тотчас же».

30 ноября Толстой получил от Некрасова телеграмму: «Корректуры повести пришлю, она пойдет в первой книжке» (*Некрасов*, т. 14, кн. II, с. 98). «Погиб(ший) будет в генваре» – отметил Толстой в этот день в дневнике. 2 декабря

в письме к Некрасову просил: «Так как теперь печатание не к спеху, то пришлите мне лучше рукопись, любезный Николай Алексеевич. Я вам снова пришлось ее раньше 15-го декабря, а то в ней много придется марать, особенно во второй части, так за что же пропадет набор?»

Рукопись Толстому возвращена не была. 16 декабря Некрасов написал Толстому о своем впечатлении: «...повесть вашу набрали, я ее прочел и по долгу совести прямо скажу вам, что она нехороша и что печатать ее не должно. Главная вина вашей неудачи в неудачном выборе сюжета, который, не говоря о том, что весьма избит, труден почти до невозможности и неблагоприятен. В то время, как грязная сторона вашего героя так и лезет в глаза, каким образом осозательно до убедительности выказать гениальную сторону? – а коль скоро этого нет, то и повести нет. Все, что на втором плане, очень, впрочем, хорошо, то есть Делесов, важный старик и пр., но все главное вышло как-то дико и ненужно. Как вы там себе ни смотрите на вашего героя, а читателю поминутно кажется, что вашему герою с его любовью и хорошо устроенным внутренним миром нужен доктор, а искусству с ним делать нечего. Вот впечатление, которое произведет повесть на публику; ограниченные резонеры пойдут далее, они будут говорить, что вы пьяницу, лентяя и негодяя тянете в идеал человека, и найдут себе много сочувственников... да, это такая вещь, которая дает много оружия на автора умным и еще более – глупым». Далее Некрасов советовал: «Эх, пишите повести попроще. Я вспомнил начало вашего казачьего романа, вспомнил двух гусаров – и подивился, чего Вы еще ищете – у Вас под рукою и в Вашей власти Ваш настоящий род, который никогда не прискучит, потому что передает жизнь, а не ее исключения, к знанию жизни у Вас есть еще психологическая зоркость, есть поэзия в таланте – чего же еще надо, чтоб писать хорошие – простые, спокойные и ясные повести?» Закончил Некрасов словами: «Покуда в ожидании вашего ответа, я вашу повесть спрятал и объявил, что вы раздумали ее печатать».

В *post scriptum*'е Некрасов приписал: «Я понимаю, что в решимости послать мне эту повесть – главную роль играло желание сделать приятное мне и “Современнику”, и очень это ценю. Но недаром Вы колебались, да и Анненков на этот раз прав; если только эту повесть Вы ему читали» (*Некрасов*, т. 14, кн. II, с. 100).

Толстой ответил Некрасову 18 декабря: «Очень, очень благодарен вам, Некрасов, за искренность вашего письма. Я вам писал, что я доволен был этой вещью; читал ее переделанной одному старику Аксакову, который остался ею очень доволен; но теперь я верю вам; хотя и не согласен; тем более, что ее у меня нет и что вы серьезного против ничего не говорите. Печатать ее теперь нельзя, потому что, как я писал вам, надо в ней исправить и изменить многое. 30 числа я еще просил вас прислать мне ее назад. Напрасно вы не прислали. Что это не повесть описательная, а исключительная, которая по своему смыслу вся должна стоять на психологических и лирических местах и потому не должна и не может нравиться большинству, в этом нет сомнения; но в какой степени исполнена задача, это другой вопрос. Я знаю, что исполнил ее сколько мог (исключая матерьяльной отделки слога). Эта вещь стоила мне год почти исключительного труда, но, как вижу, для других будет казаться не то – и потому лучше ее предать забвению, за что и благодарю вас очень и очень. Пришлите мне только, пожалуйста, рукопись или корректуры, чтобы, пока свежо еще, исправить что нужно и спрятать все подальше».

25 декабря Некрасов сообщил Тургеневу, что Толстой прислал «такую» вещь, что «пришлось ему ее возвратить» (*Некрасов*, т. 14, кн. II, с. 101).

17 (29) января 1858 г. Тургенев писал Толстому из Рима: «Мне странно (...) почему Некрасов забраковал “Музыканта”; – что в нем ему не понравилось, сам ли музыкант, возящееся ли с собою лицо? Боткин заметил, что в лице самого музыканта недостает той привлекательной прелести, которая неразлучна с художественной силой в человеке; может быть, он прав; и для того, чтобы читатель почувствовал часть очарования, производимого музыкантом своими звуками – нужно было автору не ограничиться одним высказыванием этого очарования» (Тургенев, Письма, т. 3, с. 291–292).

В тот же день Боткин написал И.И. Панаеву: «...я удивился, почему Некрасов возвратил ему его “Музыканта”. Там было много хорошего, хотя главному лицу и не дано было той поэтической привлекательности, какую бы следовало ему иметь» (Тургенев и круг «Современника», с. 437).

Между тем мнение редакции «Современника» оставалось прежним. Панаев написал 11 (24) февраля 1858 г. Боткину о повести: «Ее печатать было невозможно для чести его имени. Это подтвердит тебе и наш друг Павел Васильевич (Анненков), который едет за границу в марте. – Вообще Толстому надобно явиться теперь с чем-нибудь замечательным, ибо вера в него крайне поколебалась последними его произведениями (“Люцерн” и повестями в “Отечественных Записках” и “Библиотеке для чтения”) ...» (там же, с. 442). В те же дни Д.В. Григорович извещал Боткина, что Некрасов «принужден был» отослать повесть автору, хотя Толстой не согласен с оценкой и просил прочесть повесть Дружинина, Анненкова и Аксакова (Литературная Россия. 1972. 31 марта (№ 14). С. 11).

Толстой, получив корректуры повести, снова взялся за ее переделку, с намерением напечатать: «Переправка Музыканта. Напечатано» (дневниковая запись между 11 и 26 декабря). Сохранился корректурный лист (четыре неразрезанные полосы) с правой Толстого. Он содержит конец X главы и целиком главы XI и XII. Толстой исправил и переделал то, о чем просил Некрасова в неотправленном письме от 27 ноября: всюду удалил художника Бирюзовского и заменил его Делесовым. В конце типографский набор зачеркнут и появился новый автограф.

19 января 1858 г. Некрасов написал Толстому: «Перед Вами я (...) не то чтобы виноват, а как придете Вы мне на ум, то как-то делается неловко. Кажется, я должен был бы, между прочим, подробнее поговорить об Вашей повести, о коей произнес столь решительный суд, но не могу – я глуп, как сайка, бессонные ночи отшибают память и соображение...» (Некрасов, т. 14, кн. II, с. 103). Толстой ответил 21 января: «Повесть свою спрятал, но придумал еще в ней переделки, которые сообщу вам когда-нибудь, когда будем вместе». Он писал рассказ «Три смерти».

Переработка повести о музыканте началась 14 февраля, как только Толстой приехал из Москвы в Ясную Поляну.

15 февраля: «Вчера работал над Погибшим. Начинает выходить».

16 февраля: «Опять работал над Погибшим. Как будто кончил, но еще переделаю».

17–18 февраля: «Немного переделал Альберта». Здесь впервые употреблено заглавие, под которым повесть появилась в печати.

17 февраля Толстой обещал Некрасову прислать в «Современник» «на выбор» две вещи («Альберт» и «Три смерти»): «...одна есть тот же несчастный, всеми забракованный музыкант, от которого я не мог отстать и еще переделал».

26 февраля, находясь снова в Москве, отметил в дневнике: «Пересматривал еще Музыканта. Надо всего переписать или так отдать». В этот же день в письме

к Некрасову: «К марту месяцу уже я вам не поспею с новой вещью, а в марте надеюсь сам вас видеть и прочесть вам».

28 февраля: «Вечером переделал Альберта, кажется, окончательно».

«28 февраля 1858» – авторская дата под публикацией повести в «Современнике».

1–4 марта, как записано в дневнике, Толстой снова работал над «Альбертом». 1-го прочел его Б.Н. Чичерину и Е.Ф. Коршу. «Нашли, что ничего».

4 марта: «Работал немного, переделывал еще Музыканта».

8–10 марта: «Доканчивал Музыканта».

Изменения делались, конечно, в корректуре, с которой после авторской правки, была изготовлена копия, снова просмотренная Толстым. Не удалось «так отдать», т. е. выправленную корректуру. Одиннадцать разрозненных листов большого формата (писарской рукой) – сохранившиеся фрагменты той стадии работы. Текст местами выправлен и зачеркнут, местами – почти без исправлений, явно потому, что он просто был исключен: в напечатанной повести всего семь глав. В частности, был оставлен за пределами опубликованного текста эпизод с поездкой в оперу на «Дон Жуана» Моцарта, который до того несколько раз переписывался и тщательно отделывался. (Полный текст сохранившихся листов копии см. во второй серии издания.)

10 марта Толстой уехал в Петербург, а 12 марта отдал Некрасову рукопись «Альберта» (письмо Колбасина Тургеневу 17 марта. *Тургенев и круг «Современника»*, с. 353). Спустя несколько дней – короткая записка Некрасову о гонораре и корректуре: «Да будет по-вашему, любезный Николай Алексеевич. Лучший резон есть то, что я вам не раз был обязан. Мне даже совестно, ужасно совестно; но что делать – принцип – драть сколько можно больше за свое писанье (...) пожалуйста, поручите корректуры посмотреть повнимательнее».

27 марта (8 апреля) Тургенев в письме из Вены спрашивал Толстого: «Некрасов, говорят, отказал Вам поместить «Погибшего»; теперь, слышно, Вы его переделали...» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 313).

3 апреля Некрасов отправил Толстому корректуры «Альберта». «Посылаю Вам корректуры Вашей повести, которую задержал по глупости наш цензор и которая потому не попала в 4 №. Вы по решению этого цензора не судите – по всей вероятности, повесть будет пропущена без изменений, но комитета цензурного не будет ранее будущей недели. Если же, паче чаяния, потребуются какие-либо перемены, то извещу Вас» (*Некрасов*, т. 14, кн. II, с. 107). (По-видимому, апрельский номер «Современника» подвергся особо строгому контролю со стороны цензора П.Новосильцева из-за статьи Чернышевского и Кавелина «О новых условиях сельского быта».)

А.А. Толстая, не найдя повести Толстого в № 4 «Современника», 4 июня 1858 г. просила его: «...успокойте меня относительно вашего нового рассказа (...) который должен был появиться в апреле и о котором до сих пор ничего не слышно. Я даже не знаю, в каком журнале его искать; поэтому в поисках мы набрасываемся на все журналы без разбора» (*Переписка с А.А. Толстой*, с. 111).

15 августа № 8 «Современника» с повестью «Альберт» вышел в свет (Прибавление к № 98 «Московских ведомостей» от 16 августа, с. 832).

2

Обоснованно опираясь на дневниковые записи Толстого, В.И. Срезневский писал о том, что в Альберте запечатлен «психологический портрет Кизеветтера – гениального скрипача и несчастного человека» (Толстой. 1850–1860. Материалы. Статьи. Труды Толстовского музея Академии наук СССР. Л., 1927. С. 43).

Но в прижизненной критике прототипом Альберта обычно называли пианиста Рудольфа, которого Толстой привез в Ясную Поляну в 1849 г. и у которого брал уроки. В Петербурге, писал С. Венгеров, Толстой «встретился, в весьма мало подходящей обстановке танцкласса, с даровитым, но сбившимся с пути немцем-музыкантом, которого впоследствии описал в “Альберте”. Толстому пришла мысль спасти его: он увез его в Ясную Поляну и вместе с ним много играл» (Венгеров, с. 450). На Рудольфа как на прототип Альберта указывал и критик А. Измайлов в заметке «Триумф русского гения» (Биржевые ведомости. 1908, 28 августа. № 10677): «Вспомните, кстати, как он (Толстой) держится пережитого, виденного, слышанного, автобиографического. Ростов – это его отец, (...) Карл Иванович – подлинный гувернер Рессель, Альберт – Рудольф».

Близкие к этим рассуждения встречаются и в книгах зарубежных критиков. Р. Лёвенфельд писал о том, что содержание повести «Альберт» Толстой «почерпнул из своей собственной жизни», что в «Альберте» рассказана «история несчастного Рудольфа» (Leo N. Tolstoi, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung. Von Raphael Löwenfeld. Erster Teil. Berlin, 1892, S. 24; *Лёвенфельд Рафаил*. Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание. СПб., 1896. С. 120, 121). В Рудольфе видел прототип Альберта и Е. Цабель. В повести «Альберт», писал немецкий критик, Толстой «изображает печальное существование одного богато одаренного, занесенного судьбой в Россию немецкого музыканта, павшего жертвой своей несчастной страсти. По-настоящему его звали Рудольфом; Толстой взял его с собой в Ясную Поляну: отчасти в надежде, что жизнь среди деревенской тишины и покоя положит конец его беспокойной бродяжнической жизни, отчасти потому, что надеялся оказать на него благотворное влияние и в отношении его занятий музыкой» (L.N. Tolstoi. Von Eugen Zabel. Leipzig, Berlin; Wien, 1901. S. 24; *Цабель Евгений*. Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк. Киев, 1903. С. 40–41). Э. Стейнер и Э. Моод также считали немецкого пианиста, привезенного Толстым в Ясную Поляну, прототипом Альберта (см. Tolstoy the man. By Edward A. Steiner. New York, 1904. P. 98–100; The Life of Tolstoy. First fifty years. By Aylmer Maude. London, 1908. P. 51, 166–167).

Приведенные сопоставления Альберта с Рудольфом только подтверждают ту истину, что подлинно художественный образ нельзя упрощенно связывать с конкретным реальным лицом. Существует и свидетельство самого Толстого о неправомерности прямых сопоставлений: Рудольф – Альберт. 7 ноября 1906 г. Д.П. Маковицкий записал в дневнике разговор Толстого с сыном о Рудольфе:

«Андрей Львович спросил:

– Альберт Рудольф?

Л.Н.: Нет. Когда я жил в Москве, я знал пианиста Рудольфа – пьяницу. Он жил у меня некоторое время, очень хорошо играл.

Андрей Львович спросил Л.Н., не с него ли он писал Альберта. Л.Н. сказал, что никогда нигде его не описывал» (ЛН, т. 90, кн. 2, с. 298).

Воспоминания Алексея Мошина, связанные с «Альбертом», – пусть косвенным образом, – также свидетельствуют о том, как легко ошибиться, прямолинейно соотнося художественный образ с тем или иным прообразом: «С одним моим рассказом произошел маленький курьез. (...) Критика меня обвинила в том, что я подражал (...) “Альберту” (...) В моем “Блуждающем огоньке” вывел я скрипача-пьяницу, которого в главных чертах я списал с натуры... Знал я лично подобного скрипача, знал до самой его смерти... И знал других подобных людей... Собрал у нескольких черты характерные, – и написал моего Волчкова.

– Я помню, – сказал Лев Николаевич. – А с критиками это случается: они часто любят подозревать в подражании» (*Моишн А.* Ясная Поляна и Васильевка. СПб., 1904. С. 27–29).

Почти сразу же по выходе журнала «Современник», познакомившись с повестью «Альберт», М.Н. Лонгинов сообщал Некрасову: «“Альберта” Л.Н. Толстого я прочел и, признаюсь, сожалею, что напечатано такое произведение, нимало не соответствующее славе его превосходного таланта. Впечатление это почти общее в Москве, где у него столько и личных друзей, и почитателей его дарования» (Архив села Карабиха. Письма Н.А. Некрасова и к Некрасову. М., 1916. С. 125).

Письмо Лонгинова далеко не точно передавало «общее впечатление» от «Альберта», хотя действительно это впечатление было сложно и неоднозначно. Через много лет один из критиков, пытаясь объяснить такое неровное отношение к «Альберту», упоминал о нем как о произведении, написанном «не по времени» (*Носков Ник.* Л. Толстой и его слава. Вечер. 1908, 28 августа). «Не по времени» – критик, скорее всего, имел в виду то обстоятельство, что с приближением крестьянской реформы общество все более и более было занято вопросами, связанными с ее подготовкой и проведением, – вопросами и проблемами, далекими от тех, которые были поставлены в «Альберте». Действительно, первые рецензенты «Альберта» увидели в его авторе писателя, творящего «из чисто художественных целей», желающего углубиться «в мир фантазии», в «мир призраков восторженной артистической души». Так, например, автор «Литературных заметок» журнала «Северный цветок» очень сдержанно отнесся к повести Толстого, воспринимая ее как «какой-то сон»: «В этом очерке, который читается легко, потому что изящно написан, представляется психологическое наблюдение над пьяным театральным музыкантом Альбертом. Есть много странного в этом характере, есть в нем несколько оригинальных, типических черт, мастерски подмеченных автором, но вообще весь рассказ не оставляет по себе никакого впечатления... Это какой-то сон, скоро забываемый и не оставляющий после себя следов. Тем не менее, на этом рассказе, несмотря на его неопределенности (так, например, читатель остается в совершенном неведении, где происходил бал или *балик*, как его называет автор), лежит печать той художественной отделки, которую в праве требовать читатель от автора “Детства”, “Отрочества” и наконец “Юности”» (*Северный цветок.* 1858. № 10. «Смесь». С. 71).

Упоминание об «Альберте» появилось и в 8-м номере «Сына отечества» от 22 февраля 1859 г. В обзоре журналов есть краткое сообщение о том, что после долгого молчания автор «Детства» и «Юности» напечатал в «Современнике» рассказ «Альберт». Рецензент расценивал обращение Толстого к поднятой в «Альберте» теме как желание писателя, прославившегося «в области реализма, в изображении положительной жизни с ее разнообразной обстановкой и бесчисленными отношениями действующих лиц», – заглянуть в «поэтический мир фантазии, в мир призраков восторженной артистической души», в мир «гофманских типов гениальных, сумасшедших музыкантов» (с. 214–215).

Вскоре после опубликования «Альберта» Б.Н. Алмазов в статье «Взгляд на русскую литературу в 1858 г.» писал: «В 1858 году была также напечатана повесть гр. Л. Толстого “Альберт”. Гр. Толстой по справедливости почитается одним из очень даровитых писателей наших. Он принадлежит к немногочислу тех, которые творят из чисто художественных целей. Характеристическая черта произведений автора “Четырех эпох развития” и “Военных рассказов” заключается в тонкости, верности и глубине психических наблюдений, – в благородстве и чистоте чувств, которыми они согреты. Что касается собственно до

повести «Альберт», то ее (...) следует отнести к неудавшимся произведениям автора. Герой повести «Альберт» человек полусумасшедший, а психические наблюдения над такими субъектами не должны и не могут составлять матерьяла для художественного произведения» (Утро. Литературный сборник. М., 1859. С. 77; Сочинения Б.Н. Алмазова. М., 1892. Т. III. С. 373–374).

С резкой отповедью Алмазову выступил Ап. Григорьев. Прочитывая слова Алмазова по поводу «Альберта» о том, что героем художественного произведения не может быть полусумасшедший человек, Ап. Григорьев восклицал: «Стало быть и “Записок сумасшедшего” вы не дали бы права писать Гоголю, г. Б.А.?» (Русское слово. 1859, февраль. № 2. «Библиография». С. 138). Произведения Толстого, по словам Ап. Григорьева, – это «кровавое жертвоприношение вполне или не вполне добытой анализом правде жизни», «и часто эта правда жизни так жестка и сурова, что возбуждает глубокое сострадание к призракам, принесенным ей в жертву» (там же, с. 117). В последних словах слышится ответ не только Алмазову, но и тем критикам, которые увидели в «Альберте» мир «сна», «мир призраков».

И в дальнейшем отзывы критики об «Альберте» были довольно разнохарактерны. Орест Миллер, например, стремился раскрыть «психологический смысл» этого небольшого произведения: «Слишком уж поздно протянулась к нему (Альберту) эта спасающая рука, слишком долго целое множество людей относилось к нему с презрением и тем способствовало его падению. Сам он уже подняться не может, но силою его таланта поднимается другой; его самого спасти уже поздно, но тот человек, в котором чарующая сила его музыки пробудила столько хороших воспоминаний юности, воскресила заглохшие было добрые человеческие чувства и высокие стремления, этот человек спасет, по-видимому, навсегда тот запас сил, который в нем еще жив. В самом же музыканте если талант и продолжает сказываться, то уже помимо его воли, помимо его сознания» (Миллер О. Русские писатели после Гоголя, с. 253–254).

«Маленькое, но художественное произведение, рисующее странную смесь душевной приниженности, убожества и величия в лице бедного, спившегося, но талантливого и восторженного виртуоза музыканта», – так писал об «Альберте» Р.А. Дистерло в критическом очерке «Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист» (с. 73).

А. Скабичевский в книге «Граф Л.Н. Толстой как художник и мыслитель. Критические очерки и заметки» (СПб., 1887, с. 59) причислил повесть «Альберт» к тем произведениям Толстого, в которых писатель раскрыл «крайнюю искусственность, ходульность и призрачность жизни» интеллигентной среды, таких ее представителей, как Делесов. «Подобное содержание не искусственно придумывается и проводится писателем, а составляет вполне естественный результат его изучения жизни», поэтому его произведения «производят такое сильное, неотразимое впечатление». В «Истории новейшей русской литературы» Скабичевский подтвердил эти свои наблюдения (Скабичевский, с. 164).

Близкое понимание повести «Альберт» отразилось в статье А. Измайлова, посвященной 55-летию литературной деятельности Толстого: «Он коснулся русской интеллигенции и показал, как грустно не выходит ничего из самых благонамеренных потуг людей дряблого поколения, паразитирующего на народном теле. Посмотрите, как они неумело хозяйничают (“Утро помещика”), как жалки и бестолковы даже в благородном порыве и протесте (“Альберт”), как оторваны от живого нерва народной жизни» (Русское слово. 1907, 6 сентября. № 205).

Пафос «Альберта» иногда воспринимался прямо противоположным образом. В. Саводника поражало «тяжелое, мрачное настроение» автора, отразив-

шея в его повести (*Саводник В. Очерки по истории русской литературы XIX века. Изд. 2-е. М., 1906. С. 478*). В. Вересаев, напротив, в «Альберте» увидел воплощение жизнеутверждающего мироощущения Толстого, считавшего, по словам Вересаева, великой добродетелью способность человека быть счастливым. «Пьяница-музыкант Альберт замерзает на улице. Ему чудится голос друга-музыканта, защищающего его перед толпой: “Вы могли презирать его, мучить, унижать, а он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. Он счастлив, он добр. (...) Ниц падайте все перед ним! На колени!” – “Да, он лучший и счастливейший!” – невольно повторялось в воображении Альберта. (...) У Достоевского было бы: “он лучший и несчастнейший”» (Современный мир. 1910. № 10. С. 186–187).

При жизни Толстого были сделаны следующие переводы «Альберта» на иностранные языки. В 1858 г. опубликован первый чешский перевод «Альберта» в газете «Pražské noviny» (переводчик не назван). Отдельным изданием эта повесть была напечатана на чешском языке в 1899 г. (Albert. P. 1899. Ptel. J. Řežábek). В 1885 г. в журнале «Kraj», издававшемся в Петербурге (№ 18 и 19) появился «Альберт» в переводе на польский язык (см. ЛН, т. 75, кн. 2, с. 258). В 1887 г. состоялся перевод на английский язык: Albert. Transl. by N.H. Dole. London. Scott, 1887 (перездано в Лондоне и Нью-Йорке в 1887 г., в Нью-Йорке в 1899 г.; в переводе Винера (L. Wiener) напечатано в Лондоне в 1904 г.); в 1888 г. – на немецкий язык: Albert. In: Zwei Erzählungen. Berlin, 1888 (затем в 1891, 1897, 1901 гг.; переводчиками были: Н. Roskoschny, R. Löwenfeld); в 1889 г. – на французский язык: Albert. Trad. par B. Tseytline et E. Taubert. In: Les décembristes. Paris, 1889 (затем в том же 1889 г. повесть вышла в переводе Гальперина-Каминского (Halpérine-Kaminsky) в Париже; в переводе Бинштока (Bienstock) была включена в пятый том (Paris, 1903) собрания сочинений, издававшегося под наблюдением П.И. Бирюкова); в 1889 г. – на голландский язык: De zwanesang Geschiedenis van een musikus. Vert. van E. van Burchviet s’Hage, Morel, 1889; в 1890 г. – на датский язык: Albert. Overs. af W. Gerstenberg. In: Soldaterliv i Kaukasus. Kjøbenhavn, 1890; в 1891 г. – на шведский язык: Svanesången. En fiolspelares histoira. Övers. av. W. Hedberg. In: Från Kaukasus jämte flera berättelser. Stockholm, 1891; в 1892 г. – на испанский язык: El canto del cisne. Historia de un musico. In: El canto del cisne. Madrid, 1892 (затем в 1901 г.).

Газета «Новости» от 17 мая 1890 г. (№ 134) сообщила, что в Берлине вышла в свет на немецком языке книжка под заглавием «Realistische Novellen von L. Tolstoj und W. Korolenko», заключающая в себе перевод рассказа «Альберт».

С. 153. «*Melancholie G-dur*» – Имеется в виду получившая в середине XIX в. широкую популярность пьеса для скрипки Франсуа Прюма (François Hubert Prume). Скрипач-виртуоз Прюм был профессором консерватории в Льеже, с большим успехом давал концерты в Германии, России, Швеции, Норвегии, Дании.

С. 157. ...летнюю старую альмавиву... – Альмавива – мужской плащ особого покроя. Название этого плаща происходит от имени персонажа комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». Названия различных видов костюма по имени драматического персонажа или актера были достаточно распространены.

С. 159. ...у Излера... – И.И. Излер, владелец увеселительного сада «Минеральные воды» близ Петербурга.

С. 161. «*Сомнамбула*» – опера итальянского композитора Винченцо Беллини. Либретто оперы было написано Ф. Романи на тему, заимствованную из водевиля Э. Скриба и Ж. Делавиня «Сомнамбула» («Невеста-лунатик»). Впервые

в Петербурге опера Беллини под названием «Невеста-лунатик» была поставлена 17 мая 1837 г. И затем за все годы существования Итальянской оперы в Петербурге (1843–1855) не сходила со сцены. В «Сомнамбуле» вместе с русскими певцами выступали итальянский певец, тенор, Д. Рубини, первый исполнитель партии Эльвино, и французская певица, меццо-сопрано, Полина Виардо, считавшаяся лучшей исполнительницей партии Амины.

С. 161. ...финал «Лючии» – Имеется в виду опера Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Либретто «Лючии» написано С. Каммарано по роману В. Скотта «Ламмермурская невеста». В России в первый раз опера была поставлена в Одессе в 1839 г. итальянской труппой, на русской сцене в Петербурге в 1840 г. В большом творческом наследии Доницетти «Лючия» занимает едва ли не первое место.

... *Chopin...* – Шопен Фридерик (1810–1849), польский композитор и пианист.

Роберт – «Роберт-Дьявол», опера Джакомо Мейербера. Либретто оперы – Э. Скриба и Ж. Делавиня. Сюжет, сценарий, музыка, большой оркестр и хор, включение балетных номеров, яркая зрелищность, напряженный драматизм – все это характерные черты романтического стиля, воплощенного в рамках так называемой большой французской оперы. На петербургской сцене «Роберт-Дьявол» был поставлен 14 декабря 1834 г. (в переделанном виде, так как по законам цензуры дьяволу не положено было появляться в театре). Среди исполнителей был прославленный итальянский певец Лаблаш, упоминаемый в повести.

С. 162. «*Севильский цирюльник*» – опера итальянского композитора Джоаккино Россини. В 1843–1846 гг. в роли Розины на сцене петербургской Итальянской оперы пела Полина Виардо.

С. 163. ...финал первого акта «*Дон-Жуана*»... – оперы В.А. Моцарта. Толстой слышал эту оперу 15 декабря 1856 г. в исполнении артистов Итальянской оперы и записал в дневнике: «Поэтическая вещь очень».

С. 166. *Und wenn die Wolken sie verhüllen, / Die Sonne bleibt doch ewig klar.* – Несколько переиначенные строки каватины Агаты из оперы К.М. Вебера «Вольный стрелок» («*Freischütz*»). Либретто к опере сочинил юрист и писатель Ф. Кинд (Friederich Kind) в 1817 г. по мотивам новеллы «Вольный стрелок», напечатанной в «Книге о привидениях» И.А. Апеля и Ф. Лауна, которую Вебер читал в 1810 г. и уже тогда решил написать оперу на этот сюжет. В третьем действии, втором явлении либретто Ф.Кинда есть такие строки каватины Агаты:

Und ob die Wolke sie ferhülle,
Die Sonne bleibt am Himmelszelt.
(И окутанное облаком,
Солнце остается на небосводе.)

Ich auch habe gelebt und genossen – Не совсем точная фраза из стихотворения Ф. Шиллера «Жалоба девушки» («*Des Mädchens Klage*»). У Шиллера:

Ich habe genossen das irdische Glück,
Ich habe gelebt und geliebet!
(Я наслаждался земным счастьем,
Я жил и любил!)

Это стихотворение Шиллера было положено на музыку Ф.Шубертом.

«*Юристен-вальцер*» – Вероятно, речь идет о сочинении австрийского скрипача и композитора Йозефа Ланнера (Lanner) «*Wiener-Juristen-Ball-Tanze*».

ТРИ СМЕРТИ

РАССКАЗ

Впервые: Библиотека для чтения. 1859. № 1 (ценз. разр. 12 янв. 1859 г.). С. 53–63. Подпись: Граф Л. Толстой.

Сохранился автограф ранней редакции – 8 листов.

Печатается по тексту «Библиотеки для чтения» со следующими исправлениями:

С. 182, строка 8: Уж не помер ли? – *вместо*: Уже не помер ли? (по А).

С. 184, строка 28: вошли – *вместо*: вышли (по А).

С. 185, строка 23: обновляешь – *вместо*: обновляют (по А и Псалтири).

1

Первая заметка, которую можно отнести к рассказу, сделана в записной книжке 11 декабря 1857 г.: «Симеон за сапоги обещал камень брату». Работа началась 15 января 1858 г. Приехав в этот день в имение Соголово под Клином к двоюродной сестре матери княжне В.А. Волконской, Толстой записал в дневнике: «Хорошо начал писать смерть».

Впоследствии (1904), делая замечания к биографии, составленной П.И. Бирюковым, Толстой написал: «Милую старушку, двоюродную сестру моей матери, я знал. Познакомился я с ней, когда в пятидесятых годах жил в Москве. Устав от рассеянной светской жизни, которую я вел тогда в Москве, я поехал к ней в ее маленькое имение Клинского уезда и провел у нее несколько недель. Она шила на пяльцах, хозяйничала в своем маленьком хозяйстве, угощала меня кислой капустой, творогом, пастилою, какие только бывают у таких хозяек маленьких имений, и рассказывала мне про старину, мою мать, деда, про четыре коронации, на которых она присутствовала; я же писал у нее “Три смерти”. И это пребывание у нее осталось для меня одним из чистых и светлых воспоминаний моей жизни».

Биографы Толстого отмечают, что к этому времени «мысль о смерти начинала серьезно волновать его, и, как всегда, возможное решение этого вопроса он находил в гармонии разума с природой. Отступление от этого – невыразимое страдание...» (Бирюков, т. 1, с. 169).

Из записей в дневнике видно, что Толстой работал над рассказом 16 января («писал»), 17 января («немного поправил»). Особые трудности вызвал конец рассказа – третья смерть, смерть дерева, сопоставленная со смертью людей. Вернувшись 19 января в Москву, Толстой прочел рассказ брату – Н.Н. Толстому, который посоветовал «дерево оставить». Толстой последовал совету брата и ближайшие дни работал над концом рассказа. 20 января он отметил в дневнике: «Встал рано. Думал, передумывал 3 смерти и написал Дерево. Не вышло сразу». В автографе описание смерти дерева значительно отличается от текста окончательной, журнальной редакции и носит следы многослойной и разновременной (разные чернила) правки. Первоначально замысел выражен в одной фразе, вставленной в рукописи между строк: «Мужик в поле рубил дерево и т. д.». Судя по всему, в первоначальный замысел входили две смерти: барыни и ямщика.

21 января Толстой, как явствует из дневника, снова «думал и переписывал *дерево*», и в тот же день сообщал в письме к Некрасову: «...пишу маленькую по

количеству листов вещь, весьма странного содержания, которую, может, пришлю Вам в конце месяца». 23 января запись в дневнике: «Писал утро, хотя и встал поздно. Нигде не был. Дописывал после обеда и прочел тетеньке (Т.А. Ергольской), с слезами».

24 января: «Докончил Три см(ерти)».

Сохранившийся автограф – первый черновик рассказа, без заглавия, с многочисленными поправками, перестановками и дописанным новым концом (смерть дерева). Рукопись обрывается на недописанной фразе; видимо, ее окончание находилось на листе, который не сохранился.

Действие происходит осенью. О барыне говорится: «Она делает планы о заграничной жизни, хочет вернуться весной за детьми» (слова мужа). В авторском описании: «С неба на мокрую дорогу, на поля, на крыши и на карету сыпалась серая осенняя мгла». Смерть и барыни и ямщика тоже наступала осенью, через «две недели». Заканчивается рассказ о двух смертях словами о весне и о вечной смене в природе: «Над могилой дяди Хведора растет густая трава из-под камня и кажется хотела сдвинуть (его). Такая же трава растет около часовни, и та и другая каждый год засыхает, засыпается снегом и обновляется, каждый день всходит солнце и светит и на часовню и на камень дяди Хведора. И никто не знает, что сделалось с ширкинской госпожой и с дядей Федором».

Дальше в автографе зачеркнут выправленный было текст: «Один раз жена Хведора пришла съесть лепешку на его могиле, и лепешка была вкусна, и крохи падали на темно-зеленую росистую траву, и солнце светило ярко, и колокол гудел громко, и народ шел из церкви весело, и Бог (не) нарадовался, глядя на мир свой, и никто не думал о том, что оставалось под землей от дяди Хведора». Тут же другими чернилами начат новый эпизод – смерть дерева: «Пришла весна, прогнала реки, смысла снег...» При одном из повторных обращений к этому автографу на полях первого листа появилась помета «Весна», соответственно изменена начальная фраза: вместо «Была осень» – «Была весна».

Кроме работы над концом рассказа, Толстым была сделана правка всего автографа. Судить о ней можно лишь частично: в нескольких местах обозначены значком вставки, а самих вставок нет. Во II главе печатного текста появился разговор Настасьи с Федором; в рукописи он намечен дальше вписанным между строк:

«Кухарка бранилась, и Федор с трудом:

– Не сердчай, Настасья, не долго, опростаю угол-то.

– Который раз обещаешь, – пробормотала Настасья».

Другой знак вставки соответствует заключительным строкам этой же главы: «Родных у Федора не было...»

При окончательной отделке рассказа была опущена характеристика Федора, «мужика сильного, веселого», краткие сведения о его прошлом; исчезла жена Федора, приходившая на его могилу; чужим, просто «парнем» стал и тот молодой ямщик, который просит сапоги, а потом рубит дерево на крест. В рукописи он назван племянником.

Первоначально после слов: «На другой день больная уже была тело» – шел диалог между мужем и кухаркой о воле покойной, о расходах, связанных с перевозом тела в Щербинки и пр. В печатном тексте ничего этого нет, осталось лишь чтение Псалтири над усопшей. Смерть дерева на последних страницах автографа рассказана без прямой связи с могилой Федора. Позднее, за пределами сохранившейся рукописи, создано начало IV главы и разговор кухарки с Сергеем.

В автографе деления на главы не было. Лишь в одном месте, после разделительной строки точек, Толстым поставлена римская цифра II – перед слова-

ми: «Карета была заложена, но ящик мешкал» (как и в печатном тексте). В окончательном тексте смерть барыни отнесена к весне и составила III главу, начинающуюся словами: «Пришла весна» – теми самыми, какие открывают эпизод смерти дерева в первом варианте.

30 января 1858 г. Толстой читал рассказ А.А. Фету, Б.Н. Чичерину и Е.Ф. Коршу. «Хотят поглубже. Вздор!» – отмечено в дневнике. 17 февраля обещал Некрасову «на днях» выслать «на выбор» «Музыканта» и еще одну «штуку» (имеется в виду «Три смерти»).

Тем временем, еще 10 февраля в редакции «Современника» был составлен циркуляр о прекращении «обязательного соглашения» (см. комментарий к «Разжалованному»), и 22 февраля Некрасов просил Толстого согласиться на расторжение договора, хотя, добавлял редактор, он «единственный, не нарушивший условия». 26 февраля Толстой направил согласие на «разрыв союза».

11–17 марта, находясь в Петербурге, Толстой встречался с Дружининым. «Видел Друж(инина) и его середу...» – отмечено в дневнике 12 марта. Видимо, тогда же он обещал, по завершении рассказа «Три смерти», отдать его в «Библиотеку для чтения». Несколько раз за это время бывая в семье А.А. Толстой, читал «Три смерти». А.А. Толстая вспоминала: «По возвращении нашем в Россию, где мы пробыли безотлучно до 1859 года, Лев часто приезжал в Петербург и большую часть своего времени проводил у нас: то у моей матушки, то у сестры Елизаветы Андреевны, или у меня на верху Марининского дворца. Вечером мы обыкновенно собирались у сестры, которая жила в нижнем этаже того же дворца (...) В эту зиму он приносил нам иногда кое-что из своих неизданных сочинений. Так, например, “Семейное счастье”, “Три смерти” были впервые читаны у нас. Читал он плохо, застенчиво, – и благодушно выслушивал всякое замечание» (*Переписка с А.А. Толстой*, с. 12, 14). 24 марта, из Москвы, Толстой извещил свою петербургскую родственницу, что отдал рассказ в переписку, и обещал выслать копию. Это было сделано: вскоре А.А. Толстая отправила письменный разбор, и Толстой отвечал ей. Посланная рукопись остается неизвестной.

18 апреля, давая оценку рассказу и восхищаясь его «канвой», А.А. Толстая высказывала сожаление о том, что слишком бегло сказано о причинах спокойного отношения к смерти бедного ящика. Что касается изображения умирающей молодой женщины, окруженной обожанием и угождением своих близких, инстинктивно цепляющейся за жизнь и воображающей, что она покорилась смерти, – это изображение, по мнению А.А. Толстой, истинно, тонко и не нуждается в пояснениях. Но тайна стоического спокойствия бедного извозчика должна быть дана не только намеком. Иначе его кончина подобна смерти животного: из ничтожества вышел – в ничтожество возвращается. Ведь та трогательная простота, с которой бедные люди созерцают приближение смерти, поясняя далее А.А. Толстая, не является результатом тупого равнодушия. Их спокойствие есть чистая вера-упование, хотя, возможно, безотчетное, но все-таки упование. Быть может, сюда примешивается и утомление от тяжелых трудов. (См.: *ГМТ. Переписка Л.Н. Толстого с А.А. Толстой*.)

26 апреля Толстой отметил в дневнике получение письма от А.А. Толстой о «Трех смертях», а 1 мая ответил на него. «Вчера я ездил в лес, который я купил и рублю, и там на березах распустились листья и соловьи живут, и знать не хотят, что они теперь не казенные, а мои, и что их срубят. Срубят, – а они опять вырастут, и знать никого не хотят. Не знаю, как передать это чувство, – совестно становится за свое человеческое достоинство и за произвол, которым так кичимся, – произвол проводить воображаемые черты и не иметь права изменить

ни одной песчинки ни в чем – даже в себе самом. На всё законы, которых не понимаешь, а чувствуешь везде эту узду, – везде – Он. Совершенно к этому идет мое несогласие с вашим мнением о моей штуке. Напрасно вы смотрите на нее с христианской точки зрения. Моя мысль была: три существа умерли – барыня, мужик и дерево. Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить? В обещания будущего христианства она верит воображением и умом, а все существо ее становится на дыбы, и другого успокоения (кроме ложно-христианского) нету, – а место занято. Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия – природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза. Une brute (животное), вы говорите, да чем же дурно une brute? Une brute есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни. Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, – потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет. Вот моя мысль, с которой вы, разумеется, не согласны; но которую оспаривать нельзя, – это есть и в моей душе, и в вашей».

31 января 1910 г. Д.П. Маковицкий так записал разговор Толстого с П.И. Бирюковым о письмах его к А.А. Толстой, в том числе и об этом письме от 1 мая: «Profession de foi вы изложили ей тогда, когда она хотела вас к православию привлечь» (ЛН, т. 90, кн. 4, с. 172).

Несмотря на то, что рассказ был окончен, Толстой продолжал обдумывать его, боясь, что он не будет понят читателями. 12 июня 1858 г. в дневнике отмечено: «Вчера приехал Тургенев (...) Прочел 3 с(мерти), слабо».

Напечатаны «Три смерти» лишь в начале 1859 г. 15 января вышел № 1 «Библиотеки для чтения» с рассказом Толстого (см.: Северная пчела. № 11).

21 января в письме Дружинин просил В.П. Боткина узнать у Толстого, сколько нужно выслать денег за «Три смерти», а также интересовался новой повестью, желая приобрести ее для своего журнала. 10 февраля, сообщая Толстому о высылке 150 рублей серебром, благодарил за обещание «насчет романа» (Переписка, т. 1, с. 277). Но «роман» «Семейное счастье» (не «кавказский», как думал Дружинин, знавший о будущих «Казаках») появился в «Русском вестнике».

2

«Исповедание веры» (profession de foi) – так назвал ответ Толстого на письмо А.А. Толстой по поводу рассказа «Три смерти» биограф писателя П.И. Бирюков (см. выше). В той или иной форме толкование толстовского «исповедания веры» неизменно входило в суждения критиков об этом рассказе – то приближаясь к толкованию самого Толстого, то удаляясь от него. А иногда современники видели в этом произведении и то, чему в пору его создания сам автор еще не придавал особого значения. 4 февраля 1859 г. Толстой, принятый в члены Общества любителей Российской словесности, произнес на заседании Общества речь, в которой высказался против увлечения «изобличительной литературой» в защиту литературы, отражающей «вечные, общечеловеческие интересы». Председатель Общества А.С. Хомяков в ответной речи, защищая важность обличения в литературе, сказал, что и самому Толстому не чуждо это направление, о чем свидетельствует его рассказ «Три смерти», в котором

писатель выступил невольным обличителем (см.: Полн. собр. соч. Алексея Степановича Хомякова. М., 1900. Т. 3. С. 418–419).

Отзывы критики о рассказе «Три смерти» появились сразу же после его публикации. Это были и беглые упоминания, и развернутые суждения с анализом поставленных Толстым проблем и сделанных художественных открытий.

Признавая мастерство изложения, автор «Литературных заметок», помещенных 24 января 1859 г. в «Северном цветке», все-таки находил, что рассказ поставил читателя «в тупик»: «Видно, что талантливый автор “Детства” и “Отрочества” хотел высказать глубокую мысль, но она осталась недосказанной, невыясненной» (№ 4, с. 54). Не сразу эта «глубокая мысль» рассказа была понята первыми его читателями. 11 февраля 1859 г. Тургенев писал Толстому из Петербурга: «“Три смерти” – здесь вообще понравились – но конец находят странным и даже не совсем понимают связь его с двумя предыдущими смертями, а те, которые понимают – недовольны» (Тургенев. Письма, т. 4, с. 18).

Таковы были первые впечатления от рассказа. Но уже в марте 1859 г. в «Русском мире» «маленький и грациозный рассказ» «Три смерти» был назван замечательным «по мысли и по художественному выполнению» (№ 10, с. 242).

В 1859 г. в журнале «Рассвет» (№ 12, отд. II) была напечатана статья Д.И. Писарева «“Три смерти”». Рассказ графа Л.Н. Толстого». Внимание критика прежде всего привлекло толстовское умение проникать в глубины человеческой психологии: «Картины природы, дышащие жизнью и отличающиеся свежою определенностью, отчетливая обработка характеров, выхваченных прямо из действительности, смелость общего плана и жизненное значение идеи, положенной в основание художественного произведения, – все это общие свойства, составляющие принадлежность всех наших лучших писателей и отражающиеся во всех наиболее зрелых произведениях нашей словесности. Кроме этих общих свойств, у Толстого есть своя личная, характеристическая особенность. Никто далее его не простирает анализа, никто так глубоко не заглядывает в душу человека, никто с таким упорным вниманием, с такою неумолимою последовательностью не разбирает самых сокровенных побуждений, самых мимолетных и, по-видимому, случайных движений души» (с. 64). В рассказе «Три смерти», продолжал Писарев, последние минуты больной «изображены с тою же силою анализа, которая ни на минуту не оставляет Толстого, как бы ни были таинственны и, по-видимому, недоступны для наблюдения выбранные им моменты внутренней жизни человека» (с. 68). Кажущееся отсутствие психологического анализа в изображении умирающего ямщика остается только кажущимся. В его чувствах нет ни порывистой силы и твердости, ни сложности и разнообразия, в них поражает лишь безответность и покорность и «эта покорность выражается во всем существе больного ямщика: в его словах и движениях, во всех его отношениях к окружающей обстановке и к другим людям. Достаточно изобразить эти отношения (...) и перед читателем откроется весь его внутренний мир с его бедностью и несложностью» (с. 72).

О толстовском «необычайном» анализе в связи с рассказом «Три смерти» писал и Ап. Григорьев. В том же 1859 г., когда появилась статья Писарева, Ап. Григорьев обратился к этому рассказу Толстого в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья вторая» (Русское слово. 1859. № 3. «Критика». С. 32). От «трагической, еще мрачной бестрепетности» поэзии Лермонтова, писал Ап. Григорьев, – «один только шаг до простых отношений графа Толстого к идее смерти и до его беспощадного анализа этой идеи в последнем его рассказе (“Три смерти”)». В статье 1862 г. «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения.

Статья вторая» Ап. Григорьев более подробно остановился на рассказе «Три смерти» и на особенностях психологического анализа его автора, – «анализа таких душевных движений, которых никто еще не анализировал». Руководствуясь этим анализом, Толстой, по словам Ап. Григорьева, кончает «скорбью за жизнь и ее идеалы, отчаянием за все сколько-нибудь искусственное и сделанное в душе человеческой, отчаянием, очевидным в “Трех смертях”, из которых самую нормальною является смерть дуба». «Анализ Толстого дошел до глубочайшего неверия во все “приподнятые”, “необыденные” чувства души человеческой. В этом его высокое значение, в этом же и его односторонность». Такой анализ в конце концов «ведет к какому-то пантеистическому отчаянию», и «ключ к концам этого анализа – это смерть дуба в “Трех смертях”, смерть, поставленная сознанием выше смерти не только развитой барыни, но и выше смерти простого человека. Ведь отсюда один шаг к нигилизму» (Время. 1862. № 9. Отд. II. С. 4, 5, 15, 16).

О рассказе «Три смерти» П.В. Анненков писал в 1863 г. в связи, как он сам пояснял, с проблемой скептического отношения Толстого к цивилизации и страстным его влечением «к простоте, естественности, силе и правдивости непосредственных явлений жизни». Именно это влечение и «уполномочивает его живописать природу», «смело говорить о впечатлениях дерева, подсекаемого топором» (С.-Петербургские ведомости. 1863, 27 и 28 июня. № 144–145).

После пережитого Толстым на рубеже 70–80-х годов нравственного перелома рассказ «Три смерти» стал привлекать к себе внимание новыми сторонами. В нем увидели истоки того понимания смысла жизни и смерти, законов бытия природы и человека, которое проявилось у Толстого после написания им «Исповеди», трактата «О жизни», повести «Смерть Ивана Ильича» и т. д. При чем каждый из критиков интерпретировал рассказ Толстого по-своему.

«Замечательно, – писал Ф.И. Булгаков, – что в рассказе “Три смерти” ясно указано, где нашему писателю придется искать разгадки смысла жизни и смерти. Уже здесь чувствуется, что этот смысл понят только теми массами, миллиардами трудящихся людей, которые “делают и на себе несут свою и нашу жизнь”» (Булгаков, с. 61).

Р.А. Дистерло, автор книги «Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист» (СПб., 1887), сосредоточив внимание на параллели в изображении смерти человека и дерева, завершил сопоставление и ответы на все поставленные вопросы словами о «простых людях». «Зачем понадобилась автору эта параллель?» – спрашивал Дистерло и сам же отвечал: «Такие вопросы приходят вам в голову, когда, отделившись от обаяния художественного впечатления, вы начинаете вдумываться в эту оригинальную концепцию. Скоро, однако, недоумения ваши рассеиваются и перед вами открывается идея, требующая подобного сопоставления. Смерть – роковой и неизбежный закон всего живого. Помимо воли и сознания рождается и возникает все живое, помимо воли и сознания умирает, уступая свое место новой жизни. Фатально, просто и гармонически совершается это обновление жизни во всей природе; один только человек вносит в эту гармонию диссонанс своим бессильным, жалким протестом, своим беспомощным и как бы умышленным отчаянием перед неизбежностью смерти. Впрочем, и из людей далеко не все поддаются этому отчаянию. Простые люди умирают просто и спокойно» (с. 75–76).

Свое понимание рассказа «Три смерти» и запечатленной в нем авторской позиции Н.К. Михайловский изложил в статье, помещенной в № 3 «Русского богатства» за 1895 г.: «Едва ли найдется не только в одной нашей, а и во всемирной литературе писатель, который уделял бы столько внимания смерти, как гр.

Толстой. Припомните смерть барыни, мужика и дерева в рассказе “Три смерти”. (...) Но не с холодной точностью протоколиста вырисовывает он все эти подробности: они точно сами собою складываются в атмосфере грусти и страха, обдающей самого автора. Смерть, как жестокий, неумолимый, страшный враг жизни, столько же занимает гр. Толстого, как и сама жизнь, и именно в качестве врага последней, а вместе с тем и самого гр. Толстого» («Литература и жизнь», с. 134).

О художественном и морально-философском решении проблемы смысла жизни и смерти в рассказе «Три смерти» писал В.Г. Щеглов, автор книги «Граф Лев Николаевич Толстой и Фридрих Нитцше. Очерк философско-нравственного их мировоззрения» (Ярославль, 1897). «Постоянный страх Толстого перед смертью выражается, с свойственно ему талантливостью, в разных литературных произведениях. (...) Таков был рассказ “Три смерти”, где Толстой выразил ту мысль, что природе, как и простым людям, незнакомы ни борьба с смертью, ни страх перед нею; то и другое известно только культурному человеку, потерявшему живую связь с природой» (с. 14). Рассказ «Три смерти» В.Г. Щеглов сопоставил с повестью Толстого «Смерть Ивана Ильича», с повестью о человеке, сознавшем «в долгое время своих мучительных страданий всю ложь и фальшь жизни своей и окружающих его людей, ничтожность всех ее интересов пред лицом смерти» (там же).

Сопоставление рассказа «Три смерти» с повестью «Смерть Ивана Ильича», написанной Толстым много позже, в 80-е годы, все чаще появлялось на страницах печати. Ю.Н. Говоруха-Отрок (псевд. Ю. Николаев, Ю. Елагин и др.) в статье о повести «Смерть Ивана Ильича» сравнивал ее с рассказом «Три смерти». «Для гр. Толстого, в то время, когда им написан был рассказ “Три смерти”, эта простота, с которою умирают люди из народа и которая бросилась ему в глаза, остается непонятной. Эту простоту он еще объясняет меньшею сложностью душевной организации людей из народа и с удивительной художественною смелостью как бы оправдывает свой вывод описанием смерти старого дуба». Позднее Толстой «приходит к более глубокому пониманию смысла жизни и смерти, отразившемуся в его повести “Смерть Ивана Ильича”» (Русский вестник. 1891, май. С. 316–317).

Соотнесил ранний рассказ Толстого с поздней его повестью (даже ошибочно перечислив «Три смерти» в ряду «позднейших произведений») П. Морозов в статье «Л. Толстой» (Образование. 1898. № 10). «Прежде всего – сочинения Толстого, во всей своей совокупности, от самых ранних до последних, представляются как одно громадное целое (громадное не объемом, а содержанием)» (с. 71). «Рисуя такую широкую, всеобъемлющую картину жизни во всем ее разнообразии, Толстой ни на минуту не теряет из виду основного вопроса: в чем же смысл этой жизни? зачем она? в чем настоящее назначение человека и как следует ему жить? Этот вопрос, в решении которого писатель видит краеугольный камень нравственного бытия, в большей или меньшей степени ставится и разрешается всеми действующими лицами его произведений» (с. 75). Далее, ставя рядом «Три смерти» и «Смерть Ивана Ильича», автор статьи продолжил свои наблюдения: «...писатель постоянно, неизменно возвращается к той же основной своей идее, освещая ее с разных сторон и противопоставляя простое, бесхитрое мирозерцание массы, с ее твердою верою и естественною моралью, извращенным понятиям и мелочным, тщеславным треволнениям и заботам “культурного” человечества» (с. 77).

С повестью «Смерть Ивана Ильича» соотносил рассказ «Три смерти» и Н. Любавин в статье «Гр. Л.Н. Толстой» (Русский листок. 1902, 31 августа).

№ 238). Автора статьи поразила грандиозность содержания рассказа при лаконизме формы и сложное соединение «крайнего пессимизма с величайшей жизнерадостью. Жизнь торжествует, жизнь физическая, не различающая добра и зла, правды и лжи, хороших и дурных людей. Жизнь торжествует стихийно и фатально, ибо тут, на земле, действуют ее законы и борьба с ними бесполезна. (...) В “Смерти Ивана Ильича” Толстой образно досказывает мысль, которою, образно же, проникнуты “Три смерти”».

С. Венгеров увидел в рассказе «Три смерти» пантеистическое проникновение в сущность мирового процесса: «Превосходные параллели: “Три смерти”, где изнеженности барства и цепкой его привязанности к жизни противопоставлены простота и спокойствие, с которою умирают крестьяне. Параллели заканчиваются смертью дерева, описанною с тем пантеистическим проникновением в сущность мирового процесса, которое и здесь, и позже так великолепно удалось Толстому» (*Венгеров*, с. 453).

Д.С. Мережковский назвал определяющей в рассказе «Три смерти» стихию языческую. Для Мережковского этот рассказ – свидетельство своеобразного отношения Толстого к природе. В противоположность Лермонтову и Тютчеву Толстой никогда не выделял человека из природы, писал Мережковский: «В “Трех смертях” умирающая барыня, несмотря на внешнюю словесную оболочку культурности, так мало мыслит, что здесь в голову не приходит сопоставлять ропот “мыслящего тростника” с безропотностью умирающего дерева. И в том, и в другом случае, и в христианском сознании, и в языческой стихии, у Л. Толстого отсутствует противоположение человека природе». В этом нежелании Толстого «до конца, до совершенной ясности» выделить человека из природы Мережковский увидел и силу, и слабость его творчества (*Мережковский. Л. Толстой и Достоевский*, т. 1, с. 212, 213).

В связи с празднованием пятидесятилетия литературной деятельности Толстого Н. Кузьман издал книгу «Л.Н. Толстой. 1852–1902» (СПб., 1903), в которой отведены страницы и рассказу «Три смерти»: «Это чутье жизни у Толстого так сильно, что он заставляет иногда читателя ощущать психику в самой природе. Вспомним, например, классический по своей торжественной простоте отрывок, которым заканчиваются “Три смерти”. (...) Какая изумительная детальность живописи! Но ведь только благодаря этой детальности читатель и проникает в тайники природы: ему ясно слышится тоскливая нотка в треске падающего дерева, испуг перед неожиданной смертью, тревога, а над всем этим звонко гудит радостный, счастливый хор голосов природы, поющих гимн жизни; отчаяния здесь нет, и его быть не может: вся природа величаво спокойна, как бы сознавая бессилие смерти перед вечным, победоносным ходом жизненных сил. Этот отрывок – блестящая иллюстрация к стихам поэта:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять» (с. 8–9).

«Торжественная простота» финала рассказа Толстого совсем иначе была воспринята Вл. Соловьевым в статье 1891 г. «Идолы и идеалы». Значительно переосмыслив идею рассказа «Три смерти», Вл. Соловьев довел ее до крайности. Рассуждая о том, что понятия добра и зла нельзя подменять безразличными в нравственном смысле понятиями простоты и сложности, для подтверждения правильности своего рассуждения Вл. Соловьев обратился к «гениальному», по его определению, рассказу «Три смерти»: «Здесь представлено, как уми-

рают: культурная барыня, мужик и дерево. Барыня умирает совсем плохо, мужик значительно лучше, и еще гораздо лучше дерево. Это происходит очевидно от того, что жизнь мужика проще, чем жизнь барыни, а дерево живет еще проще, чем мужик. Но если из этого несомненного факта можно выводить какое-нибудь нравственно-практическое следствие, отождествляя простоту с высшим благом, то зачем же останавливаться на мужике, а не доходить до дерева, которое проще мужика, или еще лучше – до камня, который так прост, что даже совсем не умирает. А всего проще, конечно, чистое небытие» (Сочинения Владимира Сергеевича Соловьева. М., 1903. Т. V. С. 352).

В ином аспекте о «простоте» в творчестве Толстого как противника классицизма и романтизма писал А. Измайлов, в частности имея в виду и рассказ «Три смерти», рассказ о смерти мужика и молодого дерева: «Если классицизм и романтизм имели врагов, то ими были Толстой и Достоевский. (...) Посмотрите, как все в жизни просто, – сказал Толстой. И показал, как, действительно, все, в сущности, просто, – и любовь, и ненависть (...) и мужичья смерть в душной избе, и умирание молодого деревца под крестьянским топором» (Триумф русского гения // Биржевые ведомости. 1908, 28 августа. № 10677).

По-разному ставя и решая вопрос об отношении Толстого к природе и человеку в связи с рассказом «Три смерти», сравнивая тотчас с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, критики вместе с тем невольно сопоставляли идеи рассказа «Три смерти» со взглядами «позднего» Толстого на народ, интеллигенцию, господ. Так, например, Е.А. Соловьев (псевд. Андреевич) рассказ «Три смерти» рассматривал как один из примеров противопоставления народа и интеллигенции у Толстого (Андреевич. Л.Н. Толстой. СПб., 1905. С. 222–223), а В.В. Стасов в письме Толстому от 15 февраля 1906 г. обратил внимание на характерное особенно для произведений «позднего» периода его творчества деление «бесподобного» рассказа на «две *разные половины*» – «барскую» и «мужицкую», на «два разных мира, живущих рядом, рядышком, и на самом деле отстоящих один от другого словно Азия и Африка...» (Лев Толстой и В.В. Стасов. Переписка. 1878–1906. Л., 1929. С. 394).

О том же противопоставлении двух миров, двух мироощущений в рассказе «Три смерти» писал В. Вересаев в статье «И да здравствует весь мир!» (Современный мир. 1910. № 11). Умирает ящик, но «тайными, неуловимыми для сознания путями душа его слита с общею жизнью, жизнь свою он ощущает как частицу этой единой жизни. И с высоты ощущаемого единства далеко внизу кажется собственная смерть, она теряет свои огромные, заслоняющие жизнь очертания, перестает быть мировой катастрофой. И не тупость в этом, не грубость духа, а такая тонкость и глубина жизнеощущения, которой барыне даже не понять» (с. 189).

Ю. Айхенвальда, автора книги «Силуэты русских писателей» (М., 1908, вып. II), рассказ «Три смерти» привел к широкому обобщению – о художественном энциклопедизме Толстого. Далее, сопоставляя рассказ «Три смерти» и повесть «Смерть Ивана Ильича», критик пришел к убеждению, что «страх смерти является жизненным нервом» морали Толстого. «Жизнедавец и пестун жизни от самых истоков ее», Толстой «много думал и много написал о смерти», которая обнаруживает в людях, насколько они «были живы и были правы» (с. 114, 125, 130).

Рассказ «Три смерти» стал широко известен читательской аудитории. До 1901 г. разошлось 130–140 тысяч экземпляров – по сообщениям прессы (Издания Толстого и литература о Толстом // Волжский вестник. 1901, 6 сентября. № 191). Эта известность отчасти объяснялась и тем, что к рассказу

«Три смерти» обращались организаторы «народных чтений» в популяризаторских и педагогических целях, о чем свидетельствует, например, сообщение, помещенное в газете «Саратовский листок» (1903, 9 ноября. № 243). Может быть, и по этой причине в книге Юрия Битовта «Л.Н. Толстой в литературе и искусстве» (М., 1903) рассказ «Три смерти» был помещен в разделе педагогической деятельности Толстого. Н. Молоствов в рецензии на книгу Ю. Битовта указывал на ошибочность такого толкования библиографом рассказа Толстого и предлагал поместить его в раздел, посвященный литературной деятельности писателя (С.-Петербургские ведомости. 1903, 20 июля. № 195).

Обратил на себя внимание рассказ «Три смерти» и зарубежных критиков, подходивших к его оценке и с философской, и с художественной точки зрения.

Е. Цабель писал о том, что Толстой доходил до квиетизма и буддизма в интерпретации проблемы, поставленной в рассказе «Три смерти» (*Zabel Eugen. Literarische Streifzüge durch Rußland. 1885. S. 193*). Что конкретно имел в виду Е. Цабель, говоря о рассказе Толстого, поясняют строки из его книги, целиком посвященной творчеству Толстого: Толстой «всегда интересовался вопросом об отношении индивидуума к смерти, о благотельных и вредных последствиях различия в общественном положении, которые сказываются при смерти. В небольшом рассказе “Три смерти” проглядывает мысль, что кончина тем тяжелее, чем дальше стоит человек от природы. Как мучительно угасает больная баронесса! Мужик лежит на печи и отказывает новые сапоги почтальону, надеясь, что он поставит на его могиле камень; для этого мужика смерть – простое событие, в котором ничего нельзя изменить. Дерево дрожит под ударами топора всем своим телом, качается из стороны в сторону и с треском падает, в то время как соседние деревья расправляют свои ветви в освободившемся пространстве. К гораздо более позднему времени относится сильный психологический этюд “Смерть Ивана Ильича”» (*L.N. Tolstoi von Eugen Zabel. Leipzig, Berlin und Wien, 1901. S. 104; Цабель Евгений. Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк. Перевод с нем. Киев, 1903. С. 139*).

О пантеизме и пессимизме в философии Толстого в связи с рассказом «Три смерти» писал один из переводчиков этого рассказа на французский язык – Мельхиор Вогюэ: «Пантеизм и пессимизм, вот два главные направления, между которыми, казалось, колебался вначале ум Толстого. “Три смерти”, отрывок, который был переведен мною, ясно отражает такое направление. Кто думает менее, умирает проще, тот лучше и счастливее. С этой точки зрения крестьянин стоит выше барина, дерево выше крестьянина, и смерть срубленного дуба приносит миру больше печали, чем смерть старой княгини. Определение Руссо, что мыслящий человек не только извращенное животное, но просто изуродованное растение, получает у Толстого самое широкое применение» (*Vogüé E.M. de. Le roman russe. Paris, 1886. P. 287–288; Вогюэ Мельхиор. Современные русские писатели. Толстой – Тургенев – Достоевский. М., 1887. С. 18*).

В книге, объединившей критические статьи М. Вогюэ и Э. Геннекена, последний отнес «Три смерти» к таким «нравственным рассказам», в которых «смирение духа, чистота сердца, воздержание и бедность представлены с умиленной общительностью, с явной настойчивостью». «А это дело уже проповедника», – заключал автор (Граф Л.Н. Толстой. Критические статьи Вогюэ и Геннекена. М., 1892. С. 142–143).

Анализируя и интерпретируя рассказ «Три смерти», Чарльз Эдвард Тёрнер, автор ряда учебников английского языка для русских и книг о русской литературе для англичан, назвал этот рассказ одним из самых интересных ранних произведений Толстого. Сначала, заметил Тёрнер, кажется, что есть что-то

фантастическое в параллели между смертью человека и дерева, но по размышлению значение этого сопоставления проясняется следующим образом. – Все живущее подвластно всеобщему закону увядания и смерти. Все, что дышит, пройдя предназначенный ему путь и выполнив предназначенную ему задачу, погибает и уступает место во вселенной новой жизни. Это постоянное течение и обновление жизни совершается с неопровержимой гармонией. Но чем более сложными становятся условия жизни, чем дальше они отдаляются от естественных, тем чаще бесполезные протесты человека против основных законов его бытия нарушают гармонию природы (*Turner Charles Edward. Count Tolstoi as Novelist and Thinker. London, 1888. P. 131*).

Немецкий биограф Толстого Р. Лёвенфельд основное внимание уделил художественным достоинствам рассказа «Три смерти», простоте и точности изображения, глубине и лирическому характеру: «Приближение смерти причиняет страдание только культурному, потерявшему живую связь с природою, человеку. Мысль эта с необычайною ясностью воплощена в “Трех смертях”, этой несложной по фабуле, но высокохудожественной по исполнению, повести. Благодаря противоположению людей из двух резко отличающихся друг от друга миров, повесть эта приобретает, несмотря на незначительный ее объем, величие и глубину, а простота и точность изображения придают ей высоколирический характер. Не будь Толстой таким заклятым врагом стихов, он в данном случае невольно обратился бы к стихотворной форме» (*Löwenfeld Raphael. Leo N. Tolstoi, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung. Erster Teil. Berlin, 1892. S. 250–251; Лёвенфельд Рафаил. Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание. СПб., 1896. С. 264*).

В 1898 г. вышла книга Дж. Перриса о Толстом, в которой автор писал, что «Три смерти» принято рассматривать как пример русского пессимизма и нигилизма, тогда как этот пессимизм, если его можно так назвать, вернее было бы объяснить влиянием философии Шопенгауэра (*Perris G.H. Leo Tolstoy. The Grand Mujik. A Study in Personal Evolution. London, 1898. P. 64–65*).

Если критики (в их числе Е. Цабель) часто подводили рассуждения о рассказе «Три смерти» к анализу повести «Смерть Ивана Ильича», А. Брюкнер провел иное сопоставление – он находил близость в решении проблем жизни и смерти в названном рассказе и в «Холстомере» (*Brückner A. Geschichte der Russischen Literatur. Leipzig, 1905. S. 345*).

Наряду с появлением отзывов русской и зарубежной критики осуществлялись переводы «Трех смертей» на языки мира.

К 1876 г. относится первый перевод «Трех смертей» на польский язык. Он был опубликован в газете «*Dziennik Warszawski*» (см.: *ЛН*, т. 75, кн. 2, с. 253). В 1882 г. рассказ был напечатан в журнале «*Revue des Deux Mondes*» в переводе на французский язык М. Вогюэ (15 août 1882). В 1886 г. в переводе Гальперина Каминского (*Halpérine-Kaminsky E.*) вышел в изд. *La mort. Paris, 1886*. В переводе Бинштока (*Bienstock*) напечатан в шестом томе (*Paris, 1903*) собрания сочинений, издававшегося под наблюдением П.И. Бирюкова. В 1885 г. появился перевод на румынский язык (журнал «*Contemporanul*», 1885. № 10–12, 15/V– 15/VI, p. 358–369 – см. *ЛН*, т. 75, кн. 2, с. 298). Затем были осуществлены публикации: в 1887 г. – на английском языке (*Three deaths. Transl. by W.H. Dole. New York – London, 1887*; повторено в 1888, 1889, 1899 гг. В переводе К. Гарнетт (*Garnett*) рассказ был напечатан в Лондоне в 1902 г. В переводе Винера (*L. Wiener*) в 1904 г. вошел в третий том собрания сочинений; на немецком языке (*Drei Todesarten. Übers. v. H. Roskoschny. In: Russische Soldatengeschichten und kleine Erzählungen. Leipzig, 1887*, повторено в 1891 г. В переводе Лёвенфельда

(R. Löwenfeld) рассказ вошел во второй том (Берлин, 1891) собрания сочинений; переиздан в 1897, 1901, 1910 гг.); на шведском языке – Tre dödsfall. In: Liv och död. Noveller. Stockholm, 1887; в 1888 г. на датском языке (En fortælling om døden. Overs. af W. Gerstenberg. In: Udvalgte fortællinger. Kjøbenhavn, 1888); в 1889 г. на чешском языке (Tři smrti. Přel. K. Špecingerová-Baušová); в 1892 г. на испанском языке (Tres muertes. In: La muerte. Madrid, 1892); в 1903 г. на греческом языке (Oi tris thanatoi. Met. L. Pavlou. In: O kyrios kai o ergatis. Athinai, 1903); в 1904 г. на финском языке (Kolme kuolemaa. Kertomus. Suom. O. Helenius. Tempere, «Sanoma», 1904); в 1906 г. на итальянском языке (La morte: tre novelle. Trad. da A. Madonna. Chieti, Ricci, 1906); в 1907 г. на японском языке («Три смерти». Пер. Р. Мамодзима. В кн.: Сборник рассказов. Токио, 1907).

С. 179. ...*Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь?* – Шабала – болтун, пустомеля.

С. 180. ...*коляска с своими седоками, чемоданами и важами...* – Важи – большие чемоданы, прикреплявшиеся к крыше возка или кареты.

С. 182. ...*держи что-то завернутым в епитрахили.* – Епитрахиль – одно из облачений священника, надеваемое на шею.

С. 185. ...*читал песни Давида.* – Псалтирь.

...*«Сокроешь лицо Твое...»* – стихи из Псалтири (Пс. 103; 29–31).

С. 186. *Вот и голубец будет.* – Голубец – бревенчатое или дощатое строение над могилой в виде небольшого домика, закрывающего могильный холм; также деревянный крест с кровелькой.

...*вагу сломал...* – Вага – толстая жердь или брус.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ

Впервые: Русский вестник. 1859. № 7 (апрель, кн. 1). С. 435–473 и № 8 (кн. 2). С. 595–634. Подпись: Граф Л. Толстой.

Рукописный фонд составляет 96 листов.

Печатается по тексту «Русского вестника» со следующими исправлениями:

С. 188, строки 25–26: *любила его по привычке – вместо: любили его по привычке (по А).*

С. 197, строка 12: *по-вечернему – вместо: по-вчерашнему (по А).*

С. 200, строка 4: *убивать – вместо: убавить (по А).*

С. 202, строка 7: *выделявались их острые крыши – вместо: выделялись их острые крыши (по А).*

С. 207, строка 11: *Он сидел – вместо: Он сам сидел (по А).*

С. 208, строки 25–26: *И мы ходили точно по дорожкам – вместо: И мы точно ходили по дорожкам (по А).*

С. 222, строка 8: *с свекровью – вместо: с тещею (по смыслу).*

С. 222, строка 39: *сказал мне: «Женись на моей Маше!» – вместо: сказал мне: «Женись на моей Маше!» – сказал он (по А).*

С. 223, строка 17: *обсыхающее – вместо: опыхающее (по А).*

С. 231, строка 27: *села – вместо: стала (по А).*

С. 240, строки 11–12: *грязи праздности – вместо: грязи, праздности (по А).*

С. 243, строка 41: *хотя – вместо: хотя и (по А, где «хотя» вписано, «и» же по недосмотру не снято).*

Роман «Семейное счастье» носит автобиографический характер: в нем отразилась история отношений Толстого с Валерией Владимировной Арсеньевой, соседкой по имению, дочерью помещика села Судакова В.М. Арсеньева, старинного знакомого отца Толстого – Николая Ильича. После смерти Арсеньева (ум. 1853) Л.Н. Толстой был назначен опекуном его детей (см.: *Юб.*, т. 47, с. 337), старшей из которых была Валерия. В письме к П.И. Бирюкову 27 ноября 1903 г. об этом сказано: «Я был почти женихом (“Семейное счастье”), и есть целая пачка моих писем к ней». С.А. Толстая, прочитав письма к Арсеньевой, в которых Толстой подробно описывал их будущую семейную жизнь, записала в своем дневнике: «Бедный, он еще слишком молод был и не понимал, что если прежде сочинишь счастье, то послехватишься, что не так его понимал и ожидал. А милые, отличные мечты» (*Дневники С.А. Толстой*, т. 1, с. 53).

Вероятно, уже пережив сильное увлечение к январю 1857 г., времени отъезда в первое заграничное путешествие, Толстой вскоре задумал художественное произведение на эту тему. Во всяком случае, запись в дневнике 16 августа (по возвращении в Россию) можно определенно отнести к этому замыслу: «Любовь. Думаю о таком романе». Но 29 августа, снова назвав «Люб(овь)», которую «хочется» писать, Толстой добавил: «вздор». Писание тогда не было начато.

1 января 1859 г. в записной книжке – конспект сочинения: «Повести Лизаветы Белкиной. Я жила в деревне. Он, его планы. Свет. Я прошу – нету. Записки (1 нрзб) 1-й бал». В первой редакции героиня носит имя Лиза; повествование от лица женщины осталось и в окончательном тексте. В этот же день Толстой записал в дневнике: «Работал невидную работу». А уже 29 января Некрасов, узнав от Тургенева, что Толстой окончил новый роман, просил передать этот роман в «Современник», соглашаясь на какие угодно «денежные условия» (*Некрасов*, т. 14, кн. II, с. 121).

2 (14) февраля Тургенев, зная, что Толстой не приедет в ближайшее время в Петербург, писал ему: «Сожалею очень об этом – и утешаемся только мыслью, что в Москве работаете лучше и что поэтому можно надеяться на более близкое окончание Вашего романа. – Кстати, прилагаю записку от Некрасова, из которой Вы увидите, что он намерен засыпать Вас золотом. Мне сказал какой-то москвич, что роман Ваш готов – и я ему повторил это» (*Тургенев*, Письма, т. 4, с. 16).

Ни записка Некрасова, ни ответ Толстого неизвестны. А между тем Толстой (в неизвестном письме) обещал отдать неоконченное еще «Семейное счастье» А.В. Дружинину в «Библиотеку для чтения». 10 февраля обрадованный Дружинин отвечал Толстому: «Насчет романа благодарю Вас и буду ждать его окончания, только попрошу Вас назначить положительную цифру с листа, потому что иначе я могу назначить Вам менее, а Вы, хотя и зовете себя кулаком, но поцеремонитесь изменить ее, думая, что возвышение цены будет для меня обременительно. Фет писал мне, что Вы перемарали все начало романа» (*Переписка*, т. 1, с. 277).

11 февраля Тургенев приглашал Толстого в Петербург: «Право, приезжайте; побеседуем, поспорим (без этого нельзя), Вы увидите новые лица, послушаете хорошую музыку – и потом, с свежей головой и успокоившимися нервами, вернетесь к своему роману, в котором Вы, по выражению Фета, все опять ломаете. Хотел бы я послушать его – и сказать Вам мое мнение» (*Тургенев*, Письма, т. 4, с. 18).

16 февраля Толстой записал в дневнике: «Все это время работал над романом и много успел, хотя не на бумаге. Все переменял. Поэма. Я очень доволен тем, что в голове. Фабула вся неизменно готова».

В начале марта первая редакция романа вчерне была готова, и Толстой отдал ее на суд слушателей. Приехав 10 марта в Петербург, в середине марта читал вслух роман у А.А. Толстой (см. комментарий к рассказу «Три смерти»).

К первой редакции относятся три сохранившиеся рукописи: основной автограф (27 листов большого формата); писарская копия начала I главы без авторской правки; первая полная редакция глав VIII и IX (12 листов небольшого формата).

В основном автографе заглавия нет, на обложке рукой С.А. Толстой позднее написано: «К Семейному счастью». Деления на две части тоже нет.

Многочисленны поправки, вставки, зачеркивания, исправления, пометы на полях.

Местами зачеркивания занимают от одного до 3–4 листов текста. Так, в первой главе убран рассказ героини о том, как она была влюблена в сына музыкального учителя Карлушу; из третьей главы исключена сказка-притча о принцессе и волшебнице, рассказанная Сергеем Михайловичем; зачеркнуто много уточнений, дополнений, подробностей. Из разговора о том, как лучше выразить свое чувство, снято: «А те, которые говорят: я вас люблю, я думаю, часто ужасно удивлены бывали, что магические слова произнесены, а все нет ничего, никаких знамений». В четвертой главе значительно сокращены картины будущей семейной жизни, которые представлялись Лизе, размышления героини о характере будущего мужа, ее сомнения и тревоги, в частности наблюдения по поводу отношения Сергея Михайловича к религии: «Еще смущала меня мысль, что он не так религиозен, как я, и, верно, не понимает многого. В наших разговорах я часто замечала, что, как только речь заходила о вере, он делал свою гримасу и молчал. Неужели, думала я, он с своим умом, с своей добротой, с своим сердцем, может не понимать этого, не понимать того счастья, которое я испытываю теперь, входя в церковь, слушая молитву, которую говорит в нашей деревенской церкви тот самый священник, который крестил меня...»

Вычеркнуто несколько страниц перед главой VI, на которых описывались чувства, испытанные Лизой сразу после венчания (часть этого текста перешла впоследствии в VI главу). В главе VI сокращены подробные описания жизни старого дворянского дома, где поселились молодожены: убранство комнат, милые старые порядки и обычаи, чаепития по вечерам, игра на фортепьяно и пр.

Имеются перестановки, зачеркнутые и снова восстановленные абзацы, замены и большое количество вставок, дополнений, уточнений. Например, после слов: «новые желанья с каждым днем входили мне в душу» – добавлено: «Кроме занятий для себя, определенных ясных занятий, в которых было кому поверять меня, были занятия с народом, в которые он так искусно умел втягивать меня. И все это было не то, но прекрасно». Фразы: «И за что? За то, что я точно хотела отдать ему свое удовольствие, удовольствие, в котором я не понимала ничего дурного» – дополнены словами: «за то, что целую зиму для него я упивалась блеском и успехом». После: «Вы не уходите, – раз сказал он Маше» добавлено: «У нас не было, нет и не будет секретов. Прежде я не говорил, что люблю ее, а теперь люблю и все могут знать это, а больше ничего».

Имеются пометы по тексту, например: «Воспомина(ния), разговоры» или: «Что ж, он уезжает»; есть и аннотации на полях, например, в начале главы V: «Признанья. Свадьба тихая. [Он] Я говорю о религии. Глядя на вас, я молюсь. Наша первая ночь. Молитва. Бог простит. Мне показалось, что я всего его знаю. Он нежен, а так был закрыт. Ты права от нежности. В Москву».

Несколько страниц, объединяющих последние главы (начиная с VIII) написаны конспективно, начерно.

Полностью (за исключением отдельных упоминаний) отсутствует образ матери Сергея Михайловича, которому в журнальном тексте уделено достаточное внимание. В зачеркнутом варианте автографа Сергей Михайлович рассказывает историю о принцессе Никите и принце Вавиле, замененную в процессе работы над текстом историей учителя. В журнальном тексте рассказывается история г-на А и г-жи Б.

В этом автографе нет начинающего главу VI пространного описания семейной жизни героев в доме матери. Оно находилось в конце главы V, но было полностью зачеркнуто, и глава 6 стала начинаться словами: «Так прошло два месяца...» В основном тексте исчезли мелкие детали быта, живые разговоры, подробные размышления, сомнения и тревоги героини. Текст стал лаконичнее, сухе, что, видимо, дало повод Боткину назвать его «холодным».

Второй автограф, представляющий собой раннюю редакцию VIII и IX глав, – разработка краткого конспекта, имевшегося в первом автографе. Здесь так же, кроме стилистической правки, много исправлений, дополнений, замен. Например, недописанный фрагмент: «Только в минуты нежности, которые хотя совсем иначе, но и теперь бывали между нами, что-то кололо мне в сердце, мне становилось больно и казалось, что я то же чувство замечаю в нем. В эти минуты я чувствовала» – был изменен: «Хотя я продолжала любить его так, что ни одного человека из тех, которых знала, не предпочла бы ему, что для его счастья пожертвовала бы светом и всеми своими удовольствиями, что заболела бы с горя, ежели бы лишилась его, но для своего счастья с ним я бы ничего не сделала. Привычка, старая любовь и чувство долга так смешались в одно чувство, что я бы не умела различить их».

В автографе много добавлений, вписанных между строк и на полях, например: «Я ждала перерождения от материнской любви. Мне казалось, что новое чувство без всякого подготовленья с моей стороны, против моей воли схватит меня и увлечет за собой в другой, счастливый мир». Вставлено описание итальянца: «Я так видела его теперь всего! Так понятно мне было его лицо, этот крутой лоб из-под соломенной шляпы, этот красивый прямой нос, эти острые усы и бородка, эти гладко выбритые щеки и загорелая шея».

Имеются заметки по тексту, например: «Темно, я не вижу его и так как без него кажется, что можно. Он говорит и кажется, что ничего не было».

В целом рукопись отличается от журнального текста VIII и IX глав композиционно. Серьезный разговор мужа и жены об их отношениях (IX гл.) в окончательном тексте значительно расширен.

В журнальном варианте произведения звучит оптимистическая уверенность в начале новой счастливой жизни; здесь, как и в первом автографе, конец рассказа не оставляет надежды на лучшее будущее: «Да, прошло, невозвратно прошло, казалось мне невольно, и мне вдруг легко стало. Что может мне дать теперь этот человек и чего я желаю? Этого не будет, да и было ли это когда-нибудь!»

Из письма Боткина к Дружинину от 5 апреля видно, что в конце марта Толстой читал «Семейное счастье» у Боткина. Слушателям повесть показалась «довольно неудачною» (*Летописи ГЛМ*, с. 57).

20 марта 1859 г. Толстой внезапно уехал из Петербурга в Москву, откуда сообщил А.А. Толстой, что работе отдается «часов по 8 в сутки». «Анна переделывает свои записки, и я надеюсь, что ее бабушка будет ими больше довольна, чем в первом, безобразном виде». По-видимому, имеется в виду героиня романа.

5 апреля вторая редакция «Семейного счастья» была завершена. «Работу кончил», – сообщил Толстой в этот же день А.А. Толстой.

Результат этой работы – 57 листов в переплетенной тетради. Рукопись, озаглавленная «Семейное счастье», представляет собой автограф и несколько листов текста, написанного неизвестной рукой (видимо, под диктовку), с правой Толстого. Рукопись сохранилась не полностью: недостает конца главы VI, начала и конца VII, начала VIII, конца IX. Таким образом, вторая часть романа имеется здесь лишь в отрывках. Деление на части отсутствует.

В одну из встреч Толстой и Боткин договорились, что роман будет опубликован не у Дружинина, а у Каткова в «Русском вестнике», чему Боткин всячески содействовал и был практически посредником между Толстым и Катковым.

В первых числах апреля (письмо не датировано) Толстой предупредил Боткина: «Обдумав здраво, я вижу, что решительно неприлично мне отдавать на оценку свою вещь Каткову, а потому не пишите ему ничего. А ежели уже хотите писать, то напишите, что я желаю знать: желает ли он, да или нет, иметь мою повесть по 250 р. за лист? Не считайте меня ветренником, любезный Василий Петрович; я не хватился у вас, а теперь только обдумал, что это решительно ни на что не похоже и *невозможно*».

Свое впечатление от «Семейного счастья» Боткин подробно высказал в письме к Тургеневу из Москвы 6 апреля: «Толстой еще здесь и работает над своим рассказом, за который хочет он взять с Каткова по 250 с листа. Катков жметя и пищит и спрашивает меня – хорош ли по крайней мере рассказ этот? Я сказал ему по совести, каким он мне показался. Впрочем переделка Толстого кажется незначительна и большею частью все осталось по-прежнему. Вчера я сказал ему прямо, что это и холодно и скучно. Он совсем другого мнения. Намерение его было представить процесс любви в браке, начинающейся романтическими стремлениями и оканчивающейся любовью к детям. Я заметил ему, что потому-то он так и холоден, что занимается одною отвлеченностью, общностью. Надо признаться, что Толстой самого высокого мнения о своей силе и своих произведениях. – “Если рассказ мой не оценят теперь, то через пять лет только он получит свою оценку”. Я довольно часто вижу с ним, – но так же мало понимаю его, как и прежде (...) весь он полон разными сочинениями, теориями и схемами, почти ежедневно изменяющимися» (*В.П. Боткин и И.С. Тургенев. Неизданная переписка*, с. 152–153).

Е.Ф. Тютчева, с которой Толстой часто встречался в это время, также вела переговоры с Катковым о публикации «Семейного счастья» и передала желание редактора познакомиться с романом, перед тем как печатать его. 9 апреля Толстой писал Тютчевой: «Моя повесть кончена, и я намерен теперь весной так или иначе ее напечатать. Поэтому будьте так добры, дайте мне нынче ответ: желает ли Катков приобрести ее по 250 за лист и не читая ее, или нет? Я, после того как вы мне передали ответ Каткова, вспомнил, что решительно невозможно и неприлично отдать ему на суд и рисковать получить ответ, что не 250, а 215 р. и 36 к. дать можно. Главное, мне бы хотелось ответ поскорее, чтобы перед отъездом в деревню распорядиться печатаньем».

Катков, видимо, согласился принять «Семейное счастье» в журнал без предварительного ознакомления с ним.

9 апреля в дневнике отмечено: «Работал. Кончил Анну, но нехорошо». В этот же день Толстой писал из Москвы Т.А. Ергольской: «Не решил еще, уеду я сегодня или нет, и потому вам пишу (...) я окончил рассказ, который хотел бы напечатать при себе...»

В середине апреля Толстой вновь взялся за переделку «Семейного счастья». 16 апреля он сообщил Дружинину: «Я свою повесть 3-й раз переделываю, и мне все кажется, что что-то да выходит».

В неотправленном письме К.С. Аксакову, предположительно датированном 26 апреля (накануне отъезда из Москвы в Ясную Поляну), Толстой, не успев побывать у Аксакова, просил: «Повторяю просьбу присылать вам на суд то, что выйдет из моего романа».

26 апреля в заседании Общества любителей российской словесности Н.П. Гиляровым-Платоновым был прочитан отрывок из «Семейного счастья» (Московские ведомости. 1859, 14 мая. № 113).

После переделки главы 1–5 стали очень близки к окончательному тексту. Начиная же с главы VI, т. е. со 2-й части, автограф носит следы разновременной и огромной работы. В тексте много зачеркиваний, перестановок, записей на полях и между строк (с трудом поддающихся прочтению), восстановлений зачеркнутого, композиционных перемен. Поверх текста есть пометы и краткие аннотации, например: «Музыка, разговор о карете и т. д.»; «Мамаша смотрит, что они нежничают и с серьезным лицом. Прогулка»; «Я ужаснулась холодно-сти к ребенку». Печатный текст 2-й части более лаконичен и сдержан, из него исчезли пространные рассуждения о ребенке, об отношениях в семье, к мужу.

В этом последнем автографе «Семейного счастья» имеются пометы красным карандашом: зачеркнуты отдельные слова и поставлены знаки вопроса около некоторых абзацев. Кем сделаны замечания – неизвестно. Возможно, Боткиным (Катков читал роман в корректуре). Толстой не оставил без внимания ни одной карандашной пометы. Почти все исправления были им приняты: зачеркивания отдельных слов подтверждены черными чернилами поверх красного карандаша, а отчеркнутые или помеченные знаком вопроса фразы переделаны. (См. варианты во второй серии издания.) Например, в словах: «хотела зачем-то притвориться» – «зачем-то» вычеркнуто красным карандашом, это зачеркивание подтверждено черными чернилами; то же самое со словом «обильные» во фразе: «...висели обильные черные, сочные ягоды». Отчеркнутая фраза: «Я знала, что он любит меня (дружбой или любовью, я еще не спрашивала себя)» – была исправлена Толстым: «Я знала, что он любит меня (как ребенка или как женщину, я еще не спрашивала себя)».

Но есть несколько случаев, когда зачеркивания красным карандашом не подтверждены Толстым, например во фразе: «смотрел на меня блестящими влажными глазами» было вычеркнуто слово «влажными». В печатном тексте это слово отсутствует, хотя в автографе оно было оставлено Толстым.

3 мая вышел № 7 «Русского вестника» с первой частью романа Толстого (Московские ведомости. 1859. № 104). В этот день Толстой жаловался А.А. Толстой: «Еще горе у меня. Моя Анна, как я приехал в деревню и перечел ее, оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться от сраму, и, кажется, больше никогда писать не буду. А она уж напечатана. И в этом не утешайте меня. Я знаю, что я знаю».

И тогда же Толстой в отчаянии написал В.П. Боткину: «Василий Петрович, Василий Петрович! Что я наделал с своим Семейным Счастьем. Только теперь здесь, на просторе, опомнившись и прочтя присланные корректуры 2-й части, я увидал, какое постыдное г...о, пятно, не только авторское, но человеческое – это мерзкое сочинение. Вы меня подкузмили, чтобы отдать это, будьте же за то и вы поверенным моего стыда и раскаянья! Я теперь похоронен и как писатель и как человек! Это положительно. Тем более, что 1-я часть еще хуже. Пожалуйста, ни слова утешенья не пишите мне, а ежели вы сочувствуете моему горю и хотите быть другом, то уговорите Каткова не печатать эту 2-ю часть, а получить с меня обратно деньги, или считать за мной до осени. Слово я держу и поправил корректуры с отвращением, которого не могу вам описать. Во всем сло-

ва живого – нет. И безобразие языка – вытекающее из безобразия мысли, невообразимое. Ежели же уже невозможно миновать этой чаши, то будьте другом, пересмотрите корректуры и перекрестите, поправьте, что можно. Я не могу. Мне хочется все перекрестить. Ежели же удастся вам спасти меня от увеличения срама печатаньем 2-й части, то сожгите ее и рукопись, взяв ее у Каткова. Недаром я хотел печатать под псевдонимом. Деньги 350 р. я могу возвратить через неделю. Конец повести не прислан мне и не нужно присылать его. Это мука видеть, читать и вспоминать об этом». В конце письма Толстой просил «серьезно и с участием понять» то, что он пишет, и добавлял: «Корректуры я посылаю на имя Каткова, но надеюсь, что вы получите это письмо прежде, чем он корректуры».

Боткин ответил тотчас же по получении письма. «Что сказать Вам на Ваше письмо? – писал он 6 мая. – Прежде всего скажу то, что оно не удивило меня. Да, я понимаю Ваше негодование, – но что ж делать! Дело сделано, и поправить его нечем. Но ведь, в сущности, беда не велика и, собственно, отчаиваться тут не в чем. Помните, когда Вы в первый раз прочли мне ее, я заметил, что все это исполнено какого-то холодного блеска и ничто не трогает ни мысли, ни сердца. Я и теперь остаюсь при этом мнении. Вы напрасно осуждаете язык, напротив, язык везде отличный – его-то я и разумел под словом «блеск». А вся неудача вышла от неясности первоначальной мысли, от какого-то напряженного пуританизма в воззрении; этот рассказ всего лучше шел к детскому журналу (...) Я не мог понять, почему Вы так стояли за него, не понимал, что в нем так нравилось Вам. Если Вы имели какую мысль, задумывая его, то все-таки эта мысль осталась нераскрытой. Я не знаю, как Вы переправили 2-ю часть, но мне кажется, что можно еще было спасти рассказ, бросив во 2-й части этот холодный, напряженный пуританизм и уже прямо взяться за основную мысль и раскрыть ее, хоть для того, чтобы читатель не оставался в недоумении, видя конец и не понимая, для чего все это было написано. Вы пеняете мне, что я уговорил Вас отдать Каткову, но вспомните, что Вы же сами пеняли мне за то, что мы продешевили.

Вы теперь из прежнего высочайшего мнения об этом рассказе – вдруг перешли в совсем противоположное, но как прежде Вы были неправы – так и теперь. Несмотря на его противный, сухой пуританизм, – в рассказе постоянно чувствуется присутствие большого таланта: вот что меня единственно мирит с ним – и вот что, при всем моем невыгодном мнении о нем, побудило меня советовать Вам отдать его Каткову, а ему советовать взять его, хотя я *нисколько не скрывал от него моего мнения о рассказе*. Посмотрите-ка на дело прямо: ведь вся беда в том, что рассказ местами скучноват и оставляет неудовлетворительное впечатление. Вот все, что может о нем сказать самая строгая критика (...) мерка моя гораздо взыскательнее и шире. – А потому я осуждаю этот рассказ во всех отношениях...»

Далее Боткин передавал мнение Каткова о «Семейном счастье»: «...он еще не читал его сполна, а только слышал его частями, которые, как он говорил мне, ему очень понравились. Рассказ о говенье – все находят отличным. Да так он и есть».

Боткин решительно не принял предложения Толстого не печатать 2-ю часть романа. «Катков ни за что не согласится на это. Корректуры я просмотрю с величайшим вниманием и озлоблением». В конце письма он утешает Толстого: «Да что вы так принимаете это так горячо к сердцу? С чего Вы взяли, что Вы “теперь похоронен и как писатель и как человек”! Да неужели Вы думаете, что если бы действительно *таковою* была Ваша вещь, – я стал бы советовать Вам отдать ее в журнал?» (*Переписка*, т. 1, с. 244–245; уточнено по автографу ГМТ).

9 мая, снова получив от Каткова корректуры 2-й части, Толстой записал в дневнике: «Получил С(емейное) С(частье), – это постыдная мерзость».

11 мая в ответном письме Толстой благодарил Боткина за «твердую открытость»: «Поверите ли, как вспомню только содержание милой повести или, читая, найду что-нибудь напоминающее, краснею и вскрикиваю».

Ознакомившись со второй частью «Семейного счастья», Боткин писал 13 мая Толстому: «...прочел я корректуру 2-й части с самым озлобленным вниманием – и представьте! результат вышел совсем не тот, которого я ожидал: не только мне понравилась эта 2-я часть, но я нахожу ее прекрасно почти во всех отношениях. Во-первых, она имеет большой внутренний драматический интерес, во-вторых, это превосходный психологический этюд и, наконец, в-третьих, – там есть глубоко схваченные изображения природы (...) После всех ругательств, какими угостил я Вас в последнем моем письме, – думаю, что Вы не заподозрите мой теперешний отзыв. Нет, отличная по мысли, отличная по большей части исполнения – Ваша вещь. Но по самой задаче своей вещь эта требовала большей обработки и обдуманности, требовала конца несравненно более развитого, а не такого проглоченного, каким она оканчивается. Но даже и в том виде, в каком она есть, все-таки это прекрасная вещь, исполненная серьезного и глубокомысленного таланта» (*Переписка*, т. 1, с. 246–247).

Далее Боткин сообщал, какие изменения он внес в текст корректуры: «Я позволил себе сделать в ней только два маленькие выпуска, которые напрасно растягивали рассказ, не прибавляя к нему ничего существенного. Но я не положился на одного себя, я советовался с Катковым, который, когда я сказал ему о письме Вашем, показал к нему такое уважение, что (он еще вовсе не знал 2-й части) готов был исполнить Ваше желание и вовсе не печатать 2-ю часть, если она действительно такова, как Вы о ней отзываетесь. Он, оставя все журнальные расчеты в сторону, готов был не печатать ее, чтоб исполнить Ваше желание, и предоставил решение мне. Прочтя все внимательно, – я решился поступить против Вашего желания, ибо, по моему мнению, эта 2-я часть прекрасна и должна быть напечатана. В последней фразе я сделал маленькую перемену, вычеркнув слово “роман”, которым она характеризует вторую половину, семейную и материнскую, своей жизни, ибо слово “роман” не идет к таким отношениям. И затем спите спокойно» (*Переписка*, т. 1, с. 247). В печатном тексте слово «роман», однако, осталось.

21 мая 1859 г. «Московские ведомости» (№ 119) объявили о выходе № 8 «Русского вестника» со 2-й частью «Семейного счастья».

2

Отношение Толстого к идее романа и ее художественному воплощению было очень неровным. Сначала, увлеченный замыслом, он интенсивно работал, уверенный в успехе, «если не теперь, то через пять лет». Затем уверенность сменилась крайне обостренным чувством неудовлетворенности – при чтении полученных им корректур. Это чувство сохранилось и после опубликования романа, мешая в дальнейшей творческой работе. К тому же, открыв в октябре 1859 г. яснополянскую школу, Толстой горячо увлекся этой деятельностью. 9 октября он писал Дружинину: «Теперь же как писатель я уже ни на что не годен. Я не пишу и не писал со времени “Семейного счастья» и, кажется, не буду писать. Лыщу себя, по крайней мере, этой надеждой”. И тогда же А.А. Фету: «А повести писать все-таки не стану. Стыдно, когда подумаешь: люди плачут, умирают, женятся, а я буду повести писать, “как она его полюбила”. Глупо,

стыдно». Спустя полгода в письме 14 апреля 1860 г. А.В. Дружинину признание: «Сначала было тяжело разорвать связь с литературой, задавить в себе честолюбивую потребность высказываться, но теперь, напротив, все вокруг меня стало гораздо яснее, проще и ближе ко мне, чем было».

Однако негативная оценка Толстым «Семейного счастья» не была окончательной. В воспоминаниях современников упоминается, например, такой эпизод: «На днях дочь стала ему читать под видом новой повести, которые он все читает с интересом, его же “Семейное счастье”, он все хвалил и только на 6-й странице вспомнил, что это его сочинение, и понял обман, но дочел повесть с удовольствием» (Встречи с Л.Н. Толстым. Из огнишенского дневника Цуриковых. Запись от 19 апреля 1891 г. // Записки Отдела рукописей ГБЛ. Выпуск 39. М., 1978. С. 160). Толстой неизменно включал роман «Семейное счастье» «во все собрания сочинений, издававшиеся при его участии» – в 1866, 1873 и 1880 гг. (Гусев, II, с. 339). И происходило это потому, что в «Семейном счастье» нашло воплощение значительно большее, нежели то, что послужило толчком к его написанию. Увлечение В.В. Арсеньевой было лишь предысторией появления замысла романа, о чем можно судить уже по письмам Толстого к Арсеньевой. В этих письмах он излагал свои сокровенные мысли о назначении человека в жизни, писал о том, что, надевшись в молодости «много глупостей», «за которые поплатился счастьем лучших годов жизни», теперь нашел свое призвание в литературе, стремится к нравственной семейной жизни и «ничего в мире не боится так, как жизни рассеянной, светской, в которой пропадают все хорошие, честные, чистые мысли и чувства и в которой делаешься рабом светских условий» (письмо от 12–13 ноября 1856 г.). Вскоре Толстой убедился в том, что В.В. Арсеньева слишком далека от такого понимания жизни, перестал писать ей, но мысли о нравственной семейной жизни и рабстве «светских условий» не оставили его. Их он и воплотил в романе.

«Так кончился этот короткий, трогательный и поучительный по своей искренности роман, представляющий одну из интереснейших глав биографии Льва Николаевича, открывающий нам целую интимную область его души и ставящий с необычайной силой и ясностью многие философские и психологические вопросы (...)» – писал П.И. Бирюков, – сам Лев Николаевич, пережив, и так сказать, отжив эти тревобления, сам воспользовался этим эпизодом своей жизни и пережитыми чувствами и изобразил их в художественной форме. (...) Можно сказать так: то, что в действительности только могло бы быть, но чего еще не было, в романе стало уже реальным фактом. Действительный роман был началом или, лучше, прологом романа написанного. В своем художественном воображении Лев Николаевич проложил действительные линии до их воображаемого пересечения и получилась прелестная картина» (Бирюков, т. 1, с. 158).

До появления биографии Л.Н. Толстого, написанной Бирюковым, бытовало иное толкование истоков замысла романа «Семейное счастье», не соответствовавшее датам жизни и творчества писателя. С. Венгеров соотносил содержание «Семейного счастья» с началом увлечения Толстого Софьей Андреевной Берс: «Исходя из волновавшего его личного мотива, Толстой разрешает здесь художественную задачу чисто априорным путем и рисует не то, что было, а то, что *может быть*. Он начал испытывать в то время сильное чувство к Софье Андреевне Берс, дочери московского доктора из остзейских немцев. Ему пошел уже четвертый десяток, С(офье) А(ндреевне) было всего 17 лет. И вот, ему казалось, что разница эта очень велика, что увенчаясь даже его любовью взаимностью, брак был бы несчастлив» (Венгеров, с. 453).

Подобные же суждения высказал и немецкий биограф Толстого Р. Лёвенфельд в книге «Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание»

(СПб., 1896). Книга вышла с посвящением Софье Андреевне Толстой. «Сам Толстой, – писал Лёвенфельд, – был уже человеком не первой молодости, а избранный его сердца была почти еще подросток. Он был старинным другом из матери, – могли ли они быть счастливы друг с другом? Так переплеталось в душе Толстого личное с общим, и вопрос о семейном счастье одинаково интересовал его и как влюбленного человека, и как писателя. Не случайно имя Маши названо в рассказе именем “Покровское” – так называлось летнее местопребывание семьи Берс. (...) пришлось кое-что изменить в реальных отношениях. Сергей Михайлович из друга матери превращается в друга отца. Родителей Льва Николаевича уже не было в живых, у его двойника в “Семейном счастье” есть мать; у возлюбленной Толстого – есть родители, у Марьи Александровны их нет». Роман Толстого «является до некоторой степени воплощением мечты о будущем, изображением того, каким может и каким должно быть это будущее при различии характеров и лет» (с. 265–266; Leo N. Tolstoi, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung. Von Raphael Löwenfeld. Erster Teil. Berlin, 1892. S. 251–252).

Появление романа Толстого сразу же привлекло к себе внимание. 13 мая 1859 г. Гончаров писал Толстому о своем желании познакомиться с его новым произведением, о котором ему «уже говорили с нескольких сторон» (*Переписка*, т. 2, с. 123).

Среди первых читателей романа Толстого была дочь поэта Ф.И. Тютчева – Е.Ф. Тютчева. Своей сестре Д.Ф. Тютчевой она писала 24 мая 1859 г.: «Я окончила повесть Толстого, она восхитительна; это сама жизнь. Огромное счастье исчезает, уходит, без какой-либо причины, только потому, что здесь не может быть продолжительного счастья» (Музей-усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева. Перевод с французского).

Отзывы о романе стали появляться и в печати. Как «милую, поэтическую идиллию» воспринял роман Толстого автор «Библиографических вестей» в журнале «Северный цветок» (1859, 30 мая. № 22. С. 342). «С.-Петербургские ведомости» в обзоре появившихся за последнее время произведений роман «Семейное счастье» (названный повестью) оценили как «прекрасный». «Сколько грации, поэзии и увлекательности в сближении Маши с Сергеем Михайловичем в “Семейном счастье”», (...) нет и скуки, нет приторной и пошлой буколки – всё, напротив, поэзия и жизнь. Чрезвычайно хороша эта повесть; она напомнила нам лучшее произведение г. Толстого – его “Детство”» (1859, 18 июля. № 155. Подпись Н.Н.).

Ап. Григорьев причислил «Семейное счастье» к лучшим из ранних созданий Толстого (Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Статья первая // *Время*. 1862. № 1. Отд. II. С. 6). Во второй статье, в 9-м номере «Времени» за тот же год – «Граф Л. Толстой и его сочинения» – Ап. Григорьев расценивал «Семейное счастье» как такое произведение, которое продолжает начатое писателем в «Детстве», «Отрочестве», Севастопольских рассказах: «Ни “Альберт”, ни “Люцери”, ни “Три смерти”, ни, наконец, “Семейное счастье” не составляют в деятельности самого писателя какого-либо крутого поворота. Эти произведения – прямое и при том не только логическое, но и органическое последствие того же самого психического процесса, который раскрывается в предшествовавших произведениях, – завершение того же анализа, который так поразил всех в этих предшествовавших произведениях» (Отд. II. С. 2).

В «Семейном счастье» Ап. Григорьев усмотрел вместе с тем стремление художника, «утомленного работою анализа», «успокоиться в разрешении психической задачи менее широкой». Толстой, пояснял Ап. Григорьев, «дал нам

“Семейное счастье”», «тихое, глубокое, простое и высокопоэтическое произведение, с его отсутствием всякой эффектности, с его прямым и неломаным постановлением вопроса о переходе чувства страсти в иное чувство» (там же, с. 27).

Иначе воспринял это «прямое поставление вопроса» в «Семейном счастье» критик «Современника» А.П. Пятковский, поместивший в апрельском номере этого журнала за 1865 г. рецензию на издание «Сочинений графа Л.Н. Толстого». Пятковский увидел в романе Толстого сильно выраженное дидактическое начало, «неловкую подтасовку» семейной драмы к моральному концу: «Первая часть романа, – писал критик, – хотя и преисполненная различных психологических погружений, читается без скуки; вторая же испорчена дидактическою целью, которая даже в глазах эстетиков есть важная ошибка против законов нормального творчества» («Современное обозрение», с. 324, 325).

В 60-е годы возникали сопоставления «Семейного счастья» не только с предшествующим, но и с последующим творчеством Толстого (читателям уже были известны «Казак», «Поликушка», «Тысяча восемьсот пятый год»). 28 октября (9 ноября) 1867 г. И.С. Тургенев писал И.П. Борису: «Перечел я в последнее время всего Л.Н. Толстого: экий сильный и свежий талант – но не в “Семейном счастье”, не в педагогических статьях – и – должен прибавить, за исключением некоторых удивительных сцен – не в “1805-м годе”» (Тургенев. Письма, т. 8, с. 60).

Н.Н. Страхов также рассматривал «Семейное счастье» в контексте всего созданного к этому времени Толстым-художником. Но его оценка романа была далека от тургеневской. В 1866 г. в № 12 (Кн. 1) «Отечественных записок» появилась статья Н.Н. Страхова о Толстом «Сочинения гр. Л.Н. Толстого. В двух частях. СПб., 1864», где о «любвонной поэме» Толстого было упомянуто в связи с особенностями его «анализа душевных явлений»: «Анализ нашего автора – просто его художественная потребность, просто преобладающая черта его таланта». В «Семейном счастье», как и в других произведениях Толстого, «художественная сила идет наравне с анализом, вполне им владеет, употребляет его как орудие, дающее полноту образам и краскам» (с. 526–527). В другой статье о Толстом, помещенной в февральской книжке журнала «Заря» за 1869 г., Н.Н. Страхов писал о том, что все произведения, предшествовавшие «Войне и миру», были «не более как *этюды*, наброски и попытки, в которых художник не имел в виду какого-нибудь цельного создания, полного выражения своей мысли, законченной картины жизни, как он ее понимал». Исключение Н.Н. Страхов делал только для «Семейного счастья», романа, «который по простоте своей задачи, по ясности и отчетливости ее разрешения действительно составляет вполне живое целое» (разд. «Критика», с. 235).

После появления «Войны и мира» «Семейное счастье» стало восприниматься как ступень к созданию этой эпопеи. Как о первом по времени романе с образами, предвсаяющими Пьера Безухова и Наташу Ростову, Константина Левина и Кити, писал о «Семейном счастье» Ф. Булгаков: «Как сын своего круга, Толстой тогда жил также в “недовольстве жизнью”, но он и в то время искренно искал средства избавиться от этого недовольства. Одно из действительных средств представлялось ему и тогда уже в семейной жизни. В этом отношении весьма любопытен первый по времени его роман “Семейное счастье”. (...) Для Толстого тогда еще было вопросом, какая из двух жизней счастливее: полная молодых восторгов и упоительных волнений, или та, в которой весь “вздор жизни” остается позади и которая опирается на прочную дружбу и на чувство долга относительно детей? Тип семьи Пьера Безухова и Наташи Ростовой, Константина Левина и Кити в данном случае решает вопрос в пользу долга, испол-

нение которого является лучшим утешением в личном горе, в пользу любви, порожденной не игрой фантазии, не безумной страстью, а вытекающей из привязанности чистой, нравственной, основанной на уважении, на солидарности мыслей и чувств» (*Булгаков*, с. 62, 65–66).

В том или ином плане сопоставление «Семейного счастья» с «Войной и миром» и «Анной Карениной» не раз встречалось в критике. Орест Миллер, например, соотнося «Семейное счастье» с «Анной Карениной», коснулся темы, звучащей и в том и в другом произведении «помимо воли автора»: «Для того, чтобы семейное счастье, основанное на чувстве любви между членами семьи, могло сохраниться на долгое время, нужно, чтобы это чувство не было сосредоточено только на одной семье, чтобы семейное гнездо не было, так сказать, только птичьим гнездом. (...) Вот тема, быть может, и произвольно затрогиваемая гр. Толстым как в “Семейном счастье”, так и в “Анне Карениной”» (*Миллер О. Русские писатели после Гоголя*, с. 382).

А.М. Скабичевский оценивал «Семейное счастье» как этапное произведение на пути к созданию «Войны и мира» и «Анны Карениной». Идеалы, воплощенные в образах Пьера Безухова и Левина, впервые нашли отражение, по мнению Скабичевского, в герое романа «Семейное счастье» – Сергее Михайловиче (*Скабичевский*, с. 170). Правда, ранее Скабичевский рассматривал «Семейное счастье» как «исключение» «из всех произведений» Толстого, как такой роман, который наиболее смыкается с традициями школы беллетристов 40-х годов, создававших повести и романы с законченными сюжетами, весь узел которых основывался «обыкновенно на любви». Если другие произведения Толстого, например «Утро помещика», «представляют ряд очерков и частных эпизодов из жизни героев, в которых очень часто любовь не играет ровно никакой роли», в «Семейном счастье» – «цельный сюжет, основанный на любви» (*Скабичевский А. Граф Л.Н. Толстой как художник и мыслитель. Критические очерки и заметки*. СПб., 1887. С. 15–16).

Соотносил «Семейное счастье» со следующими романами Толстого и Н. Энгельгардт: «В повести “Семейное счастье” находим уже те женские типы, которые потом во всей полноте рисуются в гигантских эпопеях Толстого: “Война и мир” и “Анна Каренина” – этих “Илиаде” и “Одиссее” русской литературы» (*Энгельгардт Н. История русской литературы XIX столетия. 1850–1900*. СПб., 1903. Т. 2. С. 71).

Отведя разбору романа Толстого «Семейное счастье» целую главу в книге «Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист» (СПб.; М., 1887), Р.А. Дистерло основное внимание сосредоточил на теме «идеализированной любви». Идеалисты думают, писал Р. Дистерло, «что брак – это непреходящее и немеркнущее счастье любви, что семья – это какой-то зачарованный мир, где вечно разлито поэтическое сияние молодой страсти» (с. 101). Роман Толстого, по мнению Дистерло, опровергает подобное представление и убеждает читателя в том, что «страсть поднимает человека на такую высоту душевных настроений и ожиданий, вызывает в нем такие нежные, интимные чувства, держится на таких тонких и хрупких отношениях, для которых губительными оказываются легчайшие прикосновения грубой действительности» (с. 104).

В статье С.М. Стеняка-Кравчинского «Граф Толстой как писатель и социальный реформатор», написанной в 1891 г., «Семейное счастье» отнесено к тем ранним произведениям Толстого, которые, хотя и уступают более поздним его созданиям «по творческой поэтической силе», тем не менее они – «замечательные проявления творческого гения, не уступающие в художественном совершенстве, соразмерности, гармонии деталей шедеврам Тургенева; к ним не при-

бавишь, от них не убавишь ни слова, каждый мазок способствует успеху целого» (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 553).

Критик журнала «Артист» И. Иванов сопоставил роман «Семейное счастье» с произведением, написанным Толстым в поздний период творчества – с «Крейцеровой сонатой». И в том, и в другом произведении критик увидел разрыв «с основными преданиями русской литературы» в решении «женского вопроса», и прежде всего с тургеневской традицией: Толстой «вполне последовательно рисует в своих романах совершенно других героинь, чем мы видим у Тургенева» (Артист. 1894. № 43. Кн. 11. Ноябрь. «Литературное обозрение». С. 161, 166).

К.Ф. Головину представляется более интересным сопоставление «Семейного счастья» с ранним произведением Толстого – с рассказом «Два гусара». Если в «Двух гусарах», писал К.Ф. Головин, симпатии автора «принадлежат буйному представителю лихой старины с ее молодецким бесправием», в «Семейном счастье», написанном три года спустя, «Толстой учит довольствоваться осколками разбитых идеалов, когда миновало время сладких, обманчивых увлечений. Неизбежная проза жизни уже не представляется чем-то ненавистным, а, напротив, в умении ею довольствоваться Толстой видит истинную жизненную мудрость, а стало быть и жизненную правду» (Головин К. Русский роман и русское общество. СПб., 1897. С. 141).

Несмотря на большую разнохарактерность подходов критики к «Семейному счастью», с годами утверждалась все более и более высокая оценка этого романа. Ю. Айхенвальд назвал «Семейное счастье» «одной из лучших жемчужин» «человеческого и писательского венца» Толстого: «Если так часто и в таком благодатном сиянии выступает у Толстого человеческая мать, то это лишь потому, что она – представительница, носительница природы, воплощение ее рождающей силы. Кто за природу, тот за мать. Так было и с Руссо. Именно этот натурализм породил у Толстого всю ту интимность и семейность, которую он больше всех писателей внес в русскую литературу. Он чувствует женщину (...) он говорит от ее имени, ее устами, ее словами, и какая девушка и жена не узнает в этом зеркале себя и своего сердца?» (Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1908. Вып. II. С. 128, 129).

В том же 1908 г., в статье А. Дермана «Лев Толстой», напечатанной к 80-летию со дня рождения писателя, «Семейное счастье» упоминалось в подтверждение мнения об особой оригинальности характера и творчества автора этого романа – «оригинальной» оригинальности: «По его своеобразному отношению, например, к писательской среде в дни его молодости – невозможно было предвидеть ни характера его педагогической деятельности, ни того, что он станет пахать землю и тачать сапоги, как невозможно было в авторе “Войны и мира” предугадать автора статьи “Что такое искусство?”, как “Семейное счастье” не давало намеков на появление в будущем “Смерти Ивана Ильича” и “Крейцеровой сонаты”...» (Южные ведомости. 1908, 28 августа. № 197).

О «Семейном счастье» писали и зарубежные критики. В 1887 г. американский романист, публицист и критик Уильям Дин Хоуэлс в предисловии к Севастопольским рассказам назвал роман «Семейное счастье» среди таких произведений Толстого, чтение которых «составляет целую эпоху в жизни каждого мыслящего читателя». «Никто из известных мне писателей, – пояснял Хоуэлс, – не рассказывал так правдиво о человеческой жизни в ее всеобщем значении и, в то же время, в ее наиболее интимных и индивидуальных проявлениях». В 1887 г. Хоуэлс познакомился с вышедшим в этом году переводом романа Толстого на английский язык – с французского издания, под названием «Катя») (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 85).

В книге «Count Tolstoi as Novelist and Thinker» (London, 1888. P. 95–97) Чарльз Эдвард Тёрнер определил ранний роман Толстого «Семейное счастье» как зародыш другого его романа – «Анны Карениной». Оба романа, писал Тёрнер, учат признавать прозаическую серьезность жизни и не обольщаться туманными мечтами, бесплодными иллюзиями. Человеческая природа требует большего, чем может дать чистая страсть. Любовь становится помехой духовному развитию, если позволить ей занять место долга, сделав ее основным законом бытия. Причину разочарования как героини «Семейного счастья», так и «Анны Карениной», полагал Тёрнер, нужно искать в их ошибочном понимании дела жизни. Только подчиняясь законам природы, человек может достигнуть высочайшего счастья. Нарушение этих законов неизбежно влечет за собой несчастье и разрушение.

Дж.Х. Перрис соотнес «Семейное счастье» с другим, более поздним произведением Толстого – «Крейцеровой сонатой». «Семейное счастье», писал Перрис, ясное, стройное, сильное произведение, превосходящее, в основных чертах, «Крейцерову сонату» (Leo Tolstoy by G.K. Chesterton, G.H. Perris etc. London, 1903. P. 15).

Евгений Цабель, часто видевший в произведениях Толстого отражение автобиографического начала, в «Семейном счастье», напротив, не находил его: «Рассказ ведется с неподражаемым искусством, хотя события его и не были пережиты автором, как это мы видим в других его повестях: тогда он не был еще женат, и рассказ – плод чистой фантазии». Е. Цабель полагал, что «Семейное счастье» особенно понятно зарубежному читателю, так как в нем «очень мало следов его специально русского происхождения; тема и характеры представляют жизнь души, повсюду встречающуюся». Что касается формы изложения в романе «Семейное счастье», то ее Е. Цабель признавал выполненною особенно «тонкою кистью» (Цабель Е. Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк. Киев, 1903. С. 71–73; L.N. Tolstoi. Von Eugen Zabel. Leipzig; Berlin; Wien, 1901. S. 47–48).

Значительность раннего романа Толстого все более и более ощущалась критиками. 18 ноября 1910 г. Г. Баржере в статье, помещенной в «Événement», назвал «Семейное счастье» в ряду шедевров толстовского творчества, – таких, как «Детство», «Отрочество», «Война и мир», «Воскресение» (ЛН, т. 75, кн. 2, с. 384).

При жизни Толстого роман «Семейное счастье» переводился на английский, болгарский, венгерский, голландский, испанский, немецкий, норвежский, польский, румынский, сербскохорватский, словенский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский языки.

Сразу же после опубликования романа перевод его на французский язык был напечатан в газете «Journal de Saint-Petersbourg» (29–30 сентября 1859 г., № 229–230; 2–4 октября. № 232–234; 6 октября. № 235; 8–11 октября. № 237–240; 13–14 октября. № 241–242). Отдельным изданием на французском языке роман вышел в 1877 г.: «Macha. Souvenir et Impression d'une jeune femme». Paris, 1877. Перев. И. Паскевич. Под тем же названием «Macha» роман вышел в Париже в 1890 г. В 1878 г. на французском языке «Семейное счастье» было напечатано под названием «Katia» (Trad. du M. le comte d'Hauterive. Paris. Переиздано в 1885 и в 1886 гг.). Следующие издания – в 1889, 1890, 1893, 1896, 1906 гг. В переводе Бинштока (J. Bienstock) роман был включен в пятый том (Paris, 1903) собрания сочинений, выходящего под наблюдением П.И. Бирюкова. В 1875 г. в одном из сборников произведений иностранной литературы «Novellenschatz des Auslandes» (Bd. 10, München, 1875) был помещен перевод «Семейного счастья»

на немецкий язык (см. ЛН, т. 75, кн. 2, с. 208, 244). Затем в переводе Ланге издание романа на немецком языке состоялось в 1882 г.: *Familienglück*. Übers. v. W. Lange. In: Luzern. Leipzig, 1882 (следующие издания – в 1888, 1890, 1891, 1893, 1895, 1897, 1901, 1908 гг.; переводчиками были: L. Hauff, W. Lilienthal, G. Gärtner, R. Löwenfeld). В 1877 г. появился перевод на польский язык в журнале «*Dziennik Warszawski*» (см. ЛН, т. 75, кн. 2, с. 253). Отдельное издание романа на польском языке было осуществлено в 1899 г.: *Szczęście rodzinne*. Warszawa, 1899. В 1877 г. «Семейное счастье» было опубликовано на сербскохорватском языке: *Сређа у браку*. Приповетка. Прев. С. Петровић. Нови Сад, 1877 (затем в 1893 и 1907 гг.); в 1878 г. – на венгерском языке: *Családi boldogság*. Ford. A. Szentkirályi. Budapest. Franklin, 1878 (затем – в 1891, 1895, 1903, 1905 гг.); в 1879 г. – на датском языке *Ægteskabslykke. En fortælling*. Kjøbenhavn, Pio, 1879 (затем – в 1902 г.); в 1884 г. – на английском языке: *Family happiness. A novel*. Transl. by N.H. Dole. London, Scott, 1884 (переиздано в 1886, 1888, 1898, 1899 гг.; в 1902 г. роман вышел в переводе С. Garnett; в 1904 г. – в переводе L. Wiener); в 1885 г. – на шведском языке – *Katja. Novell*. Stockholm, Haeggström, 1885 (затем – в 1889 и 1909 гг.); в 1886 г. – на голландском языке: *Katia*. Vert. door J. Huygens. Amsterdam. Van Kampen, 1886 (затем – в 1904 г.); в 1887 г. – на норвежском языке: *Huslig lykke*. Overs. fra Tysk. (efter W. Lange oversættelsen) av H. Sinding. Kristiania, 1887. В 1888 г. в периодическом издании «*Tribuna*» роман Толстого был напечатан на румынском языке (см.: ЛН, т. 75, кн. 2, с. 329). Отдельное издание появилось в 1904 г.: *Romanul căsătoriei complect*. Piatra Neamt, 1904 (Autorii celebri. Literatura și știinta popularisată. Colecțiunea M. și C.D. Gheorghiu). В 1889 г. «Семейное счастье» было опубликовано на словенском и чешском языках: *Rodbinska sreča*. Roman. Prev. P. Podravski (P. Miklavc). Ljubljana, Giontini, 1889; *Rodinné štěstí Román*. Pfel T. Malochyňská. In: *Spisy Hraběte Lva Nicolajeviče Tolstého*. Sv. 2. Praha, 1889; в 1891 г. – на испанском языке: *Marido y mujer*. Madrid. La España moderna, 1891 г. (затем – в 1893, 1896 и 1908 гг.); в 1891 г. – на турецком языке: *Семейное счастье*. Пер. О.С.Лебедева. Предисл. Ахмед Мидхат. Стамбул, 1891 – в арабской графике (затем – в 1908 г.); в 1892 г. – на итальянском языке: *Katia. Di che vivono gli uomini: leggenda russa*. Milano, Sonzogno, 1892 (затем – в 1899, 1904, 1905 и 1910 гг.); в 1894 г. – на финском языке: *Perheonni*. Suom. K. Mäkinen. Helsingissä, 1894 (затем – в 1906 г.); в 1898 г. – на болгарском языке: *Семейно щастие*. Роман. Прев. И. Чернев. София, Чипев, 1898.

Уже при жизни Толстого его биографы, критики, литературоведы, библиографы признавали: «Толстого знает теперь весь читающий мир на любой параллели и на любом меридиане» (Соловьев Е. Л.Н. Толстой. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк. СПб., 1897. С. 5).

С. 191. ...*раскрывая тетрадь Бетховена на адажио сонаты quasi una fantasia*. – Речь идет о первой, медленной части (*adagio sostenuto*) сонаты Бетховена (Op. 27. № 2 «*Quasi una fantasia*»), получившей широчайшую известность под названием «*Лунной сонаты*».

Скерцо – часть сонаты в быстром темпе.

С. 193. ...*поселились соловьи на все Петровки*. – Петровки – пост перед Петровым днем, праздником св. апостолов Петра и Павла в Православной Церкви (29 июня).

С. 199. ...*предпочитала Моцарта Шульгофу* – т. е. произведения Вольфганга Амадея Моцарта сочинениям Юлиуса Шульгофа. Ю. Шульгоф (Schulhoff), чешский пианист и композитор, писал преимущественно салонные фортепиан-

ные произведения: сонаты, ноктюрны, вальсы, фантазии, мазурки, выступал с концертами во Франции, Германии, Англии, Испании, России.

С. 202. ...*свяслами на кушаках...* – Свясло – соломенный жгут.

С. 205–206. «*Когда я читаю романы, мне всегда представляется, какое должно быть озадаченное лицо у поручика Стрельского или у Альфреда, когда он скажет: "я люблю тебя, Элеонора!" и думает, что вдруг произойдет необыкновенное...*» – Названные Толстым имена героев были широко распространены в литературе первой трети XIX в. Встречались они и у Марлинского. Вот что писал он о переживаниях одного из своих персонажей – Стрелинского (эти строки напоминают комментируемые строки Толстого): «...он уже не раз испытал на себе, что природа и светская любовь не делают скачков, а потому, как ни уверен был, что его любят взаимно, но роковое слово "люблю!" двадцать раз замирало на устах, прежде чем он его выговорил, как будто с ним он должен был рассыпаться, как клад от аминя. И графиня тоже, как и всякая женщина, казалось, испугана этим словом – "люблю вас", как выстрелом, – как будто каждая в нем буква составлена из гремящего серебра!» Другой пример: «Прекрасно дерево наслаждения, сладки его яблоки, но берегитесь прокусить их до сердца: у них сердце – яд тлеворный, мучительный, убийственный яд! (...) Мечтатель, который без боя дался в рабство преступлений или несбыточной страсти, который забыл, что он человек и сын отечества, гибнет в келье умалишенных, угрызая цепь с жажды поцелуев своей Элеоноры» (*Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. М., 1981. Т. 1. С. 227–228; М., 1981. Т. 2. С. 341*). Толстой с самого начала творческого пути критически относился к тем произведениям своих предшественников, в которых изображение внутренней жизни человека было преувеличенно-риторическим, искусственным и претенциозным. К числу таких произведений относил Толстой и сочинения Марлинского, у которого очень часто психологические сцены должны были поражать читателя чем-то необыкновенным и роковым, «противореча действительности».

С. 210. *Успенский пост* – пост с 1 по 14 августа (ст. стиля), связанный с христианским праздником (15 августа) Успения Богородицы.

...*садилась в линейку...* – Линейка – длинный многоместный экипаж с продольной перегородкой, в котором сидят боком к направлению движения.

Из-за клироса ... – место для певчих на возвышении, перед алтарем, по правую и левую сторону царских врат.

С. 214. ...*загремел знакомый кабриолет...* – Кабриолет – легкая двухколесная повозка с одним сидением без козел, в которую впрягалась одна лошадь.

С. 226. ...*на полу расстилались домашние ковры и полосухи* – Полосуха – половик из полосатой дешевой материи.

Тезоименитство – именины (устар.).

С. 233. ...*А он, безумный, просит бури...* – Две последние строки из стихотворения Лермонтова «Парус», не совсем точно приведенные. У Лермонтова: «А он, мятежный, просит бури...»

С. 234. ...*маленькие Крезы...* – Имя последнего царя Лидии Креза (VI в. до н. э.) стало нарицательным, а его богатство вошло в поговорку.

...*жить в городе только до Святой...* – т. е. до Святой недели праздника Пасхи.

С. 235. ...*грациозная самоуверенность, афабельность...* – Афабельность – приветливость (от фр. affable).

С. 253. ...*кусты розанов, еще без цвета, неподвижно вытянувшись на своей вскопанной черной рабатке...* – Рабатка – длинная узкая грядка с цветами вдоль стены, дорожки (от нем. Rabatte).

РОМАН РУССКОГО ПОМЕЩИКА

Впервые: *Толстой Л.* Избранные произведения. М.: Л., 1927. С. 23–54 (первые шесть глав и конец). Полностью: *Юб.*, т. 4, с. 309–362.

Рукописный фонд составляет 130 листов.

Печатается по автографам.

Толстой работал над «Романом русского помещика» с большими перерывами с 1852 по 1857 г. Были созданы две редакции текста. Более обширная первая редакция заключает в себе первую часть романа из девяти глав и начало второй части. Вторая редакция состоит из четырех начальных глав первой части, неоконченной главы 6-й «Двор Ивана Чуриса» и отрывка, представляющего собой вариант фрагмента из 4-й главы. Кроме того, на одном из этапов работы Толстой написал «Предисловие не для читателя, а для автора», в котором разъяснял замысел романа, характеризовал основных действующих лиц и набрасывал план первых глав.

Возникновение замысла «Романа русского помещика» относится к 1852 г. Находясь на Кавказе, в станице Старогладковской, Толстой записал 10 мая в дневнике: «Завтра принимаюсь за продолжение “Детства” и, может быть, за новый роман».

Вполне вероятно, к этому замыслу имеет отношение и запись в дневнике от 14 июня того же года: «Завтра (...) пишу утром “Д(етство)”, а вечером новое». Первая запись, определенно относящаяся к «Роману русского помещика», сделана 18 июля, спустя две недели после отправки рукописи «Детства» в Петербург: «Обдумываю план Р(усского) помещичьего романа с целью». «Цель», или идея, романа объясняется в записи от 3 августа, сделанной в Пятигорске: «В романе своем я изложу зло Правления Р(усского), и ежели найду его удовлетворит(ельным), то посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического избирательного, соединенного с монархическим, правления, на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни. Благодарю тебя, Господи, дай еще силы».

11 августа, по возвращении в Старогладковскую, Толстой записал в дневнике: «После обеда – обдумывать план помещичьего романа...», а 18 августа: «План романа начинает обозначаться». Об этом же на следующий день, 19 августа: «Жил, как живется, читал всякую дрянь и обдумывал план романа». Обдумывание продолжалось еще в течение месяца, о чем говорит запись от 19 сентября: «План моего романа, кажется, достаточно созрел. Ежели теперь я не примусь за него, то, значит, я неисправимо ленив». 22 сентября Толстой уже был готов осуществить свое намерение. «Зубы перестали болеть, и я сел было писать, – но приехал Цезархан и помешал мне». Возможно, что к «Роману русского помещика» относится и другая запись, сделанная в тот же день: «Перед тем, как я задумал писать, мне пришло в голову еще условие красоты, о котором и не думал, – резкость, ясность характеров».

23 сентября Толстой приступил к осуществлению своего замысла: «Обдумывал план романа и начал писать его. Надо сделать усилие над ленью и завтра – дурно ли, хорошо – писать». 24 сентября, судя по записи в дневнике, Толстой продолжил работу: «Писал лениво и, хотя не слишком скверно, но насколько хуже того, как я думал! Нет сходства. Надо писать и писать. Одно средство выработать манеру и слог». 25 сентября: «Горло болело, поэтому не мог преодолеть себя – заставить писать».

Запись от 26 сентября дает представление о количестве написанного: «...Написал листа 1½, и порядочно, но отступление». Полтора листа соответствуют первым шести страницам автографа. Это треть первой главы «Обедня», знакомящей читателя с главным героем. Слова «Нет сходства» и «но отступление» не поддаются точной интерпретации с помощью текста, написанного в это время Толстым, так же, как запись, сделанная на следующий день – 24 сентября: «Писал немного (...) В числе вопросов, кот(орые) я стараюсь решить в моем романе, вопрос об оскорблениях занимает и сильно затрудняет меня. Или я слишком горд, или действительно я был слаб в тех случаях, только когда я вспоминаю о них, я чувствую что-то вроде раскаяния».

28 сентября: «Писал, порядочно». 30 сентября: «Писал немного...» По-видимому, в эти дни была закончена первая глава «Обедня», потому что в октябре Толстой делает запись о работе над эпизодом, главным героем которого выступает Шкалик. После переработки рукописи этот эпизод был выделен Толстым в главу под названием «Шкалик» (без обозначения номера). По порядку это вторая глава. 1 октября Толстой записал: «Отпустил Шкалика, порядочно. Ежели я каждый день буду писать по стольку, то в год напишу хороший роман».

На следующий день, 2 октября, работа была продолжена: «Написал поллиста хорошо», но 3 октября: «Ничего не написал, а задумался над заключением романа». Результат обдумывания изложен в дневнике 4 октября: «Разрешил вопрос о заключении романа: после описи имения, неудачной службы в столице, полуувлечения светскостью, желанья найти подругу и разочарования в выборах, сестра Сухонина остановит его. Он поймет, что увлечения его (не дурны), но вредны, что можно делать добро и быть счастливым, перенося зло».

Запись следующего дня, 5 октября, свидетельствует о затруднениях в дальнейшей работе: «Ничего не написал. Мне кажется, что я здесь, – на Кав(казе), – не в состоянии описать крестьянский быт. Это смущает меня». О том же говорит и запись 6 октября: «Писать не принимаюсь серьезно. Нет уверенности». Но уже через день, 8 октября, работа была продолжена: «Читал какую-то дрянь, потом написал 1½ листа. Надо навсегда отбросить мысль писать без поправок. 3, 4 раза – это еще мало». 9 октября: «Встал и писал довольно легко и хорошо ½ листа...» В следующие два дня записей о работе нет, а 12-го отмечено: «Принимался писать, но нейдет. Завтра буду писать хорошенько...» Толстой вернулся к работе 15 октября: «Ходил с Х(илковским) на охоту, перед этим немного написал». 17 октября: «С утра принялся было писать, но бросил». 18 октября: «Писал хорошо...»

На следующий день, 19 октября, сделав перерыв в писании, Толстой пытался сформулировать общие идеи своего романа: «Простота есть главное условие красоты моральной. *Чтобы чит(атели) сочувствовали герою, нужно, чтобы они узнавали в нем столько же свои слабости, сколько и добродетели, добродетели – возможные, слабости – необходимые.* Мне пришла мысль заниматься музыкой. Тем или другим, но надеюсь, что с завтрашнего дня начну работать неусыпно. Мысль романа счастлива – он может быть не совершенство, но он всегда будет полезной и доброй книгой. Поэтому надо за ним работать и работать не переставая». После записи о другом неосуществленном замысле, «Очерки Кавказа», снова размышления о романе: «*Основания Романа р(усского) пом(ещика): Герой ищет осуществления идеала счастья и справедливости в деревенском быту. Не найдя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его, она, наводит его на мысль, что счастье состоит не в идеале, а постоянном, жизненном труде, имеющем целью – счастье – других.*»

Возможно, что к замыслу «Романа русского помещика» относится и продолжение под номером 2 (номера 1 ранее нет): «Любви нет. Есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни».

20 октября работа значительно продвинулась: «Много писал (3 ц(елых) л(иста)) довольно хорошо...», а следующие два дня: «Писал мало (³/₄ л(иста))» (21 октября) и «Написал два листа нехорошо» (22 октября).

23 октября: «Ездил на охоту, ничего не видал и целый день не писал».

24 октября: «...Написал поллиста».

25 октября: «...Написал ¹/₄ л(иста)...»

27 октября: «Ничего не писал».

28 октября: «Писал очень мало...»

29 октября: «Ничего ни писал, ни читал».

30 октября: «Теперь поздно, но хочу писать немного».

31 октября: «Вчера и нынче писал немного».

1 ноября: «Ничего не писал».

8 ноября: «Открыл тетрадь, но ничего не написал».

9 ноября: «... Хочется писать».

14 ноября: «Утром писал порядочно».

16 ноября: «Хочется писать».

17 ноября: «Целый день был дома, писал немного. Все, что написано, слишком небрежно подмалевано, много придется переделывать».

25 ноября: «...Вчера писал немного, порядочно».

26 ноября: «После обеда начал писать хорошо...»

В этот день Толстой получил письмо от Н.А. Некрасова, предлагавшего ему плату 50 рублей серебром за лист, имея в виду его будущие произведения. Толстой решил, «не отлагая, писать рассказы о К(авказе)» и далее отметил в дневнике: «Начал сегодня». На следующий день, 27 ноября, запись: «Нейдет Кавказский рассказ. Написал п(исьмо) Н(екрасову) и теперь успокоился на этот счет. Не торопясь, примусь за что-нибудь».

Некрасову 27 ноября 1852 г. Толстой писал, имея в виду «Роман русского помещика» и «Очерки Кавказа»: «Хотя у меня кое-что и написано, я не могу прислать вам теперь ничего: во-первых, потому, что некоторый успех моего первого сочинения развил мое авторское самолюбие и я бы желал, чтобы последующие не были хуже первого, во-вторых, вырезки, сделанные цензурой в "Детстве", заставили меня во избежание подобных переделывать многое снова».

Решение «не торопясь, приняться за что-нибудь» говорит о том, что работа над «Романом русского помещика» начинала отходить на второй план. Из записи 28 ноября непонятно, о каком произведении идет речь: «...Пробовал писать, нейдет. Видно, прошло время для меня переливать из пустого в порожнее. Писать без цели и надежды на пользу решительно не могу». Но на следующий день, 29 ноября, Толстой ясно изложил свои намерения: «Примусь за отделку описания войны и за Отрочество. Книга пойдет своим чередом». Речь идет о продолжении работы над «Очерками Кавказа» и задуманной тетралогией «Четыре эпохи развития». Книгу – так Толстой в это время неоднократно называл «Роман русского помещика» – он тоже не собирался оставлять. А в записи от 30 ноября он определил различие двух замыслов, имеющих автобиографическую основу: «Четыре эп(охи) жизни составят мой роман до Тифлиса. Я могу писать про него, потому что он далек от меня. И как роман человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен, хотя не догматический. Роман же р(усского) помещ(ика) будет догмат(ический)».

С 1 по 10 декабря Толстой работал над рассказом «Набег», не оставляя мыслей о «Романе русского помещика». Дважды за это время он писал о нем брату Сергею Николаевичу, придавая серьезное значение этому своему замыслу: «Роман этот называю книгой, потому что полагаю, что человеку в жизни довольно написать хоть одну короткую, но полезную книгу» (неотправленное письмо от 5 декабря); «...Я начал новый, серьезный и полезный, по моим понятиям, роман, на который намерен употребить много времени и все свои способности. Я принялся за него с таким же чувством, с которым я в детстве принимался рисовать картинку, говоря, что “эту картинку я буду рисовать три месяца”. Не знаю, постигнет ли роман участь картинки; но дело в том, что я ничего так не боюсь, как сделаться журнальным писакой, и, несмотря на выгодные предложения редакции, пошлю в “Современник” – и то едва ли – один рассказ, который почти готов и который будет очень плох» (неотправленное письмо от 10 декабря).

На следующий день, 11 декабря, Толстой записал в дневнике: «Решительно совестно мне заниматься такими глупостями, как мои рассказы, когда у меня начата такая чудесная вещь, как *Роман помещика*. Зачем деньги, дурацкая литературная известность? Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полезную вещь. За такой работой никогда не устанешь. А когда кончу – только была бы жизнь и добродетель – дело найдется».

14 декабря Толстой определил себе задание: «...Завтра усердно буду продолжать *роман*». Однако в последующие дни он занимался доработкой «Набега», которую закончил 24-го. 27 декабря сделана последняя перед длительным перерывом запись о работе над «Романом русского помещика»: «Долго спал, стал было писать *Р(оман)*. Офицеры помешали мне. Ездил верхом и, приехавши, читал и писал стихи».

Рукопись первой редакции романа обрывается: на первых страницах второй части.

Текст первой редакции в процессе работы подвергался значительной правке. Чаще всего это были дополнения, расширявшие представления читателя о месте действия, поведении действующих лиц, их внешности. Так, о собиравшихся к обедне прихожанах из окрестных деревень Толстой сначала написал просто «шел народ», потом добавил «пестрыми, веселыми толпами». О поведении лакея, сопровождавшего своих господ в церковь и прокладывавшего им дорогу в толпе, сначала было сказано «крепко толкал и без того с торопливостью и почтительностью расступавшихся прихожан», затем к «крепко» добавлено «и без всякой надобности». Расширялась характеристика эпизодических действующих лиц. О «толстом бабуриномском приказчике-октаве» добавлено: «особенно замечательный в тройном “Господи помилуй”». Даны дополнительные сведения и о «его брате Митеньке» – «женский портной, любезник и первый игрок на гармонике». Более подробно раскрыта суть торговой деятельности Шкалика. Сначала Толстой написал: «Он привык по рублю за пуд сена с проезжих братья», затем исправил: «Он привык по 2 гривны пуд сена брать да по рублю проезжим спускать».

Часто Толстой добавлял детали поведения, сопровождающие основное действие персонажа. Так, к словам «отвечал Шкалик» добавлено: «надевая шляпу и мутно глядя через плечо князю». В другом месте: «прибавил он, поглаживая бородку». В сцене примирения Шкалика с Игнатом сначала было: «Шкалик хладнокровно отер усы и простился», затем добавлено: «и, не взглядывая на Игната, простился». В эпизоде, когда князь хочет дать денег Чурису, сначала говорилось: «доставая скомканную кучку ассигнаций», затем стало «доставая и раз-

бирая скомканную кучку ассигнаций». Чурис долго не брал денег «и заставил протянутую руку Николеньки дрожать от напряжения». К этому добавлено: «и положить наконец деньги на стол». О матери Юхванки сначала сказано «но так закашлялась», потом добавлен жест: «но, приложив руки ко рту, так закашлялась». В описании действий приказчика, спешащего к князю, добавлено: «спрятав платки в глубину кармана», и далее в этом же эпизоде: «Яков Ильич снял фуражку». Дополнительный жест появился и у матери Давыдки Белого: «притворила дверь, обдернула поневу и серьезно взглянула на сына». И далее: «прибавила она, недоверчиво качая головой».

Были добавлены определения: «шишка – синеватая шишка», «в труде – в посильном труде», «на такую сильную опору – на такую сильную и высокую опору», «понурая голова – понурая, мерно качавшаяся голова», «он источник – он единственный источник», «рукавом рубахи – рукавом вышитой рубахи», «густыми клочками усов – густыми черными клочками усов», «чем наш Николенька – чем наш худощавый Николенька», «аккуратный мужик – аккуратный мужик, учтивый», «окно – разбитое окно», «в том же апатическом положении – в том же глупо-апатическом положении», «изба была просторная – изба была белая (с трубой), просторная», «лавки – новые лавки», «в комнате – в небольшой комнате», «к своему пузатому сынишке – к своему единственному пузатому сынишке», «белая старинная скатерть – белая старинная камчатная скатерть», «форма старинных ложек – форма старинных круглых ложек», «киевских тарелок – выписанных еще старым князем киевских тарелок», «это сочувствие – это жаркое сочувствие», «энтузиазм – искренний энтузиазм».

Появились и некоторые другие дополнения¹: «болезненное выражение глаз и сильной запах водки», «блестящими глазами исподлобья взглянула на князя», «двор раскрит, есть нечего, навоз не запахан», «Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же: и себе, и на барщине только через пень колоду валит», «В прошлом годе перед вашим приездом», «обратилась к князю с тем же одушевлением и с слезами на глазах», «до огромных тяжелых сапог с сморщенными широкими голенищами».

Иногда Толстой значительно расширял текст, вписывал целые фразы, уточняя мысли и психологическое состояние главного героя или его взаимоотношения с крестьянами. Так, перед внутренним монологом князя о вероломстве Шкалика вставлена фраза: «Он был сильно возмущен». К рассуждению о том, что сами крестьяне не могут защитить свои права и поэтому это долг помещика, добавлено (вписано между строк): «Я сам не могу защитить их, поэтому я должен искать защиты у правительства». Аналогичный случай в эпизоде с Чурисом. Сначала было: «Николеньке было ужасно досадно, что Чурис не обратился прежде к нему». К этому дописано: «тогда как он никогда не отказывал мужику и только того и добивался, чтобы все прямо приходило к нему за своими нуждами».

Вносились дополнения в речь крестьян, которые делали ее более образной, богатой смысловыми нюансами. К словам матери Давыдки «а я все одна да одна» добавлено: «Камень и тот треснет». В ее рассказ о том, как «испортили» ее сына, дописана фраза: «Долго ли до греха?» Сначала она говорила князю: «от меня уже какой работы ждать» (перед этим Толстой зачеркнул недописанное «я ста(ра)»), затем добавлено: «нынче жива, а завтра помру». В речи крестьян во многих местах добавлено обращение «ваше сиятельство».

¹ Слова, выделенные курсивом, вставлены позднее.

Отдельные слова и фразы в процессе правки не только дописывались, но и заменялись. Шли поиски более точных слов, наилучшим образом выражающих мысль писателя. О Шкалке сначала было сказано: «всегда хитрый, скрытный и красноречивый». «Мрачный лес» сначала был исправлен на «темный лес», а затем на «дремучий лес». Выражение рта Чуриса сначала охарактеризовано как «веселое», затем как «насмешливое». В избе Чуриса за столом сначала стояла кровать, затем она заменена на широкую лавку. Более точным и наглядным стало описание прохуdivшегося потолка в этой избе. Было: «Потолок в середине выпал и навис», стало: «В середине потолка была большая щель». Обобщенное «он очень зол был за это на Чуриса» заменено на более конкретное: «Он рассердился даже, пожал плечами и покраснел». Чурис слушал предложение князя о переселении сначала «с грустным выражением лица», потом Толстой заменил его на «тупое выражение». Написав сначала «Юханкина мать была старуха лет 70», Толстой зачеркнул точное определение возраста и продолжил: «одна из тех старух, лета которых невозможно определить». О времени, когда жена Давыдки Белого родила сынишку, сначала сказано «летось филипповками», затем «летось спожинками» и наконец «летось петровками».

Толстой внимателен к выбору мельчайших деталей. «Слабо повязанный поясок» на Илюшке он изменил на «низко повязанный поясок». Николенька съедает в избе зажиточного крестьянина Болхи в первом варианте «корочку горячего хлеба», в окончательном тексте «кусочек горячего хлеба». Старик Болха «вводил Николеньку в свои исключительные владения», на пасеку, сначала «с улыбкой, выражающей довольство и гордость». Затем «улыбка» заменена на «полуулыбку». Он же отвечает на вопрос князя о количестве ульев сначала «стыдливо улыбаясь», затем «робко улыбаясь».

Реже всего встречается правка, изменяющая смысл написанного ранее. В первую очередь это касается количественных характеристик. Так, о Николеньке сначала сказано: «ему не было еще 26-ти лет», затем изменено: «ему было 22 года». Марья Гавриловна в первом варианте говорила Шкалику, что не видела мужа «вторую неделю», Толстой заменил на «4-ю неделю». Чурису князь первоначально давал 6 рублей серебром, затем изменено на 7. О старике Болхе, занимавшемся в молодости извозом, в первом варианте было сказано: «он на станции на двух тройках стоял», затем стало: «он на станции на 3-х тройках лет 8 стоял».

Другие, также немногочисленные случаи, отражают колебания Толстого в определении отношений между персонажами. Так, он изменил первое впечатление г-жи Михайловой о молодом князе. Сначала было: «Но г-жа Михайлова все-таки в душе не могла не признаться, что в Николеньке, несмотря на это, есть что-то особенно интересное». Стало: «И г-жа Михайлова решила, что в молодом князе есть что-то очень, очень странное». Представляет интерес переработка Толстым того эпизода у Юханки, когда князь грозит отдать его за плохое поведение в солдаты. Сначала Николенька говорил Юханке: «А вот я тебе сейчас скажу, какая твоя жизнь будет, ежели ты не постарайся исправиться. Первый набор я тебе в зачет ли, но лоб забрею, потому что таких мужиков, как ты, я держать не намерен». Второй вариант выглядит мягче в эмоциональном плане, но так же угрожающ по смыслу: «А вот я тебе сначала скажу, какая твоя жизнь будет; ежели ты не постарайся исправиться, то быть тебе солдатом». В последнем варианте прямая угроза солдатчиной снята, по-видимому, как противоречащая характеристике душевных качеств героя и его отношению к мужикам. Стало: «Не одобровать тебе, Феофан, ежели ты не справишься, – сказал Николенька медленно, – потому что таких мужиков, как ты, держать нельзя».

В целом в процессе работы Толстого над первой редакцией текст романа расширился, но была и такая правка, которая вела к его сокращению. Так, Толстой убрал подробности в описании беззника, где Шкалик напал на отдыхающих баб, и избы Чуриса (см. варианты в т. 20 второй серии издания). В двух случаях Толстой вычеркнул обороты, противоречащие тому типу повествования от лица всеведущего автора, который принят им в «Романе русского помещика»: «Мне также хорошо известно, что в то самое утро, когда бабы отдыхали под стогами»; «и со двора могло показаться, что говорят вместе несколько бабьих голосов. Способность так говорить я замечал у одних женщин».

Толстой сокращал подробности мыслей, жестов, рассуждений второстепенных и эпизодических действующих лиц. Так, в пономаре, ждавшем появления на дороге к церкви князя в фамильной венской коляске и разочарованного его появлением пешком, вначале говорилось: «Может быть, даже он раскаивался в том, что так долго поджидал такого непышного князя». У Шкалика отнят жест. Было: «отвечал Шкалик, поднимая брови и с самым спокойным видом доставая клетчатый платок из заднего кармана». Стало: «отвечал Шкалик, с выражением совершенного равнодушия поднимая брови». Убраны также слова от автора: «болезненно говорил Шкалик».

В эпизоде разговора князя с матерью Давыдки Белого вместо бывшего сначала: «продолжала она грустным голосом, не оборачиваясь, указывая на сына» стало: «продолжала она слезным голосом». Сокращены также ее слова: «Обдумай ты нас как-нибудь, кормилец», означавшие ее просьбу дать невесту Давыдке, и вторая фраза следующей ее реплики: «Невесты-то есть – как не быть? Да без твоей воли не пойдут»¹.

Особенно тщательно Толстой работал над портретами крестьян – матери и жены Юхвана, Давыдки и его матери, Илюшки, а также приказчика. Одни детали уступали место другим. «Толсто намотанные онучи», на которые надеты «тяжелые смазанные коты», на ногах Юхванкиной жены заменены на «толстые шерстяные чулки», а к «тяжелым котам» добавлено определение «черные». Сама она сначала названа «красивой», затем «румяной» и наконец «плотной, румяной бабой, с необыкновенно просторно развитой грудью». Сначала на ней была «чистая рубаха с бусами на шее» и «яркая панева», затем добавлена «шитая на шее и рукавах занавеска». Убрана обобщающая фраза: «Баба была знатная, да и щеголиха». Первоначальное «Конец водоноса легко лежал на ее широком и твердом плече» постепенно расширялось, сначала появился вариант: «Она шла твердо, и конец водоноса не покачивался, плотно лежал на ее широком и твердом плече». Была добавлена фраза, начинающаяся со слов «Легкое напряжение», но сначала без определения «обильно вспотевшем», появившемся уже в третьем варианте.

Большое количество дополнительных деталей было внесено при работе над портретом матери Юхвана. Сначала сказано: «Корявый остов ее был буквально согнут дугою», затем Толстой его «одевает» в лохмотья, контрастирующие с только что описанными яркими одеждами невестки: «Корявый остов ее, на котором надета была черная изорванная рубаха и бесцветная панева...» Ее руки сначала имеют только цвет («были какого-то темно-бурого цвета»), потом добавляется деталь, говорящая о долгом тяжелом физическом труде и болезни: «Обе руки ее с искривленными пальцами». Вносится еще ряд ярких пластических деталей: вместо «понурая голова» – «понурая, мерно качавшаяся голова»;

¹ Курсивом выделена сокращенная фраза.

к описанию лба, изрытого морщинами, добавлено: «с обеих сторон которого выбивались остатки желто-седых волос»; перед фразой «дыхание ее было громко и тяжело» появилось: «под скулами и на горле висели какие-то мешки, шевелившиеся при каждом движении».

Таковы были в общих чертах направления, по которым шла работа Толстого над рукописью первой редакции «Романа русского помещика». Она прервалась на незаконченной фразе в самом начале второй части.

Упоминания о «Романе русского помещика» в дневнике не появляются до середины августа 1853 г. 12 апреля 1853 г. «Романом» интересовался в письме к Толстому его брат Сергей Николаевич: «Когда выйдет твой большой роман с твоей подписью и где ты его хочешь напечатать?»¹ – спрашивал он. Письма братьев разминулись: Толстой отправил свое письмо 17 апреля, еще до того, как получил письмо Сергея Николаевича от 12-го, а в следующем сохранившемся письме – от 14 июня 1853 г. – он касается только «Детства» и «Набега».

16 августа 1853 г. записи в дневнике о «Романе русского помещика» возобновились. Находясь на лечении в Железноводске, Толстой высказал намерение вновь вернуться к работе над романом: «Завтра рано встать, пить воду, после воды писать Отр(очество) до обеда. После обеда до бульвара К(авказский) Р(ассказ) и вечером Р(оман)». 26 августа записано: «Ничего не делал. Решился бросить Отрочес(тво), а продолжать Роман и писать рассказы К(авказские). (...) До обеда – Рассказ. После обеда – Роман».

Однако к писанию «Романа русского помещика» Толстой в это время так и не возвратился, начав работу над повестью «Казачи». 30 августа он записал в дневнике: «Занимался целый день. Но все не остается время для романа».

В конце сентября 1853 г. Толстой читал «Роман русского помещика» В.П. Толстому, находившемуся вместе с М.Н. Толстой в Пятигорске. В дневнике отмечено: «Решительно все надо изменить, но самая мысль всегда останется необыкновенною» (запись 28 сентября).

24 октября 1853 г., обдумывая «Отрочество», Толстой сделал в дневнике запись, в которой мог отразиться и опыт затянувшейся работы над «Романом русского помещика»: «Как во всей жизни, так и в сочинении, прошедшее обуславливает будущее – запущенное сочинение трудно продолжать с увлечением и, следовательно, – хорошо».

Размышления над принципами изображения народа в записи от 26 октября также могут иметь отношение к замыслу «Романа русского помещика»: «Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное. Оно есть в нем, но лучше бы говорить про него (как про мертвого) одно хорошее. Это достоинство Тургенева и недостаток Григоровича и его “Рыбаков”. Кого могут занять пороки этого жалкого и достойного класса? В нем больше добро, чем дурного; поэтому естественнее и благороднее искать причины первого, чем второго».

О том, что Толстой не оставил мысль о романе, говорит и запись в дневнике 1 ноября: «Бывают лица, к числу которых принадлежит и мое и каким я хочу выставить героя “Романа русского помещика”, которые чувствуют, что они должны казаться гордыми, и чем более стараются выказать на своем лице выражение равнодушия, тем более кажутся надменными». О стремлении продолжать роман свидетельствует также запись Толстого в тетради «Правила и предположения» (декабрь 1853 – январь 1854 г.): «9) Написать “Роман русского по-

¹ Переписка Л.Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990. С. 137.

мещика»». Скорее всего к этому произведению относятся и записи в дневнике 2 и 3 декабря: «Я решил, окончив “Отрочество”, писать теперь небольшие рассказы (...) Кроме того, по вечерам буду письменно составлять план большого романа и набрасывать некоторые сцены из него» (2 декабря); «У меня есть большой недостаток – неумение просто и легко рассказывать обстоятельства романа, связывающие поэтические сцены» (3 декабря).

20 декабря в дневнике появилась запись, обозначившая начало нового этапа работы над «Романом русского помещика»: «Одно, чем, как мне кажется, вознаградилось месячное бездействие, в котором я нахожусь, это – тем, что план “Р(омана) р(усского) п(омещика)” ясно обозначился. Прежде предугадывая богатство содержания и красоту мысли, я писал наудачу. Не знал, что выбирать из толпы мыслей и картин, относящихся к этому предмету». 22 декабря этот план был перенесен на бумагу. «Утром писал предисловие романа», – отметил Толстой в дневнике. Речь идет о сохранившейся небольшой рукописи под названием «Предисловие не для читателя, а для автора»¹. В ней Толстой излагал цель своего произведения, его главную мысль, обосновывал деление романа на три части, дал список действующих лиц и намечал содержание первых глав, совпадающее в основных чертах с уже написанным.

28 декабря Толстой приступил к работе над текстом: «Нынче писал утром “Роман русского помещика”, хотя и мало, но хорошо...» В следующие два дня работа была продолжена. 31 декабря в дневнике записано: «Вчера. Писал утром “Р(оман) р(усского) п(омещика)” (...) Нынче писал утром “Р(оман) р(усского) п(омещика)” (...) Манера, принятая мною с самого начала, – писать маленькими главами – самая удобная. Каждая глава должна выражать одну только мысль или одно только чувство». Так началась работа над второй редакцией. Толстой не стал продолжать уже существующий текст, а начал писать заново.

За эти дни написаны две главы второй редакции – «Деревенская церковь» и «Князь Дмитрий». Вторая глава первоначально называлась «Молодой князь» и начиналась словами «Молодой князь стоял совершенно прямо...» Затем эта часть текста отошла к первой главе, и начало второй главы было перенесено далее. Записи со 2 по 5 января 1854 г. дают конкретные сведения о продвижении работы над текстом: «Встал не рано, писал целое утро 3-ью главу “Его прошедшее”, кажется, хорошо, по крайней мере, писал с увлечением. Имел глупость после обеда позвать к себе Жукевича, который часа 2 мешал мне. Опять писал часов до 10. Работа идет очень хорошо» (2 января); «Предположено было *писать утром “Р(оман) р(усского) п(омещика)”*, что и исполнил, хотя мало» (3 января); «Предположено было утром писать “Р(оман) р(усского) п(омещика)” (...) Все утро писал “Р(оман) р(усского) п(омещика)”, но так мало и неудовлетворительно, что продолжал с сумерек до ужина, но только сделал вымарки. (...) Разговор с Во(е)йковым не дается мне» (4 января); «*Утром писать “Р(оман) р(усского) п(омещика)”*. Не только утро, но и после обеда усердно бился над 4 главой и только при огне написал ее, хотя и не остался совершенно доволен» (5 января).

Кроме того, запись 3 января содержит замечание к «Роману русского помещика», перекликающееся с предпоследним абзацем «Предисловия не для читателя, а для автора»: «Добрая любящая женщина старого века, не понимая немного насмешливого взгляда молодежи на чувства, боится потерять их любовь и оскорбляется их холодностью». О принадлежности этого замечания, как и замечания 6 января («Бесстрашие, т. е. всегда одинаковый, хладнокровный взгляд,

¹ Полностью печатается в т. 20 второй серии издания.

составляет мудрость стариков», к «Роману русского помещика» в дневнике сделаны отметки самим Толстым (в резюме дня).

Последняя запись, дающая представление о том, над какой частью текста «Романа русского помещика» работал в это время Толстой, относится к 6 января: «Утром Р(оман) р(усского) п(омещика). Выписывал утром из старой тетради пятую главу Иван Чурис, но под предлогом холода ленился». Далее следуют лишь несколько глухих упоминаний.

8 января: «Утром Р(оман) р(усского) п(омещика). Писанье не шло как-то. Нужно следовать пр(авилу) исключать, не прибавляя». В «Отступлениях» этого дня сказано: «Беспорядочно писал Р(оман) р(усского) п(омещика)».

11 января: «Утром – Р(оман) р(усского) п(омещика). Встал очень поздно и от холода ничего не мог делать».

12 января: «Утром гулять и роман Русского помещика. Встал очень поздно. Пригрелся – почти угорел против печки (...) После обеда. Мысли и правила. Придя домой, лег на кровать и заснул. Проснувшись, открыл тетрадь и обдумал, но не написал основную мысль».

16 января в дневнике записано «Замечание» к роману – о зимней погоде: «Меня поразила нынче поэтической красотой зимняя погода. На небе поднявшийся туман, сквозь который только белеется солнышко. На дороге начинающий оттаивать навоз, и в воздухе влажная сырость».

Работа над второй редакцией романа на этом оборвалась.

Хотя никаких указаний на это в дневнике нет, анализ рукописи первой редакции показывает, что до того, как начать совершенно новый текст второй редакции, Толстой пытался переработать текст первой редакции. По-видимому, работа эта была проделана до 28 декабря 1853 г., так как с этого числа Толстой отмечает в дневнике этапы писания новых глав, ничего не говоря о переделке старых. И так до главы о Чурисе.

К этому времени, когда была остановлена переделка первой редакции и начато писание второй с частичным использованием текста первой, относится, вероятно, появление надписей на обложках двух тетрадей. На тетради с первой редакцией Толстой написал: «Черновой Ром(ана) Р(усского) П(омещика)» (имея в виду черновой вариант), а на тетради со второй редакцией – «Переписанный Ром(ан) Рус(ского) Помещика». Вторая надпись могла быть сделана только до того, как работа над второй редакцией остановилась.

В рукописи первой редакции четко выделяются исправления, сделанные более яркими чернилами, а иногда и более крупным или более мелким почерком по сравнению с основным текстом, что говорит о их позднейшем происхождении. Смысл этой правки также подтверждает, что мы имеем дело с попыткой Толстого переработать текст в связи с изменившимся замыслом. В это время Толстой изменил имя и фамилию главного героя (Николенька Иртенев стал Дмитрием Нехлюдовым), разбил текст на главы. В первой редакции первоначально была выделена только «Глава 1. Обедня». Толстой давал главам лишь названия, не обозначая номера. Исключение составляет «Глава 7. Его изба». Однако по порядку она должна иметь восьмой номер. Название главы «Иван Чурис» сначала было поставлено перед фразой «Иван Чурис просил сошек», но потом перенесено выше на один абзац.

Исправление имени Николай на Дмитрий не было последовательно проведено Толстым по всему тексту первой редакции, отсюда разноречивость в имени героя в последнем слое рукописи, который воспроизводится в данном томе. То же с названием имени князя: оно называется то Хабаровка, то Красные Горки, а сам князь то хабаровским, то красногорским помещиком. Во вновь образован-

ной главе «Умный человек» имя стряпчего Василия Федоровича везде заменено на «Умнейший человек».

Кое-где была проведена небольшая стилистическая правка: заменены одно или несколько слов, добавлена или вычеркнута часть фразы. Так, в это время появилось определение «смазливая» в отношении барыни Михайловой, «пестрый» о жилете и «очень пестрый» о шарфе ее мужа. В начале главы «Шкалик» вместо «Сойдя с паперти, Николенька набожно перекрестился» стало: «Отходя от церкви, Дмитрий еще раз набожно перекрестился». В главе «Умный человек» добавлено несколько слов («он», «не», «и», «одним словом», «князем», «кроме», «так и быть») и две фразы: «Шкалик достал от конторщика черное прошение» и «“Так точно”, – отвечал Шкалик».

Большая часть правки приходится на главу о Чурисе. При работе над второй редакцией написаны фразы: «Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня»; «И делать что, не знаю»; «Так на что же тебе 5 сошек? Когда один сарай уж завалился и другой скоро завалится. Тут нужны не сошки, а стропила, переметы, столбы. Чурисенок молчал»; «Так уж ежели делать, так делать все заново, чтобы не даром работа пропадала. Ты скажи мне верно: может твой двор простоять зиму или нет?»; «Ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор перестроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе». Вычеркнута фраза: «Двор-то зиму и простоит». После слов «Как убила?» вычеркнуто «До смерти?». К описанию суздальских картинок в избе Чуриса добавлено «истыканных тараканами». О Чурисе сказано: «он не был приучен к такой щедрости» (в окончательный текст не вошло). Вместо «“Посмотрим твою избу”, – сказал князь, входя в нее» стало: «Князь вошел в избу».

Отказавшись от мысли о перделке написанного, Толстой начал новый текст. По содержанию с текстом первой редакции совпадает только первая глава, получившая, однако, другое название – «Деревенская церковь» – и значительно переработанная. Первая глава второй редакции на четверть объема короче, но сокращение не было механическим: одни описания заменялись другими. Кроме имени главного героя, изменены имена эпизодических лиц (бывшего княжеского дворецкого, отставного священника). Герой второго плана Михаил Иванович Михайлов во второй редакции стал называться телятинским помещиком Александром Сергеевичем Облесковым.

Начиная со второй главы намечаются коренные расхождения в развитии сюжета. В первой редакции посещение князем церкви заканчивалось встречей со Шкаликом и попыткой довести до конца его примирение с крестьянином Болхиным. Во второй редакции за первой главой следует предыстория героя. Ей посвящены две из четырех написанных заново глав: глава 2-я «Князь Дмитрий» и глава 3-я «Его прошедшее». Судя по записи в дневнике от 2 января 1854 г. Толстой работал над 3-й главой «с увлечением» и остался ею доволен. Труднее давалась ему 4-я глава – «Ближайший сосед» – разговор Дмитрия с помещиком Александром Сергеевичем Облесковым, названным в дневнике Воейковым, по-видимому, по фамилии прототипа. Эта фамилия трижды фигурирует в «Предисловии не для читателя, а для автора» – дважды в списке персонажей: «(6) Предст(авитель) корысти помещик Тартюф (Воейков)»; «(8) Предст(авитель) страстей деревенский (Воейков)» и один раз в плане содержания: «Обедня в Троицын день. Знакомство с Воейков(ым)». В «Предисловии» в отношении этого персонажа заметны колебания. Первоначально Толстой собирался описать знакомство Дмитрия с «представителем тщеславия помещиком Озеровым В.И.», числящимся в списке под четвертым номером. Вариант этого персонажа фигурирует в первой главе первой редакции под именем Михаила Ивановича Михайлова.

О напряженной работе над 4-й главой свидетельствует не только большая правка в рукописи, но и отдельно сохранившийся отрывок без начала – еще один вариант разговора Дмитрия с Александром Сергеевичем с очень значительными исправлениями (см. т. 20 второй серии издания).

Закончив 4-ю главу, Толстой сделал попытку объединения двух редакций. Запись в дневнике от 6 января 1854 г.: «Выписывал утром из старой тетради 5 главу “Ивана Чуриса”» – говорит о том, что в качестве 5-й главы он решил взять главу из первой редакции под названием «Иван Чурис» (она выпала из нумерации, по порядку идет седьмой между главами «Размышления князя» и «Его изба», которая Толстым обозначена как 7-я). Текст этой главы, которой Толстой присвоил не пятый, а шестой номер и которую назвал сначала «Иван Чурис и его хозяйство», а потом «Двор Ивана Чуриса», идет в рукописи непосредственно за текстом четвертой главы и отделен от него линейкой. Действие в 6-й главе начинается с того момента, как Дмитрий расстался с соседом Александром Сергеевичем в конце 4-й главы. По-видимому, Толстой хотел объединить главы «Иван Чурис» и «Его изба» первой редакции в одну главу и начал их переработку. Об этом говорит, в частности, переименование героя из Николеньки в Дмитрия. В предыдущей главе «Размышления князя» и в последней главе первой части «Юхванка Мудреный» этих исправлений нет совсем. Таким образом, во второй редакции работа остановилась на главе о Чурисе.

Переписывая и сокращая 1-ю главу, Толстой проводил большую стилистическую правку, особенно тщательно подбирая детали психологических портретов, но в конце концов от них отказываясь. Прежде чем охарактеризовать жену Облескова просто как «женщину с добрым выражением лица», он перебрал несколько вариантов: «женщина с добрым и приятным выражением лица, ежели бы к нему не присоединялось выражение какой-то беспомощности и апатии»; «женщина с добрым и приятным выражением лица, ежели бы к нему не присоединялось выражение какой-то апатии и безмысленности»; «женщина с добрым, но каким-то страдальчески-безумным выражением бледного лица». То же и с описанием внешности самого Облескова. Вот как шла работа над двумя деталями его лица, которые в результате стали выглядеть как «высокий, гладкий и широкий лоб, небольшой правильный нос с крепкими ноздрями»: «высокий, гладкий и широкий лоб, небольшой крепкий нос с правильными ноздрями, немного не соответствующий широкому красному лицу»; «высокий, гладкий и широкий лоб, обещающий ум и решительность, небольшой острый носик, немного не соответствующий широкому красному лицу, но выражающий понятливость и ум»; «высокий, гладкий и широкий лоб, обещающий хладнокровие и рассудительность, небольшой правильный нос с крепкими ноздрями, немного не соответствующий широкому красному лицу, но выражающий понятливость и остроумие».

Вообще, в отличие от первой редакции, правка в первой главе второй редакции вела не к расширению, а к сокращению текста. Вычеркивались целые фразы. Так, после фразы «Отец Поликарп ожидал молодого красногорского помещика – князя Нехлюдова» вычеркнуто: «Он привык ожидать его батюшку и еще старого князя и княгиню, поэтому не мог допустить, чтобы красногорский помещик, самый значительный помещик в его приходе, мог дожидаться или опоздать».

Обращение во 2-й главе «Князь Дмитрий» и в 3-й «Его прошедшее» к предыстории героя привело к значительному усилению автобиографического элемента по сравнению с текстом первой редакции. Как и в семье Толстых, в семье Нехлюдовых после смерти родителей остаются сиротами несколько братьев

(четверо у Толстых, трое у Нехлюдовых) и младшая сестра. Их воспитание берет на себя родственница, с которой Дмитрий сохраняет теплые отношения, став самостоятельным. Ее прототипом могла послужить Т.А. Ергольская. Как и сам Толстой, его герой оставляет учебу в университете. Сближает их и стремление наладить жизнь крестьян, что, впрочем, составляло основное содержание и первой редакции романа.

Самой большой правке подверглась четвертая, незаконченная глава «Ближайший сосед» (см. варианты в т. 20 второй серии издания).

Толстой не возвращался к оставленной рукописи почти три года – с января 1854 г. до ноября 1856 г., лишь изредка делая записи, касающиеся замысла романа. 23 июня 1854 г. он отмечает в дневнике: «Все еще не знаю, за что приняться, и поэтому ничего не делаю. Кажется, что лучше всего работать за романом “Р(усского) п(омещика)”». На следующий день 24 июня: «С утра сел за работу; но ничего не сделал...»

Обращает на себя внимание запись в дневнике в начале августа 1855 г., предположительно 1-го или 2-го: «Сегодня, разговаривая с Стол(ыпиним) о рабстве в России, мне еще ясней, чем прежде, пришла мысль сделать мои 4 эпохи истории Русского помещика, и сам я буду этим героем в Хабаровке. Главная мысль романа должна быть невозможность жизни правильной помещика образован(ного) нашего века с рабством. Все нищеты его должны быть выставлены, и средства исправить указаны». Эта запись содержит много ценных сведений о замысле и основной идее произведения. Она подтверждает его автобиографическую основу и переключку с замыслом «Четырех эпох развития». В «Романе русского помещика» воплощался материал, связанный с ненаписанной четвертой частью – «Молодость».

Толчком к продолжению работы над рукописью чуть было не стало знакомство Толстого в Петербурге 24 ноября 1855 г. с редактором-издателем «Отечественных записок» А.А. Краевским, которому он обещал отдать в журнал «Роман русского помещика». В начале декабря Толстой читал Тургеневу и его друзьям «некоторые отрывки из новых своих вещей – превосходные» (письмо И.С. Тургенева М.Н. и В.П. Толстым 8 декабря 1855 г. – *Тургенев. Сочинения*, т. 3, с. 71). Возможно, среди них был и «Роман русского помещика». Однако в это время Толстой не вернулся к работе над романом и 31 декабря 1855 г. написал Краевскому: «Я немного увлекся желанием сделать Вам приятное, Милостивый Государь Андрей Александрович, сказав в последний раз, что я был у Вас, что я обещаю в Ваш журнал и в нынешнем году “Роман русского пом(ещика)”. Роман этот еще далеко не кончен и не отделан; поэтому ежели Вы будете в числе Ваших сотрудников поминать меня, то, пожалуйста, не называйте, именно что я обещал. В том же, что к февралю или марту я непременно доставлю Вам статью, Вы можете быть уверены». Возможно, Толстой надеялся вместо «Романа русского помещика» представить Краевскому какое-нибудь другое свое произведение.

Мысли о продолжении романа Толстой не оставил, о чем свидетельствуют записи в дневнике 1856 г.: «Передумал кое-что делню из романа помещика. Кажется, я за него примусь» (8 июня) и «Все обдумывается роман помещика» (9 июня). В это же время в Записной книжке появляются записи, одна из которых прямо относится к «Роману русского помещика», а другие могут восприниматься как «заготовки» к нему:

«9 июня.

Помещик хочет найти в девушке, к(оторая) ему нравится, опору в своих честных планах, она, как будто, извиняет ему эту слабость ума и сердца за его другие хорошие качества.

Дворовая старушка в догонку целует в задницу. Старик садовник, прелестная седая личность, падает в ноги, прося прощенья за воровство, о к(отором) помещик и не знает.

Для меня важный физиономический признак спина и, главное, связь ее с шеей; нигде столько не увидишь неуверенность в себе и подделку чувства. {...}

З.г.щ. и к. (Р(асстроенный) х(озяйством) п(омещик) в л(есу) (п(од) д(еревом)), в к(отором) ш(ла) к(рестьянская) д(евушка), к(расивый?) р(от?), ор(обе-ла), испугалась), с робкой, обворож(ительной) улыб(кой) бле(днееет).

К “Р(оману) р(усского) п(омещика)”. Как ему сначала все показалось трудно, потом немного омерзительно, потом приятно, легко вследствие будто одолженных трудностей, а потом невозможно».

Запись от 12 июня расшифровывает одну из записей 9 июня:

«Расстроенный неудачами, гадостями в деле хозяйства, молодой помещик идет без цели бродить по лесу. День прелестный. Вдруг слышит, хрустит в кусте и белеется. “Кто там?” Молчат. Он открыл куст, там крест(ьянская) прелестная девушка, со слезами от страха на глазах, стоит, не двигается и пробует улыбаться. М(олодой) п(омещик) невольно хочет подойти, дев(ушка) бежит. “Куда? Чего боишься?” Он бежит за ней как будто с досадой: “все равно поймаю”. Он поймал ее».

На этом заканчивается творческая история незавершенного произведения «Роман русского помещика». Следующий этап работы над оставленной рукописью – это уже история создания в ноябре 1856 г. повести «Утро помещика», отданной в «Отечественные записки». Однако и после опубликования этого рассказа Толстой еще в течение некоторого времени продолжал думать о неосуществленном замысле романа. Будучи за границей, Толстой отметил в Записной книжке 4 (16) мая 1857 г.: «Никакая мне мысль столько не улыбалась, как роман русской помещичьей жизни». Эта запись, возможно, не имеет непосредственного отношения к «Роману русского помещика», она может относиться и к замыслу «Отъезжего поля», который также не был полностью осуществлен. Но в двух других записях – от 12 (24) мая и от 8 августа 1857 г. «Роман русского помещика» прямо назван: «К Р(оману) р(усского) п(омещика): чтоб старик разорился» (12 (24) мая); «Р(оман) р(усского) п(омещика). Жалко облиберализовать Сережу» (8 августа). Автор примечаний к Записным книжкам 1857 г. В.Ф. Саводник полагал, что в последнем случае речь идет о брате Толстого Сергее Николаевиче и о его использовании в романе в качестве прототипа (Юб., т., 47, с. 548).

В этот же день 8 августа была сделана еще одна запись: «К Р(оману) р(усского) п(омещика). От скуки однообразия думал. Вот прибежит челов(ек), что выскочил из земли такой».

С. 261. ...в гумённик подпорки поставить... – Гумённик – крытый ток, место, где хранят хлеб в скирдах и молотят.

С. 263. ...верно уж к достойной? – Речь идет о самом важном моменте литургии, когда освящаются дары – вино и хлеб. Хор поет: «Достойно и праведно есть поклоняться Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней».

С. 265. ...корчемством... – От «корчемничать, корчемствовать» – промышлять провозом и продажей запрещенных напитков, когда торговля ими идет от казны или от откупа.

...у гуртовщиков... – Гуртовщик – хозяин гурта, стада скота, предназначенного на продажу или на убой.

...за осьмину четверть... – Осьмина – старая русская мера сыпучих тел, равная половине четверти, которая, в свою очередь, означала четверть кади, т. е. огромной мерной кадушки.

С. 266. ...и донское пивал... – Донское – шипучее вино, изготавливаемое на Дону и Северном Кавказе.

С. 269. ...коряжник... – Коряжник – кустарник и мелкий лес, кора которого идет на дубление.

...слега... – Жердь, которую кладут поперек стропил под солому, дрань или тес, когда делают кровлю.

С. 270. ...заезжали на конную... – Имеется в виду конная площадь, базар, торг, рынок, где продаются лошади.

С. 276. ...в его кармазинном кармане... – Кармане из ярко-алого сукна.

С. 278. ...просил сошек... – Сошка – подпорка, подставка.

...плетеная клеть – Клеть – холодная половина избы, ход в которую идет через сени.

С. 280. ...и откосы... – Откосы, откоски – у крестьянских изб две доски, пришиваемые с лица избы к крайним слегам, к стропилам крыши.

С. 281. ...накатина с потолка... – Накатина – одна слега или доска из наката. Накат настилается сверх балок, потолок подшивается под них.

С. 282. ...несколько суздальских картинок... – Лубочных картинок.

...светец... – Устройство для втыкания горящей лучины в виде треножника.

С. 285. ...клевушки... – Искаженное от «хлевушка» – сарай, крытый загон для скота.

С. 286. ...которые позаказали, которые попридрали. – Заказать – запретить пользоваться, сделать заказник. Придрать – прирезать, присоединить.

С. 287. ...земский приходил... – Земский – старший писарь при вотчинной конторе или при бурмистре.

С. 290. ...из барского заказа... – Из леса-заказника.

...шитой на шею и рукавах занавеске... – Занавеска – длинный женский передник с лифом, а иногда и с рукавами.

С. 291. ...на миткалевую фабрику – На фабрику по производству миткаля – набивного ситца.

...взошла на сходцы... – Сходцы – лесенка.

С. 292. ...зипун... – Верхняя крестьянская одежда из домотканого сукна.

С. 294. ...чашки полные... – Чашки – лунки на конских зубах, по которым узнается возраст.

...ведь такой смоляной зуб бывает... – Смоляной зуб у лошади удерживает чашку от разрушения дольше обычного и, таким образом, скрывает подлинный возраст лошади.

С. 295. ...деPOSITку в три рубля... – Депозитка, или депозитный билет – бумажные деньги в виде расписок от государственного казначейства за внесенную монету.

С. 299. ...зверь ай... – Ленивец, млекопитающее, которое водится в тропических лесах Южной и Центральной Америки.

С. 300. ...кто под него вспахал, заскородил... – Заскородить – забороновать пашню.

С. 301. ...гладух какой! – В.И. Даль дает это слово только в женском роде: гладуха – толстуха, дебелая баба.

С. 306. ...под новую троечную телегу. – Троечная телега – телега под тройку лошадей.

С. 307. ...по кривым вощинам. – Вощина – сотовый воск, ячейки без меда, сухие соты.

С. 308. ...спокойная сносность... – В.И. Даль дает другие варианты этого существительного: сносливость, сносчивость. Образовано от прилагательного «сносливый» – крепкий, сильный, терпеливый, много выносящий, привычный к работе, лишениям.

С. 309. ...получить билет... – Документ, с которым крестьянин мог покидать свое постоянное место жительства, не считаясь беглым.

С. 310. ...начал модулировать... – Переходить из тона в тон.

С. 311. ...скидает армяк... – Армяк – повседневная верхняя крестьянская одежда без застежек, из грубой дмотканой ткани. Надевался в дорогу поверх одежды для защиты от плохой погоды.

...идет сорвать коуху... – Коуха – мера жидкости, шкалик, четверть штофа или полбутылки.

С. 312. ...в триповом пальто... – В пальто из трипа, шерстяного бархата.

С. 314. ...шуточек над Кастором и Полюксом... – Кастор и Полидевк (лат. Поллукс) – в греческой мифологии героини-близнецы, известные под именем диоскуров.

Старый ломберный штучный стол... – Ломберный стол – четырехугольный стол, обтянутый сукном, по большей части складной, для игры в карты (от названия карточной игры испанского происхождения – ломбер). Штучный – составленный из частей, наборный.

...с желобками для бостонных марок... – Бостон – род карточной игры. Марка-фишка, жетончик, по которому производится последующая оплата.

...камчатная скатерть... – Сделанная из льняной ткани камчатка, идущая на столовое белье.

С. 315. Мундир с синим воротником... – Студенческая форма.

Шпанская мушка – нарывный пластырь, приготовляемый из испанской мухи-жучка *Lytta vesicatoria*.

ДНЕВНИК ПОМЕЩИКА

Впервые: «Черновое письмо гр. Блудову», входящее в «Дневник помещика», – во вступительной статье М.А. Цявловского: *Толстой Л.Н. Избранные произведения*. М.; Л. 1927. С. 11–13. Затем по автографу: *Юб.*, т. 5. С. 249–258.

Рукописный фонд составляет 12 листов.

Печатается по автографу.

Толстой писал «Дневник помещика» с 28 мая по 10 июня 1856 г. Сквозным сюжетом «Дневника» стала предпринятая писателем в эти дни попытка освобождения яснополянских крестьян от крепостной зависимости. Толстой подробно фиксировал здесь основные этапы своих переговоров с крестьянами. Одновременно он кратко отмечал те же события на страницах «большого» дневника. 28 мая, по приезде из Москвы в Ясную Поляну, Толстой отметил в дневнике: «Нынче делаю сходку и говорю. Что Бог даст. Был на сходке. Дело идет хорошо. Мужики радостно понимают. И видят во мне афериста, потому верят. Я по счастью ничего слишком не соврал и говорил ясно (...) Написал страниц 5 дневника помещика». На другой день: «...пошел на сходку. Совсем было расстроилось, но теперь идет на лад». Затем 3 июня: «Вечером сходки не было.

Но узнал от Василья, что мужики подозревают обман, что в коронацию всем будет свобода, а я хочу их связать контрактом. Что это сделка, как он выразился». 4 июня: «Решил писать Дневник Помещика (...) пошел к мужикам. Не хотят свободу». 6 июня: «...целый день ничего не делал, исключая маленького, неловко написанного проэкта договора» (условия соглашения с яснополянскими крестьянами). 7 июня: «Вечером беседовал с некоторыми мужиками, и их упорство доводило меня до злобы, которую я с трудом мог удерживать». И наконец 10 июня: «Вечером была сходка. Окончательно отказались от подписки. Об оброке речь осенью».

Все эти события и разговоры вернули Толстого к замыслу «Романа русского помещика» (запись 8 июня), а 9 июня в той же тетради, где записывался «Дневник помещика», Толстой набросал черновик письма председателю департамента законов Государственного совета Д.Н. Блудову. Письмо отправлено не было и, скорее всего, являлось составной частью текста «Дневника помещика»; в автографе озаглавлено Толстым: «Черн. письмо гр. Блудову».

С Д.Н. Блудовым и его семьей Толстой был знаком и 20 апреля 1856 г. в их петербургском доме читал только что оконченную повесть «Два гусара». Спустя два дня в дневнике появилась запись: «Мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня». Тогда же в Петербурге Толстой виделся с другими деятелями предстоящей крестьянской реформы: посетил К.Д. Кавелина и слушал его «прелестный проект», Н.А. Милютину, который, по словам писателя, объяснил ему многое; намеревался обратиться к министру внутренних дел С.С. Ланскому (сохранился черновик отношения); составлял докладную записку на имя товарища министра внутренних дел А.И. Левшина, который докладывал о ней министру. К этому времени относятся и другие заметки Толстого, связанные с его проектами освобождения крестьян.

Уникальные сведения о крестьянах Ясной Поляны, упоминаемых в «Дневнике помещика», в свое время предоставил комментатору Юбилейного издания сын писателя С.Л. Толстой, который помнил многих яснополянских старожилов и знал их потомков:

«Староста Василий – это Василий Ермилин Зябрев, бывший одно время бурмистром, а впоследствии волостным старшиной; он принадлежал к одному из наиболее зажиточных и уважаемых семейств среди яснополянских крестьян; у отца его, Ермилы Зябрева, было три сына, рослых и сильных (из них Тит был настоящий красавец), которые долго не разделялись и жили в согласии и довольстве; возможно, что именно эту семью имел в виду Толстой при изображении семьи Дутловых в “Утре помещика”».

Осип Наумов – зажиточный крестьянин-пасечник, муж кормилицы Толстого; одно время он также был бурмистром в Ясной Поляне; он дожил до глубокой старости; Толстой иногда захаживал к нему и ценил его умную беседу. Сын его Петр (может быть, ученик Толстого) был хорошо грамотен, любил читать и сам собрал небольшую библиотечку; он отличался скептическим и материалистическим складом ума.

Резун, плотник – по-видимому, Сергей Резунов, бойкий и самостоятельный мужик, с задорным характером, отличавшим также и его сыновей; из них один, Семен, ученик Толстого, впоследствии в драке сломал руку своему отцу.

Владимир Фоканов; его сын Семен был сельским старостой.

Яков – вероятно, сын Андрея Ильича Фролкова, бывшего долгое время бурмистром в Ясной Поляне.

Матвей Егоров; его племянник, Филипп Егоров, был кучером у Толстых и одно время управляющим Ясной Поляны.

Мороз – очевидно, кто-либо из числа Морозовых; но эту фамилию в Ясной Поляне носят несколько семейств» (*Юб.*, т. 5, с. 345–346).

С. 329. *Казакин* – старинное мужское верхнее платье в виде короткого кафтана на крючках, со сборками сзади.

С. 333. *...на Грумах...* – Грумы (Грумонт) – хутор в 3 километрах от Ясной Поляны. В позднейших «Воспоминаниях» Толстой писал: «Так названо это место дедом, бывшим воеводой в Архангельске, где есть остров Грумонт». Грумонт – древнерусское название Шпицбергена. Н.С.Волконский был архангельским генерал-губернатором при императоре Павле I.

...не может раньше выкупа из Совета, 24 лет. – Ясная Поляна состояла в залоге в Московском опекуном совете на сумму около 20 000 рублей.

С. 335. *...законам о вольных хлебопашцах и обязанных крестьянах...* – Имеются в виду «Указ об отпуске помещиком своих крестьян на волю по заключении условий, на обоюдном согласии основанных» от 20 февраля 1803 г., более известный как Указ о свободных хлебопашцах, и «Указ о предоставлении помещикам заключать с крестьянами договоры на отдачу им участков земли в пользование за условленные повинности, с принятием крестьянами, заключившими договор, названия обязанных крестьян» от 2 апреля 1842 г., известный как Указ об обязанных крестьянах.

Г-н министр передал мне словесно чрез своего товарища... – Имеются в виду министр внутренних дел С.С. Ланской и товарищ министра внутренних дел А.И. Левшин.

С. 336. *...в коронацию...* – Коронация императора Александра II состоялась в Москве 26 августа 1856 г.

Инвентари – Так назывались документы, которые согласно Указу от 2 апреля 1842 г. (см. выше) должны были определять собственность обязанного крестьянина и его повинности по отношению к помещику.

С. 337. *...пролетариат... не сказал свое последнее слово... к миру и свободе* – По мнению Н.Н. Гусева, здесь различим неясный отголосок идей «Коммунистического манифеста», возможно возникший у Толстого под влиянием бесед с П.В. Анненковым, который был знаком с К. Марксом и переписывался с ним (См.: *Гусев, II*, с. 55–56).

С. 337. *...слова государя, сказанные в Москве.* – Имеется в виду обращение Александра II к депутации московского дворянства 30 марта 1856 г., где впервые было публично объявлено о необходимости приступить к решению крестьянского вопроса. Слова императора в различном, но близком по смыслу изложении неоднократно передавались современниками. Так, сенатор Я.А. Соловьев приводил следующее его высказывание: «Я узнал, что между вами разнеслись слухи о намерении моем уничтожить крепостное право. В отвращение разных неосновательных толкований по предмету столь важному, считаю нужным объявить всем вам, что я не имею намерения сделать это сейчас, но, конечно, и сами вы понимаете, что существующий порядок *владения душами* не может оставаться неизменным. Лучше начать уничтожать крепостное право *сверху*, нежели дожидаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться *снизу*. Прошу вас обдумать, как бы удобнее привести все это в исполнение» (*Соловьев Я.А.* Записки о крестьянском деле в царствование Александра II // *Русская старина*. 1881. Т. 30. № 1–2. С. 228–229). 9 апреля в ответ на запрос товарища министра внутренних дел А.И. Левшина, который в связи с речью государя в Москве просил высочайших указаний по крестьянскому вопросу, Александр II объявил ему о необходимости наряду с конкретными действиями систематически и осторожно заниматься общим планом освобождения крепостных.

〈ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ〉

Впервые: *Юб.*, т. 5, с. 185–191.

Рукописный фонд составляет 4 листа.

Печатается по автографу.

16 июля 1856 г. в дневнике Толстого отмечено: «Придумал фантастический рассказ».

Возможно, замысел фантастического рассказа как-то связан с замыслом «Дневника офицера», относящимся к 1855 г. (см. «Отрывок из дневника штабс-капитана А. пехотного Л.Л. полка» – настоящее издание, «Художественные произведения», т. 2, с. 238).

Воспоминания и впечатления военной жизни, органично соединенные в рассказе с мечтаниями о семейном счастье, оживила встреча Толстого с братом Сергеем Николаевичем. Стрелковый императорский полк, в котором служил С.Н. Толстой, в июле 1856 г. был на возвратном пути из Одессы в Москву для участия в праздновании коронации императора Александра II. В городах полк торжественно встречали обедами и балами.

6 июля Толстой навестил брата в Мценске, отметив в дневнике: «Его застал у Волкова и офицеров. (...) Потом пошли к Волкову опять». Флигель-адъютант Петр Николаевич Волков, впоследствии генерал-адъютант, был хорошо знаком Толстому по Севастопольской кампании, их связывали общие воспоминания о позиции на реке Бельбек. Герой фантастического рассказа майор Вереин также назван Петром Николаевичем. 9 июля 1856 г. Толстой отметил в записной книжке: «Есть чудная прелесть в красивом, большом, молодом военном гуляке с песенниками». Эти впечатления воплотились в наброске фантастического рассказа.

За несколько дней братья Толстые посетили Тургенева в Спасском-Лутовинове, заехали в Покровское к М.Н. Толстой и расстались в Черни. В дневнике Толстого мелькают записи: «Поехали в ночь», «Дорогой испытал религиозное чувство до слез», «Всю ночь ехал», «Приехал поздно», «Дождь».

Тогда же, в июле, в записную книжку внесены детали для будущего рассказа: «Мимо сосны дождик мелкий, как туман»; «Дерево в яме качается».

17 июля дневниковая запись: «Были стрелки. Я сделал-таки глупость дать им шампанского».

И далее:

«18 июля. Писал немного фантастический рассказ и целый день дома.

19 июля. Писал фантастический рассказ немного, теперь 1, еду к Арсеньевым».

Начинается «фантастический рассказ» с картины дождливой июльской ночи под Севастополем в 1855 г., «в самое жаркое время Крымской кампании». Герой рассказа майор Петр Николаевич Вереин возвращается с полкового праздника к себе в лагерь, «голова у него не кружилась, но отяжелела и глаза слипались». Далее – описание внешности и душевного состояния Вереина, обстоятельств его жизни, военной службы и, наконец, самого праздника у генерала, «гусара старого времени».

«Покуда я рассказывал его характер и проведенный день, он уже подъезжал», – так, судя по всему, Толстой намеревался перейти ко второй части повествования, о семейном доме Вереина. Но, вычеркнув недописанную фразу, продолжил психологический портрет героя на фоне ночного крымского

пейзажа: воспоминания о карточной игре, нелепой пляске смешиваются с новыми, но «ужасно знакомыми» ощущениями родного гнезда; кусты с обеих сторон дороги вдруг оказываются аллеей, огни выстрелов Севастополя – освещенными окнами усадебного дома; даже лошадь стала другой: «В ней чувствительны были сила и игривость».

Новое композиционное решение вызвало еще одну правку. Толстой убрал из середины рассказа рассуждения Вереина об отставке и описание поэтической мечты героя «о семейном счастье, которую он ласкал и лелеял с необычайной нежностью». «Все время, свободное от службы в Крыму, он сидел один у себя в палатке с мрачайшей физиономией, курил трубку, смотрел в одно место и рисовал себе одну за другою картины семейного счастья – жена в белом капоте, дети прыгают перед балконом и рвут цветочки для папашы».

Теперь в финале фантастического рассказа мечта смешивалась с реальностью и воспоминаниями: «Он почувствовал себя дома и уже давно. Что-то прилило к сердцу – счастье».

Первый план повествования составляют внутренние переживания героя. В рукописи намечены разнообразные сюжетные повороты и добавления. Хотя не все они поддаются расшифровке, угадывается их автобиографическая природа.

Описание семейной идиллии в тексте рассказа подготовлено несколькими далекими воспоминаниями Вереина. По дороге в Инкерман он повторяет: «Хорошо у бабушки на свете жить» – фраза, «которая Бог знает почему уже давно пришла ему в голову, и которую он без всякой мысли умственно повторил уже раз триста». В саду под дождем, когда Вереин лег на траву, ему также вдруг «вспомнилось детство, семейство отца и старуха бабка».

Воспоминания самого Толстого о семье отца, овдовевшего, когда младшему сыну было два года, изложены им в черновых записках для П.И. Бирюкова, составлявшего в 1900-е годы «Биографию Л.Н. Толстого». Об отце там, в частности, говорилось: «Он переехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел и где уже на моей памяти жил с нами. (...) Самые же приятные мои воспоминания о нем – это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладывать пасьянс. Отец со всеми бывал учтив и ласков, но с бабушкой он был всегда как-то особенно ласково подобострастен» (*Бирюков*, с. 15, 16). Бабушка – П.Н. Толстая (урожд. кж. Горчакова, 1762–1838), первая опекуна внуков и крестная Толстого.

Когда в Ясной Поляне писался фантастический рассказ, Толстой отметил в записной книжке: «Вышел на балкон и подумал, что ежели бы дом цел, и там отец и бабушка» (июнь 1856 г.). Сказано как бы вскользь. Но за этим – внутренняя драма. В сентябре-октябре 1854 г. (с тех пор прошло всего два года) по поручению Толстого, находившегося тогда в действующей Дунайской армии, большой яснополянский дом, в котором родился писатель, был продан на своз. Письмо Толстого к родным от 21 марта 1854 г. об обстоятельствах крупного карточного долга не сохранилось, но в ответном – зятю В.П. Толстой, согласившись заняться продажей, писал: «Не стану распространяться насчет последней неприятности, тебя постигшей, ты, верно, сам мучаешься более нас».

Не приходится сомневаться, что отражение укоров совести, связанных с этой вынужденной продажей, есть в тексте фантастического рассказа. На майора Вереина воспоминания, предшествовавшие военной службе, тоже «как-то неприятно действовали» и «он бессознательно отгонял их», особенно после блестящего праздника у генерала, песенников, пляски и неудачной

карточной игры. Трижды возникающие в рассказе воспоминания выливаются в финальную полуфантастическую картину: «Они вошли в гостиную, на диване за картами сидела старушка мать Вереина, которая умерла тому назад лет 8 и теперь постарела очень. У окна сидел старший брат. Он читал вслух, подле него стоял кудрявый мальчишка». По тексту этой последней страницы рукописи начертано: «Узнает, продано именье».

Не исключено, что одним из сюжетных поворотов рассказа предполагалась гибель героя. К описанию возвращения Вереина в лагерь и фантастического преобразования пейзажа Толстой сделал помету: «Убьют опять, вот и все». И дальше: «Картина крымская». Вполне вероятно литературная параллель, которой, может быть, намеревался воспользоваться автор – строки из лермонтовского «Умиряющего гладиатора»:

Он видит круг семьи, оставленный для брани,
Отца, простершего немеющие длани...
Детей играющих, возлюбленных детей.

8 июня 1854 г. в Бухаресте, открыв для себя эту «поэтическую вещь», Толстой отметил в дневнике: «Эта предсмертная мечта о доме удивительно хороша».

В рукописи сохранились и другие свидетельства творческих намерений Толстого. На первой странице сверху карандашом: «Из Севастопольских, храбрых, честных». По всей видимости, раскрыть характер Вереина, русского офицера, сделалось главной задачей Толстого. По тексту отрывка, где говорится о многих прекрасных качествах и служебных успехах майора, – размашистая помета: «Что-то грызло его, какой-то червь». Офицеру Толстому самому было знакомо такое состояние. Судить об этом можно по дневниковой записи: «Чем выше я становлюсь в общественном мнении, тем ниже я становлюсь в собственном» (15 июня 1854 г.).

По тексту отрывка также добавлено: «Общество надоело, все знает». Запись относится к наброску главных военных воспоминаний Вереина: «...кутежи с товарищами, потом счастливая эпоха производства, поездки к помещикам и снова кутежи и манеж; потом отличие и усердие в службе и надежда на эскадрон и, наконец, осуществление этой надежды».

Расширить внутренний психологический план характеристики Вереина намечено на обороте л. 2 рукописи: «Он был набожен и суеверен». В.И. Срезневский, комментируя дневники писателя, внес уточнение: «Молитвенные и религиозные настроения всегда сопровождалась у Толстого размышлениями о цели и смысле жизни и работою, направленной на свое личное совершенствование» (Юб., 47, 258).

Продумывая и насыщая образ Вереина, Толстой также наметил дополнение к описанию праздника у генерала: «Он георгиевский кавалер, храбр и скоро пошел, но тут был еще храбрее».

Невозможно определить всех сослуживцев Толстого, изображенных в наброске фантастического рассказа. Но одна фамилия реального лица в рукописи сохранилась. На втором листе, по диагонали запись: «Адъютант хорош собой. Шубин отличился. Ну что же».

Поручик П.П. Шубин – сослуживец и товарищ Толстого по Дунайской армии и Севастополю. Вместе с Толстым был одним из инициаторов несостоявшегося журнала «Военный листок», участвовал в коллективном сочинении «Севастопольской песни». За храбрость и мужество в сражении при осаде Силистрии получил орден Св. Владимира. Состоял адъютантом начальника

артиллерии Южной армии генерал-лейтенанта А.О. Сержпутовского. Его имя нередко встречается в дневниковых записях Толстого 1854 г.

1 августа: «Много было интересного в нынешнем дне: И чтение денщиков, и rendez-vous в саду, и обман Шубина».

21 октября: «Дела в Севастополе всё висят на волоске. {...} Сталыпин, Сержпутовский, Шубин, Бабарыкин едут и уехали».

5 ноября: «...я разъехался с своими, Сержпутовским, Бабарыкиным и Шубиным. {...} Отъезд Шубина тревожит и злит меня. Мне не хочется перестать уважать этого мальчика».

Какой именно эпизод, связанный с Шубиным, Толстой намеревался описать в фантастическом рассказе, неизвестно.

Любовная линия в рассказе только намечена. «Воспоминания московские редко. Одна девушка, которую он любил, потому что случайно сошелся. Именье продал. Талант музыкальный». И далее, по тексту: «...он встал и пошел прочь от палаток в сад. В саду над канавкой он остановился, уперся головой об дуб и долго силой воли не мог остановить круженье головы» – написано: «Воспоминание о свидании, когда она замужем».

На лирический характер рассказа повлияли увлечение В.В. Арсеньевой и связанные с этим мысли о возможном браке. «Жениться – много надо переделывать; а мне еще над собой надо работать», – записал Толстой в дневнике 13 июля 1856 г.

Описание внутреннего переживания войны в сочетании с мечтой о тихой семейной жизни содержит ростки будущей философской антитезы войны и мира, широко развернутой в последующих произведениях Толстого.

С. 339. *Бельбек* – Река в Крыму, текущая параллельно Большой Севастопольской бухте. Во время Крымской войны на Бельбеке располагались значительные силы русской сухопутной армии. Толстой с перерывами провел здесь несколько месяцев.

Инкерман – Урочище при впадении Черной речки в Большую Севастопольскую бухту с развалинами древней крепости и остатками пещерного города. При Инкермане 24 октября 1854 г. произошло кровопролитное сражение, проигранное русскими войсками.

...задней ногой, в которой у нее был шпат... – Шпат – конская болезнь: лошадь на ходу судорожно дергает задними ногами.

С. 340. *...о китайских инсургентах...* – имеется в виду крестьянская война тайпинов против китайской династии Цин в 1850–1864 гг.

...с фелдфебелем... – Фельдфебель – старший унтер-офицер в роте.

С. 341. *...портер...* – Крепкое черное английское пиво.

За бланманже... – Бланманже – десерт из сливок, сахара и желатина.

С. 342. *Пропонтировал...* – (от фр. *pontier*) сыграл в банк.

...фуражира... – Фуражир – военнослужащий, в обязанности которого входила заготовка продовольствия и фуража, корма для лошадей.

ДВОРЯНСКОЕ СЕМЕЙСТВО

КОМЕДИЯ В 3-Х ДЕЙСТВИЯХ

Впервые: *Юб.*, т. 7, с. 152–163.

Рукописный фонд составляет 8 листов.

Печатается по автографу.

Первое упоминание о замысле комедии, пока еще без названия, в дневниковой записи Толстого 20 февраля 1856 г.: «Завтра работаю 6 часов и даю себе правило не засыпать без этого. Пишу прежде всего Епишку или Беглеца, потом комедию, потом Юность».

Есть основание предположить, что сделана она под впечатлением вечера, проведенного у И.С. Тургенева. В последующие дни Толстой за дневник не брался и только 12 марта отметил: «...нахожусь уже три недели в тумане <...> План комедии томит меня». 20 февраля (3 марта) у Тургенева в кругу литераторов Островский читал «сперва небольшую пьесу “Семейная картина”, а потом драму, тоже заимствованную из русских нравов и быта» (Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. Л., 1955–1956. Т. 1. С. 431). Несколькими днями ранее гости Тургенева слушали в великолепном авторском чтении первую комедию Островского «Свои люди – сочтемся».

Замысел комедии «Дворянское семейство» слагался постепенно. 4 июня, приехав в Ясную Поляну, Толстой в дневнике вновь отметил, что «решил писать» комедию наряду с «Дневником помещика» и «казаком» («Беглец», будущие « Казаки»).

10 июня в дневниковой записи уточнена тема комедии: «Гуляя по Заказу, кое-что придумал. Главное, что Юность надо писать предпочтительно, не оставляя других, Записки русского помещика, Казака и Комедию; особенно для последней главная тема – окружающий разврат в деревне. Барыня с лакеем. Брат с сестрой. Незаконный сын отца с его женой et cetera».

Тогда же в записной книжке отметил: «Вся разница между образом жизни помещиков в глуши, что одни приборы накрест ставят, другие рядом, одни псяянс кладут крестом, другие звездой».

В единственной сохранившейся рукописи «Дворянского семейства», озаглавленной сначала «Родительская любовь», – перечень действующих лиц, начало I действия и общий сценарий комедии.

Действие начинается в усадебном доме разговором княгини Зацепиной с Иваном Ильичом, незаконным сыном отца старого князя. Намечены характеры младшего Зацепина – двадцатилетнего князя Валерьяна; влиятельного лица в доме – управляющего Володи, его жены Натальи и, конечно, самого князя Зацепина, которого, по слухам, соседи помещики прочат в предводители дворянства. С появлением на сцене князя Зацепина возобновляется разговор о Валерьяне. Князь-отец сердит, считая, что «это самый пустяшный человек, ни на что не способный», «болван каких мало»; не верит в успех сына на предстоящем экзамене. Княгиня оправдывает сына молодостью. Тему разговора круто меняет появление Володи с письмом от князя Анатолия, старшего сына Зацепиных, которым, в отличие от младшего, отец явно гордится: «Он и адъютант, поручик гвардии, в лучшем обществе, красавчик».

Обдумывая план комедии, Толстой составил сценарий; он краток, занимает пять страниц рукописи и содержит схему трех действий. Многочисленные

карандашные и чернильные вставки, добавления, поправки свидетельствуют об энергичном движении замысла, которое, однако, было внезапно прервано, и к рукописи Толстой больше не возвращался. Намеченные линии остались незавершенными, в сюжетных поворотах заметна несогласованность.

Сюжетная основа комедии – столкновение братьев, двух противоположных психологических типов, князей Анатолия и Валерьяна Зацепиных. Старший – делающий карьеру холодный эгоист, умеющий все и всех подчинить своим желаниям; младший – идеалист-мечтатель, далекий от реальной жизни и погруженный в свои любимые занятия.

По первоначальному замыслу в I действии комедии ожидался приезд старшего брата, князя Анатолия, с молодой женой Машенькой, у которой отец сенатор и «состоянье славное». В написанном тексте князь Зацепин спрашивает: «Где их поместим?», княгиня замечает: «Машенька часто больна». Изначально в перечне действующих лиц также указана «молодая княгиня, жена князя Анатолия, 19 лет». Однако позже, когда в связи с князем Анатолием в общем сценарии комедии возникает тема выгодной женитьбы, он представлен холостым, только намерен жениться на дочери богатого соседа-помещика.

В образе младшего, князя Валерьяна, Н.Н. Гусев увидел черты скончавшегося в январе 1856 г. брата Толстого Дмитрия: «та же неприспособленность к жизни, те же искания, то же стремление к жизни разумной и нравственной и та же полнейшая неспособность осуществить эти стремления на практике» (Гусев, II, с. 66).

Нет никакого сомнения и в том, что в процессе работы Толстого над замыслом комедии образ младшего князя Зацепина дополнялся автобиографическими чертами.

«Подобно Толстому, – отмечал В.Ф. Саводник, – Валерьян не хочет идти по протоптанному колеям, ищет себе новых путей и в этих исканиях переходит от одного увлечения к другому, ни на чем не будучи в состоянии остановиться. Эта неустойчивость, эти колебания между различными призваниями, неумение определить свое место в жизни, – все это в годы молодости было пережито самим Толстым и все это создало ему тогда среди окружающих репутацию “пустяшного малого”, как он сам выражается о себе в письме к старшему брату Сергею от 1 мая 1849 г.» (Юб., т. 7, с. 380–381).

Летом и осенью 1856 г. развивался роман Толстого с В.В. Арсеньевой, отчасти изображенный в повести «Семейное счастье». В набросках незавершенных комедий этого периода, в частности, в «Дворянском семействе» – тоже явные отголоски пережитого.

10 октября 1856 г. в дневнике Толстой записал: «Всё у Арсеньевых. Еду нынче. Утром злоба прошла и теперь, приехав домой нездоровый и выспавшись, я решил, что виноват и надо объясниться с ней, но только иначе». Запись следующего дня – о том, что прочел мольеровского «Мещанина во дворянстве» и «много думал о комедии из Олинькиной жизни», т. е. о продолжении драматических набросков.

В сохранившихся письмах к Арсеньевой рядом с искренними объяснениями в чувствах «глупого», по выражению Толстого, человека есть нравственно заостренный анализ отношений любящего мужчины и любимой им девушки: «Надо меньше говорить, чтобы больше чувствовать. (...) высокая любовь – это больше ничего, как желание целовать ручки хорошенькой девушки (...) Я не люблю нежного и высокого, а люблю честное и хорошее» (27–28 ноября 1856 г.).

Письма и дневник писателя значительно дополняют творческую историю произведений Толстого. Есть все основания предполагать, что, продолжив ра-

боту над комедией, материалом для образа Валерьяна Толстой мог сделать опыт собственного сердца. В сценарии «Дворянского семейства» по тексту содержания 8-й сцены I действия, где «Валерьян один тоскует, осуждает всех и себя, ждет с жадностью брата, которого он не видал пятнадцать лет», помечено карандашом: «Влюблен». К конспекту следующей сцены, 9-й, дополнения также психологического свойства: «Он боится аффектации и говорит это. Ей неловко с ним, она говорит». Это относится к объяснению Валерьяна с Лёлей, которая только что приехала: «Валерьян возмущен и говорит Лёле, почему он ее не может любить, Лёля говорит, что и она его не очень любит и этому очень рада». С этим наброском переключается строка из записной книжки: «Слова аффектированные rotent (доходят) иногда лучше, чем истинные» (7 октября 1856 г.).

Намерение сделать образ Валерьяна идейным полюсом комедии подтверждается еще одной пометой в рукописи: «Валерьян говорит, что есть три воли», т. е. три свободных выбора в поступках. Относится эта помета к заключительным сценам первого действия, в числе которых «сцена откровенности и раздора. Отчаяние Валерьяна».

Н.Н. Гусев справедливо полагал, что образ князя Валерьяна – «это первый беглый набросок того образа, который впоследствии будет дан Толстым в законченном виде в “Живом трупе” в лице Федора Протасова» (Гусев, II, с. 66). Именно Федя ясно и четко называет три выбора, встающих перед человеком его круга, русским дворянином: «служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь», «разрушать эту пакость; для этого надо быть героем» и «забыться – пить, гулять, петь».

Картина морального разложения дворянского семейства, «окружающий разврат в деревне» вырисовывались в сценарии комедии все ярче с каждой новой авторской поправкой. Вместе с тем продумывались основные характеристики.

Так, в первой сцене к сплетне Ивана Ильича о Наталье добавлена еще одна, о ее сестре Пашеньке, получившая развитие в шестой сцене: «Входит Пашенька. Князь щупает ее. Она говорит, что у него есть жена и Наталья». В первоначальном тексте сценария князь Анатолий сообщает, что «приехал за деньгами». Намеченную тему брака по неприкрытому расчету усиливает вписанное карандашом: «Иван Ильич говорит, что есть богатая невеста». И здесь же, поверх текста, добавлено: «Рассказ про любовь. Иван Ильич сплетничает. Ожидает миллион».

Толстой наметил очень важные добавления к сюжету. Размашисто, крупно на третьей и четвертой страницах сценария по тексту карандашом написано: «Мать отдает свое имение», «Володю хотят согнать». Общее направление авторской мысли угадывается по записным книжкам этого периода: «Ни на ком так противно не выражается мерзость помещичьих отношений, как на тех, которые усваивают их, не имея права» (30 мая 1856 г.); «Большая часть помещиков управляется тайным синклитом своих дворовых и крестьян» (июль 1856 г.).

Толстой не возобновил работу над комедией.

С. 344. ...портуней-юнкер... – В коннице унтер-офицер из дворян.

С. 348. «Bestimmung des Menschen» – «О назначении человека» (1800), трактат немецкого философа И.Г. Фихте.

...кутейник... – Прозвище церковников, причетников.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК

КОМЕДИЯ В 3-Х ДЕЙСТВИЯХ

Впервые: *Юб.*, т. 7, с. 164–168.

Рукописный фонд составляет 6 листов.

Печатается по автографу.

Предыстория неоконченной комедии Толстого «Практический человек» восходит к замыслу не завершенной писателем комедии «Дворянское семейство». В записной книжке 25 ноября 1856 г. заметка: «В комедию три брата, практический, возмущенный и любящий. Николенька». Эта запись позволяет думать, что комедию «Практический человек» Толстой писал позже, чем «Дворянское семейство».

Работа остановилась в самом начале: сохранились два небольших автографа. В одном – список действующих лиц и несколько строк текста, в другом – тоже список и первое явление действия I.

Есть основания считать, что замысел комедии «Практический человек» дублирует оставшуюся в наброске комедию «Дворянское семейство».

На выбор заглавия могло повлиять чтение «Мещанина во дворянстве» Мольера, отмеченное в дневнике 11 октября 1856 г. Толстой вынес в заглавие образ отрицательного персонажа комедии. Этот прием, с одной стороны, позволяет более динамично завязать комедийную интригу, во-вторых, усилить сатирически-обличительную направленность комедии, оттенив тем самым образ любящего и возвышенно рассуждающего брата.

Автобиографический характер психологического портрета Валерьяна находит подтверждение в интенсивной переписке Толстого с В.В. Арсеньевой и дневнике писателя. 27 ноября 1856 г. в дневнике отмечено: «Получил письмо глупое от Валерии. Она сама себя надувает и я это вижу – насквозь, вот что скучно. Ежели бы узнать так друг друга, что не прямо воспринимать чужую мысль, а так, что видеть ее филиацию в другом», то есть как она появилась и развилась.

Незавершенные комедии «Дворянское семейство» и «Практический человек» имеют единую сюжетную линию. В обеих пьесах действие происходит в усадьбе, начинается разговором княгини с Иваном Ильичом, где выясняются характеры действующих лиц. Однако, несмотря на внешнее сходство с более ранним замыслом, новая пьеса выглядит существенно иной.

Название «Практический человек» подчеркнуло ее оригинальность. Теперь на первом плане – характеры и лица. Бытовые картины дворянской жизни, в том числе и «разврат в деревне», стали фоном действия.

Изменен возраст главных действующих лиц.

Княгиня Коломина младше мужа не на десять, а на пять лет; мать обоих сыновей. Моложе становится князь Анатолий – 24-х лет и только на два года старше Валерьяна. Управляющий Володя – почти ровесник князя, ему теперь не 40, а 48 лет. Его жена Наталья тоже стала старше – 37 лет, но разница в возрасте с мужем увеличилась. Пашенька, сестра Натальи, моложе молодых князей.

Важная роль в новом замысле теперь отводится богатой невесте, дочери соседней-помещиков. В перечне действующих лиц она указана сразу после князя, княгини и сыновей Коломиных: «Ольга Федоровна Вереина, девушка, 18 лет». В скобках приписано: «Дочь богатых соседней». Эта фамилия прежде появлялась в рукописях Толстого и, похоже, привлекала своим благозвучием.

В наброске «Фантастического рассказа» (середина июля 1856 г.) изображен майор Петр Николаевич Вереин. Однако в движении замысла в образе Оленьки намечались новые черты, и Толстой воспользовался прежним вариантом фамилии, наскоро вписанным в перечень действующих лиц «Дворянского семейства»: Лёля Житова.

Не исключено, что у Толстого мелькнула мысль вернуться и к некоторым сюжетным линиям «Дворянского семейства». В обновленном перечне действующих лиц комедии «Практический человек» он вновь усилил позиции управляющего Володи, его жены и свояченицы, отнеся девушку-соседку к концу списка.

Характер Ивана Ильича, приживала и сплетника, определившийся в общих чертах в «Дворянском семействе», в новой комедии заметно углублен.

Первоначально Толстой наметил повтор первой сцены с чаепитием княгини, как это было в «Дворянском семействе». В комедии «Практический человек» Иван Ильич не «сын отца старого князя», а «дальний родственник, живущий в доме князя» – Иван Ильич Пугалов.

Диалог, с которого Толстой решил начать комедию, как необходимый художественный прием складывался в творческом сознании писателя в результате его наблюдений за окружающей жизнью. В майской записной книжке 1856 г.: «Живя в деревне, невольно знаешь все, что делается кругом». В июне – две жанровые зарисовки: «Две праздные старушки беседуют, одна говорит: погода хороша. Другая говорит: а теперь нужно дождя»; «Тетушки сидят на балконе. Луна светит. Одна: – Что теперь на луне делается? Другая: Пляшут должно быть, там холодно». В июле краткая помета для памяти: «Юмор глупого человека».

В осенние месяцы 1856 г. в записной книжке Толстого много наблюдений к повести «Юность», к незавершенному наброску «Отъезжее поле». Большей частью художественные детали для широкой эпической картины. Но есть одна запись, подтверждающая внимание писателя к звучащему диалогу: «Разговоры тетиньки и Ивана Ивановича, беспрестанно переходят от одного к другому: А есть помещица там, она такая толстая. А был чиновник, совсем кривой и женат на куме».

Едва начав действие новой комедии диалогом, Толстой перечеркнул написанное и заменил его монологом Пугалова, размышлениями мелкой и неприглядной натуры, как вести себя «искусно», держаться «умно» в связи с новыми обстоятельствами – ожидаемым приездом молодого князя Анатолия. Затем, приостановив работу над первым действием «Практического человека» и вновь вернувшись к списку действующих лиц, Толстой вычеркнул из него Ивана Ильича Пугалова, вписав: «Генерал Диков, родной брат княгини». Усилить сатирическое звучание образа Ивана Ильича должен был иной, более высокий социальный статус персонажа.

Предвестие появления генерала Дикова – также в рукописи «Дворянского семейства». На первой странице сценария, прямо по тексту первых сцен, в которых участвует Иван Ильич, рукой Толстого крупными буквами написано: «Генерал». Эта поправка еще раз документально подтверждает хронологическую последовательность двух комедий и их тесную связь.

Между тем, в последнем, вновь переделанном списке действующих лиц комедии «Практический человек», брат княгини значится уже как генерал в отставке Петр Петрович Фомин. На этом поиск прервался. Можно лишь предположить, куда он был нацелен. Сохраняя типические черты характера, Толстой уславивал их определенной сатирически-обличительную окраску.

На новом этапе развития замысла «Практический человек» начат с монолога. Это, судя по всему, принципиальное решение Толстого, поскольку и во второй рукописи комедии в начало также поставлен монолог – теперь уже князь Валерьян «один ходит по комнате с изорванной книжкой под мышкой». Похоже, что Толстой, размышляя о своих творческих планах, продолжал приглядываться к шедеврам мировой и отечественной драматургии. В дневниковой записи 5 ноября 1856 г.: «...в театре “Горе от ума” – отлично». Именно в комедии А.С. Грибоедова, как известно, явлены классические образцы монологов разных по типу персонажей.

Вполне вероятно, что препятствием для завершения комедии «Практический человек» оказалось неприятие Толстым обличительного направления, мнения, «что быть *возмущенным, желчным, злым* очень мило», о чем он и писал Н.А. Некрасову 2 июля 1856 г. В майской записной книжке того же года Толстой замечал: «Все то, на что нужно негодовать, лучше обходить. Для жизни довольно будет и тех вещей, которые не возбуждают негодования – любви. А у нас негодование, сатира, желчь сделались качествами».

С. 352. *хоть не Брюс какой-нибудь по уму...* – Имеется в виду сподвижник Петра I Я.В. Брюс (1670–1735).

С красным деньком... – Красный денек – погожий, сухой и ясный.

ДЯДЮШКИНО БЛАГОСЛОВЕНЬЕ

КОМЕДИЯ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ

Впервые: *Юб*, т. 7, с. 169–171.

Рукописный фонд составляет 1 лист.

Печатается по автографу.

8 октября 1856 г. в Ясной Поляне Толстой записал в дневнике: «Затеял было комедию. Может, возьмусь». Относится это предположительно к комедии «Дядюшкино благословенье».

Отправляясь 11 октября на охоту и к М.Н. Толстой в Покровское, продолжал думать о возникшем замысле, связывая его с комедией Мольера: «Прочел *Bourgeois Gentil’homme* (“Мещанин во дворянстве”) и много думал о комедии из Олинькиной жизни. В двух действиях. Кажется, может быть порядочно». 14 октября вновь читал Мольера. Запись следующего дня: «Написал начало комедии».

Это «начало» – единственная рукопись, всего один лист с перечнем действующих лиц и кратким сценарием, весьма лаконично, в общих чертах передающим сюжетную основу замысла. Дальше работа не пошла, и комедия «Дядюшкино благословенье» осталась в незавершенном виде.

Главной героиней комедии, судя по дневниковой записи 11 октября, задумывалась девушка-провинциалка. Есть основания предположить, что реальной основой образа выбрана Ольга Владимировна Арсеньева.

В 1854 г. Толстой был назначен опекуном осиротевших детей своих соседей, владельцев имения Судаково, недалеко от Ясной Поляны, – поручика гвардии Владимира Михайловича Арсеньева (1810–1853) и его жены Евгении

Львовны (урожденной Щербачевой; 1808–1856). Детей было четверо: дочери Валерия, Ольга, Евгения и сын Николай.

По возвращении из Петербурга летом 1856 г. Толстой прислушался к совету Д.А. Дьякова («Он лучший мой приятель и славный», – записано в дневнике 14 июня) жениться на В.В. Арсеньевой. В дневнике запись 15 июня: «Слушая его, мне кажется тоже, что это лучшее, что я могу сделать». В этот же день Толстой побывал в Судакове: «Бедняжка, ее тетка дрянь, как кажется». Речь идет о сестре Е.Л. Арсеньевой Щербачевой, во многом осложнившей судьбу старших племянниц – Валерии и Ольги.

Не без вмешательства Щербачевой роман Толстого с В.В. Арсеньевой сошел на нет. В одном из неотправленных писем в Судаково Толстой 8 ноября писал о пребывании в Москве, в частности, о встрече и разговоре с троюродным братом А.А. Волконским: «Спрашивал у меня, правда ли, что я влюблен в одну барышню, которую он видел у Tremblai без шляпы и про которую слышал следующий разговор двух сестер Кислинских – они говорили: “какая гадкая женщина Щербачева – она выписала свою племянницу, хорошенькую, молоденькую девушку, и решительно губит ее, сводит и влюбляет в какого-то музыканта, от которого эта барышня уже без ума и даже в переписке с ним”. Вы сами можете догадаться, какое приятное чувство я испытал при этом разговоре». Здесь же: «В Москве видел вашу мерзейшую тетиньку». «Какой-то музыкант» – это пианист и композитор Мортье де Фонтен, у которого В.В. Арсеньева брала уроки музыки и заметно увлеклась им. В существенно переработанном виде эпизод с Мортье вошел в повесть «Семейное счастье». Тип Щербачевой, детали ее внешности и поведения угадываются в образе эмансипированной Лидии в незавершенных комедиях «Дядюшкино благословенье» и «Свободная любовь».

В этот же день Толстой написал другое, более сдержанное письмо, в котором сообщил, что видел «милую тетушку» и других московских знакомых В.В. Арсеньевой: «Непостижимо, как вы могли без отвращения жить с этими людьми».

Восемнадцатилетняя Ольга Арсеньева (1838–1867) в 1856 г. также была в выданье. В июле она уже невеста. О.В. Арсеньева «славная девочка», как отзывался о ней Толстой в дневнике 26 мая, «умна» (19 октября), – судя по всему, не была счастлива. О ее женихе, тридцатитрехлетнем офицере князе Петре Гавриловиче Енгальчеве, брак с которым продлился недолго, Толстой записал в дневнике 16 августа 1857 г.: «Хитрый, глупый, необразованный и добродушный».

В апреле 1867 г. Толстому суждено было присутствовать в Судакове на похоронах О.В. Енгальчевой. 23 апреля он написал Е.В. Липранди о последних днях жизни и кончине ее сестры, что «от души поплакал над гробом» и «помнил только одну миленькую, добрую и жалкую нелюбимую белокурую девочку Оленьку», которую всегда любил. И еще: «Вся жизнь ее была так несчастна, и она была такая добрая по сердцу женщина».

Трудно сказать, какой именно эпизод из жизни Ольги Арсеньевой предполагался в основу будущей комедии. 31 июля 1856 г. Толстой отметил в дневнике, что в Судаково «застал Ольгу в московском щербачевском духе и одеянии, выходит замуж и едет просить денег у Киреевского».

Орловский помещик Николай Васильевич Киреевский (1797–1870) – родственник Арсеньевых; по воспоминаниям современников, страстный охотник и широкая натура.

Вполне вероятно, что отношения дядюшки Киреевского со старшими племянницами – как с Валерией, так и с Ольгой Арсеньевыми – складывались весь

ма похоже. Некоторые подробности, приоткрывающие жизненные коллизии, которыми мог воспользоваться Толстой для задуманной комедии, – в его письмах к В.В. Арсеньевой.

17 августа 1856: «...забыл сказать вам, уезжая. Вы поставлены в очень счастливое положение в денежном отношении. Другому, промотавшись, надо обращаться к жидам – это скверно; но вам еще хуже, – вы можете быть вынуждены обратиться к дяде. А это было бы очень плохо».

2 ноября 1856 г. Толстой пишет из Москвы, что отношения В.В. Арсеньевой с Н.В. Киреевским для него «неприятнее, чем бывшие с Мортье».

19 ноября 1856 г. из Петербурга В.В. Арсеньевой: «О Киреевском вы судите хорошо, но не совсем искренно – боитесь понять мою мысль, которая состоит в том, что он богат, а вы бедны, он ваш дядюшка и крестный отец и поэтому может думать, что вы надеетесь получить от него деньги. Ежели бы я был на вашем месте, я бы твердо взял решение никогда не получить от него ничего, и тогда бы уж любил и уважал его, ежели он стоит того».

Судя по названию, в «Дядюшкином благословеньи» именно это событие в жизни героини, осиротевшей провинциальной барышни Ольги Михайловны, – благословение предстоящего ей брака состоятельным родственником – должно стать центральным в сюжете. Действительно, в конспекте комедии ее главный узел в сцене объяснения Ольги с дядюшкой: «Зачем ты приехала – благословенье вздор, деньги, она горячится, говорит, что все кончено. Он раскаивается, успокаивает ее, она говорит, что, кажется, влюблена».

Первое действие комедии происходит в Москве в доме Енисеевых. Второе – в деревне графа Кукшева. Задуманная в двух действиях комедия, по мере работы Толстого над сюжетом, дополнилась третьим действием – вновь в московском доме Енисеевых, в будуаре Лидии.

Эмансипированная поклонница Жорж Санд тридцатилетняя Лидия Енисеева и юная Ольга должны были составить, как видно в перечне действующих лиц и в сценарии, идейно-композиционные полюса, воздействие которых на других персонажей и развитие событий определяло бы завязку, развитие, кульминацию и финал сценического действия.

Действующие лица комедии, помимо Лидии и Ольги: муж Лидии, два ее любовника – молодой Мослоский и шестидесятилетний Кляксин (он же ее дядя), новое увлечение – грузинский князь Шерваншидзе, а также сестра Лидии Анна и брат Анатолий Лацкан, которого собираются женить на Ольге; дядюшка Ольги граф Кукшев и ее няня Катерина Федотовна.

Конспект первого действия вполне передает авторское отношение к теории и практике «свободной любви». В кратком тексте – всего девятнадцать строк рукописи – дважды названо имя Жорж Санд, десять раз употреблены слова любовь и ревность, но ни разу в том значении, о котором Толстой писал В.В. Арсеньевой 7 декабря 1856 г.: любовь «не в том, чтоб у пупунчика целовать руки (даже мерзко выговорить), а в том, чтобы друг другу открывать душу, поверять свои мысли по мыслям другого, вместе думать, вместе чувствовать».

Похоже, что многие лица могли быть взяты с натуры, но с кого именно они писались, установить трудно.

В конце сентября 1856 г. Толстой пометил в записной книжке: «Кат. Фед. держит весь дом». Можно предположить, что эта запись имеет отношение к «Дядюшкиному благословенью», где Катерина Федотовна – крепостная Ольги, 40 лет, половина горничная, половина нянюшка». В наброске комедии «Свободная любовь» добавлено: «Приехала с Ольгой из деревни».

В наброске сцен второго действия комедии «Дядюшкино благословенье» – в деревне графа Кукшева – Катерина Федотовна принимает активное участие в событиях. Однако не все беглые намеки авторского замысла улавливаются и могут быть верно прочитаны.

Третье действие предполагало активную позицию Ольги, она близка к победе над Лидией, бьет «ее ее оружием».

Работу над начатой рукописью Толстой не продолжил, но через месяц, несколько изменив прежний замысел, приступил к созданию комедии «Свободная любовь».

СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ

КОМЕДИЯ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ

Впервые: *Юб.*, т. 7, с. 172–180.

Рукописный фонд составляет 5 л.

Печатается по автографу.

Комедия «Свободная любовь» писалась Толстым вскоре после его работы над комедией «Дядюшкино благословенье», оставшейся в виде незавершенного наброска. Появление нового сценического замысла отмечено Толстым в дневнике 12 и 13 ноября 1856 г.: «Утро писал *scenarium* немного (...) написал одно явление комедии», «писал 2 явления комедии».

Замысел новой комедии близок начатой месяцем раньше комедии «Дядюшкино благословенье». В сохранившихся отрывках – двух рукописях с наброском краткого сценария – очевидна тенденция сатирического изображения последователей жоржсандовских идей равноправия женщин и «свободной любви».

Заглавие новой комедии свидетельствует об усилении сатирической оценки идей Жорж Санд и повороте сюжетной линии в этом направлении.

Резко отрицательное отношение к Жорж Санд и ее романам с проповедью свободной любви проявилось у Толстого сразу по его приезду в 1855 г. из Севастополя в Петербург, где было много приверженцев и последователей идей французской писательницы. В кругу «Современника» нередко вспыхивали споры, заходившие очень далеко, как, например, 6 февраля 1856 г. с И.С. Тургеневым, после которого, по воспоминаниям Д.В. Григоровича, «Толстой лежал на диване, но возбуждение его настолько было сильно, что стоило немало трудов его успокоить и отвезти домой» (Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В двух томах. М., 1978. Т. I. С. 78).

Принципиальное расхождение в споре о Жорж Санд обострялось, как убедительно писал биограф Толстого Н.Н. Гусев, причинами личного характера: «Толстой смотрел на брак, как на святыню, как на вечный, нерушимый союз, как на полное и всестороннее единение чувств и мыслей, как на единственную основу нормальной семейной жизни. При таком взгляде свободная любовь в духе Жорж Санд, как понимал ее Толстой, представлялась ему крайним извращением понятия о нормальных отношениях между мужчиной и женщиной и полным осквернением брака» (Гусев, II, с. 23).

Иной пример являли всем известные в кругу «Современника» близкие отношения Н.А. Некрасова и А.Я. Панаевой, жены И.И. Панаева. «Авдотья стерва, – записал Толстой в дневнике 31 июля 1857 г., – жаль и Панаева

и Некрасова». Параллель с этим любовным треугольником заметил в тексте комедии «Свободная любовь» В.Ф. Саводник: «При описании обстановки будуара Лидии Толстой замечает: “на маленьком диване лежит ньюфаундлендская собака”. Эта маленькая подробность живо напоминает обстановку квартиры Некрасова, любимые собаки которого, как страстного охотника, пользовались привилегией лежать на дорогом ковровом диване и нередко даже затаскивали и грызли на нем кости, так что аккуратный Гончаров, по словам П.М. Ковалевского, избегал садиться на него; впрочем, не желая, вероятно, подчеркивать отмеченное сходство, Толстой вычеркнул из описания обстановки указанную подробность и заменил собаку на диване безразличной клеткой с попугаем» (*Юб.*, т. 7, с. 385). Можно также предположить, что клетка справедливо показалась Толстому более удобной для сценического воплощения комедии, чем ньюфаундлендская собака.

Тип Лидии Шуриной, как и Лидии Енисеевой в «Дядюшкином благословеньи», действительно близок А.Я. Панаевой. Однако можно полагать, что перед глазами Толстого, когда он задумывал комедии, был другой прототип – тетушка Валерии и Ольги Арсеньевых Щербачева.

Яркий портрет типа женщин, который воплощала Щербачева, обрисован в письме Толстого к В.В. Арсеньевой 23–24 ноября 1856 г.: «Есть известного рода женщины, почти в роде Щербачевой, и даже гораздо хуже, которые в этом роде *élégance*, ярких цветов, взъерошенных куафюр и всего необыкновенного, горностаевых мантилий, малиновых салопов и т. д., – всегда перещеголяют вас, и выйдет только то, что вы похожи на них. И девушки и женщины, мало жившие в больших городах, всегда ошибаются в этом».

На Лидии Шуриной «необыкновенные, бросающиеся в глаза туалет и прическа»; ее сестра «одевается так же странно, как и старшая сестра». И в «Дядюшкином благословеньи» Лидия Енисеева одета «по последней крайней моде». В начале действия Лидия Шурина лежит на диване «в красном шлафроке, с ногами, обутыми в горностаевые туфли».

В явлении III, последнем из написанных, Лидия учиняет критический разбор «провинциального» туалета Ольги, которая появляется «в белой кисейной юбке и в черном кружевном канзу, с косой вокруг головы»: «Во-первых, это канзу, это слишком нарядно, и оно портит тебе талию, ты лучше надень мою горностаевую», «мытое 30 раз платье – это ведь горничные носят», «кто ж носит башмаки?»

Конспект этой сцены был намечен Толстым уже в «Дядюшкином благословеньи»: «Входит Ольга с Катериной Федотовной, ее срамят за костюм, хотя стричь, она горячится и уходит».

В системе персонажей также очевидно дублирование «Дядюшкиного благословенья». Совпадают не только центральные фигуры эмансипированной хозяйки дома Лидии и провинциальной девушки Ольги «с допотопными идеями об любви». Добродушный муж Лидии Дмитрий Сергеич Щурин первоначально «был разбит параличом, очень толст и ленив». Эта характеристика в рукописи вычеркнута, и на первом плане оказалась вполне осознанная приверженность персонажа идеям Жорж Санд. Щурину под сорок, он считает, как и жена, что «любовь должна быть свободна и что искренность благороднее всего», гордится, что «никогда, ни разу не позволил себе ревновать» жену. Комедию «Дядюшкино благословенье» напоминают молодой модный фронт Масловский, друг дома, «золотой человек»; дядюшка Лидии Иван Никанорыч Лацкан – «человек не нынешнего века»; недавно вернувшийся с войны подполковник Кулешенко; новое увлечение Лидии молодой грузинский князь Чивчивчидзе, которого она, на

манер Жорж Санд, зовет Теверино. Одноименная повесть французской писательницы и ее герой – простая, благородная, богато одаренная натура – были хорошо известны русским читателям по публикациям 1845 г. в «Отечественных записках» (т. 42, октябрь) и «Библиотеке для чтения» (т. 72, август).

Намеченная Толстым замена главного сюжетного узла отразилась не только в заглавии, но и в составе действующих лиц. Единственный персонаж, не сохранившийся в комедии «Свободная любовь», – дядюшка Ольги Михайловны, старый холостяк шестидесятилетний граф Кукшев. Такое изменение в системе образов связано и с иным, чем в «Дядюшкином благословении», решением темы денег.

Определяющую роль в событиях комедии теперь играет не наследство графа Кукшева, а источники средств, на которые живут муж и жена Шурины в своем московском «весьма богато и вычурно убранном доме». Во-первых, это дядя и любовник Лидии Иван Никанорыч Лацкан. Похоже, что роль графа Кукшева отчасти перешла к нему. Во всяком случае, немногочисленные исправления в рукописи относятся к этому лицу и определяют направление развития образа. «Подумайте, как много сделал для нас этот человек», – обращается Шурин к жене. К этой первоначальной реплике Толстой добавил: «и как много может для нас сделать и делает, ежели вы сами не восстановите его». Ниже выясняется, что если бы не дядя, Шуриным бы «давно было жить нечем». Билетом в десять тысяч владеет «герой полковник» Кулешенко; Шурин одобряет и эту недавнюю связь жены: «Вы, как всегда, были искренни и честны в вашем увлечении, и оно никому не мешало». Наконец, если бы не Оленькины три тысячи в год, Шуриным «уж нельзя было больше оставаться в Москве».

«Смотря по развитию, человек и выражает любовь, – писал Толстой В.В. Арсеньевой 12 декабря 1856 г. – Оленькин жених выражал ей любовь, говоря о высокой любви; но меня, хоть убейте, я не могу говорить об этих вздорах». «Эти вздоры» в их разнообразном проявлении и оформлении представлены в написанных трех явлениях комедии «Свободная любовь».

Дальше работа не пошла. «Свободная любовь» – последний в 1856 г. подступ к замыслу комедии на темы современной жизни. 3 декабря в дневнике отмечено: «Ничего не пишу (...) думаю комедию». И затем 28 декабря: «Все думал о комедии. Вздор».

Дневниковая запись 12 января 1857 г.: «Комедия. Практический человек. Жорж-сандовская женщина и Гамлет нашего века – вопиющий больной протест против всего, но бессилие» – синтезировала творческие искания Толстого, свела их к единой формуле, разработку которой писатель предпримет вновь в 1863 г. Новая комедия получит название «Зараженное семейство».

С. 358. *Комната обтянута штофом* – Штоф – плотная шелковая ткань с разводами.

С. 359. *...в красном шлафроке...* – Шлафрок – халат.

С. 361. *...носит накладку* – Накладка – полупарик.

С. 364. *...канзу* – Канзу (от *фр.* *capezou* – короткая кофточка) – большая кружевная или из легкой ткани косынка, концы которой, перекрещенные на груди, завязываются на талии.

ОТРЫВОК ДНЕВНИКА 1857 ГОДА

Впервые: *Юб.*, т. 5, с. 192–213.

Рукописный фонд составляет 23 листа.

Печатается по автографу.

Путешествие по Швейцарии, начало которого описано в «Отрывке», продолжалось десять дней с 15 (27) мая по 24 мая (5 июня) 1857 г. Выйдя пешком из Монтрё с берега Женевского озера, Толстой через горы отправился на север, намереваясь дойти до Фрибурга. Однако вскоре у него появился другой план: двигаться в центральную часть страны. В дальнейшем он передвигался большей частью в повозке, а по Тунскому озеру плыл на лодке. Кроме тех мест, где писатель побывал в первые два дня пути, воссозданные на страницах «Отрывка», его дорога проходила также через Интерлакен, Гриндельвальд – город у самого подножия большого Альпийского хребта, Тун и столицу Швейцарии Берн. Все это время Толстой вел дневник, однако уже тогда у него, по всей видимости, появился замысел отдельного произведения, созданного по свежим дорожным впечатлениям. 20 мая (1 июня), еще до окончания поездки, в дневнике среди других занятий отмечено: «Писал путешествие».

Основная работа над путевыми записками проходила по возвращении Толстого на Швейцарскую Ривьеру и была подробно зафиксирована писателем в его дневнике. 25 мая, находясь в Кларане, Толстой отметил: «Утром писал славно дневник путешествия...». 28 мая работа возобновилась: «После обеда писал дневник путешествия. Написал маленьких листочков 9, но не кончил». 29 мая говорится о том же: «Написал листа 4 или больше Путевых записок». Судя по всему, это был последний день, когда Толстой занимался «Отрывком».

Несмотря на то, что произведение осталось незавершенным, обращение Толстого к жанру путевых записок нельзя считать случайным эпизодом его творческой биографии, вызванным только необходимостью зафиксировать яркие туристические впечатления. Намерение испытать себя в жанре литературного путешествия в данном случае имело глубокие истоки. Прежде всего здесь играло свою роль давнее увлечение Толстого творчеством Л. Стерна, чье «Сентиментальное путешествие», не связывая с этой работой далеко идущих планов, он частично перевел в 1852 г. на русский язык. Путевые записки, несомненно, создавались как «чувствительное путешествие» с учетом стерновской традиции.

В то же время «Отрывок» находился в общем русле морально-философского движения Толстого-художника. Только что завершённое путешествие по Швейцарии оказалось новым поводом для утверждения Толстым собственных представлений о естественных началах мировой гармонии, а также критики писателем «нечувственного», искажающего, согласно его мысли, истинную природу человека и мира цивилизованного устройства жизни. Поэтическое восприятие действительности на страницах «Отрывка» последовательно отразило нравственный идеал Толстого 1850-х годов.

Некоторое время после того, как писатель прервал работу над записками, они продолжали оставаться в поле его зрения. Задуманный через месяц под воздействием новых заграничных впечатлений рассказ «Люцерн» поначалу воспринимался Толстым как возможная часть более обширного литературного путешествия по Швейцарии. На этот раз Толстой собирался передавать свои впечатления в форме писем к воображаемому читателю, очевидно, рассматривая более ранний «Отрывок дневника 1857 года» как материал для

таких писем. Обращаясь к В.П. Боткину 27 июня (9 июля), Толстой прямо высказал это намерение: «...Многое за границей так ново и странно поражало меня, что я набрасывал кое-что с тем, чтобы быть в состоянии возобновить это на свободе. Ежели вы мне посоветуете это сделать, то позвольте писать это в письмах к вам».

Называя Боткина своим «любимым воображаемым читателем», Толстой, очевидно, надеялся найти в нем также искушенного ценителя задуманного труда. Боткин был одним из наиболее ярких продолжателей восходящей к Н.М. Карамзину традиции «писем русского путешественника» в современной Толстому русской литературе: его «Письма об Испании» печатались в «Современнике» в 1847–1848 гг. и отдельным изданием увидели свет в 1857 г. Впрочем, «Люцерн» уже в первом черновом варианте получил именно форму отрывка из записок вымышленного персонажа князя Нехлюдова, во многом близкую путевым запискам Толстого о путешествии по Швейцарии.

В дальнейшем к «Отрывку дневника 1857 года» Толстой не возвращался. Его проблематика в значительной мере была исчерпана «Люцерном».

С. 365. *...мои соотечественники и сожители в Кларанском пансионе Кетерера.* – Кларан – курортный поселок на северо-восточном берегу Женевского озера. Писатель прибыл сюда на пароходе из Женевы вместе со своей двоюродной теткой фрейлиной А.А. Толстой 9 (21) апреля и, периодически отлучаясь, прожил в Кларане более двух месяцев до 18 (30) июня 1857 г. Вместе с Толстым в пансионе жили М.А. Рябинин и супружеская чета Пушиных (см. ниже).

...портретами Наполеона в Берлине и Фридриха с кривым носом. – Наполеон Бонапарт во главе своей армии торжественно вошел в Берлин осенью 1806 г. после разгрома Пруссии в молниеносной военной кампании. Фридрих II – прусский король с 1740 по 1786 г., один из наиболее могущественных европейских монархов XVIII в. и выдающийся полководец, окруженный легендарной славой.

...наша соотечественница, с своими детьми. – Александра Романовна Поливанова, отдохавшая в это время с детьми в Кларане. Ее старший сын, одиннадцатилетний Александр, сопровождал Толстого в путешествии. В письме к Т.А. Ергольской, отправленном 17 (29) мая из Интерлакена, Толстой, рассказывая об отъезде своих знакомых по Кларану и начатом им в тот же день странствии: «Теперь все разъехались, и я не мог оставаться один, взял с собой молодого мальчика Поливанова, которого мне поручила мать, и пошел пешком ходить по Швейцарии». Постоянное присутствие юного спутника не только радовало, но временами и тяготило писателя. 16 (28) мая Толстой записал в дневнике: «Приятная прогулка. Но маленький надоедает мне».

С. 366. *...Montreux...* – Montreux (Монтрё) – во времена Толстого поселок на берегу Женевского озера, быстро входивший в моду как место лечения и отдыха. Благодаря здоровому климату, а также знаменитому своими целебными свойствами винограду он стал одним из наиболее посещаемых и престижных европейских курортов. С конца XIX в., быстро разрастаясь, Монтрё образовал вместе с расположенными рядом Клараном и Веве, по существу, единое поселение, которое нередко также называют Монтрё. В 1902 г., когда старшая дочь Толстого Татьяна Львовна вместе с П.И. Бирюковым (он собирал материалы для биографии писателя) побывала в Монтрё, она обратилась к отцу с просьбой описать комнату пансионата Кетерера, в которой он жил. Но Толстой ограничился в ответном письме только кратким пожеланием: «Клянись от меня милому Montreux и Vevey».

С. 366. ...*русские из Basset...* – Толстой говорит о семье князя Петра Ивановича Мещерского. Его жена Екатерина Николаевна, урожденная Карамзина, была дочерью знаменитого историка и писателя. Вместе с Мещерскими находились их пятнадцатилетняя дочь Екатерина Петровна, сестра княгини Елизавета Николаевна и, вероятно, один из сыновей, о котором Толстой упоминает в дневнике. Мещерские жили в Ла-Бассе в километре от кларанского пансиона, где остановился писатель.

...*мужа с женой П(ушциных)*. – Михаил Иванович Пущин (1800–1869) и его жена Мария Яковлевна, с которыми Толстой познакомился еще в Женеве и затем жил в одном пансионе в Кларане. М.И. Пущин был родным братом И.И. Пущина – лицейского друга Пушкина и декабриста. Сам он в свое время тоже был привлечен к суду по делу о восстании декабристов, лишен дворянства и разжалован из офицеров гвардии в рядовые. Проходя службу на Кавказе, в 1829 г. М.И. Пущин повстречался с Пушкиным. Заинтересованный его рассказом об этой встрече, Толстой попросил Пущина составить о ней специальную записку, которую отослал из Кларана работавшему в это время над биографией поэта П.В. Анненкову.

По свидетельствам самого Толстого, между ним и Пущиными установились теплые отношения. В письме Т.А. Ергольской от 17 (29) мая он говорил о Пущине: «самый откровенный, добрый и всегда одинаково веселый и молодой сердцем человек в мире и притом высокий христианин». Там же давалась характеристика его жены: «вся доброта и самопожертвование, очень набожная и восторженная старушка, но еще очень свежая».

Образовавшийся в Кларане дружеский кружок, в центре которого находились М.А. Рябинин и Толстой, временами охватывало настроение настоящей юношеской беззаботности. Будучи почти тридцатью годами старше Толстого, Пущин участвовал в общем веселье наряду со своими младшими товарищами. «Почтенный М.И. Пущин, добродушнейший из смертных, – вспоминала одно время находившаяся там же А.А. Толстая, – школьничал вместе с ними» (*Переписка с А.А. Толстой*, с. 9–10). Характерно, что после отъезда А.А. Толстой из Кларана в Женеву Толстой и Пущин отправили ей «совместное» письмо, написанное тем и другим поочередно. 15 (27) мая Пущины покинули Кларан. Возможно, в один день с ними или близко к этому времени уехал также Рябинин, что решительно изменило окружающую писателя обстановку.

Леман – латинское название Женевского озера, которое нередко используется до наших дней.

Савойские горы – расположенная в исторической области Франции Савоие часть Альпийской горной гряды с вершиной Монблан – самой высокой точкой Европы. 30 апреля – 1 мая (12–13 мая) 1857 г. Толстой вместе с М.И. Пущиным на лодке пересекал Женевское озеро и, оказавшись во Франции, путешествовал по его южному, савойскому берегу. 1 (13) мая в письме В.П. Боткину и А.В. Дружинину сказано: «Нынче только вернулся из путешествия по Савое. Два восхитительные дня!»

С. 368. *Вильнёв* – городок между Монтрё и Валийской долиной на берегу Женевского озера. В Вильнёве, расположенном неподалеку от Кларана, Толстой бывал несколько раз.

...*ущелье Вале...* – долина Роны до ее впадения в Женевское озеро, именуемая также Валийской долиной (Valais). «Ворота», через которые река «входит» в озеро, расположены на его юго-восточном берегу напротив Монтрё.

...*Шильон над самой водой и воспетый островок...* – Шильон – известный с XII в. замок на скале в Женевском озере, соединенный мостом с берегом.

С 1530 по 1536 г. замок был местом заточения гуманиста, участника борьбы за независимость Женевы от герцогов Савойских Франсуа Бонивара, которого держали на цепи в глубоком подземелье, высеченном в скале под водой. Это событие легло в основу романтической поэмы Байрона «Шильонский узник» (переведена на русский язык В.А. Жуковским). 11 апреля 1857 г. Толстой отметил в дневнике: «Ездил в Шильон». Воспетый островок – это одинокий остров с несколькими растущими на нем деревьями, расположенный напротив Вильнёва рядом с местом, где Рона впадает в Женевское озеро. Байрон однажды трогательно изобразил его в поэме.

С. 370. ...*через гору Jaman идти на Фрибург*. – Jaman (Жаман) – находящийся над Монтрё Жаманский перевал, дорога через который ведет в центральную часть Швейцарии. Фрибург (Fribourg, Фрибур) – главный город одноименного католического кантона.

Avant – ближайшее к Монтрё горное селение Лез-Аван (Les Avants).

...*на горе Rigi Vaudais*... – Имеется в виду гора Не (2042 м над уровнем моря), которая возвышается над Монтрё и Жаманским перевалом. С ее вершины открывается грандиозная панорама, что дало повод сравнивать ее со знаменитым горным массивом Риги вблизи Люцерна, откуда можно видеть 11 кантонов и 13 озер Швейцарии. Отсюда название Rigi Vaudais, т. е. Риги в кантоне Во (Vaud), Водский Риги, которое иногда используют для ее обозначения.

С. 375. *Alières* – деревушка Альер с северной стороны Жаманского перевала.

С. 378. *Monbovont* – селение Монбовон на южной границе кантона Фрибург.

С. 379. ...*в виноградниках Côte*... – La Côte (берег) – часть побережья Женевского озера между Лозанной и Женевой, где производится белое вино.

С. 380. ...*в аглицкой болезни*... – Английская болезнь – рахит.

...*изображавшие историю Женевьевы, брошенной в лес и вскормленной ланью*... – История Женевьевы – относящаяся к VIII в. легенда о дочери герцога Брабантского и жене Тревского пфальцграфа Зигфрида Женевьеве. По преданию, дворецкий графа Годо оклеветал Женевьеву Брабантскую перед мужем, обвинив ее в супружеской неверности. Приговоренная к смерти, она была спасена слугой, которому граф приказал ее умертвить: тот просто оставил несчастную в глухом лесу. Шесть лет вместе с родившимся здесь сыном Женевьева скрывалась в лесной пещере в Арденнах, питаясь кореньями и молоком лани. Зигфрид, убедившись в том, что его жена была невиновна, выследил лань и нашел Женевьеву и сына в их убежище. Широкую известность получила литературная обработка легенды, сделанная в XVII в. монахом-иезуитом Рене де Серисьером. К сюжету о Женевьеве Брабантской обращались многие европейские писатели, в том числе Л. Тик и Ф. Геббель. Легенда о ней легла также в основу оперы Р. Шумана «Геновева».

Интерлакен – Interlaken (Междуозерье) – город, живописно расположенный в долине между Тунским и Бриенцским озерами, ныне популярный климатический курорт.

Оберланд – альпийская горная область (дословно: верхняя страна) в южной части кантона Берн.

С. 381. *Château d'Oex* – Шато д'Э – курортный поселок в кантоне Во.

Поток этот называется Sarine. – Река Сарин (Занне) пересекает с юга на север западную Швейцарию и вблизи Берна впадает в р. Аре.

С. 382. ...*в кантонах Vaud, Женевы, Нёшателя и Фрибурга*. – Речь идет о четырех западных, по преимуществу французских, кантонах Швейцарии.

С. 383. ...*преlestную Занскую долину*... – т. е. долину реки Сарин (Занне), пролегающую между альпийских горных отрогов.

С. 385. ...*сколько верст до Туна*... – Тун – город в кантоне Берн на выходе р. Аре из Тунского озера.

ЗАПИСКИ МУЖА

Впервые: *Юб.*, т. 5, с. 220–221.

Рукописный фонд составляет 2 листа.

Печатается по автографу.

«Записки мужа» упомянуты в дневнике 21 августа 1857 г.: «Начал писать Записки мужа *из дна*». Среди заметок записной книжки, датированных 20 августа, есть фраза, близкая по звучанию и смыслу к «Запискам мужа»: «Все испытал, насколько силы, неинтересно, не забавно жить, да и просто не надо». Работа продолжалась всего один день, но имела для Толстого какой-то сложный внутренний смысл: «из дна» означает из глубины души. В те августовские дни его самого посещало мрачное настроение. 16 августа: «Опять лень, тоска и грусть. Все кажется вздор. Идеал недостижим, уж я погубил себя. Работа, маленькая репутация, деньги. К чему? Матерьяльное наслаждение тоже к чему. Скоро ночь вечная. Мне все кажется, что я скоро умру».

В самих «Записках» упомянут «солдат, повесившийся прошлого года в засеке». Этот факт относится к личным впечатлениям Толстого. 13 июня 1856 г. в дневнике отмечено: «Вчера нашли повешенного солдата в засеке, ездил смотреть на него (...) Солдат как будто стоит, штаны в сапоги, грязная рубаха, шапка вывернута, шинель брошена, ноги странно подогнулись...». Позднее, в 1889 г., Толстой рассказывал об этом солдате А.В. Цингеру (О Толстом. Воспоминания и характеристики представителей различных наций. М., 1911. Т. II. С. 217–218).

«Записки мужа» продолжены не были. Дневниковая запись 16 августа завершалась такими словами: «Лень писать с подробностями, хотелось бы все писать огненными чертами. Любовь. Думаю о таком романе».

«Записки мужа», которые по внутреннему содержанию ближе к жанру исповеди, оказались несовместимы с чтением «Илиады» и теми эпическими замыслами, которые в то время почти полностью занимали творческое воображение писателя. Толстой интенсивно работал тогда над «Казачками»; поиск эпических форм, навеянных чтением Гомера, был для него важнее, чем исповедь.

«Записки мужа» – это первый подступ к большой «Исповеди». Хотя герою записок 33 года, он пыгается рассказать «историю своей жизни» и события «самые простые и обыкновенные». В 1878 г. была начата «Моя жизнь» (печаталась под названием «Первые воспоминания»), оставшаяся тоже незаконченной, а вскоре – «Исповедь».

В «Исповеди» Толстой писал: «Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни – и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости».

Как в «Записках мужа», так и в «Исповеди», богатство и власть рассматриваются как ложные и пагубные идеалы молодости. Но «Исповедь» Толстой писал в состоянии внутреннего отстранения от минувшего, переоценивая свою жизнь в свете выстраданных им новых нравственно-философских убеждений. В «Записках мужа» «из дна» Толстого мучил «огонь воспоминаний», которые не могли еще выстроиться в цельную картину внутренней жизни.

«ОН НЕ МОГ НИ УЕХАТЬ, НИ ОСТАВАТЬСЯ...»

Начало: «Он не мог ни уехать, ни оставаться...»

Впервые: *Юб.*, т. 5, с. 222.

Рукописный фонд составляет 2 листа.

Печатается по автографу.

Отрывок без заглавия был написан Толстым на сдвоенном листе F^o. Текст занимает половину страницы (л. 1). На обороте второго листа более поздняя, судя по почерку, запись: «Начала, отрывки, непосл(анные) письма». Здесь же вдоль левого края страницы карандашом нарисованы строчные и прописные буквы.

В пятом томе Юбилейного собрания сочинений Л.Н. Толстого, где впервые опубликован «Отрывок без заглавия», он был прокомментирован следующим образом: «Приблизительная дата написания этого отрывка, носящего автобиографический характер, может быть установлена путем сближения его с некоторыми записями дневника Толстого 1856–1857 годов, где нашло себе выражение аналогичное настроение, вызванное отношением Толстого к княгине Александре Алексеевне Оболенской, урожденной Дьяковой, сестре его друга» (*Юб.*, т. 5, с. 328).

Как видно из содержания комментируемого отрывка, в нем был намек на зарождающуюся любовь, который предполагал дальнейшее объяснение: «влюблен», «хочет жениться», хотя такие слова «не допускались». Однако, несмотря на испытанное увлечение, у Толстого, судя по его дневнику, и не возникало предположения о возможной женитьбе на А.А. Оболенской – она была уже замужем. И мысль о том, кто «не довел своих отношений до сознания», не посещала его.

Более правдоподобным представляется другое объяснение истоков этого неосуществленного замысла. Прежде всего обращает на себя внимание первая фраза, в которой упоминается вечер у Пушкиновых. Хорошо известно, что Толстой часто использовал реальные имена, почти не изменяя их (особенно характерный пример из «Войны и мира»: Волконский – Болконский). В данном случае напрашивается аналогия: вечер у Пушкиновых – вечер у Сушковых. В дневнике Толстого 1857–1858 гг. встречаются записи: «Вечер у Сушковых. Тютчева мила» (январь 1857); «Вечером у Сушковых, приятно» (2 ноября 1857); «Вечер у Сушковых, приятно в кабинете» (28 ноября 1857); «У Сушковых очень приятно» (26 декабря 1857).

У Сушковых, Н.В. Сушкова и Д.И. Сушковой, сестры Ф.И. Тютчева, жила дочь поэта – Е.Ф. Тютчева. Дневниковые записи Толстого отразили его зарож-

давшееся увлечение Екатериной Федоровной. «Тютчева начинает спокойно нравиться мне» (31 декабря 1857); «Тютчева. Занимает меня неотступно» (19 января 1858); «...не перестаю, думаю о ней» (20 января 1858); «Был у Тютчевой, ни то, ни сё, она дичится» (8, 9, 10 марта 1858); «Вечер у Сушковых. Увы, холоден к Тютчевой» (28 марта 1858); «Я почти был готов без любви спокойно жениться на ней, но она старательно холодно приняла меня» (15 сентября 1858). Е.Ф. Тютчева, по словам Толстого, «прекрасная девушка», но «слишком оранжевое растение» (письмо к А.А. Толстой от 14 мая 1861). Она могла «спокойно нравиться» Толстому, даже «неотступно» занимать его воображение, но слова признания так и не были произнесены. Темы их разговоров питала философская почва, философская *terrain*, как записал Толстой в дневнике 18 сентября 1858 г.

Приведенные суждения и отзывы Толстого своей основной тональностью напоминают текст отрывка: «Он не мог ни уехать, ни оставаться...» (ср. с дневниковой записью Толстого – «ни то, ни сё»); «Вообще между ними говорилось и думалось тонко, очень тонко, изящно. Грубые слова: влюблен, хочет жениться или выйти замуж, обманул, сделал предложение и т. п., не только слова, но и понятия не допускались» (ср. с другой дневниковой записью – «Только на философской *terrain* мы понимали друг друга»). «Она ли отказала ему, он ли ей?» Такой вопрос может возникнуть и у читателя дневника Толстого: «Увы холоден к Тютчевой», «...она старательно холодно приняла меня».

Сделанные сопоставления текста отрывка и дневниковых записей Толстого дают основание предполагать, что этот отрывок был написан в 1857–1858 гг.

Говоря об автобиографическом характере отрывка, не следует преувеличивать его. Дневниковые записи Толстого необходимы не столько для того, чтобы констатировать автобиографический характер этого отрывка, сколько для установления его датировки, а также возможного импульса к возникновению творческого замысла. В нем отчетливо проявилась склонность Толстого к уяснению всех оттенков психологического анализа.

СКАЗКА О ТОМ, КАК ДРУГАЯ ДЕВОЧКА ВАРЕНЬКА СКОРО ВЫРОСЛА БОЛЬШАЯ

Впервые: *Толстой Л.Н.* Неизданные рассказы и пьесы / Под ред. С.П. Мельгунова, Т.И. Полнера, А.М. Хирьякова (по копиям, сделанным «Товариществом по распространению и изучению творений Л.Н. Толстого» с оригиналов, принадлежащих «Задруге»). Изд. Н.П. Карбасников. Париж, 1926. С. 79–90; перепечатано: *Лев Толстой.* Неизданные художественные произведения. М., 1928. С. 217–227 и *Юб.*, т. 5, с. 223–229.

Рукописный фонд составляет 3 листа.

Печатается по автографу.

«Сказка о том, как другая девочка Варенька скоро выросла большая» посвящена Вареньке – дочери сестры Л.Н. Толстого, Марии Николаевны.

Летом 1857 г. Толстой узнал о разводе В.П. и М.Н. Толстых. «Эта новость задушила меня», – записал он в дневнике 20 июля. Огорченный известием Толстой прервал свое заграничное путешествие и стал строить планы будущей со-

вместной жизни с сестрой. «И, хоть зная вперед, что меня ожидает разочарование, такую придумал себе невольно далекую от действительности, прекрасную жизнь, что действительность больно подействовала на меня», – писал он В.П. Боткину 21 октября. Толстой не переставал сердечно заботиться о племянниках: Вареньке, Николеньке и Лизаньке. В дневнике нередко записи: «дети милы», «я поехал с детьми», «возился с детьми», «дети чудо» (август – сентябрь 1857 г.).

8 августа, приехав в Ясную Поляну записал в дневнике: «Вот как дорогой я ограничил свое назначение: главное, литературные труды, потом семейные обязанности, потом хозяйство...» До начала 1859 г. в дневнике и письмах упоминается о детях, их здоровье, образовании, учителях. «В нашей детской жизни он играл большую роль. Он часто брал нас на прогулки; звал он нас “пиндигашками”», – вспоминала Лизанька – Е.В. Оболенская-Толстая в очерке «Моя мать и Лев Николаевич» (Октябрь. 1928. № 9/10. С. 210).

12 ноября 1857 г. Толстой записал в дневнике: «В театр с детьми. Они заснули». Этот случай, как предположил Н.Н. Гусев, «подал Толстому повод написать детскую сказочку» (Гусев, II, с. 270).

В «Сказке...», несомненно, нашли отражение также и собственные детские впечатления Толстого от первого посещения театра 9 ноября 1837 г. «Когда меня маленького в первый раз взяли в Большой театр в ложу, я ничего не видал: я все не мог понять, что нужно смотреть вбок на сцену, и смотрел прямо перед собой на противоположные ложи», – рассказывал он А.Б. Гольденвейзеру (*Гольденвейзер*, с. 130). В «Войне и мире» Наташа Ростова также внимательно разглядывает ложи и партер оперного театра, и ей «дико и удивительно» все, что происходит на сцене. В «Сказке...» впервые приведенные в театр дети не знают, что главное действие происходит на сцене, им «веселей смотреть на ложи и на люстру и особенно на соседку девочку и мальчика, чем на самый театр».

Датировать набросок помогает упоминание в нем балета А. Адана «Корсар». Его первая постановка состоялась на сцене Большого театра в Москве 3 ноября 1858 г. (Театральная энциклопедия. М., 1964. Т. 3. С. 217).

Толстой приехал в Москву с детьми 13 декабря. Перед отъездом в Ясной Поляне «привел в порядок бумаги», отметив в дневнике: «после обеда займусь маленькими» (6 декабря 1858), т. е. другими набросками, помимо «Казачков». Вполне возможно, что в числе «маленьких» была и «Сказка...», «первый опыт Толстого в работе над рассказами для детей» (Гусев, II, с. 271).

С. 390. «*Наяда и рыбак*» – Балет в шести картинах Ц. Пуни. В Москве был впервые представлен на сцене Большого театра 27 ноября 1857 г.

Мы, мамаша? – 5 ноября 1853 г., когда ее сыну было всего три года, а младшей дочери не исполнилось и двух лет, М.Н. Толстая писала, что дети называют ее мамашей: «...младшая... постоянно говорит няне: “Пойдем к мамаше”, а Николенька, когда видит на дворе какой-нибудь экипаж, сейчас в слезы и говорит: “Мамаша опять хочет от нас уехать”» (Переписка Л.Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990. С. 150).

С. 392. ...в канаусовой сизой рубашке... – Канаус – ткань из шелка-сырца.

...коки... не пригладились... – Кок – торчащий вихор.

С. 393. Девочка в пуклях... – Пукля – букля, локон.

С. 395. «*Волшебная флейта*» – опера В.А. Моцарта (1791).

(СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Впервые: *Юб.*, т. 5, с. 230–231.

Рукописный фонд составляет 1 лист.

Печатается по автографу.

Отрывок, судя по дневнику Толстого, возник 27 марта 1858 г. В дневнике присутствует и «рабочее» название произведения, намеченного этим фрагментом: «Писал Светлое Христово Воскресенье». Новый творческий замысел Толстому подсказали впечатления пасхальной ночи 1858 г. и собственные переживания, испытанные им при виде народного торжества. 22 марта писатель кратко отметил обстоятельства, при которых он встретил наступивший праздник: «Пошел к Коршу и на площадь в Кремль. Глазеющий народ. Зашел в церковь. Хорошо. Христос Воскресе!» На следующий день в записной книжке Толстого появилась более развернутая картина минувшей ночи, где одновременно с описанием действительных событий угадывается план художественного произведения: «Заутреня. Я не одет, иду домой. – Толпы народа по мокрым тротуарам. Я не чувствую ничего, что дала жизнь взамен. Истину. Да она не радуется, истина. А было время. Белое платье, запах вянувшей ели. Счастье». По мнению Н.Н. Гусева, пасхальная заутреня вызвала у Толстого на этот раз воспоминания о таком же праздничном богослужении весной 1848, 1850 или 1851 г. и каком-то давнем юношеском увлечении (см.: *Гусев, II*, с. 286). Между тем слова «запах вянувшей ели», скорее, относятся к рождественским, нежели к пасхальным воспоминаниям. Очевидно, впечатления сегодняшнего дня просто напомнили Толстому какое-то богослужение, пасхальное или рождественское, из времен его юности. В то же время, молодые эмоции оказались неотделимы в памяти писателя от пасхального ликования, чувства своего единства, позднее утраченного, с русским православным миром.

Главное содержание отрывка составил контраст между «готовящейся, собирающейся народной радостью» и состоянием героя, внутренне отчужденного от наступающего праздника. Во многом здесь отразились непростые обстоятельства духовной жизни Толстого на рубеже 1850–1860-х годов. Несмотря на то, что в 1857 г. писатель, находясь в Женеве, ходил на Пасху причащаться в русскую церковь, его внутренний мир той эпохи был отмечен духом смятения и неустроенности. В письме к А.А. Толстой, отправленном в пасхальные дни 1858 г., за несколько дней до появления отрывка, одновременно с поздравлением «Христос Воскресе!» содержатся горькие признания художника: «Как ни смотришь на себя – все мечтательный эгоист, который и *не может* быть ничем другим. Где ее взять – любви и самопожертвования, когда нет в душе ничего, кроме себялюбия и гордости?» Следующей весной пасхальная тема снова возникнет в переписке Толстого и его глубоко верующей двоюродной тетки. На этот раз писатель поставит А.А. Толстую в известность, что он, повинувшись непосредственному чувству, отказался от начатого было говения: «Я могу есть постное, хоть всю жизнь, могу молиться у себя в комнате, хоть целый день, могу читать Евангелие и на время думать, что все это очень важно; но в церковь ходить и стоять слушать непонятые и непонятные молитвы, и смотреть на попа и на весь этот разнообразный народ кругом, это мне *решительно невозможно*. И от этого вот второй год уж осекается мое говенье». В итоге между корреспондентами произойдет на время омрачивший их отношения резкий обмен мнениями по вопросам исповедания веры. В то же время на протяжении многих десятилетий Толстой периодически будет искать пути примирения с Церковью.

Герой незаконченного произведения 1858 г. между тем не уместается только в рамки автобиографического сюжета. Он представляет собой вполне характерную для своего времени фигуру европейски образованного молодого атеиста. «Только люди пожилые, семейные и не имеющие постоянных отношений с светской молодежью нынешнего века, – говорилось в одном из ранних вариантов повести Толстого “Детство”, – могут не знать, что большая часть этой молодежи ни во что не верит...» В то же время отрывок точно передает душевное движение героя от полного безразличия к предстоящему торжеству и попыток оправдать себя к воскресению «старого забытого чувства праздника», стыду за свое добровольное одиночество и стремлению разделить со всеми общую радость.

Несмотря на то, что работа писателя ограничилась в этом случае созданием небольшого отрывка, в нем оказалась затронута «узловая» для творчества Толстого проблема веры и неверия. С другой стороны, поэтические приемы изображения пасхальной ночи, акцентирование своеобразного «роевого чувства», которое увлекает в Кремль массы народа, восходили именно к толстовскому религиозному идеалу и предвосхитили многие картины духовно значимых событий народной жизни в позднейших произведениях писателя. Много лет спустя неосуществленный замысел 1858 г. получил также и прямое свое развитие в описании пасхальной заутрени из романа «Воскресение», где была «она», был юный влюбленный герой, было счастье единения героя и народного мира – вскоре затем разрушенное.

С. 398. *В университет...* – Имеется в виду университетский храм Святой мученицы Татьяны.

На Никитской... – Большая Никитская улица – одна из древнейших в Москве на месте дороги от Кремля на Великий Новгород. Название получила по основанному в XVI в. женскому Никитскому монастырю.

С. 399. *У Никитского монастыря...* – см. выше.

...по глянцевитому тротуару Александровского сада... – Александровский сад, созданный в 1819–1822 гг., составляют три сада: Верхний, Средний и Нижний и три аллеи, параллельные стене московского Кремля.

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

Впервые: *Толстой Л.Н. Избранные произведения*. М.; Л., 1927. С. 119–123. Рукописный фонд составляет 6 листов.

Печатается по автографу.

Лето 1858 г. Толстой полностью провел в Ясной Поляне в занятиях сельским хозяйством. 19 июля в его дневнике отмечено: «Не пишу, не читаю, не думаю. Весь в хозяйстве». В последней декаде августа Толстой извинялся перед Б.Н. Чичериным: «Не писал я тебе от того, что с приезда моего в деревню и до сей минуты буквально не брал пера в руки – сеял, косил, жал и т. д. – тоже буквально». О том же он сообщал А.А. Толстой: «...Целое лето я с утра до вечера пахал, сеял, косил и т. д.». Действительно, писатель не только руководил делами своего имения, но и сам занимался крестьянским трудом. Осенью после посещения в Москве гимнастического зала он с удовлетворением отметил на страницах дневника, что «сильно посвежел».

Между тем текущие хозяйственные заботы, постоянное, порой не лишнее внутреннее конфликтности соприкосновение с крестьянским миром поре-

форменной эпохи порождали у Толстого не до конца определенные творческие планы. Еще 22 июля он заметил по этому поводу: «Приходит мысль описать нынешнее лето. Какая форма выйдет». В сентябре Толстой ненадолго поехал в Москву. Здесь летний замысел получил развитие. 15 сентября писатель отметил в дневнике: «Обещал Коршу описание лета: но узость задачи претит мне...»

Вероятно, описание было обещано Евгению Федоровичу Коршу (1809–1897) для журнала «Атеней», который он издавал с января 1858 г. С Коршем писатель довольно близко сошелся минувшей весной, о чем свидетельствуют его письмо издателю «Атеней», отправленное в мае, и особенно ответное письмо Корша к нему. В переписке за 1858 г. Толстого и Б.Н. Чичерина, знакомого с Е.Ф. Коршем со студенческих лет, содержится интересный обмен мнениями об этом человеке. Сам Чичерин всячески старался поддержать новое издание и поместил в «Атенее» несколько статей, в том числе статью «О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян».

Толстой, судя по всему, тоже согласился в разговоре с Коршем написать на материале прошедшего лета актуальную статью, что и вызвало у него почти немедленно смущение «узостью задачи». 16 сентября, на следующий день после данного им обещания, Толстой отметил: «Описание лета не пойдет».

Впечатления, полученные Толстым от летней деятельности в деревне, были слишком богаты и многообразны для того, чтобы стать предметом публицистического очерка. В августовском письме Чичерину Толстой пояснял: «Как я провел нынешнее лето? Трудно сказать и на словах, не только в письме. (...) Построить свой честный мирок среди всей окружающей застарелой мерзости и лжи стоит чего-нибудь, и главное успеть – дает гордую радость. Быть испытуемым на каждом шагу употребить власть против обмана, лжи, варварства и, не употребляя ее, обойти обман – штука! И я сделал ее. Зато и труда было много; зато и труд вознагражден; во-первых, самим трудом и огромным новым содержанием, почерпнутым мною в это лето. В чем оно, не расскажешь, но следы его всякий человек, любящий меня, увидит легко на мне...»

Свою деятельность помещика, судя по этому письму, Толстой расценивал прежде всего с точки зрения нравственной. Актуальное сочинение по вопросам хозяйственной жизни не могло вместить «огромного нового содержания», которое, по убеждению писателя, он вынес из летних трудов.

Точная дата возникновения отрывка «Лето в деревне» остается неясной. Логично предположить, что начало очерка Толстой набросал в Москве сразу после разговора о его создании 15 или 16 сентября. Именно этот опыт мог послужить поводом для утверждения в дневнике Толстого: «Описание лета не пойдет». Между тем на титульном листе рукописи отрывка проставлена дата: «1858 года, 20 сентября». Написанное ранее заглавие «Беглец» переправлено тут на «Лето в деревне». Такая же правка сохранилась и в начале рукописного текста. Предположительно Толстой использовал в этом случае бумагу, заготовленную для работы над повестью «Казаки» – в ранней редакции «Беглец». Между тем 20 сентября Толстой только вернулся из Москвы в Ясную Поляну. В дневнике за этот день кратко отмечено: «Приехал. Устал. Не любил и не трудился». Возможно, впрочем, что небольшой отрывок появился именно тогда и просто не казался Толстому достойным упоминания.

К продолжению очерка Толстой не возвращался. Тем не менее, незавершенный отрывок много лет спустя отчасти получил развитие в одной из сюжетных линий романа «Анна Каренина». Нравственным отношением к хозяйственной деятельности характеризуется в романе Константин Левин.

С. 400. ...изложенные в *Рескрипте*... – 20 ноября 1857 г. Александром II был дан высочайший рескрипт виленскому генерал-губернатору В.И. Назимову, в котором дворянству трех северо-западных губерний разрешалось приступить к составлению проектов «об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян». Рескриптом утверждалось право помещиков на владение землей одновременно с правом крестьян на выкуп той земли, которая находится в их пользовании. Это событие положило начало крестьянской реформе в России.

С. 402. *Тягло* – хозяйственная единица, состоящая из рабочей крестьянской семьи.

Бурмистр – В.Е. Зябров, несколько лет управлявший яснополянским имением; впоследствии – сельский староста. Он же фигурирует в «Дневнике помещика».

3-го апреля я приехал... – Судя по дневнику, Толстой приехал в Ясную Поляну в ночь с 9 на 10 апреля 1858 г.

Агафья Михайловна – крепостная горничная бабки Л.Н. Толстого Пелагеи Николаевны. В дальнейшем она стала экономкой в Ясной Поляне. Это реальное лицо отчасти получило отражение в образах Натальи Савишны в повести «Детство» и Агафьи Михайловны – няни и экономки Левина в романе «Анна Каренина».

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н. ТОЛСТОГО

- «Азбука» – 413
- «Альберт» («История Кизеветера», «Кизеветер», «Музыкант», «Поврежденный», «Погибший», «Пропавший») – 150–174, 409, 411, 415, 417, 437, 444, 450, 458, 462, 466–484, 487, 505, 557, 558
- «Анна». См. «Семейное счастье»
- «Анна Каренина» – 411, 412, 420, 421, 450, 506, 507, 509, 555, 556
- «Беглец». См. «Казаки»
- «Беглый казак». См. «Казаки»
- «Венгерка» (замысел) – 444
- «Власть тьмы» – 420
- «Военные рассказы» – 459, 481
- «Война и мир» («1805-й год») – 411, 412, 418, 420, 450, 459, 480, 506–509, 550, 552
- «Воскресение» – 411, 412, 420, 441, 463, 509, 554
- «Воспоминания» – 529
- «Встреча в отряде». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный»
- «Встреча в отряде с московским знакомым». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный»
- «Встреча в отряде с московским знакомым. Из кавказских записок князя Нехлюдова». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный»
- «Гусары». См. «Два гусара»
- «Гуськов». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный»
- «Два гусара» («Гусары», «Отец и сын») – 7–56, 409, 410, 412, 414–427, 508, 528, 558
- «Дворянское семейство» («Родительская любовь») – 343–349, 409, 534–539, 557, 558
- «Декабристы» – 412
- «Детство» – 420, 450, 459, 481, 489, 505, 509, 512, 514, 519, 554, 556
- «Детство и отрочество» – 420, 459, 489
- «Детский круг чтения». См. «На каждый день»
- «Дневник кавказского офицера». См. «Рубка леса»
- «Дневник офицера» (замысел) – 530
- «Дневник помещика» («Черновое письмо гр. Блудову») – 329–338, 409, 527–534, 556–558
- «Дневник путешествия». См. «Отрывок дневника 1857 г.»
- Дневники и записные книжки – 409–415, 418, 421, 425, 427–431, 433, 434, 437, 438, 444–446, 448–450, 453–456, 466–474, 476–479, 485–488, 497, 500, 503, 512–515, 519–525, 527, 528, 530–542, 544–546, 548–556
- «Дядюшкино благословенье» – 350–352, 409, 535, 539–544, 558
- «Живой труп» – 536
- «Зараженное семейство» – 411, 544
- «Записки маркера» («Рассказ маркера», «Самоубийца») – 415, 417, 451
- «Записки мужа» – 386, 387, 409, 549, 558
- «Записки русского помещика». См. «Роман русского помещика»
- «Записки фейервейкера». См. «Рубка леса»
- «Записки юнкера». См. «Рубка леса»
- «Избранные произведения» (под редакцией М.А. Цявловского). М.: Л., 1927 – 512, 527, 554
- «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» («Люцерн») – 126–149, 409–412, 415, 417, 419, 436, 437, 450, 451, 453–466, 473, 478, 505, 545, 546, 557, 558
- «Из кавказских воспоминаний». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный»
- «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» («Встреча в отряде», «Встреча в отряде с московским знакомым», «Встреча в отряде с московским знакомым. Из кавказских записок князя Нехлюдова», «Гуськов», «Из кавказских воспоминаний», «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный N», «Из кавказских записок. Встреча в отряде с московским знакомым», «Пропавший человек», «Разжалованный») – 102–125, 409, 415, 443–453, 455, 487, 557, 558
- «Из кавказских записок. Встреча в отряде с московским знакомым». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный»
- «Исповедь» – 412, 490, 549
- «История Кизеветера». См. «Альберт»
- «Кавказские очерки». См. «Очерки Кавказа»
- «Кавказский роман». См. «Казаки»
- «Казак». См. «Казаки»

- «Казачья поэма». См. «Казачья поэма» – 411, 420, 441, 444, 450, 471, 473, 488, 506, 519, 534, 549, 552, 555
- «Казачья поэма». См. «Казачья поэма»
- «Как умирают русские солдаты» («Тревога») – 444
- «Как четвертого числа...» («Севастопольская песня») – 532
- «Кизиветер». См. «Альберт»
- «Комедия из Оленькиной жизни». См. «Свободная любовь»
- «Крейцеров соната» – 508, 509
- «Круг чтения» – 456
- «Л.Н. Толстой. Переписка с русскими писателями» – 408, 409, 444–446, 488, 497, 502, 503, 505
- «Лев Толстой и В.В. Стасов. Переписка. 1878–1906» – 420, 493
- «Лето в деревне» – 400–404, 409, 554–558
- «Любовь». См. «Семейное счастье»
- «Люцерн». См. «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн»
- «Метель» – 409, 415, 417
- «Молодость» (замысел) – 524
- «Моя жизнь» («Первые воспоминания») – 549
- «Музыкант». См. «Альберт»
- «На каждый день» (Детский круг чтения) – 413
- «Набег» («Описание войны», «Письмо с Кавказа», «Рассказ волонтера») – 417, 515, 519
- «Не могу молчать» – 463
- «Неизданные рассказы и пьесы». М., 1928 г. – 551
- «Неизданные художественные произведения» (вступительная ст. А. Грузинского и В. Саводника). М., 1928 – 551
- «О жизни» – 490
- «О цели философии» – 439
- «Он не мог ни уехать, ни оставаться...» – 388, 389, 409, 413, 550, 551, 557, 558
- «Описание войны». См. «Набег»
- «Отец и сын». См. «Два гусара»
- «Отрочество» – 420, 459, 481, 489, 505, 509, 514, 519, 520
- «Отрывок без заглавия». См. «Он не мог ни уехать, ни оставаться...»
- «Отрывок дневника 1857 г.» («Дневник путешествия», «Путевые записки») – 365–385, 409, 471, 545–549, 557, 558
- «Отрывок из дневника штабс-капитана А. пехотного Л. Л. Полка» – 530
- «Отъезжее поле» – 467, 473, 525, 538
- «Очерки Кавказа» («Кавказские очерки», «Рассказы о Кавказе») – 513, 514, 519
- «Очерки Севастополя». См. «Севастопольские рассказы»
- «Первые воспоминания». См. «Моя жизнь»
- «Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой». СПб., 1911, изд. Общества Толстовского музея – 408, 453, 454, 479, 487, 547
- «Переписка Л.Н. Толстого с сестрой и братьями» – 519, 552
- «Письмо с Кавказа». См. «Набег»
- «Плоды просвещения» – 420
- «Повести Лизаветы Белкиной» (замысел). См. «Семейное счастье»
- «Поврежденный». См. «Альберт»
- «Поликушка» – 506
- Полное собрание сочинений: В 90 т. (Юбилейное издание). М.; Л., 1928–1958 – 408, 415, 424, 447, 454, 466, 474, 497, 512, 525, 527–530, 532, 534, 535, 537, 539, 542, 543, 545, 549–551, 553
- Полное собрание сочинений (на французском языке; 1902–1913) – 421, 441, 452, 464, 495, 509
- Полное собрание сочинений: В 100 т. М., 2000–. – 415, 430, 431, 434, 444, 447, 474, 476, 479, 483, 518, 520, 523, 524, 530, 555
- «Помещице утро». См. «Утро помещика»
- «Погибший». См. «Альберт»
- «Помещик (Отрывок)». См. «Роман русского помещика»
- «Практический человек» – 353–357, 409, 537–542, 557, 558
- «Пропащий». См. «Альберт»
- «Пропащий человек». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный»
- «Путевые записки». См. «Отрывок дневника 1857 г.»
- «Разжалованный». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный»
- «Рассказ волонтера». См. «Набег»
- «Рассказ маркера». См. «Записки маркера»
- «Рассказы о Кавказе». См. «Очерки Кавказа»
- «Родительская любовь». См. «Дворянское семейство»

- «Роман». См. «Роман русского помещика»
- «Роман помещика». См. «Роман русского помещика»
- «Роман русского помещика» («Роман», «Помещик (Отрывок)», «Записки русского помещика», «Роман помещика», «Русский помещичий роман») – 261–328, 409, 410, 412, 413, 427–434, 512–528, 534, 557, 558
- «Рубка леса» («Дневник кавказского офицера», «Записки фейервейкера», «Записки юнкера», «Рубка леса. Дневник кавказского офицера») – 435, 444
- «Рубка леса. Дневник кавказского офицера». См. «Рубка леса»
- «Русский помещичий роман». См. «Роман русского помещика»
- «Самоубийца». См. «Записки маркера» («Светлое Христово Воскресенье») – 398, 399, 409, 553, 554, 558
- «Свободная любовь» («Комедия из Оленькиной жизни») – 358–364, 409, 540–544, 558
- «Севастопольская песня». См. «Как четвертого числа...»
- «Севастопольские рассказы» – 409, 410, 420, 450, 459, 480, 505, 508
- «Семейное счастье» («Любовь», «Анна», «Повести Лизаветы Белкиной» «Katia», «Macha») – 187–258, 409, 412, 417, 450, 487, 488, 496–511, 534, 535, 540, 557, 558
- «Сказка о том, как другая девочка Варенька скоро выросла большая» – 390–397, 409, 551, 552, 557, 558
- «Смерть Ивана Ильича» – 441, 462, 490–495, 508
- Собрание сочинений Л.Н. Толстого 1866 г. – 504
- Собрание сочинений Л.Н. Толстого 1873 г. – 504
- Собрание сочинений Л.Н. Толстого 1880 г. – 504
- Собрание сочинений Л.Н. Толстого (на немецком языке, 1891–1893) – 452, 496
- Собрание сочинений Л.Н. Толстого в 24 томах (на английском языке, 1904–1905) – 495
- «Сон» – 474, 497
- Сочинения гр. Л.Н. Толстого в двух частях. Изд. Ф. Стелловского. СПб., 1864 – 409, 447
- «Тревога». См. «Как умирают русские солдаты»
- «Три смерти» – 175–186, 409, 411, 412, 415, 450, 478, 485–496, 498, 505, 557, 558
- «1805-й год». См. «Война и мир»
- «Утро помещика» («Помещичье утро») – 57–101, 409–413, 415, 427–443, 444, 450, 451, 459, 482, 507, 525, 557, 558
- «Фантастический рассказ» – 339–343, 409, 530–533, 538, 558
- «Холстомер» – 495
- «Черновое письмо гр. Блудову». См. «Дневник помещика»
- «Четыре эпохи развития» – 481, 514, 524
- «Что такое искусство?» – 508
- «Юность» – 409, 413, 415, 434, 450, 459, 481, 534, 538
- «Katia». См. «Семейное счастье»
- «Macha». См. «Семейное счастье»

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

- Аван* (Avant). См. Лез-Аван.
- Агафья Михайловна* (1806–1896), крепостная горничная бабки Толстого, П.Н. Толстой, позднее экономка в Ясной Поляне – 556
- Адан* (Adam) Адольф Шарль (1803–1856), французский композитор – 552
«Корсар» (балет, 1856) – 395, 552
- Азия* – 493
- Айхенвальд* Юлий Исаевич (1872–1928), литературный критик – 420, 493, 508
«Силуэты русских писателей» (1906–1910) – 420, 493, 508
- Акриевский*, поляк, сосланный в начале 1830-х годов на Кавказ – 449
- Аксаков* Константин Сергеевич (1817–1860), публицист, критик, поэт, сын С.Т. Аксакова – 418, 501
- Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель – 474, 477, 478
- Аксаковы* – 409
- Александр I* Павлович (1777–1825), российский император с 1801 г. – 8, 420, 423, 425
- Александр II* Николаевич (1818–1881), российский император с 1855 г. – 529, 530, 556
- Александр*, принц Гессенский (1823–1888), брат императрицы Марии Александровны, жены Александра II – 465
«Александр, Елисавета...», полонез на музыку О.А. Козловского на стихи Г.Р. Державина – 18, 425
- Александровский сад* в Москве, близ Кремля – 399, 554
- Алжир* – 465
- Алмазов* Борис Николаевич (1827–1876), критик, поэт, переводчик – 481, 482
«Взгляд на русскую литературу в 1858 г.» – 481, 482
- Альер* (Alières), д. – 375, 377, 378, 548
- Альпы* (Alpes), горы – 545, 547
- Америка*. См. Соединенные Штаты Америки.
- Англия* (Великобритания) – 423, 465, 511
- Андерсен* (Andersen) Ханс Кристиан (1805–1875), датский писатель – 413
«Новое платье короля» (1835–1837) – 413
- Андреевич*. См. Соловьев Е.А.
- Анненков* Павел Васильевич (1813–1887), критик, историк литературы, прозаик, мемуарист – 409, 410, 412, 416, 421, 422, 435, 444, 445, 457, 468, 472, 474, 477, 478, 490, 529, 547
- Анненский* Иннокентий Федорович (1855–1909), поэт, критик, драматург, переводчик – 461
«Книга отражений» (1906–1909) – 461
- Апель* (Apel) Иоханн Август (1771–1816), немецкий юрист и писатель – 484
- Аполлон*, греческое божество, сын Зевса и Латоны; покровитель науки и искусства – 461
- Ар* (Ahr, Ape), приток Рейна – 548, 549
- Арденны* (Ardennes), горы – 548
- Арговия* (Argovie), один из северных кантонов в Швейцарии – 133, 137, 465
- Аргун*, река на Северном Кавказе – 113
- Аре*. См. Ар.
- Аркадия*, область в центральной гористой части Пелопоннеса в Греции. В античной литературе и позднее (главным образом в пасторальных XVI–XVIII вв.) Аркадию изображали странной райской невинности, патриархальной простоты нравов (отсюда переносное значение этого слова) – 439
- Арсеньев* Владимир Михайлович (1810–1853), гвардейский поручик, помещик с Судакова (в 7 км от Ясной Поляны); отец В.В. Арсеньевой – 497, 539
- Арсеньев* Николай Владимирович (1846–1907), тульский, орловский помещик; брат В.В. Арсеньевой – 540
- Арсеньева* Валерия Владимировна (1836–1909, в первом браке Талызина, во втором Волкова), дочь В.М. Арсеньева. Толстой был ею увлечен и хотел на ней жениться – 429, 444, 497, 504, 533, 535, 537, 540, 541, 543, 544
- Арсеньева* Евгения Владимировна. См. Липранди Е.В.
- Арсеньева* Евгения Львовна (урожд. Щербачева; 1808–1856), мать В.В. Арсеньевой – 539, 540
- Арсеньева* Ольга Владимировна. См. Енгальчева О.В.
- Арсеньевы* – 530, 535
«Артист», театральный, музыкальный и художественный журнал, изд. в Москве в 1889–1895 гг. – 440, 508

- Архангельск**, г. – 529
«Архив села Карабиха». Письма Н.А. Некрасова и к Некрасову. М., 1916 г. – 458, 481
- Астафьев** Петр Евгеньевич (1846–1893), философ-публицист – 419
«Учение графа Л.Н. Толстого в его целом» (1890, 1892) – 419
«Атеней», еженедельник, изд. Е.Ф. Коршем с 1858 г. – 555
- Афганистан** – 452
Африка – 146, 493
- Бабарыкин**. См. Боборыкин К.Н.
- Баден-Баден** (Baden-Baden), город-курорт в герцогстве Баденском (Германия) – 247, 455
- Байрон** (Byron) Джордж Ноэл Гордон, лорд (1788–1824), английский поэт – 548
«Шильонский узник» (1816) – 548
- Баржер** (Bargeret) Гюг, автор статьи-отклика на смерть Л.Н. Толстого в **«Evènement»** (Париж) – 509
- Басистов** Павел Ефимович (1823–1882), педагог, критик **«Отечественных записок»**, **«Санкт-Петербургских ведомостей»** – 435
- Бахус** (Bacchus), в греческой мифологии бог вина – 272
- Белинский** Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик, публицист – 472
- Беллини** (Bellini) Винченцо (1801–1835), итальянский композитор – 483, 484
«Сомнамбула» (**«Невеста-лунатик»**), опера – 161, 483, 484
- Бельбек**, река в Крыму – 339, 530, 533
- Бёме** (Boehme) Эрих, немецкий критик – 465
«Der Sanger in L. Tolstojs Wiggertal Hinterland “Luzern”» – 465
- Бенедиктов** Владимир Григорьевич (1807–1873), поэт, переводчик – 424
- Берлин** (Berlin), г. – 178, 365, 421, 453, 483, 546
- Берн** (Bern), столица Швейцарии – 453, 473, 545, 548, 549
- Бернский Оберланд** (Bernes Oberland), высочайший горный массив Центральных Альп – 380, 548
- Бернштейн** Николай Давидович (р. 1876), музыкальный критик – 461
«Мысли Л.Н. Толстого о музыке» – 461
- Берс** Андрей Евстафьевич (1808–1868), врач придворного ведомства, тесть Л.Н. Толстого – 504, 505
- Берс** (урожд. Иславина) Любовь Александровна (1826–1886), мать С.А. Толстой – 505
- Берс** Софья Андреевна. См. Толстая С.А.
- Берсы** – 505
- Бестужев-Марлинский** Александр Александрович (псевд. Марлинский; 1797–1837), прозаик, критик, поэт – 418, 511
- Бетховен** (Beethoven) Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор – 161, 191, 510
«Лунная соната» (**«Quasi una fantasia»**) – 191, 510
«Библиотека для чтения», журнал «словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод»; изд. в Петербурге в 1834–1865 гг.; редактор в 1856–1859 гг. – А.В. Дружинин – 409, 415–417, 443–446, 449, 450, 478, 485, 487, 488, 497, 544
- Бишток** (Bienstock) Ж.-В. (Владимир Львович) (1868–1933), переводчик – 421, 441, 452, 464, 483, 495, 509
«Биржевые ведомости», газета; изд. в Петербурге в 1880–1917 гг.; изд.-ред. С.М. Проппер, И.И. Ясинский и др. – 480, 493
- Бирюков** Павел Иванович (1860–1931), литератор, биограф Л.Н. Толстого – 407, 412, 419, 421, 449, 450, 452, 456, 483, 485, 488, 495, 497, 504, 509, 531, 546
«Лев Николаевич Толстой. Биография» – 407, 419, 449, 450, 456, 485, 504, 531, 546
- Битовт** Юрий Юлианович (р. 1860-е), библиограф – 494
«Граф Л. Толстой в литературе и искусстве» – 494
- Блюдов** Дмитрий Николаевич, гр. (1785–1864), литератор, дипломат, гос. деятель – 335, 410, 415, 528
- Боборыкин** (Бабарыкин) Константин Николаевич (1829–1904), приятель и сослуживец Толстого в Крыму – 533
- Бозио** (Bosio) Анджелина (1824–1859), итальянская оперная певица – 162
- Большая Никитская**, улица в Москве на месте дороги от Кремля на Новгород; названа по основанному в XVI в. женскому Никитскому монастырю – 398, 554

- Большая Севастопольская бухта* – 533
Большой театр, в Москве – 390, 552
Бомарше (Beaumarchais) Пьер Огюстен (1732–1799), французский драматург – 483
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» – 483
Бонивар (Bonivard) Франсуа (1493–1570), швейцарский политический деятель, гуманист («Шилонский узник») – 548
Борисов Иван Петрович (1824–1871), знакомый Тургенева и Толстого, муж сестры А.А. Фета – 506
Бостон (Boston), г. – 441, 452
Боткин Василий Петрович (1811/1812–1869), очеркист, критик, переводчик – 409, 410, 412–414, 416, 428, 429, 435, 444, 449, 454, 455, 457, 458, 468, 470, 471, 473, 478, 488, 499, 500–503, 546, 547, 552
 «Письма из Испании» (1857) – 546
 «В.П. Боткин и И.С. Тургенев. Неизданная переписка. 1851–1869» – 407, 435, 449, 457, 500
Боцяновский Владимир Феофилович (1869–1943), критик, драматург, историк литературы – 461
 «В Ясной Поляне» – 461
Брандес (Brandes) Георг (1842–1927), датский литературный критик – 463
 «Menschen und Werke. Essays von Georg Brandes» – 463
Бриенцкое озеро (Brienzersee), в Швейцарии, в Бернских Альпах (Бернский Оберланд) – 548
Брокгауза и Ефрона Энциклопедический словарь – 407
Брюкнер (Brückner) Александр, немецкий лирический поэт – 495
 «Geschichte der Russischen Literatur» – 495
Брюс Яков Вилимович, гр. (1670–1735), русский государственный деятель, сподвижник Петра I – 352, 353, 539
Брюсов календарь (1709–1715), издан А. Киприяновым и В. Ростовцевым под наблюдением сподвижника Петра I Я.В. Брюса; предсказания событий до 1821 г. (по книгам Зюгана и Гильдельбрандта) – 353
Булгаков Федор Ильич (1852–1908), журналист, историк литературы, критик – 407, 419, 436, 459, 490, 506, 507
 «Граф Л.Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная» – 407, 419, 436, 459, 490, 506, 507
Бурцов Алексей Петрович (ум. 1813), гусарский офицер, друг Д.В. Давыдова – 424
Бухарест (Bucharest), г. – 532
Валдай, уездный город Новгородской губернии – 423
Вале (Valais, Валлийская долина), долина Роны, от истоков до впадения в Женевское озеро – 368, 371, 374, 376, 547
Валлийская долина. См. Вале.
Варенька. См. Нагорнова В.В.
Варшава (Warszawa), г. – 468
Василий. См. Зябрев В.Е.
Васильев Иван Васильевич (1810–1870-е), гитарист, певец, композитор, участник цыганского хора И.О. Соколова, руководитель хора после смерти Соколова – 424, 426
Вебер (Weber) Карл Мария фон (1786–1826), немецкий композитор и дирижер, музыкальный критик, основоположник романтической оперы – 484
 «Вольный стрелок» («Freischütz»), опера – 166, 484
Вевер (Vevey), курортный поселок на берегу Женевского озера в Швейцарии – 546
Вегис (Weggis), деревня на северном берегу Фирвальдштетского озера, у подножия горы Риги – 138
Великий Новгород, г. – 554
Вена (Wien), г. – 479
Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920), историк русской литературы и общественной мысли, библиограф – 407, 419, 420, 438, 440, 450, 460, 461, 480, 489, 492, 504
 «Энциклопедический словарь» (1901) – 407, 419, 420, 438, 440, 450, 460, 461, 480, 492, 504
Венера (Venus), римская богиня весны, садов, произрастания и расцвета, красоты и любви; отождествлялась с греч. Афродитой – 19
Вересаев Викентий Викентьевич (наст. фам. Смидович; 1867–1945), прозаик, литературовед, поэт-переводчик – 420, 462, 463, 483, 493
 «И да здравствует весь мир! О Льве Толстом» – 420, 462, 463, 483, 493
Верне (Verne), поселение в Швейцарии, примыкающее к Монтрё – 368
Вершинин Н., критик «Санкт-Петербургских ведомостей» – 437
Весин Сергей Павлович (р. 1841), историк литературы, педагог – 437

- «Былое. Из русской жизни и литературы 40–60-х годов» – 437
- «Вестник Европы», историко-политический журнал, изд. в Петербурге в 1866–1918 гг. – 448
- «Вечер», ежедневная газета, изд. в Петербурге в 1908–1909 гг., изд.-ред. И.П. Табурно – 481
- Виардо-Гарсиа* (Viardot-Garcia) Мишель Полина (1821–1910), французская певица, композитор – 161, 484
- Видуэцкая* Ирма Павловна, литературовед – 413
- Вильнёв* (Villeneuve), городок по соседству с Клараном на берегу Женевского озера – 368, 547, 548
- Винер* (Wiener) Лев Соломонович (1862–1939), английский переводчик, издатель, филолог – 421, 441, 452, 464, 483, 495, 510
- «Вниз по матушке по Волге», народная песня – 159
- Во* (Vaud), кантон в Швейцарии – 382, 548
- Воюэ* (Vogüé) Эжен Мельхиор де, виконт (1848–1910), французский писатель и историк литературы, один из первых пропагандистов творчества Толстого во Франции – 494, 495
- «Современные русские писатели. Толстой – Тургенев – Достоевский» (1887) – 494, 495
- «Военный листок» («Солдатский вестник»), задуманный Толстым военный журнал – 444, 532
- «Волжский вестник», ежедневная литературная, политическая, общественная и коммерческая газета; Казань. 1883–1906 гг. – 493
- Волков* Петр Николаевич, флигель-адъютант, полковник, впоследствии генерал-адъютант – 530
- Волконская* Варвара Александровна, княжна (1785–1878), двоюродная сестра матери Л.Н. Толстого – 485
- Волконский* Александр Алексеевич, кн. (1818–1865), камер-юнкер; троюродный брат Толстого – 540
- Волконский* Николай Сергеевич, кн. (1753–1821), дед Толстого по матери, владелец Ясной Поляны – 529
- Вотье* (Votier), хозяйка пансиона в Монтрё – 369, 374
- «Время», ежемесячный литературный и политический журнал, изд. в Петербурге в 1861–1863 гг. М.М. Достоевским при ближайшем участии Ф.М. Достоевского – 410, 417, 450, 459, 490, 505
- Вышний Волочок*, г. – 14
- Вяземский* Константин Александрович, кн. (1852–1903), путешественник. Находился в переписке с Толстым с 1890 г. – 466
- Гайдн* (Haydn) Франц Йозеф (1732–1809), австрийский композитор – 467
- Гальперин-Каминский* (Halpérin-Kaminsky) Илья Данилович (1858–1936), переводчик – 421, 441, 452, 464, 483, 495
- Ганновер* (Hannover), город в северной Германии – 467
- Гарнетт* (Gärett) Констанция (1862–1946), английский филолог, переводчик – 421, 495, 510
- Гассман* (Gassman) А.Л. – 465
- «Das Volkslied im Luzerner Wiggertal und Hinterland» (1906) – 465
- «Das Rigilied, Vo Luzern uf Wäggis zue, sein Entstehung und Verbreitung» (1908) – 465
- Гауф* (Hauff) Л.-А., переводчик – 421, 452, 510
- Гebbель* (Hebbel) Кристиан Фридрих (1813–1863), немецкий драматург и теоретик – 548
- Гегель* (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ – 410, 411
- «Гей вы, улане» («Эй вы, гусары»), русская народная песня – 26, 425, 426
- Гейдельберг*, город в великом герцогстве Баденском, в Германии – 246, 249
- Геннекен* (Hennequin) Эмиль, французский литературный критик – 494
- Герард* Антон Иванович (ум. 1830), действительный член императорского Общества сельского хозяйства – 442
- Германия* – 423, 483, 511
- Герстенберг* (Gerstenberg) Вильгельм, переводчик – 422, 452, 483, 496
- Герцен* Александр Иванович (1812–1870), писатель, философ, общественный деятель – 409
- Гилляров-Платонов* Никита Петрович (1824–1887), профессор Московской духовной академии, публицист славянофильского направления; с 1856 по 1863 г. член московского цензурного комитета – 501
- Гладкова* Людмила Викторовна, литературовед – 413
- Говоруха-Отрок* (псевд. Ю. Елагин, Ю. Николаев; 1850–1896) Юрий Нико-

- лаевич, литературный и театральный критик, публицист, прозаик – 491
- Гоголь Николай Васильевич** (1809–1852) – 407, 418, 425, 436, 450, 451, 459, 460, 482, 507
- «Записки сумасшедшего» (1834) – 482
- Головин Константин Федорович** (1843–1913), прозаик, публицист, литературный критик, мемуарист – 419, 437, 451, 508
- «Русский роман и русское общество» (1897) – 419, 437, 451, 508
- «Голос минувшего», журнал истории и истории литературы, изд. в Москве в 1913–1923 гг. Ред.-изд. С.П. Мельгунов, в 1914–1916 гг. совместно с В.И. Семевским – 416
- Гольденвейзер Александр Борисович** (1875–1961), пианист и композитор, искусствовед – 407, 415, 448, 552
- «Вблизи Толстого» (1959) – 407, 415, 552
- Гомер**, древнегреческий эпический поэт – 549
- «Илиада» – 507, 549
- «Одиссея» – 507
- Гончаров Иван Александрович** (1812–1891) – 412, 429, 445, 505, 543
- Горбунов Иван Федорович** (1831–1895/96), прозаик, актер, зачинатель литературно-сценического жанра устного рассказа – 412
- Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина** (ГБЛ), ныне Российская государственная библиотека (РГБ), в Москве – 408
- Государственный музей Л.Н. Толстого** (ГМТ), в Москве – 407, 416, 444–446, 466, 487, 502
- Графф (Graff) Вильгельм Пауль** (1845–1904), немецкий писатель, драматург, переводчик – 421
- Греч Николай Иванович** (псевд. Эрмион; 1787–1867), журналист, издатель, публицист, беллетрист, филолог, переводчик – 457
- Грибоедов Александр Сергеевич** (1795 или 1790–1829) – 539
- «Горе от ума» – 539
- Григорович Дмитрий Васильевич** (1822–1899), писатель – 412, 444, 458, 478, 519, 542
- «Рыбаки» – 519
- Григорьев Аполлон Александрович** (1822–1864), литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист – 410, 417, 418, 450, 458, 459, 482, 489, 490, 505, 506
- «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) – 489
- «И.С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа “Дворянское гнездо”» (1859) – 417, 458
- «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Толстой и его сочинения. Статья первая и вторая» (1862) – 410, 417, 450, 489, 490, 505, 506
- Гриндельвальд (Grindelwald)**, город в Швейцарии – 545
- Громан Цезарь** (Цезархан), прапорщик батарейной № 4 батареи 20-й артиллерийской бригады – 512
- Грузия** – 359, 452
- Грумант** (Грумы), деревня-хутор в 3 верстах от Ясной Поляны; названа так дедом Толстого Н.С. Волконским в память его пребывания в Архангельске военным губернатором в 1799 г. (Грумант – местное поморское название группы Шпицбергенских островов) – 529
- Грумы**. См. Грумант.
- Гулин Александр Вадимович**, литературовед – 413
- Гусев Николай Николаевич** (1882–1967), секретарь Л.Н. Толстого в 1907–1909 гг., биограф, литературовед – 407, 411, 466, 504, 529, 535, 536, 542, 552, 553
- «Материалы к биографии Льва Николаевича Толстого» (кн. 1, 2) – 407, 411, 504, 529, 535, 536, 542, 553
- Давид** – царь Древнего Израиля, правивший приблизительно в X веке до н.э., псалмопевец и пророк – 185, 496
- Давыдов Алексей Иванович**, книгопродавец, издатель сборников «Для легкого чтения» под редакцией Н.А. Некрасова – 415
- Давыдов Денис Васильевич** (1784–1839), поэт, прозаик – 7, 422, 424
- «Песня старого гусара» (1817) – 7, 422
- «Гусарская исповедь» (1832) – 424
- Даль Владимир Иванович** (осн. псевд. Казак Луганский; 1801–1872), прозаик, лексикограф, этнограф – 442, 526, 527
- Дания** – 483
- Данте Алигьери (Dante Alighieri)** (1265–1321), итальянский поэт – 464
- «Божественная комедия» (1307–1321) – 130, 464

- Дворянское собрание*, орган дворянского сословного самоуправления в Российской империи в 1785–1917 гг. – 423, 424
- Делавинь* (Delavigne) Казимир Жан-Франсуа (1793–1843), французский поэт и драматург – 483, 484
- Державин* Гаврила Романович (1743–1816), поэт – 425
- Дерман* Абрам Борисович (Беркович, 1880–1952), прозаик, историк литературы, печатался как литературный критик в газете «Южные ведомости», в журналах «Русское богатство», «Русская мысль», «Ежемесячный журнал» – 508
«Лев Толстой» – 508
- Джордж* (George) Генри (1839–1897), американский публицист и экономист, основатель учения о едином налоге на землю – 441
- Диана* (Diana), древнеиталийская богиня луны, целомудренная богиня охоты; отождествлялась с греч. Артемидой – 19
- Дижон* (Dijon), город во Франции – 468
- Дионис* (Dionysos, др. имя Вахх), в древнегреческой мифологии сын Зевса и фиванской царевны Семелы; покровитель виноградарства и виноделия – 461
- Дистерло* Роман Александрович (1859 – после 1910), писатель – 407, 418, 419, 437, 440, 460, 482, 490, 507
«Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист. Критический очерк» – 407, 418, 419, 437, 440, 460, 482, 490, 507
- «Для легкого чтения», сборники, выходявшие под редакцией Н.А. Некрасова в 1850-е годы – 415
- Дон*, река – 526
- Доницетти* (Donizetti) Гаэтано (1797–1848), итальянский композитор, представитель итальянской романтической оперной школы – 484
«Лючия ди Ламмермур» – 161, 484
- «Дорожка». См. «Не одна ли в поле дороженька».
- Достоевский* Федор Михайлович (1821–1881) – 419, 438, 448, 459, 460, 483, 493
«Братья Карамазовы» (1879–1880) – 460
«Идиот» (1868) – 459, 460
- Доул* (Dole) Натан Хаскелл (1852–1935), литератор, переводчик, издатель – 421, 441, 452, 464, 483, 510
- «Дружбы нежное волнение», цыганский романс на слова И.В. Васильева – 27, 426
- Дружинин* Александр Васильевич (1824–1864), прозаик, критик, переводчик – 407, 409, 412, 413, 415–417, 435, 444, 445, 447, 450, 457, 474, 478, 487, 488, 497, 499, 500, 503, 504, 507, 547
«Метель» – «Два гусара». Повести графа Л.Н. Толстого – 416
- Дудышкин* Степан Семенович (1820–1866), литератор, с 1847 г. редактор «Отечественных записок» – 429
- Дунайская армия* – 531, 532
- Дьяков* Дмитрий Алексеевич (1823–1891), помещик, друг Л.Н. Толстого – 540, 550
- Дюма* (Dumas) Александр, Дюма-сын (1824–1895), французский писатель – 422
«Дама с камелиями» (1848) – 422
- Евангелие* – 168, 212, 553
- Европа* – 336, 337, 460, 547
- Европеус* Александр Иванович (1826–1885), петрашевец, по возвращении из ссылки (1857) участвовал в подготовке крестьянской реформы в Тверской губернии – 448, 449
- Егоров* Матвей, крестьянин Ясной Поляны – 528
- Егоров* Филипп, яснополянский крестьянин, кучер у Толстых и одно время управляющий Ясной Поляны – 528
- Елизавета Алексеевна* (урожд. Луиза Мария Августа Баденская, 1799–1826), российская императрица, супруга императора Александра I – 425
- Енгальчев* Петр Гаврилович, кн. (р. 1824), муж О.В. Енгальчевой (урожд. Арсеньевой) – 540
- Енгальчева* Ольга Владимировна, кн. (урожд. Арсеньева; 1838–1868) – 539, 540, 543
- Епишка*. См. Сехин Епифан.
- Ергольская* Татьяна Александровна (1792–1874), троюродная тетка Л.Н. Толстого и его воспитательница – 414, 446, 471, 486, 500, 524, 546, 547
- Ермилины*. См. Зябровы.
- Ефремов*, г. – 473, 475
- Жаман* (Jaman), гора и горный перевал в 12 км к северу от Монтрё – 370, 371, 373–376, 548
- Жданов* Владимир Александрович (1898–1971), литературовед – 408
- Железноводск*, населенный пункт в Ставропольском крае – 449, 519

- Жемчужников** Алексей Михайлович (1821–1908), поэт – 467
- Женева** (Genève), город во французской части Швейцарии, на юго-западном берегу Женевского озера – 367, 382, 471, 546–548, 553
- Женевское озеро**, латинское название Леман (Leman) – 366, 379, 545–548
- Женевева** (Geneviève de Brabant), принцесса Брабантская, героиня известной в Западной Европе легенды – 380, 548
- Жихарев** Степан Петрович (1788–1860), мемуарист, переводчик, драматург – 424
- «Записки современника» (1853–1855) – 424
- Жомини** (Jomini) Антуан Анри (Генрих Вениаминович; 1779–1869), военный теоретик и историк, обобщивший опыт наполеоновских войн, с 1813 г. на русской службе – 7, 422
- Жукевич**. См. Жукевич-Стош М.П.
- Жукевич-Стош** Митрофан Павлович (ум. 1880 или 1881), прапорщик батареи № 4 батареи 20-й артиллерийской бригады – 520
- Жуковский** Василий Андреевич (1783–1852), поэт – 548
- Загоскин** Михаил Николаевич (1789–1852), исторический романист, прозаик, комедиограф – 424
- «Задруга», кооперативное товарищество издательского и печатного дела (1911–1922), основанное в Москве – 551
- Зайденинур** Эвелина Ефимовна (1902–1985), литературовед – 408
- Занская долина**, долина реки Сарин (Занне), в Швейцарии – 383, 549
- «Записки отдела рукописей ГБЛ, выпуск 39». М., 1978 – 504
- «Заря», ежемесячный литературный и политический журнал, изд. в Петербурге с 1869 по февраль 1872 г. Ред.-изд. В.В. Кашпирев – 418, 450, 459, 506
- Зелинский** Василий Аполлонович, автор сборника «Русская критическая литература о произведениях Л.Н. Толстого. Хронологический сборник критико-биографических статей» – 450
- Зотов** Владимир Рафаилович (1821–1896), критик, поэт, прозаик, драматург, журналист – 416
- «Русская литература. “Два гусара”, повесть графа Л.Н. Толстого» – 416
- Зябров** Василий Ермилович, яснополянский крестьянин, в 1853–1854 г. староста в Ясной Поляне, впоследствии бурмистр – 528, 556
- Зябров** Ермил Антонович, крестьянин Ясной Поляны, родоначальник богатой крестьянской семьи, получившей по нему прозвище Ермилиных – 528
- Зябров** Осип Наумович (1791–1884), яснополянский зажиточный крестьянин-пасечник, муж кормилицы Толстого, А.Н. Зябровой; одно время был бурмистром в Ясной Поляне – 528
- Зябров** Петр Осипович, яснополянский крестьянин, сын А.Н. и О.Н. Зябровых – 528
- Зябров** Тит Ермилович (1829–1894), яснополянский крестьянин – 528
- Зябрева** Авдотья Никифоровна, кормилица Л.Н. Толстого – 528
- Зябровы**, семья яснополянских крестьян – 528
- Иванов** Иван Иванович (1862–1929), литературный и театальный критик, историк – 440, 508
- «Заметки читателя. Два мирозерцания» – 440
- Излер** Иван Иванович (1811–1877), владелец увеселительного сада «Минеральные воды» близ Петербурга – 159, 483
- Измайлов** Александр Алексеевич (псевд. Смоленский; 1873–1921), литературный критик, поэт, прозаик – 480, 482, 493
- «Триумф русского гения» – 480, 493
- Индия** – 146, 466
- Инкерман**, урочище при впадении Черной речки в Большую Севастопольскую бухту – 339, 531, 533
- Интерлакен** (Interlaken), местечко в Швейцарии на перешейке между Тунским и Бриенцким озерами, у подножия Бернских Альп – 137, 380, 384, 545, 546, 548
- Иран** – 452
- Испания** – 511
- Италия** – 137, 139, 177, 184, 424
- Итальянская опера** в Петербурге – 484
- Кабиллия**, северная область Алжира – 465
- Кавелин** Константин Дмитриевич (1818–1885), писатель, ученый и общественный деятель – 479, 528
- «Записка об освобождении крестьян в России» (1855) – 528

- Кавказ* – 102, 110, 113, 116, 120, 410, 437, 444, 448, 449, 451, 457, 512–514, 526
- Каллет* (Callet), французский инженер, построивший в Москве первый в России завод стеариновых свечей – 426
- Каллимахи*, турецкий князь, глава посольства в Неаполе и турецкий посланник в Вене – 465
- Каммарано* (Cammarano) Сальваторе (1801–1852), итальянский поэт, художник, драматург, либреттист – 484
- Кандыбина* Татьяна Васильевна, сотрудник ИМЛИ РАН – 413
- Карабиха*, село в Ярославской области – 481
- Карамзин* Николай Михайлович (1766–1826), прозаик, поэт, журналист, историк – 546, 547
- Карамзина* Елизавета Николаевна (1821–1891), дочь историографа Н.М. Карамзина, фрейлина – 547
- Карбасников* Николай Павлович (1852–1921), издатель, один из основателей Русского общества издателей и книгопродавцев – 551
- Кастор*, в греческой мифологии один из братьев-близнецов (второй брат – Полидевк) сыновей Зевса Диоскуров (Dioskuroi) – 314, 527
- Каталани* (Catalani) Анджелина (1780–1849), итальянская певица (сопрано) – 424
- Катков* Михаил Никифорович (1818–1887), публицист, критик, издатель – 500–503
- Кашкин* Николай Николаевич (1869–1909), историк, археограф, сын Н.С. Кашкина – 448, 449
«Родословные разведки» – 449
- Кашкин* Николай Сергеевич (1829–1914), петрашевец – 448, 449
- Кенворти* (Kenworthy) Джон Колеман (р. 1860), английский переводчик и издатель, корреспондент и адресат Л.Н. Толстого, издавал сочинения Л.Н. Толстого в Америке – 463
«Tolstoy: his Life and Works» – 463
- Кёнигсберг* (Königsberg), город в Восточной Пруссии – 423
- Кетерер* (Ketterer), хозяин пансиона, в котором жил Толстой в Кларане, на берегу Женевского озера – 365, 366, 546
- Киев*, г. – 93, 101, 309, 312, 321
- Кизеветтер* (Kiesewetter) Георг, скрипач – 444, 467, 470, 479
- Кинд* (Kind) Иоганн Фридрих (1768–1843), поэт, драматург, либреттист – 484
- Киреевский* Николай Васильевич (1797–1870), помещик Карачаевского уезда Орловской губернии, родственник Арсеньевых – 540, 541
- Кислинские*, сестры – 540
- Китай* – 148, 465
- Кларан* (Clarens), местечко в Швейцарии на берегу Женевского озера – 365, 368, 545–547
- Клин*, г. – 485
- Ковалевский* Егор Петрович (1809–1868), государственный и общественный деятель, прозаик, путешественник – 416
- Ковалевский* Павел Михайлович (1823–1907), писатель и путешественник – 543
- Козловский* Осип Антонович (1757–1831), композитор, один из создателей русского романа, героико-патриотических полонезов – 425
- Колбасин* Дмитрий Яковлевич (1827–1890), приятель И.С. Тургенева и его корреспондент – 449, 471, 479
- Колбасин* Елисей Яковлевич (1831–1885), литератор, сотрудничал в «Современнике» и «Библиотеке для чтения», брат Д.Я. Колбасина – 435
- Константинополь* (Царьград), историческое название г. Стамбула – 101, 465
- Корш* Евгений Федорович (1809–1897), переводчик, журналист, издатель – 479, 487, 553, 555
- Краевский* Андрей Александрович (1810–1889), издатель, журналист. С 1839 по 1867 г. издатель и редактор «Отечественных записок». В 1863 г. основал одну из первых общественно-политических газет России, «Голос» – 428, 429, 434, 444, 524
- Крез* (595–546 до н.э.), последний царь Лидии. Его богатство вошло в поговорку – 511
- Кремль*, в Москве – 399, 553, 554
- Кросби* (Crosby) Эрнест (1856–1907), американский писатель и общественный деятель, пропагандист учения Л.Н. Толстого в США, его посетитель, корреспондент и адресат – 441
«Толстой и его жизнепонимание» – 441
- Крылов* Иван Андреевич (1769–1844), баснописец – 112, 453
«Пустынный и медведь» – 112, 453
- Крым* – 341, 412, 531, 533
- Крымская война* (Крымская кампания; 1853–1856), первоначально русско-турецкая; с февраля 1854 г. – против

- Турции, Великобритании, Франции и (с 1855 г.) Сардинии – 339, 410, 412, 465, 530, 533
- Крымская кампания.* См. Крымская война.
- Кузина* Лия Николаевна, литературовед – 413
- Кульман* Николай Карлович (1871–1940), литератор – 437, 461, 492
«Л.Н. Толстой. 1852–1902» (1903) – 437, 461, 492
- Курбский* В. См. Петров Г.С.
- Курск*, г. – 93, 309
- Кушелев-Безбородко* Григорий Александрович, гр. (1832–1870), прозаик, издатель, меценат, издавал журнал «Русское слово» – 409, 415
- Лабар* (Labarre) Теодор Франсуа Жозеф (наст. фам. Вегу; 1805–1870), французский композитор – 26, 426
«Восстание в Серале» (балет) – 26, 426
- Ла-Бассе* (Basset), в Швейцарии – 366, 547
- Лаблаш* (Lablache) Луиджи (1794–1858), итальянский артист оперы (бас) – 162, 484
- Ладъженская* (псевд. С. Вахновская) Екатерина Алексеевна (1828–1891), беллетрист – 416
- Ланге* (Lange) В., переводчик – 464, 510
- Ланнер* (Lanner) Йозеф (1801–1843), австрийский скрипач, дирижер и композитор – 484
«Wiener-Juristen-Ball-Tanze» – 166, 484
- Ланской* Сергей Степанович (1787–1862), государственный деятель, министр внутренних дел с августа 1855 по апрель 1861 г. – 335, 528, 529
- Лаун.* См. Шульце.
- Лебедев* О.С., переводчик – 510
- Лебедянь*, г. – 9, 10, 25
- Лёвенфельд* (Löwenfeld) Рафаэль (1854–1910), немецкий писатель, переводчик, биограф Толстого, его корреспондент и адресат – 412, 440, 441, 451, 452, 463, 464, 480, 483, 495, 496, 504, 505, 510
«Graf Leo N. Tolstoj. Sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung» (Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание) – 440, 441, 451, 463, 480, 495, 504, 505
- Левцкий* Сергей Львович (1819–1898), фотограф – 412, 557
- Левшин* Алексей Ираклиевич (1798–1879), с 1856 по 1859 г. товарищ министра внутренних дел – 335, 528, 529
- Легра* (Legras) Жюль (1866–1938), историк литературы, славист, профессор университета в Бордо, переводчик – 468
- Лез Аван* (Les-Avants, Аван), селение в Швейцарии – 370, 371, 373, 378, 548
- Леман.* См. Женевское озеро.
- Св. Леонгарда собор*, вблизи гостиницы «Швейцгероф» (Люцерн) – 465
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814–1841) – 233, 412, 425, 489, 492, 493, 511, 532
«Парус» (1832) – 233, 511
«Умиравший гладиатор» (1836) – 532
- Лернер* Николай Осипович (1877–1934), литературовед, публицист – 439
«Великая совесть» (1908) – 439
- «Летописи Государственного Литературного музея»* («Летописи ГЛМ») – 407, 413, 445, 499
- Ливер* (Lever) Чарльз Джеймс (1809–1872), ирландский писатель – 421
- Лизанька.* См. Оболенская Е.В.
- Линская* Юлия Николаевна (урожд. Коробина; 1821–1871), актриса Александринского театра – 412
- Липранди* Евгения Владимировна (урожд. Арсеньева; 1845–1899), сестра В.В. Арсеньевой – 540
- «Литературная Россия»*, еженедельная газета писателей России, изд. с 1958 г. в Москве – 458, 478
- «Литературное наследство»*, неперIODические сборники АН СССР (позднее РАН), выходящие с 1931 г. в Москве; публикуются неизданные материалы по истории русской литературы и культуры – 407, 411–413, 441, 464, 480, 483, 488, 495, 508–510, 568
- Лозанна* (Lausanne), город в Швейцарии – 548
- Лонгинов* Михаил Николаевич (1823–1875), библиограф, мемуарист, критик – 468, 481
- Лондон* (London) – 441, 452, 483
- Лотман* Юрий Михайлович (1922–1993), литературовед – 425
«Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства XVIII – начала XIX века» – 425
- Лучицкая* М.В., редактор датского издания «Люцерна» Л.Н. Толстого – 463
- Льеж* (Liège), город в Бельгии – 483
- Любавин* Н., автор статьи «Гр. Л.Н. Толстой» в газете «Русский листок» (1902) – 491, 492
- Лютти* (Lüthi) Иоганн (1800–1869), автор тирольской песни (Песни Риги) – 456, 465
«Vo Luzärn uf Wäggis zue» – 134, 456, 465

- Люцерн* (Luzern), город в немецкой Швейцарии, на берегу Фирвальдштетского озера – 126, 137, 144–146, 453–456, 460, 463, 467, 548
- Майков* Аполлон Николаевич (1821–1897), поэт – 412
- Майков* Б. А., автор книги «Граф Лев Толстой» (СПб.; Варшава, 1910) – 439, 440
- Маковицкий* Душан Петрович (1866–1921), домашний врач, друг и единомышленник Толстого – 407, 480, 488
- Малая Морская*, улица в Санкт-Петербурге – 171
- Мамодзима* Р., переводчик – 496
- Мария Николаевна*, вел. кн. (в замужестве герцогиня Лейхтенбергская; 1819–1876), дочь Николая I – 453
- Маркс* (Marx) Карл (1818–1883), экономист, основоположник научного коммунизма – 529
«Коммунистический манифест» (1848) – 529
- Марлинский*. См. Бестужев-Марлинский А. А.
- Мартинес Паскалис* (Martinez Pasqualis) (ок. 1715–1779), основатель мистической секты иллюминатов – 423
- Мартынов* Александр Евстафьевич (1816–1860), актер Александринского театра (1836–1860) – 412
- Мейербер* (Meyerbeer) Джакомо (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер (Beer); 1791–1864), композитор, пианист и дирижер; создатель стиля большой героико-романтической оперы; работал в Германии, Италии, Франции – 484
«Роберт-Дьявол» (опера) – 161, 484
- Мельгунов* Сергей Петрович (1879–1956), историк и публицист, корреспондент Толстого – 551
- Меньшиков* Михаил Осипович (1859–1918), публицист, литературный критик – 438
«Россия и Лев Толстой» – 438
- Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865–1941), прозаик, поэт, критик, публицист, переводчик – 407, 438, 461, 492
«Л. Толстой и Достоевский» (1903) – 407, 438, 461, 492
- Меррей* (Mittau) Джон (1808–1892), издатель – 126, 464
- Метехский замок* – тюрьма в Тифлисе – 449
- Мечик*, река на Кавказе – 102
- Мещерская* Екатерина Николаевна, кн. (урожд. Карамзина; 1805–1867), дочь Н. М. Карамзина, жена П. И. Мещерского – 547
- Мещерская* Екатерина Петровна, княжна (1843–1925), дочь П. И. и Е. Н. Мещерских, в замужестве гр. Клейнмихель – 547
- Мещерский* Петр Иванович, кн. (1802–1876), подполковник; знакомый Толстого – 547
- Мидхат* Ахмет, критик – 510
- Милан* (Milano), город в Италии – 372, 422, 424
- Миллер* Орест (Оскар) Федорович (1833–1889), фольклорист, историк литературы, критик, публицист – 407, 436, 450, 451, 459, 460, 482, 507
«Русские писатели после Гоголя. Чтения, речи и статьи» (1874, 1878) – 407, 436, 450, 451, 459, 460, 482, 507
- Милютин* Дмитрий Алексеевич, гр. (1816–1912), военный министр с 1861 по 1881 г. – 449
- Милотин* Николай Алексеевич (1818–1872), госуд. деятель; с 1857 г. директор Хозяйственного департамента, в 1859–1861 гг. товарищ министра внутренних дел; один из главных деятелей крестьянской реформы – 528
- Михайловский* Николай Константинович (1842–1904), публицист, социолог, критик, общественный деятель – 438, 490, 491
«Литература и жизнь. Письма о разных разностях» – 438, 490, 491
- Можарова* Марина Анатольевна, литературовед – 413
- Молоствов* Николай Германович (1871–1910), журналист, литератор – 494
- Мольер* (Molière) (наст. имя Жан Батист Поклен (Poquelin); 1622–1673), французский драматург, актер, театр. деятель – 537, 539
«Bourgeois Gentil'homme» («Мещанин во дворянстве») (1670, 1671) – 535, 537, 539
- Монблан* (Montblanc), гора – 547
- Монбовон* (Monbovont, Montbovont), местечко в Швейцарии – 378, 379, 383, 548
- Монтрё* (Montreux), курортное местечко на берегу Женевского озера в Швейцарии – 366, 368–371, 379, 380, 545–548
- Моуд* (Maude) Луиза Яковлевна (урожд. Шанкс; ум. 1938), переводчица, жена Э. Мода – 422

- Модд** (Maude) Эйльмер (1858–1938), издатель, корреспондент и адресат Л.Н. Толстого, переводчик его произведений на английский язык – 421, 422, 441, 452, 463, 480
 «The Life of Tolstoy. First Fifty Years» – 421, 441, 452, 463, 480
- Морозовы** – 529
- Морозов** Павел Тимофеевич (1808–1881), литератор, публицист, метеоролог – 491
 «Л. Толстой» – 491
- Морская**, улица в Санкт-Петербурге – 121
- Мортье де Фонтен** (Mortier de Fontaine) Луи Анри Станислав (1816–1883), пианист, композитор – 540, 541
- Москва** – 7, 12, 13, 28, 32, 33, 71, 93, 109, 177, 183, 192, 214, 234, 288, 309, 321, 337, 348, 355, 358, 361, 407, 409, 412, 413, 415, 418, 422, 424–426, 458, 467, 470, 474, 476, 478, 481, 485, 487, 497–501, 527, 529, 530, 540, 541, 544, 552, 554, 555
- «**Москвитянин**», научно-литературный журнал, изд. в Москве в 1841–1856 гг. – 424
- «**Московские ведомости**», газета, основанная в 1756 г. Московским университетом; с 1863 г. под ред. М.Н. Каткова (до 1887 г.). Преемниками Каткова были В.А. Грингмут и Л.А. Тихомиров – 416, 418, 434, 444, 465, 466, 479, 501, 503
- Моцарт** (Mozart) Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор – 199, 207, 395, 467, 479, 484, 510, 552
 «Волшебная флейта» (опера-сказка, 1791) – 395, 552
 «Дон-Жуан» (опера, 1787) – 163, 479, 484
- Мошин** Алексей Николаевич (1870–1929), прозаик, драматург, фольклорист, краевед – 480, 481
 «Блуждающий огонек» – 480
 «Ясная Поляна и Васильевка» – 480, 481
- «**Мураново**», музей-усадьба им. Ф.И. Тютчева под Москвой – 505
- Мценск**, г. – 530
- Н.Л.** См. Лернер Н.О.
- Н.Н.**, автор критической статьи о «Семейном счастье» в газ. «Санкт-Петербургские ведомости» (1859, № 155) – 505
- Нагорнова** Варвара Валериановна (урожд. гр. Толстая; 1850–1922), дочь М.Н. и В.П. Толстых, племянница Толстого – 390, 551, 552
- Назимов** Владимир Иванович (1802–1874), государственный деятель – 556
- Наполеон I** (Napoléon) (1769–1821), французский император в 1804–1814 и в марте–июне 1815 г. – 365, 423, 546
- Наполеон III** (Луи Наполеон Бонапарт; 1808–1873), французский император в 1852–1870 гг. – 146, 465, 466
- Не** (Naye), гора в Швейцарии – 548
- Неаполь** (Napoli), город в Италии – 146, 465
- «**Не одна ли в поле дороженька**» («Дорожка»), русская народная песня – 25, 426
- «**Неизданные письма к А.Н. Островскому**». М.; Л., 1932 – 444
- Некрасов** Николай Алексеевич (1821–1877) – 407, 409, 412, 414–416, 444, 455–458, 468, 471, 474–479, 481, 485, 487, 497, 514, 539, 542, 543
- Нёшатель** (Neuchâtel), город в Швейцарии – 382, 548
- «**Нива**», еженедельный иллюстрированный журнал «для семейного чтения», изд. в Петербурге А.Ф. Марксом в 1870–1918 гг. – 438
- Никитенко** Александр Васильевич (1804–1877), литературный критик, историк литературы, цензор, член Петербургской АН (с 1855) – 534
 «Дневник» – 534
- Никитская**. См. Большая Никитская.
- Никитский монастырь** – женский монастырь в Москве, основанный в XVI в. боярином Н.Р. Захарьиным-Юрьевым, дедом царя Михаила Федоровича, на месте церкви Никиты у Ямского двора. После его основания Волоцкая (или Новгородская) улица стала называться Большой Никитской – 399, 554
- Николай Павлович**. См. Николай I.
- Николай I** Павлович (1796–1855), российский император с 1826 г. – 448, 453
- Николенька**. См. Толстой Н.В.
- Ницше** (Nietzsche) Фридрих (1844–1900), немецкий философ – 439, 460, 491
- «**Новое время**», ежедневная газета, изд. в Петербурге с 1868 по окт. 1917 г. С 1891 г. при газете издавались

- «Иллюстрированные приложения» – 420, 438, 462
- Новосильский П.*, цензор ж. «Современник» – 479
- «*Новости*», газета, изд. в Петербурге с 1871 г. – 483
- «*Новь*», литературный вестник (журнал) – 419
- Норвегия* – 483
- Носков Николай* – 481
- «Л. Толстой и его слава» (1908) – 481
- Оберланд*. См. Бернский Оберланд.
- Оболенская Александра Алексеевна*, кн. (урожд. Дьякова; 1831–1890), сестра приятеля Толстого, Д.А. Дьякова; с 1853 г. замужем за кн. Андреем Васильевичем Оболенским – 550
- Оболенская (Лизанька) Елизавета Валериановна* (урожд. Толстая; 1852–1935), дочь М.Н. и В.П. Толстых, племянница Толстого – 552
- «Моя мать и Лев Николаевич» – 552
- «*Образование*», ежемесячный литературный, научный и общественно-политический журнал, изд. в Петербурге в 1892–1909 гг. – 491
- «*Общество любителей российской словесности*», литературно-научное общество при Московском университете, 1811–1930 (с перерывом в 1837–1857 гг.) – 411, 488, 501
- Овсянко-Куликовский Дмитрий Николаевич* (1853–1920), литературовед, лингвист, критик, публицист – 438
- «Лев Николаевич Толстой. К 80-летию великого писателя. Очерк его деятельности, характеристика его гения и призвания» (1908) – 438
- Одесса* (Одест), г. – 101, 309, 311, 443, 484, 530
- Одест*. См. Одесса.
- «*Октябрь*», ежемесячный литературно-художественный и публицистический журнал, изд. с 1924 г. в Москве – 552
- «*Описание рукописей художественных произведений Л.Н. Толстого*» – 408, 469, 475
- Островский Александр Николаевич* (1823–1886) – 412, 413, 444, 534
- «Бедность не порок» (1853) – 413
- «В чужом пиру похмелье» (1856) – 413
- «Картина семейного счастья» (1847) – 413
- «Не в свои сани не садись» (1852) – 413
- «Не так живи, как хочется» (1854) – 413
- «Свои люди – сочтемся!» (1850) – 534
- «Семейная картина» (1847) – 534
- «*Отечественные записки*», ежемесячный журнал, изд. в Петербурге в 1839–1884 гг. (до 1867 г. – А.А. Краевским, затем Н.А. Некрасовым, М.Е. Салтыковым-Щедриным, Г.З. Елисеевым) – 409, 414, 415, 427–429, 434, 435, 444, 446, 450, 459, 478, 506, 524, 525, 544
- Павел I Петрович* (1754–1801), российский император с 1796 г. – 529
- Паганини (Paganini) Никколо* (1782–1840), итальянский скрипач и композитор – 470
- «Венецианский карнавал» – 470
- Памятник Льва (Льву)* – памятник в Люцерне в честь швейцарцев, павших при защите Тюильри в 1792 г. (изображает умирающего льва, пронзенного копьем; скульптор Б. Торвальдсен) – 453
- Панаев Иван Иванович* (1812–1862), прозаик, поэт, критик, с 1848 г. редактор журнала «Современник» – 412, 425, 444, 449, 455, 457, 468, 470, 471, 478, 542
- «Заметки нового поэта» («Петербургская жизнь») – 425
- Панаева Авдотья Яковлевна* (псевд. Н. Станицкий; 1820–1893), прозаик, мемуаристка – 455, 542, 543
- Париж (Paris)*, г. – 162, 383, 442, 464, 468, 470, 471, 509
- Паскевич Ирина* (Paskévitch I.), переводчица – 509
- Пасха*, праздник Светлого Христова Воскресения – 68, 82, 274, 286, 300, 327, 511, 553
- Пекин*, г. – 465
- Перрис (Perris) Джордж Герберт* (1866–1920), английский журналист – 451, 495, 509
- «Leo Tolstoy. The Grand Mujik. A Study in Personal Evolution» – 451, 495
- «Leo Tolstoy by G.K. Chesterton» – 509
- Песня Ригй*, тирольская песня – 133, 134, 138, 456, 465
- Петербург*. См. Санкт-Петербург.
- «*Петербургская газета*», ежедневная политическая и литературная газета, изд. в 1867–1917 гг.; изд.-ред. С.Н. Худеков, ред. П.Ф. Левдик – 461
- Петергоф*, близ Петербурга – 415
- Петр и Павел*, святые первоверховные апостолы, их память Православная церковь отмечает 12 июля (29 июня) – 443, 510

- Петрашевский** (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821–1866), утопический социалист; в 1849 г. осужден на каторгу; с 1856 г. на поселении в Иркутске – 448
- Петров Григорий Спиридонович** (псевд. В. Курбский; 1866/67–1925), публицист, один из ведущих сотрудников газ. «Русское слово» – 438, 462
«Законченный круг» – 438, 462
- Петрович С.**, переводчик – 510
- Петровки.** См. Петровский пост.
- Петровский пост** (Петровки) – пост (заканчивается 28 июня ст. стиля) перед Петровым днем, праздником св. апостолов Петра и Павла в Православной церкви (29 июня) – 83, 193, 261, 302, 443, 510, 517
- Писарев Дмитрий Иванович** (1840–1868), критик, публицист – 412, 436, 459, 489
«Промаях незрелой мысли» (1864) – 436, 459
«“Три смерти” Рассказ графа Л.Н. Толстого» (1859) – 489
- Писемский Алексей** Феофилактович (1820/21–1881), прозаик, драматург – 412
- Пломбьер** (Plombières), курортный город в Вогезах (Франция) – 146, 465, 466
- Пожарский Евдоким Дмитриевич**, содержатель трактира в Торжке – 423
- Покров** – православный праздник Покров Пресвятой Богородицы (1 октября ст. стиля) – 83, 302, 443
- Покровское**, имение М.Н. Толстой в Черномском уезде Тульской губернии – 530, 539
- Покровское.** См. Покровское-Стрешнево.
- Покровское-Стрешнево**, дачная местность в 13 верстах от Москвы – 505
- Поливанов Александр Константинович** (Саша; р. 1845), 11-летний мальчик, с которым Толстой совершил путешествие по Швейцарии в 1857 г. – 471, 546
- Поливанова Александра Романовна** (урожд. Любимова; 1825–1865), мать А.К. Поливанова – 546
- Полидевк** – в греческой мифологии один из братьев-близнецов (второй брат – Кастор) сыновей Зевса Диоскуров (Dioskuroi) – 314, 527
- Полнер Тихон Иванович** (1864–1935), литератор, статистик, земский деятель Тульской губ., знакомый Толстого – 551
- Полонский Яков Петрович** (1819–1898), поэт – 409, 415, 458, 461
- «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л.Н. Толстого» – 461
- Попов Павел Сергеевич** (1892–1964), литературовед – 413
- Попова Ирина Ивановна**, сотрудник ИМЛИ РАН – 413
- Порта** (также диван), министерский совет в Турции – 465
- Потехин Алексей** Антипович (1829–1908), русский писатель – 412
«Чужое добро впрок нейдет» (1855) – 412
- Пруссия** – 337
- Прюм** (Prüm) Франсуа (1816–1849), скрипач-виртуоз – 483
«Melancholie G-dur» («Меланхолия») – 4, 153, 157, 158, 483
- Псалтирь**, Книга псалмов, одна из книг Ветхого Завета – 185, 485, 486, 496
- Пуни** (Pugni) Цезарь (Чезаре) (1802–1870), итальянский композитор – 552
«Наяда и рыбак» (балет) – 390, 552
- Пушкин Александр Сергеевич** (1799–1837) – 412, 418, 422, 423, 425, 472, 492, 493, 547
«Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829) – 493
«Поэт и толпа» («Чернь», 1828) – 472
«Путешествие из Москвы в Петербург» (1833–1835) – 422, 423
- Пушкин Иван Иванович** (1798–1859), декабрист, брат М.И. Пушкина, друг А.С. Пушкина – 547
- Пушкин Михаил Иванович** (1800–1869), декабрист – 366, 368, 547
- Пушкина Мария** Яковлевна (урожд. Подколызина), жена декабриста М.И. Пушкина – 366, 368, 547
- Пушины** – 546
- Пыляев Михаил Иванович** (1842–1900), писатель – 426
«Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы» – 426
- Пятигорск**, город на Кавказе – 512, 519
- Пятковский Александр** Петрович (1840–1904), историк литературы, публицист, сотрудник «Современника» и «Отечественных записок» – 459, 506
«Сочинения графа Л.Н. Толстого» – 506
- «Рассвет», ежемесячный «журнал наук, искусств и литературы для взрослых девиц», изд. в Петербурге в 1859–1862 гг. – 489

- Ребиндер* Константин Григорьевич (1824–1886), полковник, воспитатель сыновей вел. кн. Марии Николаевны. Впоследствии генерал-адъютант, член Государственного совета, управляющий кабинетом Александра II – 454
- Резунов* Семен Сергеевич (1847–1917), яснополянский крестьянин, бывший ученик школы Толстого – 528
- Резунов* Сергей Федорович (1819–1893), яснополянский крестьянин, плотник – 528
- Рёссель* Федор Иванович (ум. в конце 1840-х годов), губернатор братьев Толстых с 1833 по 1837 г. – 480
- Риги* (Rigi), горный массив между Фирвальдштетским, Цугским и Ловерцскими озерами (Швейцария) – 126, 129, 138, 370, 371, 454, 548
- Рим* (Roma), г. – 457, 468, 478
- Рождественский* (Филиппов) пост, сорокадневный пост перед праздником Рождества Христова; начинается после 27 ноября (14 по ст. стилю), дня памяти апостола Филиппа – 517
- Розанов* Василий Васильевич (1856–1919), писатель, публицист, философ – 420
«Толстой в литературе» – 420
- Розанова* Сусанна Абрамовна (1912–2002), литературовед – 408
- Роллан* (Rolland) Ромен (1866–1944), французский писатель – 464
- Роллина* (Rollinat) Шарль (1810–1877), переводчик – 421, 422
- Романи* (Romani) Феличе (1788–1865), итальянский поэт, либреттист – 483
- Романова* Наталья Ивановна, литературовед – 413
- Ромен*. См. Ромны.
- Ромны* (Ромен), г. – 92, 101, 309, 311, 443
- Рона* (Rhône), река в Швейцарии и Франции – 371, 547, 548
- Роскошный* (Roskoschny) Германн, переводчик – 421, 441, 452, 464, 483
- Российский государственный военно-исторический архив* (РГВИА), в Москве – 407, 445
- Россини* (Rossini) Джоаккино (1792–1868), итальянский композитор – 484
«Севильский цирюльник» (опера) – 162, 484
- Россиньер* (Rossinière), деревня во Фрибурге, на берегу Сарин – 382
- Россия* (Русь) – 171, 237, 246, 247, 249, 266, 337, 366, 380, 385, 400, 422, 423, 447, 453, 472, 473, 480, 483, 484, 487, 497, 511, 524, 556
- Рубини* (Rubini) Джованни Баттиста (1794 или 1795–1854), итальянский певец, тенор, один из лучших исполнителей героических партий в операх Россини, Доницетти, Беллини – 161, 484
- Рудольф*, немецкий пианист – 480
- «*Русская беседа*», журнал, изд. в Москве в 1856–1860 гг. Изд.-ред. А.И. Кошелев. С 1858 г. фактически редактировал журнал И.С. Аксаков – 418
- «*Русская литература*», историко-литературный журнал (выходит 4 раза в год); изд. с января 1958 г. – 458
- «*Русская старина*», ежемесячный исторический журнал, изд. в Петербурге в 1870–1918 гг. – 439, 529
- «*Русский вестник*», ежемесячный литературный и политический журнал, основанный в 1856 г. М.Н. Катковым, при участии П.М. Леонтьева – 409, 488, 491, 496, 500, 501, 503
- «*Русский инвалид*», военная газета, изд. в Санкт-Петербурге (Петрограде) в 1813–1917 гг. Основана чиновником и писателем П.П. Пезаровусом (1776–1847) в патриотически-благотворительных целях: доход предназначался в пользу инвалидов войны – 456
- «*Русский листок*», ежедневная газета, изд. в Москве в 1890–1906 гг. Изд.-ред. Н.Л. Козецкий и др. – 491, 492
- «*Русский мир*», политическая, общественная и литературная газета, изд. в Санкт-Петербурге в 1859–1863 гг. – 489
- «*Русское богатство*», ежемесячный литературный, научный и политический журнал, изд. в Петербурге в 1876–1918 гг. Ред. Н.Н. Златовратский, затем Н.К. Михайловский, В.Г. Короленко и др. – 490
- «*Русское обозрение*», ежемесячный литературно-политический и научный журнал, изд. в Москве в 1890–1898, 1901, 1903 гг. Ред. Д.Н. Цертелев; с 1892 г. А.А. Александров – 466
- «*Русское слово*», ежедневная газета, изд. в Москве в 1894–1917 гг. Изд. И.Д. Сытин – 438, 462, 482, 489
- «*Русское слово*», ежемесячный журнал, изд. в Петербурге в 1859–1866 гг. – 417, 436, 458, 459, 482
- Руссо* (Rousseau) Жан Жак (1712–1778), французский писатель и философ – 410, 411, 438, 439, 455, 461, 494, 508
- «*Русь*», ежедневная газета, изд. в Петербурге в 1903–1908 гг. с перерывами и

- под разными названиями: «Молва», «Русь», «XX век», «Око», «Новая Русь», изд.-ред. А.А. Суворин – 461
- Рябинин* Михаил Андреевич (1814–1868), родственник Пушкиных – 546, 547
- Саводник* Владимир Федорович (1874–1940), историк литературы, участвовал в издании Полного (юбилейного) собр. соч. Л.Н. Толстого – 482, 483, 525, 535, 543
- «Очерки по истории русской литературы XIX века» – 482, 483
- Савойя* (Savoie), бывшее герцогство, расположенное между Францией, Швейцарией и Италией в Савойских Альпах – 137, 547
- Савойские герцоги* – 548
- Савойские горы* (Alpes de Savoie), северная часть Западных Альп, главным образом, на территории Франции – 366, 371, 374, 547
- Садовской* Борис Александрович (1881–1952), писатель, критик, сотрудничал в журн. «Весы», «Русская мысль», газ. «Речь», «Русская молва» и др. – 424
- «Русская камена» – 424
- Салтыков* (псевд. Н. Шедрин) Михаил Евграфович (1826–1889) – 409, 418
- «Стихотворения Кольцова» (1856) – 418
- Самарин* Юрий Федорович (1819–1876), публицист, общественный деятель, славянофил – 409
- Санд* (Sand) Жорж (наст. имя Аврора Дюпен (Dupin); 1804–1876), французская писательница – 356, 359, 421, 541–544
- «Теверино» – 359, 544
- Санкт-Петербург* (Петербург), г. – 7, 114, 121, 125, 194, 234, 235, 237, 249, 255, 256, 321, 335, 348, 409, 410, 412–415, 422, 427, 444, 447, 450, 455, 466, 467, 474, 476, 479, 480, 483, 484, 487, 489, 497–499, 512, 524, 528, 540–542, 557
- «Санкт-Петербургские ведомости», старейшая русская газета, выходила в 1728–1917 гг., с 1875 г. изд. Министерством народного просвещения – 415, 416, 435, 437, 446, 457, 466, 490, 494, 505
- «Саратовский листок», политическая, общественная и литературная газета, изд. с 1863 г. – 494
- Сарин* (Sarîne), горная река в Швейцарии, приток Аре – 381, 548, 549
- Саша*. См. Поливанов А.К.
- Святая*, первая неделя Пасхи – 234, 237, 511
- Севастополь*, г. – 141, 339, 341–343, 409, 465, 530–533, 542
- «Северная пчела», политическая и литературная газета, изд. в Петербурге в 1825–1864 гг.; изд.-ред. Ф.В. Булгарин; в 1831–1859 гг. вместе с Н.И. Гречем; с 1860 г. – П.С. Усов – 457, 488
- «Северный цветок», журнал мод, искусств (в 1859 г. – литературы) и хозяйства, изд. в Петербурге в 1857–1861 гг.; изд. М. Станюкович – 481, 489, 505
- Сен-Мартен* (Saint-Martin) Луи Клод де (1743–1803), французский философ – 423
- «О заблуждениях и истине» – 423
- Серебровская* Екатерина Сергеевна (1894–1966), литературовед – 408
- Сержпутовский* Адам Осипович (ум. 1860), генерал-лейтенант, начальник артиллерии Южной армии – 533
- Сержпутовский* Осип Адамович (ум. 1900), сын начальника артиллерии Южной армии А.О. Сержпутовского, подпоручик лейб-гвардии конной артиллерии – 533
- Серисьер* Рене де (1603–1662), иезуит – 548
- «L'Innocence reconnue, ou vie de Sainte Geneviève de Brabant» (1636) – 548
- Сизова* Ирина Игоревна, литературовед – 413
- Силистрия*, турецкая крепость и порт на Дунае – 532
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838–1910/1911), критик и историк литературы; в 1868–1884 гг. сотрудник «Отечественных записок», в 1880–1890-х гг. сотрудничал в «Русском богатстве», «Северном вестнике», «Мире Божьем» – 408, 419, 436–438, 460, 482, 507
- «История новейшей русской литературы. 1848–1890» – 408, 419, 436–438, 460, 482, 507
- «Граф Л.Н. Толстой как художник и мыслитель. Критические очерки и заметки» – 436, 482, 507
- Скотт* (Scott) Вальтер (1771–1832), английский писатель, поэт, драматург; создатель жанра исторического романа – 484
- «Ламмермурская невеста» – 484
- Скриб* (Scribe) Огюст Эжен (1791–1861), французский драматург, автор много-

- численных комедий и оперных либретто – 483, 484
- «Слово», ежедневная газета, изд. в 1904–1909 гг. в Петербурге; изд.-ред. Н.Н. Перцов (1904–1906), М.М. Федоров (1906–1909) – 462
- «Слышишь – разумеешь». См. «Слышишь ли, мой сердечный друг».
- «Слышишь ли, мой сердечный друг» («Слышишь – разумеешь»), русская народная песня – 26, 425, 426
- Соболевский Сергей Александрович (1803–1870), библиограф и библиофил; близкий друг А.С. Пушкина – 423
- «Современник», ежемесячный литературный и общественно-политический журнал, изд. в Петербурге Н.А. Некрасовым и И.И. Панаевым в 1847–1866 гг. – 407, 409, 412–417, 425, 434, 435, 444, 453–456, 459, 466, 468, 470, 471, 477–479, 481, 487, 497, 506, 515, 542, 546
- «Современное обозрение», ежемесячный литературный, научный и политический журнал, изд. в Петербурге в 1868 г. под редакцией Н. Тиблена – 506
- «Современный мир», ежемесячный литературный, научный и политический журнал, изд. в Петербурге в 1906–1918 гг. – 420, 462, 463, 483, 493
- Соголево Клинского уезда Московской губернии, имение В.А. Волконской – 485
- Соединенные Штаты Америки (Америка) – 459
- Соколов Илья Осипович (1777–1848), руководитель цыганского хора – 424, 426
- Соколова Майя Анатольевна, литературовед – 413
- Солдатова Степанида Сидоровна (Шешка; 1784–1822), певица из цыганского хора И.О. Соколова – 424
- Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882), граф, писатель – 412
- Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), философ, поэт, публицист – 492, 493
- «Идолы и идеалы» – 492, 493
- Соловьев Евгений Андреевич (псевд. Андреевич; 1867–1905), критик, историк литературы – 438, 439, 462, 493, 510
- «Л.Н. Толстой. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк» (1894) – 438, 439, 462, 510
- «Граф Л.Н. Толстой» – 462
- Соловьев Яков Александрович (1820–1876), тайный советник, сенатор (с 1867), видный деятель крестьянской реформы 1860-х гг. – 529
- «Записки о крестьянском деле» – 529
- Сосницкий Иван Иванович (1794–1877), актер – 412
- Спасское. См. Спасское-Лутовиново.
- Спасское-Лутовиново (Спасское), имение И.С. Тургенева – 530
- Спицер, поверенный в делах Турецкого посольства в Неаполе – 465
- Срезневский Всеволод Измаилович (1867–1936), литературовед – 479, 532
- Стальпин. См. Столыпин А.Д.
- Староладковская, казачья станция на Кавказе, в которой жил Толстой с июня 1851 по январь 1854 г. – 512
- Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), критик, историк искусства – 420, 493
- Стасюлевич Александр Матвеевич (ум. 1867), брат М.М. Стасюлевича, издателя «Вестника Европы» – 448, 449
- Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911), журналист, публицист, редактор-издатель журнала «Вестник Европы» – 448, 449
- Стахович Александр Александрович (1858–1915), орловский помещик – 413
- «Клочки воспоминаний» – 413
- Стейнер (Steiner) Эдвард (1866–1956), поклонник и распространитель учения Толстого в Америке – 421, 441, 451, 452, 464, 480
- «Tolstoy the Man» – 421, 441, 451, 452, 464, 480
- Стелловский Федор Тимофеевич (ум. 1875), петербургский издатель и книгопродавец – 409, 436, 447
- Степняк-Кравчинский (наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович (1851–1895), писатель – 507, 508
- «Граф Толстой как писатель и социальный реформатор» – 507, 508
- Стерн (Sterne) Лоуренс (1713–1768), английский писатель – 545
- «Сентиментальное путешествие» (1768) – 545
- Столыпин (Стальпин) Аркадий Дмитриевич (1821–1899), приятель и сослуживец Толстого по Севастополю – 524, 533
- Страхов Николай Николаевич (1828–1896), публицист, критик, философ, автор воспоминаний о Толстом и цик-

- ла статей о «Войне и мире» – 418, 450, 459, 506
 «Наша изящная словесность» – 459
 «Война и мир». Сочинение графа Л.Н. Толстого» – 418, 450, 459
 «Сочинения гр. Л.Н. Толстого». В двух частях. СПб., 1864 – 506
- Судаково, имение Арсеньевых, в 7 верстах от Ясной Поляны по дороге в Тулу – 497, 539, 540
- Сухотина-Толстая Татьяна Львовна (урожд. гр. Толстая; 1864–1950), дочь Л.Н. Толстого – 546
- Сушков Николай Васильевич (1796–1871), писатель и издатель, автор ряда пьес и сборника стихов «Книга печалей» (1855). В 1851–1854 гг. издал три сборника «Раут», в которых были помещены произведения многих русских писателей; женат с 1838 г. на Д.И. Тютчевой, сестре поэта – 418, 550, 551
- Сушкова Дарья Ивановна (1806–1874), сестра поэта Ф.И. Тютчева, жена Н.В. Сушкова – 550, 551
- «Сын отечества», политический, ученый и литературный еженедельник; изд. в Петербурге в 1856–1861 гг.; в 1862 г. реорганизован в ежедневную газету – 417, 418, 435, 450, 457, 458, 481
- Теккерей (Thackeray), Уильям Мейкпис (1811–1863/64), английский писатель – 455
- Тик (Tieck) Людвиг (1773–1853), немецкий прозаик, драматург, поэт, один из основоположников и ведущих авторов немецкого романтизма – 548
- Тифлис (совр. Тбилиси) – 514
- Тишкевич. См. Тышкевич В.
- Тёрнер (Turner) Чарльз Эдвард, автор нескольких учебников английского языка и пособий по английской литературе для русских, а также книг о русской литературе для англичан – 420, 421, 494, 495, 509
 «Count Tolstoi as Novelist and Thinker» – 420, 421, 494, 495, 509
- Толстая Александра Андреевна, гр. (1817–1904), двоюродная тетка Л.Н. Толстого – 408, 415, 449, 453, 454, 479, 487, 488, 498, 499, 501, 546, 547, 551, 553, 554
- Толстая Александра Львовна, гр. (1884–1979), младшая дочь Л.Н. Толстого – 467
 «Отец. Жизнь Льва Толстого» – 467
- Толстая Елизавета Андреевна, гр. (1812–1867), сестра А.А. Толстой, двоюродная тетка Л.Н. Толстого – 454, 487
- Толстая Мария Николаевна, гр. (урожд. княж. Волконская; 1790–1830), мать Л.Н. Толстого – 505, 523, 531
- Толстая Мария Николаевна, гр. (1830–1912), сестра Л.Н. Толстого – 7, 414, 519, 524, 530, 539, 551, 552
- Толстая Пелагея Николаевна, гр. (урожд. княж. Горчакова; 1762–1838), бабушка Л.Н. Толстого – 531, 556
- Толстая Прасковья Васильевна, гр. (урожд. Барыкова; 1796–1879), мать А.А. и Е.А. Толстых – 487
- Толстая Софья Андреевна, гр. (урожд. Берс; 1844–1919), жена Л.Н. Толстого – 407, 475, 497, 498, 504, 505
 «Дневники» – 407, 497
- Толстая Татьяна Львовна. См. Сухотина-Толстая Т.Л.
- «Толстовский ежегодник 1912 г.» – 413
- «Толстой. 1850–1860. Материалы. Статьи. Редакция В.И. Срезневского. Труды Толстовского музея АН СССР». Л., 1927 – 479
- «Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников»: В 2 т. М., 1978 – 542
- Толстой Андрей Львович, гр. (1877–1916), сын Л.Н. Толстого – 480
- Толстой Валериан (Валерьян) Петрович, гр. (1813–1865), помещик, муж сестры Толстого Марии Николаевны – 519, 524, 531, 551
- Толстой Дмитрий Николаевич, гр. (1827–1856), брат Л.Н. Толстого – 462, 524, 535
- «Толстой и о Толстом: новые материалы» (1924–1928) – 412
- Толстой Николай Валерианович, гр. (1850–1879), сын М.Н. и В.П. Толстых, племянник Толстого – 552
- Толстой Николай Ильич, гр. (1794–1837), отец Л.Н. Толстого – 497, 505, 523, 531
- Толстой Николай Николаевич, гр. (1823–1860), старший брат Л.Н. Толстого – 485, 524
- Толстой Сергей Львович, гр. (1863–1947), старший сын Л.Н. Толстого – 424, 528
 «Федор Толстой Американец» – 424
- Толстой Сергей Николаевич, гр. (1826–1904), брат Л.Н. Толстого – 435, 446, 450, 515, 519, 524, 525, 530, 535
- Толстой Федор Иванович, гр. («Американец»; 1782–1846), двоюродный дядя

- Л.Н. Толстого, гвардейский офицер – 424
- Торжок*, уездный город Тверской губернии – 423
- Тревский* Зигфрид, пфальцграф, супруг Женеьевы Бранбуртской – 548
- Троицын день* (иначе Пятидесятница), великий христианский праздник в 50-й день после Пасхи, в день сошествия Св. Духа на апостолов – 332, 525
- Труды Публичной библиотеки СССР им. В.И. Ленина*, изд. с 1923 г. – 408, 457, 474
- Тугендбунд*, тайное политическое общество, основанное в 1808 г. в Кёнигсберге – 7, 423
- Тула*, г. – 402, 474
- Тун* (Thun), город в Швейцарии – 545, 549
- Тунское озеро* (Thunersee), в Швейцарии – 545, 548, 549
- Тургенев Иван Сергеевич* (1818–1883) – 407–409, 412–414, 416–418, 421, 422, 435, 440, 444, 449, 455, 457–459, 468, 470, 471, 474, 477–479, 488, 489, 497, 500, 506–508, 519, 524, 530, 534, 542
- «Где тонко, там и рвется» (1851) – 412
- «Дворянское гнездо» (1859) – 417, 458
- «Завтрак у предводителя» (пост. 1849) – 412
- «Записки охотника» (1847–1851) – 440
- «Месяц в деревне» (1850) – 412
- «Нахлебник» (1862) – 412
- «Отцы и дети» (1862) – 419, 459
- «Провинциалка» (1851) – 412
- «Рудин» (1856) – 459
- «Холостяк» (1850) – 412
- «Тургенев и круг "Современника"» – 408, 435, 449, 457, 471, 478, 479
- «Тургеневский сборник». 1912 – 421
- Тургенева* Ольга Александровна. См. Сомова О.А.
- Турин* (Toirino), город в Италии – 114
- Тышкевич В.*, сослуживец Л.Н. Толстого по артиллерийскому штабу – 429
- Тюильри* (Tuileries, Тюльери), королевский дворец в Париже – 130, 464
- Тютчев* Федор Иванович (1803–1873) – 412, 492, 493, 505, 550
- Тютчева* Дарья Федоровна (1834–1903), фрейлина; дочь Ф.И. Тютчева – 505
- Тютчева* Екатерина Федоровна (1835–1882), фрейлина, писательница; дочь Ф.И. Тютчева – 500, 505, 550, 551
- Уизерс* (Withers) Стенли, английский почитатель Л.Н. Толстого – 441
- «Указ о предоставлении помещикам заключать с крестьянами договоры на отдачу их участков земли в пользование за условленные повинности, с принятием крестьянами, заключившими договор, названия обязанных крестьян» от 2 апреля 1842 г. – 335, 529
- «Указ об отпуске помещикам своих крестьян на волю по заключении условий, на обоюдном согласии основанных» от 27 февраля 1803 г. – 335, 529
- Успенский пост* – пост с 1 по 14 августа (ст. стиля), связанный с христианским праздником (15 августа) Успения Богородицы – 210, 511
- Ухтомский* Эспер Эсперович, кн. (1861–1921), с 1896 г. редактор «Санкт-Петербургских ведомостей», корреспондент и адресат Толстого – 444
- Фет* Афанасий Афанасьевич (наст. фам. Шеншин; 1820–1892), поэт – 409, 412, 426, 487, 497, 503
- «Кактус» – 426
- Филипповки*. См. Рождественский (Филиппов) пост.
- Фихте* (Fichte) Иоганн Готлиб (1762–1814), немецкий философ – 348, 349, 536
- «О назначении человека» («Bestimmung des Menschen», 1800) – 348, 349, 536
- Фоканов* Владимир, яснополянский крестьянин – 528
- Фоканов* Семен Владимирович, яснополянский крестьянин, бывший сельский староста – 528
- Фомина неделя*, посвященная апостолу Фоме, первая после Святой – 237
- Франк* Семен Людвигович (1877–1950), философ, автор статей по литературе и эстетике – 461, 462
- «Нравственное учение Л.Н. Толстого» – 461, 462
- Франция* – 465, 466, 511, 547
- Фрибург*. См. Фрибур.
- Фрибуур* (Fribourg, Фрибург), гл. город одноименного кантона (Швейцария) – 370, 378, 380, 382, 545, 548
- Фрейганз* Андрей Иванович (1806 – после 1856), цензор Петербургского цензурного комитета (1848–1854) – 445
- Фрёшенбург* (Fröschenburg), деревушка близ Люцерна – 131, 132
- Фридрих II* (1712–1786), король Пруссии с 1740 по 1786 г. – 365, 546

- Фролков Андрей Ильич**, яснополянский крестьянин, бывший долгое время бурмистром в Ясной Поляне – 528
- Фролков Яков Андреевич**, яснополянский крестьянин – 528
- Хедберг (Hedberg) В.Ю.**, переводчик – 442, 452, 483
- Хилковский (Петр Алексеевич?)** (погиб в 1854 г.), капитан 4-й батареейной батареи, послуживец Толстого на Кавказе – 513
- Хирьяков Александр Модестович** (1863–1946), литератор, сотрудник издательства «Посредник», близкий знакомый Толстого – 551
- «*Хожу ль я по улице*», русская народная песня – 26, 425, 426
- Хомяков Алексей Степанович** (1804–1860), философ, писатель, поэт, один из основоположников славянофильства – 409, 411, 488, 489
- Хоуэлс (Howells) Уильям Дин** (1837–1920), американский писатель, критик, автор многих статей о Л.Н. Толстом – 508
- Цабель (Zabel) Ойген (Евгений;** 1851–1924), немецкий журналист, критик, биограф Л.Н. Толстого – 421, 441, 451, 463, 464, 480, 494, 495, 509
- «Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк» – 421, 441, 451, 463, 464, 480, 494, 509
- «Literarische Streifzüge durch Rußland» – 494
- Царьград.** См. Константинополь.
- Цезархан.** См. Громан Цезарь.
- Центральная Америка** – 526
- Цин**, китайская династия – 533
- Цингер Александр Васильевич** (1870–1934), физик, профессор Московского университета, знакомый Толстого – 549
- «О Толстом. Воспоминания и характеристики представителей различных наций» (1911) – 549
- Цюрих (Zürich), г.** – 137
- Цявловский Мстислав Александрович** (1883–1947), литературовед – 527
- «Л.Н. Толстой. Избранные произведения». М.; Л., 1927 – 527
- Черная, река в Крыму** – 533
- Чернев И.**, переводчик – 510
- Чернышевский Николай Гаврилович** (1828–1889), писатель, публицист, литературный критик – 409, 410, 416, 435, 479
- «Заметки о журналах. Декабрь 1856» – 416
- «Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н.Толстого. СПб., 1856. Военные рассказы графа Л.Н.Толстого. СПб., 1856» – 416
- «О новых условиях сельского быта» (1858) – 479
- Чернь**, уездный город Тульской губ. в 10 верстах от Мценска и около 80 верст от Ясной Поляны – 530
- Чичерин Борис Николаевич** (1828–1904), юрист, историк, философ, основоположник «государственной школы» в русской историографии – 479, 487, 554, 555
- «О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян» – 555
- Чуковский Корней Иванович** (1882–1969), писатель, критик, литературовед – 408, 445, 448
- «Люди и книги шестидесятых годов» – 408, 445, 448
- Шамиль** (1797–1871), вождь горцев Дагестана и Чечни – 123
- Шамони (Шамуни, Chamonix)**, деревня в Савойе, у подножия Монблана – 137
- Шамуни.** См. Шамони.
- Шато д'Э (Château d'Oex)** – горный курорт на берегу реки Сарин (Занне) в Швейцарии – 381, 382, 548
- Швейцария** – 126, 129, 137, 365, 368, 375, 377, 383, 384, 453, 455, 459, 464, 471, 545, 546, 548
- Швейцарская Ривьера**, курортный регион Женевского озера – 545
- Швейцергоф (Schweizerhof, Швейцерхоф)**, одна из самых больших и роскошных гостиниц Люцерна, на набережной Фирвальдштетского озера, выстроенная в 1852 г. – 126, 131, 132, 135, 136, 139, 140, 144, 146, 453, 463, 465
- Швеция** – 483
- Швейцерхоф.** См. Швейцергоф.
- Шекспир (Shakespeare) Уильям** (1564–1616) – 413
- «Король Лир» (1605) – 413
- Шибунин Василий**, солдат – 449
- Шиллер (Schiller) Иоганн Кристоф Фридрих** (1759–1805), немецкий поэт, драматург, историк, теоретик искусства – 166, 484
- «Жалоба девушки» («Des Mädchens Klage») – 166, 484

- Шильон* (Chillon), замок на скале у берега Женевского озера – 368, 547, 548
- Шопен* (Chopin) Фредерик (1810–1849), польский композитор и пианист – 161, 467, 484
- Шопенгауэр* (Schopenhauer) Артур (1788–1860), немецкий философ – 495
- Шпицберген* (Грумант), остров – 529
- Штакениншейдер* Мария Федоровна (1811–1892), жена архитектора А.И. Штакеншнейдера (1802–1865) – 458
- Шуберт* (Schubert) Франц (1797–1828), австрийский композитор – 467, 484
- Шубин* П.П., сослуживец и товарищ Толстого по Дунайской армии и Севастополю – 532, 533
- Шульгоф* (Schulhoff) Юлий (р. 1825), чешский и немецкий пианист и композитор – 199, 510, 511
- Шульце* (Schulze) Фридрих Август (псевд. Лаун; 1770–1849), немецкий писатель – 484
«Книга о привидениях» – 484
- Шуман* (Schumann) Роберт (1810–1856), немецкий композитор – 548
«Геновева» (опера) – 548
- Щебальский* Петр Карлович (1810–1886), историк и публицист – 418
«Литератор старого времени» – 418
- Щеглов* Владимир Георгиевич (р. 1854), профессор Демидовского университета, критик – 439, 460, 491
«Граф Лев Николаевич Толстой и Фридрих Ницше. Очерк философско-нравственного их мировоззрения» – 439, 460, 491
- Щепкин* Михаил Семенович (1788–1863), актер – 412
- Щербакова* Марина Ивановна, литературовед – 413
- Щербатов* Григорий Алексеевич, кн. (1819–1881); начальник Петербургского цензурного комитета с 1856 г., в конце 1850-х гг. попечитель Петербургского учебного округа, в середине 1860-х гг. петербургский губернский предводитель дворянства – 445–448
- Щербачева*, тетка В.В. Арсеньевой – 540, 543
- «Эй вы, гусары...». См. «Гей вы, улане».
- Эколь Нормаль* (Ecole Normale), высшее учебное заведение в Париже на ул. Ульм, в котором учился Ромен Роллан (1886–1889) – 464
- Энгельгардт* Николай Александрович (1867–1942), писатель; сын А.Н. Энгельгардта (1832–1893), агронома (профессора химии Петербургского земледельческого института), публициста – 507
«История русской литературы XIX столетия» – 507
- Эрмион*. См. Греч Н.И.
- Южная Америка* – 526
- Южная армия* – 533
- «Южные ведомости», ежедневная политическая, общественная и экономическая газета, изд. в Симферополе в 1906–1916 гг. – 508
- Ясная Поляна*, имение Толстого, Крапивенского уезда Тульской губернии – 400, 402, 410, 439, 440, 449, 473, 474, 478, 480, 501, 527–529, 531, 534, 539, 552, 554–556
- Aix-les-Bains* (Экс-ле-Бэн), город в Саvoyе – 137
- Alières*. См. Альер.
- Avants*. См. Лез-Аван.
- Basset*. См. Ла-Бассе.
- Burchlvién F. van*, переводчик – 483
- Château d'Oex*. См. Шато д'Э.
- Chopin*. См. Шопен Ф.
- «Contemporanul», журнал, изд. в Румынии – 495
- Dole N.H.* См. Доул Н.Х.
- Durdik P.*, переводчик – 422
- «Dziennik Warszawski», польская газета – 495, 510
- «Evènement», французская ежедневная политическая и литературная газета, изд. в Париже в августе – декабре 1848 г. Изд.-ред. В. Гюго – 509
- Gheorghiu M.*, переводчик на румынский язык – 510
- Gerstenberg W.* См. Герстенберг В.
- Giontini* – 510
- Hauff L.A.* См. Гауф Л.А.
- Hauterive*, переводчик – 509
- Hedberg*. См. Хедберг В.Ю.
- Helenius O.*, переводчик – 496
- Helsingfors A.E.G.*, переводчик – 422
- Hôtel de L'ours*, в Швейцарии – 378
- Huygens J.*, переводчик – 510

- Jaman*. См. Жаман.
- «*Journal des Débats*», ежедневная французская газета, изд. с 1789 г. – 465
- «*Journal de Saint-Pétersbourg*», ежедневная политическая газета; орган Министерства иностранных дел, изд. в Петербурге на французском языке – 509
- Kaňka P.*, чешский переводчик – 441
- Katulski A.*, переводчик – 510
- «*Kraj*», польский журнал, изд. в Петербурге – 483
- «*La Maison rustique du 19-e siècle*» («Ферма 19-го века»), энциклопедия по сельскому хозяйству в 5 томах. Париж (1837–1844) – 442
- La Côte* (берег), часть северо-западного побережья Женевского озера с лучшими в Швейцарии виноградниками – 379, 548
- Lange*. См. Ланге В.
- Leitão de J.*, португальский переводчик – 452
- Les-Avants*. См. Лез-Аван.
- Lilienthal W.*, переводчик – 510
- «*Maison Rustique*». См. «*La Maison rustique du 19-e siècle*»
- Madonna A.*, переводчик – 496
- Mäkinen K.*, финский переводчик – 510
- Malochyňská T.*, переводчик – 510
- Maude Aylmer* – 452, 480
- Monbovont*. См. Монбовон.
- Montbovont*. См. Монбовон.
- Montreux*. См. Монтрё.
- Николајевућ М.*, переводчик – 442
- «*Novellenschatz des Auslandes*», сборник произведений иностранной литературы (Мюнхен) – 509
- Ottolini di P.*, итальянский переводчик – 422, 452
- «*Pražske noviny*», газета – 483
- Pavlou L.*, переводчик – 496
- Podravski P.* (P. Miklavec), переводчик – 510
- Pravda J.K.*, чешский переводчик – 452
- «*Revue des Deux Mondes*», французский литературно-политический журнал; изд. в Париже с 1828 г. (с 1944 г. под названием «*Revue littéraire*»); в 1831–1871 гг. ред.-изд. Ф. Бюлоз – 495
- Řežabek I.*, чешский переводчик – 483
- Rigi Vaudais*. См. Риги.
- Roskoschny*. См. Роскошный Г.
- Sarin*. См. Сарин.
- Sempau de R.*, испанский переводчик – 452
- Sinding H.*, норвежский переводчик – 441, 464, 510
- Sokolová B.*, чешская переводчица – 464
- Špecingrová-Baušová K.*, переводчица – 496
- St-Bernard*, два горных прохода в западных Альпах – 137
- St-Gotard*, горный проход в центральных Альпах – 137
- Szentkirályi A.*, переводчик – 510
- «*Le Temps*», французская ежедневная газета, изд. в Париже с 1861 г. – 418
- «*Tribuna*», периодическое издание – 510
- Tremblai* (Трамбле), кондитерская в Москве – 540
- Tseytline B. et Taubert E.*, французские переводчики – 483
- Van Kampen* – 510
- Vaud*. См. Во.
- Vevey*. См. Веве.
- Wiener*. См. Винер Л.С.
- Zabel Eugen*. См. Цабель О.
- «*Zeitschrift für slavische Philologie*» – 465

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Л.Н. Толстой. Петербург. Фотография С.Л. Левицкого. 1856 г. . .	
«Утро помещика». Страница наборной рукописи	61
«Из кавказских воспоминаний. Разжалованный». Страница наборной рукописи	103
«Из кавказских воспоминаний. Разжалованный». Страница авто- графа	115
«Люцерн». Первая редакция. Страница автографа	127
«Люцерн». Первая редакция. Страница автографа	144
«Альберт». Первая редакция. Страница автографа	151
«Альберт». Первая редакция. Страница автографа	165
«Три смерти». Страница автографа	181
«Семейное счастье». Первая редакция. Страница автографа	189
«Семейное счастье». Первая редакция. Страница автографа	195
«Семейное счастье». Первая редакция. Страница автографа	213
«Семейное счастье». Первая редакция. Страница автографа	221
«Роман русского помещика». Страница автографа	267
«Роман русского помещика». Страница автографа	279
«Дневник помещика». Страница автографа	331
«Дворянское семейство». Страница автографа	345
«Практический человек». Страница автографа	351
«Отрывок дневника 1857 года». Страница автографа	367
«Он не мог ни уехать, ни остаться». Автограф	389
«Сказка о том, как другая девочка Варенька скоро выросла боль- шая». Страница автографа	391
«Лето в деревне». Страница автографа	401

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1856–1859 гг.

Два гусара. Повесть	7*	414
Утро помещика.....	57	427
Из кавказских воспоминаний. Разжалованный.....	102	443
Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн.....	126	453
Альберт.....	150	466
Три смерти. Рассказ.....	175	485
Семейное счастье	187	496

НЕОКОНЧЕННОЕ

Роман русского помещика	261	512
Дневник помещика.....	329	527
〈Фантастический рассказ〉.....	339	530
Дворянское семейство. Комедия в 3-х действиях	344	534
Практический человек. Комедия в 3-х действиях	350	537
Дядюшкино благословенье. Комедия в 2-х действиях.....	355	539
Свободная любовь. Комедия в 2-х действиях.....	358	542
Отрывок дневника 1857 года	365	545
Записки мужа.....	386	549
«Он не мог ни уехать, ни оставаться...»	388	550
Сказка о том, как другая девочка Варенька скоро выросла большая	390	551
〈Светлое Христово Воскресенье〉.....	398	553
Лето в деревне	400	554

КОММЕНТАРИИ

Условные сокращения.....	407
Произведения 1856–1859 гг.	409
Неоконченное	512
Указатель произведений Л.Н. Толстого	557
Указатель имен и названий	560
Список иллюстраций	581

* В первом столбце указана страница текста, во втором – комментарий.

Печатается по решению
Научно-издательского совета
Российской академии наук

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СТА ТОМАХ

Художественные произведения
в восемнадцати томах

Том третий

1856–1859

Заведующая редакцией *Е.Ю. Жолудь*

Редактор *Е.В. Белова*

Художник *В.Ю. Яковлев*

Художественный редактор *Т.В. Болотина*

Технический редактор *В.В. Лебедева*

Корректоры *З.Д. Алексеева, Е.А. Желнова,*
Т.А. Печко

Подписано к печати 06.07. 2007

Формат 60 × 90^{1/16}. Гарнигура Таймс

Печать офсетная

Усл.печ.л. 36,5 + 0,1 вкл. Усл.кр.-отт. 36,7. Уч.-изд.л. 44,2

Тип. зак. 4274

Издательство «Наука»

117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: secret@naukaran.ru

www.naukaran.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ГУП «Типография «Наука»

199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-035690-0



9 785020 356900

